Борис Горбатов

2



БИБЛИОТЕКА
«ОГОНЕК»



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ТОМ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
Гор 67

Составление и общая редакция
А. В. Терновского

Иллюстрации художника
О. К. Вуколова

Гор $\frac{4702010200-1726}{080(02)-88}$ 1726—88

Алексей Гайдаш

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Успеть, только бы успеть! Больше мы ни о чем не думали.

Нас трясло, швыряло в седлах, подбрасывало; плохо пристегнутые маузеры шлепались о бедра; колени колотились о тощие бока лошади; в этой сумасшедшей скачке не было ни ритма, ни лада — только бы скорее, скорее, скорее, только бы успеть!

Взмыленные кони испуганно косили глазами, хрипели; потные их спины дымились; густой пар колыхался над ними; гнедые хвосты пыли крутились сзади. Задыхаясь от острого, горячего запаха лошадиного пота, от бешеной скачки, от жары и пыли, от нетерпения, злобы, мчались сквозь рыжую, колючую степь Алексей Гайдаш и я.

Алексей скакал чуть впереди меня. Он нервничал. Нетерпеливо облизывал пересохшие губы. Торопил коня. То приподнимался на стременах, то падал в жесткое канадское седло. Хрипло кричал: «Скорей! Скорей!» — и бил коня о бока стоптанными каблуками. Успеть! Только бы успеть!

Ему представлялся истекающий кровью Семчик. Он лежал, беспомощно раскинув руки, пальцами зарывшись в пыль. Царапал ногтями горячую, растрескавшуюся землю. Кричал, звал на помощь. Ждал. Один. В чужом селе. Среди врагов. Они добьют его. Дорежут ножами. Скорее, скорее бы!

Мы мчались молча. Только иногда Алеша хрипел — скорей! — и это равно относилось и ко мне, и к лошади, и к самому Алеше.

Между собой мы не разговаривали. Молча сели на коней. Молча ехали.

Давно уже перестали мы дружить с Алешей. Жизнь развела нас. Мы продолжали работать рядом, бок о бок, но дружбы не было. Она улетела от нас, растаяла, как дым в морозном небе. Бывшие друзья — это хуже, чем чужие люди.

Мне казалось, что я мало изменился с тех пор, как в «коммуне номер раз» подымал песню и стакан за комсомол, за молодость, за удачу.

Удача! Оказывается, она портит людей. Алексею выпала на долю большая удача. Мы восторженно следили за ним. Он рос на наших глазах. С хрустом распрямлялись его плечи. Он был уже на голову выше нас — мы радовались его удаче. Встречаясь где-нибудь на бегу, случайно, на перекрестке, в вагоне ростовского ускоренного или у буфетной стойки в театре, мы говорили друг другу: «Наш Алеша-то: молодец!»

И если случались стаканы — мы подымали их за здоровье, за рост и удачу.

Но, став окружным комсомольским вождем, он перестал быть нашим Алешей. Неужели это тот простой, худощавый беспокойный паренек с Заводской улицы, которого я так любил в детстве? Откуда появились в нем эти важные, округлые жесты? Этот властный, резкий, требовательный тон? И этот взгляд, пустой, холодный, не замечающий никого, взгляд, который проходит сквозь человека, не окрашиваясь, не загораясь?

Меня подавляла его шумливость. Всюду — в театре, на улице, в клубе — он шел, расталкивая людей и громко разговаривая. Он не умел говорить тихо. Он не умел слушать — привык, чтобы слушали его. Он не умел соглашаться,— привык, чтобы соглашались с ним, подчинялись ему. И все, что он говорил, разъяснял, рассказывал, делал — он делал шумно, размашисто, по-хозяйски.

В театре, развалившись в кресле, он громко и пренебрежительно спрашивал, нарушая тишину застывшего зала:

— Ну что, скоро там этот старичок помрет?

Входя в ресторан, он с порога кричал официантке:

— Девушка! Идите-ка накормите меня...

Все в городе знали Алексея Гайдаша. Он гордился этим.

— Это мой приятель,— говорил он небрежно.— Накормите и его, экстра, аллюр три креста.

У него появились специфические остроты, шутки, поговорки. Между собой мы прозвали их «генеральскими». Наливая пиво в бокал и чокаясь, он приговаривал:

— Ну-ка, согласуем!

Меню он называл «повесткой дня», здороваясь, восклицал: «Ну, как жизнь молодая?», подчиненных спрашивал: «Как думаешь, товарищ начальник?», хотя начальником он признавал только себя, себя одного.

У него были любимые словечки, он тщился сделать их крылатыми. Он хотел играть роль большого человека, самостоятельного, независимого, опытного.

У него была сокровенная мечта: выдумать и пустить в ход такой лозунг, который перевернул бы весь комсомол. Он пробовал много раз, но это приносило ему одни неприятности. Однажды в докладе он выпалил: «Плохой комсомолец лучше хорошего беспартийного».

Ему пришлось потом отказываться от этого «лозунга», но упорствовал он долго.

Мы прозвали его «вождик». Он перестал обижаться на кличку. Боюсь — она понравилась ему.

Со мной он усвоил небрежно-дружеский, снисходительный тон. Он вызывал меня к себе в кабинет и, развалясь в кресле, кричал:

— Опять перегибаешь, редактор? Ты зачем сегодня моего Федьку выругал? Федька — мой лучший секретарь района. Мой друг. Ты согласовал со мной?

Я пожимал плечами и уходил.

Он окружил себя людьми пустыми и маленькими. Он нарочно подбирал таких. Они не заслоняли его, а, напротив, выгодно оттеняли его могучую фигуру. Он смеялся, издевался над ними. Он помыкал ими, как слепыми щенками. Он называл их: «мои орлы» или «мои гробы». Он любил при случае жаловаться:

— Вот с каким аппаратом приходится мне работать. Один. Совсем один.

Но он дорожил своими «орлами». Грубо накричав на них, натопав ногами, изругав и ребят и девушек, выгнав, наконец, из кабинета, потом, остыв, звал их об-

ратно и как ни в чем не бывало шутливо, ласково разговаривал с ними, угощал папиросами. Они покорно выносили и ругань и дикие выходки: они любили этого резкого, смелого и, несомненно, талантливого парня. Они боялись его и преклонялись перед ним. С фамильярной почтительностью они называли его: «наш хозяин».

«Хозяин сказал», «Хозяин не в духе»,— шептались они меж собою.

Но работали они скверно, путали, мешали. Во всем громоздком торжественно-парадном аппарате Алеши (он любил блеск, гром, кабинеты, дощечки под стеклами) стояли шум, треск, сутолока, видимость кипучей работы; в сущности же, была пустота — страшная, унылая.

Алеша не видел этого. Зато видели мы. Разрыв был неизбежен.

Я старался реже встречаться с Алексеем. Впрочем, это было легко. В эти горячие дни тысяча девятьсот двадцать девятого года я мало сидел дома, в городе. Я носился по округу, меняя вагон на бричку и тряскую бричку снова на вагон. Я славно поездил в те дни! Путешествовал на открытой площадке товарного состава, в теплушке рабочего поезда. В «ученике», на случайном паровозе или даже на «кукушке». По скверным донецким шляхам я пробивался в бедарках на высоких колесах, в старомодных тарантасах, в директорских фаэтонах, на пыльных дрожках, бричках, на высокой арбе, а то и верхом, а то и пешком.

Я любил эти поездки без маршрута, а часто и без денег, ночи на заплеванных вокзалах в ожидании поезда, пахнувшие сеном и махоркой хаты сельсоветов, ночевки где-нибудь на сеновале или в поле, у брички. Жизнь, горячая, трепетная, удивительная, открывалась перед моим любопытным взглядом. Я жадно смотрел, слушал, думал. Многого не понимал, во многом сомневался, многого ждал и о еще большем мечтал юношески, трепетно.

Ощущение каких-то больших и неожиданных перемен, которые неизбежно должны произойти в моей судьбе, в судьбе страны, вдруг появилось во мне и больше уж меня не покидало.

Большое ожидание чувствовалось всюду. Воздух, которым я дышал, стал тугим, сгущенным, как перед грозой. Вот грянет шторм! У меня было впечатление, что люди, страна, жизнь приготовились к какому-то огромному прыжку вперед. И я боялся опоздать, пропустить, задержаться.

Однажды я приехал в маленький тихий заводской поселок близ Белокриничной. Было воскресенье, по дороге я слышал благовест сельских церквей, колокола заливались звонко и радостно, как стая молодых щенков. В поселке стояли воскресная тишина и праздничность. Я знал — в этот день все на футбольном поле. Футбольный матч в Белой Кринице — священнодействие, религиозный обряд, праздник. Стряхнув дорожную пыль с кожаной куртки, я отправился в парк.

Теплой сыновней любовью любил я этот застенчивый тихий поселок, его кривые улицы, его меловые горы, акации в цвету, тополя у проходной будки, березку под окном инструменталки, нежный желтый дымок над домнами. Я любил ветвистый парк, в котором сладостно млели липы, гуляли рабочие с женами, смеялась и пела молодость.

Самые молодые из них еще помнили, что парк принадлежал раньше немцу, владельцу завода, они знали даже имя немца. Они радовались, удивлялись и ахали: «Хозяйский парк стал нашим парком». Теперь и удивляться перестали, и имя немца забыли. Я помнил. Гартман — так звали немца.

Я все помнил, я тщательно хранил все, что касалось родного поселка,— героическое и смешное, большое и малое.

Я помнил тревожную январскую ночь двадцать третьего года: измученные, озябшие люди столпились у горна холодной доменной печи и ждали: сейчас все должно было решиться. Не напрасно ли, голодные, замерзшие, падающие от усталости, они бились вокруг нее, выколачивали «козел», застывший в печи, голыми руками создавали печь заново. Что, если при первом вздохе она взлетит на воздух? Что, если печь «не пойдет»? Они стояли, застыв на своих местах. Ждали. Вдруг черное облако с шумом вырвалось из печи. На

минуту все ослепли, оглохли. На фурмах весело заиграли огоньки. Печь — пошла!

Я помнил знойные, сухие дни двадцать шестого года. На окраинах стали возникать скелеты маленьких слепых домиков. Худые люди копошились вокруг. Тащили лес. Пилили, стучали молотками. Работали в одиночку. Каждый — себе. Каждый сколачивал свой домик. Работали жадно, исхудавшие, почерневшие от забот. Всякую свободную минуту отдавали своему дому, погребу, сараю. По ночам беспокойно ворочались на узкой койке — снился собственный домик на собственном клочке земли.

Я мог бы рассказать историю каждого нового дома в поселке. Как возник здесь первый техникум. Как появился клуб.

Я мог бы рассказать все и обо всем, что касалось Белой Криницы. Хотите, я расскажу историю всех здешних футбольных матчей,— это героическая Одиссея, в которой победы вызывали патриотическую гордость Белой Криницы, а поражения повергали в мрачную тоску токарей, слесарей, литейщиков — инструмент валился из рук, литье вытекало из формы.

Хотите, я расскажу вам, что увижу сейчас на стадионе? Ребятишки освистывают судью, молодежь криками подбадривает игроков-приятелей, девушки волнуются и аплодируют, а старики бьются об заклад. А дома в это время уже поспевают самовары, ароматный дымок струится над тихой улицей. Стынут тополя, шумят вишневые сады, сладостный воскресный вечер падает на крыши, на палисадники, на тихие вербы... Так я дошел до стадиона.

И вдруг с удивлением увидел, что он наполовину пуст.

Что случилось? Мне объяснили недоумевая: на заводе введена непрерывка. Воскресенья больше нет. Я встретил вдруг Павлика. Он шел в рабочем костюме, похудевший и озабоченный. Какой-то новый огонек в его глазах, беспокойный, лихорадочный, поразил меня. Павлик был не тот. Мы дружески поздоровались, поболтали. Вдруг он качнулся и смущенно сказал:

— Прости, Сережа,— я хочу спать... Три смены подряд... Новую домну кончаем...

На меня налетел старик Омельченко. Не поздоровавшись, он закричал:

— Серега! По секрету! Этого никто не знает. Напиши в газете. Знаю только я.— Он кричал во все горло.— Идем, я покажу тебе. Я знаю месторождение руды. Роскошная руда, богатые дела с такой рудой делать можно. Напиши в газете. Пусть шлют комиссию. Нужно каких-нибудь пятьдесят — сто миллионов на первый год,— у нас будет своя руда.

У почты меня остановил Шелест, старый инженер, которого я отлично помнил. Он оттащил меня в сторону, к театральной тумбе, и начал кричать:

— Каждый день справляюсь на почте. Почему мне не отвечают? Проект реконструкции, преподанный нам главком,— нищенский, крохоборческий, безграмотный. Изволите ли видеть...— Он пошарил в карманах плисовой куртки, вытащил огромный плотницкий карандаш и начал чертить на афише.

Меня завертели. Меня тащили на домны, которые надо ломать, и на домны, которые надо строить. Мне показывали будущие строительные площадки, пальцем в воздухе чертили железобетонные здания корпусов и ажурных газгольдеров; бурьян шумел под нашими ногами, тут и там валялось ржавое железо. Меня водили по цехам будущего и, если я спотыкался о камни и выброшенное на свалку железо, заботливо поддерживали под локоть. У каждого инженера зрел свой собственный проект реконструкции. Каждый старожил открывал какие-нибудь новые богатства в тихой дотоле Белой Кринице. Овраги и буераки оказывались нефтеносными, горы — неиссякаемыми кладезями руды. Возникали, рушились и снова возникали легенды о кладах. Кладов искали все, теперь это были нефть, руда, уголь. Вдруг стало очевидным, что день мал. Его наполнили до отказа работой. Затем завоевали ночи. Но и этого было мало. Мало, нищенски мало для тех дел, которые всем грезились.

Я тоже потерял сон и покой. Я метался по городам, поселкам, селам. Взволнованные, написанные наспех корреспонденции уходили в газету. Я до хрипоты кричал на сельских сходках, защищая колхозы. Я видел, как в одну ночь возникали артели, коммуны, товарище-

ства. Целые цеха, целые заводы вступали в партию. От всех этих поездок у меня осталось впечатление единого всеобщего рывка.

И когда, запыленный, грязный, но счастливый, в сером пыльнике с капюшоном, в сапогах, к которым пристала глина и нежные усики овса, я входил в гулкое здание окружкома комсомола и попадал в пустынные, унылые кабинеты, меня охватывал страх. Страх за них, за себя, за Алешу. Неужели он не видит, неужели не понимает?

Я пришел однажды к нему и честно все выложил. Он плохо слушал меня, нервничал, наконец, перебил и начал ругаться.

Он обозвал меня болтуном, склочником, писакой. Он сказал, что, вероятно, мне пришлось по душе его место — место секретаря. Что ж, он уступит! Садись! Пожалуйста!

Мне стало грустно, я встал и тихо спросил:

— Значит, я могу уйти?

Он сразу затих и нахмурился. Все-таки когда-то мы были друзьями. Он сказал глухо:

— Как хочешь.

Я пожал плечами. Он вдруг вскочил и стремительно протянул мне руку. Я крепко потряс ее. Это было наше последнее рукопожатие. Дружба растаяла. Через неделю я уже работал в партийной газете. С Алешей мы встречались редко.

И, когда вчера ночью он пришел ко мне, я удивился. Он пришел и, не здороваясь, бросил:

— Семчик умирает,— и стал шарить по карманам.— Папиросы, черт, где папиросы?

— Семчик?

Я стоял, оглушенный этой вестью. Мне представился вдруг рыженький Семчик. Он тихо улыбался своей широкой улыбкой, раздвигающей рот до ушей. Я хотел представить его умирающим,— ничего не выходило. Семчик весело улыбался. Веснушки на его лице блестели, как звезды.

— Не может быть,— прошептал я.

Алексей протянул мне телефонограмму. Я прочел: «В Звановке кулаками тяжело ранен милиционер Дробис». Дробис? Кто это,— Дробис? Ах, да ведь Семчик

же и есть Дробис. Но мы всегда звали его просто Семчиком.

— Ты... поедешь со мной? — хрипло спросил Алеша.

Поеду ли? Мне захотелось вдруг подойти к Алеше и по-старому, по-дружески обнять его за плечи, сказать: «Ничего, Алеша, наш Семчик будет жить!»

Но я не сделал этого, сам не знаю почему. Молча оделся, молча вышел с Алешей на серую улицу. На конном дворе хрустела солома, пахло навозом и лошадьми. Выяснилось, что кучера нет. Алексей сказал, что поедем верхом. Заспанный конюх вывел коней. Мы поехали.

И вот мы молча скачем по пыльной, изнывающей от зноя степи,— Алеша впереди, я — чуть сзади. Мы мрачно молчим. Мы скачем час, другой, третий.

— Голубовские хутора! — кричу я Алеше, увидя впереди голубые глиняные хатки.

Но Алексей гонит коня, не разбирая дороги. Ярость клокочет в нем, я угадываю ее и боюсь.

«Наломает он дров!» — озабоченно думал я и с опаской глядел на маузер, болтающийся у него на боку.

Он, не узнавая Голубовских хуторов, пронесся мимо. Он ничего не узнавал. Полно, та ли это мирная голубая окрестность, по которой в детстве бродил он с Федькой Ковбышем в поисках хлеба, работы, удачи? Тот ли это жирный, усыпанный навозом и отороченный золотой соломкой хуторской шлях, по которому еще неделю назад он тащился, подремывая, в исполкомовском тарантасе, и мирные добродушные дядьки останавливались на дороге и говорили вслед лениво и ласково: «Та бувайте здоровы, шастлива путь»?

Сейчас окрестность ощетинилась, съежилась, насторожилась. Жара висит над ней, и это не ленивый, благодушный, степной зной, что легко ломит кости и клонит ко сну под случайным тополем. Нет, это тяжелая, как туча, духота, предгрозовая, мрачная. Нет ни облака в нестерпимо чистом небе, и Алексею кажется, что оно упало ему на грудь и давит своей подозрительной, душной голубизной.

Кругом тихо, но это страшная неправдоподобная тишина. Алексей знает, что враги попрятались в бурья-

не, в буераках, в балках, они притихли и ждут, пока свалится Алексей Гайдаш, чтоб и его, как Семчика, полоснуть ножом сзади, в спину.

В лицо вдруг хлестнула ветка, но Алеше кажется, что его полоснули шашкой. А! Враги и тут. Ему кажется, что пули свистят над ним, он припадает к луке седла. Конь споткнулся о камень — или ему набросили аркан на ноги, перерубили сухожилье? Всюду враги, вражьи ножи, вражьи обрезы.

Алеша мчится сквозь эту ощетинившуюся, злую округу, сквозь колючую степь. Ему хочется стрелять, кричать, жечь. Ярость душит его, и он хлещет коня нагайкой, колотит о впалые бока жеребца каблуками, кричит нетерпеливо и зло:

— Скорей! Скорей!

Я скакал, еле поспевая за ним. Я подпрыгивал в седле и думал: «Успеем ли мы? Застанем ли Семчика в живых?» Я не мечтал ни о расправе с убийцами, ни о репрессиях. Мне хотелось только увидеть тихие глаза Семчика, пожать ему руку, сказать: «Если тебе суждено умереть, старик, ты умрешь на руках друзей».

Жизнь разлучила нас. Где теперь Мотя? Он словно провалился со своей лихой тачанкой, и нет о нем ни вести, ни слуха. Где ты, Федя Ковбыш, по каким морям плавают твои легкие шхуны? А ты где, Юлька, девушка с каштановой косой? Был слух, что ты вышла замуж. За кого же, раз Рябинин вернулся к нам мрачным холостяком. Где ты, Юлеша? Отзовись!?.

Так думал я, а степь, по которой мы мчались, отвечала мне грустным эхом. Печально сохли от зноя вербы, придорожный тополь, желтый от пыли, задумчиво уступил дорогу моему коню.

Дорога вдруг упала в балку, густую и зеленую. Грустно застыли на деревьях листья, не шелохнутся. Деревья тесно сомкнулись в молчаливый кружок, как старые друзья, вспоминающие погибших. Почти пересохший ручеек печально замер на камнях.

Кони несут нас сквозь балку, сквозь колючую степь, вот косогор, и оттуда вдруг открывается Звановка: мирный дымок над трубами, беленькие глиняные хатки, седой очерет на крышах, ленивое стадо на пустынной улице. Здесь лежит в пыли сраженный кулац-

кой пулей Семчик. Я нервно натягиваю поводья. Алексей вдруг приподнимается на стременах и кричит хрипло, простуженно:

— Я сожгу это проклятое село дотла!.. Камня на камне...

И грозит Звановке нагайкой.

Смущенный и словно виноватый старик — сторож сельсовета — сказал нам, что Семчика перевезли в районную больницу.

Старик вздыхал, бормотал, растерянно разводил руками:

— Ай, бида яка... Ай, не доглядели... Какой человек был!

Мы поскакали сквозь притихшее съежившееся село. Искоса я поглядывал на Алешу. По совести скажу — я боялся, что он выхватит маузер и начнет перепалку.

У белого здания районной больницы Алексей на всем скаку спрыгнул с лошади. Жив ли еще Семчик? Алексей был уверен, что Семчику не оказали нужной помощи. Кто это мог сделать, раз Гайдаша не было?

— Сволочи! — ругался он, привязывая коня.— Где доктор? Где председатель рика? Где райком комсомола? Что здесь творится?

Но, когда он на цыпочках вошел в тихое, словно застывшее здание, его охватил вдруг страх, страх здорового, никогда не болевшего человека перед больницей. Осторожно ступая, он пошел по коридору. Пахло карболкой, хлороформом, лекарствами, и от этого с непривычки першило в горле, хотелось кашлять. Но Алеша побоялся кашлянуть: здесь рядом лежал Семчик. Он робко вошел в палату. Я за ним. Семчик был еще жив.

Семчик был еще жив, мы увидели это сразу. Его лицо, его глаза жили, его взгляд, сияющий тихой радостью, был обращен к нам.

— Вот мы приехали, Семчик,— сказал я.— Вот мы здесь, с тобой, старик.

— Да, мы приехали,— подтвердил Алеша. Кашель душил его.

От наших сапог струилась пыль.

Семчик улыбнулся нам.

— Больно? — спросил я и пожалел: нет, не следовало спрашивать об этом.

— Нет, не больно,— ответил Семчик, мучительно улыбаясь.— Я думал это будет... страшнее...

— Ничего, Семчик. Ого! Мы еще повоюем вместе, старик.

— Ну, разумеется... Я и не собираюсь умирать. Мне... ничего... Вот только курить охота.

— Вам курить нельзя,— поспешно вмешался доктор.

Семчик поднял на него печальные глаза и усмехнулся:

— Вредно?

— Да, гибельно.

— А если я курить не буду, выживу?

Доктор опустил голову и махнул рукой:

— Курите уж!

Семчик медленно перевел глаза на меня и, слабея, сказал:

— Так ты... принеси мне папирос... дружище...

Он закрыл глаза, казалось, забылся.

Мы молча сидели около него, смотрели в худое, покрывшееся легкой синевой лицо. Знали: он умрет, ничто не может спасти его. Алеша украдкой смахнул слезу, я сделал вид, что не видел ее.

Над койкой Семчика висела дощечка. Я прочел: «Дробис Семен Яковлевич. Год рождения 1907». Как мало он жил!

Когда-то, когда он еще был «курьером комсомола в уездном масштабе», мы подружились с ним. Он ходил в истрепанной отцовской фуфайке и в обмотках и был счастлив. Никогда он не унывал, жил как живется. Желал ли он чего-нибудь? О, разумеется. Он пламенно мечтал получить в собственное и безраздельное владение отцов наган или по крайней мере браунинг. Еще чего желал? Пожалуй, больше ничего.

Он лихо бегал с пакетами по городу, стойко голодал, любил крепко отца, брата и всех товарищей комсомольцев, ничего не читал, зато жадно слушал; утром уходил в уком, а ночью, еле волоча от усталости ноги, брел домой. Спал, широко разметав руки, причмокивая губами и посапывая. Ему всегда снились воинственные

сны. Простаивая ночи в чоновском карауле, он мечтал умереть от пули бандитов, защищая революцию. Вот она и нашла его, бандитская пуля.

У него не было никаких талантов, ни знаний, ни стремлений. Его спрашивали:

— Что ты хочешь делать, Семчик? Хочешь учиться, стать инженером?

А он отвечал, пожимая плечами:

— Что мне горком скажет, то и буду делать.

У него была только жизнь, он и предлагал ее горкому, а тот знал, что делать с нею.

Долгие годы Семчик был курьером укома, наконец его решили выдвинуть. Было просто неловко: все растут, а он курьер да курьер. Его избрали секретарем небольшой ячейки, но с этим делом он не справился. О, это была веселая, даже слишком веселая, дружная ячейка. Здесь пели лучше всех в городе. Впрочем, здесь только и делали, что пели да маршировали. Зато как пели! Семчика пришлось отозвать.

Потом он был агентом по сбору объявлений в газету, наборщиком, помощником заведующего столовой, комендантом общежития, заведующим каким-то складом, уполномоченным по распространению значков МОПРа, кладовщиком в пекарне... За всякое дело он брался охотно — ведь это было поручение горкома,— все он делал старательно, с душою, но... бестолково. Когда он был агентом, ему никак не удавалось добыть объявление. Очень уж у него был несолидный вид: он долго не мог расстаться с обмотками. В общежитии он никак не мог справиться с протекающей крышей. Он не знал, что делать с нею. Пришел и заявил:

— Крыша меня губит. Снимите с работы.

Алеша, который к этому времени уже был секретарем губкома, не знал, что делать с приятелем. Тот стоял перед ним, невинно и беззаботно улыбаясь, и моргал рыжими ресницами. Алеша сердился:

— Ну, чего, чего ты хочешь, еловая башка? Хочешь, я тебя осенью учиться пошлю?

Семчик пожимал плечами — как хотите,— но было ясно: с учебой у него ничего не выйдет.

Алеша соблазнял его блестящими перспективами. Он хотел разбудить в беззаботном приятеле червячка

честолюбия. Сам Алеша горел этим великим чувством: его уже звали заведовать отделом в ЦК комсомола, но это было не то, не то. Он лукаво ухмылялся: «Я от масс не уйду»,— и ждал.

Но у Семчика не было никакого честолюбия. Куда же девать его?

Кончилось тем, что Семчика послали милиционером в Звановку. И это неожиданно пришлось ему по душе. С необычайной важностью он носил форму. К нагану он прикрепил плетеный кожаный шнурок и прицепил его на пояс: «чтобы не украли оружие»,— важно объяснял он. Он был вполне доволен и гордился своим званием. Разве не вверили ему порядок и покой целого села? Разве не поручили ему бороться со старым врагом,— с кулаком и бандитом? Маленький Семчик почуял крылья за спиной. В первый раз в жизни он был на своем месте. Он обнаружил, наконец, свой талант. Никто лучше него не проникал в кулацкие махинации на селе. Он беспощадно вытряхивал зерно из кулацких ям. От него нельзя было ничего утаить. Он словно видел сквозь землю, чуял зерно.

— Здесь зерно. Здесь пахнет зерном,— говорил он, приказывая разрыть яму, и находил гниющее зерно.

Кулачье возненавидело милиционера — он гордился этим.

— Меня, вероятно, скоро убьют,— хвастливо сказал он мне, заехав как-то по делу в город. Да, он гордился, хвастался этим. Это было единственное, чем хвастался он.

Он нашел ее, бандитскую пулю, о которой думал, простаивая ночами в чоновском карауле, и его короткая, как песня, несложная жизнь вдруг наполнилась необычайным смыслом. Он жил, чтобы вот так умереть в бою. И умирает он, как жил,— просто.

Я вдруг почувствовал, что завидую умирающему Семчику. Завидую. Он умирает достойной смертью,— так и следует умирать комсомольцу. Пошли и мне судьба смерть хорошую — смерть в бою от пули врага. Я боялся умереть в постели от болезни, от сырости, от какой-нибудь простуды.

— От геморроя я умру,— вдруг пробурчал Алеша.

Я вздрогнул. Что это? Он думал о том же.

— Что останется от меня? — задумчиво продолжал Алеша.— Был, скажут, парень, жил, заседал и умер своевременно.

И первый раз за долгие годы он спросил себя, как он живет? Зачем? И ему показалось, что живет он зря, пусто, бестолково. Он гнал от себя эту мысль, но она его долго не покидала.

На другой день Семчик умер. Он умер, так и не докурив пачки «Дели», которую мы принесли ему в больницу. Открытая коробка лежала тут же, на белом больничном столике. В пепельнице стыли унылые окурки. Перед смертью он прошептал нам:

— Скажите всем, всем ребятам-комсомольцам, скажите, что умирать не страшно. Пусть не боятся... если надо будет... умирать...

Потом он стиснул мою руку и прошептал:

— Тсс! Тсс!

Он прислушивался к чему-то... И умер.

Мы решили похоронить Семчика в городе, где его знала и любила вся комсомолия. Гроб положили на линейку, и мы медленно поплелись по скверной дороге. Крестьяне Звановки молча провожали нас. Несмотря на дождь, все они были без шапок.

Я сидел рядом с гробом, охватив его руками, на ухабах мы подпрыгивали, я и мертвый Семчик вместе. Алеша верхом ехал рядом. Мы снова были втроем. Грустная серая дорога... Дождь... Туман...

Когда старик хоронит друга, он думает о смерти: скоро ли его черед? Когда молодой человек стоит над могилой товарища, он думает о жизни: правильно ли, верно ли я живу?

У постели умирающего Семчика Алексей спросил себя: «Как я живу? Зачем?» Он убежал тогда от ответа. Потом были хлопоты, похороны.

2

Вечером Алеша засел за работу. Его ждали дела, дела, бумаги. Управделами услужливо подвинул кипу папок. Между прочим, была телеграмма из ЦК ЛКСМУ. Срочно вызывали в Харьков.

«Зачем? — удивился Алеша. Ведь он был недавно.— А, делать им нечего!» — Он пожал плечами и углубился в работу.

Тревожные вести приходили из районов. Алеша чувствовал: закипает борьба. Какая, с кем? Как бороться? Стрелять, арестовывать, драться? Превратить комсомол в военный отряд, ринуться в бой?

Он встал, начал ходить по комнате. «Вот когда, Алексей,— сказал он себе,— ты должен был выдвинуть новый лозунг». Но со смущением вынужден был признаться, что, кроме сумятицы, вызванной смертью Семчика, у него сейчас ничего нет. Все, что казалось вчера ясным, понятным, простым,— сегодня вдруг треснуло и рухнуло с шумом.

Он вдруг вспомнил свой недавний провал в Белокриничной. Как не понял он, что это был тревожный сигнал? Но ведь это было до смерти Семчика. Всю свою жизнь он делил теперь на две части. Первая — большая, путаная, суматошная,— была до смерти Семчика, вторая — только начиналась сейчас.

В Белокриничной он случайно зашел на комсомольское техническое совещание. Ему встретился Павлик, и он дружески обнял его. Это была хорошая встреча — все комсомольцы видели: секретарь окружкома имеет личных друзей на заводе.

К удивлению Алеши, скромного Павлика избрали председателем. Алеша обрадовался: наши идут в гору.

Павлик был таким же, как и раньше,— нескладным угловатым парнем, с большими руками,— он не знал, куда девать их, смущенно вертел звонок.

Разговор на совещании шел о производственных делах. Алеша внимательно вслушивался, одобрительно качал головой. Вдруг он поймал себя на том, что он собственно не понимает, о чем идет речь. Начал вслушиваться еще напряженнее, мучительнее. Он разбирал слова, простые, русские. Но сущность спора — а уже поднялся спор — понять не мог. Речь шла, очевидно, о том, как наладить технологический процесс в связи с переходом на непрерывку. Это-то уловил Алексей, но больше ничего. Это не было удивительным — он имел о производстве смутное представление,— но это было обид-

но. Как! Он ведь сам был когда-то рабочим парнем, нарезал болты на плохом станочке, ходил в промасленной блузе. Наконец, он был секретарем самой индустриальной организации Украины, на съездах он так часто кричал о рабочем котле, говорил от имени «молодых кротов» Донбасса, употреблял в речах заводские словечки.

Это было страшно: он сидел на стуле съежившись и, тоскуя, смотрел в окно.

Вдруг секретарь райкома комсомола (подхалим, дурак, снять его надо к черту!) предложил выслушать мнение товарища Гайдаша.

Все закричали: «Просим, просим!»

Павлик смущенно топтался на месте, улыбался, спрашивал:

— Так как, дать вам слово, товарищ Гайдаш?

«Зачем он мне говорит «вы»,— поморщился Алеша.

Что же он скажет им? Что он может сказать? Его слушали сухо, потом просто равнодушно, кашляли, шептались. Кое-как он кончил речь. Секретарь райкома зааплодировал. Еще кто-то. В общем, это был провал.

Алексей сел на свое место и сжался. Ему хотелось уйти, провалиться сквозь землю. Вместо этого он должен был сидеть и слушать. Слушать и — не понимать.

Кто-то закричал:

— Павлик! Скажи ты! Как ты думаешь?

И все подхватили:

— Павлик! Павлик!

И сразу стихли, когда Павлик, смущенно откашлявшись, начал говорить. Он говорил сначала тихо, путаясь в словах, потом все увереннней, громче, он рос на глазах Алеши. Удивительная ясность была в речи молодого слесаря. Завод дышал в его словах мерно и непрерывно, бесперебойно работали цехи. Гудели воздуходувки, шли хопперы [1] с рудой к домнам, ка́тали бежали за вагонетками, сталевары стояли у печей... Это был слаженный механизм, действующий мерно, ровно и беспрерывно.

---

[1] Хоппер — саморазгружающийся вагон с кузовом для перевозки угля, руды и других сыпучих материалов.

Павлику горячо аплодировали. Старик инженер, пришедший к комсомольцам в гости, тихо прошептал:

— Умница!

Алеша услышал это.

Тихонько он вышел из клуба. Побрел по улице, нервно грыз папиросу. Что он чувствовал тогда? Досаду, только досаду. Но утром он все забыл. Это было до смерти Семчика.

Теперь он переживал все это снова, но во много раз острее, больнее. Он вдруг вспомнил Глеба Кружана — секретаря горкома комсомола, которого он, Алексей, «свергал» семь лет назад. Очевидно, и Кружан метался тогда так по комнате и не понимал, за что поднялась на него вся организация, что происходит там, на заводах, в ячейках, почему он отстал, сбился, напутал...

Тогда Алексей плыл на гребне волны, юный, свежий, сильный пловец. Неужели он так сдал за эти семь лет?

Что же происходило там, за этими широкими окнами? Ему вдруг захотелось броситься к окну, вышибить стекла, схватить и потрясти раму. Ну! Что там? А?

Он нервничал и злился. Он досадовал на себя за то, что не может разобраться, понять, что происходит у него в округе, в стране, в мире. Он искал и находил себе тысячу оправданий, но они не успокаивали его. В конечном счете он не виноват, что живет скверной, небритой, бестолковой жизнью, вечно в работе, в сутолоке, в суете. Подумать некогда, почитать не успеваешь. Ворох газет пылится на диване дома.

— Как я живу? — громко спросил он себя и почесал небритую щеку. Вопрос, родившийся впервые у постели умирающего Семчика, снова стоял перед ним во весь рост.— Как я живу? Зачем?

В его возрасте человека называют юношей. «Молодой человек! — говорят ему желчные старики в трамвае и обиженно оттопыривают нижнюю губу.— Молодой человек, потрудитесь-ка уступить место». Девушки краснеют при его появлении. Никто еще не знает его отчества. В газетных статьях его называют уменьшительным именем. Все подозревают в нем футболиста и удивляются, если он не бегает на лыжах.

В этом возрасте любят, мучаются, мечтают. Весной — о девушках, летом — о дорожной котомке, осенью — о командировке в вуз и призыве в армию.

В этом возрасте спать ложатся поздно, бродят, обняв за плечи девушек, разговаривают смеясь и вполголоса. Жизнь кажется легкой, розовой, она расстилается как дорога — все вверх, вверх, вверх.

Алексей Гайдаш был юношей. Ему шел двадцать второй год. Девушки краснели при его появлении, в газетных статьях его еще называли Алешей.

Но ему казалось, что он прожил другую, трудную жизнь. Он чувствовал себя усталым и старым. Века стояли за его спиной. Да и был ли он когда-нибудь молодым?

Любил ли он когда-нибудь девушек? Да, но тоже не так, как следует юноше. Насколько он вспоминает сейчас, он никогда ни одной из них не говорил о любви. Он не бродил с ними по улицам, не целовался у ворот. Он говорил им небрежно:

— Приходи сегодня вечерком.

И они приходили, робкие, покорные, согласные на все. Они мастерили ему чай, резали хлеб, колбасу, вероятно, они все-таки любили его.

Он относился к ним небрежно-снисходительно. И в этой небрежности были и кокетство, и ласка, и, если хотите, даже романтика: я человек деловой, и любовь у меня походная, боевая, случайная. Главное — работа.

Да, главное — работа. Разве он отдыхал? Его лицо посерело, он много курил, много работал, много заседал. Он редко бывал в парке. Попав сюда, он брел по похрустывающим дорожкам, важный, сосредоточенный. Очевидно, со стороны казалось, что он погружен в думы; комсомольцы, вероятно, шептались между собою: «Наш секретарь-то и тут свои планы планует». Но ни о чем важном он не думал. Он просто скучал, скучал, как щенок. Скучал потому, что не умел отдыхать. Потому, что разучился петь во все горло. Потому, что было неловко, несолидно идти по парку, как все, расстегнувшись, улыбаясь девушкам, болтая с парнями.

Иногда ему хотелось попросту подойти к девушке, сказать, что она ему нравится, спросить, что у нее за книжка в руках. Он подходил, девушка смущалась, он тоже смущался, на них смотрели,— или ему казалось, что на них смотрят,— он снисходительно спрашивал ее о пустяках. Она, краснея, отвечала. Неловко молчали. Потом он уходил. И опять брел один или с шумной гурьбой активистов, жадно втягивал воздух, всей грудью — раз, еще раз,— вместе с воздухом вдыхал пыль, песок хрустел на зубах, он сердито сплевывал. Нет, надо было сходить на реку. Как давно он собирался туда. И не был? В этом году не был. Некогда.

И в теннис научиться некогда. И на лыжах он не умеет ходить. Некогда. И на коньках не умеет бегать. Некогда? Нет, просто в свое время не научился, а теперь неудобно. Секретарь окружкома и вдруг пойдет по голубой ледяной дорожке, неловко ковыляя и падая на каждом шагу.

Однажды после долгого и дымного ночного заседания Алеша вдруг предложил активистам, задумчиво оглядывая их серые, усталые лица:

— А почему бы нам, друзья, не заняться спортом?

Все захохотали. Это было смешно. В окружкоме и вдруг сокольская гимнастика. Подскок, руки на бедра, раз, два, три, четыре...

— Ну, тогда футбол или теннис? — нерешительно спросил Алеша. Он сам не был уверен, нужно ли, можно ли это?

Ему ответил агитпроп:

— Что касается меня, то я для своей головы найду занятие поинтереснее, чем стукать ее о мяч.

Больше о спорте в окружкоме не говорили. Было не до спорта, не до отдыха, не до учебы. Юности не было — была комитетская бестолочь, сутолока, суета, и Алеша любил говаривать: «Эх, не жизнь, а сплошное заседание».

Он был всегда в деле, в драке, в борьбе. По всей Украине его знали как дельного секретаря комитета.

— Деляга! — восхищенно говорили о нем в центре.

Он шумел на съездах. Был мастером комсомольских склок, блоков, съездовских коалиций. Он объединялся с днепропетровцами против харьковчан или Киева.

К ним приставала Одесса. Они проводили свой состав Цека, проваливали кандидатуры «противников», горячились, спорили. Нужно ли это было для дела? Над этим не задумывался Алексей. Борьба была его стихией. Какая борьба — все равно. Другой жизни у него не было. Но сегодня, туманным вечером, после похорон Семчика, наедине с собою в гулком пустом кабинете перед пожелтевшими фотографиями старых съездов и пленумов, Алексей вдруг признался себе:

— Откровенно, между нами, девушками, говоря, Алексей, ведь это все мышиная возня. Твоя работа, твоя борьба, твоя жизнь.

Что? Он сказал это? Вслух? Его нервы совсем развинтились. Он скрипит, как несмазанный механизм. Вот он стоит и болтает глупости перед померкшими фотографиями. Кто выдумал этот дурацкий смешной обычай развешивать на стенах фотографии давно забытых пленумов? Ах, отдохнуть бы! Выспаться! Вырваться из бумажного потока на свежий воздух, глотнуть его — какой он? Соленый, крепкий, свежий? Посмотреть, как живут люди... Подумать...

Ночью он выехал в Цека.

Ростовский ускоренный пришел в Харьков вовремя, молодцевато брякнули буфера, замерли.

Алеша выскочил из вагона и — ослеп. Луч солнца вырвался откуда-то из-за перрона, пробил стеклянную крышу и, озоруя, ударил в глаза. Красные, желтые, зеленые, синие брызги, круги, шары запрыгали перед Алешей.

Солнечные пятна рябили перрон. Железные стропила, фонари, крыши стали легкими, воздушными. Весело дрожали тени железных решеток. Солнечные зайчики прыгали по зеленым вагонам, горели на медных бляхах носильщиков, на никелированных ручках чемоданов, на портфелях. Перрон качало, линии ломались, дрожали. Сквозь решетки и стропила на перрон, как листья, падали узорные пятна света. Это был солнечный листопад, июльская утренняя кутерьма, зорька вдруг помолодевшего вокзала, изобилие света и теней.

Странное дело, отчего Алексею стало легко и весело? Словно не было похорон, вчерашнего тяжелого вечера в пустом кабинете. Он сверил свои часы с вок-

зальными. Было удивительно их трогательное единодушие. Почему это так обрадовало Алешу? Он сам удивился этому. Почему он так радовался солнцу, праздничному перрону, девушке в вышитой васильками украинской сорочке, улыбнувшейся ему? Просто он хорошо выспался ночью, в поезде. Весело помахивая портфелем, он шел сквозь длинный перрон, насвистывал, дразнил портфелем собственную тень. Нечаянно толкнул кого-то, вежливо извинился... Солнечные пятна дрожали на его синем костюме, на желтых туфлях, на замке портфеля. Хотелось школьничать, прыгать, петь.

Вдруг ему показалось, что кто-то следит за ним. Он резко обернулся. Невысокий молодой человек в роговых очках и сиреневом прорезиненном плаще неотступно следовал за ним, пытаясь заглянуть ему в лицо. Алеша круто остановился.

— Вам что-нибудь нужно от меня? — спросил он в упор.

Молодой человек улыбнулся, снял роговые очки — теперь он был еще моложе.

— Вы Алексей Гайдаш? Не ошибся?

— Да. Я Гайдаш. Ну?

— Вы меня не помните? Разумеется. Не помните. Назвать себя? Вы все равно не вспомните. Не старайтесь. Ершов моя фамилия. Нет? Не вспомнили? Я так и знал.— Он весело рассмеялся.— Ведь через ваши руки нас прошло так много. Разве упомнишь всех? А я вас узнал. Сразу узнал. Но сомневался. Нет, это вы, Алексей Гайдаш. Я рад...

— Ершов? Фу, черт, ей-богу, не припомню...

— И не старайтесь! Не старайтесь! — почему-то обрадовался Ершов.— А я вас увидел еще в поезде. Но сомневался. И не рискнул подойти.

— Почему же? Я не кусаюсь. Но что же мы стоим, товарищ Ершов? Пойдем.

Они прошли сияющим перроном, вышли на площадь. Алеша искоса глядел на Ершова. Нет, не может он его вспомнить. Даже неловко...

— Давно я не видел тебя, товарищ Гайдаш. Сколько же? Ну да, шесть лет. Ведь ты меня на учебу посылал. Ну, вот,— Ершов сконфуженно улыбнулся,— я не подвел тебя. Я химик. Инженер... Недавно кон-

чил. Уже работаю. Если ты, конечно, интересуешься этим.

— А! Как же! Как же!

Они зашли в кафе выпить по чашке кофе. Весело болтали. Ершов ни за что не хотел позволить Алеше уплатить. Они долго спорили. Ершов настоял на своем. Тогда Алексей потребовал пива... Они торопливо подливали друг другу в бокалы, пена выплескивалась на столик, на холодное стекло, они высоко подымали бокалы, вставали и чокались.

— За расцвет нашей химии! — провозглашал Алеша, и химик благодарно звенел своим бокалом об Алешин бокал.

— За твои успехи, товарищ Гайдаш!

Они пили холодное пиво в пустынном утреннем кафе. Кроме них, никого не было. Официантка с любопытством смотрела на двух торжественно чокающихся людей.

«Вот он,— мой химик, мой! — весело думал Алеша.— Даром я жил на свете? Даром ел советский хлеб? Вот я воспитал человека. Он мой химик, мой».

И он нежно, отечески смотрел на Ершова. Они вышли вместе. На Павловской площади тепло простились, долго жали друг другу руки и, наконец, расстались, условившись вечером встретиться в ресторане. Алеша пошел в Цека. Он шел, высоко подняв голову и улыбаясь. Шел и пел. Вот он расскажет сейчас ребятам об этой замечательной встрече. Наша награда, скажет он, награда нам, комсомольским лошадкам,— вот эти люди, которых мы воспитали и вывели на широкую дорогу. И он напевал. «Человек сам себе награ-а-а-да-а-а, если только умеешь жить. Хочешь быть человеком, что на-а-а-до-о-о, и не знаешь, сумеешь ли быть... и не знаешь, сумеешь ли быть... И не знаешь...»

В Цека его встретили странно, так по крайней мере показалось Алеше.

Инструкторы, у которых он спрашивал, зачем его вызвали, разводили руками.

— Иди к секретарю. Он вызывал.

— Совещание, что ли, какое? — сердился Алеша.

Но они только пожимали плечами в ответ. Алеша пошел к секретарю. За его спиной подымались приглушенные разговоры — он слышал какие-то обрывки их, но ничего не мог понять.

Он вошел к секретарю ЦК.

— Я приехал. Ну?

Секретарь поднял голову и улыбнулся.

— А, приехал! Ну, садись. Кури!

Вечером усталый Алеша зашел в ресторан поужинать. Он не обедал, был голоден и мрачен. Вдруг он увидел своего утреннего приятеля — Ершова. Как некстати была эта встреча! Алексей пошел было к выходу, но Ершов уже радостно окликнул его. Пришлось остаться. Алексей с тоской подумал, что сейчас хорошо бы побыть одному, пить пиво где-нибудь в сырой пивной, слушать хриплый баян, жевать мокрый горошек...

«Преуспевающий очкарь!» — с неожиданной ненавистью подумал он о химике, мелкими шажками бежавшем к нему.

А Ершов, не подозревая, что вечерний Гайдаш уже не тот, что Гайдаш утренний, радостно спешил навстречу. Очки блестели. Галстук сбился набок.

— Привет! Привет! — дружелюбно выкрикивал он.— Я нашел чудесный столик у стены. Мы роскошно поужинаем и прекрасно закончим отличный день. Да-а, денек, денек...

Он потащил Алешу к столику, суетясь, заказал ужин, побежал в буфет, вернулся; он был возбужден, чем-то сильно обрадован и не замечал мрачной молчаливости Алеши. Он один болтал без умолку, перескакивая с предмета на предмет, неумело пыхтя папиросой, которая то и дело потухала, чиркал спичкой и снова говорил, говорил... О том, как его прекрасно встретили в главке и как интересовались его проектом, какие чудесные перспективы открываются перед советской химией и перед заводом, который он, Василий Ершов, будет строить. Какой, в сущности, замечательный денек сегодня. Началось с того, что утром, на вокзале, случайно он встретил человека, который принимал его в комсомол, посылал на учебу, о встрече с которым он

мечтал все студенческие годы, и вот день кончился, уже темно за окном, звенят трамваи, шумит столица, поют скрипки, блестят люстры, а они с этим человеком сидят в шумном, веселом ресторане, курят, поют, чокаются, говорят о будущем завода, страны, об их собственном будущем.

Будущее? Алеша с шумом поставил стакан на стол. «Будущее? Что ты понимаешь в нем, щенок?»

Он ненавидел сейчас химию, этого восторженного розового поросенка. Чему он радуется? Что ему повезло сегодня? Его прекрасно приняли в главке? Сегодня ласково встретили, завтра прогонят в шею... Вот он воспитал этого человека, вывел в люди, сделал комсомольцем, ученым, химиком... Он дал ему все: путевку в вуз, стипендию, общежитие, возможность учиться, читать, расти. И он спокойно учился, этот беззаботный очкарь, перебирал формулы, играл ими, как ребенок разноцветными шарами. А Алеша в это время, не разгибая спины, позабыв о сне и отдыхе, трудился над воспитанием и продвижением вверх сотен других, таких же. О, конечно, Алексей не научился читать синие чертежи машин. В голубых жилках на кальке он, увы, ничего не смыслит. Он не построит завода аммиака и нашатырного спирта. И даже плохой кирпичной трубы ему не выложить. Даже бани. Даже сарая. Он не учился в университете, простите это ему великодушно. Учились другие, а он занимался в это время пустым, зряшным делом: воспитывал молодых большевиков. Что же, казните его за это! Ругайте! Смейтесь! Он сам над собой смеется. Дурак! Дурак! Ты не сделал карьеры! Так, кажется, это принято называть. А Ершов сделал, умница, молодец, слава ему...

— Карьерист ты, карьерист, шкура.

— Я карьерист? Я? — смешался Ершов. Его очки вдруг запотели. Он снял их и начал протирать дрожащими пальцами. Теперь без очков, смущенный, растерянный, с капельками пота на розовом лбу, он был похож на ребенка, обиженного до слез.— Я карьерист? — спрашивал он тонким, дрожащим голосом.

Алеша ненавидел его сейчас. За что ему такая удача? Комсомол выучил его, вывел в люди, а он, что он дал комсомолу? О, конечно, химик ответит сейчас, что

он даст в будущем, он построит заводы, индустрию, лаборатории... А вот Алеша все отдал комсомолу, и не «в будущем», а сейчас. Он отдал комсомолу свою молодость, здоровье, силу, и ясные дни, в которые он не видел ни солнца, ни реки, ни леса, и лунные ночи, в которые он не знал ни любви, ни сна, ни счастья, а только заседания, бумаги, дела. Он отдал комсомолу самые лучшие дни своей жизни — разве вернешь их? А что он получил взамен? Что ждет его в будущем? В будущем, о котором так сладко вопит очкарь? Ничего. Кто он теперь? Бывший секретарь губкома, окружкома многих созывов, бывший. Куда он пойдет сейчас? О, он не учился в эти годы, как другие. У него нет знаний, специальности, профессии, талантов. Его профессия — руководить комсомольцами. Его талант — воспитывать людей. Но сегодня его признали негодным для этого дела, его вышвырнули, как щенка, как выжатый лимон, как ветошь. Что ж ему делать теперь? Заведовать баней? Идти чистить ботинки? Конечно, он не пропадет, не таковский. Он тоже может пойти учиться. Станет желторотым студентом. Пять лет будет долбить формулы. И когда одолеет их, наконец,— придет на поклон к Ершову, тому самому, которого принимал в комсомол. Ершов будет уже старым инженером спецом. «Молодой человек,— скажет он Гайдашу,— нам нужно практика». О! Кто вернет Алексею потерянные годы!

Ершов стоял перед ним взлохмаченный, потный. На его глазах дрожали слезинки, лицо было красно.

Он не понимал, за что обругал его Гайдаш, за что он назвал его «шкурой», самым обидным для комсомольца словом. Шкура! Ее никогда не щадил Ершов. Увы, ему не пришлось дырявить ее на фронте, он был мал тогда, но и Гайдаш был молод. Зато в институте он не щадил себя. Парень, никогда не учившийся раньше, до всего дошедший самоучкой, он с трудом одолевал науку. Как он учился! Как голодал! Это знает только он: никому он никогда не жаловался. Чтобы не помереть с голоду, ходил на товарную станцию грузить вагоны. У него небогатые мускулы, случалось, он падал под мешками. Кто знал об этом? Харкающего кровью его унесли как-то с лекции. Он очнулся в больнице. Первое, что он попросил: «Принесите книги». Он хотел

учиться; жадно, с мужицкой лихорадочной страстью он приобретал, копил знания. Уязвимый со всех сторон, воевал с закованными в латы науки консерваторами. Он мечтал скорее кончить вуз, броситься в работу, строить, делать, создавать — химия нужна стране. Однажды старик профессор, который любил и выделял Ершова среди вихрастой студенческой массы, поделился с ним своею идеей. Два года они с профессором втайне от всех работали в лаборатории. То были годы сомнений, неудач, тревог, обманутых ожиданий. Однажды после решающей неудачи старик не выдержал и разрыдался. «Мне осталось немного жить,— говорил он ученику,— зачем я жил? Я умру, не решив задачи». Тщедушный Ершов утешал его: «К сожалению, мы с вами глубоко штатские люди, Константин Васильевич. Солдаты рассуждают не так. Они умирают, но не сдаются». И вот сегодня, когда они победили, он, комсомолец, и старик профессор, когда их идея признана, для них будут строить завод, когда их труд увенчался таким успехом, его вдруг обругали карьеристом и шкурой. И это сказал ему человек, которого он искал и, наконец, нашел, чтобы с радостью и гордостью отрапортовать, как командиру: «Вы послали меня учиться, я выучился. Это было трудно, чертовски трудно. Но вот я победил. Я рад сказать вам об этом, ребята».

Задыхаясь, он говорил все это Гайдашу. Они говорили оба, вместе, все повышая голос, не слушая, не понимая друг друга. Они говорили на разных языках, но это был один язык — язык обиды.

Вдруг они разом оборвали спор, поняв, что говорить не о чем, залпом допили бокалы, молча рассчитались, каждый щепетильно, до копейки, оплатил половину счета, и, не простившись, разошлись чужими людьми.

Алеша вернулся в пустой и неуютный номер гостиницы. Он долго шагал по ковру, вспоминал, переживал свою сегодняшнюю беседу с секретарем Цекамола, разговаривал сам с собой, пробовал петь. Бросился на диван, хотел уснуть — не мог. Снова вскочил, стал смотреть в окно — оно выходило в темный и пустой двор. Со всех сторон к окну надвинулись мрачные громады домов. Вернулся к столу. Сел. Взял телефонную трубку. Кому бы позвонить? Подумал. Опустил трубку.

Звонить было некому. Раньше, бывало, чуть он только приедет в столицу, телефон в его номере начинает звонить беспрерывно. Находятся друзья, знакомые, девушки. Кому-то он нужен по делу, кто-то хочет зайти потолковать, третий зовет на вечеринку, в театр, в кино, четвертый просто хочет зайти пожать руку, поболтать. Сейчас телефон молчал. Один только раз вдруг брякнул звонок. Алеша бросился к трубке.

— Слушаю,— нетерпеливо закричал он.

— Проверка,— равнодушно ответил ему чужой голос.

Больше телефон не звонил. Откуда они узнали, думал Алексей о друзьях, о том, что случилось с ним в Цекамоле сегодня? Неужели уже все говорят об этом в городе? Как быстро исчезают друзья у человека.

Он больше не мог оставаться дома. Его тянуло на улицу, к людям. Одиночество пугало его. Это хуже, чем смерть.

Он выскочил на улицу и пошел куда глаза глядят. Он толкался среди людей. Вскакивал в трамвай, куда-то ехал и там, где сходило больше народу, зачем-то сходил и он. Он отдавался людскому потоку, и его волочило по улицам, вышвыривало на площади, втискивало в сады, скверы, прижимало к стенам. Как странно, что он не встретил ни одного знакомого. Раньше они попадались на каждом шагу. Наконец, он устал. В какой-то дымной, полутемной пивной, похожей на баню, он отдал якорь. Холодное пиво успокоило его. Он стал разглядывать людей, стены, столики.

За соседним столиком шумела какая-то веселая компания. По развязному поведению ее, по клетчатым бриджам и претенциозным костюмам, по специфическим остротам и словечкам, наконец, по их обращению с официантом Алексей сразу узнал в них киношников или журналистов — категории людей, которые он всегда ненавидел. Это были люди другого, нежели он, мира. Он испытывал к ним открытое недоброжелательство и затаенную зависть. Эти шумные, беспечные люди ни за что не отвечали, им все прощалось, они пили пиво, высоко подымая пенящиеся кружки, кричали «прозит!» и чувствовали себя здесь, в пивной на Екатеринославской, словно в мюнхенском гофманском кабачке, им

казалось, что они, как герои Гофмана, сидят на пивных бочонках, они кричали, пели и смеялись, как следовало богеме. Знали ли они железные слова: «организация», «дисциплина», «выдержка»? Алеша выпил залпом кружку, отер горячие губы и вдруг спросил еще пива.

— Алеша? Алеша! Ты ли? — раздался вдруг радостный голос, и к нему на шею бросился человек. Алеша успел узнать в нем Вальку Бакинского.

Валька был в ковбойской рубашке, в серых бриджах и гетрах, он был из компании киношников, и первое, что он сделал,— потащил к ним Алешу.

— Друзья! — торжественно произнес он и поднял кружку,— вот мой товарищ Алексей Гайдаш. Я не видел его шесть лет. Но я заявляю всем, имеющим уши, что это лучший человек в мире. И если кто оспаривает это или не согласится, тот мне не друг, и я попрошу его покинуть наше общество.

Но все закричали, что они горячо убеждены в том, что неизвестный им Алексей Гайдаш — лучший парень в мире, раз он друг такого парня, как Валька Бакинский; все стали чокаться, пить, разом разговаривать, шуметь, петь... Кислый чад, дым, испарения подымались к низко нависшему потолку. В этом дыму мелькали лица, кружки, столики,— и Алексей почувствовал, что все это нравится ему, все ему приятно,— и люди (киношники), и пиво (холодное, Новой Баварии), и сам он, размякший, распустившийся, как студень, на стуле, подобревший и повеселевший, нравился себе. Все закрутилось, поплыло перед глазами, теплое, мягкое, доброе.

Из пивной ушли поздно. Валька пошел провожать Алешу. Как всегда, говорил он один, Алеша молча слушал и жадно вдыхал холодный воздух ночи, он трезвел на улице.

Бакинский уже шесть лет болтался в столице. Он приехал сюда, как Растиньяк, завоевателем, а стал обывателем. Как и у Растиньяка, у него было мало денег, зато много талантов. Но много талантов — это ни одного таланта. В этом скоро должен был убедиться Бакинский, но человека можно было убедить в чем угодно, но только не в том, что он бездарен. На место каждой разбитой иллюзии немедленно подымалась новая.

Раньше всего Бакинский попробовал себя на сцене. Еще в детстве Алеша прозвал его «актером». Но актер из него не вышел.

— Я не могу изображать чужие чувства,— говорил он,— когда у меня вот здесь,— он показывал на левую сторону груди,— здесь кипят свои чувства, более богатые, нежели у пошлых персонажей.

Но это была эффектная отговорка, их много было у Бакинского. Одни и те же для всех случаев, они помогали ему беспечно жить, надеяться и даже внушать своим знакомым веру в себя. На самом деле он ушел со сцены потому, что не хотел работать; он ждал, что его чудесный талант повергнет и режиссуру и зрителей в священный трепет, но режиссер, признавший, что в Бакинском «кое-что» есть, заставил его учиться дикции, ритму, пластике, движениям. Бакинский обещал.

Ему показалось, что он умеет рисовать. Часто в восторге он замирал на улице. Паровозный дымок над вокзалом, уголок городского сада, клен, вырвавшийся из чугунной решетки, огни большого города сводили его с ума. Это надо было зарисовать немедленно, тут же. Сельские пейзажи были чужды ему. Он был городской человек до мозга костей, с ног до головы. О степи он писал: «Я бреду по зеленым мостовым», и ветер он называл: «Стремительным, как трамвай». В восторге он останавливался перед сосульками на водосточном желобе. Как это можно нарисовать! Весна в городе, весна, стесненная площадями и водосточными трубами. Капель падает с крыш. Дворники сгоняют снег метлами. Дворник, торжествуя, делает весну в городе.

Он любил город. Чем он был шумнее, тем лучше. Сутолока, бестолочь, пестрота большого города владели им. Он хотел рисовать, писать это широко, размашисто: красные, белые, синие пятна — созвездия пятен, бестолочь пятен, музыка пятен.

Он не владел рисунком. Карандаш был непослушен ему. Он мазал широкой кистью. Одни называли его урбанистом, другие — бездарью. Во всяком случае, о нем говорили. Следовательно, он был художником. Он мечтал уже о собственной мастерской.

Вдруг картины перестали писаться. Целыми днями просиживал Бакинский перед загрунтованным холстом,

курил, нервничал и не мог писать. По неровной, серой поверхности холста проносились какие-то неясные тени, смутные видения картин, призраки образов. Бакинский пробовал задержать их на полотне, приковать кистью, воплотить в материальные формы — ничего не получалось. В отчаянии он бросал палитру, бродил по улицам — и тогда картины, одна полноценнее другой, возникали в его разгоряченном воображении. Он прибегал домой, бросался к холсту, хватал кисти и... иссякал. Что-то корявое, неуверенное, непохожее появлялось на проклятом холсте.

Тогда он придумал отговорку: «Я ношу картины и образы в душе, разве я могу предать их гласности».

Забросил живопись и успокоился.

Он попробовал писать стихи. Несколько первых эффектных безделушек его появилось в харьковской печати и понравилось. Он начал писать много, но все пустяки — он задарил всех знакомых девушек стихами, посвященными им. Он даже стал говорить стихами. Он сочинял поэму по поводу шницеля, поданного к столу, собаки, найденной приятелем на улице, анекдота, рассказанного за кулисами в шумной актерской компании. Эти шутливые поэмы добросовестно выучивались приятелями, становились крылатыми, создавали Бакинскому в маленьком мирке славу большого поэта. Кто-то прозвал его харьковским Франсуа Вийоном. Чтоб поддержать это имя, Бакинскому пришлось устроить несколько скандалов в ресторане, переночевать в милиции и сдружиться с проститутками Екатеринославской улицы.

Но когда он попробовал написать серьезные вещи,— произошло то же, что с живописью! Девственно чистый лист бумаги долго лежал перед ним на столе, пока не покрывался пеплом папирос, чертиками и закорючками. Писать было не о чем. Напрасно копался он в своей душе, в воспоминаниях, в биографии. Странную пустоту ощущал он в себе. Он был прозрачно стеклянным, как стакан, в который забыли налить жидкость. Оставалось придумать очередную отговорку: «Я поэт в жизни, а не в переплете»,— и приступить к новым поискам. Слишком много талантов было у него, трудно было среди них найти один, настоящий.

Литературные друзья любили околачиваться около него. Он был начинен сюжетами, трюками, выдумками. Этим сюжетам не хватало плоти и мяса, им суждено было навеки остаться бесплотными и нематериализованными. Друзья выпрашивали у него сюжетцы, и он охотно дарил их, щедрый, как всякий бедняк.

Свои стихи не выходили, а к поэзии он пристрастился. Тогда он стал читать чужие стихи с эстрады. Тем более, что с деньгами было туго. Он читал стихи своих приятелей, но это не нравилось публике. Она требовала классику и Безыменского. Он любил те стихи, которые совпадали с его настроениями, меняющимися, как погода в мае. Самое замечательное произведение искусства может оставить тебя равнодушным, если ты настроен не в лад с ним, не на одной волне. Счастливо влюбленный никогда не поймет горьких стихов Катулла. Сейчас Валька любил лиловые стихи. «Это тебе непонятно, Алеша? Как же объяснить? Это очень сложно и очень просто. Понимаешь, мир для человека окрашивается поразному. Вот у тебя, очевидно, все окрашено в красный колер (Валька снисходительно усмехнулся). У меня бывают то голубые настроения (обычно в июне), то сиреневые, то розовые. Но преобладает лиловое. Лиловые сумерки большого города. Встречи в парках. Лиловый свет заполняет маленькую комнатку. Пахнет тонкими духами, мягким женским бельем, надушенными цветами... Теплые девичьи руки, полушепот, полустихи, полубред...»

Чем он жил все это время? Были ли у него деньги, откуда? По совести, он сам не знал этого. Он что-то писал в газетах, какие-то статьи, рецензии, мелочишку, что-то делал на радио, какие-то инсценировки, оратории, монологи, чем-то промышлял в кино. Об этом он говорил глухо, ему не хотелось признаваться ни перед Алешей, ни перед самим собой, что он стал просто халтурщиком, ремесленником, зарабатывающим себе на пропитание сдельной работой в искусстве. Блестящие перспективы не покидали его. Теперь он решил стать сценаристом. Но он был уже сильно потрепан жизнью. Он выглядел значительно старше своих лет. Энтузиазм, восторг, любовь, ненависть — все это были лишь ходовые слова, Валька давно научился смеяться над ними.

Алеша молча слушал признания друга. Друга? Как давно они не виделись. Они разошлись еще тогда в двадцать втором году, когда Алеша стал комсомольцем. Он живо вспомнил последнюю встречу с Бакинским. Валька в знаменитой зеленой толстовке с бантом шел по улице, две девушки были с ним — Марина и Тася. Тася! Алеша, усмехнувшись, вспомнил свою первую, смешную любовь. Они остановили Алешу и весело позвали с собой на вечеринку. Он сказал им, что стал комсомольцем. Как ужаснулись они! Как смешно перепугались. Валька стал отговаривать его, будто можно было его, парня с Заводской улицы, отговорить от комсомола? Что он говорил тогда? Что-то о свободной личности, о насильственной дисциплине, о том, что в комсомоле — разврат (ах, целомудренный Валька!), и еще о том, что вокруг бродят бандиты и неизвестно, устоит или нет советская власть. Устояла?

Ему вдруг захотелось спросить об этом Вальку, поддразнить его. Он, вероятно, и сейчас не в комсомоле.

Как странно вновь скрещиваются пути маленькой группы ребят — детворы с Заводской улицы. Алексей вспомнил Павлика, Сережу, Мотю. Где-то теперь Мотя? Потом вспомнился умирающий Семчик. Алеша нахмурился. Вальку он больше не слушал и не спрашивал ни о чем.

Так подошли они к гостинице, поднялись в номер; Валька потребовал водки, сбегал в ресторан и сам принес ее. Сели пить.

— А ты напрасно думаешь, Алеша, что я конченый человек,— вдруг сказал Бакинский.

— Вот новости. Я не думаю этого.

— Нет, думаешь. Многие думают так про меня. Я знаю. Но я-то знаю себя лучше вас. Я знаю, на что способен. Обо мне еще заговорят.

И он снова стал говорить о себе. Это была единственная тема, на которую он мог говорить,— так было и восемь лет назад. Неудачи? Да, он потерпел немало неудач. Он перепробовал себя во многих профессиях. Не его вина, если эти профессии оказались слишком узки для него. Что же! Не вышел из него художник — тем хуже для живописи. Какого человека она лишилась! Он

чувствует в себе силы, огромные силы. Их даже слишком много для одного человека. Он не знает еще, куда приложить их. Последнее время он много занимается политикой. Это не должно удивлять тебя, Алеша. Но политика всегда была любопытна ему. Политика — это борьба. Вспомни хотя бы наши бои в школе...

Алеша усмехнулся. Он вспомнил.

— Что-то было,— сказал он, пренебрежительно пожимая плечами.— Ты в партии? — Он изучающе посмотрел на Бакинского.

— Нет еще. Я комсомолец. Но...

— Как? Ты комсомолец?

— Это удивляет тебя? — сконфуженно улыбнулся Бакинский.— Тогда не будем говорить об этом. Давай пить водку.

Странное дело, он пил и не пьянел. Видно, был натренирован. Хрустели огурцы между зубами...

— Политика! — вдруг произнес язвительно Бакинский.— Для тебя политика — это карьера. Прости,— он заметил движение Алеши,— но на правах старого друга я могу тебе сказать, что думаю. Если тебя это расстраивает — пей водку. Пройдет. Да, для тебя политическая работа — это карьера. Ты аппаратчик, так, кажется, называется? Раньше говорили проще: чиновник. Толстый, жирный, равнодушный чиновник. Ты сидишь в своем комитете от и до. Что ты читаешь? Как живешь? Ты стал провинциалом. Пьешь, вероятно?

— Пью понемногу. Да тебе-то какое дело?

— И, вероятно, девочек, девочек много?

Алеша пожал плечами. По какому праву этот чужой человек говорит ему те самые обидные вещи, которые он сам себе уже не раз говорил.

— Политическая работа,— продолжал Бакинский. Он неожиданно незаметно для себя и для Алеши перешел в наступление,— политическая работа — это только ступеньки той лестницы, по которой ты шагаешь от чина к чину. Кто ты теперь? Губком? Окружком? Разве видишь ты, что делается вокруг? Вы все ослеплены, задавлены аппаратом. Штемпель вместо головы. Ручка от телефона. Вот кто ты,— он глотнул залпом рюмку.— Тебя удивляет — поэт Бакинский стал политиком. Политическая работа для меня — это борьба. Я не могу быть

равнодушным, черт возьми, когда все вокруг идет к гибели. Все сошли с ума. Страна рвется куда-то, к черту, в облака. Она хочет прыжком догнать капиталистические страны. Авантюризм! Они хотят построить у нас эйфелевы башни, будто мы Париж, а не... Рязань. Все идет к черту, в пропасть. И мы это видим. Видим. О, разумеется, ты не видишь ничего. Ты видишь только лестницу чинов! Кто ты теперь — высокопревосходительство или еще только благородие?

— Никто.

— Как никто? Секретарь окружкома или губкома?

— Я тебе сказал: я никто.

Он был сильно пьян, Алексей Гайдаш. Все, что говорил Бакинский, проходило мимо него, не задевая. Но воспоминание о сегодняшней обиде вдруг вспыхнуло в нем при последних словах Вальки. Никто, да, он теперь никто. Каково ваше социальное положение, Гайдаш? Никто. Должность? Никто. Профессия? Никто. Он — никто. Он даже меньше Бакинского, который все-таки что-то: сценарист, халтурщик, литературная тля.

Именно ему, Бакинскому, знавшему Алексея на подъеме, не хотел он рассказывать того, что случилось сегодня. Но обида клокотала в нем, она мучила его целый день, он не находил себе места, покоя, отдыха. Нужно было кому-нибудь, сочувственно слушающему, излить ее. А Бакинский вдруг весь превратился во внимание. Сочувствие было написано на его выразительном лице. С чего же начать? С бессонных ночей, которые он отдал комсомолу? С Ершова, которого он вывел в химики? Или прямо с сегодняшнего разговора в кабинете секретаря Цекамола? Его нетрудно вспомнить. Резкий голос секретаря звучит еще в его ушах. «Ты отстал, Гайдаш, жестоко отстал! Ты потерял руль, скорость, высоту. Ты потерял ориентировку, организация переросла тебя. Она работает, ты болтаешь. Времена подходят крутые, Гайдаш. Переходим в наступление. По всему фронту. Нужны бойцы, а не чиновники. Нужны работники, а не трепачи. Нужны руководители, а не демагоги. Взгляни правде в глаза. Возьми себя в руки. Пойми свои ошибки. Еще не поздно». Но Алексей не видел, в чем ему следовало каяться. Разве не отдал он работе все,

что имел, без остатка: силы, здоровье, время, молодость? Почему он вдруг стал плох? Еще недавно тот же секретарь Цекамола хвалил его. Что произошло? Что случилось?

И со свойственной Алеше раздражительностью, он грубо ответил секретарю:

— В тираж меня хочешь сдать? Я нынче уж не пришелся ко двору? Сдавай. Сдавай в тираж.

Очевидно, у него были завистники в Цекамоле; они не могли равнодушно видеть, как растет этот смелый, независимый, не кланяющийся никому и — это готов был признать Алеша, только это,— грубый, даже нетерпимый, если хотите, заносчивый парень.

— Но это мои личные недостатки,— говорил он секретарю,— их не переделаешь. Берите, каков есть. Но ведь на моей работе это не отражается.

Секретарь с недоумением смотрел на него.

— Ты что, в самом деле не понимаешь или прикидываешься? — спросил он удивленно.— Понимаешь ли ты, что происходит у тебя в организации?

Но Алексей ничего не хотел понимать. Почему его считают мальчишкой, ребенком, олухом? Разве он не видит тайных пружин всего этого дела?

— Тайных пружин? — воскликнул секретарь. Ему вдруг захотелось крепко обругать этого зарвавшегося, самоуверенного парня. Но неожиданно для самого себя он взглянул на него с сожалением и брезгливо произнес: — Хорошо. Я тебе потом растолкую. Тебе надо отдохнуть. Поезжай в отпуск. Предварительно сдай организацию. Вернешься из отпуска,— потолкуем. Может быть, можно еще спасти тебя для работы. Пойдешь в Цека.— Он посмотрел в окно и добавил, не глядя на Алексея: — Будешь инструктором.

Инструктором? Алексей даже задохнулся от бешенства. Он ничем не мог ответить. Он стиснул кулаки, закачался, потом вдруг круто повернулся и сильно хлопнул дверью. Он бежал по прямым коридорам Цекамола не помня себя. Он выбежал на улицу, вскочил в трамвай, затем немедленно слез. Что произошло с ним? За что? Он не понимал этого и сейчас в тусклом номере гостиницы, рассказывая об этом Вальке Бакинскому. Может быть, Валька объяснит ему?

Но Валька хохотал. Долго, вкусно, со смаком он заливался веселым, злым смехом. Он подпрыгивал в кресле, хватался за живот.

— Вот! — кричал он в восторге.— Вот! Вот! Вот как это забавно! Как это смешно, можно застрелиться от смеха. Ну, кто ты теперь? Кто? Скажи мне, кто ты? Ах, иди в сценаристы, друг мой. Я устрою тебя. Мы напишем с тобой комический фильм об одураченном секретаре окружкома...

— Врешь, сволочь! — уныло отругивался Гайдаш.— Врешь! — Как он жалел, что рассказал все Бакинскому. Вероятно, он действительно выглядел сейчас смешно.

А Валька издевался все злее и злее. Он не пощадил ничего, камня на камне не оставил от Алеши. Тот слушал его, опустив голову на руки, не имея ни сил, ни желания возражать, спорить, драться. Что он мог сказать ему? Дуррак! Дуррак! Дуррак! Он казнил себя и мрачно хлебал водку.

Вдруг Бакинский переменил тон. Что это? Он стал нежным. Его голос звучал легко, тепло, дружески.

— Ах, Алеша! Мой старый, бедный друг. Это не смешно... Это, знаешь, грустно, очень... Я смеюсь, скрежеща зубами. Мне обидно за тебя, за себя, за всех нас. Но ведь это не случайность. Это система, страшная, бездушная система. Слушай,— его голос вдруг перешел в шепот,— слушай, что я скажу тебе. Никогда я еще не был так серьезен, как сейчас. Слушай, пожалуйста.

Он начал взволнованно шептать, придвинув свой стул ближе к Алеше. Он говорил о стране, о партии, о времени, в которое живем. Он горячо шептал, приближая свое лицо к лицу Алеши, обдавая его тяжелым запахом водки, гниющих зубов, затхлого рта. Алеша слушал его молча, потом подозрительные ноты заставили его насторожиться. Он наклонил голову, чтоб лучше слышать. Он внимательно вникал в слова. Он трезвел. Что такое? Что происходило? Бакинский растравлял его обиду, он направлял ее в какое-то новое, неожиданное русло и давал ей политические ярлыки, организовывал, раздувал ее. Вот он уж зовет куда-то Алешу. Предлагает ему встретиться с другими людьми, с настоящими друзьями, которые поймут, оценят Алешу...

Как он смеет! Как он смеет говорить такое Алеше? Как он смеет предлагать ему такие вещи! Алеша начал тяжело дышать, он побагровел весь, кулаки его сжались. Неужели он так низко пал, что всякая сволочь уже считает его своим? Почему? Потому что его обидели? Что за чушь? Партия не может его обидеть, партия знает, что делает. Она может распоряжаться его жизнью, как нужно. Дрогнет ли он, если нужно будет умереть за нее? Как же смеет эта гнусная сволочь рассчитывать на него, вербовать его, звать к себе? Неужели он так низко пал, ослепленный своей обидой? Кровь бросилась ему в голову, он почувствовал, что может сейчас убить, раздавить, уничтожить гадину, замершую в кресле рядом. Он сдержал себя страшным усилием воли.

— Пошел вон,— тихо прохрипел он,— пошел вон, сволочь!

Но Валька продолжал сидеть в кресле, растерянно улыбаясь и недоумевая. Тогда Гайдаш вскочил на ноги и, ощутив в себе необычайный прилив ярости и злости, не помня себя, схватил Бакинского за шиворот и потащил к двери.

— Вон! Вон! Вон, гадина! — хрипел он и еще долго стоял у двери, слушая, как торопливо, воровски удаляются шмыгающие шаги Бакинского. И только когда они окончательно стихли, он вернулся в комнату. С шумом распахнул окна. Ему нужен был сейчас воздух, чистый воздух улицы.

«Где я буду через год в этот день?» — Он закрыл глаза и ткнул пальцем в глобус. Вышло: в Тихом океане, среди голубой воды.— Неужели так-таки прямо в воде? Впрочем, все может быть.— Глобус медленно вертелся вокруг своей оси.

Алексей брел по улице. Его отпуск кончился, кончились и деньги. Голодный и усталый, он бродил по чужому городу.

Голод мучил его. Запахи съестного сочились, подымались, клубились над улицами. Город словно выстроили из еды: из борщей, колбас, шашлыков, кирпичей печеного хлеба. Склады на пристани сложили из бочек сладчайшего подсолнечного масла. Харчевни возникли

из застывшей пивной пены. Даже море вкусно пахло едой,— это была гигантская лохань жирной, наваристой рыбной ухи. Честное слово, будь у Алеши кусок хлеба, он отлично бы пообедал бутербродом из хлеба и морских запахов. Но у него не было хлеба.

У него оставалось две папиросы. Одну он выкурит вечером, другую завтра. Завтра он уедет. Куда? Домой. Зачем? Вот этого он не знал.

Чтобы не думать о еде, он ушел далеко на рейд. Он глядел в рыжие каспийские воды и задумчиво ковырял сапогом в песке.

Море опротивело ему. Рябые пятна нефти расплылись по воде. Что же здесь красивого? Река на донецких заводах тоже всегда в жирных фиолетовых пятнах. И все это хваленое Каспийское рыжее море было удивительно похоже на выжженную солнцем донецкую степь, когда по ней ходит ветер. Стоило ли ехать сюда? Зачем? Глядеть на гроздья вяленой рыбы на изгородях вдоль Кучума? Толкаться в пестрой толпе на пропахших сельдью Больших Исадах? Слушать гортанную ругань на махач-калинском базаре? Задумчиво плевать в воду? Упав ничком на горячий багровый песок и уткнувшись мордой в потные ладони, мечтать — о чем?

О чем мечтать, если все впереди темно, неясно, пыльно.

Алексей равнодушно смотрел в море, где-то далеко-далеко на горизонте дымил пароходик.

Почему Алексей не пошел с Федькой Ковбышем к морю тогда, семь лет назад? Они расстались с Федькой и Павликом на большой дороге у Белокриничной. Павлик вернулся на завод, он стал теперь отличным слесарем, Алеша пошел в город, и вот теперь он «бывший секретарь», а Федька Ковбыш побрел на Волноваху — Мариуполь, к морю. Он, вероятно, плавает сейчас по всем морям.

Если бы Алеша ушел тогда с Ковбышем, он был бы теперь отличным, загорелым, вольным моряком. Может быть, даже капитаном. В чем дело? У Алеши есть кой-какие винтики в башке. Он бороздил бы сейчас море вдоль и поперек да посвистывал. А если бы даже не повезло и его не взяли бы на корабль, что ж, стал бы рыбаком. Брел бы по колено в воде, одетый в брезенто-

вую робу; на утлой лодчонке пускался бы в море, и ветер трепал бы его рваный холщовый парус. Он мог бы, наконец, наняться строить порты, стеречь маяк, он нашел бы себя наконец!.. Море! На нем всегда нашлось бы дело смелому парню. Можно выпаривать соль из моря, охотиться на дельфина, промышлять крабов. Море можно зарисовать, если иметь талант. О море можно рассказать словами. Но Алеша не умеет ни играть, ни петь, ни рисовать, ни рыбачить, ни строить портов, ни плавать на кораблях. Он ничего не умеет. Больше ничего. Он презирал себя.

Молодой парень в грязной холщовой рубахе прошел мимо него небрежной, ленивой походкой босяка. Он подошел к берегу, сел на камень и опустил босые ноги в воду. Потом он стал мыть ноги. Он делал это тщательно и не спеша. Каждый палец он старательно и долго тер рукою; черные пятки не отмывались, но он все продолжал тереть их морским песком и илом. Ему был приятен, видимо, самый процесс мытья.

Алеша ближе подошел к парню. Тоска такая, что хочется болтать даже с незнакомым парнем.

— Жара-а,— говорит Алеша.

— Да, жарко,— добродушно соглашается парень и поворачивается к Алеше. Его лицо поражает Гайдаша. Где он его видел? Страшно знакомые черты. Он даже вскрикивает от неожиданности. Но Алеша знает себя. Все люди кажутся ему знакомыми. Так много их прошло мимо него...

— Вы здешний? — вежливо спрашивает он.

— Нет, дальний.

— Откуда?

— Кто его знает! — Босяк усмехается. Лицо его делается смущенным и симпатичным.— Сейчас с юга.

— Рыбак?

Он пожимает плечами.

— Пожалуй, что и рыбак.

Он смотрит в воду, потом произносит:

— В Рыбинске, за Волгой, поселок есть. Ему название Ерш.

— Как?

— Ерш. Есть Новый Ерш и Старый Ерш.— Потом добавляет: — Пьяных в Рыбинске много.

— Ну и что?

— Так. Ничего. Названье какое, а? Ерш. Чудно-о!..— Он опять усмехается.

У него жадные, блестящие глаза, в них все время блестит какая-то смешинка.

— Вы с юга? Из Одессы?

— Нет. Но в Одессе бывал. Тудою, сюдою — чудной город. Это говорят они так,— пояснил он,— тудою, сюдою...

Он обо всем судил категорически — это понравилось Алеше. Он подвинулся ближе к парню и спросил:

— Значит, он сейчас из Закавказья?

Кавказ парень одобрил. Он сказал о нем:

— Хороший край, щедрый. В Сибири испить спросишь — квас дадут, на Украине — молоко, а в Грузии — поднесут вина. Такой край! Как же! Я знаю, я там щебень бил. Дорогу клали. Как же! С севером не сравнить.

— А вы и на севере были?

— Везде я был. В Волхове я плотину строил. Кессоны. Как же. Я приехал, все нюхаю: чем же это пахнет? А потом убедился — смолою.

— У нас в стране лесу много.

— А вот в Азии я бывал, там кладбища скучные. Лесу там нет, кладбища без изгородей, без зелени. Камни, одни камни. Вразброд лежат. Очень я там умереть боялся.

— Почему?

— Скучно, думаю, лежать будет на таком кладбище. Я в Азии с экспедицией был.

— Что ж вы в ней делали?

— Я-то? Я все делал. Проще сказать, рабочим был. Чернорабочим. Я много ремесел знаю. Могу, например, сапоги сшить. Хотите, сошью?

— А себе что ж не сошьешь?

— Зачем? Да и кожи нет.— Он подумал, добавил: — Летом и босиком отлично. У меня пятки дубленые, привычные. Они вот какие. Вся география у меня в пятках. Я человек бывалый,— он сказал это не хвастаясь, с каким-то равнодушием и усталостью.

Глаза его погасли. Он смотрел тоскливым, скучающим взглядом вперед, в тусклые каспийские воды. Все море было в толстых, серых, тяжелых складках. Так,

вероятно, медлительной толпой, покачиваясь, идут слоны. Парень сплюнул в воду и отвернулся.

Алеша с любопытством смотрел на него. «Вот парень хороших кровей,— думал он,— он всю страну обошел пешком, зачем ему сапоги. Он все видел, все знает».

— Счастливо живешь,— сказал он парню и вздохнул.

— Счастливо! — Босяк равнодушно пожал плечами.— Не знаю.— Он тоскливо свистнул.— Скучно мне. Куда податься — не знаю. В старатели идти, что ли? Много я на своем веку людей видел. Вот смотрю на тебя,— очень вы мне кого-то напоминаете.

— Я? Кого?

— Не помню. А может, и не вы. Все люди на одно лицо, у всех в носу две дырочки.— Он помолчал.— Я тебя в детстве видел,— неожиданно закончил он.

— В детстве? — Алеша усмехнулся.— Было ли оно у нас, детство-то. Ну, давай вспомним. Ты где родился?

— В Донбассе,— ответил парень.— Дымный край. Моя родина,— гордо добавил он.— Донбасский я.

— Донбасский? — закричал Алеша.— Стой, стой... Мотя! Ну да, Мотя. Ты?

Парень, недоверчиво улыбаясь, смотрел на Алешу, потом произнес:

— Чудеса-а-а...

Они долго разглядывают друг друга и задумчиво говорят:

— Вот ты какой стал.

В голосе Алеши плохо скрытое разочарование, в голосе Матвея сдержанное недоверие и отчужденность.

«Неужели это Мотя?» — удивленно думает Алеша. Этот босяк, минуту назад внушавший ему восхищение и даже зависть, сейчас неприятен ему. Ведь это Мотя, Мотя, развеселый друг детства, о встрече с которым мечтал он все десять лет. Но разве таким ожидал его встретить? Для всей детворы с Заводской улицы Мотя был героем. Единственный из всех он ушел воевать на фронт. Вскочил на проходившую мимо тачанку, прощально махнул рукой ребятам, крикнул, чтоб голубей отдали тетке, и укатил. Пыль вилась за ним следом.

Десять лет они ждали его возвращения. Искали среди буденновцев, с песнями взявших город. В каждом молодом коннике им мерещился Мотя. Они лазали по госпиталям и санитарным поездам, вздрагивая и замирая, слушали стоны раненых: вдруг это Мотя стонет. Когда возвращались с фронта демобилизованные, они были уверены, что теперь наконец-то вернется и он, улыбнется своей широкой удивительной улыбкой и скажет, как всегда: «Чудеса-а-а!» Какие захватывающие рассказы привезет он с собой, наш герой и товарищ!

Но Моти не было, не было ни среди демобилизованных, ни среди раненых. Друзья стали забывать его лицо, нос, брови; его образ стал легендарным, и всякий раз, как они сходились вместе, возмужавшие ребята с Заводской улицы, кто-нибудь неизменно произносил:

— Где-то наш Мотя теперь?

И это смешное имя — Мотя — стало знаменем, девизом, боевым кличем их дружной кучки.

— Где-то наш Мотя?

Втайне все они завидовали ему. Он воевал. Он делал революцию. Его грудь,— они были уверены в этом,— увешана орденами. Но еще заманчивей, почетнее орденов были его раны, пули, засевшие в плече, в ноге и тускло просвечивающие сквозь бледную кожу.

И вот Мотя стоит перед ним. Ворот холщовой рубахи расстегнут, видна грязная, волосатая грудь, на которой вытатуирован косой якорь.

— Да-а,— неловко бормочет Алеша,— вот мы и встретились с тобой, Матвей.

Мотя чувствует все, что происходит в Алеше. Медленно и криво ухмыляется:

— Хорош? А?

Алеша молчит, не знает, что ответить.

— Таков уж,— пожимает плечами Мотя.— Ну, а вы все небось интеллигентами стали?

В его голосе не свойственная Моте злость. Теперь Алеша пожимает плечами. Семчик убит, Валька Бакинский стал врагом, троцкистом. Как расшвыряла нас жизнь! Была когда-то в розовом детстве, в маленьком городке, забрызганном белой акацией, дружная банда босоногих ребят. Бегали, дрались, дружили, мечтали. Потом выросли — и оказались чужими?

Тяжелый ветер ползет с Каспия, приносит горький запах моря. На рейде слабо дымит пароходик. Бледный дымок быстро и смущенно тает в пустом небе. Душно.

— Я жалел, что война кончилась,— задумчиво сказал Мотя.— Веселое время. Был я вестовым у одного мирового командира. Тарасом Губенкой звали. Может, слыхал? Его поляки убили, и коня убили, а меня командование отпустило на все четыре стороны. Вот и брожу...— он разводит руками, потом лезет в карман, вытаскивает кисет, начинает свертывать цигарку.

— Возьми папиросу,— ласково говорит Алеша и протягивает вятский портсигар. Две папиросы в нем. Последние.

— Хочешь,— вдруг свирепеет Мотя и круто поворачивается к Алеше,— хочешь, я расскажу тебе о каждом городе в стране. Какие в нем улицы... Хочешь? Хочешь, я скажу тебе, в каком городе лучшее пиво? Едем со мной, я покажу тебе самый короткий путь от Батума до Абастумана[1]. Давай поедем куда хочешь — я тебе все покажу. Все, что видел, несчастный я человек.

— Ну вот,— обрадовавшись, говорит Алеша,— теперь давай вернемся на родину, в Донбасс, возьмешься за дело.

Мотя медленно качает головой. Алеша тускнеет. Куда он зовет его? Разве сам он знает, что будет с ним, что завтра он будет делать, какую дорогу будет топтать?

Они задумчиво смотрят на море и курят.

Я слышал, что Алексей Гайдаш вернулся из отпуска с Волги, но зайти к нему не рискнул. Я только встретил его раз на улице, он загорел, похудел, во всем его облике чувствовался человек, вернувшийся из путешествия.

Держал он себя гордо, вызывающе — в каждом слове ему чудилась обида. Он настороженно разговаривал с людьми, он боялся, что они начнут сочувствовать ему, жалеть, утешать. И в то же время ему хотелось, чтоб

---

[1] Абастумани — горноклиматический курорт в Алигенском районе Грузинской ССР, в 78 километрах от станции Боржоми.

громко осуждали несправедливость, совершенную с ним,— а он все еще считал снятие его с работы несправедливостью. Он и боялся разговоров об этом и хотел их. С ним было трудно сейчас.

Обида чудилась ему всюду. Я случайно узнал, что, оставшись без копейки денег и изголодавшись в дороге, он в Харькове не зашел ни в Цекамол, ни к ребятам, а продал на толкучке свой плащ за бесценок и на эти деньги кое-как добрался домой.

Встретившись на улице, мы холодно поговорили и разошлись. Он сказал мне, что встретил Мотю, но подробно рассказывать о нем не хотел. Сказал, что торопится. Куда он мог торопиться? Безделье мучило его. Он не знал еще, что будет делать, куда пойдет работать. Сидел дома, ждал. Чего? Он сам не знал этого. Его не тревожили. Новый секретарь окружкома был тактичен, он не трогал его. Цекамол молчал.

Алексей целыми днями лежал дома на диване, читал. Оказывается, за то время, что он был секретарем, люди написали и издали гору хороших книг. О многих из них он даже никогда не слышал ранее.

Это был период великих открытий и откровений, Гайдаш открывал Америки, давно известные другим, но от этого они не теряли для него всей прелести новизны и счастья открытия. Он входил в новую книгу, как мореплаватель на неизвестный остров. Он тихо ликовал: вот еще одна новая страница взята!

Никому бы не признался Гайдаш, что «Войну и мир» он читал впервые. Она оглушила его, с нетерпением ждал он томов из библиотеки. В центральной библиотеке не оказалось третьей части. Он обегал весь город, пока нашел ее. Он читал запоем, не выходя из дома, не обедая, выкуривая сотни папирос. Он плавал в синем табачном дыму и забывал обо всем на свете. Стоило ли мучиться из-за пустяков? А это были пустяки по сравнению с вечными и прекрасными идеями и чувствами, волновавшими героев прочитанных им книг. Он переживал их волнения и страсти один, в тишине своей холостяцкой, пустой квартиры. Никто не ходил к нему, никого он не звал к себе. Он был рад одиночеству, впервые посетившему его. Когда хотелось рассказать кому-нибудь о том, что прочел, ему казалось, что то,

что он узнал из книги, знает он один да автор,— и больше никто. И он, в тишине своей комнаты, делал беззвучные и бесконечные доклады о том, что узнал, открыл, понял из книг, сам был и докладчиком и слушателем, но ему казалось, что стены комнаты раздвигаются и его слушают миллионы. Он ощущал в себе невиданный прилив учености. Огромные горизонты раздвигались перед ним.

Я бы, вероятно, так никогда и не зашел к Алеше.

Но однажды на пороге моей комнаты неожиданно возник Степан Рябинин. Он был в дорожном брезентовом плаще, в пыльных сапогах и с рюкзаком.

С порога он весело закричал мне:

— Эй! Свистать всех наверх! Почему не слышу рапортов? Где вахтенный? Где боцман? Всех распеку.

Мы обнялись и крепко потрясли друг друга.

От Рябинина пахло заводским дымом, бензином, дорогой.

— Я прямо с завода,— объявил он смеясь.— Приехал бить чиновникам морды. Ты чиновник? Держись!

— Ты помолодел, Степан.

— Но не брился. Эй, кисточку, мыла, полотенце, бритву! Нет ли у тебя галстука? Какого-нибудь завалящего, инженерского?

Он и потащил меня к Алексею.

— Что он? Переживает? — спрашивал Степан по дороге.— Не привык быть битым.

— Ох, не привык.

— Привыкнет. Нас всех били.

Алексея мы застали не в одиночестве, он лежал на диване и читал книгу, у стола возле электрического чайника и посуды суетилась девушка, в комнате было чисто, слабо пахло духами,— все вместе походило на тихую семью.

Рябинин легонько толкнул меня в бок:

— Что, Алексей, женился?

Я пожал плечами.

Эту тихую девушку с ясными, голубыми глазами я знал. Она работала машинисткой в окружкоме, и все звали ее Любашей. Это имя удивительно подходило к ней, к ее теплой, полной фигуре, к мягкой, волнистой косе, к добрым, ясным глазам. Я знал, что она робко и

тайно любила Алешу, тайно, хотя каждое ее движение выдавало любовь и ласку. Она смущалась всякий раз, когда мы подшучивали над ее любовью. Она смешно отпиралась, клялась и краснела, но в ее глазах, которые не умели лгать, было написано все, что скрывали губы. И мы знали, что по вечерам, крадучись и трепеща, она пробирается к домику Алеши, затаив дыхание, робко стучит в окошко и ждет; она знает, сейчас ей ответит небрежный, грубый и все-таки любимый голос Алеши, в дверях появится он сам и с недовольной улыбкой поздоровается с ней. Он недоволен тем, что она пришла! Она уйдет тотчас же. Она делает испуганное движение к дверям, но он говорит сквозь зубы: «Ну, входи же!» И она входит с боязливой улыбкой, смотрит на него, кладет ему руки на плечи, робко заглядывает в глаза. Ей хочется признаться ему в любви, о которой он все равно знает, но о которой никогда она ему не говорила, а он не спрашивал, ей хочется говорить ему глупые слова, называть его котиком, солнышком, мальчиком, но она знает, что он не любит этих слов, нетерпеливо дергается, брезгливо морщится. И ночью в кровати, когда Алеша уже спит, она тихо гладит его упрямую лохматую голову, шепчет ему все, что хочет, и плачет. Она хочет приникнуть к его широкой, волосатой груди и так уснуть, уснуть сладко, не думая ни о чем. Но уснуть она боится. Можно проспать рассвет, и тогда все увидят, что она выходит из чужого домика, все узнают о ее любви к Алексею, стыдной, запретной любви, не такой, как у всех. И когда за окном начинает сереть, она встает, потихоньку одевается, чтоб не разбудить Алешу, еле слышно целует его и уходит.

Алексей встретил нас хмуро и настороженно. Любаша смутилась. Все чувствовали себя неловко, не знали, о чем говорить, что делать. Даже Рябинин растерялся. Впрочем, он скоро освоился, весело закричал.

— Чем угощают в этом доме?

— Чаем,— ответила, покраснев, Любаша.— Налить?

— А покрепче нет ли чего?

— Я принесу,— торопливо сказал Алеша.— Минутку, ребята.

Скоро появилось вино. Рябинин поднял свой стакан, посмотрел на свет.

— Ну, за встречу, ребята! Помните, мальчики, «Коммуну номер раз»? Констатирую: вы тогда уважали старика Рябинина и даже слушались. Почему теперь дисциплина ослабла? Почему не вижу поднятых стаканов? Ну, дай бог не последнюю.

Мы шумно выпили. Я заметил, что Рябинин сильно изменился. Помолодел — так сказал я ему! Но, вглядевшись в него, я увидел легкий иней на висках и много мелких, чуть заметных морщинок. Правда, он был теперь веселей, шумнее, чем раньше, и мне вдруг показалось, что шумливость эта, нервная, несвойственная положительному, хладнокровному, малоразговорчивому Степану, как раз и выдает его. «Эй, Степан,— думал я,— не ершись. Где-то у тебя глубоко в душе камешек лежит, громыхает. Тебе не скрыть его в шумном, нарочитом веселье».

Невеселая была наша встреча, и вино было скверное, и говорили мы не то, что хотелось.

Больше всех говорил Степан. Он рассказывал о заводе, о своем далеком цехе, о людях. Он рассказывал нам, как его встретили в цехе. Директор предупредил его:

— У тебя обер-мастером будет Гарась, Михайла Трофимыч. Ядовитый старичок.

Рябинин уже слышал о знаменитом Гарасе. Старик служил еще при легендарном Курако. Однако Курако он считал стоящим инженером, и то потому, что тот не имел высшего образования, вышел из мастеров. Гарась презирал инженеров, особенно молодых и прытких. Доменное дело требует таланта, человек должен родиться на домне, тогда он поймет ее, ее душу, ее капризы. С домной надо уметь ладить, дружить, чувствовать ее надо. Доменное дело — не наука, с арифметикой тут ничего не возьмешь. Кто, какой инженер знает, что в ней творится? Там никто не был, туда не слазишь, не посмотришь. Это не станок. Надо уметь по дыханию печи, по хрипам, по стонам ее понимать ее болезни и настроения. Надо острый глаз иметь, чтобы в печь сквозь стеклышко фурмы проникнуть, увидеть в кипящей массе то, что тебе надо. И старик любил, когда его звали колдуном, доменным знахарем. Он напускал на себя таинственность, ходил, смотрел, слушал и молчал. Потом изрекал:

— Мне поднесите чарку водки, домне — две подачи флюсов, и все пойдет как по-писаному.

С этим-то ядовитым старичком и предстояло Рябинину работать.

— Поверите, ребята, я дрейфил, когда шел на печь знакомиться с ним.

Встреча произошла в конторке обера на домне. Старый мастер испытующе смотрел на молодого инженера.

«Коммунист... политик... горлодер»,— неодобрительно думал он, и Рябинин угадывал его мысли.

Вдруг старик хитро прищурился, открыл шкафчик и достал оттуда...

— Что бы вы думали? Бутылку русской горькой. Это на производстве-то.

— Ну, будем знакомы, инженер,— сказал, усмехнувшись, мастер и подвинул Рябинину полный стакан водки,— пейте.

Рябинин видел: старик издевается над ним. Он колебался.

— Брезгаете, инженер? — спросил мастер.

— Что было делать, ребята? Не выпить — значит, навсегда поссориться с обером. Как тогда работать? А выпить на производстве — значит, стать в подчинение мастеру, потерять его уважение, поломать дисциплину.

Рябинин подумал-подумал и вдруг одним духом хватил стакан.

— Молодец! — воскликнул удивленный старик.— Жарко пьешь, доменщиком будешь.

Рябинин поставил стакан на стол, вытер губы и спокойно произнес:

— Если я в следующий раз увижу у вас водку на работе, я отберу ее и доложу директору.

— Теперь мы с ним друзья, хоть и ссоримся часто,— смеясь, закончил Рябинин,— золотой старик.

Алеша хмуро слушал его. Вот и Рябинин вышел на широкую дорогу. Ему можно позавидовать, он инженер. Пускай снимут его с работы, что ж, он плюет на это: у него высшее образование, профессия. А ведь и Алексей мог тогда уехать учиться вместе с Рябининым и Юлькой. Самодовольство Рябинина было противно ему,

оно оскорбляло лично его, Алешу. Ему захотелось обидеть Рябинина, унизить его.

— Степан, а где Юлька, а? — спросил он, чуть усмехаясь.

Рябинин смутился. Я заерзал на стуле.

— Юлька замужем,— пробормотал Рябинин.

— За кем? — безжалостно настаивал Алеша.

— Не знаю. Хороший парень, говорят. Не знаю.

Мне стало жалко Рябинина. Неужели можно так нелепо любить девчонку? Могучий парень, он совсем раскис сейчас при воспоминании о ней. Он стал печален, рассеян, на лице обозначились морщинки. Ты все-таки постарел, Степан Рябинин!

А Алеша злорадствовал. Он не мог скрыть злой улыбки. Степан Рябинин и инженер, и с высшим образованием парень, а простая девушка не любит его, уходит к другому. А Алешу любят. И он почувствовал вдруг горячую нежность и благодарность к тихой и теплой Любаше. Он притянул ее легонько к себе — теперь они сидели рядком, как муж и жена.

Разговор не клеился. Молча пили чай. Звенели ложечки.

— Что думаешь делать? — спросил Рябинин Алексея.— Решено уж что-нибудь, нет?

— Не знаю,— небрежно ответил Гайдаш. Он хотел показать, что это не волнует его, но голос дрогнул, выдал.— Не знаю.

Мне стало невыразимо грустно. Неужели мы встретились, чтобы вот так говорить друг другу колкости, злиться, дуться? С тоски и отчаяния я запел, как, бывало, в «Коммуне номер раз»:

Не встречать уж нам с тобой рассвета
После нашей ноченьки вчера.

Ребята подхватили:

Последней нашей но-очи,—
На прощанье он сказал мне вслед,
Что расстаться нам с тобой пора.

Я снова был запевалой, как в доброе старое время; Рябинин гудел басом, Алеша вторил своим прекрасным баритоном, и нежный грудной голос Любаши придавал мягкость и нежность нашим мужским песням.

Мы пели песню за песней, подобревшие, растроганные, взволнованные. Чтобы лучше было петь, мы сбились в кружок. Алеша положил мне на плечо руку, я обнял Рябинина. Песня подымала потолок комнаты, уносила нас далеко-далеко...

Только в час ночи мы вспомнили, что пора по домам. Любаша смущенно начала собираться с нами. Ей очень хотелось остаться у Алеши, но было неловко.

— Вы меня проводите? — робко спросила она.

Алеша вдруг обнял ее и ласково сказал:

— Я тебя сам провожу. Посиди еще немного.

Ее удивила эта непривычная нежность, она растаяла и чуть не расплакалась от счастья. Мы сердечно простились с нею и Алешей.

— Хорошая девушка! — вздохнул я, когда мы очутились на улице.— Алешка не стоит ее.

— Не говори, Алексей настоящий парень. Из него выйдет большой человек. Если не пропадет.

— Он пропадет,— сказал я с грустью.

— Кто знает!

Дальше мы шли молча. Каждый думал о своем.

Напоминание Алеши о Юльке сильно взбудоражило Рябинина. На работе, дома, в постели он отгонял от себя мысли о ней. Он хотел забыть ее. Ну, была каштановая девочка в твоей жизни, Рябинин, и вот нет ее, растаяла. Но забыть ее он не мог. Она всегда была с ним, в цехе и дома, ее глаза светились огоньками сквозь стекла фурмы.

Во всем, что произошло между ними, он никогда не обвинял ее. Он один... Только он был виноват во всем. Он прозевал, проворонил ее. У него на глазах увели его девушку, а он, большой, толстый дурак, только хлопал глазами.

Он вспоминал все снова и снова: их первую встречу, их дружбу, их поездку на учебу в вуз. Как бегал он с чайником по перрону, как воевал из-за места для нее в вагоне, как сидел над ней, оберегая ее сон, сгонял назойливых мух с лица и прислушивался к сонному дыханию девочки.

Они учились вместе: вместе бегали на лекции, в столовку, на диспуты в Политехничку. Прежде чем лечь

спать, он шел к ней прощаться, подходил к ее комнате, стучал и слышал, как девчата кричали:

— Юлька! Твой Ромео за дверью.

Однажды Юлька пришла сияющая, возбужденная, счастливая. Она положила ему руки на плечи и прикорнула головой к груди.

— Степа! Я так счастлива.

Он растерянно глядел в ее сияющие тихой радостью глаза и хотел сказать: значит, и я счастлив, я люблю тебя.

Она прошептала:

— Степа! Кажется, я полюбила.

Он побледнел.

— Ну? — глухо спросил он. Его сердце прыгало от радости.

— Я, кажется, полюбила, Степа. Он такой чудный парень, Степа.

— Кто? — еле спросил он.

Она спрятала лицо на его широкой груди и сказала, перебирая руками ворот его рубашки:

— Ну... Андрей...

Рябинин еле сдержался, чтоб не закричать, не заплакать, не заскрипеть зубами. Даже сейчас ему больно от этого усилия. А тогда он только стиснул зубы, и родившийся было стон замер на его губах. Он даже насильственно усмехнулся, тихо погладил Юлькину головку, пробормотал:

— Ну, поздравляю... Ну, молодец...

Потом она приходила к нему и рассказывала об их любви, показывала его письма — безграмотные, пошлые письма, которые он вынужден был читать и даже хвалить. Он хотел сказать ей, что Андрей — нестоящий парень, он ловил себя на том, что, как секретарь вузовского парткома, он стал строже к Андрею. «Не ревность ли это, Рябинин? — спрашивал он себя.— Не зависть ли?»

А потом называл себя тряпкой, мочалкой. За то, что не борется за любимую девушку, что стал поверенным их любви, вместо того, чтобы быть соперником.

Бороться за нее, Юльку? Тягаться за эту каштановую девочку, которая и без того принадлежит ему, по-

тому что он с детства знает ее, любит и бережет? Бороться? Значит, силой, ловкостью, уменьем заставить ее полюбить его, забыть другого. Нет, это недостойно его любви, большой, очень нежной и очень честной.

И он, отодвинувшись в сторону, молчал, мучился и ждал.

Однажды Юлька пришла заплаканная и сказала, что с Андреем все кончено. Рябинин с удивлением заметил, что он даже не обрадовался этому, так велико было его сочувствие Юлькиному горю.

Он только сказал ей:

— Зато у тебя остался старый друг — твой Степка лохматый.

И Юлька грустно взъерошила его волосы.

Сколько раз хотел он сказать ей о своей любви и все откладывал. Однажды, совсем неожиданно для себя, он сказал ей:

— А ведь я люблю тебя, Юля.

Она расхохоталась.

— Вот еще новости! Ведь и я тебя люблю.— Но в ее голосе он услышал равнодушие.

— Нет, я люблю тебя, как парень девушку. Поняла?

Она испуганно взглянула на него.

— Нет, нет, не надо, не надо...— пробормотала она.— Не надо, Степа!

Он печально усмехнулся.

— Я сам знаю, что не надо. Да что ж я могу сделать?

Она засмеялась.

— Но ты шутишь, Степан. Ты мой муж? Мой парень? Нет, ты шутишь!

— Что ж здесь смешного?

— Да ничего... Я и сама не знаю. Вот никогда не думала! Ты ведь такой свой. Домашний. Ты друг мой! Ты как брат, или нет... Даже как сестра мне. Я сама не знаю, что говорю.

Больше он не говорил ей о любви. Скоро она вышла замуж, уехала с мужем на новостройку, родила ребенка, девочку, кажется. А он — ждал. Он знал, что никогда она не придет к нему. И все же ждал. Жил один. Знал, что над ним смеются, считают чудаком. Разве не смешно? Огромный парень ждет свою девочку, которая уж и

не девочка вовсе, а замужняя женщина, мать чужого ребенка.

Он сам удивлялся себе. Что с ним сталось? Да что в ней особенного? Многие находили, что она просто обыкновенная девушка, с курносым носом и смешными веснушками. Но ему были милы эти веснушки, этот вздернутый нос,— других девушек он уже не мог полюбить.

Он убедился в этом в прошлом году летом. Они поехали на практику целой группой студентов-металлургов: парней и девушек. Как это всегда бывает в таких случаях, образовались пары, некоторые из них, вероятно, останутся на всю жизнь. С ним на доменной печи отбывала практику Галя Стрелец — сероглазая, украинка-полтавка, ее родина чувствовалась в мягком «я», которое придавало музыкальность, певучесть ее речи. Вероятно, Степан нравился ей, она любила стоять с ним в одной смене на печи, вечером идти вдвоем в общежитие, болтать, смеяться, петь. Он относился к ней тепло, дружески. Ребята говорили ему:

— Какая славная девушка, эта Галя.

Он горячо соглашался:

— Да, славная. Очень славная,— но думал о другой, о Юльке.

Только осенью, когда уж возвращались в институт, он почувствовал, что глубоко обидел Галю. Но ему не в чем было упрекнуть себя.

Перед отъездом девушки, смеясь, позвали его к себе.

— У нас для тебя подарок,— таинственно сказали они.

— Подарок? — удивился он.

— Галя, вручай.

Галя смутилась, под общий хохот вручили ему подарок. Это было синее стекло для работы на печи, вещь необходимая для доменщика. Но оправу для стекла девушки сделали в виде сердечка. Что хотели они сказать этим? Он растерянно вертел стекло в руках.

— Это взамен твоего сердца,— сказала Варя-хохотушка.— Твое, говорят, разбито.

— Только вы и это не разбейте, пожалуйста,— попросила Галя.

— Это сберегу,— отвечал он, кланяясь.

Он сберег его. Юльку не сберег. Галю не заметил, а стекло бережно сохранил. Он и сейчас пользуется им на домне. Через синее сердечко смотрит в фурму; синее пламя мечется в печи, бурлит, клокочет чугун, расплавленный и изнемогающий,— и Рябинину кажется, что он заглядывает в свое собственное сердце. Там тоже кипит, бушует металл, рвется, мечется пламя, а снаружи холодный, железный корпус печи. Люди смотрят на молодого широкоплечего, улыбающегося инженера и ничего не подозревают.

И я хоть и подозревал о том, что творится с Рябининым, но был спокоен за него. Я шел рядом с ним, слушал, как звучали его уверенные, весомые шаги, и думал о том, что вот на моих глазах пропадает Алеша, чудесный парень, мой товарищ. Как помочь ему? Что делать?

С некоторых пор я и о себе стал думать, что пропадаю. Почему я все сидел в этом маленьком, пыльном городке? Дорога звала меня, манила, дразнила. Я уже несколько раз клянчил в окружкоме:

— Отпустите меня.

— Куда?

— Все равно куда. Учиться, работать, шляться. Только бы в дорогу, двигаться, ездить, бродяжить.

Мне казалось, что я кисну, пропадаю, опускаюсь здесь. Но в окружкоме досадливо пожимали плечами.

— Отпустить? Все вы проситесь отпустить. Ты сегодня десятый. А кто здесь работать будет?

Кто будет работать здесь? Придут сюда с завода, из сел. А там кто? Там вырастут новые.

Вокруг меня двигались, торопились люди. Они обрели вместо ног — колеса, вместо рук — крылья самолетов. Ехать, лететь, плыть. Сблизились географические понятия, сдвинулись полюсы. В одном общежитии оказывались рядом молдаванин с юга и помор с севера: здесь они были проездом. По всем дорогам двигались эшелоны, поезда, переселенческие караваны, бригады, экспедиции, разведывательные партии, людей перебрасывали, мобилизовывали, посылали, командировали. Ехали делегаты, завербованные рабочие, комиссии, буксиры, ударные бригады, толкачи, агенты, ходоки, тури-

сты. Ехали посмотреть, пощупать стройку, стать на работу, найти место лучше. Почва горела под ногами, Крыша дома давила человека. Он мечтал о колеблющейся крыше вагона. Люди привыкали к движению; если они засиживались на месте, им казалось что они пропадают, теряют, упускают что-то.

И мне казалось, что каждый день прозябания в маленьком нашем городке — потерянный день моей жизни. Какие замечательные дела мог бы я делать! Мои товарищи перегоняли меня. Они приходили с заводов, меняли почтовых лошадей в маленьком уездном городе и отправлялись в столицу завоевывать ее университеты, рабфаки, музеи. Я завидовал им.

Мы все считали себя рожденными для великих дел. Чувство неудовлетворенности собой и сделанным нами было нашим седьмым чувством, шестым было чувство родины. Мы всегда были недовольны собой, своим положением, успехами, удачами. Хотелось большего! Уж слишком широко распахнулись перед нами далекие дали!

И я наблюдал, как всюду вокруг меня суетились люди с чемоданами,— начал нервничать, злиться, тосковать.

Парни, приезжающие в отпуск из столицы, сочувственным взглядом оглядывали меня, мою провинциальную косоворотку, мои туфли на босу ногу.

— Ты еще здесь? — удивленно спрашивали они.— А где Иванов, Петров, Сидоров?

Иванов оказывался в столице, Петров во флоте, Сидоров в вузе. Люди двигались, спешили, торопились, бросались в поезда, автомобили, самолеты, пароходы. Никто не хотел строить свою жизнь в родном маленьком городе, охотно предоставляя свои дома, улицы, сады, любимые и памятные места юности новым людям, рвущимся из сел и с заводов.

На моих глазах страна совершала свой рывок вперед, и мне хотелось рвануться вместе со всеми.

Я хотел об этом поговорить с Рябининым, но он шагал рядом мрачный, погруженный в свои думы, его не хотелось тревожить. Да и сможет ли он, увлеченный своей работой на заводе, понять меня. Еще, пожалуй, обругает.

Впрочем, может быть, и в самом деле меня следовало ругать?

В эту ночь не спалось Алеше. Он лежал рядом с горячей, сонной Любашей, ворочался, курил, но уснуть не мог.

Ночь стояла над страной. Все спали. Спал Рябинин спокойным легким сном инженера. Если и снились ему сны, то, вероятно, простые и четкие, как чертежи. Все ясно этому благополучному человеку. А Юлька? Юлька тоже спала где-нибудь в семейной двуспальной постели с мужем, и этот муж не Рябинин, а кто-то другой, незнакомый Алеше.

Где-нибудь между мешками на пристани или в углу вокзала спал беспокойный Мотя, пробирающийся на Урал, к старателям. Ему снились веселые сны: горы золота, серебряные реки, чудеса-а-а... Он дышал порывисто, храпел мощно, во всю носоглотку, как и подобает здоровому, бывалому парню, привыкшему спать на земле, ветром одеваться.

Спал и Павлик; часы-ходики висели над койкой, отстукивали минуты трудового сна рабочего парня. Маятник ласково качался на цепи. Спи, Павлик, спи, мы разбудим тебя к сроку, к гудку, спи, Павлик, спи.

Где спал сейчас Валька Бакинский? В тюрьме, где ему следовало бы быть. Или следственные органы, получившие сообщение Алеши, решили, что Валька — гнусная, но безвредная тля, и оставили его спокойно спать на диване где-нибудь в комнате приятеля. Остатки икры на столе, окурки в графине. Валька накрылся газетным листом, чтоб не беспокоили мухи. Но и мухи спали.

Во всем мире один только Алексей Гайдаш не спал. Беспокойно ворочался на постели.

Он курил и курил папиросу за папиросой, гасил их о железную спинку кровати и аккуратно втыкал в пепельницу.

Он один не спал во всем мире. Он один был без дела в охваченной работой стране. Он один был забыт, покинут, одинок.

«Лишний человек,— насмешливо подумал он вдруг о себе.— Рудин времени социализма, черт тебя подери».

Это было дико. Он, член партии, боец, большевик, вдруг оказался лишним. Этого не могло быть. «Это че-

пуха,— убеждал он себя. И тут же ехидно спрашивал: — Хорошо, а почему же тогда тебя никуда не зовут, не требуют. Почему тебе позволяют лежать на диване и киснуть. О тебе забыли, болван ты этакий. Кому ты нужен? Нужны инженеры, Ершовы, Рябинины, Павлики. А ты лишний. Лишний, как Рудин, Лаврецкий, Печорин, о которых ты недавно впервые прочел, но которые тебе родственники. Как и они, ты обуреваем высокими порывами и, как они, ничего не умеешь делать. Как и они, ты болтун, фразер, мастер фейерверков и вдохновитель сельтерского энтузиазма».

Но ни тогда, в кабинете секретаря Цекамола, ни долгое время спустя он не понимал еще всей глубины катастрофы, которая случилась с ним. Дело было совсем не в том, что его сняли с работы, зачеркнули всю его деятельность, публично высмеяли и обругали его. Вообще дело было не в том, что произошло с ним во внешнем мире. В конечном счете для него всегда найдется и дело и работа, он не пропадет, выплывет.

Самое страшное заключалось в том, что происходило с ним самим сейчас, когда он оставался один на один с собою.

Почва выскользнула из-под его ног, в этом заключалось самое страшное. Себе одному, наедине, он мог признаться в том, в чем ни за что никому не признался бы: секретарь Цекамола ругал его правильно. Но это признание не облегчало, а еще больше угнетало Алешу. Спасительное чувство обиды на несправедливость, совершенную над ним, так сладостно утешавшее его все это время, исчезло. Зато пришло беспощадное, горькое любопытство, захотелось вдруг взглянуть на себя со стороны: ну, каков ты, Алексей Гайдаш, что собой представляешь?

Такое никогда не случалось с Алешей. Он всегда был уверен в себе, в своих поступках, в своей удаче. Все, что он делал, делал правильно. Задумываться было и некогда и не к чему. «Интеллигентское самокопание» — он презирал хлюпиков.

А сейчас он вдруг посмотрел на себя со стороны, сбоку, как на постороннего и даже не близкого человека, сейчас он не жил, а читал о чьей-то другой жизни так, как читал вчера о Рудине и Лаврецком. Сейчас пе-

ред ним в коленкоровом переплете лежала книга «Алексей Гайдаш». С любопытством он смотрел в нее.

Но прежде всего он взглянул на последнюю страницу. Чем кончается эта любопытная история? Черты незнакомого ему человека. Ему хотелось, чтобы был благополучный конец.

Свадьба, герой женится на богатой невесте, она приносит ему счастье, приданое, деньги, теперь он имеет возможность учиться, заниматься филантропией, мыслить, лежать на диване и сосать трубку.

Но Гайдаш никогда не получит богатого приданого — усмехнувшись, он взглянул на Любашу. Нет, приданого он не получит. И наследства неоткуда ждать ему. Никогда Гайдаш не будет богатым, и, признаться, это не огорчает его. Странно, как изменилось понятие о счастье.

Какой же благополучный конец приготовила Гайдашу последняя страница?

Он был гол, ценность представляли только его руки и голова. У него не было и не будет ни титула, ни имений, ни покровителей. Только руки и голова. Вот эта голова. Вот эти руки.

И тогда истина, ставшая уже азбучной в Алешиной среде, вдруг осветилась новым и неожиданным смыслом, она непосредственно касалась его, Алеши. Ни заслуги родителей, ни слава отцов, ни наследство, ни богатство, ни связи, ничто не могло придать ценность пустому существованию, как ничто не могло затмить великолепный блеск полноценной, творческой личности.

«Значит,— взволнованно подумал Алексей,— вся моя будущность, все мои перспективы заключены только здесь, в этих руках, в этой голове?»

Он даже испугался. Да годны ли для такого дела эти руки? Годна ли голова? Он был необразован: отрывочные, смутные сведения о мире бродили в его голове. Он не знал никакого дела. Его руки были неумелы, неопытны. Правда, он здоров, физически силен,— но его нетренированные мускулы одрябли. У него есть воля, характер,— но куда направить, к чему приложить их?

И тогда он всерьез испугался.

«Что же будет с тобой, Алексей Гайдаш?»

Это был момент, единственный в жизни Алеши, ког-

да он вдруг увидел себя в неприкрытой, беспощадной наготе. Растаяли иллюзии, ребячьи мечты, смылись краски. Он вспомнил все свои ошибки, промахи; все, что говорили плохого о нем его друзья и руководители. Все это остро припомнилось сейчас.

«Вот ты каков, Гайдаш?» — сказал он себе, и ему стало страшно.

Он вскочил с постели, стал бродить по комнате, трогал вещи, переставлял с места на место. Вещей было немного, он всегда ненавидел их, ему нравились пустые, светлые комнаты, похожие на спортивный зал. А может быть, здесь просто сказывалась его беспечность, лень; ему всегда казалось, что он живет на бивуаке временной, походной жизнью, было скучно приобретать вещи, обставляться ими, оседать среди них.

Во всем, что касалось его, он видел теперь плохое. «Неужели я и не большевик?» — вдруг спросил он себя и долго колебался прежде чем ответить. От ответа зависела его жизнь.

Он пытался увильнуть. «Какой же я судья самому себе? — И тут же возражал: — Нет, почему же, давай, давай!»

Он с пристрастием допрашивал себя: нельзя было быть более строгим к члену партии. «Ты фразер,— говорил он себе,— а большевики — люди дела. Ты нескромен, заносчив, хвастлив, а большевики — скромные люди. Дисциплинирован ли ты? Только тогда, когда командуешь, а не когда подчиняешься. Ты безграмотен. Что знаешь ты о марксизме, о ленинизме? Только то, что написано на плакатах и знаменах: «Не трудящийся да не ест», «Профсоюзы — школа коммунизма». Но даже партию, в которой состоишь, знаешь туманно». «Но ведь я никогда не был беспартийным. С детства я связал свою жизнь с революцией»,— защищался он, как умел. «Да, но ты плохо использовал эти годы, ты мог бы стать настоящим парнем, а чем ты стал?.. Правда, ты парень с размахом, но кому пригодился твой размах? Ты честолюбив, друг Гайдаш». «А это не большевистское качество?..» — спросил он ехидно. «У тебя не большевистское, потому что ты жаждешь славы себе, а не родине. Ты хочешь пробиться к славе, растолкав других, а не скромно исполнив свой долг гражданина. И по-

том: как ты добьешься славы, если у тебя неумелые руки и вздорная голова? Славу не выкричишь,— даром она не придет. С какой стати она придет к тебе? Ради твоих прекрасных глаз? Но у тебя даже прекрасных глаз нет, друг Гайдаш, косоглазый монгол ты».

«Значит, я не большевик?» — спросил он себя и снова заколебался, прежде чем ответить. В одном он был твердо уверен и это не оспаривал в самые горькие минуты беспощадных саморазоблачений. В том, что он для партии не пожалеет жизни. Ему захотелось умереть, умереть, как Семчик, от пули врага. «Если я не умею жить, как надо, то умереть я сумею, как коммунист». Ему стали представляться горячечные картины. Он видел себя в дыму, в пламени; он снова, как шесть лет назад, завидуя Моте, мечтал о сражениях, он снова был мальчишкой. Неужели он не повзрослел? Это обрадовало его. Он был совсем еще молод, черт возьми, вся жизнь была у него впереди. Неужели он и теперь не повернет ее, как надо? Его слишком баловали удачи, неужели неудача сломит его? Он подошел к окну, серые сумерки дрожали на улице. Скорее бы утро! Скорее бы утро! Пойти в окружком сказать секретарю: «Пошлите меня куда хотите. Милиционером в Звановку, там после смерти Семчика — вакансия. Председателем месткома. Чернорабочим. Я пойду куда угодно, куда мне прикажет партия».

Он еле дождался утра. Но вместе с утром пришел почтальон, принес повестку. Гайдаша Алексея Ивановича, родившегося в 1907 году, извещали, что послезавтра ему надлежит явиться на призывной участок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Прощай, де-е-евки, прощай, па-а-арни,
Угоняют на-а-ас от ва-а-ас
На далекий на-а-а Кавка-а-аз...

— Прощай, де-е-евки... Прощай, па-а-арни...— шептал Алеша в лад песне. Вдруг он почувствовал, что действительно прощается со всем: с парнями, оставшимися

на мокром перроне, с городом, забрызганным дождем, с прошлым, каким бы оно ни было — хорошим, плохим,— все равно.

Он долго глядел, как исчезал в тумане город; вот скрылись крыши домов, купола церквей, трубы заводов, вот уж и городское кладбище осталось позади, печально поникнув черными покосившимися крестами. Алексей уцепился было взглядом за тихий ставок,— бывало, шумели здесь в камышах ребячьи бои, мохнатые метелки служили оружием,— но скоро и ставок растаял в тумане. Только голые донецкие акации еще долго бежали рядом с теплушкой, прощально махали черными сучьями — скоро и они отстали. Алеша вздрогнул. «Прощай, прощай!» — думал он и храбрился, пробовал даже насвистывать, но что-то невыразимо горькое подступало к горлу. Он сам никогда не думал, что так любит родной край. Что это с ним? Вот он сейчас расплачется. Смешно-о!..

Политрук эшелона дал ему плакаты, наказал вести в пути политработу. Зачем? Алексей усмехнулся. На какие бои агитировать бойцов? На какие подвиги звать их? Чтоб не шумели на пустынных перронах да не щупали полногрудых казачек? Эх, будь война, отправляйся этот эшелон не в мирный захолустный гарнизон, а на фронт,— какую бы речь сказанул Алеша! Какие огненные слова брызнули бы из него! Как торопил бы паровоз!

Все же он прибил плакаты на дверях теплушки (потом их исхлестало дождем и, наконец, сорвало шальным ветром и развеяло где-то за Доном).

Эх, будь война! Он стоял в дверях теплушки, равнодушный к каплям, падающим на лицо. Что дождь! Он стоял бы так и под проливным огнем пулеметов, да шапку бы заломил косо, молодецки, и рук не вытащил бы из забрызганных кровью и грязью штанов.

И вот он уже видел себя в лохматой папахе с кривой шашкой на боку. Пороховой дым ел его глаза, и эшелон стал казаться бронепоездом. Падали набок срубленные снарядами тополя, охнув, простонав, валились вокруг сосны, горели мосты, пули свистели над ухом,— и снова он был мальчишкой, мечтающим о подвигах, о доблести, о славе, и снова казалось ему, что жизнь только начи-

нается, и хоть приговаривал он себя к ранней смерти на бруствере вражьего окопа, но в смерть не верилось, хотелось и жить и умирать много раз, каждый раз по-новому, красиво и рисково.

— Товарищ старшина, вы где ляжете? — Его уже в третий раз спрашивали об этом. С досадой он обернулся. Ребята деятельно устраивались на нарах. Какое место он выберет себе? Он был старшина, они показывали ему свое уважение.

— Да все равно! — махнул он досадливо рукой. Место на нарах, место под солнцем, ближе к печи или дальше — что ему до этого? Вот пустяки.

Он снова вспарусил свою мечту, и она понесла его, качая; перебрасывала с фронта на фронт. Странное дело, он явственно видел себя и даже ноздрями ощущал дым, копоть, огонь — но совсем не видел лица противника. Кто это был? Было трудно связно думать на ходу поезда, и вот он то дрался в горах, то вдруг, приговоренный к расстрелу, оказывался под дулами винтовок (какие темные глаза у ружей), то рубился в узких переулках чужой столицы (где он видел эти острые, похожие на пики железные решетки балконов!), а потом лежал в лазарете смертельно раненный (и так явственно он почувствовал вдруг боль раны, вот тут на рассеченном шашкой лбу, что даже застонал тихонько).

И хотя сладко было умирать на руках опечаленных товарищей, но жить было лучше. Триумфы, награды, почести сыпались на него, как капли дождя с крыши вагона. Дальше мечтать было не о чем, и Алексей внезапно приземлялся. Он оказывался тогда в теплушке. По лицу текли мокрые струйки, дымила печка, шумели ребята. И он злился на себя, ругал за мальчишеские мечты. «Пора поумнеть, Гайдаш,— говорил он себе,— ничего этого не будет». Будет нудная, солдатская гарнизонная жизнь, долбежка внутреннего устава, отстаивание караулов у пустого ящика в штабе. Потерянные годы! А молодость, и без того бесполезно прожитая, пройдет. Потеряются в тупиках лучшие дни жизни. Выбьется ли он в конце концов на столбовую дорогу? Его забудут друзья. В Цекамоле появятся новые люди. Никого из них он не будет знать, все вырастут, заважничают, а он вернется из армии парнем без профессии, без знаний,

без перспектив. Куда он денется? Как ругал он себя сейчас за то, что «распустился», размечтался. Не довольно ли ребячиться, Гайдаш? Все мечты твои сдует ветер, как сдул твои смешные плакаты, и клочья этих мечтаний будут валяться в грязи и пыли, дразня и насмехаясь над тобой. И оттого, что слишком высоко залетел он в мечтах,— падать было больнее. Когда-то он говорил себе: «Лучше свалиться с небоскреба, чем с курятника». Какие небоскребы строил он, на какие высоты взбирался! Воображал себя и государственным деятелем и великим политиком, а оказался обтрепанным новобранцем с сундучком за плечами. Нет, нет, нет, ничего уж не видел он теперь светлого впереди, ничего не ждал, ни во что не верил, ни на что не надеялся. А дождь косо падал над теплушкой, и донецкая степь, исхлестанная дождем, как кнутом, понуро проплывала мимо.

Алексей дождался, прислонившись к двери теплушки и не разговаривая ни с кем, станции Иловайской,— здесь кончался Донбасс. Навсегда запомнил Алеша родной край, каким он открылся ему в эту последнюю минуту.

Что-то грустное и трогательное было в мокрых, заплаканных шахтах, в тополях, согнувшихся под тяжестью воды; горько пахло углем и дымом — то тлели глеевые горы; слабо мерцали они, как костры, притушенные перед расставаньем. И хата под седым очеретом съежилась и пригорюнилась, словно то старуха мать провожала сына на чужбину.

— Прощайте, прощайте,— беззвучно шептал растроганный Алеша.

А в сером небе висели тучи дыма, они словно намокли дождем и, отяжелев, не таяли, а так и застыли, и не поймешь — дым ли то, или черная хмара. У приспущенного шлагбаума в рыжей грязи застряла бедарка на двух высоких колесах, и старик кучер, приподнявшись на козлах, сняв шапку, вдруг начал размахивать ею. Что он кричал? Приветствовал ли он поезд, узнав в нем воинский эшелон, или, может быть, вспомнил внука, бродившего сейчас по белу свету, или уж так заведено здесь на переезде, а может быть, просто по старческому благодушию вздумалось деду пожелать счастливого пути незнакомым людям,— только он все махал да махал ста-

рой смушковой шапкой, и крупный дождь падал на его лысину и тонкими, как слезы, струйками стекал по лицу. А Алеше казалось, что это ему, ему одному, счастливой жизни и удачи желает старик. Спасибо, спасибо! Удача будет! Прощай, земляк!

С тех пор всегда, думая о Донбассе, вспоминал Алексей старика на высокой «беде», мокрую, нахохлившуюся шахту, тусклый пламень глеевой горы да запах угля и дыма, до горечи сладкий и острый.

Еще долго смотрел он, как исчезали последние холмы родного края, как наползали на них сумерки, и, наконец, почувствовал вдруг, что измок и озяб.

Взглянул на ребят. Они пели, покачиваясь. Болтали босыми ногами — штрипки на штанах у щиколоток были завязаны уже по-армейски,— курили, ели. Алеша радушно улыбнулся им. Покачивающаяся теплушка — теперь его дом, босые ребята — теперь его парни. С ними ехать, с ними кашу из одного котла есть, в караул ходить, одной шинелью укрываться.

— Ну давайте знакомиться, ребята! — сказал он улыбаясь.— Все в Горный Кавказский?

— Все.

— Горными орлами будем! — хвастливо крикнул веселый парень в желтых щегольских крагах.

— А либо курицами,— насмешливо отозвались из угла.

Алексей вытащил из кармана список, пробежал его взглядом. Первая фамилия поразила его: Аполлонов. Ему вдруг захотелось угадать человека, владеющего таким роскошным именем. За ним, как за вывеской, должен был скрываться потомок российских интеллигентов. Алексею показалось даже, что он где-то видел это имя, на роскошном фолианте, что ли, с золотым обрезом. «Эраст Валерианович Аполлонов». Он, улыбаясь, оглядел своих товарищей по теплушке. Кто бы это мог быть? Ну, конечно же, этот задумчивый, бледнолицый юноша и есть Аполлонов.

— Вы Аполлонов,— уверенно сказал Алеша.

— Я? Нет, Стрепетов...

— Аполлонов — я,— отозвался голос из далекого угла. С нар спустились босые, волосатые ноги, а за-

тем и рыжий парень, ухмыляясь, свесил голову.— А что?

— Ничего,— смутился Алеша,— профессия?

— Профессия хорошая. Гармонист.

Нет, ничего нельзя было узнать из немого списка. Какие разнообразные характеры, профессии, судьбы скрывались за этими именами, небрежно нацарапанными писарем из военкомата.

Это было забавно. Через час он узнает всех — сейчас не знает никого. Очевидно, окажутся среди них и отличные и скверные ребята. Обязательно найдется весельчак, рубаха-парень, душа роты, утешение в походах. Но кто это будет из списка? Сташевский, Ляшенко, Дымшиц? У кого-нибудь окажется вздорный характер. Третий будет невыносимо храпеть по ночам. Четвертый окажется обжорой. Но кто? Кто?

Он смотрел то в список, то на ребят. И чувствовал: и они следят за ним осторожными косыми взглядами.

«Снюхиваемся,— подумал он.— Ну, ладно, снюхаемся».

— Аксенов Василь! — вскрикнул он громко.

— Я!

Алексей взглянул на Аксенова: парень как парень, лицо чистое, глаза ясные, голубые. Как угадаешь его? На черной украинской рубашке вышиты розовые петухи.

— Мать вышивала?

— Нет! — Аксенов подмигнул глазом.— Тетка.

— Сам ты деревенский?

— Тракторист,— он протянул черные руки, в жилки въелось машинное масло,— первого класса.

— Беляк Тихон!

— Я! Шахтер...

— Бражников Иван!

— Здесь. Токарь...

— Волынец Федор!

— Я! Колхозник.

— Горленко Михаил!

— Я самый.

— А профессия?

Горленко смущенно улыбнулся и подошел к печке.

— А профессии у меня нет, ребята,— извиняясь сказал он.— Вот еду в армию,— думаю добыть.

Вокруг сочувственно засмеялись, а Алеша внимательно посмотрел на русого парня. Хитрит? Прикидывается? И опять ничего не мог угадать он в застенчивом лице Горленко. Когда-то в окружкоме комсомола Алексей хвастался, что умеет читать в глазах людей, как в открытой книге, и работников себе подбирает с первого взгляда, без ошибки. Куда девалась теперь эта уверенность? Он признался с горечью, что не может еще читать людей, как книги. «Как же я хотел руководить ими?»

Перекличка продолжалась, она понравилась ребятам. Каждый нетерпеливо ждал своей очереди.

— Дымшиц Юрий!

— Я! — гаркнул кто-то сверху. Маленький, толстенький лысый человек скатился с полки. Он был в подтяжках, смешных, розовых.

— Я Дымшиц,— сказал он, озирая всех сияющим взглядом.— В прошлом — директор мануфактурного магазина, ныне...

— Да это Швейк! Бравый солдат Швейк! — хлопнув себя по лбу, удивленно закричал парень в щегольских крагах.— Ведь ты же Швейк, товарищ.

— Я Дымшиц, Дымшиц, а не Швейк,— рассердился толстяк, и его лицо стало обиженным и розовым, как его подтяжки. Но все кричали, что он Швейк и на это не стоит обижаться, раз это правда. И даже Алеша улыбнулся ему и сказал:

— Лихим солдатом будете, Дымшиц.

— Попробую,— ответил тот, вздохнув.— У меня сердце больное. Попробую, но не обещаю. Нет, не обещаю.— И он, кряхтя, полез обратно на полку. Его проводили аплодисментами. Что за веселая братва собралась в теплушке! С такими, пожалуй, не пропадешь.

— Дальше давай! — закричали Гайдашу призывники.— А ну, раскрывайсь, ребята! Чем наша рота богата!

— Ивченко Степан!

— Я! Сапожник. Но умею на гитаре играть,— прибавил он поспешно.

— Колесников Яков!

— Пекарь. Рисую немного.

— Клочак Павел!

— Мукомол.— Он подумал немного и смущенно добавил: — Больше ничего не умею.

— Левашов Константин!

— Счетовод. Областной рекорд по конькам.

— Так это ты тот самый Левашов? — закричали ребята.

— Тот самый,— смутился Левашов,— а что?

— Логинов Иван!

— Я! Столяр.

Все профессии собрались здесь на пятнадцати метрах вагона. Алеше вдруг пришла в голову смешная мысль.

— Друзья,— сказал он вслух.— Если бы нашу теплушку вдруг занесло на необитаемый остров, мы, пожалуй, не пропали бы, а?

— Я бы вам такие калачи пек, пальцы бы съели! — хвастливо воскликнул Колесников.

— Мука моя,— отозвался Клочак.

«А что б стал делать сам Гайдаш? — Он даже растерялся от этой мысли.— Командовать? Руководить?»

— Ляшенко Антон! — сердито выкрикнул он, чтоб положить конец неприятной для него сцене.

— Это я,— негромко отозвались откуда-то из-под печки. Парень сидел на корточках у печи и заглядывал в нее. Багряное пламя полыхало на его озабоченном лице, и капельки пота казались каплями крови. Пока шла перекличка, он возился у печи, растопил ее, раздул пламя могучим дыханием, а теперь подкладывал уголь и дрова и следил, чтоб горели они ровно, толково.

— Это я,— сказал он, нехотя подымаясь на ноги.

— Ну, а ты кто?

— Я? — Он пожал плечами.— Я кочегар,— и снова опустился на пол.

Почему-то вдруг захотелось Алеше, чтоб его койка в казарме оказалась рядом с койкой Ляшенко; спокойствие и сила почудились ему в негромком голосе шахтера.

— Моргун Лукьян!

— Тута...

— Крестьянин?

— А разве видать? — растерялся он. Овчинный полушубок висел на его худых плечах, хоть и жарко было в теплушке.

— Колхозник?

— Нет,— сконфузился Лукьян,— наши еще не согласились. Беда-а-а...

— Рунич Осип!

Никто не отозвался.

— Рунич Осип! Здесь?

Тогда щеголеватый парень в желтых крагах, оглянувшись, произнес:

— Никто не отзывается? Значит, Осип Рунич — я. Вспоминаю: так меня в розовом детстве мамаша звала.

Теперь Алеша знал, кто будет душой роты на походах.

— Ну, похвастайся своей профессией, товарищ Рунич.

— Я выслушал вас всех, дорогие мои бойцы и теплушечники,— сказал, раскланиваясь, Рунич,— и должен заметить, не желая, впрочем, никого обидеть, что профессия моя — самая красивая.

— Ну-ну! — раздались угрожающие голоса.

— Судите сами,— пожал он плечами,— я деятель искусства.

— Актер?

— Не совсем,— скромно потупился Рунич,— но близко к этому.

— Клоун? — догадался кто-то.

— Я не обращаю внимания на реплики.

— Шарманщик?

— Циркач?

— Куплетист? — посыпалось из всех углов.

Рунич спокойно выслушал все реплики.

— Все? — спросил он.— Не угадали! Актер? Что актер! Голос у него сел, вот вам и нет актера. Непрочная профессия. Я,— он обвел торжествующим взглядом теплушку,— я киномеханик. Ну?

— Киномеханик,— разочарованно протянули ребята. Они и в самом деле ждали чего-то необыкновенного.— Только-то и всего!

— Четыреста рубликов в месяц, как одна копейка,— рассвирепел Рунич.— Это как, а?

— Да плевать мне на твои рублики! — заорал на него огромный черный парень.— Сидишь ты у себя в будке, как крыса. Тоже — деятель искусства! И свету у тебя всего с окошечко. Я — шофер. Сташевским меня зо-

вут,— обернулся он к Гайдашу.— Целый год я в дороге. Мой хозяин — Дубовой, Александр Матвеевич, слыхали такого? Мы с ним весь Донбасс объехали. Вот это профессия.

Вспыхнул горячий спор. Каждый начал выхвалять свою профессию, ее прелести, ее значение. Разлученные сейчас с работой, они говорили о ней, как о возлюбленной, которая осталась дома. Она становилась все красивее по мере удаления поезда. Они сами никогда еще не знали ее такой красивой. Они говорили нежно и пылко о своих тракторах, мастерских, шахтах, полях, кинолентах,— ни пяди не хотели они уступить друг другу. Они отвергали сейчас все профессии, кроме своей единственной. Они готовы были всех обратить в свою веру, непримиримые, как проповедники. Мир мог остаться без поваров и прачек — эти профессии здесь некому было защищать.

Алексей сидел, не участвуя в споре. Он смотрел, как возился около «буржуйки» неутомимый Антон Ляшенко. Он все шуровал да шуровал кочергою, словно пред ним была топка гигантского котла, и, казалось, нельзя было убедительнее прославить свою профессию, чем это делал молчаливый кочегар Ляшенко, и здесь, в походной теплушке, нашедший себе дело.

Алексей пошел к дверям и молча стал смотреть в степь. Поезд медленно шел вдоль Дона. В темноте глухо шумела река. Дождь все падал и падал...

Ночью Алексей долго не мог уснуть. Ворочался на нарах. Задыхаясь от жары и духоты, переворачивал подушку — она нагрелась, как печка, с ней ничего нельзя было сделать, он выбросил ее и прижался щекой к прохладной коже пальто. Рядом трубно храпел Сташевский,— теперь Алексей знал уж, кто будет храпеть звонче всех в казарме. Внезапно вспомнил вчерашнюю прощальную ночь. «Что ты делаешь теперь, Любаша, солдатка моя? — Вздохнул, подумал, что она хорошая девушка, добрые у нее глаза. А тело? Он зажмурился.— Пожалуй, надо было на ней жениться!» Ох, знал бы тогда, что дома остался родной человек, ждет его, думает о нем. Будет ли ждать Любаша? «Будет! — уверенно говорил он себе.— А почему, собственно, будет? Неужели нет парней лучше тебя, Гайдаш? Откуда эта

небрежность к девушке? Ты не любишь ее. Не знаю, может быть, и люблю».— А потом подумал, что встретит он впереди еще много девушек и лучше и хуже Любаши. Ведь он еще молод, черт возьми! Эта мысль была ему приятна. С наслаждением вытянулся на нарах — хрустнули кости.

— Эй, дневальный, спишь! — весело закричал он Колесникову, вздремнувшему у печи.

Тот встрепенулся.

— Никак нет, товарищ старшина. Бодрствую.

— То-то! — засмеялся Гайдаш, перевернулся на другой бок и мгновенно уснул.

Медленно потянулись эшелонные будни. Проснувшись утром, ребята бросались к дверям:

— Где мы?

Мелькали жирные донские степи, долгие станицы, однажды показался верблюд.

— Вот жизнь! — восхищался Рунич.— Сегодня здесь, а завтра там. Вот эту пачку папирос я начал на Дону, в Таганроге, полпачки докурил к Батайску, а к Армавиру надо новую. Все законы науки опрокинуты. Чайник кипит не двадцать минут, а десять километров. На завязывание галстука уходит два километра. На умывание — три километра. Сколько километров я проболтал с вами? На моих часах уже Армавир. Вот жизнь!

Впрочем, на станциях стояли подолгу. Выстраивались повагонно с котелками, кружками, ложками. Длинным черным хвостом тянулись в столовую. Еще издали пахло кислым запахом кухни, капустой, преющей в огромных котлах, вареным мясом и луком. И Алексей, как и все, становился в хвост, как и все, нетерпеливо подвигался к дверям — запахи дразнили его, как и всех; попав в душную столовку,— над столами клубил пар, как в бане,— торопливо и шумно захватывал место, набирал каши в котелок, глотал горячие щи, честно делил между своей командой хлеб. Хлеба было много, но и аппетит был бедовый. И хоть горькие мысли одолевали все время Алешу,— ел он отлично, так что за ушами трещало.

— Вы знаете, Гайдаш,— сказал ему Стрепетов, смущенно протирая очки,— меня в армии ничто не страшит.

Я, правда, не Геркулес, но и не мокрая курица. Одного боюсь...

— Чего?

— Каши,— сознался Стрепетов.— Видите ли,— он замялся,— я происхожу из семьи, в которой э-э... никогда не ели простой армейской каши и этого вот кондера. Боюсь не привыкну.

И он сидел, скучая и томясь в столовке, брезгливо ковырял ложкой, вылавливал из щей кусочки мяса, жевал хлеб.

— Добавки! — кричали вокруг ребята и, расшалившись, стучали ложками: — Добавки-и-и!

По всей столовке гремели ложки, вилки, ножи, котелки. Кто-нибудь вскакивал на лавку, дирижировал этим диким оркестром. Басы, баритоны, тенора сливались в могучий хор. И Алеша гремел ложкой, пел густым басом: «Доба-а-авки-и-и!» — хотя ни ему, ни его товарищам больше не хотелось есть. Шумели из озорства, от избытка молодости и задора,— и усатый повар, казак в белом помятом колпаке, смеясь, накладывал горы дымящейся каши и, размахивая огромным половником, кричал:

— Давай, давай, подсыплю! Едоки вы хорошие, какими бойцами будете?

Но уже гремел сигнал:

— По ваго-о-на-а-ам!

Что-то воинственное, боевое слышалось Алеше в этом кличе.

— По ваго-онам! — подхватил он и бежал опрометью к теплушке, а за ним бежали его товарищи. Они влетали в вагон, горячие, запыхавшиеся. Сейчас тронется поезд и повезет их навстречу войне, опасностям, пулям: вражьи бронепоезда поджидают их за лесом, взорванный пылает мост... строчат пулеметы... Но поезд трогался, и рядом с теплушкой бежали мирные кубанские станицы, жирные поля, черные дороги.

Ночью сонно потрескивали дрова в печи, дремал дневальный; иногда сильный толчок вагона встряхивал его, он поспешно продирал глаза. Торопливо подкладывал уголь в печь, мотал головой, чтоб отогнать сон, смачивал водой глаза. В теплушке было жарко и душно. То-

пили лихо; с легкой руки Ляшенко печь стонала от жара. Весь запас угля истопили в два дня.

— Что будем дальше делать? — рассердился Алексей. Духота мучила его. Кожаное пальто нагрелось, как железная печь.— Топите меньше, черти.

Но Рунич и Сташевский отправились на какой-то станции в «экспедицию» и притащили с собой несколько глыб блестящего антрацита.

— Уголек с искрой! — доложили они, но о том, где его добыли, умолчали.

Алексей догадывался, но тоже молчал. Зато в вагоне было тепло и весело. Мирно текла ночь, как черная река. Плескался дождь. Кричали гудки паровоза. Искры гасли в темноте.

И Алексею казалось, что он плывет в лодке по стране, как по реке, а жизнь, качаясь, проносится мимо, как берега.

В памяти остаются клочки увиденного. Какой-нибудь седой тополь с звонкими, сухими листьями. Черномазый продавец винограда в Гяндже: «Солдаты! Кушай виноград. Сильный будешь — храбрый будешь». Пыльные базары. Кукурузные поля. Мохнатые буйволы.

А теплушка проносилась мимо, мимо. Было покойно, тепло и дремотно в ней,— поскрипывали доски, стучали колеса,— и Алеше хотелось, чтобы поезд никогда и никуда не пришел.

Он стал свыкаться с переменой, случившейся в его жизни. То, что было до теплушки, казалось далеким, туманным. Правда ли, что когда-то он был вождем целой армии комсомольцев? Заседал в комитетах? Ездил в международных вагонах? Любил девушку, которую звали Любашей? Любашей ли? Как давно все это было? И было ли? Прошлое казалось неправдоподобным, приснившимся. Реальными были теплушка, хвосты у столовки, клич «по вагонам!».

А когда он начинал думать о том, что скоро кончится дорога и начнется гарнизонная жизнь,— ему становилось не по себе. Всякий отделком станет им командовать. Сколько начальников будет над ним. Он перечислял их всех — от отделенного командира до командира полка. Всем им он должен подчиняться, ему — никто. Даже эта смешная «власть», которую он имеет сейчас

над теплушкой, исчезнет. Ему прикажет старшина роты идти чистить картошку — и он должен будет пойти. Комвзвода пошлет его в наряд — а Алеше захочется полежать с книжкой, но он обязан будет идти и пойдет. Весь он, его руки, ноги, голова, тело — все будет подчинено команде. Он будет падать, вставать, бежать, останавливаться по команде. Есть, спать, читать, думать — по команде. Железные руки дисциплины стиснут его. Дисциплина! О ней Гайдаш не раз горячо говорил на собраниях, но дисциплину он всегда понимал как подчинение всех — ему, и никогда как подчинение его — всем. Нет, лучше бы поезд никогда и никуда не приходил! Так спокойно, тепло и уютно в теплушке.

Но и в поезде он успел поругаться с начальником эшелона. Поругался из-за пустяков и был сам кругом не прав, но именно поэтому не хотел сдаваться, разжигал себя, бунтовал, фрондировал.

Начальник эшелона, старый кадровый командир с уставшим лицом, измученный эшелоном и шумными призывниками, раздраженно сказал ему наконец:

— Вы, Гайдаш, бросьте вольничать. Пора привыкнуть. Вы же почти что в строю.

— Что ж, арестуете? На губу посадите? — задорно подхватил Гайдаш.

Но командир отмахнулся от него и побежал дальше, вдоль вагонов.

— Ну, пусть арестует, пусть! — злился Гайдаш. Все кипело в нем. Он хотел, чтоб его арестовали, посадили, обидели. Пусть ткнут его в каталажку, пусть издеваются над ним, ругают. Пусть! Пусть!

— Посмотрим! Посмотрим! — шептал он про себя, задыхаясь.

Он стал придумывать ответ командиру. Злобные, обидные слова рождались сами собой. «Вот я его обрею!» — злорадствовал он и на новой остановке опять сцеплялся с командиром, пока сигнал — по вагона-а-ам! — не разводил их. Алексей возвращался к себе в теплушку и кончал обдумывать все, что скажет командиру на следующей остановке.

Это целиком захватило его. Быстро проносились станции. Как только поезд замедлял ход, Алексей выскакивал из вагона и бежал искать командира.

Тому, наконец, надоело это.

— Бросьте, Гайдаш, говорю я вам. В последний раз говорю, бросьте!

— А не то?.. Арестуете?

— Зачем? — поморщился командир.— Я о вас на партийном собрании поговорю. Вы коммунист.— Он побежал дальше, а Гайдаш так и остался у этого вагона, растерянно разинув рот.

Да, он коммунист. Неужели он успел забыть об этом? Вдруг в нем вспыхнула неожиданная радость. Он сам не мог понять, откуда она. Чему он обрадовался? По привычке он стал размышлять, искать, что могло обрадовать его. Напоминание о том, что, кроме воинской дисциплины, над ним будет еще партийная? Это?

Странное дело — именно это обрадовало его. Он коммунист, коммунист, член партии, передовой боец, авангард! Как он мог забыть об этом!

Весело улыбаясь, пошел он вдоль теплушек. Что-то сдвинулось, переместилось в нем, он еще сам смутно догадывался об этом,— но почему показалось ему все осиянным иным, неожиданным светом: теплушка, эшелон, бойцы, сам он?

2

Ночью Алексей вдруг проснулся в какой-то непонятной тревоге. Он долго не мог сообразить, что разбудило его, но ощущение непоправимого несчастья, которое только что случилось здесь, было так явственно, что он начал пугливо озираться и прислушиваться. Вдруг до него донеслись тихие, тоскливые всхлипыванья. Недалеко от него кто-то негромко, но горько плакал. Очевидно, это и разбудило Алешу.

Сташевский — сосед Алеши — тоже не спал. Он угрюмо пробурчал:

— Швейк наш все хнычет,— и поморщился. Обоим стало неловко, как всегда бывает неловко мужчинам видеть мужские слезы.

— Дымшиц, что ты, чудак,— ласково сказал Алеша, но Дымшиц не ответил, а только стих; теперь он чуть-чуть всхлипывал.

Один за другим молча просыпались встревоженные ребята. Но в теплушке было тихо и грустно. На печи ерзал чайник, монотонно дребезжала крышка. Кто-то, не выдержав, нервно крикнул:

— Да снимите чайник, черти!

Дневальный поспешно снял чайник, но теперь стал слышен фонарь — он колотился о стенку и жалобно звенел треснутым стеклом.

— Ну чего ты, Дымшиц? О жене взгрустнул, что ли? — наклонился к нему Ляшенко.— Или болит что?

Но Дымшиц лежал тихо, не шевелясь, он даже начал неумело храпеть; Алеша понял, что Швейку стыдно за свои слезы перед товарищами и он хочет скрыть их.

— Это он со сна,— сказал Алексей.— Сон тяжелый приснился,— и услышал, как шумно и благодарно вздохнул Дымшиц. Каким диким усилием воли сжал этот маленький человек комок слез, застрявший в горле! Алеше вдруг стало легко и весело.

— Ну, нечего, нечего, бойцы! Спать, спать!..

Но сам он долго не мог уснуть и все ворочался на полке. Наконец, не выдержал, слез, подсел к дневальному. Дневалил Горленко Михаил — человек без профессии.

Уже давно хотелось Алеше узнать его ближе, прощупать, что за человек. Часто, глядя на молчаливого, улыбающегося парня, Алексей пускался в догадки, сочиняя целые истории о нем, придумывал хитрые подходы или, как он обычно говаривал: «подбирал ключи к человеку». Он решил попробовать сейчас эти ключи, но оказалось, никаких ключей не надо, человек сам открылся, как простой солдатский сундук, и все его содержимое распахнулось перед Алешей.

— Не спится? — спросил, улыбаясь, Горленко.— И мне тоже.

И сразу начал говорить о себе. Он говорил шепотом, останавливаясь, чтобы подбросить полено в огонь или поковырять кочергою в печи.

— Нет, я не заплачу, как Швейк,— сказал он,— ссади меня сейчас с теплушки, вот тогда я заплачу. Я за армию, как за счастье, ухватился. Что такое, думаю? Все кругом учатся, в люди выходят. Из нашей деревни, я сам из-за Донца, многие уж в рабфаке учатся, стара-

ются. А я — сижу. Видишь ли, меня, как бы тебе объяснить, полюбили земляки, что ли. Сперва секретарем сельсовета избрали, потом — председателем. Видят, парень старательный, и не пущают никуда от себя. «Уважьте,— говорю им,— земляки, отпустите подучиться. К вам ведь обратно вернусь».— «Знаем, говорят, много вас поверталось, как же». Вот и сидел. А теперь думаю в армии чему-нибудь дельному подучиться, профессию себе добуду. А то — в политическую школу махну. Как думаешь, а?

Позвякивал фонарь. Свечка догорела, мигнула и погасла. Они продолжали сидеть в темноте. Только пламя от печи полыхало на лицах и делало их резкими, мужественными. Алексей смотрел, как горели дрова, от них исходил сладковатый запах. Положил сухую щепку — она сразу загорелась, зарумянилась. Алексей следил за ней — потом вдруг сморщилась, посинела и рассыпалась. Алеша вдруг тихо начал говорить о себе. Он тоже человек без профессии, как и ты, Михаил Горленко. Вот едет в армию. Ждет ли он чего хорошего впереди? Сам не знает. Хочется ждать. Может быть, тоже в политическую школу пойти? Или стать командиром, остаться в армии, пойти в академию учиться. Так проговорили они до зари. Потом к ним присоединились ребята. Разговаривали шепотом, сначала, чтобы не разбудить спавших, потом просто потому, что так было приятней, душевнее. Незаметно перешли к личному, потаенному. У каждого парня дома осталась девушка — жена, невеста, подруга. Ребята радовались случаю поговорить о них. Одни признавались скупо, сдержанно, даже сурово, но нежные интонации выдавали их, другие тепло и любовно (Алешу поразило, как растроганно рассказывал о своей Верочке щеголеватый «деятель искусств» Рунич — вот не ожидал от него), иные хвастались, врали. Какие-то были у них все необыкновенные любви, невероятные истории, неповторимые девушки, и Алеше захотелось тоже рассказать что-нибудь исключительное. Покопался, покопался в памяти, ничего не вспомнил. Нет, нечего рассказать. Молодой человек, а какие скучные у него любвишки были!

Днем навстречу стали попадаться эшелоны раскулаченных, проезжали Северный Кавказ. На дверях одного

вагона Алеша заметил плакат: «Позор тому, кто отстанет от эшелона». Он весело засмеялся: «И кулаков агитируем! Сагитируем ли только?»

Эшелоны стали встречаться все чаще и чаще. Алексей заметил, как мрачнели тогда лица некоторых из его товарищей, как испуганно вытягивал шею и хлопал ресницами Моргун.

— Под корень рубают класс,— весело сказал Сташевский,— к чертовой матери!

На станции Прохладная эшелон призывников очутился рядом с эшелоном спецпереселенцев. Какой-то старичок выскочил оттуда и подошел к теплушке.

— На войну гонют? — ехидно спросил он и вопросительно повернул козлиную бородку.

— Ладно, ладно, проваливай! — пробурчал Ляшенко.— Нечего тут. У нас не разживешься...

Подошла баба и начала плакать неестественно громко и жалобно:

— Подайте, ребятушки. Бросьте хоть кусочек хлебца. Вот до чего дожилась. Раньше всех убогоньких сама одаривала, а теперь по миру хожу.

Моргун всхлипнул и потянулся за хлебом.

— Брось! — резко сказал Сташевский.— Не видишь, играет. Душу нам хочет жалостью отравить. Да нам не жалко тебя, тетка, проваливай. Ну, проваливай, говорю.

С новым и острым любопытством стал всматриваться Гайдаш в эшелоны, в лица людей, в грузы, непрерывным потоком льющиеся по железным дорогам. Трактор на черном поле, старик в буденовке под седым тополем, свежевыкрашенные новенькие молотилки на открытой платформе товарного поезда — все казалось ему исполненным нового неожиданного смысла. «Вот она переделка,— думал он.— То, о чем мы читали в книгах, чему учились в кружках,— вот оно. Неужто свершается? А я?» Вдруг стало ясно ему, что он прозевал начало этой переделки, а спохватился, только когда сам в нее попал. Не об этом ли говорил ему секретарь Цекамола?

Неужто в самом деле он все прозевал, проворонил? По ухабистой дороге медленно полз длинный обоз, на переднем возу, белый от муки, покачивался усатый, осанистый казак и держал красный флаг, надутый ветром.

А я? На пустыре копошились люди, рыли котлованы, складывали кирпич в розовые штабеля, суетились, бегали. А я? На маленькой станции из пассажирского поезда на перрон вывалилась гурьба молодых ребят с пилами, молотками и инструментом за плечами, быстро выстроилась на перроне и с песней пошла куда-то в степь. А я?

Странное дело, о чем бы постороннем ни думал теперь Гайдаш, на что бы ни посмотрел,— все каким-то окольным путем оказывалось касающимся его. Все западало в его растравленную душу, и тревожило, и бередило ее.

Когда-то на одном заводе Гайдаш видел, как никелируют сталь. Стальную пластинку опускают в ванну, где бурлят уже нетерпеливые пузырьки никеля. И вот пузырьки начинают приставать к пластинке, пока не покроют ее всю целиком.

И Алексею казалось, что и его душу также опустили в никель — в жизнь, нетерпеливую, пенную, бурлящую. Что пристанет к его душе? Не покроется ли она ржавчиной, не потускнеет, не окислится ли? Станет ли он, наконец, настоящим парнем или зарастет плесенью и ржавью, как последняя сволочь?

Гайдаш остро почувствовал, что в эти крутые дни проверялись люди... Крепок ли у человека позвоночник, могуч ли хребет, сильна ли жила? Сломится он или выпрямится, могучий, непобедимый, настоящий?

И Алеше захотелось начать жить по-новому. «Вот приеду в армию, буду учиться военному делу, стану отличным бойцом, потом командиром или политруком, останусь в армии навсегда. Потом — в академию». И снова отдавался мечтам, снова взлетал на небоскребы. «Ведь отличный же я парень, в сущности,— убеждал он себя.— Нет, плохие твои дела, Гайдаш, раз надо себя убеждать в этом». И снова он ругал себя за мальчишеские мечты, издевался над своими фантазиями и, рассорившись сам с собой,— сердитый, злой, смятенный,— бросался на полку или вмешивался в разговор ребят.

А теплушка была счастлива. Ребят удивляла и радовала эта замечательная поездка сквозь всю страну. Большинство из них никогда не были дальше своей округи. Все восхищало их: и города, встречавшиеся на

пути, и розовый дымок над закоптелым депо, длинные, бесконечные станицы и неожиданные верблюды, степной закат и ранняя молодцеватая зорька.

А когда поезд вдруг остановился у самого Каспийского моря, все ахнули:

— Море, море!

Даже Рунич, которого все уже звали Вруничем,— даже ничему не удивляющийся Рунич, пренебрежительно заявлявший о пейзажах, что все это ерунда (он в своем окошечке и не то видел: Кордильеры, слыхали вы про такое?),— тут не выдержал и побежал к морю. Вернулся гордый, важный, сияющий.

— Ноги в Каспийском море мыл! — заявил он.— Факт! Я во всякой большой воде — в реках, морях и озерах — первым делом ноги мою, осваиваю очень просто. Теперь бы мне только на Ледовитый океан попасть, а все остальные моря я уж знаю...

Но его приперли к стенке — а на Балтике был, а на Белом море был? Оказывается, и бывал-то он всего только на Азовском да на Черном.

— Да ну вас,— огрызнулся он,— сколько морей в стране. Разве все повидаешь?

Беззаботный смех гремел в теплушке. Зачинались и, неоконченные, угасали песни, чтобы смениться новыми. Ребята пели «легким горлом», стараясь, чтоб выходило по-армейски. Рунич колотил в дно чайника, как в барабан:

— Гей, море. Чорне море. Биле море, ге-е-ей! — пели ребята.

Алеше вспомнилось, что всего месяц назад он стоял здесь на берегу рыжего Каспийского моря, гадал: где он будет через год. Тогда выпало: в Тихом океане, среди голубой воды. Но теперь он уже точно знает: следующий год встретит его в казарме в крепости, среди черных, нахохлившихся гор.

«Забьюсь в далекий уголок, дальше уж и нет ничего — граница. И забудут меня мои друзья. И пускай забудут! — озлобившись, думал он,— пускай! Никого мне не нужно. Что в самом деле! Гадаю о будущем, словно старик какой. Плюнуть на все! Жить, просто жить, как все живут, как живется»,— и ему хотелось плюнуть, да не плевалось. И все ворочался, да ворочался на полке,

прислушивался к легкому беззаботному смеху ребят и завидовал им.

Было и так: однажды утром его разбудил громкий крик. На нарах не было никого. Все сбились в дверях.

— Что случилось?

— Горы, горы!

Он взглянул. Верно: на горизонте, словно нарисованные, голубели горы.

Вдруг горькое разочарование охватило его. Это горы? Только-то и всего? Он стал всматриваться. Да, горы. Волнистые бесплотные линии, похожие на тени. Может быть, это и не горы еще, а облака только? Было бы очень обидно, если бы горы были такими, как, как...— он подбирал сравнение и вдруг вспомнил,— как на коробке печенья.

Он убеждал себя, что осиянные солнцем горы эти впрямь красивы, но красота эта не трогала его, оставляла холодным и разочарованным.

Какими же он ждал увидеть их? Опять ребячество, Гайдаш? Ну да, когда на призывном пункте его спросили, куда он хочет поехать служить, он ответил, махнув рукой: «Подальше!» Военный комиссар улыбнулся. «Хотите на границу, в горы? В городок Крепость?» Ему представились тогда угрюмые горы, дикие скалы, ущелья и где-то среди них черные развалины крепости, покрытые ржавым мхом, лягушечьей зеленью, окутанные пороховым дымом. «Я еду служить в крепость!» Это звучало здорово! Бастионы, бойницы, подземелья, тайные ходы, змеи под скользкими камнями...

Алеша равнодушно смотрел, как разворачивались перед ним горы. Вспомнил холмы родного края, степь, иссеченную дождем, и подумал, что, вероятно, никогда он не полюбит этот чужой, пусть пышный, но холодный пейзаж. Чего-то не хватало в нем, чего? Вдруг Алеша догадался: надо бы сюда вышку шахты, трубу завода, белую колоннаду здания. Не хватало человека, его благородной руки. Все было удивительно похоже на рельефный песочный ящик, по которому на призывном пункте обучались тактике. Тот же выпуклый, не живой, застывший пейзаж, та же неправдоподобная, слишком аккуратная красота, слишком облизанная чистота и подтянутость.

В Тифлисе эшелон расформировали. Алешину теплушку прицепили к дачному поезду Тифлис — Боржоми.

— На дачу едем, ребята! — острил Рунич.

Вся их поездка вдруг приобрела легкомысленный, увеселительный характер. Рунич успел подружиться с девушками из соседнего вагона, они звали его к себе. Веселые, гостеприимные грузины на станциях пили за Красную Армию, хрипло и нестройно кричали «ура!» и приглашали ребят отведать местного молодого вина — маджарки. Призывники крепились. Держались с подчеркнутым достоинством.

Печь из теплушки пришлось выбросить,— и без нее жарко. Соседние вагоны были без стенок, как трамваи в южных городах. Что-то в них напоминало карусельные лодки.

Ребята сидели на пороге теплушки, свесив босые ноги. Пышные багряные ветви цеплялись за двери. Падали в вагон листья. Сташевский все пытался сорвать ветку на ходу, но деревья не давались, убегали, взмахнув листвой, в руке оставался только клок рваных, кроваво-красных лоскутков.

— Схватил дерево за чуб? — смеялись над Сташевским ребята. А он, стиснув зубы и напружившись, стоял в дверях, готовый к новому прыжку.

— Гей, горы, чорни горы, сини горы, гей! — пели ребята.

Алеша сам не успел заметить, как, когда он попал в плен гор. Горы подавили, уничтожили его. Все, что он думал о них раньше, вчера, третьего дня, оказалось чепухой, вздором.

То черные, то прозрачно-кремовые, дымчато-синие или морщинисто-серые, мышастые, то покрытые густою хвоей, то черно-голые, суровые или нарядные, острые или округлые, но все древние, прекрасные, озаренные сияющим солнцем, они подступали к самой теплушке, громоздились у дороги, убегали и терялись в облаках. Вся земля была вздыблена, взъерошена. Даже засеянные поля, огороды, сады висели как-то отвесно, боком, приткнувшись к скалам. По узким, крутым тропинкам бродили пугливые и бесстрашные овцы. С гор срывались тонкие острые ручьи, блестевшие на солнце, как сабли.

Все горы были иссечены ими, а там, где реки высохли, остались глубокие шрамы.

«Древние...» — с почтением подумал о горах Алеша. На каждом шагу теперь мерещились ему старинные крепости и развалины. Может быть, и крепостей здесь никаких никогда не было, но причудливые сечения горных пород, сбросы: скалы, пещеры, обрывы — казались грозными остатками крепостных стен, валов и бастионов. Все дышало древностью, воинственной и романтичной.

А с гор набегал на теплушку молодой, тугой ветер, полный соков прелой земли, острых запахов смолы, хвои, упавшей листвы, стоячего озера, пряных, восточных ароматов фруктовых садов, горького миндаля и сладкого персика. На вокзалах пахло луком, жареной бараниной, терпким вином, рекой и кипарисами. Вот мелькнул одинокий домик на тонких сваях, как избушка на курьих ножках. Кто живет в нем? Кого любит, кого ненавидит, о чем мечтает? Вот хлестнула в окно тяжелая ветвь дуба и осыпалась, звонкие листья попадали на рельсы, на песок, на железные стропила моста. Вот мутная река вырвалась из-под моста и заюлила среди каменистых отмелей. Вот...— но что это, гора горит?

— Гора горит? — закричали ребята.

Гора и впрямь горела. Багряные листья покрыли ее всю — это был гигантский костер, в котором, как тонкие струйки дыма, подымались голые черные сучья молодняка. И долго смотрели ребята вслед дымящейся горе и с грустью расстались с прекрасной иллюзией.

Чудесная это была земля, в которую приехал служить Алеша. По этой изумительной земле сквозь горы, леса и реки неслась его бесшабашная теплушка, украшенная зелеными ветвями, как флагами. Охапки цветов и листьев валялись на нарах и на полу, по ним ходили, их топтали, ими размахивали, их швыряли на полотно железной дороги. Словно усыпали свой путь цветами. Ликующие ребята, опьяненные солнцем, движением, запахом гор и садов, толпились в дверях и нестройно орали.

Внизу на камнях билась пенная Кура — ура реке! Распахнулись серые, бетонные каскады плотины, ЗАГЭСа — ура плотине, человеку-творцу! Возник осиянный солнцем памятник Ленину над ЗАГЭСом — ура

Ленину! Ура горам! Ура соснам, молодости, веселым призывным годкам!

— Гей, горы, чорни горы, сини горы, гей!..

— Гей! — гремело в горах.— Гей!

— Гей! — кричал Дымшиц, бравый солдат Швейк Энского Горно-Кавказского. Его галстук сбился набок, воротничок расстегнулся.

— Гей! — орал молчаливый Ляшенко мощной глоткой кочегара.

— Гей! Гей! — подхватывал Алеша, и эхо отвечало ему в горах, заглушаемое колесами поезда.

Так они приехали в Боржом, в этот удивительный курортный городок, похожий на театральные декорации. Бродили по городу. Удивлялись горам, небу, маленькому, круглому, узорчатому, отороченному со всех сторон бахромой черных гор, гуляли по парку, пили тепловатый боржом, ели козий сыр в буфете на вокзале.

В Боржоме призывники узнали, что до Крепости еще шестьдесят километров и их надо пройти по каменистому шоссе, нависшему над Курой.

— Впрочем, можно поехать и автобусом,— сказал встретивший их в Боржоме командир из Горного полка.— Да на всех мест не хватит...

— Пешком, пешком! — закричали ребята. Алеша заметил, как побледнел Дымшиц, и, наклонившись к нему, тихо сказал:

— А вы, Юрий, поезжайте автобусом. Ничего...

Дымшиц моргнул ресницами и прошептал:

— Нет. Я пойду пешком... со всеми...

Вечером к Алеше подошли Рунич, Сташевский и Ляшенко. Они смущенно мялись и глядели друг на друга.

— В чем дело? — спросил удивленный Алеша.

— Да что! — вдруг решился Рунич.— Дело вот в чем, товарищ старшина. Сегодня последний день нашей штатской жизни. Завтра будем в строю. Мы приглашаем вас... ну, понятно?

Они нашли духан, спросили бутылку местного молодого вина и, стоя, высоко подняв стаканчики, которые здесь зовут лафитниками, чокнулись.

— Ну, друзья, за новую жизнь, за Горный Кавказский! — торжественно сказал Рунич.

Уже на третьем километре Дымшиц снял галстук, на пятом — кепку, на седьмом — пиджак, на десятом — подтяжки. Но все это приходилось нести на себе. Розовые подтяжки болтались на плече, пиджак оттягивал руку. Верно говорят, что в походе и нитка — тяжесть.

Алексей искоса посматривал на шагавшего рядом потного, задыхающегося человечка. «Ну, зачем он не поехал автобусом? — злился Гайдаш.— Тоже герой выискался!» Потом ему стало жаль Швейка.

— Давай-ка я понесу немного,— пробурчал он и взял у Дымшица пиджак. Дымшиц жалко улыбнулся:

— Сердце... сердце дебоширит...

Рядом с Дымшицем Алексей чувствовал себя здоровым и сильным. Пиджак он перекинул через плечо. Дорога казалась ему теперь пустяковой и легкой.

Словно старый солдат, он шел по обочинам шоссе.

— Здесь мягче,— назидательно говорил он Дымшицу, и тот покорно ступал за ним след в след.

Внизу шумела Кура, по ней то и дело навстречу призывникам неслись легкие плоты. На них, широко расставив ноги и навалившись на длинные шесты, стояли плотовщики, мокрые с головы до ног. Алексей заметил, что у правила стоял обычно старик. Один надолго запомнился ему. Гибкий, стройный, сильный, он как-то особенно лихо управлял плотом, и тот легко лавировал среди огромных камней, свалившихся в реку. Старик был бос, его шаровары, узкие у щиколотки, раздувались на бедрах, как парус на ветру, на голове непонятно как держалась очень маленькая круглая войлочная шапочка. Старик что-то кричал все время.

«Гауптхильды!» — разобрал Алеша и скорее догадался, чем понял, что это значит: «берегись!» — столько тревоги было в этом крике.

На малых привалах Алеша ложился лицом к реке. Чуть скрытые береговой листвою, проносились мимо него плоты — на это можно было смотреть часами. И тогда казалось, что сам плывешь, мчишься с рекой. Он слушал, как грозно шумит река, как скрипят бревна, гор-

танно кричат плотовщики,— и новый, незнакомый мир открывался перед ним. «Они плывут до Тифлиса...— думал он.— Ночуют, вероятно, на берегу... у костров... Дым костра... Жарят баранину... Спят под деревом... На траве... Трава мягкая, мокрая... Холодно... Но они привычные... Мокрые с головы до ног... Один на один с рекою... Скалы... Камни. И когда я бегал в школу — они гнали плоты, и когда я сидел в окружкоме — они гнали плоты, ночевали у костров, кричали гортанно и тревожно... Я не знал их, они не знали меня... Как много еще предстоит мне узнать и увидеть! Хорошо бы пронестись по Куре на легком плоту... Скрипят бревна...»

Дымшиц лежал пластом, обессиленный и потный.

— Пить,— шептал он, но Алеша строго приказал ему и не думать о воде. Он слышал, что пить в походе нельзя.

— Соси пуговицу,— посоветовал он. Он ощущал в себе неподозреваемые силы и опыт. И у него гудели ноги и ныло под коленкой, но в этом он не признался бы ни себе, ни товарищам. Он все приглядывался к шагавшему впереди командиру. Тот даже воротника не расстегнул. Ни одной капельки пота нельзя было заметить на его худощавом, резко очерченном лице. Полевая сумка и наган, прикрепленные к ремню каким-то особенным способом, лежали на бедрах как припаянные. Алексей покрутил головой.

«Школа-а! — подумал он.— Сумею ли и я?»

Навстречу начали все чаще попадаться скрипучие арбы на двух колесах. Буйволы низко склоняли могучие выи под деревянным ярмом,— от этого казалось, что глядят они исподлобья, зло и враждебно. Арба визжала, высокие деревянные колеса пели на разные голоса, буйволы глухо ревели. На маленьком равнодушном ишаке проехал, потрухивая на ходу, крестьянин в чалме, длинные, тонкие ноги его, обутые в чувяки, касались земли. Согнувшись под вязанкой хвороста, протрусил мимо пугливый мул, робко поводя высокими ушами. Чаще стали встречаться машины, лихие шоферы весело окликали призывников и обдавали их пылью. На шоссе возились ремонтные рабочие в широкополых войлочных шляпах, у некоторых головы были обвязаны красным

или розовым платком. Они сидели на шоссе и, охватив камень ногами, долбили его молотками. Проехал воз, доверху полный скошенной травы, на шоссе запахло сеном. Алеша радостно потянул носом, но запах сена скоро смешался с угаром бензина, с сырыми запахами реки и ароматами садов, селений, теплого навоза на дороге. Все это был незнакомый Алеше мир — люди в нем жили и трудились над неизвестными еще ему делами, их заботы, печали и радости были еще непонятны ему. И даже в запахах этого мира он разбирался плохо.

Наконец, добрели до почты — здесь полагалась ночевка. Стрепетов, сняв очки, объяснил: он все знал. Алеша почувствовал к нему легкую зависть.

— Здесь ходила раньше царская почта, на полдороге стоял духан — полпочты — полдороги, значит. Здесь отдыхали, пили, ели, кормили лошадей.— Стал вспоминать Лермонтова и Грибоедова — они когда-то тряслись по этой дороге. Глаза его заблестели.

— Вы знаете,— сказал он Алеше,— в казармах, где мы будем жить, стоял раньше полк, в котором когда-то служил Лермонтов. Сорок четвертый Тенгинский. Возможно, здесь, в этой крепости, служил и Печорин. История будет глядеть на нас, друзья, с этих стен и удивляться нам, племени молодому и незнакомому.

Печорин! — Это напоминало Алеше Вальку Бакинского. Он зло усмехнулся. Мысль о том, что Бакинский мнивший себя Печориным, стал просто-напросто троцкистской сволочью, рассмешила его. Он весь вечер усмехался, вспоминая.

Спать легли рано, измученные дорогой. Им отвели пустые комнаты ветеринарного пункта. В комнате стоял еще запах карболки. Ночью Алеша проснулся от духоты, от тяжелого сна, от храпа Сташевского. Вышел на улицу. Глухо шумела Кура. Дремали тяжелые сады. Ни огонька в селении. На шоссе пустынно и тихо. Горы черной грядой громоздились вокруг.

Стало холодно. Зябкая ночь! Вернулся обратно. Лег. Лермонтов, Грибоедов, Тенгинский пехотный полк; горы, казачьи посты, чеченцы, скрипучие арбы, девушка с кувшином, враждебные глаза буйвола, полевая сумка, поблескивающая розовой кожей,— все завертелось в голове. И вот он уже плыл по Куре на легком плоту

и старик в маленькой войлочной шапочке, мокрый с ног до головы, тревожно кричал: «Гауптхильды», что, вероятно, означает — «берегись!».

На следующий день в сумерках подошли к Крепости. Алеша взглянул сначала на свои сапоги — они сморщились и запылились, потом на Дымшица, тот был еле жив. У Алеши у самого болели ноги, он, очевидно, натер их. Нельзя ходить по горам в хромовых сапожках, натянутых на тоненькие носки.

— Главное,— говорил командир,— для пехотинца — ноги. Но мы научим вас искусству завертывать портянки.

Но теперь и шоссе, и дорожные тревоги, и муки остались позади. Окутанные синими сумерками, вдали дымились сады и дома Крепости.

С любопытством всматривались будущие красноармейцы в городок, раскинувшийся внизу за рекой. Алексей шагал рядом с командиром. Тот, видимо, опасаясь, что первые впечатления окажутся очень тяжелыми для призывников, пытался подготовить их.

— Это и не город даже,— говорил он, виновато улыбаясь, словно был повинен в этом.— Это, проще сказать,— селение, большой аул, что ли.

— А вы давно служите здесь? — спросил тогда Алеша.

— Семь лет,— просто ответил командир.

Алеша вскинул на него глаза, но ничего не сказал.

Над рекой красиво высились крепостные стены. Они казались черными. Может быть, из-за сумерек.

— В этой крепости мы и будем жить?

— Нет. Тут пограничники. А наши казармы вон, видите?

Вдали на голых холмах виднелись мрачные казармы. Так еще одна Алешина иллюзия оказалась развеянной как дым. Оказывается, он даже и в Крепости жить не будет.

Уже совсем стемнело, когда они перешли мост через мелкую, усеянную каменистыми отмелями реку (Кура давно убежала в сторону от шоссе — в Турцию, как объяснил командир), и вошли в город. На кривых тем-

ных улицах мигали редкие фонари. Все же Алеша сумел увидеть, что городок маленький, жалкий и грязный. «Много лавчонок»,— отметил он. Улицы узенькие, азиатские. Чем-то нехорошим пахнет. Чем же? Единственное двухэтажное здание обрадовало его.

— Что это? — спросил он командира.

— Все,— кратко ответил тот,— и рик, и райком, и кафе, и типография. Все здесь.

Алеша невесело усмехнулся. «Ну что же,— подумал он,— чем хуже — тем лучше».

Оказалось, что в полку для них не был приготовлен ночлег. В карантин их поместить нельзя — не были в бане. Командир вернулся из штаба и смущенно сказал, что придется всем одну ночку переночевать на гауптвахте — свободное помещение.

— Только не привыкайте к ней, ребята,— пошутил он.

Алеша рассердился: неужто нельзя было о ночлеге раньше подумать? А еще, говорят, в армии порядок. Ну и гарнизон! Он здорово устал, ноги гудели. Усталость сказывалась теперь на всех ребятах. Они молча стаскивали разбитые ботинки, валились на пол.

Принесли сена. Постелили на полу. На огромный котел шрапнельной каши набросились жадно и молча. Алеша поел немного и повалился на сено. Но не спалось. Заметил на стене надписи карандашом. Стал читать. «20 суток за оскорбление командира сидел повар части Тюхов». «Не попадайся сюда, ребята, это некрасиво для бойца. Боец кавэскадрона Гаркуша». Внизу химическим карандашом были нацарапаны стихи:

Будь проклят тот от века,
Кто думает губой исправить человека.

Алеша прочел их несколько раз. Горько усмехнулся. «Вот и меня думают исправить армией, губой, дисциплиной. Исправить? Разве я преступник?—он дискутировал с секретарем Цекамола.— Спихнули меня в солдаты, забрили лоб, возни меньше, так, товарищ секретарь?..»

Разбудили рано. Снова принесли кашу. На этот раз гречневую, с мясом. Стрепетов уныло жевал хлеб. Алексей, поев, вышел покурить на улицу.

Перед ним лежал весь полковой городок, бурые кирпичные казармы крепко осели на холмах. Окрест дремали горы. Они окружили полк мирной, задумчивой чредой. Верхушки их золотились, склоны были еще покрыты серой тенью.

Было что-то очень мирное и покойное в картине военного городка ранним утром. С холма медленно спускался красноармеец с ведром — очевидно, нес кашу караулу. Возле санчасти на изъеденной временем скамье сидел и грелся на солнце больной командир в халате. Проехали, подняв пыль, конники на неоседланных лошадях. «На водопой»,— догадался Алеша. У каких-то складов — очевидно, артиллерийских — мерно шагал часовой в сером плаще.

Алеша вдруг почувствовал себя неловко в кургузом, штатском пиджачке и кепке. Очевидно, он представлял смешную фигурку на фоне этого подтянутого, строевого мира. Часовой поглядывает в его сторону. Узнает ли он в нем новобранца, или удивляется появлению штатского человека в полку?

Скоро и Гайдаш станет простым парнем в серой шинели, одним из тысячи. Никто не будет ни удивляться ему, ни замечать его. И то, что кажется ему сегодня необычным, интересным, острым,— станет завтра будничным и простым. И конники на неоседланных лошадях. И больной командир в халате. И горы.

Бросил папироску в урну, вернулся к ребятам.

Строем их повели в баню. Под машинкой полкового парикмахера полетели на пол Алешины кудри. Зеркала не было, но он посмотрел на ребят и в их смешных, стриженых головах узнал свою, тоже, вероятно, смешную, испещренную колеями машинки. Вспомнил, что Любаша всегда смеялась над его ушами — большими и оттопыренными. Поглядела бы она теперь! А, все равно!..

С наслаждением вымылся в бане. Получил белье с завязками вместо пуговиц, сапоги, гимнастерку, брюки, шинель, ремень, шлем.

Ребята деловито выбирали себе одежду: сапоги по ноге, ремень поуже, гимнастерку пофрантоватее. Они уже решили кое-что перешить, долго примеряли. Они выбирали одежду, чтобы носить ее, а Алеша брал все

небрежно, чуть брезгливо, равнодушно. «Все равно, все равно»,— шептал он.

Когда Ляшенко подошел к нему в полной форме,— Гайдаш сразу не узнал его. Удивительно, как пришлась кочегару форма, словно сто лет был он в строю. Молодцеватый красноармеец получался из него, Алеша даже залюбовался. Сам он, вероятно, выглядел смешным.

Но Дымшиц удивил всех. В лихом шлеме, в огромных сапогах, в ремне, сползшем на живот, он и верно был Швейком, таким, как рисуют его в книжках.

— Швейк, Швейк! — хохотали вокруг ребята, он давно перестал обижаться на эту кличку. Они хлопали его по плечу, вертели во все стороны — он только улыбался растерянно и смущенно.

Военная одежда изменила всех. Ребята не узнавали друг друга. Это был веселый маскарад, игра с переодеваниями, и даже Алеша заразился общим весельем. Потом тихонько подошел к каптеру и попросил сменить шлем.

4

Наконец, я получил письмо от Алеши. На конверте стоял штамп: «Красноармейское». Я обрадованно вскрыл письмо. Оно было написано карандашом, лихим, размашистым почерком. Чувствовалось, что автор больше привык подписывать бумаги, чем писать письма.

«Крепость. 3 ноября 1930 года.
Здравствуй, дорогой Сергей!

Вокруг меня сейчас не казарма, а целая канцелярия. Все сидят и пишут письма. Дурацкое занятие, я никогда не был силен в нем. Но заразительное. Неужто и мне некому написать письмишко? Подумал-подумал, решил написать тебе. А что написать — и сам не знаю. Ну, жив, здоров. Цел, невредим — чего и тебе желаю. Еще что? Знаю, ждешь ты от меня красочных описаний, переживаний — да не мастер я на них. Вокруг горы. Самое интересное в них то, что половина из них уж не наша — турецкая. Вчера сказал нам об этом командир, показал рукой,— это уж турецкие горы! Они синели где-то и очень далеко и очень близко. Я бы за полдня мог

взобраться на ближнюю из них — оттуда, говорят, можно увидеть турецкую землю. Вот куда занесло меня. Что скрывать? Это наполнило меня гордостью и волненьем — сразу показалась мне наша старая казарма, и койки, заправленные солдатскими одеялами, и часовой у ворот, и протоптанные в застывшей грязи дорожки, и каменистый плац, и горнист, протрубивший развод наряда,— все показалось мне наполненным особым смыслом. Не скрою — стал я с почтением поглядывать на горы. Они надвинулись на нас и к вечеру кажутся черными и зловещими. Граница наша мирная, дружественная, но в горах пошаливают бандиты, и изредка с заставы привозят убитых или раненых пограничников. Все больше — нож в спину...

(Я улыбнулся, узнав в этих строках Алешу. Армия стала ему милее, когда он узнал об опасностях. Это было похоже и на него, и на меня, и на всех ребят нашего возраста.)

В городе я еще не был,— мы на карантинном положении. Но городок, видать, грязненький, дай ему бог здоровья, но любопытный. Впрочем—сужу по рассказам.

Карантинное положение — это мерзость, откровенно говоря. Нас щупают доктора, делают уколы, нянчат, как барышень, и осторожненько, полегоньку приучают к армейской жизни. Никогда не думал, что комадиры такие искусные педагоги. Нас понемногу «втягивают» в строй, учат заправлять койку, складывать на ночь гимнастерку, чистить зубы. По утрам делают смотр нашим стриженым головам, заглядывают, чисты ли уши, и укоризненно выговаривают, что надо быть культурным и хоть изредка, да уши мыть. Вещь, разумеется, полезная, но зачем меня, как малого ребенка, учить ходить ножками, никак не пойму...»

Я вспоминаю теперь, что письмо Алеши вызвало во мне странное чувство, в котором я сначала не сумел даже разобраться. Я видел сквозь строки, что нелегко дается Алеше внезапное превращение из секретаря окружкома в рядового красноармейца. Но не об этом думалось мне, когда я рассеянно перебирал листки. Мне показалось даже, что письмо Алеши преследовало какую-то затаенную цель. Может быть, он хотел, чтоб показал

я письмо ребятам из окружкома, тем, которые «ехидничали». Ну, ладно, покажу. Хотя и не знаю, кого он имеет в виду.

Нет, и не об этом думал я. Я представил себе Алешу в полутемной казарме... за окном чернеют горы... с штыком у пояса медленно бродит дневальный... матово поблескивают винтовки в пирамиде... А Алеша сидит, охватив голову руками, один у своей койки, заправленной серым одеялом, и... зависть, острая, горькая зависть к нему, вдруг овладела мною.

Мы были детьми войны. Наше детство прошло под гром орудийных выстрелов. Фронт лежал за рекой, в которой мы купались. Мы ночевали в окопах чаще, чем дома, нас гнали — мы не плакали, но огрызались. Иногда нам удавалось оказаться полезными — поднести патронов, воды, снести донесение,— мы не хвастались этим, молча гордились. Мы росли, опаленные дымом, бесстрашными, но по-детски взрослыми и предприимчивыми. Мы знали: человек не может пропасть зря.

Когда наши отцы воевали — мы играли в войну. Стреляные гильзы, еще теплые и закопченные, служили нам игрушками. Мы подбирали их на поле боя и коллекционировали — русские, японские, берданочные, револьверные, нагана, браунинга — как гимназисты в старину коллекционировали папиросные коробки. Мы знали толк в оружии и по звуку выстрела определяли орудие,— так наши ребята сейчас разбираются в автомобильных марках. Мы носили одежду, перешитую из шинелей и гимнастерок взрослых, мать тщательно заштопывала круглые дырочки от пуль и неслышно плакала. Мы донашивали огромные отцовские сапоги, порыжевшие и сморщившиеся.

По каким болотам войны шагали они, в каких лужах порыжели?

Мы мечтали о собственных сапогах, о настоящих гимнастерках — настоящих, то есть с петличками и номером своего полка.

Но вот мы выросли, стали слесарями, инженерами, агрономами, натуралистами,— мы строили дома, машины, мосты; из холостяцких казарм мы перебрались

в собственные квартиры, у нас появились вещи — коврик над письменным столом, стоптанные мягкие туфли, певучий пружинный диван,— на стене, под охотничьим ружьем, на огромном гвозде красовалась посеревшая буденовка, а в шкафу ждала своего срока рыжая шинелишка с выцветшим номером на петлицах.

Иногда мы вытаскивали эти драгоценные реликвии,— это случалось в дни сборов запаса, чистили их, штопали места, испорченные молью. Нам было неловко являться в часть в штатском виде. Мы приходили в старой шинельке, хоть и стала она уж тесноватой — мы раздобрели, но были годны в строй.

Мы прибывали в лагерь не в гости, не на временные квартиры,— мы возвращались домой из долгосрочного отпуска. Здесь в серой походной палатке был наш дом, и мы, почистив пыльные сапоги, занимали свое место в строю, торопливо отвечали на перекличке:

— Я!

Но войны не было,— через месяц, подучив, протерев и смазав, как добрую старую винтовку, нас возвращали обратно строить мосты и писать.

Чувство войны не покидало нас, что бы мы ни делали — любили ли девушек, качали ли ребят, или щелкали на счетах в конторе.

Империалистической войны мы не знали — она доходила до нас лишь в рассказах отцов, вернувшихся домой «на побывку», но это так тесно сплеталось со сказками бабушки, что царица Алиса представлялась нам злой бабой-ягой, царь Николка — людоедом, ревущим: «покатаюся, поваляюся, человечьего мяса покушаю», а лихой казак Кузьма Крючков оказывался храбрым Иванушкой-дурачком. Потом к этим детским представлениям прибавились первоавгустовские демонстрации, книги Ленина, злые карикатуры Гросса и страшный холм человечьих черепов у Верещагина.

Мы были детьми войны гражданской. Эту войну мы понимали, чувствовали. Эта полна была для нас реального смысла. В ней видели мы, ребята городской окраины, борьбу «наших» с врагами. В этой войне мы не были ни зрителями, ни нейтральными. Мы воевали у огромной карты на площади, у окна РОСТА; на захламленном пустыре мы воспроизводили сражения, мы тоже

брали Ростов лихим кавалерийским налетом, мы тоже падали сраженными у Перекопа.

Оттого слово «борьба» было для нас священным. Оно означало борьбу за справедливость, за счастье всех, за мир и порядок на земле. Из таких и выходят поколения, закопченные пороховым дымом, готовые к новой борьбе.

Мы росли в сознании того, что и нам доведется защищать свою родину с оружием в руках, мудрено ли, что питали мы уважение к винтовке, а осоавиахимовский противогаз — чудовище со стеклянными глазами — вешали на стену, на коврик рядом с охотничьим ружьем, буденовкой и портретом любимой девушки.

Мы росли, говоря себе: «В грядущих схватках придет и наш черед для доблести, для подвигов, для славы».

5

Командир улыбнулся:

— Ого! Я предсказываю вам, Гайдаш: вы будете отличным гранатометчиком. Ставлю вам тройку с плюсом. Только «эх!» кричать не надо.

Насмешка почудилась Алеше в голосе командира, он насупился и отошел в сторону.

А командир отметил в блокноте: «10. Гайдаш Алексей — спортивная подготовка слабая, но данные хорошие. С характером. Упрямый, самолюбивый, волевой». Командир роты Зубакин был психологом.

Алеша решил взять реванш в беге на три тысячи метров. Он никогда не был на спортивной дорожке, но всегда считал себя хоть неладно скроенным, зато крепко сшитым парнем. Среди дохлых комитетчиков, измученных заседаниями, куревом взасос, долголетней учебой в партшколах и комвузах, он выделялся своим буйным здоровьем, простонародной краснощекостью и силой. Иногда он, подвыпив, затевал кутерьму: расшвыривал ребят по комнате, боролся один против целой группы, пыхтел, возился. Он гордился своим здоровьем. Ему чудилась в себе скрытая сила, она, притаившись, дремлет, не было случая разбудить ее,— вот он сейчас мобилизует ее всю, всю без остатка. Вспомнил усмешку командира — скривил рот: что ж, посмотрим! Взглянул

на шоссе — оно искрилось. «Бежать по обочине? Задохнешься в пыли. Так! Бежать ближе к орешнику мягкой тропкой». Скинул гимнастерку — пахнуло прохладным ветром. Хорошая кожа! Отличный день. Прижал руки к груди. Замер. Искоса взглянул на ребят — они приготовились к бегу. Сташевский, Рунич, Ляшенко... Да, Ляшенко, пожалуй, конкурент. Надо вложить всю силу, всю волю в первый рывок. Так. Спокойствие! Хорошо стучит сердце... Двадцать два года — заря жизни... Выдержка. Внимание...

...Три!

Его швырнуло вперед, словно пулю из карабина. Это произошло вне его сознания, и вот, словно толкнули сзади, в спину; спустили как тугую тетиву.

Бежит. Ветер в лицо. Хорошо. Отлично. Оглянулся — ребята остались сзади. Усмехнулся — стало весело и легко. Он чувствовал себя сильным, ловким, ладным парнем. Как искрится шоссе — синие, голубые, зеленые искры. «Надо дышать носом»,— вспомнил вдруг он и поспешно закрыл радостно разинутый рот. Как замечательно пахнет землей и лесом! В конце концов ему только двадцать два года. Все впереди. У него крепкие ноги. Они безраздельно повинуются ему. Захочет — будет плотно стоять ими на земле, захочет — будет бежать, мчаться как ветер, как вихрь. Куда? Куда вздумается. Куда захочется. К счастью, к славе, к любви! Как здорово пахнет мир спелыми яблоками. Снова оглянулся: ребята были далеко сзади. Что, товарищ комроты, улыбаетесь? Ну-ну! «Им не нагнать меня. Раз я ушел вперед, теперь не нагонят. Надо только сохранить эту дистанцию. Чуть сбавлю темп и в этом темпе к финишу». «К финишу! К финишу! Сколько я пробежал? Как замечательно стучит сердце». «Это кровь Клааса стучит в моем сердце»,— вспомнил он Уленшпигеля.— «Это кровь класса стучит в моем сердце»,— перефразировал на бегу.

Он прислушивается. Ему вдруг начинает казаться, что слишком много шума вокруг. Шумит орешник, шумят сады, ручей, ветер. Отчего так много шума? Он задыхается. Сбавляет темп. Снова прислушивается. Тяжело булькает сердце. Неровно, учащенно. Шум вокруг усиливается — теперь это буря. Он с испугом догадывается,

что это шумит в ушах. Он пыхтит, сопит, сморкается. Больше нечем дышать. Нечем. Он судорожно раскрывает рот, жадно глотает воздух — пахнет яблоками, откуда яблоки? Ноябрь? Сейчас оборвется сердце, с шумом лопнут легкие, как надутый бычий пузырь, разорванный ударом палки.

Он совсем сбавляет бег и испуганно прислушивается к себе. В нем что-то хрипит и стонет. Вспомнил разбитую гармонь меньшего брата. Брат плакал над ней. Она хрипела.

Теперь он уже механически передвигал ноги, по инерции. Он увидел, как мимо промчался кто-то, он даже не успел заметить кто, но решил, что это Ляшенко. Тогда он судорожным движением рванулся вперед. Стал понукать себя. «Ну ты, кляча!» Но ноги не слушались. Рот беспомощно открылся. Нечем дышать. Нечем. Он чуть не заплакал от злости и обиды.

Внезапно пришло облегчение — стало легче дышать. Что это? Подуло свежим ветром? Откуда эта легкость, радость освобождения — словно сняли тяжесть с груди? Вспомнил, что спортсмены когда-то толковали ему о «втором дыхании», которое приходит уже на бегу, когда спортсмен «втягивается» в бег. Это оно? Что ж, отлично! Как смешно, что он испугался. Нет, теперь он добежит. Нажать немного! Еще нажать! Догнать ушедшего вперед Ляшенко. Прийти первым! Или вторым... Во всяком случае, в первой пятерке.

Но ноги не слушаются. Невероятно тяжелы ноги. Ломит под коленками. «Кляча, кляча! — ругает себя Гайдаш.— Ну! Нажать! Ну!»

Кто-то нагоняет сзади. Алеша слышит чье-то мощное, ровное дыхание. Оглядывается. Это Ляшенко. Кто же был первым?

Ляшенко бежит тяжело. Но ровно. Вот он обходит Алешу. Алеша видит его широкую спину, она мерно колышется. Потом он замечает, что Ляшенко косолапит.

Еще кто-то обходит Алешу. Теперь это Левашов, областной чемпион по конькам. Этот бежит на носках, легким, спортивным шагом, словно он отмеривает их рулеткой. Он обходит и Ляшенко. И вот уж где-то далеко впереди очень красиво и мерно колышется его стройное, тугое тело.

Целая гурьба ребят перегоняет запыхавшегося Алешу. Ему начинает казаться, что он стоит на месте, а мимо плывет дорога, как вокзальный перрон с оставшимися на нем людьми. Тогда он закусывает до крови губу и упрямо ускоряет бег. Он бежит уже нервами, ноги не слушаются. Нервы еще покорны ему. Он безжалостно эксплуатирует их. «Ну, еще, еще! — хрипит он.— Не сдамся. Не сдамся. Ну!»

Навстречу попадаются Левашов и Сташевский. Они бегут обратно. Между ними уже завязывается борьба. Алеша видит, как все быстрее и быстрее мелькают их ноги. Они набирают скорость. Они повышают ее мерно и ровно. Они скупо расходуют свои ресурсы. Они берегут их расчетливо и точно, как хозяйка бережет керосин. «Вот в чем, оказывается, дело»,— догадывается, наконец, Алеша. Он не рассчитал своих сил. Слишком стремительно рванулся вперед и — выдохся. Обычная его ошибка. Как часто он выдыхался из-за слишком горячего рывка!

«Ничему не научился,— думает он,— кляча, кляча, да с норовом еще!»

Все-таки он продолжает бежать. Странно, как не треснет сердце. «Хорошее тебе отпущено сердце, Гайдаш, и как же глупо ты его расходуешь».

«Дышите носом!» — вспоминает он совет командира. Он закрывает рот и задыхается. Нет, к черту теперь правила. Поздно. Он дышит и носом, и ртом, и даже, кажется, ушами, и всеми порами потного горячего тела, и все-таки нечем дышать. С хрипом вырывается дыхание, шумное, тревожное, отчаянное.

Но вот и полдороги — красноармеец с флажком обегает его. Поворачивает обратно. Гайдаш старается не смотреть по сторонам. Обходят его или он других обходит — все равно. Лишь бы только добежать. Кончить эту пытку.

Или свалиться на дороге, в пыль, в прохладу орешника, припасть горячим лбом к влажной земле, чуять ее здоровье и силу, ласкать ее черную влажную грудь, отдышаться, отдохнуть, уснуть под легким дыханием ветерка, набегающего с гор и садов?

Он шатается. Вот упадет сейчас. Как подбитая собака отползет в сторону, чтоб не задавили бегущие лю-

ди. Нет, нет, бежать, бежать! Вперед! К финишу! Еще! Еще немного!

Он выжимает из себя остатки сил,— и вот уж где-то далеко впереди видит финиш и группу красноармейцев у него.

Счастливые! Они уж прибежали!

Вокруг него, рядом с ним бегут, тяжело дыша, товарищи. Он оглядывается — ого, и сзади еще немало. Это наполняет его тело новой силой. Радостно улыбается. Добегу! Вокруг — тишина, молчание, и только прерывистое сопение ребят да топот тяжелых армейских сапог.

Рядом бежит Горленко. Алеша видит его красное, разгоряченное лицо. Оно то вырывается вперед, то, словно дожидаясь его, снова появляется рядом.

Алеша убыстряет бег.

Перегнать! Перегнать Горленко! Этот маленький триумф нужен ему как воздух. Ах, зачем он сразу не начал дышать только носом, бежать на носках, легким, размеренным шагом. Как пригодились бы теперь ему эти глупо, слишком щедро истраченные силы!

Но он выжимает из себя все, все, что может, он делает нечеловеческие усилия, и вот удивленный Горленко остается позади.

Впереди чья-то спина. Кто это? Алеша напрасно старается угадать. Стриженая голова, белая сорочка, армейские брюки, сапоги — все одеты так. Так одет и сам Алеша.

Догнать! Увидеть, кто это. Перегнать его, торжествующе обернуться назад и подмигнуть глазом! Ну, ну, еще...

Но спина впереди начинает мелькать быстрее. Алеша тоже прибавляет шаг. Вот он уж догоняет, достает, вот...

Финиш. Командир с часами в руке. Разгоряченный, но сухой, без капельки пота на лице Левашов. Красный сердитый Сташевский. Ляшенко. Рунич — это его, оказывается, тщетно пытался догнать Алеша. Он оглядывается — на траве лежат, отдыхают еще несколько ребят.

— Удовлетворительно, Гайдаш! — говорит, ласково улыбаясь, комроты Зубакин и что-то отмечает в блокноте.— Тройка с плюсом.

Проклятая тройка с плюсом!

Алексей отходит к дереву и, упираясь лбом в влажную, ободранную кору, тяжело дышит и сплевывает на землю густую, липкую слюну.

Один за другим подходят остальные участники бега. Их рубахи дымятся потом. Молча отходят в сторону, валятся на траву, вытирают платком, рукавом, рубахой мокрые спины.

Командир в общем доволен результатом бега.

— Ничего подобралось пополнение,— говорит он весело.— С таким пополнением мы лучшим полком в дивизии станем,— говорит он, и ребята весело и довольно смеются в ответ.

Комроты кладет часы в карман. Время, положенное на бег, истекло. Но еще нескольких бойцов нет. Нет Моргуна, нет Стрепетова. (Стрепетов в это время подходит, его лицо без очков — очень смешное и незнакомое. Он улыбается, смущенно пожимает плечами, шепчет командиру: ничего, ничего, потренируюсь — стану отличным бегуном, уверяю вас, и валится на траву.) Все наконец в сборе — нет Дымшица.

Ребята уже надели рубахи, затянули ремни, курят. Командиру наскучило ждать, но он вежливо молчит и смотрит на дорогу.

Наконец, на шоссе из пыли возникает маленькая, кругленькая, одинокая фигурка. Приближается. Видно, как усердно работает локтями. Это Дымшиц. Тяжелые сапоги стесняют его. Они кажутся больше, чем весь он. Швейк подпрыгивает и косолапо переступает с ноги на ногу. Он давно уж не бежит, хотя ему кажется, что он несется изо всех сил. Он больше топчется на месте и медленно, очень медленно подвигается вперед. Он устал, изнемог, его лицо багрово, пот застилает ему глаза — он ничего не видит, не думает, не плачет. Он только старается усерднее работать руками,— ноги совсем свинцовые,— трудно дышит и боится за сердце.

Ребята смеются. Действительно, это очень смешно — одинокая фигурка косолапо подпрыгивает на шоссе. Но комроты хмурится. Вероятно, он думает про себя: «Что мне делать с этим бравым бойцом?»

— Швейк, веселей, веселей! — поощрительно кричит Рунич.— Ножками, ножками.

Но когда Швейк подходит к финишу, смех смущенно

обрывается. Лицо Дымшица страшно. Он вытирает глаза — в них дрожат слезинки, и, зашатавшись, падает навзничь на траву. Все расступаются. Он остается один. К нему никто не подходит. Всем тяжело и стыдно. Он лежит, закрыв глаза, и хрипло стонет.

Ночью, когда в казарме погас свет и уснули ребята, Алеша вдруг услышал, как кто-то тихим шепотом позвал его:

— Гайдаш. Товарищ.

Он узнал голос Швейка — соседа по койке слева.

— Швейк, ты что? — недоуменно спросил он.

— Гайдаш... Товарищ... Пойми...— прошептал Швейк, задыхаясь.— Пойми, пожалуйста... Я не симулянт. Не сволочь... Я советский человек... Я умею хорошо работать... Меня премировали... Ценили. Пойми...

— Тебе верят все, Юрий. С чего ты?

— Не верят... я не могу бегать... Понимаешь? Не умею. Всю жизнь у прилавка... Я никогда не бегал... Прыгать, стрелять — я не сумею... Никогда... Кругом горы. Надо лазать, карабкаться...

— Научишься, товарищ. Я тоже не умею.

— Ты сильный. А я... И понимаешь, я подумал сейчас: целый год. Понимаешь? Целый год, каждый день, утром, днем, вечером... Маршировать. Лазать в горы. Стрелять. Я пропаду, Гайдаш. Понимаешь?

Алексею представилось — так предстоит ему каждый день. Если не бег, так горы, если не горы, так походы. Целый год! Изо дня в день — в строю, в снаряжении, в походе, в карауле, в узде дисциплины... Ему стало страшно, но он рассердился на себя, сердито цыкнул на Швейка:

— Брось хныкать. Спи ты! — и накрылся с головой одеялом.

6

Еще в теплушке Алексей провел среди команды сбор денег на Воздушный Флот. Команда не успела и до полка доехать, а уж в тифлисской газете была тиснута заметка: «Молодые красноармейцы — Воздушному Флоту». В заметке был повинен Стрепетов. Это было его первое литературное произведение. Но денег Алексей

так и не сдал еще. Оглушенный новыми впечатлениями армейской жизни, он забыл обо всем. А когда вспомнил, стало стыдно. Что с ними делать, куда их девать?

— Сдайте в штаб,— посоветовал ему политрук. Алексей пошел в штаб полка. Дневальный у ворот указал ему штыком дорогу. Штаб находился тут же, за полковым городком. Кривая и очень узкая уличка круто подала вниз. По обе стороны тянулась низенькая ограда из неотесанных серых камней, кое-как сложенных вместе и оплетенных сухими колючими прутьями хвороста. За оградой начинались огороды и сады. В ближнем из них дымил костер, пахло гарью.

У штаба стоял коновод, держа в поводу оседланных коней. Вороной жеребец с белой звездой на лбу нетерпеливо бил копытом.

— Вам кого? — остановил Алешу дежурный писарь с наганом на боку.— Начальника штаба нет, есть его помощник, товарищ Ковалев.

— Ну, пускай помощник,— нетерпеливо согласился Гайдаш.

— А по какому делу? А! Сейчас позвоню.— Дежурный повертел ручку телефона, вытянулся, зачем-то отдернул наган и доложил: — К вам красноармеец из пополнения. Принес сдать деньги на авиацию. Хорошо. Есть! Идите, товарищ.

Алексей взбежал по лестнице. У двери, на которой было написано «начальник штаба», остановился. Оправил гимнастерку, озабоченно взглянул на сапоги. Все это делал бессознательно. Почувствовал вдруг, что робеет. Разозлился на себя.

«В ЦЕКА входил, не робел, а тут дрейфлю!» — выругал он себя и громко постучал в дверь.

— Войдите! — приказал ему резкий голос, привычный к команде.

Он вошел. За столом, склонив над бумагами голову, сидел человек в военной форме. Блестели ремни, портупеи, блестел ровный тонкий пробор, блестела, словно полированная, чернильница.

Алексей кашлянул. Помначштаба поднял голову и посмотрел на Алешу. Вдруг его лицо перекосилось.

— Гайдаш? — прошептал он и побледнел. Алеша попятился к двери. Что это? Он невольно протер глаза.

В приподнявшемся со стула подтянутом помощнике начальника штаба с удивлением и ужасом узнал он Никиту Ковалева.

Оба молчали. Гулко стучали часы. Внизу за окном нетерпеливо заржал жеребец.

Первым пришел в себя Ковалев. Он улыбнулся уголками губ, глаза его были холодны и жестки.

— Вот мы и встретились с тобой, Алексей Гайдаш. Любопытно, не правда ли?

Он засмеялся, непринужденно, легко.

В Алешиных глазах мелькнули искорки злобной радости. «Не ждал? — подумал он.— Ага! Не ждал!.. Забрался на границу, к черту на кулички, думал, не разыщут, не пронюхают?»

И он тоже засмеялся.

— Вот мы и встретились, Никита Ковалев,— ответил он в унисон и продолжал смеяться. «Четыре кубика на петличках? Ишь ты!» — Давненько мы не виделись с тобой. Сколько же? Восемь лет! Неужто восемь?

Ковалев нахмурился, свел густые брови. Восемь лет? Вспомнилось, как вышел тогда из школы, раздавленный, выгнанный — шумно захлопнулась за ним дверь. Улица, сумерки, огни — что впереди? Готов был застонать от злости. Обернулся к школе, яростно сжал кулаки: «Бомбами их, бомбами!» — закричал он и побежал по улице. Этого не забывал никогда.

Застарелая, отлежавшаяся ненависть снова зашумела в нем. Вот он, Алексей Гайдаш, вождь «школьных большевиков», самый заклятый враг, первый, кто нанес ему удар в грудь. Сколько таких ударов было потом. Он ничего не забыл.

Вот он стоит перед ним, беспомощный, жалкий красноармеец. Даже дух у Ковалева захватило от радости. А-а-а! Торжествующе вытянулся, сухой, бравый, пахнущий кожей, позвякивающий шпорами. Наметанным глазом строевика окинул расхлябанную фигуру, прислонившуюся к двери. Презрительно усмехнулся: «Вояка. Только горло умеете драть на митингах». И снова нахлынула ярость: «Распечь! Накричать! Выгнать!» Судорожно стиснул зубы. Захлебнулся. О! «Осторожнее, осторожнее! — успокаивал он себя.— Уничтожить, уни-

чтожить его, но потихоньку. Только осторожнее, ради бога осторожнее, Никита. Пожалуйста!» — умолял он себя.

Сжал кулаки. Улыбнулся.

— Да, восемь лет,— произнес он приветливо,— даже немного больше.

— Немного больше. Я теперь вспомнил.

— И я.

Постучал острыми пальцами по столу.

— В какой роте, Гайдаш?

— Еще в карантине.

— А-а! Но, вероятно, в полковую школу?

— Говорят.

— Да-а... («Осторожнее, осторожнее, пожалуйста»,— упрашивал он себя.) — У нас хорошо. Много яблок,— потянул носом,— сады...

— Да.

— Горы... Очень красиво...

— Да.

Они произносили безразличные слова, даже не вдумываясь в них. Зато каждый напряженно вслушивался в слова противника. Настороженно следил за всеми его движениями. Примечал тени на лице, дрожание скул, выражение глаз.

Исподлобья окидывали друг друга затаенными, враждебными взглядами.

— Ты, оказывается, многое успел в жизни, Никита Ковалев,— наконец, сделал первый выпад Алеша.— Впрочем, прости. Может быть, тебя здесь зовут иначе?

— Нет,— усмехнулся Ковалев.— Так и зовут: Никитой Ковалевым. Тебе не нравится это имя? Я, ничего, доволен им.

И посмотрел торжествующе.

— По отцовской дорожке, значит, пошел? По военной? — не смутился Гайдаш.— Только вот беда: разный цвет петлиц у вас. У тебя красные, а у него... Какие, бишь, носили петлицы казачьи офицеры?

— Припоминаю: петлиц не носили. Были погоны. Золотые по преимуществу,— Ковалев опять усмехнулся. Удары Алеши не задевали его, он бил впустую. Ничего. Пускай бьет. Выдохнется. И тогда я ударю!

— Да и я припоминаю,— сказал с внезапной злобой Алеша.— Точно: золотые погоны. Мы били их в морду, твоих отцов. Рубали их шашками.

— Ты не рубал. Сопляк,— побагровев, прошептал Ковалев.

— Жалею,— закричал Гайдаш,— ой, как жалею, что был сопляком. Да на мою долю их детки выпали. Буду бить, бить в кровь, насмерть, до последнего.— Он покачнулся и схватился за спинку стула. Ковалев пригнулся, испуганно скосил глазом на дверь. Потом оправил наган. «Осторожнее, осторожнее,— убеждал он себя.— Твое время придет!»

— Да, так мы говорили...— начал он равнодушным тоном.

— ...О золотых погонах,— оборвал Алеша,— о золотых погонах — отличная тема! Я припоминаю: ты как-то плакался мне, что по вине революции не сможешь получить трех звездочек на погон. А смотри, на! — целых четыре кубика. Или это не то?

— Нет, даже лучше.

— Вот как,— насмешливо протянул Алеша,— значит, действительно время меняет людей. Помиримся на четырех кубиках? О нет! Не помиримся. Ой ли? А отец твой как же? Неужто смирился, что сынок стал красным командиром? Где он, кстати, папаша? Все в эмиграции? Крестовый поход готовит или служит вышибалой в публичном доме?

Ковалев сжал кулаки. Это уж слишком! Он ненавидел своего отца, в звериной панике бросившего его одного с больной матерью в пылающей деревне и подло убежавшего за границу. Он ненавидел их всех, «промотавшихся отцов», бездарных, тупых и трусливых, проигравших Россию, власть, сытую жизнь, опозоривших русское оружие. Но они все же были ему ближе, роднее, чем этот наглый хам в красноармейской гимнастерке. Может быть, и в самом деле отец — вышибала в публичном доме! «Мой отец! Ковалев!» — Он почувствовал вдруг, как взыграла в нем кровь — ковалевская кровь, казачья, дедовская. «Но осторожнее, осторожнее,— шептал в нем кто-то другой, не Ковалев, не казак.— Ради бога, осторожнее». Нечеловеческим усилием сдержал се-

бя. На лбу выступил пот. Только брови вздрагивали и чуть дрожали острые скулы.

— Я вижу,— хрипло сказал он,— я вижу, Гайдаш, тебя очень занимает моя биография. Мне это лестно. Такое внимание старого товарища. Спасибо. Но мне сейчас некогда. Я на службе. Если ты хочешь подробностей, обратись к комиссару полка, он недавно взял мою биографию для газетки. Хотели меня отметить.— Он наносил удары точной, уверенной рукой. Он снова был спокоен. Глаза блестели зло и жестко.— Но я не люблю этого. Я, видишь ли, строевик. Политиков всегда недолюбливал, не взыщи, пожалуйста. Но биографию все же дал. Прочти, ознакомься.

Теперь он даже улыбался, любуясь растерянностью Алеши. «А-а! Доходит? Подожди-ка!»

— У меня, видишь ли, дядя есть,— продолжал он все тем же безразличным, небрежным тоном.— Царский полковник. Тебя интересует как историка,— он усмехнулся,— какие погоны носили? Вот у него, это я точно знаю, был золотой погон с двумя просветами. Сейчас он на большой военной работе. А восемь лет назад был военруком большой пехотной школы. Он принял меня в курсанты. Я учился. Окончил с отличием. Стал командиром взвода. Служил во многих гарнизонах. Теперь служу здесь. Вот кратко все о себе.

Он услышал, как нетерпеливо ржал жеребец у штаба. Узнал его по высоким пронзительным нотам, по игривым раскатам, призывным, страстным, нетерпеливым. «Нутрец!» — ласково подумал он о Коршуне. Он любил коней. Кого еще любил он? Пожал плечами.

— Я тороплюсь,— небрежно сказал он Гайдашу и начал собирать бумаги.— Меня уж давно ждет лошадь. Еду на рекогносцировку. Завтра командирское учение. Надо выбрать местность.— Он взглянул на часы, потом взял сумку, пристегнул к ремню. Его движения были точны, резки, отчетливы. Он был деловой, с отличной выправкой командир. Сапоги блестели, как лакированные. Тихо звякали шпоры, заглушенные ковром. Гайдаш невольно взглянул на свои сапоги. Он был растерян, подавлен, разбит, бессильная злость душила его. Лицо покрылось пятнами.

Все это увидел Ковалев и усмехнулся. «Ага!» — захотелось нанести последний удар, самый сильный, самый безжалостный. Он подошел к Алеше и, положив руку на плечо, чуть благодушно, чуть покровительственно сказал:

— Я хочу тебе по-дружески дать совет, Алексей. Мы — старые приятели, хоть я и командир, а ты — красноармеец.

Алеша дернул плечом, рука Ковалева слетела, командир спрятал ее в карман, но тона не изменил, только глаза его стали еще враждебнее.

— Тебе нелегкой покажется служба в армии,— продолжал он, выбирая слова побольнее,— было нелегко и мне, хоть кость у меня строевая. Надеюсь, ты тоже привыкнешь. Но... это я говорю по дружбе, другой на моем месте распек бы тебя, распеку и я в дальнейшем, если случится. Дружба дружбой, а служба службой... Но вид у тебя, как у нас говорят, больно гражданский. Раньше таких звали обидней — шпак. Посмотри сам. Ремень сбился набок,— он тронул его осторожными, брезгливыми пальцами,— сапоги пыльные. На каблуках — засохшая грязь. Выправки никакой. Стоишь, как мешок с отрубями. Что это такое? Торчит рукав нижней сорочки. Позорный вид. Я это тебе дружески говорю. В следующий раз — взыщу.— Он еще раз окинул побледневшего Гайдаша небрежным взглядом, всего с ног до головы, и приложил два пальца к шлему.— Тороплюсь. Заходи вообще. Буду рад. Какие-то деньги? Сдай писарю. Пока!

Он, легко покачиваясь, пошел по коридору. Раздавленный, безмолвный, Алеша затопал вслед за ним.

С ненавистью слышал Алеша, как мелодично тренькают шпоры помначштаба и как гулко ухают подкованные морозками его собственные сапоги. Увидел, как вытянулся и козырнул дежурный писарь, как услужливо подал коня и придержал стремя вихрастый коновод с черной в медных кольцах шашкой на боку, как легко вскочил в седло Ковалев, привычно разобрал поводья; жеребец заржал радостно и довольно, почуяв хозяина в седле,— и вот уж пыль задымилась за ними.

Скоро всадники скрылись вдали и пыль улеглась на дороге, а Алеша все стоял, оглушенный и подавленный, у плетня и глядел, ничего не видя.

Потом медленно побрел в казарму: мимо равнодушного часового у ворот, мимо клуба, по крутой дороге к школе; его кто-то окликнул — он не отозвался.

7

Как-то утром, выбежав умываться (умывальники стояли на дворе у казармы, чудесно было после сна почувствовать свежесть утреннего морозца и студеной воды), Алеша с удивлением заметил, что горы исчезли. Их не было. Мутная, туманная пелена затянула их. Начинался дождь.

Алексей привык по утрам первый взгляд бросать на горы. Каждое утро они были иными, никогда нельзя было предугадать, какими они будут через час. Они меняли и окраску, и форму, и даже плотность. Казалось, они в вечном движении. То подступают ближе, к самой казарме, то уходят далеко назад, становятся легкими, прозрачными, темной тенью на горизонте. Такими он любил их больше всего. Они успокаивали, утешали его. Казалось, они говорили ему: «Ты молод, дали прекрасны, все впереди».

Его огорчило исчезновение гор; это было похоже на предательство. Спрятались в тумане, за дождем, покинули его одного с его неудачами.

Началась полоса дождей, мокрая, нудная канитель. Дороги расклеились, густая, липкая, тягучая грязь захлестывала сапоги. Тяжело было вытаскивать ноги.

Еще тяжелее было мыть сапоги. Казарма стояла у обрыва; внизу в овраге шумел горный ручей. Ночью он покрывался тонкой пленкою льда. Сюда бойцы бегали вечером мыть сапоги, чтоб к утренней поверке сапоги были «как стеклышко». Бегал сюда и Алеша. В темноте трудно было карабкаться по скользкой, расползающейся глине — казалось, земля убегала из-под ног. Пока добирался до казармы, на сапоги снова налипали комья вязкой глины. Потом Алексей приспособил для мытья сапог лужу у колодца.

Он стал щепетильно-аккуратен в отношении одежды. Его сапоги всегда были чисты, пуговицы пришиты и застегнуты, гимнастерка заправлена. Совет Ковалева пригодился. Алексей с ненавистью вспоминал о нем. Злобно усмехался: «Я не дам тебе торжествовать надо мной, сволочь. Гляди-ка, я собран, подтянут, бодр». Ненависть к Ковалеву двигала его, она затаилась где-то далеко в глубине: никому ни слова не сказал он о своей встрече с помначштаба. Ждал. Терпеливо, выносливо.

Он знал: сейчас он еще не может победить Ковалева. Враг притаился хитро: стал скользким, ухватиться было не за что. Надо ждать, стиснув зубы.

Но ненависть сжигала его. Он похудел, стал молчаливым, неразговорчивым. Теплушка растворилась в полку, в одном отделении с Алешей оказались только Ляшенко, Рунич да Дымшиц, остальные парни были незнакомы. Желание Алеши сбылось — койка Ляшенко оказалась рядом, но теперь это не радовало его.

С Ляшенко разговаривал редко, да и сам кочегар был молчалив. Покровительственное отношение к Дымшицу осталось, но Дымшиц теперь мало нуждался в нем — его опекал отделенный командир Гущин, чудесный парень с застенчивыми голубыми глазами. У Алеши с ним установились сухие, официальные отношения. Отделком смущенно отдавал приказания (он знал, что Алеша был «из грамотных» — а к таким Гущин питал почтительную слабость), Алеша молча подчинялся. Большей близости избегал. Ненависть заслоняла все: даже воздух, которым он дышал, казался ему отравленным, этим же воздухом дышал и Ковалев! По этим дорожкам он скакал на своем жеребце, обдавая всех грязью! В эту казарму он входил как хозяин, небрежно ждал, похлопывая плеткой по голенищам, пока отрапортует дежурный.

Пришлось и Алеше рапортовать ему. Побагровев и весь сжавшись, он четко отдал рапорт, глядя прямо в немигающие глаза помначштаба. Ковалев, усмехнувшись, кинул: «Вольно!» — и подошел к пирамиде, начал читать наклейки над гнездами. Играючи взял винтовку, поглядел на свет, потом вторую, третью. Быстро ставил на место. Но одну винтовку он долго и внимательно ос-

матривал. Алексей злобно усмехнулся: он знал, это его винтовку выбрал Ковалев. Нарочно. «Что ж погляди! погляди!»

К винтовке Алексей относился нежно и преданно. Это чувство родилось в нем внезапно. В день вручения оружия рота выстроилась на плацу у полковой школы. Составленные в козла новенькие винтовки, еще густо смазанные ружейным маслом, лоснились и казались жирными. Алеша нервничал — ему поручили принять первую винтовку и произнести при этом речь.

Командир роты Зубакин взял винтовку из пирамиды и высоко поднял над головой.

— Молодые бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии! — торжественно произнес он.— Вам вручается священное революционное оружие. Великая честь оказывается вам.

— Через левое плечо, через левое плечо,— твердил про себя Алеша,— подойти, взять винтовку, повернуться через левое плечо, начать говорить...— Его выкликнули, он пошел, повторяя про себя: «Через левое плечо... через левое плечо...»

Но когда он подошел к комроты и тот протянул ему новенькую, золотистую винтовку, он все забыл — и речь, и ритуал, и товарищей, застывших в строю за его спиной. Вот в его руках оружие, с которым дрались, умирали и побеждали отцы. Дрожащими руками он прижал винтовку к себе и тихо, взволнованно произнес:

— Я клянусь, товарищи, что это оружие выпущу из рук только вместе с жизнью.— Он вдруг вспомнил Ковалева и прибавил: — Клянусь быть беспощадным к врагам нашей Родины и верным сыном и бойцом рабоче-крестьянской Красной Армии!

Один за другим подходили бойцы, получали оружие. Ляшенко, Рунич, Сташевский...

Командир роты подошел к Гайдашу.

— Хорошо сказали, товарищ Гайдаш. А ну-ка, похвастайтесь ружьишком.— Он взял у Алеши винтовку, привычным жестом снайпера вскинул к плечу, щелкнул затвором, заглянул в канал ствола. Отличный стрелок

и любитель оружия, он не мог себе отказать в этом удовольствии.

— Хорошее оружие получили, товарищ Гайдаш,— сказал он, с сожалением отдавая Алеше винтовку,— канал ствола — что стеклышко.

— Я не испорчу его,— глухо пробормотал Алексей и понял, что дал новую клятву. Теперь комроты будет частенько наведываться к пирамиде, глядеть его винтовку и не простит ни грязцы на затворе, ни плохой стрельбы. «Ну что ж,— думал Алеша, нежно сжимая винтовку,— я не подведу».

(Захотелось, чтоб увидели его ребята из Цекамола, земляки. Рябинин. Вот он стоит в рядах с винтовкой у ноги. А кругом горы. Граница.)

В казарме ребята показывали друг другу оружие.

— Мне блондинка досталась, как моя Верочка,— сказал, лаская рукой золотистое ложе, Рунич.— Ах ты, Верка моя!

— А мне рыжая. Изменница, знать, будет,— мрачно блеснул глазами Сташевский,— Катькой назову ее, что ли...— Он зло оскалился.

«А мою — Любашей назвать?» — подумал Алеша. Да что Любаша! Он не любил ее, да и она скоро о нем забудет. Один. Один в целом свете без любви и дружбы. И еще большая нежность вспыхнула в нем к винтовке. Ласково погладил полированное дерево, мягкое, как кожа. Эта не обманет!

Каждую свободную минутку он стал теперь уделять винтовке. Когда она стояла в пирамиде, он был неспокоен за нее. То и дело подходил, стирал тряпочкой пыль со ствола, заглядывал во все щелки. Он обзавелся целым набором специально обструганных палочек — особая палочка для патронника, особая для магазинной коробки, особая для боевой личинки.

Он дольше всех оставался в комнате для чистки оружия. Без гимнастерки, засучив рукава сорочки, он возился у разложенных на чистых тряпочках деталей, со вкусом разбирал и собирал затвор, покушаясь на полную разборку винтовки.

Комната, отведенная под чистку оружия, скоро стала своеобразным клубом. Здесь всегда было весело и шумно. Уперев винтовку о стену и загоняя туда ту-

гую протирку, ребята пели, рассказывали анекдоты, болтали.

Одни и те же остроты произносились при этом,— они, очевидно, носились в самом воздухе этой комнаты, пропитанной ружейным маслом, и десятки поколений стрелков острили так же.

Приступая к чистке, каждый произносил, озорно улыбаясь, фразу из наставления:

— Берем паклю в левую руку, освобождаем ее от кострики...

Незнакомое многим слово «кострика» звучало особенно вкусно.

О неудачливом стрелке говорили, что он выбил «кучный ноль», и ядовито поздравляли его. Пуля, не попавшая даже в щит, по общему мнению, «отправлялась за молоком». О стрелке тогда говорили, что он «стрелял в белый свет, как в копеечку». Искали, где на винтовке знаменитый «мулёк», а на вопрос «Сколько весит мулёк?» всегда отвечали: «Два наряда». О бойце, который сдал на марше, сообщалось, что он нынче «сыграл в ящик». Так и говорилось меж собой: «Сегодня сыграли в ящик трое».

Рассказывались старинные анекдоты: об отделкоме, сердито крикнувшем недотепе-студенту: «Здесь вам не университет, здесь головой работать надо»; о старшине, поучающем бойца: «Прячь голову за блиндаж. Убьет! Тебе-то ничего, а мне от начальства замечание!»

Как переходили из пополнения в пополнение эти старые армейские словечки? Иногда их, как полковую традицию, бережно передавали долгосрочникам вместе с рассказами о лихих командирах, отважных красноармейцах, толстых, сонных полковых поварах, писарях, выдававших себя в городке за боевых командиров. Но в большинстве случаев эти словечки возрождались произвольно из самого воздуха казармы. Казалось, они так и жили здесь всегда, вечно, питаемые запахами сырых стен зданий 44-го Тенгинского полка, уживаясь рядом с новенькими, чистенькими койками, тумбочками, цветами на подоконниках, портретами революционных вождей в ленинском уголке и боевыми традициями Красной Армии.

С нетерпением ожидал Алеша дня первой стрельбы. Ему случалось и раньше, дома, стрелять из винтовки, хотя больше любил палить из маузера — по тонким стволам березок, по зайцам, вспугнутым автомобилем, по вороньей стае.

В тире он не стрелял никогда, даже не заходил туда. Причина смешная, он отдавал себе отчет в ней, не был уверен в себе, как в стрелке, и боялся осрамиться перед товарищами. Как много вреда принесло ему это трусливое чувство ложного стыда. Из-за него он многому не научился в жизни.

Но, как всегда, он был уверен, что если рискнуть,— окажется, что он отличный стрелок. Он все уже отчетливо видел, все, как это произойдет: ляжет, прицелится, и вот все пять выстрелов в яблочке. Он даже ясно видел мишень, черное яблочко и круглые пустые дырочки в ней. Это было так реально и так просто, что иначе и быть не могло. Он окажется лучшим стрелком роты, и тогда будет забыто все — и его неудачное выступление с гранатами, и плохо заправленная койка, и вся его нескладная жизнь до армии.

Пока молодых красноармейцев обучали умению обращаться с винтовкой, заряжать ее, изготавливаться к стрельбе, подтягивать ремень, прицеливаться. И Алексей вместе со всеми топтался на малом стрельбище. Закладывал холостые патроны в магазинные коробки, прицеливался со станка, падал на расстеленную на земле рогожку, а то и прямо в грязь и, падая, больше всего боялся уронить в грязь винтовку, бережно прижимал ее к себе. Он терпеливо слушал все, что говорили ему командиры, сотни раз вхолостую щелкал затвором, целился в горы, в небо, в кипарисы, в мишеньки, приколоченные к блиндажам. «Зачем это? Зачем это?» — тоскливо думал он про себя. Но молчал. И ждал...

На заряжение винтовки и изготовку к стрельбе лежа полагалось сначала семь, потом шесть секунд. Ляшенко первый показал пять секунд — ловкость, неожиданная для такого неповоротливого парня. Этот рекорд держался целый день. К концу дня еще несколько бойцов показали пять секунд, но дальше не двинулись. На следующий день Алеша неожиданно для самого себя показал

четыре с половиной секунды. Это сделало его героем. Сам комроты пришел смотреть его. Алеша был горд. Зубакин подал ему команду: «По мишени лежа заряжай!» — последнее слово произносилось быстро, получалось «заржай!». Алеша сделал полуоборот, рванул подсумок, но в спешке рассыпал патроны и растерялся. Ему приказали начать сначала. Он был смущен и чувствовал себя неловким. Комроты разочарованно отвернулся. Алеша снова показал четыре с половиной секунды. На следующий день Рунич догнал его — теперь соревновались они двое. Речь шла о полсекунде.

Но эта проклятая половинка секунды никак не давалась Алеше. Она ускользала где-то в неосторожном движении, просачивалась сквозь неловкие пальцы, как вода. Алеша испытывал иногда потребность крикнуть в досаде: «Остановись, мгновенье! Я не успел еще дослать патрона в патронник!»

А мгновенье действительно было прекрасно. В хрупкой тишине ноябрьского утра торопливо звякали затворы. И, падая на расстеленную в окопе рогожку, Алексей бессознательно отмечал красоту застывшего неба, прозрачную стеклянность воздуха, ранний бледный снег на вершине горы, силуэт минарета в далеком горном селенье. Но об этом некогда было думать — надо действовать, надо физически уплотнить, наполнить секунду движеньями, всю до дна. Надо материализовать ее, заставить работать.

С почтением стал он относиться к минуте — минута, да ведь это же целая вечность! В минуту можно сделать семь точных убийственных выстрелов, за минуту можно одеться и вооружиться по боевой тревоге. Большие дела можно сделать в минуту! С грустью вспоминал он о бездельно потраченных часах в своей прошлой нескладной жизни. Как много он мог бы сделать тогда! Мог по крайней мере научиться обращаться с винтовкой. Теперь бы это пригодилось.

За его борьбой с полсекундой следила вся рота. Он обдумывал, как лучше повесить на ремень подсумок, чтоб был под рукой, как сэкономить движения: может быть, можно сочетать уставной полуоборот с открыванием затвора, а падение с вытаскиванием патронов? Его уж догоняли Сташевский, Горленко. Ни на шаг не от-

ставал Рунич (как и во время бега, он слышал их дыхание за спиной). Даже Дымшиц, исправно выполняющий все, что требовала от него служба, стал показывать пять с половиной секунд. Ляшенко дал пять — и застыл в них, равнодушный и молчаливый. Пять секунд — отличное время, а жажда славы была чужда и непонятна ему.

Эта жажда сжигала Алешу и Рунича. Они и были главными соперниками. Но проклятая половинка секунды не давалась. И Алеша, отчаявшись, охладевал к борьбе. Теперь были дни, когда он и в шесть секунд не укладывался. Удивленно и почему-то обиженно глядел на него отделком Гущин, словно спрашивал: «Зачем ты подводишь меня?» Алеша пожимал плечами и, досадуя на себя, начинал войну с секундами.

Вся его жизнь теперь была точно размерена и отсчитана — в ней не было пустот. Она стучала в лад с часами — большими, старинными, хриплого гулкого боя. Они висели над столиком дневального, а под ними на гвозде болтался сигнальный горн.

Ровно в шесть часов утра, когда за окном еще поеживались продрогшие темные тени осенней ночи, дежурный по роте неторопливо, осторожным шаркающим шагом подходил к выключателю. Он медлил. Спокойным, ясным сном спали на своих койках бойцы. Им снились сладкие, предутренние сны: дежурный видел, как блуждали на полуоткрытых губах счастливые улыбки. Они плыли сейчас в далеких океанах сна, отрешенные от земли. Чудесные миры грезились им. Тихое сопенье, храп, сонное бормотанье, причмокивание, легкий свист стояли над койками. От постелей исходило застоявшееся тепло, жаркое дыхание разморенного сном тела.

Но вот дежурный положит руку на выключатель, вспыхнут лампы — и все вскочат, задвигаются, побегут. Взлетят над койками одеяла, как серые ночные птицы, и упадут на смятые простыни. Застучат сапоги по дощатому полу. Загремят умывальники, засвистят щетки, где-то лязгнет оружие; сонный мир казармы преобразится, в нем молодо и задорно зазвенят голоса, шутки, смех. А через пять минут длинная ровная шеренга бойцов застынет в коридоре, готовая к утренней поверке, к боевому дню. И только запоздавшие, которых презри-

тельно называют «тюхами», будут к великому огорчению своих отделенных командиров смущенно пробираться между койками под суровым непроницаемым взглядом старшины роты.

Алеша привык вставать рано. Иногда он просыпался даже раньше побудки. Он лежал тогда под одеялом и нетерпеливо прислушивался к сонному дыханию казармы. Вставать раньше не разрешалось. Даже если за пять минут до побудки пойдешь за нуждой в уборную, все равно нужно раздеться, лечь в постель и ждать сигнала.

«Зачем это? Зачем это нужно?» — не понимал Алеша. Ему казалось это простым солдафонством. Он спрашивал своего отделкома Гущина, но тот на это, как и на многое другое, непонятное Алеше, отвечал еще непонятнее и беспомощнее:

— Так положено по уставу.

Это объяснение злило Алешу. Самое слово «устав» было всегда недружелюбно ему, чем-то церковным, монастырским пахло от него. Алексей предвидел, что ему еще предстоит повоевать с уставами.

Но он покорно лежал до сигнала в постели и ждал. Сейчас подойдет дежурный по роте к выключателю, зажжет свет и, упершись руками в бока, изо всей силы надувшись и покраснев, заорет:

— Подымайсь!

Этот крик всегда вызывал в Алеше бешенство. Хотелось вскочить и запустить сапогом в широко открытую глотку. Дежурный находил особое удовольствие в том, чтобы заорать внезапно, оглушительно и изо всей силы.

Потом самому Алеше довелось быть дежурным, всю ночь он мучительно боролся с охватывавшим его сном, выходил на улицу, промывал смыкавшиеся глаза водой, тоскливо смотрел, как медленно-медленно ползет, царапается по циферблату часовая стрелка. И когда наконец подошли желанные шесть часов, он, сам не осознавая и не желая, оглушительно заорал:

— Подымайсь!

Хотелось, чтоб скорее встрепенулся этот сонный мир и начисто кончилась томительная, пустынная ночь.

К этому крику привыкли. Днем бойцы обсуждали, хорошо ли, звонко ли кричал сегодня дежурный, словно

то был сольный номер тенора. Рассказывали анекдот о Руниче. Он был рабочим на кухне и уснул. Его толкали, трясли за плечи — он все не просыпался. Тогда кто-то тихо произнес над его ухом:

— Подымайсь! — И он вскочил как встрепанный. Его первым жестом было — руки влево, туда, где обычно лежала одежда. Потом он отдернул руки, увидел, что одет, и, услышав хохот ребят, сам усмехнулся.

Сигналом утренней побудки сразу начинался горячий день, словно, поворачивая выключатель, дежурный включал ток в сонные тела бойцов, и их подбрасывало, двигало этим током. В мире сна не было ни времени, ни пространства. Сейчас после побудки секунды сразу вступали в свои права.

За пять минут надо было одеться, умыться, вычистить сапоги и заправить койку.

Затем начиналась утренняя зарядка.

Она носила ярко выраженный горный характер. Из степных парней, из людей плоского равнинного мышления делали горных орлов. Их учили ходить в горах, драться в горах, бегать по горам и думать по-горному. Командир роты был изобретателен: то придумывал он «спуски и подъемы», и бойцы сбегали с крутых скатов, по хрусткому, тонкому льду переправлялись через горную речку, карабкались, хватаясь за колючие кустарники, на высокий берег, чтоб, отдышавшись там, снова сбежать вниз к речушке и снова карабкаться вверх; то затевал бег по пересеченной местности, и сам весело встречал прибежавших к казарме первыми. Каждому бойцу выдавал номерок, который показывал, каким пришел он к финишу. И бойцы, получившие первые номерки, гордо хранили их, а остальные вкладывали все силы, чтоб свой «двадцать шестой» номерок сменить хотя бы на пятнадцатый. Иногда для отдыха — обычно в выходной день — вместо горной зарядки затевалась игра в чехарду, это было легко и весело, и только Дымшиц застревал на спине первого же бойца и предпочитал лучше подставлять свою спину, чем карабкаться на крутые высокие спины товарищей.

Но чаще всего бойцов, по утреннему холодку, вели к Сахарной Головке, что нависала почти над самой казармой. Эта высотка действительно похожа была на

круглую, удлиненную сверху голову сахара, синие тучи плотно облегали ее, как оберточная бумага, и только на самой вершине искристым рафинадом блестел снег. Такой она была днем, но ранним утром тонула она в сырой, дрожащей мгле. Вершины не было видно, и оттого казалось, что, сколько бы ни карабкаться вверх, не будет конца подъему. Поеживаясь от холода, бойцы подступали к высоте. Они сбивались вместе у подошвы, чтоб потом по команде рассыпаться по всей горе, преодолевая ее упругие, крутые скаты.

Не сладкой была эта «сахарная головка». Она показалась Алеше при первом подъеме бесконечной. Он сначала шел, потом упал и к вершине добрался уже ползком, цепляясь отчаянными движениями за кустарник и в кровь исцарапав пальцы. Тяжело дыша, он стоял на вершине и не чувствовал себя ни победителем, ни горным орлом. Хотелось повалиться прямо на снег, растянуться и лежать, лежать, ни о чем не думая.

«Кавказ предо мною, один в вышине...» — эти стихи пришли в голову уже в следующие подъемы, которые неожиданно для Алеши стали все более и более легкими. «Втягиваюсь,— радостно подумал он и впервые почувствовал благодарность армии.— По крайней мере у меня будут крепкие ноги и тренированное дыхание. Это всегда пригодится».

Внизу тусклыми огнями мигал город, на реке с шумом лопался ранний лед, в голых садах гулял ветер. Мир тонул в серой предрассветной мгле.

С новым, незнакомым еще волнением вглядывался Алексей в туманный мир, раскинувшийся под его ногами. Как ни тяжелы были подъемы, он готов был снова и снова карабкаться вверх, чтоб, взобравшись, стоять вот так, опершись рукой о корявую сосну, и гордо глядеть вниз, чувствуя себя сильным, смелым, властным парнем, который всего достигнет, всего, чего хочет.

«По крайней мере,— насмешливо думал он,— это лучше, чем щелкать вхолостую затвором и долбить устав внутренней службы».

С горы бежать было легко и весело. Внизу призывно мигали далекие огни казармы. Скользили лыжи по снегу. Расшалившиеся ребята бежали, падали и смеялись рядом. Даже Дымшиц, весело отдуваясь и испуганно

хватаясь за кустарник, чтоб затормозиться, легко нес свое рыхлое тело вниз, к теплу казармы.

Бедный Дымшиц, ему не сладко приходилось в горах! Когда в первый раз брала рота Сахарную Головку, он в изнеможении упал в самом начале подъема. Алексей споткнулся об него и выругался. Дымшиц застонал.

— Ползи назад! — закричал ему с досадой Алеша.— Не путайся под ногами и без тебя тошно...— и полез вверх.

К Дымшицу подбежал отделком Гущин. Он молча постоял возле своего незадачливого бойца, покачал головой, затем решительно нагнулся и поднял его.

— Берись за шею! — прохрипел он. Ничего не понявший Дымшиц поспешно ухватился за крепкую, жилистую шею отделкома, и тот, согнувшись под тяжестью ноши, медленно побежал в гору. Отделение должно было в полном составе взять вершину! Только там отделком бережно свалил с себя красноармейца.

В следующий раз Дымшиц карабкался уже сам. Он добрался до вершины позже всех, но все-таки добрался. И долго потом лежал под сосной, думая невеселые думы.

Он быстро терял в весе на глазах всего отделения. Из него получался довольно стройный курсантик, как насмешливо говорил Алеша. Он определенно делал успехи, научился даже ходить в ногу, чем осчастливил отделкома. Гущин не сдержал восторга и сказал при всех:

— Вы, Дымшиц,— молодец-парень.

Дымшиц расцвел, смущенно улыбнулся.

— Я стараюсь,— пробормотал он и нежно взглянул на отделкома.

Отделком нянчился с ним, как с ребенком. Дымшиц стыдливо принимал эту помощь и только сконфуженно бормотал:

— Я сам, я сам...

Но сам он ничего не умел делать. В отчаянии он горбился у печки, тоскливо смотрел в огонь и думал: «Из меня ничего не выйдет! Я ни на что не годен. Это стыдно». Он знал, что в роте сочувственно говорят об отделкоме:

— Досталось же Гущину сокровище.

Но отделком и виду не подавал, что устал от своих обязанностей Федьки-няньки. Никого он не обругал, никогда не повысил голоса.

Однажды он застал Швейка в ленуголке у нового расписания.

— Изучаете? — спросил он. Потуги Дымшица стать бравым солдатом смешили и даже, он сам не знал почему, злили его.

— Да,— тихо ответил Дымшиц,— трудная пятидневка будет. Первый выход в горы.

Он любил, когда на дню было много «словесных» часов: политграмота, изучение уставов. В казарме, у койки он чувствовал себя отлично. Он показал себя даже замечательным толкователем уставов, и отделком одобрительно слушал его. Но тактические выходы, занятия в физгородке, утренняя зарядка приводили его в уныние. Опять он будет тянуться в хвосте роты, отставать, задыхаясь и чуть не падая, волочить ноги.

А комроты все круче и круче составлял расписания. Повышались требования. Усложнялись задачи. Ожидались первые стрельбы из боевых винтовок. Уже был назначен первый тактический выход «Марш в горах», и в роту вдруг явился санитарный инструктор, молодой, франтоватый, собрал всех бойцов, разулся и приказал разуться всем.

— Смотрите. Портянку надо навертывать так.— Он показывал лихо, щегольски. Бойцы с любопытством смотрели, как вертится портянка. Некоторые смеялись. Инструктор обижался:

— Смеяться нечего. Вы в горном полку служите, обязаны горными орлами стать. Но у орлов — крылья, а у вас ноги. То-то!

Дымшиц потом долго сидел у своей койки, тренировался в искусстве навертывать портянку. Она, как железная, не гнулась, не поддавалась ему. Он вспотел. Лицо его было красно и сосредоточенно. Алексей посмеивался.

Эта усмешка теперь не покидала его. Он все стал делать посмеиваясь, презрительно щуря глаза. Тонкая усмешечка стала его броней — об нее разбивался и строгий взгляд старшины и нетерпеливый окрик комроты. Отделком Гущин не выдержал как-то и сказал ему в сердцах:

— Вы что все смеетесь, Гайдаш? Смешного тут мало.

— А что ж мне, плакать? — пожал он плечами.

Свои строевые неудачи он стал прикрывать этой усмешкой. «Вот,— казалось, говорил он,— меня нисколько не трогает эта смешная игра в солдатики».

Он подсмеивался над усердным Дымшицем, над товарищами, над отделкомом. Гущина он стал донимать бесконечными «почему?».

На все это отделком отвечал:

— Так положено по уставу.

И это доставляло Алеше огромное удовольствие. Он снова и снова приставал к Гущину, и тот стал бояться разговоров и встреч с ним и озирался, как затравленный олень.

Однажды Алеша пристал к нему:

— Почему при разборе затворов положено держать именно большой палец левой руки на пуговке. Почему не правой руки, почему не указательный палец?

Гущин вдруг прищурился и ответил:

— А вы попробуйте-ка правой...

— Ну? И что же? — растерялся Алексей.

— Нет, вы попробуйте!

Они взяли винтовку и пошли в комнату для чистки оружия. Алеша — немного смущенный и раздосадованный, Гущин — хитро улыбающийся.

Алеша начал разбирать затвор наперекор уставу. Вдруг он убедился, что у него ничего не выходит. Рассыпаются части, неудобно работать руками. Он делал все снова и снова ничего не получалось. Гущин тихо посмеивался. Теперь пришел его черед торжествовать: «Вот почему положено по уставу так, а не иначе».

Он ушел, а Алексей долго еще возился с затвором. Он готов был смущенно признаться, что в мертвой букве устава собран огромный опыт военных людей, практиков, знающих все до тонкостей. Но признаться в этом он не хотел. Тогда к чему же его усмешечка? Всякий раз, как он был не прав,— это только злило его, но никогда еще не заставляло смириться.

Гущин ходил с победоносным видом. Он достал себе целую кипу военной литературы, он начал думать над вещами, которые принимал раньше как должное.

А почему, в самом деле, положена дистанция между взводами на марше?

В этом должен быть какой-то смысл. Он старался сам доискаться его. Упрямый, медленно думающий крестьянский парень, он до всего захотел дойти сам. Он рассуждал:

— Если взводы растянутся больше положенной дистанции, значит, растянется рота, задержит весь полк. Полк задержит дивизию. Все растянется на много километров, как гармошка. Движение станет медленным. А промедление в бою — смерть.

Теперь он сам искал споров с Алешей. Он крыл его простой житейской мудростью, мужицкой смекалкой. Уставы, всегда авторитетные для него, теперь, когда он доискался до их мудрого смысла,— стали священными.

— Ну-ка, товарищ Гайдаш! — говорил отделком, хитро подмаргивая бойцам.— Нет ли у вас вопросика? Все понимаете?

Алексей принимал бой, но реже, чем раньше, выходил из него не помятым.

Его отношения с товарищами безнадежно испортились. Он сам не знал, как это произошло, но это произошло, он отдавал себе ясный отчет в этом, только презрительно пожимал плечами. Несомненно, он был выше их, выше их всех, по крайней мере сам он в этом не сомневался. Что из того, что Ляшенко физически сильнее его, что Стрепетов знал и читал больше, чем он, что Рунич был любим всеми? Он посмеивался над ними.

Он был рожден для великих дел,— для каких, он сам еще не знал. Он чуял в себе, в своих руках, в крутолобой башке, в горячем сердце силы необыкновенные, способные перевернуть мир — свершить подвиги, чудеса,— но эта сила только сжигала его самого и ничего не свершала. Он даже гранату не мог бросить дальше тридцати метров.

Тогда наступили сомнения. Да верно ли так силен он? Точно ли умен, талантлив, смел? Все, что он сделал до сего дня, было сделано плохо. В сущности, он вообще еще ничего не свершил. И даже не знает, что сделает, кем станет, как прославится.

Он прикрывал усмешечкой свой душевный разлад, сумятицу, происходившую в нем и бросавшую его то

в холод, то в жар: то взлетал он высоко, то падал на землю, лицом в грязь. Все это скрывалось за усмешечкой, деланной, ненастоящей, несвойственной чистосердечному Алеше,— но за нею было удобно влачить свою смятенную жизнь.

Удивленно следил за ним командир роты. Еще в первые дни службы Алеши Зубакин заметил его. Честолюбивое стремление Алеши победить в беге понравилось старшему командиру. Он захотел узнать, что за парень Гайдаш.

Как-то он остановил его, это было еще в карантине.

— Вы что делали до армии, товарищ Гайдаш? — полюбопытствовал он.

— Я? Я был секретарем губкома и затем окружкома комсомола и членом Цекамола.— Гайдаш выпалил все это, не подумав, и сам поморщился: «К чему это смешное титулование, словно хвастаюсь. Разумеется, хвастаюсь».

Комроты просиял.

— А! Очень приятно,— сказал он, как показалось Алеше, почтительно.— Нам очень лестно, всему гарнизону, что у нас будет служить такой товарищ (Алеше было неловко и стыдно слушать это). Мы на вас большие надежды возлагаем.

Он окинул его ласковым взглядом и вдруг нахмурился:

— А сапоги надо помыть. Помыть немедленно, товарищ Гайдаш.

— Есть помыть сапоги! — смущенно пробормотал Алеша и вдруг расхохотался.

Его все время окружали люди в строю, в столовой, в клубе; целый день он ощущал плечо товарища рядом со своим плечом, его ноги шагали в один лад с ногами товарища, он по привычке заботливо следил за этим; ночью вокруг него вкусно храпели товарищи,— и все-таки он был одинок, страшно одинок, один без любви и дружбы.

Он сам был виноват в этом и никого не винил. Он стал сварлив, несговорчив, насмешлив. Его побаивались. В роте говорили о нем,— он сам слышал:

— Гордый гусак. Да ну его к черту! Лучше не связываться с ним.

Родившееся было в теплушке чувство дружбы Алеши с ребятами пропало. По старой привычке он все хотел командовать ими,— они недоуменно смотрели на него. Что это он вздумал? Потом стали сторониться.

Его никто теперь не спрашивал как раньше:

— Товарищ Гайдаш, объясни ты мне, вот я эту статью в газете не понял...— снисходительная усмешка отпугивала их; они стали обращаться к Стрепетову, к Горленко, Руничу. К Гайдашу относились вежливо, предупредительно — но холодно.

Между собой они шутили, дружески хлопали друг друга по плечам, принимались бороться, валяться на траве, баловаться,— над ним никто не шутил, его сторонились. Он лежал во время перекурок между занятиями один, в стороне, мрачно дымил, смотрел в небо. Одинокие, как он, облака плыли над стрельбищем.

Однажды он услышал, как Ляшенко, долго шаривший в карманах, произнес:

— А табак-то я в роте забыл. Что, нет ни у кого табачку, ребята?

Алеша молча протянул ему коробок папирос. Ляшенко смутился.

— Да нет, ничего, не надо... Да вот уж и перекурке конец.

Он так и не взял папирос. Этот пустячный эпизод Алеша переживал долго и горько, один.

Ребята сторонились его, при его появлении смущенно стихали шутки, все настораживались. Алеша замечал, как невольно все сбивались вместе, словно для обороны, чтобы коллективно дать отпор ему, его язвительной усмешке, его пренебрежительным, сквозь зубы, замечаниям.

Как хотелось ему тогда броситься к ребятам, сказать: «Я последний осел, товарищи. Бейте меня сапогом по морде, но не лишайте дружбы. Я пропаду...» Но он только гордо поджимал губы, щурил презрительно глаза и уходил один, в темный угол казармы, к своей койке, или к печке.

Никогда еще не был он так одинок. Это проклятое чувство он остро переживал впервые. Кто узнал бы

в этом съежившемся, ощетинившемся парне былого Алешу, без которого вечеринка была скучной, компания не дружной, коллектив не полным. Что произошло с ним? Иногда он думал об этом,— чаще отмахивался.

На ротном комсомольском собрании, когда избирали комсорга, он надеялся, что изберут его. Его — кого же еще? Кто лучше его знает это дело, эту механику комсомольской работы? Он пришел на собрание, привычным взглядом окинул ряды. Вспомнились веселые, теплые аплодисменты, какими всегда встречалось появление его на собраниях. Они прошумели в ушах, как ласковый ветер. Сел скромно, на последнюю скамейку. Так всегда любил он садиться на собраниях низовых ячеек, пока общий хор ребят не вызывал его оттуда,— и тогда он шел медленно, словно нехотя, длинным проходом среди скамеек, а аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты аккомпанировали его шагам.

Но его не избрали комсоргом. Никто даже не назвал его кандидатуры. Он так и просидел весь вечер на задней скамье, забытый всеми.

Избрали Горленко. И это был отличный выбор. Глядя на его широкое, веселое, смышленое лицо, было легко угадать, почему так любили его колхозники и ни за что не соглашались «уважить» его просьбу и отпустить от себя на учебу.

Алексей горько обиделся. Он никому не сказал ни слова, но обиду затаил глубоко.

— Ничего,— шептал он,— ничего. Вот пусть подойдут стрельбы. Пусть начнется настоящая боевая учеба. Я покажу себя. Пусть вспыхнет какая-нибудь заварушка на границе. Вот тогда мы посмотрим, кто окажется настоящим комсомольцем.

Наконец наступил день первой боевой стрельбы. До этого стреляли из мелкокалиберки, из какой-то винтовки «Гра», которая ухала, как пушка (на ней тренировали стрелков, боявшихся выстрела. После грома «Гра» выстрел из трехлинейки казался игрушечным).

На стрельбище Алеша, к своему удивлению, почувствовал, что он необычайно спокоен. Он так долго ждал этого дня и так был уверен в его исходе, что теперь и тени волнения не было у него. Все свершит-

ся просто и чудесно: он ляжет, прицелится — и все пять пуль в яблочке.

Спокойно он лег на линию огня, поправил ремень винтовки, расставил ноги, перевел дух. Взглянул на мишень.

Все в мире исчезло для него: теперь существовала только одна эта мишень — вражеский стрелок в каске. Его надо сразить во что бы то ни стало. Все пули в сердце.

Между стрелком и мишенью протянулась незримая линия. По этой линии полетят пули. Как сойдутся они именно в том месте, куда хочет послать их Алеша? Это было бы чудом! Но он верил в чудо! Все будет просто: он прицелится — и все пять пуль в яблочке.

Лежать было неудобно. Расстегнул поясной ремень. Снова взглянул на мишень. Голова в каске дразнилась. Алеше показалось, что это усмехается Ковалев. Это его усмешка, это его каска, вражья, чужая, ненавистная.

Он припал горячей щекой к винтовке. Всю ненависть, всю злость, всю душу вложил он в выстрел. Сердце колотилось прерывисто. Затаил дыхание. «Нна! Получай!» Бешено рванул спусковой крючок. Перезарядил. Еще рванул. Вокруг гремели выстрелы. Пела сигнальная труба. Трепетал красный флажок: «Огонь! Огонь!»

Алеше показалось, что он на фронте. Свистят пули. Наступает противник. Вражьи каски. Ковалев...

Патроны кончились. Счастливый, улыбающийся поднялся Алеша. В нем еще полыхало радостное возбуждение стрельбы. Собрал горячие гильзы. Терпеливо ждал, когда кончит стрелять вся смена. К чему волноваться? Все пули в сердце. Ковалев сражен. Насмерть.

— К мишеням шагом марш! — звонко закричал командир взвода Угарный.

Стрелки нетерпеливо рванулись с места. Побежали, спотыкаясь о кочки. На всех лицах: волнение, беспокойство, надежда. Только Алеша спокоен. Он отлично стрелял! С яростью, со злостью,— давно уж ничего не делал он с таким огромным расходом чувств.

Подошел к своей мишени. Нагнулся. Пули должны быть здесь, в центре, где цифра 10.

Но пуль не было. Алексей не поверил. Присел на корточки. Начал шарить пальцем, искать дырочек.

Их не было. Не было ни в десятке, ни в девятке, ни вообще на мишени. Только в левом углу о самый край щита, словно издеваясь над стрелком, косо зацепилась одинокая круглая дырочка. Он еще не верил в катастрофу. Этого не может быть! К той ли мишени он подошел? Да что же это такое?!

— Ну как успехи, товарищ Гайдаш?

Он вздрогнул. Над ним наклонялись командир роты и командир взвода.

Он смущенно развел руками.

Угарный окинул его беглым взглядом.

— Да. Неважно...— пробурчал он.

— Ничего, ничего! — весело сказал Гайдашу комроты.— Еще подучитесь. Целый год впереди.

«Что он утешает меня как маленького? — озлился Гайдаш.— Зачем нянчатся с ним? Он не ребенок. Что-то произошло с винтовкой. Не может быть, чтобы он не попал. Этого просто не может быть».

— Позвольте мне...— обратился он к комроты, и голос его задрожал.— Позвольте еще раз стрелять... Я сам не пойму... Я уверен, это — ошибка...

Зубакин посмотрел на него и засмеялся.

— Разобрало? Отличным стрелком будете. Хорошо, еще три патрона.

Зубакин каждому предсказывал, что он станет отличным стрелком. Он делал это искренне — почему бы и не стать каждому отличным стрелком? Это дело казалось ему таким простым и естественным.

Он сам лег рядом с Гайдашем и наблюдал за его стрельбой. Алексей собрал все силы, всю волю, всю злость — все это он вкладывал в выстрел. «Я покажу еще,— думал он лихорадочно...— Я покажу». Он долго целился, вспоминал все советы командиров, приникал ступнями к земле, распластывался весь, затаив дыхание, и резко, мужественно, сильно (он отмечал все это про себя) нажимал на спуск. Теперь — все пули в яблочке. Впрочем, на этот раз приходилось убеждать себя в этом. Нетерпеливо поднялся.

Зубакин покачал головой.

— Не к чему идти смотреть мишень. Вы дергаете крючок. Слишком дергаете. Пули уходят в небо. Все небо, товарищ Гайдаш, продырявили. Надо нажимать на спусковой крючок плавно, так, чтоб выстрел получался сам собой. Но ничего,— добавил и взглянул в потемневшее лицо Алеши,— ничего. Потренируетесь... Победите в себе «дергуна», станете отличным стрелком.

Алексей тихо побрел в тыл, туда, где около Гущина толпились отстрелявшие бойцы. Веселый смех и шумные разговоры стояли тут.

— Подвела Верка, подлюга! — весело жаловался Рунич и бил ладонью по ложу винтовки, словно она была виновата в том, что он плохо стрелял.

Сташевский, который стрелял (и отлично!) из винтовки Рунича, поддразнивал его:

— Твоя Верка сегодня тебе со мной изменила. Девки, они такие. Им чужой мужик слаще.

Алексей молча дождался очереди, взял протирку, смазал канал ствола щелочным маслом; Гущин вопросительно посмотрел на него: «Ну, как?» — он махнул в ответ рукой и побрел прочь.

Он лег на землю и винтовку положил рядом. Вокруг еще трещали выстрелы,— они казались нелепыми на мирном задумчивом фоне гор.

«Сегодня горы — зеленовато-серые»,— заметил Алеша. Он старался совсем забыть о стрельбе. И город внизу зеленовато-серый. И армянский католический собор, возвышающийся на холме над городом, тоже сегодня зеленовато-серый. Он сложен из неотесанного камня, камень брали тут же в горах. Алеше показалось, что это и не собор вовсе, а просто скала, сорвавшаяся во время обвала и застрявшая на холме. Унылая архитектура собора, узкие окна и башенки сливались с зеленовато-серыми горами, скалами и расщелинами в них. Скучный собор! Скучны сегодня и горы! Алеша перевел глаза на кладбище, оно рядом. Оно без оград, без зелени. «Мертвецы не нуждаются в роскоши»,— усмехнулся Алеша. Это правильно. Вразброс лежат голые, плоские камни, тоже зеленовато-серые и скучные сегодня. Когда-то Мотя боялся умереть

здесь; скучно будет лежать на таком кладбище. «Все равно,— подумал Алеша,— все равно, где ни лежать!» Он вытягивается на земле. Покой, сонное оцепенение нисходят на него. Уснуть бы! Рядом трещат выстрелы. Кто-то стреляет, нетерпеливо щелкает затвором, вероятно волнуется, надеется, мечтает попасть в десятку. Смешно!

Он горько смеется. Как глупо, что он принимает все это близко к сердцу. Даже твое отличное сердце, Гайдаш, не выдержит. Береги себя! Беречь. Зачем? Кому ты нужен? Кто ждет от тебя дел и подвигов: каких?

— Вам надо тренироваться в стрельбе! — сказал комроты.

Какое отвратительное слово «тренировка».

Нет, стрелком уж, видно, ему не быть! Сразу опротивело все: и винтовка, и стрельбище, и сигнал трубы, который звучал когда-то так боево и воинственно. Кончено! Еще с одним кончено. Нет, он не станет тренироваться. Не вышло,— ну, значит, и не вышло. Еще одно не вышло. Что остается? А, все равно!

Но тренироваться он действительно не будет. Уж он знает себя. Если ему сразу не удается дело,— он возненавидит его и бросит. Почему? Он не хочет быть смешным. Вот из-за этого он и не научился бегать на коньках. Если б удалось сразу отлично побежать по льду — он бы стал целыми днями бегать. А падать, разбивать нос для смеха зрителей — нет, спасибо! Он не Дымшиц. Из всех идиотов самые смешные — старательные идиоты, те, что расшибают лбы в молитве.

8

И тогда все стало ему безразличным. Хороший он или плохой, любят ли его, или не любят, хвалят или ругают — все равно, все равно.

Странное оцепенение охватило его. Он двигался, жил, ел, стрелял, падал и подымался, нес караульную службу и чистил картошку на кухне, вскакивал по тревоге, хватал оружие, торопился, даже нервничал,— и все это как во сне: машинально и бессознательно.

Он опустился, стал небрежен в одежде; брюки продрались на коленках, он так и не зачинил их. Рубаха

пропиталась ружейным маслом, на шлеме не хватало пуговицы. Только винтовку чистил по-прежнему тщательно, но и то скорее по привычке и из страха, чем из любви.

Он сидел теперь на занятиях молчаливый и рассеянный, словно отсутствующий, смотрел в окно и ничего не видел там: ни гор, ни неба, ни артиллерийских складов; иногда его удивленно окликал командир взвода:

— Вы спите, Гайдаш?

Он вскакивал, испуганный, точно проснувшись, торопливо моргал ресницами.

— Вы спали?

— Нет.

— Что же вы делали?

Вот этого он не знал. О чем он думал? И думал ли? Нет, просто сидел, чуть сгорбившись, положив руки между колен, в странном оцепенении, похожем и не похожем на дремоту.

В строю он шагал в ногу с товарищами, делал повороты, автоматически выполнял команды. Но был он не здесь, и сам не знал, где был. «Уже декабрь...— думал он, заряжая винтовку. Он только отмечал то, что видел.— Выпал снег... Мокрый... Прошел командир роты... Сейчас скомандуют: «Взвод, смирно!»... Еще год... Целый год еще... Да... Что же? Ну, ничего... Вот... Вот именно... Да...»

Однажды на тактическом учении он был дозорным. Командир отделения указал ему сектор — справа магометанское кладбище, слева Сахарная Головка,— он показал раз, другой и третий, а Гайдаш все молчал. Наконец, Гущин спросил подозрительно:

— Вам понятно?

Гайдаш пожал плечами.

— Ну, идите,— вздохнул Гущин. Он давно уже устал «болеть сердцем» за этого непонятного ему человека.

Гайдаш лениво побрел на кладбище. Винтовка болталась на ремне за плечом. Надо было снять ее, нести в руке, но это показалось Алеше и тяжелым и скучным, и главное никому-никому не нужным. Он был между

разбросанными там и сям могильными плитами. Мокрый снег падал и таял на них (мокрые и скользкие камни — вот все, что осталось на память о человеке! Как его звали? Зачем он жил? Что сделал?). Алексей ступал по камням, не разбирая дороги. Стало жарко,— он снял шлем и подставил снегу голову.

Замечательно ощущать, как тают снежинки на теплой коже. Скоро все лицо Алеши было мокрым, словно он плакал. А он был счастлив, единственный раз за последнее время. Все забылось — и разведка, и комвзвода Угарный, и винтовка за плечом. Только щекочущие снежинки на лице да ветер с гор, прохладный и ласковый.

Вдруг над его ухом раздалось резкое:

— Гайдаш!

Он вздрогнул. Около него стоял запыхавшийся командир взвода Угарный. На лице командира вспыхивали багряные пятна гнева.

— Вы что делаете, Гайдаш?

— Я? — В самом деле, что он делает? Он идет. Его куда-то послали. Что-то надо было делать, он забыл. Он оглянулся. Кладбище осталось сзади. Он брел по горной тропинке. Зачем? — Я — дозорный,— наконец, вспомнил он.

— Дозорный? — расхохотался командир.— Ну и что же вы обнаружили?

Гайдаш удивленно посмотрел на него и вдруг прищурился.

— А я обнаружил, товарищ командир, что снежинки отлично тают на коже. А вы что ж думали? Я увижу противника? Хотел бы, да...

— Вы прошли две засады, товарищ дозорный,— насмешливо перебил Угарный.— Из вас вышел бы отличный Дон Кихот, бледный рыцарь, бестелесный, неуязвимый для пуль. Весь взвод хохочет над вами. Винтовка болтается за плечом, ленивая поступь. Прогуливаться на Невский вышли, дозорный? Стыдно.

Командир отвернулся. Отовсюду подходили бойцы взвода. На шинелях были пятна снега (на шинелях снег не таял) — очевидно, ребята всласть поползали по оврагам и сугробам. Они честно поработали. Их лица были горячи и возбуждены. Ляшенко шершавым

рукавом шинели вытирал пот со лба. Алексей почувствовал себя на минуту дезертиром и лодырем.

Объявили перекурку. Алексей растянулся в снегу под кустом боярышника. Закурил. Сладостны были эти минуты полного и абсолютного покоя. Лежал на спине, вытянув ноги, зарывшись шлемом в снег. Он принадлежал сейчас только себе, себе одному. Курил, медленно глотая дым. Выпустив синеватую струйку, брал комочек снега и сосал его. Потом снова затягивался папиросой. Дым и снег — это недавнее изобретение понравилось ему. Наслаждался, словно ел мороженое. Блаженствовал. Полудремал. Через десять минут ему скажут: «Беги. Иди. Стреляй. Делай». Но эти десять минут — его. Он никому не нужен. Никто не нужен ему. Думал ли он когда-нибудь, что опустится до такого скотского индивидуализма? Но и сейчас он об этом не думал. Просто лежал, курил, смотрел в небо. Ему было хорошо. В сущности — это самое главное.

— Товарищ Гайдаш,— позвал Угарный, когда перекурка кончилась. (Вежливость командира подавляла Алешу. Как бы хотел он, чтобы его ругали, бранили, пускай даже били.) Он неохотно поднялся на ноги. Блаженная перекурка кончилась — куда сейчас двинут его? Смешная игра в войну, потешные солдатики — зачем, кому это нужно? Он подошел к командиру.

— Вы будете командовать отделением в наступлении, товарищ Гайдаш,— сказал ему, хмурясь, командир взвода.— Покажите себя. Вот задача...

Алексей легонько пожал плечами. Хорошо. Есть. Даже честолюбие его не было затронуто. Двадцать минут назад он был дозорным, сейчас — командир отделения,— все это игра, игра в солдатики, смешная для взрослых людей.

Задачу он выслушал невнимательно. Затем Угарный скомандовал отделению Гущина выдвинуться вперед.

— Ну, вот, товарищ Гайдаш,— ваше отделение. Ведите. Принимайте решение. Действуйте.

Алексей посмотрел на ребят — Ляшенко, Рунич, Дымшиц, Гущин, они стояли, покорные и застывшие, и крепко сжимали руками в шерстяных мохнатых перчатках стволы покрытых изморозью винтовок. Будь

впереди за снежными холмами противник, они точно так же стояли бы, спокойные и непоколебимые, и ждали бы, как ждут сейчас, команды: «За мной! В штыки! Ура!» Эта покорность испугала Алешу — их судьбы в его руках. Что ему делать с ними? Он взглянул на местность, лежащую впереди,— голые снежные холмы, овраги, заросшие колючим кустарником, долина, подымающаяся вверх к горам ровными пустыми террасами.

— Ну? — нетерпеливо крикнул командир взвода.— Ну? Действуйте же!..

Алеша растерялся. Как действовать? Что скомандовать? Куда повести людей? Он чувствовал себя беспомощным перед этими горами, оврагами и долиной. Где противник? Он прослушал задачу. Противник мог быть и в овраге, и за холмами...

Отделение молча ждало. Никто не улыбался, не подсмеивался. Командир нетерпеливо сшибал снег с сапог, смотрел на часы, зачем-то отстегивал и застегивал полевую сумку.

— Я думаю,— нерешительно начал Алеша, но командир перебил его:

— Действуйте, действуйте. Вы на деле покажете нам, что думаете. Принимайте решение. Отдавайте команду... Противник уже увидел вас. Открыл огонь. Над вами свистят пули, командир отделения. Ну?

Ляшенко, Рунич и Гущин молчали, даже не улыбались. Они ждали команды. Их винтовки, их руки и ноги, их жизни ждали его команды, чтобы беззаветно выполнить ее. А он не знал, какую отдать команду десятку людей, он, мечтавший о том, что будет командовать миром.

— Вы убиты,— сказал, безнадежно махнув рукой, Угарный.— Гущин, принимайте отделение, действуйте.

Алеша отошел в сторону. Он убит? Да, убит. Смят, раздавлен. Гущин повел отделение в бой. За ним побежали бойцы.

Гущин преобразился. Он стал выше, подвижнее, ловчее. Хрипло отдавал команды. Окидывал взглядом местность. Одним движением правой руки подымал залегших на рубеже бойцов и двигал их вперед, вперед на противника.

Холмы, горы, овраги, долина — все ожило. Перед Алешей развернулась увлекательнейшая картина боя — боя беззвучного, без выстрелов, без противника, без крови.

Бойцы перебегали поля, занимали рубежи, террасы, открывали огонь, ползли по снегу, скатывались в овраг, брели вдоль него, ломая сухие ветви кустарника, и снова выходили к горам, подчиняясь хриплому шепоту командира отделения и нетерпеливому движению его правой руки.

Потрясенный Алеша растерянно следил за тем, что разыгрывалось перед ним. Даже ему стал до осязаемости ясен план Гущина. Все движения его казались исполненными здравого смысла и воли. Вот он по-кошачьи подбирается со своим отделением к противнику, сжимает его, преодолевает рубеж за рубежом, сочетая движение и огонь,— вот побежал, пригнувшись и зажав под мышкой винтовку, Сташевский,— добежал до кустика, упал, стреляет... с легким пулеметом в руках бежит уж Рунич и чуть позади и в стороне его — Ляшенко, упали, стреляют... вот косолапо бежит Дымшиц... Вдруг все скатываются в овраг, и опять впереди всех Гущин. Бредут, ломая кустарник, с сучьев сыплется снег... Прижимаются к ребру оврага... Гущин что-то объясняет. И вот уж все у самой высоты, занятой противником. Вокруг Гущина сбились бойцы, они лежат у самого ската, прижавшись к земле, покрытой мохнатым первым снегом, готовые к прыжку, напряженные, взволнованные, вероятно, хрипло дышат. Но вот уж гремит их страшное «ура-а-а-а!». Они бегут по горе — винтовки наперевес, блестят штыки, споткнувшись, падает Дымшиц. Убит? А впереди всех Гущин. («Я бы должен был быть на его месте»,— мелькает горькая мысль.) Но на высотке — Гущин, невзрачный смущающийся «отделком». «Из таких-то и выходят герои!» — с неожиданной завистью подумал Алеша.

Командир взвода подошел к нему.

— Теперь вам понятно, Гайдаш? — Алексею показалось, что на губах командира проскользнула насмешливая улыбка. Он озлился: зачем смеяться над ним? Он и без того обескуражен своим очередным провалом.

Вернулись бойцы, запыхавшиеся, утомленные. Угарный объявил перекурку. Дымшиц стал счищать снег с себя — он весь был в снегу, снег забился даже за шиворот, бедняга много падал, но имел вид бравый и ликующий.

На следующий же день Гайдаш «отомстил» Угарному за неуместную улыбку. Случилось это на политзанятиях — последний плацдарм, на котором еще воевал Гайдаш.

Командир взвода Угарный не был первоклассным знатоком политграмоты. Был он ровесником Алеши и только на год старше бойцов своего взвода. Он пришел в армию всего год назад прямо со школьной скамьи, окончив сельскохозяйственный техникум где-то в Сибири. Краснощекий, плечистый крестьянский парень. Армия полюбилась ему, он сдал экзамен на командира взвода и остался. Он ходил еще в старой армейской шинели, но с петлицей, тщательно соскоблил номер полка. Новая шинель уже шилась, настоящая командирская шинель с кавалерийским разрезом сзади и рукавами с раструбами. На кавказских границах форма соблюдалась не свято, командиры щеголяли в гимнастерках особого кавказского покроя с высоким воротником, доверху застегивающимся на пуговицы. Угарный ходил примерять шинель к полковому портному, старику армянину, который шил еще «на господ офицеров». Свою армейскую серого сукна шинель, испачканную ружейным маслом и засохшей грязью, Угарный втайне ненавидел,— она была слишком коротка и несолидна для командира. Был он еще смущающимся мальчиком, и когда отделенный командир Гущин скомандовал при его первом появлении во взводе «Смирно!» — он растерялся и похолодел от ребяческого счастья. «Это мне, мне?» — осторожно подумал он.

Его любили во взводе. Любили и в полку. Когда он был дежурным по полку, гарнизонный народ был весел и даже строгий Карпыч ухмылялся. Командиры относились к нему отечески. Был он красив, здоров, силен и отличался чисто сибирским ленивым добродушием. Он неплохо пел и всегда запевал, идя во главе взвода. Он кое-что читал, но больше любил ходить на

лыжах. Он был уверен, что полк, в котором он служит,— лучший в армии и рота лучшая в полку. Ему хотелось, чтобы и взвод его был лучшим в роте, но он понимал, что молод и неопытен, поэтому работал втрое. Часто он оставался затемно в казарме, возился у своих винтовок, присев на табурет у коек, подолгу беседовал с бойцами. Если даже и не было ему дела в казарме, он все же засиживался здесь,— домой не хотелось. Что дома? Холостяцкая квартира, дыры от гвоздей в облупленных стенах. Где-то в Сибири у него была старушка мать, он все звал ее приехать жить к нему, мечтал о семейной квартире («собирались бы у меня товарищи, мать поила б всех чаем, пели б, бренчали на гитаре»), но старушку пугала дальняя дорога, она все не решалась приехать, и Угарный жил пока вдвоем с товарищем, тоже вчерашним одногодичником, в комнате, которую они снимали у тюрка-садовода. Была у Угарного «невеста»,— в роте знали, что зовут ее Глашей, ее карточка висит над кроватью комвзвода, что Глаша — сибирячка, широколицая, с серыми глазами и высоким лбом, что она агроном, окончила вместе с Угарным техникум и работает где-то в МТС. Знали, что из-за нее Угарный просился в СИБВО, но его оставили здесь, и теперь он ждет отпуска, чтоб поехать за Глашей и привезти ее сюда. В общем был Владимир Угарный честным, простым парнем, смотрел на жизнь легко и весело, предан был своему делу, любил свою новую профессию, об академии еще не мечтал, но командиром собирался стать отличным. И командир полка предсказывал ему это.

Но в политграмоте Гайдаш был сильнее командира взвода и, главное, искушеннее его. Слишком все просто и ясно было Угарному, в формулировках он не был искусен и предпочитал преподавать политическую грамоту, как сам понимал ее. Алексею легко было изловить молодого командира в неточных формулировках. Осторожными, невинными вопросами он спровоцировал Угарного, заставил договориться до бессмысленных вещей, а затем сдержанно, но едко стал высмеивать. Он не горячился, не нервничал, не спорил,— нет, он только спрашивал, недоумевал, «недопонимал», как говорят политруки.

Два часа продолжалась эта схватка. Алеша вышел победителем из нее. Вспотевший, смущенный и раздосадованный, Угарный сказал ему:

— Вы, Гайдаш, не вносите,— он хотел сказать «вольностей», но сказал — дезорганизации.

Это было свидетельством беспомощности командира. Алексей торжествующе посмотрел на бойцов,— к его удивлению, все хмуро молчали. Никто не ухмылялся. Всем было неловко. Они не одобряли Гайдаша — он почувствовал это и понял почему: они любили Угарного и не любили Гайдаша. Смущенный победитель сел на место. К чему он затеял это?

Вечером к нему подошел политрук и сказал весело:

— Я хочу потолковать с вами, Гайдаш.

Они прошли в ротную канцелярию, маленькую комнату, похожую одновременно и на цейхгауз (здесь в углу были свалены в кучу мишени, карты, ротное имущество), и на холостяцкую квартиру — стояла койка ротного писаря,— он жил здесь,— на стене висела гитара с алым бантом, фотографии в рамках из ракушек, автопортрет писаря в полной форме, написанный карандашом и без тени самокритики, пахло дешевым одеколоном и сапожной ваксой.

— Вы напрасно привязались к Угарному,— сказал политрук и взял Алешу за пуговицу. Беседа начиналась в заговорщицко-дружеском тоне. Ее надо было понимать так: давай потолкуем, как товарищи.— И ты, и я политически тертые люди. Конечно, Угарный напутал. Ну, а ты?

— За таким, как Угарный,— сказал политрук,— люди беззаветно пойдут в бой, на смерть. Он им объяснит политграмоту под пулями так, как вам не объяснить, Гайдаш,— я это дружески говорю. Неверно?

Гайдаш вспомнил Гущина на подступах к высотке. Угарный тоже из того же теста. Из него пекут героев. Да, он, пожалуй, согласен с политруком.

— Ну вот,— обрадовался тот.— А ты полез с ним в драку. Зачем?

Гайдаш недовольно пожал плечами.

— Лучше помог бы командиру, растолковал. Ты парень грамотный. Где работал до армии?

— Я был секретарем окружкома комсомола в Донбассе,— отчеканил Алеша и горько усмехнулся. Секретарем окружкома, а теперь стоит, как виноватый школьник, перед ротным политруком.

— Да ну? — опять обрадовался веселый политрук.— Понимаешь, я сам был на комсомольской работе.

Гайдаш давно подозревал это — комсомольское так и било из политрука. Он заметил это с первого взгляда. И в том, как говорил политрук (ему трудно было, например, долго говорить человеку «вы», положенное по уставу, и все сбивался на комсомольское «ты»), и в том, как таскал кипу книжек под мышкой, и в том, как выступал на собраниях (свойственный старым комсомольцам интимно-дружеский, веселый стиль), и в общем облике, который явно отличался от строевых командиров, хотя ни в какой небрежности нельзя было упрекнуть политрука. Разве только, что ворот гимнастерки несколько широк да ремень свободен?

Ах вот как — значит, политрук и в самом деле бывший комсомольский работник! Это любопытно. Что же: он был секретарем ячейки где-нибудь в депо или секретарем волостного комитета? Гайдаш презрительно усмехнулся: усмешкой генерала над армейским прапорщиком.

— Где ты работал? — спросил он, легко переходя на «ты».

— Я был секретарем губкома комсомола на Волге.

— Постой! — растерялся Алеша.— Как фамилия?

— Конопатин Иван. А что?

— Тот Конопатин, который... Да я тебя знаю. Но как же ты попал сюда?

— А как, очень просто, как все попадают сюда.

— Провинился?

Конопатин не понял, потом нахмурился.

— Что за глупости? Вот глупости-то. Просто я по мобилизации Цекамола в армию. Лучших ребят посылали,— с гордостью добавил он.

Неловкость скоро исчезла. Стали вспоминать старых комсомольских товарищей, съездовские драки, смешные эпизоды. Скоро начали называть друг друга

«Ваней», «Алешей» — расстались друзьями. Этот вечер был лучшим за все время службы.

«Вот и я бы мог стать политруком, остаться в армии,— подумал Алеша, когда уж укладывался спать.— Потом в академию...— Он весело засмеялся, лег, натянул одеяло до подбородка.— Отличный из меня политрук бы вышел в конце концов... Или даже комиссар, а? — Он подмигнул лампочке, она мигнула в ответ и погасла. Отбой. Спать.

На следующий день он с нетерпением стал ждать прихода политрука в роту. Тот пришел вместе с комроты Зубакиным. После рапорта прошли в ленуголок.

— Конопатин! Ваня! — не сдержавшись, крикнул Алеша. Он хотел ему рассказать, что... но, спохватившись, понял, что сделал дикую глупость. Смущенно покраснел Конопатин, удивленно вскинул брови комроты, сделал страшные глаза старшина, засмеялись бойцы. И даже Гущин неодобрительно покачал головой.

— Какой он вам Ваня! — прошептал он Алеше укоризненно.— Это вне строя, Ваня. А тут — товарищ политрук.

Конечно, он сделал глупость, но почему-то разозлился на Конопатина. Значит, будет двойная жизнь: в роте — товарищ политрук, руки по швам, субординация, а вечером — милый Ваня, помнишь, как бывало... Нет, лучше подальше, подальше от милого Вани.

Он забился в угол и был рад, когда, наконец, взвод увели в горы. С тех пор стал избегать Конопатина. Реже стал ходить в клуб. Чаще отсиживался в углу, у печки. Угарного больше не задевал. На политзанятиях сидел молча.

Иногда в штабе полка вспоминали о прежних профессиях бойцов. Сташевского вызвали однажды в полковой гараж помочь шоферу наладить грузовую машину. Сташевский двое суток работал в гараже. Алеша случайно видел, как возился он у машины, подползал под кузов, орудовал ключом. Он снова был в своей стихии. Деловитый, озабоченный, с цигаркой в левом

углу рта, он стоял, опершись ключом в бок, и снисходительно смотрел на машину, как доктор на больного, как мастер на станок. В другой раз вызвали в штаб Ляшенко — что-то случилось с котлами на электростанции. Рунич целыми вечерами пропадал в клубе, в будке киномеханика, потом затеял спектакль, носился с пьесой, добывал грим. Левашов скоро признан был лучшим спортсменом в полку,— и ему поручили занятия по конькам и лыжам с командирами.

Только Алешу никто никуда не звал, не требовал, никому он не был нужен. Ему предложили, было, работать в полковой газете, он отказался. «Я не писака!» — презрительно пожал плечами. Конопатин посоветовал ему взять партшколу, он уклонился. Больше его не беспокоили. Он был рад этому. Спасительное оцепенение снова охватило его. Было покойно сидеть по вечерам в полутемной казарме, охватив колени руками, и покачиваться, ни о чем не думая, не вспоминая.

О чем он думал? Да так, ни о чем. Он ловил себя на том, что и мысли у него стали вялые, ленивые. Рано ложился спать. Спал в мертвый час. Потом днем вспоминались обрывки снов — в них не было ничего значительного. Куда-то бежал, что-то делал...

Бредя по оврагу с дозором, спотыкаясь в сугробах, проваливаясь в снег, он машинально отмечал: снег мягкий, деревья черные, тонкие... кто бы подумал — это бредет бывший секретарь окружкома?.. На соснах хлопья...

Рыл окоп, отбрасывал лопатой снег.

«Долго еще так? Сколько же?»

Стрелял он то отлично, то очень плохо,— он и сам не знал, как будет стрелять сегодня. Командир роты назвал его «настроенческим стрелком».

— Гайдаш у нас стреляет по настроению! — с досадой говорил комроты. Он чаще, чем к другим, приглядывался к Алеше. Ложился возле него на стрельбище. Терпеливо объяснял все ошибки, самые мельчайшие замечал он.

«Зачем он нянчится со мной? —с досадой думал Гайдаш.— Оставил бы в покое. Какой есть, таким и буду. Чего тут!»

Но комроты не оставлял его в покое. И снова, и снова валился рядом с ним в снег, смотрел, как держит стрелок винтовку, как спускает крючок.

— Вам скоро в полковую школу переходить, Гайдаш,— говаривал он.— С чем туда явитесь? — и обиженно выговаривал главное: — Вот, скажут, Зубакин не смог подготовить стрелка.

Отличная стрельба — это был конек Зубакина. О чем бы ни говорил он на собраниях, он заканчивал всегда так:

— Но главное, это стрелковая подготовка и отличная стрельба, товарищи.

Забавный эпизод рассказывали о нем: как-то в лагере во время инспекторских стрельб он стрелял неожиданно скверно. Он сам удивился этому результату, но было уже поздно. Это так потрясло снайпера, что он тут же с горя напился (что случалось с ним крайне редко), и ночью, взяв в свидетели товарища командира, пошел на стрельбище и при луне поразил все мишени, которые только нашел.

Это была отличная стрельба, но за нее пришлось отсидеть пять суток на гауптвахте.

Плохие стрелки вызывали в нем физическое отвращение и брезгливость. Он никак не мог понять, как можно плохо стрелять из хорошей винтовки. Он несколько раз сам проверял винтовку Алеши,— она была отличного боя.

— С такой машиной и не стать отличным стрелком? — восклицал он с досадой, когда Алеша докладывал ему печальные результаты своей стрельбы.

Мучительно было идти с таким докладом к комроты. Алексей, лениво волоча ноги, отходил от мишени и медленно, стараясь оттянуть неприятный момент, брел к огневому рубежу, где ждал его комроты. Подойдя, бормотал:

— Стрелок Гайдаш по третьей задаче выполнил ноль.

Вокруг смеялись. Комроты хмурился, цедил сквозь зубы:

— Ноль целых, ноль десятых. Далеко пойдете, Гайдаш!

Алексей, мрачно волоча винтовку, уходил в тыл, всегда в одно и то же место, на западный склон безымянной высотки,— отсюда видны были черные кипарисы поселка. Он давно открыл их, и это было великое открытие — оно обеспечило Алеше покой.

Смятенный, подавленный, он приходил сюда и долго смотрел вперед,— там за магометанским кладбищем, полузанесенным снегом, на высоком холме дремали три кипариса, прямые, стройные и неподвижные, точно нарисованные углем на белом фоне земли и неба. Они были древни, как вечность, и величавы, как тишина. Никогда Алеша не видел, чтоб они гнулись, никогда не слышал, чтоб они скрипели. Они дремали, чуть склонив вершины, равнодушные ко всему и прекрасные в своем ироническом презрении к миру. И все дремало вокруг. Высокое белое небо. Тусклый, матовый снег. Тишина. Дрема. Ни шороха, ни движения. Где-то далекие выстрелы, как во сне...

И тогда ощущение необычайного покоя вливалось в Алешу. Ослабевшие, опускались руки, вытягивалось тело. Он лежал обессиленный, безвольный, расслабленный, погруженный в зябкую дремоту, один на снегу. Что сталось с ним? Тот ли это Алеша, который, бывало, кипел и горел лихорадочным огнем в комсомоле? Что случилось с ним? Что с ним будет? Но он отгонял эти мысли нетерпеливым движением руки и бровей и снова погружался в оцепенение. Так лучше, так покойнее.

«Все равно, все равно,— думал он сонно.— Все равно».

Теперь редко получал он вести из дому. Товарищи писали ему, он не ответил, они бросили писать. Теперь он даже жалел об этом, но по-прежнему никому не писал.

Когда вечером приносили в роту почту и бойцы нетерпеливо набрасывались на дневального, он тоже подходил. Хорошо бы получить письмо, теплое, родное. Он знал — неоткуда ждать писем. Разве Любаша? Дневальный громко выкрикивал имена счастливцев,— их заставляли плясать за письмо,— Алеше писем не

было. Он уходил обратно, в свой угол, даже не опечаленный.

— Все равно.

Все реже и реже писала Любаша. И опять в этом был виноват только он, он один. Он ответил ей однажды коротко и грубо, с досадой: «Забудь меня и выходи замуж». Потом пожалел об этом, хотел было написать вдогонку другое письмо, да так и не написал.

«Все равно!» Любаша обиделась и прислала письмо, искапанное слезами. Он поморщился и не ответил. После мертвого часа он любил в ленуголке читать газеты. Нетерпеливо ждал, когда принесут их из полковой библиотеки. Сам часто, не выдержав, ходил за ними. Долго читал — от строки до строки. До объявления о спектаклях в театрах. «А я-то ни разу в жизни так и не собрался в оперу?!» — думал он при этом. Как много упущено им в прошлой жизни!

Однажды он с удивлением увидел в газете портрет Павлика Гамаюна. Да, это он, это его лицо, непохожее и похожее, с застенчивой улыбкой на губах. По этой улыбке Алеша только и узнал его. О Павлике писали, что он со своей комсомольской бригадой монтажников показал чудеса на стройке новой домны. Журналист подробно и восторженно описывал молодого мастера и его рекорды.

«Так Павлик стал героем»,— подумал Алеша и не обрадовался, а почувствовал даже какое-то неприятное, гадкое чувство, в котором не захотел сознаться себе. Зависть? Он сердито отбросил газету.

В другой раз попалось имя Рябинина. Инженера ругали за то, что смена его отстает. Ругали хлестко,— но опять только зависть почувствовал, прочитав заметку, Гайдаш. Зависть? К кому? К Рябинину? За то, что его ругали?

Он даже сам удивился. Разве мало ругали Алешу? Ему ли завидовать! И все-таки это была зависть, непонятная, дикая, смешная,— бесполезно было отрицать ее.

Откинувшись на спинку стула и чуть прищурив глаза, Алексей пытался представить, что делают сейчас Рябинин, Павлик, Любаша, Ершов. Строится ли завод Ершова? Он видел тогда озабоченное лицо Рябинина, озаренное багровым пламенем плавки. Он видел

Павлика, в распахнутом полушубке и с шарфом, раздутым ветром, на самой вершине мачты. Думают ли они о своем товарище, об Алеше? Но им нельзя. Они заняты.

Глухо доносился до Алеши шум стройки, охватившей страну. Вероятно, в этот шум вливались и скрип бревен на Куре, и грохот разбиваемого молотками камня на новой шоссейной дороге в горах, и, может быть, трескотня выстрелов на стрельбище.

Ему хотелось тогда написать Павлику и Рябинину теплое, дружеское письмо, что-нибудь о том, что вы, мол, стройте и будьте спокойны за границу, ваш труд оберегается надежными часовыми. Но имел ли он право так написать после сегодняшней стрельбы? Не начать ли прежде тренироваться в стрельбе, а потом уж писать? Эти мысли беспокоили, раздражали его — лучше было не думать, не читать. Махнуть рукой — все равно, все равно! — и уйти в угол, к печке, смотреть, как дымят головешки, и дремать под сладкий и теплый запах сгорающих дров.

Но к газетам тянуло. Это была ежедневная пытка, от которой не уйти. Он бичевал себя газетой. «Вот,— злорадствовал он над собой,— вот стал уже Васька Спирин секретарем горкома партии. Давно ль ты ел с ним вместе бутерброды на заседаниях Губкомола?» Как быстро росли люди. Он не успевал угнаться за ними по газетным столбцам.

Что будет с ними через год, когда он вернется! К ним нельзя будет и подступиться. Они заважничают, зазнаются. Захотят ли они принять его! Небось продержат в приемной часок-другой, потом снисходительно примут. О нет, он не пойдет к ним. Ни за что. А куда же он пойдет? Что будет делать?

«После! После! После успею подумать!»

Теперь он хотел только одного, чтоб его оставили в покое, чтоб забыли о нем. Вычеркнули бы. Был такой Алексей Гайдаш. Умер. Погиб. Сорвался с небоскреба.

Но его не хотели оставлять в покое. Конопатин все чаще и чаще вел душеспасительные беседы. Политрук не понимал, что произошло с Гайдашем, но Гайдаш и сам не понимал этого. Беседы только озлобили его.

«Зачем со мной нянчатся? Я не ребенок». Он грубо отвечал командиру.

Однажды Конопатин сказал:

— Боюсь, что я могу поставить тебе диагноз,— у тебя «паньска хвороба», как говорят у вас на Украине. Откуда в тебе, в рабочем парне, эта болезнь — ума не приложу. Но факт,— паньска хвороба: Был пан, а теперь пропал, так ведь ты рассуждаешь? Глупо, не по-большевистски.

Он добился перевода Гайдаша в другой взвод. Ему казалось, что новая обстановка, новые товарищи изменят настроение Алеши. Гайдаш догадался об этом и покраснел от стыда и злости. «Вот как! Приняты экстраординарные меры, как к неизлечимому больному. Подсовывают кислородные подушки. Да не хочу я дышать кислородом, дайте воздуха или оставьте в покое». Лучше всего — оставьте в покое.

И в новом взводе он продолжал жить, как жил раньше. Нес службу без любви и чувства, ни с кем не дружил, отмалчивался, держался в стороне. А по вечерам, укладываясь спать, думал: «Вот и еще день прошел. Уже декабрь на ущербе. Сколько еще осталось? А дальше что?» Чтобы не думать, бросался в постель, накрывался с головой одеялом. Сон — лучшее лекарство от неприятных мыслей. Он умел теперь быстро засыпать.

Иногда вместе с ротой он ходил в клуб смотреть новую кинокартину. Шли строем, у клуба останавливались,— повзводно входили в зал. Там было уже много командиров, жен, детей. На сеансы всегда приходило все население полка. Это было одно из полковых развлечений. Детишки бегали по залу. Женщины громко разговаривали, смеялись. Алексею иногда случалось сидеть рядом с какой-нибудь девушкой,— он смущенно прятал тогда свои руки, ноги, съеживался весь. Он одичал немного. Чувствовал себя стесненно в серой, ворсистой шинели. От сапог пахло ворванью и дегтем.

Рунич громко читал надписи,— это была его официальная обязанность. В полку было еще много малограмотных,— они учились в школах. Рунич читал с чувством, толком и расстановкой. Иногда от себя комменти-

ровал. Над его шутками одобрительно смеялись. Он был здесь, в клубе, свой человек. Начальник клуба озабоченно беседовал с ним. Девушки смущенно здоровались, спрашивали: когда следующая репетиция? Он шутил с ними, шаркал сапогами.

Иногда в тишине зала вдруг раздавался возглас: «Старшина третьей роты в штаб полка!» — потом осторожный топот сапог, это старшина раздосадованно пробирался к выходу. Фильм продолжал вертеться. Слышно было потрескивание аппарата. Алексей дремал на своей скамейке. Испуганно вздрагивал очнувшись, тупо глядел на полотно — там мчался поезд. Поезд,— он давно уж не видел поезда. Потом опять смыкались веки.

Чаще всего он, впрочем, уходил за сцену. Здесь, в маленькой комнате, жил Максим Пехотный, с ним у Алеши сразу установилась странная, молчаливая дружба.

Максим Пехотный был принадлежностью горного полка, как и казармы на холмах, как и полковое знамя в сером чехле в штабе, как и дневальный у ворот. Без него нельзя было представить N-ский горный стрелковый полк.

Лет десять назад, в походе на маневрах, к полку пристал беспризорный босой мальчишка. Откуда он взялся, как возник на пыльном шоссе — никто не знал. Парнишка пристал к взводу музыкантов и шел рядом с барабанщиком, очарованно глядя на медные трубы, кларнеты, флейты и почтительно на старика капельмейстера, покрытого потом. Он больше и не отставал от музыкантов, спал рядом с ними на траве, ел у их котлов и однажды даже нес целый переход гигантскую трубу, которая охватила его медными кольцами, как змея.

— Ничего... Я сильный... Я донесу...— говорил он, когда хотели у него отобрать трубу, и нес, покрываясь потом и задыхаясь, гордый, счастливый, большой. Он даже украдкой дул в трубу, его разочаровывало, что оттуда не вырываются никакие звуки, он дул сильнее — ничего не получилось. Он чуть не заплакал.

Никто не знал, как зовут его. Сказал только, что Максим, а фамилию не знает. Его прозвали Максимом

Пехотным. Тем самым была решена его судьба — он стал сыном полка.

Трубач из него не вышел, у парнишки оказались слабые легкие. Тогда он стал бренчать на балалайке. Старик капельмейстер показал ему ноты, большему он научить не мог,— и сам удивился, услышав, как отлично играет Максим. Откуда он научился? Он бренчал на гитаре, на балалайке, даже играл на скрипке — в походах, у костра, его любили слушать бойцы.

Так он и жил в полку уже десять лет, носил армейское обмундирование, ел в красноармейской столовке, а жил в клубе, в маленькой комнатке за сценой, служившей и складом музыкальных инструментов, и гримировочной, и жильем. Он выступал в концертах в полку всегда с шумным успехом,— играл в струнном оркестре,— а днем писал плакаты для клуба, объявления и афиши.

Был он тихим, молчаливым, болезненным человеком, артистом в душе и в жизни, с глубоко посаженными чистыми глазами и неприметной внешностью.

Алеша любил приходить к нему вечером. Входил, не здороваясь, молча садился на койку. Пехотный оборачивался на шаги, кивал головой и продолжал настраивать балалайку. Так молчали они долго, потом Алеша просил:

— Сыграй, пожалуйста.

Максим охотно играл. Перед каждым номером застенчиво объяснял:

— «Ноктюрн» называется. Музыка Чайковского, Петра Ильича,— откашливался, словно собираясь петь, и ударял по струнам.

Постепенно комната наполнялась людьми. Приходили и знакомые и незнакомые. Это был клуб в клубе. Пехотный продолжал играть. Иногда откладывал балалайку, брал скрипку. Со всех сторон сыпались заказы, он покорно исполнял их. С веселой русской плясовой переходил на грустный вальс.

При этом лицо его оставалось непроницаемым. Играл ли он веселое, печальное, медленное или бравурное — лицо оставалось неподвижным, сосредоточенным, и только глаза под нахмуренными бровями теплились

ярко и радостно. Ему доставлял радость самый процесс игры.

Но была одна вещь, которую он играл особо,— это знал Алеша, и, когда все уходили, он просил Пехотного сыграть ее. Это было сочинение самого Пехотного. Необычайно грустное, в котором восточные мотивы, навеянные горами, странно сплетались с песнями украинских степей, где, вероятно, и родился Максим Пехотный.

И Алеша, раскачиваясь и закрыв глаза, слушал эту странную мелодию. И когда она кончалась, не говорил ни «хорошо», ни «спасибо», а только:

— Сыграй еще!

И Пехотный снова начинал ее, медленно взмахивая смычком, останавливался, точно задумавшись, и снова трогал струны.

А Алексей слушал, отвернувшись лицом к стене, и, казалось ему, в этой непонятной мелодии — вся его жизнь, странно перепутанная, где горы слились с степями, где нет уж ни степей, ни гор, а только одна тонкая, жалобная струна, такая тонкая, что вот-вот лопнет...

9

Однажды он стоял в карауле у порохового погреба. Медленно текла ночь, черная, густая. Он шагал по тропинке взад и вперед и всматривался в темень, вслушивался в шорохи. Внизу у порохового погреба тихо повизгивала собака, раздавались тяжелые шаги, поскрипывал снег,— это бродил Покровский,— часовой у погреба. Когда Алеша доходил до конца своей тропинки, Покровский был уже на другом конце своей. Они шагали мерно, как маятники. Один вверху, другой — внизу. Их пути не встречались. Их шаги отстукивали время. Медленно, по капле, струилась тягучая, густая ночь.

Караульный начальник сказал Алеше:

— Как взойдет солнце, сменяйся сам, иди спать в казарму.

Пост был ночной, добавочный. Его ввели недавно,— пронесся слух, что в горах на границе шалят.

Карнач наказал Алеше бдительнее всматриваться в горы. Он всматривался,— ничего не видел. Ночь. Темень. Глухие шорохи. Он прислушался: нет, это ветер.

Изредка он поглядывал на восток — рассвет еще не скоро. Показалось, что никогда вообще не будет рассвета. Горы так плотно, так черно нависли вокруг, ночь была такая темная и густая, что, казалось, никаких сил солнца не хватит, чтобы справиться с этой тьмой. Не пробиться ему! Никогда еще не видал Алексей такой темной ночи.

Протер снегом глаза. Снова зашагал. Справа была высота 537, за ней 715, слева — горная тропа к Грельскому перевалу, на восток — Сахарная Головка, на юг — высота 523. Он окинул взглядом все холмы и горы одну за другой, словно делал смотр своему хозяйству. Горы принадлежали сейчас ему. Он отвечал за них. Он снова прислушался: в горах шумел ветер.

Не первый раз стоял он в карауле. Но всякий раз было ожидание: сегодня, наконец, что-нибудь случится. Он ждал, судорожно стискивая винтовку. Но смена кончалась, и ничего не происходило. Уходил с поста разочарованный.

Он подумал: «Если бы сейчас Ковалев шел по этой тропинке, я, не окликнув, убил бы его».

Этой ночью Ковалев опять приходил в караульное помещение — Алексей знал, что он придет, он всегда приходил, когда Алеша стоял в карауле. Откуда узнавал он это? Неужели каждый раз просматривал список суточного наряда? «Как же он ненавидит меня!»

Ковалев всегда находил какие-нибудь упущения. И наутро командир роты или командир взвода вызывали к себе Гайдаша и хмуро говорили ему:

— Помощник начальника штаба полка опять остался недоволен вами. Вы плохо отдали рапорт. У вас было грязно в казарме. Вы не сумели ответить на вопросы из устава... Мне приходится краснеть за вас.

Все это должен был молча выслушивать Алеша. Иногда ему хотелось рассказать им, кто такой Ковалев. Но что он может рассказать? Они все знают, он ничего не скрыл. «Но он враг, враг...» — «Докажите»,— скажут ему. И нечего им ответить.

Ковалев травил его осторожно и методично. Алеша чувствовал на себе его пальцы, но придраться было не к чему: Ковалев спрашивал только службу.

Скрипя сапогами, входил помначштаба в караулку, сразу же находил непорядки, распекал всех, потом садился и начинал экзамен. Он был комендантом гарнизона, он имел право спрашивать. Он спрашивал, что будут делать часовые в случае пожара и в случае газовой тревоги и кто кому какой доклад должен делать и кому не делать, и после каждого вопроса поворачивался к Гайдашу:

— А вы как думаете, Гайдаш?

Красноармейцы ненавидели Ковалева,— это с радостью заметил Алеша. Они ненавидели его чутьем, нюхом. Ненавидели его суховатое обращение с ними, его мелочную придирчивость. Он умел молчаливо и корректно издеваться над бойцами. Сухим, степенным голосом он задавал какой-нибудь каверзный вопрос из гарнизонного устава и молча ждал ответа. Он ждал минуту, две, три, пять. Ждал молча, не понукая, не подбадривая, не поясняя, а только глядя в упор на красноармейца холодным, пронизывающим взглядом. И все вокруг молчали, как бы в оцепенении. Тикали часы, поскрипывали сухие половицы. Так проходило время, и каждый присутствовавший при этой мучительно-бессмысленной сцене готов был провалиться сквозь потрескивающие половицы, только бы не слышать этого молчания.

И когда всем становилось невмоготу, Ковалев медленно поворачивался к Алеше и спрашивал его, улыбаясь кончиками губ:

— Ну, а вы как думаете, Гайдаш?

«Я бы убил его. Это враг»,— снова сказал себе Алеша, и ему представилось: ночь, шорох на тропинке, идет Ковалев, поскрипывая сапогами, постукивая плеткой о голенища. Это одно мгновение — прицелиться и... Он зажмурился. Потом открыл глаза. Блеснула под фонарем колючая проволока. Внизу тихонько завыла собака.

— Кто идет? — раздался окрик внизу. Потом тишина. Щелканье затвора. Опять тишина. Собака стих-

ла. Что померещилось Покровскому? Прислушался: в горах было тихо. Ветер улегся. Тишина...

«Какое я имею право убивать или не убивать? Это дело трибунала. Лучше не думать об этом...» Что сейчас делают ребята, Павлик, Рябинин, Мотя? Спят, поди. Спят. Тихо, покойно. А Любаша? Вышла ли она замуж? Пусть выходит. Пусть, пусть. Пусть будет счастлива. Пусть все будут счастливы: и Павлик, и Рябинин, и Мотя. Спите спокойно, ребята. Спите, ничего. Я похожу за вас. Спите спокойно.

Он был бы, очевидно, отличным бойцом на фронте. Вот почему он любил караулы в горах, ночью. Он мечтал о том, чтоб из тьмы вдруг бросились на него враги, чем больше, тем лучше. Он никого не будил бы, он один бы стоял здесь на тропинке, стерег пороховой погреб, полк, сон товарищей. Если бы пуля сразила его,— что ж, он хорошо бы умер. Лучше, чем жил. С тоской вспомнил о казарме: «Что делается сейчас в караульном помещении? Карнач, вероятно, читает,— у него привычка шевелить губами при чтении. Он недавно здесь в полку выучился читать. Читает запоем и все, что попадет под руку. Одна смена спит, другая бодрствует, пьет чай, может быть, тихо болтает у печки».

Украдкой взглянул на восток. Там что-то посерело. Или только показалось?!

Когда солнце взойдет, он может смениться. Ночной пост станет ненужным. Но он и не хотел уходить отсюда. Зачем? Пойти опять в казарму, завалиться спать? Здесь было ему хорошо одному, среди черных, мрачных гор. Он караулил покой полка. Он караулил солнце. Когда солнце взойдет — он может и смениться, может и остаться здесь. Он шагал по тропинке, выходил за поворот и долго смотрел в сторону Грельского перевала. Оттуда вероятнее всего можно было ждать неожиданности. Он хотел, чтоб она случилась.

Вдруг запели петухи, хриплые, страстные. Они запели где-то далеко в горах, и им сразу отозвались петухи в городе. Их крик словно разорвал тьму, сразу стало сереть. Алексей повернулся лицом к востоку. Там за Сахарной Головкой что-то готовилось. Оттуда дрожащие и робкие побежали тени. Они поползли по горам, по земле, неуверенные, тусклые, осторожные.

Но на это нельзя долго смотреть, надо ходить по тропинке; поворачиваться спиной к востоку, теперь тени дрожат за его спиной, бегут впереди него по дорожке. Снег становится матово-тусклым, смятым. Когда он снова оборачивается лицом к востоку, там уже разыгрывается утренняя кутерьма. Он идет на восток медленно, стараясь продлить путь и увидеть больше. Он замечает, что край неба чуть подгорел, как корочка хлеба. Он еще не румяный, нет, а именно чуть подгоревший, золотистый, вкусный. Но румянец все ярче и ярче брызжет оттуда, небо пылает, светлеют горы, и теперь уже ясно видны турецкие снежные хребты (снег розовый), и город внизу, и пороховой погреб, и Покровский, шагающий по тропинке.

Но уходить не хочется. Как жаль, что ничего не случилось. Снова терпкое разочарование. Алексей еще ходит по тропинке. Зачем? Он укараулил солнце, вот оно играет в небе, день будет чудесный, солнечный, молодой. Алексей может идти спать. Больше он никому не нужен.

Так проходит еще полчаса. Может быть, меньше, может быть, больше. Он не знает счета минутам. Покровский сменился — значит, уже больше шести часов. Полк ожил. Оттуда доносятся голоса и звук трубы.

Вдруг он слышит топот за спиной. Он быстро поворачивается. Кто-то скачет по тропинке. Всадника еще не видно, но явственно слышен цокот копыт, когда они попадают на камни. Он вскидывает винтовку и ждет. Топот приближается. Радостная дрожь проходит по спине. Он ждет, вскинув винтовку.

Вдруг из-за поворота показывается всадник.

— Стой! — кричит Алеша.— Стой!

Всадник осаживает коня. Теперь Алеше видно, что всадник в черном кожаном летном шлеме и в черкеске. На солнце блестят газыри, серебряная насечка седла. Конь нетерпеливо рвется вперед. Всадник осаживает его. Он безбородый и, вероятно, очень молодой.

Алексей не опускает винтовки. Радостно колотится сердце.

— Слезай! — хрипло командует он, губы пересохли.

В ответ раздается гортанный протестующий крик.

— Слезай! — повторяет он нетерпеливо и щелкает затвором.

— Вы с ума сошли! — кричит всадник. Странный голос. Это девушка? — Я сестра Вардания. Пропустите. Чкара! — нетерпеливо прибавляет она.

Алексей смущен. Но рассказы о хитрых шпионах и контрабандистах мгновенно проносятся в голове, и он снова упрямо повторяет:

— Слезай. Буду стрелять,— и прибавляет с угрюмой вежливостью: — Слезайте.

Девушка негодующе спрыгивает на землю. Она высокая, тонкая. Озаренная солнцем, она кажется красавицей в своей черкеске, мягких кавказских сапогах и летном шлеме.

— Ложитесь! — командует Гайдаш. Этого требует устав, он свято помнит его.

— Что? — Девушка готова заплакать от злости. Она яростно топает ногой, кричит.— Нет, нет! — и разражается бранью, в которой русские слова причудливо сплетаются с грузинскими.— Вы сумасшедший!

— Ложитесь,— сердито кричит в ответ Алеша,— или я буду стрелять! — Он снова вскидывает винтовку. Нет, он не шутит. Девушка или не девушка, ему нет дела. Он в карауле, в горах, у границы. Слава богу, он не сентиментальный Марко, русалка не очарует его. Еще одно движение, и он ухлопает ее, уж будьте покойны.

С проклятиями девушка ложится на тропинку у ног коня. Конь недоуменно опускает к ней умную морду. Девушка лежит, ее плечи вздрагивают. Гайдаш сигналом вызывает караульного начальника.

Проходят долгие минуты. Девушка молча лежит на тропинке. Алексей продолжает держать ее под прицелом. Но он смущен. Как бы вся эта романтическая история не сделала его посмешищем полка. Потом ему жалко девушку. Конечно, это очень унизительно — лежать на тропинке в снегу под прицелом. Она, вероятно, плачет... Почему не идет карнач? Но он выполнял свой долг.

Наконец, карнач прибегает. Он встревожен. Что случилось? Алексей тихо докладывает ему. Вдвоем они подходят к девушке. Она подымается перепачканная

снегом, ее лицо пылает, на Алешу она бросает молниеносный взгляд. Сколько ненависти в этом взгляде! Он опускает голову. Но глаза ее запоминаются на всю жизнь, глубокие, синие глаза, расширенные детским гневом.

В караульном помещении выясняется, что она действительно сестра начальника погранотряда Вардания. Тренируется к предстоящим на днях в гарнизоне скачкам. Хочет взять и, наверное, возьмет первый приз. Она уже смеется над утренним приключением, но на Алешу изредка бросает негодующие взгляды. Его она уж не простит никогда.

Ее отпускают, извиняясь, она легко вскакивает в седло. И вот уже несется по горной тропинке. Она снимает шлем, пышные волосы вспыхивают под солнцем и кажутся золотыми. Алеша долго смотрит ей вслед. Над ним легонько посмеиваются товарищи. К вечеру об этом говорит весь полк.

Но Алеша в это время уже спал мирным сном в казарме, и, странное дело, девушка в черкеске ни разу не приснилась ему.

Но изредка стал он теперь думать о ней. Может быть, даже чаще, чем хотел. При этом всегда вспоминался ее взгляд — детски-гневный, пылающий ненавистью и презрением,— так на Алешу не глядела еще ни одна девушка в мире. Он вспоминал покорную, робкую Любашу — может быть, за эту бабью покорность он и не любил ее. Любаша никогда не бросила бы такой гневный взгляд на него. А эта — сожгла взглядом. Как ее зовут? У нее, должно быть, чудесное имя. Как закусила она губу, чтоб не расплакаться. Любопытно посмотреть — умеет ли она плакать? Ее плечи вздрагивали, когда она лежала на тропинке,— но плакала ли она?

Он и хотел и не хотел увидеть ее снова. Впрочем, больше хотел. Иначе зачем же он пошел на скачки, где (он это лучше других знал) она обязательно будет.

Она была. Он увидел ее, когда она неслась, приподнявшись на стременах и размахивая шашкой, прямо на него,— и пригнулся. Ее буденовка развевалась на ветру, алый башлык за плечами трепетал, как крылья,

она вся казалась осиянной пламенем и солнцем. Искры брызгали из-под копыт ее коня, снежный прах, как дым, курился сзади.

Она была прекрасна! Бедный Алеша, она была прекрасна! Он убеждал себя, что если б увидел ее не на коне, а в клубе, или на улице в обыкновенном наряде девушки,— он и не заметил бы ее, прошел мимо.

Но на коне она была прекрасна — он смущенно признавал это. Все, что окружало ее сейчас, покорно служило ее девичьей красоте — и синие горы, и алый башлык за плечами, и снег на мохнатых соснах, и утреннее солнце, все это была лишь прекрасная рамка, в которой была одна она — на вороном скакуне, и больше ничего не было в мире. И Алексей, затерявшийся в толпе красноармейцев, завороженно следил за ней, забыв обо всем на свете. А она джигитовала, брала барьеры и рвы, рубила, гортанно гикнув, лозу на скаку, и не было ей никакого дела до Алеши, парня в серой, ворсистой шинели, в сапогах, пахнущих ворванью и дегтем, был ли он здесь, не был ли, какое ей дело! Она была вихрем, который пронесся по плацу и все срубил на своем пути,— бедный Алеша, он тоже упал, как лоза, сраженный ее блистательной шашкой, признавался он в этом или нет.

Он не подошел к победительнице состязаний, когда ее окружила восторженная толпа командиров и красноармейцев. Зачем он пойдет туда! Он следил за ней издали. Ее детское личико сияло счастьем. Синие глаза искрились смехом и радостью,— нельзя было поверить, что эти глаза могли метать такие гневные молнии.

А для Алеши жили только те глаза и та девушка, которую он встретил ранним декабрьским утром в горах. Это он ее укараулил, как солнце, она по праву принадлежит ему, как принадлежали ему в то утро и горы, и город внизу, и пороховой погреб. Ту девушку он любил, о той думал, эта же,— так убеждал он себя,— не интересует и не волнует его.

Но думал он и об этой,— он хотел увидеть ее еще раз, услышать ее голос, ее смех, узнать ее имя и ласково звать ее, наделяя сотней уменьшительных и ласкательных слов.

Теперь всякий раз, как случалось ему бывать в горах, у Грельского перевала, он долго смотрел на памятную тропинку: «Здесь внезапно возникла она, когда-то ранним утром, вместе с солнцем. Здесь она кричала ему гортанно и гневно, что он сумасшедший. Сумасшедший, ты права. Это ты свела меня с ума. Я брожу как потерянный. Ищу твои следы на тропинке».

Было бы проще, разумеется, искать ее там, где она была сейчас,— в клубе, в городе, на улицах. Но,— смешная история! — он никогда не делал попыток увидеть ее там. Ни с кем не говорил о ней. Даже не знал ее имени. Странные вещи происходили с ним. Он совсем перестал походить на былого Алешу. Тот уж нашел бы пути к ее сердцу. Ломая все на своем пути, как сушняк, он пошел бы напрямую. На гневный взгляд ответил бы презрительно, властным взглядом. Взял бы за руку и потащил за собой. И пошла бы! Девчонки любят парней-хозяев. Вот как бы поступил и как поступал былой Алеша. А нынешний Алеша стоял и искал пропавшие следы на тропинке.

Но былой Алеша и не любил никого. Случайные девушки проходили в его жизни, не задевая, не оставляя следов ни в памяти, ни в сердце,— а нынешний Алеша уже любил и даже начал признаваться себе, что любит.

Странные вещи происходили с ним. Его характер ломался, как голос у подростка. Он проходил через испытания и борьбу, и еще нельзя было ничего сказать, каким он станет.

Однажды Рунич, с которым они встречались теперь не часто, сказал ему, смеясь:

— А ведь ты, Алеша, чуть не пристрелил нашу Шушу.

— Кого? — удивился Гайдаш.

— Вот еще! Будто не знаешь! Она и по сей день о тебе вспоминает с дрожью. «Страшный, говорит, у вас красноармеец. Зверского вида. Бандит».

— Почему же Шуша? — пробормотал покрасневший Гайдаш.

— Так зовут... Шушаника. По-русски — Сусанна. А мы все зовем ее либо Шушей, либо Никой. Прелестная девушка, браток. Как поет! Как играет! Да ты ее



«ТОРГОВЕЦ ЛОБАС»



«МЫ И РАДИСТ ВОВНИЧ»

увидишь скоро, она играет у нас в спектакле. Я помирю тебя с ней.

— Нет, нет, не надо...

«Значит, ее зовут Шушаникой. Я бы звал ее просто Шу,— подумал Алеша.— Просто Шу. Чудесное имя».

Почему показалось ему красивым длинное имя — Шушаника? Может быть, просто потому, что оно принадлежало ей?

Но теперь его любовь получила имя. Его любовь звали Шу. И она была прекрасна.

Когда-то Алексей перелистал «Галерею мировых красавиц» — старинное издание, случайно попавшееся ему под руки где-то в провинциальной частной гостинице. Он небрежно и цинично разглядывал портреты и пожимал плечами. Не многих из этих мировых красавиц он признал бы даже хорошенькими. Глаза навыкате, длинные носы, какая-то мертвенная бледность лиц, субтильность, тоненькие талии,— да ведь это мумии, мумии египетские. Немало похохотал он с ребятами над этими пожелтевшими страницами. Очевидно, каждая эпоха имела свои критерии красоты. Неужели наши потомки будут смеяться над красотой наших девушек?

А мы любили их и гордились ими. Мы ценили в них молодость, силу, ясность и глубину синих глаз, упругость талии, смелую вздернутость носа и откровенный честный румянец на чистых щеках. Наши девушки были спортсменками, раньше красноармейцами, сестрами, солдатами чоновских отрядов. Наши девчата весело и, может быть, слишком громко смеялись, редко плакали, умели стрелять, бегать по лугам, мчаться верхом, упрямо давали обидчикам сдачу и не боялись ни смерти, ни пули, ни крепкого слова.

Они умели носить и модные бальные платья, но в белых спортивных свитерах, в голубых майках они были нам дороже и любили нас.

Но они были женственны, и Алеша знал это, хотя никогда не умел ценить ни ласковых нежных рук, ни смущенных признаний, ни тихих целомудренных ласк.

Была ли Шу такой? Он не знал, он совсем не знал ее. Какая она? Странно, что он влюбился впервые

в жизни — в девушку, которую только раз и видел, да и то чуть не пристрелил при первой встрече. Но любил ли он ее? Может быть, тут сыграли с ним шутку горы да рассвет?

Он начал себя убеждать в этом, и, когда ему почти удалось убедить себя, что он ее и не любит вовсе, захотелось увидеть ее. «Чтобы проверить!» — поспешно сказал он себе. «Чтобы увидеть!» — сказал честный голос в нем.

Вечером он увидел ее в клубе. Ее окружала шумная толпа молодых командиров и красноармейцев, среди них Алексей заметил Рунича и Конопатина.

Разумеется, он не подошел к ним. Он стоял в стороне, прислонившись к косяку двери, и смотрел на них, а видел только ее одну. Она была в вязаном костюмчике цвета полевых васильков и казалась хрупким, худощавым подростком среди обступивших ее широкоплечих военных парней. Странно, что ему показались когда-то золотыми ее волосы,— они были темные, как спелый каштан, или даже еще темнее, как ветви черешни осенью. «Они — коричневые,— подумал Алеша,— но так не говорят о волосах девушки. Как же сказать?»

Так он стоял и исподлобья любовался ею, украдкой, чтоб никто не заметил. Он вытащил газету и этой неловкой хитростью старался прикрыться. «Посмотрю, посмотрю — и уйду»,— говорил он себе, и не уходил.

Конопатин заметил его:

— Ба, да вот и сам убийца! А ну-ка, сюда, сюда, на расправу! — Он вытащил Алешу в кружок и представил Шушанике: — Ваш почти убийца, Алеша Гайдаш, рекомендую. Не кусается.

Она неохотно протянула ему руку. По ее губам скользнула брезгливая улыбка, а в глазах опять заиграли искорки гнева. Он пожал плечами.

— Мне говорили, что вы считаете меня бандитом. Но я только исполнял долг службы.

— Вы могли это делать... умнее,— возразила она, подымая брови. Все засмеялись. Он разозлился.

— Девчонкам нечего путаться в горах у порохового погреба,— пробурчал он.

Удивительно искусно начинал он свое ухаживание. Каким дураком и грубияном должен был показаться он ей сейчас. Он заметил удивленный взгляд Конопатина. Что за черт! они тут все влюблены в нее, избаловали девчонку, и она впрямь почувствовала себя бог весть чем, царицей мира, феей пограничного гарнизона.

Она парировала:

— Да я бы поостерегалась ездить по горам, если б знала, что встречу такого... бдительного часового.— В ее произношении звучал чуть заметный грузинский акцент. Это показалось ему чудесным, эти гортанные звуки, эти милые интонации, но он не сдавался.

— Теперь вы можете быть спокойны. У вас столько бесстрашных рыцарей,— он обвел их всех насмешливым взглядом,— что я не рискну больше приказывать вам спешиваться и ложиться в снег.

Он напоминал ей умышленно самые неприятные минуты утреннего происшествия. Она вздрогнула от гнева, ее лицо побледнело. Ну вот они стали врагами. Этого он добивался?

Через день весь полк повторял его словцо: «Фея пограничного гарнизона», а ее поклонников насмешливо звали «рыцарями маленькой Шу». Эти слова дошли и до нее. Алексей встретился как-то с нею на улице, она скользнула по нему небрежным взглядом и, фыркнув, отвернулась. С нею был Никита Ковалев. Вдвоем они прошли в город. Он посмотрел им вслед.

Вот они были вместе, оба — человек, которого он больше всех в мире ненавидел, и девушка, которую он в первый раз в жизни полюбил.

Среди «рыцарей маленькой Шу» был и рыжеватый политрук Иван Конопатин. Но, единственный из рыцарей, он не обиделся на Алешино словцо.

— Ты не знаешь этой девушки, Алеша,— сказал он ему как-то.— Удивительно светлый она человек. Умный, талантливый, передовой. Знаешь, это растет поколение, которое будет еще лучше нашего.

— А ты напиши стихи о ней,— насмешливо посоветовал Алеша.— У тебя получится.

— Я написал бы,— серьезно ответил Конопатин,— но не умею. А тебе, Алексей, братски советую подру-

житься с Шушаникой. Знаешь,— задумчиво добавил он,— когда смотришь на этих детей, воспитанных революцией, лучше видишь свои недостатки.

Он говорил это задумчиво и сердечно, но подозрительный Алеша и здесь увидел лишь педагогический прием. «Хотят меня на этот раз лечить Шушей. Благородно, хитро, но... глупо».

Но он ошибался. К нему собирались применить действительные меры. Скоро Шушаника отодвинулась на задний план. В роте закипели горячие дни. Их дыхание начало беспокоить и Алешу.

Теперь, когда рота строилась — на обед ли, в поход или в клуб, старшина подавал команду так:

— В порядке стрелкового первенства рота стройся!

В голову роты торжествующе проходили бойцы второго взвода, взвода Угарного. Мимо Алеши проходили Рунич, Ляшенко, Сташевский, Горленко, Гущин, и даже Дымшиц торопливо пробирался вперед, браво подхватив винтовку или кружку с ложкой. За взводом Угарного становился третий взвод Кобахидзе. А в самый хвост подстраивался первый взвод, в котором и служил Алеша.

Второй взвод прочно держал стрелковое первенство роты. На редкость дружные ребята подобрались там. Они высоко держали головы. Они гордились своим взводом, своими ребятами, своим молодым командиром. Они всегда были вместе — и в клубе, и в городе, и на плацу.

Каждую пятидневку на зачетных стрельбах оспаривалось стрелковое первенство роты. Этому предшествовал вечер волнения и лихорадочной подготовки. Во всей роте, может быть, только один Алеша оставался равнодушным. Или притворялся им.

Вокруг него беспокойно бегали стрелки. Снова и снова подгоняли ремни, читали стрелковый устав, наставления к стрельбам; прямо у коек заключались соцдоговоры между отдельными бойцами; стрелки брали на себя обязательства, командиры проверяли оружие; Угарный возился у винтовок и, задержавшись, оставался ночевать в роте. Перед сном он еще раз шептался с отделенными командирами.

— Я на своих надеюсь,— сдержанно докладывал Гущин.

Снова пересматривали список бойцов. На некоторых задерживались.

— Этих потренировать бы еще,— говорил задумчиво Угарный.

— Перед смертью не надышишься, товарищ командир взвода,— смущенно улыбался отделком.

Во взводе Угарного царило боевое оживление. Весело переругивались с соседями — с третьим взводом.

— А мы побьем тебя, Угарный. Как хочешь, кацо,— весело говорил в ротной канцелярии Кобахидзе, командир третьего взвода.

— Посмотрим, посмотрим,— задорно отшучивался Угарный.

И в первом взводе хорохорились стрелки. Им надоело плестись в хвосте роты. Они мучительно волочили свой позор.

— И в столовку бы не ходил, в хвосте-то...— жаловался уныло Каренин, командир отделения.— Весь полк смотрит.

— Ну как, товарищи,— озабоченно спрашивал Шаталов, командир взвода,— выползем завтра из хвоста, а?

— Должны бы! — нерешительно отвечали бойцы.— Да вот как некоторые...

И бросали искоса взгляды на Алешу, он пожимал плечами.

Но это начинало беспокоить его. Все время чувствовал он на себе укоризненные взгляды товарищей: «Эх, подводишь ты нас!» Они не говорили еще ему это, но скоро скажут. Со всех сторон сыпались вызовы на соцсоревнование. Весь взвод, словно сговорившись, вызывал его. Он принимал вызовы, но стрелял по-прежнему плохо. В свободное от занятий время ребята ходили на стрельбище тренироваться в стрельбе,— он не ходил. Но стрелять стал внимательно. Ему хотелось поразить полк необычайным рекордом,— рекорд не удавался, он мрачнел, и тогда все: стрельбище, винтовка, армия и сам он — становилось ему ненавистным.

Первым на стрельбище уходил второй взвод, через два часа выступал третий взвод. Когда на стрельбище,

наконец, шагал первый взвод — второй взвод, отстрелявшись, возвращался в казармы. Бойцы взвода Угарного шли, высоко подняв головы, молодцевато отбивали шаг и задорно пели:

Нас побить, побить хотели,
Побить собиралися...

Рунич лихо подмигивал при этом.

По неизвестно кем придуманной традиции,— чуть ли не тот же Рунич был ее автором,— взвод всегда пел эту песню в случае удачной стрельбы. Если же стреляли плохо (во втором взводе это случалось редко), Рунич говорил мрачно:

— Ну пошли «со слезами»,— и жалобно затягивал:

Слезами залит мир безбрежный...

Но «со слезами» чаще всего приходилось идти первому взводу. И снова Гайдаш чувствовал на себе укоризненные взгляды товарищей, словно он один был виноват в том, что взвод плохо стрелял.

Один раз взвод понатужился и почти догнал третий взвод (до второго было далеко). Всего трех процентов не хватило, чтобы стать рядом с третьим взводом. Три ничтожных процента — но эти три процента и составлял как раз Алексей Гайдаш. Если бы он стрельбу выполнил — взвод догнал бы Кобахидзе, а если б выполнили еще трое стрелков, то догнали б и Угарного. Так узнал Алеша, что во взводе он значит — три процента. Целых три процента!

Но был и другой счет. Его вел политрук Конопатин. В первом взводе было три коммуниста, в том числе и Гайдаш Алексей, член партии с 1926 года. Когда он один не выполнял зачетного упражнения по стрельбе, это означало, что тридцать три процента большевиков взвода стреляло плохо. Конопатин хмурился. В ротной партячейке Алексей значил уже только десять процентов. Вел свой счет и Горленко, комсорг. У него Гайдаш значил семь процентов. Одним процентом он был уже как стрелок роты и десятой процента как боец полка. Но и эта десятая учитывалась и падала на весы, создавая либо славу, либо позор полка. Ему вспоминался популярный в полку рассказ о поваре. Был года три тому на-

зад здесь повар, его имя заботливо сохранило полковое предание — звали его Матвеем Блохиным. И поваром он был отличным, краснолицым, полнотелым и знающим свое дело. Он колдовал у себя на кухне над котлами, командовал кастрюлями и в хозроте считался личностью священной и неприкосновенной. Строевой муштрою его не утруждали.

Но однажды, на инспекторской стрельбе, инспектирующий потребовал, чтоб стрелял и повар. Весь полк отстрелял на «отлично» — и коноводы, и музыканты, и даже писаря. Теперь должен был стрелять повар,— инспектирующий вспомнил и о нем. И вот привели на стрельбище Матвея Блохина. Он даже колпака снять не успел — тут же на стрельбище ему кто-то сунул фуражку.

Весь полк следил за тем, как стрелял повар. В его руках была судьба полка. От результатов его стрельбы зависело, будут ли желанные сто процентов или какая-нибудь микроскопическая десятая испортит все дело. Он стрелял, поджав живот и покраснев от волнения. Он выполнил стрельбу, и командир полка, не выдержав, расцеловал его при всех и отдал ему свои часы.

Так и Алеша, лежа теперь на огневом рубеже и нажимая озябшим пальцем на спусковой крючок, чувствовал на себе невидимые взоры многих людей полка. Вот он нажмет сейчас спуск, и от того, куда полетит пуля, определится стрелковый успех полка, как определяется во время войны боевой успех часто от того, как будут стрелять и драться ее бойцы. Он начинал ощущать себя частью большого и слаженного механизма. Понятно, что всех раздражало, когда эта часть скрипела. Вокруг него гремели выстрелы,— стреляли его товарищи по отделению, по взводу, по полку. Может быть, удастся сегодня догнать третий взвод? Или даже второй? Второй, в котором Рунич, Сташевский, Ляшенко, Гущин и смешной, бравый Дымшиц, который, говорят, стал чуть ли не отличным стрелком.

В чем же секрет этого чудодейственного полета пуль? Неужели в самом деле только в том, как положишь руки, как подгонишь ремень, как нажмешь на спуск? То есть в сотне мелочей — в конечном счете — в добросовестной тренировке? Но какая тренировка!

И он по-прежнему стрелял «по настроению», иногда хорошо, а чаще скверно.

Он стал постоянным «стрелком оврага»,— так называли тех, которые, не выполнив зачетного упражнения, ходили перестреливать на малое стрельбище в овраг. Вместе с ним долгое время ходил Сингатуллин из третьего взвода.

Сингатуллин застрял на второй задаче, Алеша— на третьей. Оба они перестреливали по многу раз. Вдвоем, после неудачной стрельбы, карабкались по отвесному скату оврага, волоча за собой винтовки. Сингатуллин вздыхал. Алеша понуро хмурился. Оба они были коммунистами. Сингатуллина недавно перевели из кандидатов в члены партии. Уже пришел новый партийный билет на его имя. Но он не брал его.

— Как я возьму, скажи пожалуйста? — объяснял он Алеше.— Разве могу я взять партбилет, если так плохо стреляю? Стрельбу выполню,— тогда возьму.

— А если не выполнишь?

— Как не выполню? Умру, а выполню. Мушка хитрая, а я хитрей. Я, понимаешь, товарищ, долго мушку понять не мог.

Однажды в овраге Сингатуллина не оказалось. Он победил мушку, ликвидировал свои хвосты и пошел за партбилетом.

В ротной ячейке уже всерьез стали поговаривать о Гайдаше.

— Какой он коммунист,— горячо доказывал на собрании командир отделения Карякин.— Я, товарищи, недавно в партии, еще даже кандидат, но коммунистов настоящих видел. Я видал в наших колхозах коммунистов — они впереди шли и всю массу за собой вели. Это — коммунисты! Был тракторист у нас партиец, Гречаников ему фамилия,— так он лучшим трактористом был. Вот это коммунист! Я как в партию шел, так даже боялся: смогу ли стать парнем как следует? А Гайдаш плюет на все. Вот я говорю о нем, а он даже ухом не ведет, словно не его касается.

А на комсомольском собрании на Гайдаша напал Горленко.

— Пора всерьез нам потолковать о тебе, товарищ Гайдаш,— говорил он краснея.— Мы долго нянчились

с тобой, оберегали. Мы слыхали, что ты старый и видный комсомольский работник...

— Я был комсомольцем, когда ты еще этого слова не слыхал,— перебил Гайдаш.— А ты лезешь меня учить!

— Тем более,— пожал плечами Горленко,— раз ты такой старый комсомолец, ты бы и должен был помочь нам. А как? Ты хоть единый раз пришел ко мне и сказал: «Знаешь, Горленко, ты парень молодой, надо бы вот как сделать! Приходи ко мне». Ну? Молчишь. А ведь мы с тобой еще в теплушке сдружились, большую я на тебя, как на человека, надежду имел. Вот, думал я, у этого парня буду большевистскому уму-разуму учиться. Я на тебя, если хочешь знать, как на... Э, да что говорить!

— Барином себя держишь в роте, Гайдаш,— подхватил Гущин.— Всем брезгуешь. Я прямо скажу, наши ребята и заговорить с тобой боятся. Лучше, говорят, и не связываться.

Все это молча слушал Гайдаш. Он не выступал, не оправдывался. Он продолжал притворяться равнодушным, презрительно пожимая плечами, но все это глубоко задевало и ранило его. Он упрямился еще, честнее было прийти и сказать прямо: «Я кругом виноват, товарищи. Точка на этом. Завтра я стану другим». Была минута — да, минута, не больше, когда он чуть не закричал и даже разозлился на себя за минутный порыв. «Это было бы унизительно склонить голову! Перед кем? Перед Горленко?» — «Перед ячейкой». Нет, он не сделает этого. Это унизительно. Почему унизительно? Прийти в свою организацию и сказать ей, что права она, а ты неправ. Что же выше организации? Разве не этой мужественной дисциплине учился он всю жизнь в комсомоле? Ты плохо учился, Алексей Гайдаш. «Ты ничего не понял и ничему не научился»,— вспомнил он слова секретаря Цекамола.

— Ну и пускай! — упрямо мотнул головой.

— Неумный способ решать споры, Гайдаш! — он пожал плечами.

О нем говорили теперь на каждом ротном собрании, на собраниях во взводе и отделении, в партийной и комсомольской ячейке, в стенгазете. Иван Конопатин суро-

во порицал его в своих речах. Командир роты, добрейший Зубакин, разводил руками: «Первый раз вижу такого бойца».

В стенгазете, которую редактировал Стрепетов, имя Гайдаша стало чуть ли не нарицательным.

То рассказывалось о том, как неусыпный страж роты Гайдаш задремал в наряде и у него злоумышленники стащили штык. То помещался точный снимок койки Гайдаша, вызвавший общий смех. То выступала с жалобой на владельца грязная заржавевшая саперная лопатка. Пошла гулять по роте частушка, имя Гайдаш рифмовалось в ней со словом «ералаш».

Он отвечал на все хмурым презрением. Он прятался от всех в своем углу. Но его жизнь была на виду, все его поступки и промахи. В ленинском уголке ежедневно вывешивались итоги занятий. Можно было легко увидеть, как стрелял сегодня Гайдаш, как метал он гранату, как пробежал тысячу метров, в каком состоянии его оружие, какую отметку получил он на тактических занятиях, какую — в спортивном городке. На доске итогов соцсоревнования опять сообщалось о нем — он восседал на черепахе. В сводной таблице «хода боевой подготовки повзводно» снова можно было среди других бойцов разыскать и Гайдаша. Его легко было найти по большому количеству желтых пятен. Желтые наклейки означали слабо, синие — удовлетворительно, красные — хорошо и отлично. У него было две красных наклейки — политграмота и сбережение оружия. Много синих (он тянулся кое-как, по ряду дисциплин был, что называется, серым, средним бойцом) и много желтых: стрельба, физподготовка, строевая подготовка, стрелковая подготовка — все важнейшие дисциплины. Он избегал, бывая в ленинском уголке, глядеть на эти печальные желтые пятна. Все же он не мог не заметить, как пылали ровным красным цветом линии отметок против имен Ляшенко, Сташевского и Рунича. Это были «первачи» роты, о них говорили с почтением.

Стрепетов, которого в армии внезапно охватил литературный зуд, стал выпускать ежедневный бюллетень. Он назывался просто: «Так надо» — и «Так не надо». Выходил он после мертвого часа — Стрепетов добровольно отказался от сна, и ребята, вскочив по звонку

с коек, прежде чем умываться, бежали в ленинский уголок и толпились у свежего бюллетеня. Здесь бесстрастно отмечались итоги дня. Налево под заголовком «Так надо» — отличившиеся бойцы, направо — «Так не надо» — бойцы проштрафившиеся. Это были честные, бесстрастные весы, они полюбились в роте, их суду беспрекословно верили. Сам редактор изредка попадал и на левую и на правую чашку весов.

И часто, очень часто, на правой чашке качался Алексей Гайдаш.

Он был распахнут настежь перед всей ротой. Он мог прятаться и забиваться в угол,— в ленуголке вместо него висело точное его зеркало, он выглядел в нем непривлекательно. Он ожесточился, былого покоя и оцепенения не было, глухая, затаенная вражда клокотала в нем, он находился в состоянии ножевой войны со всей ротой и изнемогал в ней. Ему казалось, что над ним совершают чудовищную несправедливость, что его травят, незаслуженно, зло и настойчиво.

Все тревожней и тревожней поглядывал на него политрук.

— Ты что о себе думаешь, Гайдаш? — спрашивал он участливо.— Куда ты катишься?

— Ничего я не думаю,— огрызался тот,— оставьте меня в покое.

— Ты не хорохорься. Ты слушай. Ведь погибаешь.

— Это моя забота.

— Врешь, наша.

— Разрешите идти, товарищ политрук? — круто повернулся на каблуках, вышел.

Однажды, неожиданно для самого себя, он целый день был героем роты. Беспристрастный Стрепетов отметил его десятью строками в «Так надо».

Этому предшествовала печальная история. На тактическом выходе подали команду:

— Газы-ы!

Алексей поспешно вытащил маску и одел ее. У него был учебный противогаз Куманта и Зелинского, узкая зеленая коробка с угольным фильтром. На первой же минуте Гайдаш почувствовал, что угольная пыль лезет ему в рот. Густая липкая слюна скопилась на губах, ее

необходимо было выплюнуть. Он стал задыхаться. Он глотал пыль, фыркал, сопел, очки запотели, он ничего не видел, но продолжал бежать, не отставая от взвода. Когда через пять минут скомандовали снять противогазы, он облегченно вздохнул. Долго отплевывался и сморкался.

Около него со смехом собрались бойцы. Он ничего не понимал.

— Вы что это негром стали? — удивился, увидев его, Шаталов.

Гайдаш растерянно провел рукой по лицу — рука стала черной.

— Вы, вероятно, не продули противогаз,— догадался командир взвода,— надо было предварительно продуть. Ведь я объяснял же.

Но Гайдаш, как всегда, прослушал объяснение,— теперь он поплатился за свою невнимательность. В очередном номере газеты появился портрет негра, в нем легко узнали Гайдаша.

Через несколько дней после этого события было химическое учение. У Гайдаша снова был зеленый противогаз, но он тщательно продул его. Удивительно легко оказалось дышать в нем, он даже обрадовался и весело зашагал в строю. Взвод шел по огромному плацу, храпя и сопя на разные лады. На десятой минуте дышать стало тяжелей. Снова запахло углем. Губы пересохли. Очки запотели. Гайдаш протер их и взглянул на товарищей. Один из них судорожным движением сорвал маску и вышел из строя. Он стоял, высоко подняв голову, и глотал свежий воздух жадно, огромными глотками. Взвод продолжал двигаться по плацу, делая огромный круг.

— Не могу! — прохрипел кто-то впереди Алеши. Это Покровский сорвал с себя маску и смущенно посторонился, давая дорогу Гайдашу. Алексей невольно улыбнулся. А он вот идет. Идет и ничего. (Проглотил слюну. В ушах начало шуметь.) Он может идти сколько угодно. Вот увидела бы его Шу! Чудак, очень он привлекателен сейчас в маске — морское чудище. Все равно,— пусть увидала бы. В ушах шумело. Он крепился. Теперь дышал прерывисто, судорожно всхлипывая, но продолжал идти. «Не сброшу, не сброшу маски. А вот не сбро-

шу!» — упрямо твердил он про себя. Половина взвода была в противогазах БН. Этим было легко. Они весело шли по кругу, не испытывая никаких неудобств. Они могли бы идти так и день и еще день. Но те, у кого были учебные противогазы, задыхались.

Скоро один Алеша остался в маске Куманта и Зелинского. Был момент, когда он тоже хотел сорвать ее. «Ведь задохнусь. Задохнусь,— убеждал он себя,— упаду.— Но не сбрасывал маски.— Ну и упаду, ну и черт со мной, а не сброшу. Еще немного. Еще минуту.— Он шел, тяжело дыша, и думал только об этом.— Еще минуту, еще...»

В это время прогремела труба. Урок кончился. Алексей нашел в себе силы дойти до казармы и только там сорвал с себя маску. Его лицо было бледно и потно. Он улыбнулся. Шаталов с удивлением посмотрел на него.

— А вы молодец, Гайдаш,— и, вытянувшись, приложив руку к козырьку, сказал по форме: — объявляю вам от лица службы благодарность.

— Служу трудовому народу,— пробормотал Алексей. Он отвык от похвал. Покраснел, смутился и скорей отошел в сторону. В этот день он был героем роты.

На другой день всей роте выдали противогазы БН. В них можно было даже спать. С зеленой коробкой, принесшей ему славу, Гайдаш расстался с некоторой грустью.

В мертвый час тихонько пробрался он в ленуголок. Долго стоял он и смотрел на таблицы, развешанные по стенам. Снова и снова прочел, что написали о нем в бюллетене. Улыбнулся. Потом прочел стенгазету. Опять посмотрел на таблицу. Как много у него синих пятен — рябит в глазах. Я мог бы сделать их все красными. Он мог бы стать первачом роты. Мог бы? Не поздно ли еще? Он долго стоял в ленуголке и думал.

Но на следующий день произошло незначительное событие, перевернувшее все.

Еще с утра стало известно: нынче состоятся лыжные соревнования между взводами. Дистанция — три километра. Те самые три километра Ургвельского шоссе, по которым бежал когда-то Алеша.

Он отнесся к этому сообщению равнодушно. Оно не задело его. Он всегда не любил того, чего не умел делать. Если б сейчас объявили соревнование на марш в противогазах, вот тут он закипел бы. С противогазом у него «вышло», с лыжами нет, это был достаточный повод, чтобы возненавидеть их.

Он насмешливо наблюдал, как добросовестно потели его товарищи «южно-степняки». Они усердно падали при этом с досадой: «Э-эх!» Потом смущенно подымались, быстро оглядывались по сторонам (кто был свидетелем их позора?) — и снова упрямо продолжали ковылять на непослушных и разъезжающихся деревяшках. Все горы были покрыты фигурами косолапых лыжников, неумело работающих палками. Алеши не было среди них. Зачем? Достаточно того, что он падал на занятиях, отведенных расписанием.

Посмеиваясь, он вышел на плац. С лыжами на плечах и с винтовками (штыки примкнуты) за плечами строились повзводно бойцы. Ну что ж, он человек не гордый, первый приз он охотно уступает Левашову. «Он не претендует на него, оцените же его благородство.— Он помнил, как сорвал Левашов на десятой минуте газовую маску с лица.— Каждому — свое».

Гайдаш подошел к командиру взвода.

— Товарищ командир взвода! Я прошу меня от соревнования освободить.

— То есть как освободить? — удивился Шаталов.

— Я не умею ходить на лыжах и на приз не рассчитываю.

Шаталов нахмурился.

— И я не рассчитываю, что вы возьмете первый приз. Но призов и не будет. Мне ваш командир отделения докладывал, что вы вовсе не ходите на лыжах во внештабные часы. Это верно?

Гайдаш пожал плечами.

— Вы подведете весь взвод, Гайдаш. Приказано вывести взвод целиком, до последнего человека. Боюсь, вы будете сегодня главной фигурой соревнования.

— Я?!

— Дана тактическая задача: взводу лыжников переброситься в пункт N в кратчайший срок. Время взвода засекается по бойцу, который придет последним. В ар-

мии действуют соединения, и, как видите, один человек может испортить дело всему взводу. Старайтесь, товарищ Гайдаш, изо всех сил старайтесь. Первенство — в ваших руках и ногах.

Такого поворота событий не ждал Алеша, он растерялся. Уже поздно было сказаться больным. Он смущенно поплелся в строй. К нему подошел Левашов:

— Мы будем бежать рядом. Я помогу вам.

Гайдаш покраснел. Он видел — все глаза устремлены на него. Он притих.

Первыми побежали на лыжах бойцы второго взвода, затем третьего. Через час дошла очередь и до первого взвода. К этому времени уже было известно: в третьем взводе последним пришел Моргунов с неплохим временем — 21 минута, во втором — Дымшиц — бравый солдат Швейк — 28 минут 35 секунд. Теперь очередь была за первым взводом. Никто не сомневался. Здесь последним будет Гайдаш. Не сомневался в этом и сам Алеша.

— Постарайтесь, чтобы ваше время было не хуже времени Дымшица,— сказал ему командир взвода. Алексей вздрогнул: итак, он должен соревноваться со Швейком. У него не было уверенности, что он его победит.

Дымшиц не был, как Алеша, «рожден для дел великих»,— снисходительное высокомерие Гайдаша по отношению к скромному приказчику мануфактурного магазина проистекало отсюда. Оно началось еще в теплушке и вот кончалось на трех километрах снежного Урагвельского шоссе. Что будет в самом деле, если окажется, что Дымшиц показал лучшее время, чем Алеша? Дымшиц, бравый солдат Швейк?!

Отец Юрия Дымшица был чахоточный приказчик, состарившийся у чужого прилавка.

Умирая, он позвал к себе сына. «Юрочка,— шептал он,— ты должен извинить меня. Я не оставляю тебе ничего, кроме горя и нужды. Но я кое-чему учил тебя, ты бегал в школу, ты читал книжки, а мой отец-бедняга и этого не сделал для меня. Я не поручаю тебя богу, он никогда ничего не делал для нашего семейства. Он был занят, конечно: есть Бродские на свете, есть Ротшильды. Они к богу ближе. Мне некому поручить тебя. Но ты живешь в лучшее время, чем жил твой бедный отец, ты можешь не скрывать, что еврей, и можешь сде-

латься, чем хочешь. Может быть, ты даже станешь бухгалтером. А? Юрий Дымшиц бухгалтер — это звучит почти, как правда! Не забывай мать. Она родила тебя. И она немало слез над тобой пролила. Пусть она больше не плачет».

Юрий служил в магазине, как и его отец. Вечером он ходил на торгово-промышленные курсы. Он говорил матери «вы» и брал сестренок с собою в кино, угощал их ирисками и сельтерской водой с сиропом за десять копеек. Он мечтал: вырастут, и он выдаст их замуж за хороших людей.

Он всегда был в хорошем расположении духа, и покупатели любили советоваться с ним. «Дочке к свадьбе хочу набрать,— доверительно выкладывала ему старушка,— знатная дочка, трактористка, такая ласковая». «Тогда могу посоветовать шелк-поплин,— улыбаясь, советовал он,— мягкий, прочный, красивый, рубчиками, будете довольны, и желаю вашей дочке хорошего мужа и кучу детей».

Его товарищей смущала служба в магазине, девушкам они неопределенно сообщали, что работают «по линии кооперации». Юрий Дымшиц не понимал, почему следует стыдиться звания продавца. Он испытывал даже профессиональную гордость: он был мануфактурист, как и отец, он умел на ощупь, вслепую угадать качество и характер материала. Он-то не спутает чистую шерсть с имитацией! Когда его сделали помощником заведующего магазином, а потом заведующим, он стал работать вдвое. Он шумел на складах, выклянчивал на базах партии товаров, суетился, ел и спал на ходу.

— У меня в магазине нет очередей! — хвастался он.— У меня в магазине вежливость — есть свойство воздуха. У меня в магазине...

Он жил своим магазином, тут была его душа, его сердце, его чувства.

— Что ты имеешь от этого, что торчишь там целые дни и приходишь домой, как выжатый лимон,— говорила ему старуха мать.— Посмотри на себя, чем ты стал. Пусть он сгорит, магазин. Что он, твой? Ты его хозяин?

— Как пусть сгорит? — Он пугался. Он уж готов был бежать: не горит ли? — Что вы говорите, мама?

Мне поручили магазин, мне сам председатель городского совета товарищ Петренко Яков Павлович по телефону звонит: «Алло, Дымшиц, как успехи?», мне доверяют, со мной считаются... как это не мой магазин? А чей? Пушкина?

Но мать не понимала этого и качала головой. Тогда он язвительно спрашивал:

— А вы хотите, чтоб меня пропечатали в газетке? Да?

— Газетка? — Это мать тоже не понимает. Хотя, может быть, газетка и хорошо. На стене в рамочке висит статья из газетки, посвященная Юрочке, и в середине строк его портрет в новом галстуке.

В газетке писали, что Дымшиц аккуратен и честен. Честен! Это так. Это скажет о нем всякий. Он был шесть лет членом месткома и все шесть лет казначеем. Ему можно доверить кассу. Доклад на международную тему ему, может быть, нельзя поручить, но кассу — можно. Он был честен и даже не гордился этим.

Тем не менее у него был дух приобретательства. Он любил покупать для магазина мебель, сам заботливо выбирал зеркала и диваны. Он откладывал деньги на книжку — честно заработанные деньги. Получив премию, он покупал подарки сестрам. «А ну, угадайте,— лукаво говорил он,— что я принес вам?» — «Туфли, берет, шляпку»,— догадывались сестры. «Не угадали. Я купил вам подсолнухов»,— и он действительно вытаскивал огромный подсолнух. Они делали вид, что разочарованы, даже притворно плакали и сквозь слезы лукаво поглядывали на него. Они знали — это шутка. Хорошо, он хочет пошутить, надо доставить ему удовольствие. И он был счастлив, когда мог, утерев их милые слезы, сказать им: «Я пошутил, франтихи. Вот вам туфли, вот шляпка, вот джемпер, почти импортный».

Он долго думал прежде, чем жениться. Яркие галстуки и клетчатые носки, над которыми смеялись знакомые девушки, выдавали его тайные матримониальные [1] мысли, но он медлил. Он колебался. Он считал и советовался. Он хотел жениться прочно и навсегда. Ему приглянулась девушка — кассирша из соседнего магази-

---

[1] Матримониальные — относящиеся к женитьбе.

на. Он сказал ей, смущаясь: «Выбейте мне чек на счастье». У них родился сын. Они решили, что сын уж будет великим человеком! Откуда же и берутся великие люди? Они рождаются от маленьких людей. Сына назвали Владленом в честь великого из великих, бабушка звала внука Леничкой.

Было ли честолюбие у Юрия Дымшица? О да. Найдите мне человека в нашей стране, который бы не мечтал. Мечтал и Дымшиц. Он видел себя директором большого универмага. Он мечтал получить премию на конкурсе магазинов. Он мечтал даже,— это пришло потом, уже после армии, когда он снова вернулся в свой магазин,— он мечтал даже — но об этом не надо думать и тем более говорить: люди будут смеяться — но он мечтал об ордене. Орден? Он сам пугался своей мечты. За что? Что он, герой, или летчик, или ученый? Кто он такой, чтоб мечтать об ордене? Он скромный, честный советский служащий, маленький винт в торговой машине, один из тех тысяч людей в пиджачках, которые проходят в революционные праздники мимо трибун, восторженно крича «ура!» вождям, мастер своего небольшого дела, умеющий искусно завертывать покупку, чтоб шелк не помялся и покупателю было приятно,— ему орден, за что? Но, может быть, именно за это, за то, что он скромно и честно трудится.

Когда Дымшица призвали в армию, он испугался. Бросить магазин, дело, семью, маленького сына — будущего великого человека — и ехать куда-то на границу, к черту на кулички? Он бросился к своему начальству, в горсовет, к Якову Павловичу,— доказывал им искренне, что никогда не будет хорошим красноармейцем, что полезнее для всех, если он останется работать в магазине, но ему уже три года давали отсрочку, больше ничего сделать было нельзя.

Яков Павлович сказал ему:

— Вас посылают на границу? Ну и отлично. Все мы когда-нибудь там будем.

Он поехал. В армии все оказалось и труднее и легче, чем он предполагал. От него никто не требовал невозможного, все видели его силы, от него требовалось только честно и добросовестно делать то, что он мог. Его старательность бросалась всем в глаза, хотя он

и не подчеркивал ее. Но он ничего не умел делать без суеты, волнения и рвения. Если ему было трудно, он не жаловался. Он не хотел никого беспокоить и тихо вздыхал в углу. Потом он «втянулся». Стал исправным красноармейцем, как раньше был исправным продавцом у прилавка. Неожиданно для себя стал хорошо стрелять,— откуда пришло это, он не знал. Он делал только то, что ему говорили, но делал тщательно, не забывая ничего,— и вот пули стали попадать в восьмерки, девятки и даже иной раз и в десятки. Стрелял он медленно, долго целился,— рука уставала держать тяжелую винтовку, он переводил дух, отдыхал и снова целился. Но никогда он не выпускал выстрела, не сделав с щепетильной тщательностью всего, что требовалось по положению. Потом при скоростной стрельбе он стал стрелять хуже — не успевал.

На лыжах он не умел ходить, как Гайдаш. Но когда появились в роте лыжи и командир отделения сказал, что надо ими «овладеть»,— он боязливо стал учиться. Осторожно скользил по снегу, судорожно размахивая палками, и часто падал. Потом смущенно подымался, улыбался виновато, крутил головой и снова медленно, осторожно пускался в путь.

Он прошел сегодня три километра в 28 минут, отстав от всех своих товарищей по взводу, но ни разу не упав. Это был его маленький триумф.

— Ни разу не упал! — сказал он гордо Угарному, и тот весело улыбнулся ему. Швейка все любили в роте.

И вот с ним, с этим маленьким, скромным человеком, бывшим приказчиком мануфактурного магазина, должен был соревноваться в воле, и выдержке, и умении Алексей Гайдаш, рожденный для дел великих. Плацдармом для их соревнования, за которым невольно следили глаза всей роты, было шоссе, поблескивающее голубыми искрами. Узорчатые тени орешника падали на мягкий снег, он казался сиреневым. Вокруг толпились сады, и яблони под белыми хлопьями были, словно в мае, в цвету.

Рядом с Алешей стали Левашов и Карякин; он понял: это буксир. Взвод принимал героические меры, чтобы спасти свою честь.

Командир Шаталов не раз уже мысленно выругал себя за то, что своевременно не потренировал Гайдаша в ходьбе на лыжах. Теперь было поздно.

Заскрипел снег под десятками лыж; скользкая лыжня, проструганная в снегу первыми взводами, дрогнула под Алешей; он почувствовал, как расползаются его ноги, он хотел их собрать,— они не слушались; беспомощно взмахнул палками, как раненая птица крыльями, и шлепнулся, не отъехав от старта и десяти шагов. Левашов и Карякин поспешно бросились на выручку.

Так это и продолжалось все три километра. Они казались бесконечными, лыжня уходила далеко вдаль, поблескивая на солнце, как рельсы. Уже скрылись все лыжники, а Алексей все барахтался на шоссе, беспомощный, словно ребенок, впервые ставший на ноги. Карякин и Левашов не покидали его. Измученный, он просил:

— Оставьте меня, товарищи! Я доползу как-нибудь сам.

Его гордость возмущалась! Хуже всего было их терпение, они ни единого грубого и нетерпеливого слова не сказали ему.

— Оставьте меня!

Но они не уходили. Он падал, задыхался. Кое-как снова вставал, брел по шоссе, скорее бы все это кончалось! Всякий раз, как сваливался он в снег, ему хотелось остаться лежать. Он измучился сам, измучил товарищей. Каждый шаг его был его позором. Он проклинал себя, свои неумелые руки, свои косолапые ноги. Позорным было бесконечное падение в снег. Позорной была поддержка товарищей, но настоящий позор ждал его у финиша, где Дымшиц... Он не хотел об этом думать. Ни о чем не хотелось думать. Он полз по шоссе, как пришибленная хромая собачонка, как раздавленный, но еще живой червяк. Он был сейчас пресмыкающимся, которое тяжело волочило свое тело. Не было такого гнусного эпитета, которого он не дал бы себе.

А рядом с ним легко скользили неутомимые Левашов и Карякин. Для них свистел ветер, скрипел мороз, сияло солнце, шумел орешник. Для них, для победителей, открывалась вдаль сияющая лыжня; не будь Алеши, болтающегося у них под ногами, они понеслись бы легкие, как птицы, и только ветер засвистел бы в ушах.

Он понимал — это и было его позором. Позором были комья снега на рукавах, на штанах, на спине. Позором были растрепанные, слипшиеся волосы, и рачьи вытаращенные глаза, и потные грязные струйки на лбу и щеках. Он весь, с ног до головы, был — ковыляющий на двух ногах — позор, позор взвода, роты, полка. Таким он и явился к финишу.

Его встретили молча, хмуро. Никто не смеялся. Щелкнули часы — чудовищное время: 35 минут! Он отстал от Дымшица на целых восемь минут.

Два месяца назад Дымшиц последним пришел к финишу, здесь же на этом шоссе. Тогда Алеша, посмеиваясь, ждал его. Итак, вот на что употребил Гайдаш два месяца: скатиться в хвост, в самый хвост роты. Дымшиц использовал это время лучше.

Взвод хмуро построился. Шаталов, рассерженный, отрывисто скомандовал:

— Ма-арш!

Алеше никто не сказал ни слова. Он мрачно шагал в строю. Шли уныло, молча, не в ногу. Кто-то неуверенно затянул песню и, не поддержанный никем, испуганно смолк. В мрачном молчании подходили к казарме, подавленные, разбитые, пристыженные.

— Разойдись! — махнул рукой командир взвода.

Быстро вбегали в казарму. Молча сбрасывали шинели. Избегали глядеть на Алешу. Говорили о посторонних вещах, отрывисто, быстро. Поражение взвода, в котором были лучшие лыжники роты, подавило их. Они приняли это как катастрофу. Они знали виновника, но молчали. Вокруг Гайдаша образовалась пустота.

Он не мог больше оставаться в казарме. Вышел. Лыжи еще были при нем. Он не знал, куда бросить их. Волочил за собой. Куда? Инстинктивно, бессознательно побрел к стрельбищу. Увидел, наконец, кипарисы Суфлиса. Они не успокаивали больше. Молчаливые, они осуждали его. Он сам осуждал себя.

Итак, вот печальные итоги его армейской жизни.

Он приехал в армию с тайной надеждой начать здесь новую жизнь. В этой надежде он не признавался ни себе, ни другим. А начал службу, цепляясь за свое прошлое, за самое худшее, что было в нем. Он встретил врага, но не ринулся в бой с ним, а затаил ненависть,

и она жгла его, оставаясь безобидной для врага. Он встретил девушку и полюбил ее, но ее попытался уверить в противном, и затаенная любовь тоже жгла его, оставаясь тайной для нее. Случай послал ему товарищей, нежных, заботливых. Он спрятал от них душу, в которой пылали сжигавшие его чувства, и надменно сказал: «Вход воспрещен. Я не нуждаюсь в дружбе».

Когда он выпал из рядов, товарищи нагнулись, чтоб поддержать его,— он отшвырнул их заботливые руки. Они силой схватили его за шиворот, чтобы, хочет он или не хочет, тащить его за собой,— он злобно вырвался. Им было некогда. Им нужно было спешить. Все ушли, жалея его,— он остался один.

Итак, вот печальные итоги его армейской жизни (он увидел себя ослепительно ясно, слетели все шторки, правда, мрачная и неприглядная, глядела в лицо),— итак, вот итоги (он подводил их, стиснув зубы, беспощадный к себе; костяшки неумолчно щелкали на счетах); он выпал из рядов.

Как это произошло? Что же он делал все это время? О чем он думал? Он падал медленно и неотвратимо по наклонной вниз, но, вместо того чтобы с ужасом смотреть в пропасть, в которую он падал, он беспечно глядел в небо.

10

...Над ним прозвучал нежный, далекий голос:

— Вы живы?

Он не хотел открывать глаза. «Это сон, это снится,— догадался он.— Я проснусь, и голос исчезнет». Ему не хотелось просыпаться. Голос звучал так нежно, так заботливо. Он чувствовал, как сладко млело его тело, даже боль, которую он все время ощущал во всех членах, казалась сладкой. Его тормошили, он сопротивлялся. Снова прозвучал голос:

— Вы живы? — в нем звенела тревога.

Он открыл глаза. Над ним наклонилось испуганное лицо Шушаники. Он продолжал видеть сон с открытыми глазами.

— Шу, дорогая...— прошептал он.

Ее лицо покраснело, потом нахмурилось.

— Значит, жив, раз болтает глупости,— сказала она сердито.— Подымайтесь, нечего валяться в снегу, горелыжник вы этакий...

Он растерянно оглянулся. Где он? Вокруг — примятый снег, обломки лыж. Снег в крови? Нет, это закат. Все вспомнил. Лицо медленно покрылось пятнами стыда. Он чувствовал это и ничего не мог сделать. Странную слабость ощущал он в себе, в теле, в руках, в голове. Поднялся на ноги, охнул. Теперь боль стала острой, реальной. Он подавил стон. Все его тело словно выколочено.

Она сердито выговаривала ему:

— Нечего бросаться с гор, раз не умеете. Тоже, герой,— она фыркнула.

— Научите! — слабо улыбнувшись, попросил он. Она бросила на него быстрый, удивленный взгляд: его лицо обмякло, стало добрым, жалким; страдальческая улыбка на губах смутила ее. Она отвернулась.

Он сказал:

— Простите.

В чем он просил прощенья? Она вспыхнула.

— Хорошо. Я буду учить вас. Не сегодня, конечно,— она указала ему на обломки лыж и вдруг весело, легко расхохоталась. Смех прозвенел в горах. Снег, горы, небо — ответили эхом.

Он улыбнулся беспомощно и мягко.

— Спасибо.

Она помогла ему собрать обломки.

— Кораблекрушение? — встряхнула она головой.

— Полное,— согласился он,— но я думаю выплыть.

— Желаю удачи.

— Спасибо. Верю — удача будет.

— Вы сами-то дойдете до казармы? Может, помочь?

— Спасибо. Дойду.

Она подумала немного, потом резко протянула руку. Он крепко пожал ее, хотелось поцеловать,— он никогда не целовал рук девушкам. Она выдернула руку. (Догадалась ли она о его желании, или просто он слишком долго держал трепетные пальцы в своих грубых руках?)

— Прощайте! — крикнула она ему, становясь на лыжи.

— До свидания! — ответил он. В его голосе прозвучали просьба и надежда.

— Да, до свидания,— засмеялась она и улетела. Да, улетела — ее лыжи показались Алеше крыльями. Она оторвалась от земли и неслась по багровому небу заката. Он проводил ее долгим взглядом.

В казарме никто не заметил перемены в Алеше. А он был другой, совсем другой. Это не Алеша, это другой человек тихо бродил по казарме, толкался среди товарищей, слушал, не вмешиваясь в их беседы. Он бродил смущенный и виноватый. Ни словом не напоминали ему товарищи о его позоре, они словно забыли,— он помнил. Он стал предупредителен и вежлив — вежлив и мягок. Он не делал ни деклараций, ни признаний,— все было по-прежнему. Только он стал другим. Проницательный Конопатин следил за ним удивленным взглядом, потом, догадавшись, улыбнулся, но ничего никому не сказал. С Алешей он был по-прежнему ровен. «Ну выпутывайся сам, если есть силы,— думал он про себя,— так будет крепче. Мы настороже. Нужно будет, поможем». Алеша догадывался об этом и был благодарен Конопатину. «Выпутаюсь, выкарабкаюсь!» — отвечал он взглядом.

Он стал теперь свободное время проводить на стрельбище или спортгородке. Старался, чтоб никто не видел, как лежит он с винтовкой или барахтается на турнике. Если его заставали,— смущался. Принимал безразличный вид. «Так, вышел размяться,— говорил он небрежно,— скучно стало...»

Ребята не замечали его усилий. Или только делали вид, что не замечали? Если они притворялись, то очень искусно и словно сговорившись. Когда на очередной стрельбе вспотевший Гайдаш дал отличные результаты,— никто не поздравил его. Больше всего он боялся поздравлений.

Только в бюллетене было лаконично отмечено: «Отлично стреляли сегодня в первом взводе Карякин, Покровский, Гайдаш...» Командир взвода не сказал ему ни слова, переменил две желтых наклейки на синие,— до красных было далеко. Гайдаш вздохнул. Ладно, будут и красные.

Не сказывалась ли в атмосфере, которая теперь окружала Алешу, мудрая рука Конопатина? Он думал об

этом, но наверняка ничего не знал. Во всяком случае, он был благодарен политруку. Чудесный он все-таки парень! Гайдаш легонько завидовал ему. Откуда в нем такое знание людей, умение неслышно двигать ими? Этому учатся. Это не дается сразу. Такого умения не было у Алеши, вот почему он оказался никудышным руководителем. Придет ли это?

Но сейчас он не думал о будущем. Только бы выкарабкаться! Все остальное придет.

С товарищами он сближался осторожно, медленными шагами. Он делал смущенно шаг навстречу и терпеливо ждал ответного шага. Ребята не заставили себя ждать. В их осторожности было оправдание — можно ли ему верить? Он говорил всеми своими поступками: можно. Они поверили.

Он снова узнал давно забытое сладостное чувство: чувство локтя товарища. Может быть, как всякий выздоравливающий, он слишком окрашивал все: мир казался ему теперь прозрачно-стеклянным и немного хрупким, он боялся разбить его неосторожным движением. Он ходил еще неуверенно, цепляясь за все руками, боясь снова упасть. Хорошо было прислониться к плечу товарища. Он ощущал их плечи рядом, в строю — отличные широкие плечи. Чувство любви и благодарности подступало к горлу. Он делался сентиментальным,— но это от слабости после болезни. Пройдет. Юноша станет мужчиной, научится мужественной дружбе.

— Ребята! Ребята! — взволнованно шептал он, бродя ночью по казарме. Штык дневального болтался у него на боку. Он вслушивался в сонное дыхание роты, различал голоса во сне, храп — это Сташевский храпит, больше некому.

Даже очередной приход Ковалева — он не пропускал ни одного дежурства Алеши — не омрачил это восторженное настроение. Ковалев придирался, злился, распекал, издевался — Алеша был спокоен. Он слышал за спиной мерное дыхание роты. Теперь он был с ними — против него, против Ковалева. Они поддержат. Он затаивал ненависть, глаза блестели в темноте. «Погоди! — думал он.— Я теперь не тот, что прежде. Ты получишь свое сполна. И не от меня, от нас от всех».

Шушаника сдержала слово: она научила Алешу ходить на лыжах. Он оказался способным и старательным учеником.

Теперь в сумерки они часто бродили по горам, она шла медленнее, чем обычно; он стыдился своей беспомощности, его мужская гордость была уязвлена, он делал героические усилия, чтобы не отставать от девушки. Усталый, запыхавшийся, он падал у ее ног и просил:

— Посидим.

Она соглашалась. Они располагались на снегу и молчали. Он не знал, как начать разговор, что можно сказать ей. То, что он хотел ей сказать, было запрещено раз и навсегда. Он молчал, злясь на свою неловкость. Скрипели верхушки сосен, было слышно, как на реке лопается лед.

Молча возвращались в город. Прощались на мосту. Жали друг другу руки.

— Швидобит! — говорил Алеша, с трудом произнося грузинские слова. Она улыбалась.

— Швидобит, Алеша. Завтра опять?

— О, завтра!

Он ждал этих «завтра» нетерпеливо, страстно. «Завтра я ей скажу». Наступало «завтра» — он молчал. Ее чистота и молодость были невозмутимы. Слышали ли ее уши тайные признания в любви, в любви горячей, плотской, нетерпеливой? Он боялся смутить ее и отпугнуть. Потерять ее было бы катастрофой. Он нуждался в ней. Его любовь была полной, плодотворной, творческой — она помогла ему становиться иным.

Иногда она рассказывала ему о себе. По скупым словам он воссоздавал себе картину мира, в котором она жила. Этот мир был юн и чист. В нем были горы, небо, книги, товарищи и брат, который был лучшим человеком в мире, по ее словам. У нее не было ни отца, ни матери. И отцом и матерью был брат. Он возил ее за собой из гарнизона в гарнизон. Загрубелые руки командиров бережно нянчили ее.

— Наша дочка! — говорили они, ласково улыбаясь ей. Одни учили ее говорить по-русски, другие — по-тюркски. Третьи — ездить верхом, четвертые — читать книги, пятые — стрелять, осмысливать жизнь. Казалось бы, такое изобилие воспитателей должно было привести

к путанице в ее головке и в ее душе. Но воспитатели были одного мира люди, все эти суровые, закаленные пограничники, радостью и любовью которых она была. И мир представлялся ей цельным, вылитым из одного куска — в нем не было ни полутонов, ни шероховатостей. Он делился резко на две части. По эту сторону границы наши — брат, его друзья и товарищи. По ту сторону — враги. Предполагалось, что и там были среди врагов друзья и тут среди наших — враги, но это была чистая теория. Все это ей еще предстояло увидеть своими глазами, чтобы понять.

Назвав ее «феей пограничного гарнизона», Алеша обидел ее, вложив сюда дурной смысл. Нет, в этом смысле «феей» она не была — суровые командиры целомудренно оберегали свою дочку от грязи, они уничтожили бы всякого, кто осмелился смутить ее ясный покой грязными нашептываниями. Дитя полкового гарнизона, она была чище и невиннее любой городской барышни.

Всю свою нежность, потребность женщины заботиться о мужчине она выливала на бездомного брата. Она стала хозяйкой в его доме и ловко вела хозяйство, сводя концы с концами, оперируя на рынке с неожиданным для нее искусством. Она врывалась и в квартиры холостяков, молниеносно учиняя суд и расправу над застарелым беспорядком комнаты и, утомленная, победоносно спрашивала:

— Так лучше, кацо, да?

Вместе с братом пережила она мучительный разлад в его семье. Это тянулось долго и трудно, достаточно долго, чтобы вселить в нее ужас перед семейной жизнью. Но она была на стороне брата и не потому, что он брат ей, а потому, что он был страдающей стороной, а она всегда была на стороне страдающих.

Когда «эта женщина» покинула их осиротевший дом, Шушаника обняла лохматую голову брата:

— Мы отлично проживем сами, генацвале [1]. Ты не падай духом. Я с тобой.

И она искренне верила, что может стать надежной опорой большому и глупому брату.

---

[1] Генацвале — ласкательное обращение, примерно как «дорогой», «милый».

Она была мужественной девочкой; выстрелы в ночи, частые тревоги, внезапные выезды брата на заставу (он служил тогда на афганской, беспокойной границе) не пугали ее. Она тосковала, разумеется, во время долгих отлучек брата, но не боялась за него. Ей не верилось, что брата могут убить. Не то что она никогда не видела смерти — однажды пришлось ей два часа пробыть под пулями во время налета басмачей, ее лучший друг командир взвода Ладо Свапидзе, кудрявый Ладо, умер на ее руках,— но просто не верила, что могут убить именно брата, ее милого, смешного брата. И потом — она так привыкла, что смерть бродит рядом, что о ней и не думала вовсе. Среди пограничников считалось плохим тоном говорить о смерти.

Ничто, таким образом, не омрачало ее радостного восприятия мира. Ее «философия» была наивна, честна и удивительно привлекательна — это было радостное и, может быть, бессознательное утверждение жизни во всех ее формах и проявлениях. Я живу в этом мире, он мой, стало быть, он хорош, и я люблю его. Чудесны горы весной и зимой, они чудесны на заре, когда золотятся их снежные макушки, и на закате, когда солнце смешное, медное, как тарелка, висит, зацепившись о сучья сосен. Чудесен снег, похрустывающий под лыжами. Чудесен городок, спрятавшийся в садах. Чудесны яблоки с золотым семечком. Буйвол бредет по тропинке — какой смешной, мохнатый, чудесный буйвол!

С этим миром живой природы она обращалась совсем запанибрата. Она злилась и ругала горы, когда они закрывались тучами. И топала ногой — противные тучи! — и кричала солнцу: «Ну ты, лентяй, выползай скорее. Нечего, нечего, кацо. Кинто противный!»

В горах, в оврагах она никого не боялась,— смело скакала одна на своем вороном жеребце, пробиралась сквозь сучья. Кто может обидеть ее? Кто посмеет обидеть ее? О,— она раздувала ноздри.— Нет такого человека, который мог бы ее обидеть.

— Только ты, кацо, однажды обидел меня,— сказала она Алеше, но потом спохватилась,— но я не помню зла. Ты не бойся.

Почувствовав к нему доверие, она однажды распахнула перед ним свои мечты. Они казались ей широкими,

захватывающими, но все самые ослепительные исполнимыми.

— Ты никому не рассказывай, генацвале. Пожалуйста, никому. Брат не знает. Я скоро уеду.

Он испугался:

— Куда?

— О! Я уеду далеко. Я уеду в летную школу. Я стану летать. Понимаешь? Я прилечу сюда, пролечу вон над этой горой, я называю ее Заячьей, правда, она похожа на зайца? И я закричу вам: «Гамарджвеба [1], кацо! Это я, Шушаника Вардания. Вы все по горам ползаете? Прячьтесь. Скоро дождь будет. Я вижу отсюда тучу, вы не видите ее, вы на земле». И я буду носиться над горами, а селения станут совсем маленькими, крохотными, и ты будешь маленький, и даже высокий брат покажется мне черной точечкой на снегу.

Она увлекалась — вот она уже летит в Москву, Сталин дает ей задание, она летит сквозь пургу, туман, дождь... Потом она поступает в академию, строит какие-то машины и сама же летает на них...

Алексей внимательно вслушивался: он хотел обнаружить присутствие мужчины в ее планах. Его не было. Она хочет строить свою жизнь одна? Он хотел спросить ее об этом и не решился. Странно, он робел в присутствии этой маленькой, худенькой девочки. Какую непонятную власть забрала она над ним!

Польщенный ее доверием, он стал рассказывать и о себе. Он рассказал ей всю, всю свою нескладную жизнь с многочисленными провалами и падениями. Он раскрывался перед ней весь, не щадил себя и невольно даже сгущал черные краски. Он хотел быть честным: «Смотри, вот какой я скверный. Можешь ли ты полюбить такого?»

Но это, пожалуй, был и самый верный путь к ее сердцу, бескорыстному, готовому на самопожертвование, отзывчивому ко всякому горю.

Но так или иначе он разбудил в ней дремлющее чувство педагога — каждая женщина в той или иной мере педагог. Ей захотелось направить этого блудного

---

[1] Гамарджвеба — приветствие при встрече (буквально — победа).

сына в лоно жизни, она жалела его и хотела помочь ему. Не это чувство мечтал разбудить он в ней. Ему уже невмоготу было таиться, каждое слово его, самое незначительное, было о любви. Не замечала она это или только делала вид, что не замечает?

Он пустился на маленькую хитрость. И он произнес однажды, путаясь и запинаясь:

— Карги гого, ме микварс тен [1].

— Что? — закричала она, но не рассердилась, а захохотала: очень смешное было у него произношение.

— Ты кацо.

Он не понял. Смущенно хлопал ресницами.

— Слышишь? — спросила она и указала в горы — там ревел кавказский соловей — ишак.— Это твой брат кричит. Ты — ишак, как и он, кацо. На этом точка.

— Но...

— Я не хочу больше слышать о твоей любви ни на русском, ни на грузинском языке. Хочешь быть друзьями?

— Хочу. Очень.

— Ну, вот,— потом она лукаво улыбнулась,— а грузинским языком я с тобой займусь.

Она не любила уединения и, нисколько не смущаясь, сообщила Алеше, что была бы рада, если бы на их прогулках бывали еще люди. Он обиделся. Но смирился.

Ему трудно было вырывать из уплотненного армейского дня часы для встреч с Шу. Этот день он еще больше уплотнил своими «внешкольными» занятиями на стрельбище и в спортгородке. Он не бросал их. Он здорово отстал от товарищей: догонять было трудно. Шу он мог видеть чаще всего в клубе. Здесь ее окружала широкая толпа «рыцарей маленькой Шу». Смущенно пристал и он к ним. Они приняли его сначала сухо, но Конопатин разбил ледок. На Алешу как на соперника никто не смотрел, Шу обращалась с ним, как со всеми.

Не часто, но бывал в этой компании и Ковалев. Он держался особняком, очень значительно и чуть высоко-

---

[1] Гайдаш не только неправильно произнес, но и перековеркал слова. Правильно: Карго гого, ме шен микврахар» — «Хорошая девушка (девочка), я тебя люблю».

мерно. «Рыцари» не скрывали своей нелюбви к нему, Шу его побаивалась. Потом возненавидела.

Это произошло внезапно, почти на глазах Алеши. Они поехали вечером на прогулку в горы. Чтобы доставить Алеше возможность поехать тоже, заботливый Конопатин приказал ему оседлать двух коней и сопровождать его. Алеша с радостью и благодарностью выполнил приказание.

Они ехали по узкой тропинке — Шу и Ковалев впереди. Конопатин, командир взвода Авксентьев (самый пылкий поклонник Шу) и Алеша сзади. Внезапно впереди с горы на дорогу упал огромный камень. Шу вскрикнула. Все бросились к ней.

— Не ушиблась? — закричал Алеша, и Конопатин с удивлением услышал в его голосе страстные, взволнованные ноты! «Эге! — подумал он,— парень выдал себя».

Но Шу была невредима. Все спешились.

— Надо убрать в сторону,— предложил Конопатин,— горы сегодня не в духе.

Ковалев небрежно толкнул ногой глыбу, загромоздившую тропинку.

— Так разрушаются горы,— сказал он.— Пройдут века, они исчезнут. Старушка земля станет плоской, как блин.

Все засмеялись. Шу вздрогнула и насторожилась.

— Вы шутите?

— Нет,— пожал Ковалев плечами.— Это вы можете прочесть в любой популярной брошюрке. Мы не замечаем, как разрушаются горы. Происходит великий процесс нивелировки. Все, что возвышается над землей, стирается. Природа не любит вершин. Земля превратится в песчаную, неровную унылую равнину, голую, как моя ладонь.

Шу с испугом посмотрела на горы. Эти горы исчезнут? Эти горы, по которым она лазила девчонкой, над которыми она собирается летать?

— Нет! — закричала она.— Вы лжете. Вы нарочно это говорите. Правда, Конопатин?

— Это будет не скоро, Шу,— успокоил ее тот улыбаясь.— На твой век хватит.

— Этого не будет никогда! — пылко воскликнула Шушаника.

Ковалев сухо засмеялся — словно рассыпались сухие косточки по тарелке. Его смех был непонятен: этот человек не умел смеяться.

— Увы,— это будет. Вы строите здания, дворцы, системы, миры. Зачем? Все погибнет. Все превратится в однообразную пустыню. Все нивелируется — горы, люди, характеры. Где шекспировские темпераменты? Где любовь, страсть, ненависть? Горы стали меньше, и люди стали мельче. Маленькие, никчемные люди, с маленькими, никчемными страстишками. Кончится это тем, что на голой земле останется голый маленький человек.

Конопатин горячо начал спорить с ним. Он шумел и сыпал доказательствами. Ковалев уклонялся от спора. Он понял, что хватил лишнего. Присутствие Алеши смущало его. Он пытался свернуть разговор.

— Пора и домой,— наконец сказала Шу. Она стала молчаливой и грустной.

Обратно ехали в мрачном молчании. Шу подрагивала на своем Соколе и бросала неприязненные взгляды на Ковалева. Тот делал вид, что не замечает их.

Конопатин наклонился к Алеше и тихо спросил:

— Ну как тебе понравилась философия Ковалева? Какие он выводы сделал из факта разрушения гор, а? Ловко?

— Это разговоры врага,— ответил Алеша и, волнуясь, повернулся к политруку.— Как вы не видите, что это враг? О, он узнает еще, есть ли у нас сильные чувства, ненависть, например. Полной мерой узнает,— добавил он, злобно сверкнув глазами.

«Ого!» — подумал Конопатин. А ему уж казалось, что он знает Гайдаша вдоль и поперек.

Все это время он беспокойно присматривался к нему.

На чем он теперь сорвется? Он ходил по тонко натянутой струне. Еще не все безмятежно в этой упрямой башке. Но нужна ли ему безмятежность? Пусть падает, расшибает нос, подымается и снова прет вверх, становясь сильнее с каждой шишкой, вскочившей на лбу.

«Не в этом ли движение? — размышлял Конопатин.— Мчаться вперед сквозь лесные завалы, проши-



«КАРПУХИН С ПОЛЫНЬИ»



«БОЦМАН С «ГРОМОБОЯ»

бать дорогу топором, спотыкаться, падать и снова нестись вперед. Надо только знать верное направление». Он глядел на Алешу и кивал утвердительно: «Он знает».

Во всяком случае, Конопатин был тут же, настороже, чтоб поддержать товарища при новом падении.

Иногда он спрашивал себя: «Почему так дорог мне этот упрямый волчонок? Почему беспокоит меня его судьба? Вот я стал понемногу его нянькой».

Он пожимал плечами и ласково глядел на Алешу.

«Это парень нашего поколения. Это наш парень. И потом,— он усмехался шутливо,— ведь я политрук, мне за это деньги платят».

О Ковалеве у него было свое мнение. Он не любил этого человека. И не верил ему. Но не хотел доверять и своему чувству: «Я знаю о нем, что он сын офицера, может быть, отсюда моя физическая неприязнь? Не надо поддаваться ей. Надо стоять на почве фактов. Что я могу сказать против Ковалева?»

Но Алеша, видимо, знал то, чего не знал Конопатин.

— Ты хотел что-то сказать о Ковалеве? — наклонился он к Гайдашу.

— Мы еще поговорим об этом, товарищ,— ответил Алеша.— На днях поговорим.

— Что же мы едем как мертвые? — вдруг закричал Авксентьев. Он подскакал к Шушанике.

— Ника, давай поскачем.

— Не хочется, Анатолий.

— Какие-то похороны,— разочарованно протянул кудрявый комвзвода.— Чего хороним? Ника, ты обещаешь мне первый вальс под Новый год? Вот при всех сватаюсь!

— Ладно,— улыбнулась Шу.

— А мне? — спросил, усмехаясь, Ковалев.

— Второй — Алеше,— дерзко ответила Шушаника.— Хорошо, Алексей?

— Хорошо,— пробормотал он. Бедный, он не умел танцевать.

Он подъехал к Шу.

— Ты свободен завтра? — спросила она почему-то шепотом.

— Увы, нет. Вечером заступаю в гарнизонный наряд.

— Ведь завтра выходной.

— Да, но я хочу послезавтра смениться, чтобы прямо на встречу Нового года.

— Хорошо. А утром завтра, стало быть, ты свободен?

— Утром свободен.

— Приходи. Мы побродим по городу. Идет?

— О, с охотой.

Они расстались на мосту. Шушаника поскакала домой в погранотряд, командиры и Алеша — в полк. Еще в городе Ковалев спешился и подозвал Алешу:

— Товарищ Гайдаш, вы отведете моего коня и сдадите его коноводу Гаркушенко.

— Есть,— пробурчал Алеша.

Ковалев насмешливо посмотрел на него:

— Надо повторить приказание.

Гайдаш задохнулся от ярости, но сдержался.

— Приказано отвести коня и сдать коноводу Гаркушенко.

— Так. Езжайте. До свидания, товарищ Конопатин.

— За что вы не любите друг друга? — спросил Конопатин Гайдаша, когда они остались одни. Авксентьев ускакал вперед.— Вы знали друг друга раньше?

— Да, знал,— проворчал Алеша, еще не оправившийся от гнева.

— Это любопытно. Где же ты встречал его?

— Я после расскажу. Это долгая песня.

Они уже подъезжали к полку.

Спешиваясь у конюшни, Алексей успел подумать: «Она сама, сама позвала меня... Завтра я ее опять увижу. Мы будем вместе бродить по городу... Чудесно жить!»

11

Желающих уйти в город было много — предпраздничные дни. Старшина ворчал и скупо выдавал увольнительные записки.

— Я еще ни разу не был в городе,— сказал ему Алеша. Это была правда. Он только вчера впервые проехал его, возвращаясь с прогулки.

— Ни разу? — недоверчиво спросил старшина.— Ну, ну! — Он подписал записку и сердито прибавил: — Идите, гуляйте, да не загуливайтесь.

Алеша весело козырнул:

— Есть!

Он знал, что старшина ворчун, но чудесный парень. Впрочем, и должность у него такая, что заворчишь. Сколько хлопот с обмундированием, хозяйством, имуществом. Алексей пожалел старшин,— все люди казались ему чудесными и родными в это прекрасное утро.

Он прошел через казарму к выходу. Всюду возились ребята, чинили гимнастерки, брились, писали письма.

— Помни, Гайдаш, сегодня в наряд! — крикнул ему вдогонку Карякин.

— Есть, товарищ командир отделения! К обеду буду! — лихо откликнулся Гайдаш. Его сапоги, начищенные, солнечные, скрипели и пели. Все пело в нем. «Шу, милая Шу, иду!» Он выбежал из полкового городка, и вот он в городе. Дневальный окликнул его — он не остановился.

Узкой кривой уличкой начал спускаться к центру. В городе было оживленно и шумно, на главной улице толпились гуляющие. Никогда он не думал, что здесь может быть так много народа. Еле продрался. Пыля снегом, пронесся автобус, запахло бензином. У станции Союзтранса из него вывалилась толпа пассажиров. Алеше показалось, что мелькнуло в ней чье-то знакомое лицо. Кто бы это мог быть? Он не вспомнил. Думать было некогда. «Шу! Милая Шу, иду!» На мосту его окликнули. Он обернулся. Красноармейцы сидели на перилах и смотрели на реку. Дельное занятие! Он засмеялся. Ребятам было скучно. Зачем они пошли в город? Целую пятидневку мечтать об отпуске, а потом прийти и смотреть на бревна? Он весело закричал:

— Бегу. Некогда,— махнул рукой и убежал. У крепости его уже ждала Шушаника.

Он возник перед ней запыхавшийся и счастливый. Испуганно спросил:

— Ты давно ждешь? Старшина...

Она протянула ему руку.

— Пошли!

Взявшись за руки, они побежали в город, через мост, мимо скучающих на перилах красноармейцев (ребята завистливо посмотрели им вслед), мимо станции Союзтранса, кривыми, горбатыми улицами. И вот уже окружала их пестрая, шумная толпа. Армянский, тюркский, грузинский, курдский, русский — говоры... Гортанные крики разносчиков... Запах яблок на базаре... Стук молотков в кузнице... Ржание коней, рев буйвола, испуганный, нетерпеливый плач ишака... Смех девушек... Запах жареной баранины и вина у духанов... Звяканье шпор... Цоканье копыт на булыжнике... Скрип снега... Скрип деревянной арбы. Рожок автомобиля... Крик муллы с минарета... Блеск восточных нарядов, звяканье серебра и мониста... Плач зурны... Хохот школьников...— Лаваш, лаваш, вот лаваш!..— Яблоки, яблоки, чудные яблоки!..— Гамарджвеба, Шушаник, почему к нам не заходишь?

— Эй, елдаш кзыл-аскер, вот яблоки — золотое семечко...

— Шушаника, здравствуй! Ты помнишь: сегодня в парткабинете...— Помню, абханого.— Будь здорова, Шушаник! — Мадлоб!

Пестрый, нестройный шум оглушил Алешу. Он испуганно озирался. Он отвык от толпы и городского шума. Он предпочел бы остаться наедине с Шушаникой, уйти с ней далеко в горы и там лежать на снегу, тихо и неторопливо болтая, греясь под ласковым солнцем. Но она нетерпеливо тащила его сквозь город, ее окликали, она весело отвечала по-грузински, по-русски, по-армянски — у нее были сотни знакомых, каждый человек в этом маленьком, распахнутом настежь городе был знаком ей. Жизнь выливалась прямо на улицу, двери лавчонок, мастерских, духанов, даже домов были широко отворены,— все на виду. Только в мороз чуть прикрывались двери. А сегодня над городом плыл ясный, теплый, солнечный день, и все казалось отполированным спокойным сиянием дня, все блестело, точно покрытое лаком.

Ради этого дня, ради праздника в город ринулись жители гор. Они спускались по тропинкам на ишаках, мулах. То и дело попадался навстречу воинственный

курд верхом. Левая рука держала поводья, правая — лежала на кинжале. Подкрученные усы... Прекрасная посадка... Статная фигура... Курд победоносно глядел по сторонам.

Медленно продирался через толпу мирный, задумчивый тюрк в коричневом башлыке, закутанном вокруг головы чалмою, в тумбанах грубой шерсти с огромным курдюком сзади, в теплых чулках, спрятанных в мягкие легкие яманы. В поводу он вел ишака, на котором колыхалась его величавая и невозмутимая жена, покрытая длинной белой шелковой шалью, бренчало монисто, звякала уздечка, колыхались жирные, крутые бока женщины.

Горцы толпились на базаре, шумно торговались; кормили лошадей (над базаром — запах навоза, горького бензина, сушеной рыбы, сладких яблок, лука, окровавленных бараньих туш, козьего сыра и пота человечьего, конского, звериного), заходили в духаны, в харчевни, в кофейни, требовали вина, зелени, сыра, мяса, «хаши» (бараний желудок и потроха в бульоне), «жареных головок», хрипло пели, чокались, целовались, обтирая пену с мокрых усов.

Но жены тащили их в лавки и мастерские. Серебрянщики, жестянщики, седельщики и цирюльники, красильщики, канительщики, столяры, чемоданщики, гвоздильщики, кузнецы, сапожники, мебельщики широко распахнули двери своего ремесленного мира перед покупателями; они работали на главах всей улицы, товар выходил горячим из-под умелых рук.

Серебрянщики, тощие, чахоточные, в узких очках на самом кончике бледного, синего в черных точечках носа, трудились над медными узорчатыми поясами, брошками, безделушками из фальшивого тусклого серебра. Настоящие серебряные и золотые вещи мастерились тайно и бережно, ниточка к ниточке. Сложный орнамент, хитрые узоры, ажурная паутина из податливого металла. Серебрянщики и золотильщики были неразговорчивы, покупателей встречали молча и равнодушно, не отрываясь от работы. Они знали — изделия найдут сбыт. Они уважали свое редкое ремесло и искусство. Город был славен ими, о них писали в энциклопедии. И только изумленные вздохи женщин, застывших в восторге над ка-

ким-нибудь тяжелым головным убором из меди, серебра и камней, вызывали у мастеров снисходительные и довольные улыбки.

Рядом с аристократами ремесленного мира — серебрянщиками—примостились седельщики. Здесь мастерились знаменитые седла с серебряными насечками, с накладками из оленьей кости (традиционные кинжалы накрест); особо старательно делались седла по специальному заказу по рисунку и из материала заказчика. Эти седла выставлялись в единственном окне, вызывая зависть и восторг истинных любителей; когда заказчик являлся, мастер бережно и неохотно снимал с подоконника свое произведение, вытирал рукавом пыль и, вздохнув, расставался с ним.

Алеша тащился за раскрасневшейся, веселой Шушаникой и только спрашивал ее:

— Куда ты тянешь меня, Шу?

— Идем.

— Дай перевести дух. Где цель?

— Я хочу тебе показать город.

— Я уже увидел все, что хотел,— ему захотелось подразнить ее.— Увы, здесь нет ни одной хорошенькой девушки (кроме тебя,— хотелось добавить, он сдержался и сказал это глазами).

— Это неправда,— рассердилась и обиделась она.— Ты просто тюлень и ничего не понимаешь. Здесь — красавицы, умей смотреть.

Шу смеялась.

— Ах, вы бедные, бедные. Хочешь, я познакомлю тебя с чудесными девушками? — она предложила это горячо и бескорыстно.

— Нет, спасибо. Мадлоб, Шушаника. Я себе уже нашел.

Она не обратила внимания на его слова.

— Я нашел! — повторил он значительно. Но она восхищенно рассматривала витрину игрушечных дел мастера. Неужели ничем не растревожить ее сердца, закованного в железо равнодушия? Ей восемнадцать лет. В эти годы уже любят. Он мучился ревностью. Но к кому? Кто это был? Кудрявый Авксентьев, может быть, Ковалев или Конопатин? Нет, не Конопатин. Почему же не Конопатин? Но возможно есть и кто-нибудь совсем

другой, например, в пограничном отряде. Он уехал на заставу, а она терпеливо ждет его, ей все равно с кем бродить по городу, с Алешей ли, с Авксентьевым, или вот с этим лохматым парнем, который здоровается с ней сейчас, обнажив в улыбке крупные белые зубы. В сущности ведь он ничего не знает о ней. Как она живет там, дома? Кто бывает у нее? Он приуныл.

С какой стати в самом деле полюбит она Алешу, парня в серой лохматой шинели, нескладного и некрасивого? Девушки любили его раньше, но он был тогда первым парнем на деревне. Можно ли полюбить рядового красноармейца?

— Я очень некрасивый? — спросил он вдруг. Шушаника засмеялась.

Он обиделся:

— Может быть, тебе неловко со мной идти по городу? — пробормотал он.

— Ты — ишак.— Она ласково посмотрела на него.— Большой, глупый ишак.

Это показалось ему самым нежным словом, какое он когда-либо слышал,— так произнесла его Шу. «Да, я ишак. Глупый ишак. С чего я вдруг вздумал реветь? Вот я иду по городу рядом с чудесной девушкой, с лучшей девушкой в мире. Что тебе еще нужно, ишак?»

«Еще любви немножечко и...» — Но он не додумал этой мысли до конца, на них налетела целая гурьба комсомольцев — друзей Шушаники. Поднялся шум, все говорили разом, радушно улыбались Алеше, и он сразу почувствовал себя своим среди этих незнакомых ему людей. Это были ребята его племени, комсомольцы.

Все вместе гурьбой они потащились по улице, перекликаясь с прохожими, громко разговаривая и смеясь. Русские, грузинские и армянские слова смешивались в причудливый пестрый язык,— странное дело, Алеша отлично понимал его.

Потом они очутились все вместе в темном и душном винном погребке — Алеша, Шушаника, лохматый Арсен-учитель, стройный Ладо с лесопилки, смуглая, полногрудая Элла (ее лицо цвета гречишного меда и такое же сладкое и доброе), веселый Аршал и хохотушка Тамар. Было решено выпить по стакану, «чтоб крепче была

дружба». Они пили подогретое багровое вино, ели лаваш, горячий, прямо из печи (длинные, тонкие мучные лепешки, красноармейцы звали их «портянками». Они и точно были похожи на портянки, эти серые, дырявые, распластанные листы хлеба). Чокались, кричали: «Ваша! Ваша! Ура!» — и заедали вино душистым шербетом и яблоками.

Они спрашивали у Алеши, как служится в армии, как нравится ему город.

— Ему не нравятся наши девушки,— сказала Шу.

— Он не знает их,— смущенно улыбнулась Элла и бросила исподтишка взгляд на Алешу.

— Наш город,— кричал Арсен,— о, он имеет будущее. В окрестностях недавно найден диатомит [1]— лучший диатомит в мире.

— Что это диатомит? — тихо спросил Алеша. Он улыбался: здесь звучали те же песни, что и дома, в Донбассе. Люди носились с планами, щупали недра, искали клады. Они готовы были рыть каналы, строить плотины, пробивать туннели в горах, если это подвигало их город к широкой дороге, которой шагала страна.

— Диатомит? О, это чудеса! — Арсен говорил и мыслил восклицаниями.

— Из нашего леса в Париже делают скрипки,— перебил его Ладо с лесопилки.— Резонансный лес. Лес, который поет и играет. «Р. Л.» — вы увидите на бревнах, если пойдете на плоту по Куре.

— Вы расскажите ему про яблоки,— вмешалась Элла.

— Зачем рассказывать? Кушай наши яблоки, Алеша, кушай, говори.

— Чудесные яблоки,— говорил он.

— Э? — Аршак недоверчиво посмотрел яблоко на свет и бросил его презрительно на пол.— Не то яблоко берешь. Вот яблоко, кушай, прошу. Говори?

У Алеши от вина, от тепла и дружбы, от шума в низеньком погребке, от близости Шу, благоухающей духами и яблоками, кружилась голова. Он совсем забыл о том, что ему идти в наряд. Он хотел бы никогда не

---

[1] Диатомит — горная порода, пористая масса, состоящая из кремнеземных оболочек.

уходить отсюда, из тесной компании новых друзей, внезапно найденных им на границе.

Но Шу помнила: она взглянула на часы и молча показала их Алеше.

— Правда, правда,— смутился он.— Извините, товарищи.

— Служба,— отозвались они хором.— Мы понимаем.

— Я в карауле сегодня...

— Мы поручаем вам наш город и наши жизни,— крикнула ему Элла.

— Я буду бдителен,— улыбаясь, ответил он, пожимая их горячие руки.

— Я провожу тебя, Шу? — спросил он, прощаясь с ней.

— Нет, нет. Беги в полк. Я не хочу, чтоб ты опаздывал из-за меня.

— Швидобит [1], Шу, дорогая. Я бегу.

— Швидобит! — закричали ему вслед товарищи.

Он вышел на улицу. Какое солнце! Оно показалось ему ослепительным после потемок подвала. Прищурился. Чудесное солнце! Чудесный день! Чудесные ребята! Шу!

Он торопливо пошел по улице. Внезапно впереди мелькнула знакомая фигура. Это тот, кого он заметил мельком в толпе пассажиров «Союзтранса». Меховая телячья куртка, клетчатые бриджи, краги, чемоданчик в руке. Приезжий. Но кто это?

Он ускорил шаги. Ба! Неужели Валька Бакинский? Но что он здесь делает? Да нет, не Бакинский вовсе.

Догнал. Толкнул плечом. Человек обернулся, щуря близорукие глаза.

— Виноват,— буркнул Алеша и взглянул ему прямо в лицо. Что за черт! Бакинский! Гайдаш сдержался, чтобы не вскрикнуть...

— Товарищ красноармеец,— обратился к нему Валька.— Как лучше пройти на Нагорную улицу?

— А зачем тебе понадобилась Нагорная улица, Бакинский?

---

[1] Швидобит — прощальное приветствие. Буквально: «Будь с миром».

Валька вздрогнул.

— Ты! Алексей! Я не узнал тебя. Ты здесь? В таком виде? — Чемоданчик упал. Он торопливо поднял его. В его движениях были испуг и удивление.

Гайдаш подозрительно следил за ним.

— Я здесь служу в армии, и это неудивительно,— пожал он, наконец, плечами.— А ты? Что ты здесь делаешь?

— Я... видишь ли... путешествую...

— Знатный иностранец?

— Нет,— нервно засмеялся.— Я работаю в центре, как всегда в газете...

— В какой?

— В разных...— неопределенно махнул рукой.— Здесь я в командировке... Э... проездом... Чудесный город. Горы! — Он неумело восторгался.— Какая экзотика! Чего название города стоит — Крепость! Да ведь пахнет Шамилем! Это — древность, седая, дремучая...

Алексей вспомнил веселых комсомольцев, Арсена, мечтающего о диатомитовых рудниках, и засмеялся.

— Ты опоздал, Бакинский. Этот город тоже уже «покорили» большевики.

Но ему некогда было дискутировать на улице.

— Мы увидимся? — крикнул ему вслед Бакинский.

— Может быть.

Он побежал, расталкивая прохожих. Но что здесь делает Бакинский? Вряд ли ради экзотики. Так или иначе, враг в городе. А Бакинский — враг, нет никакого сомнения. Надо предупредить коменданта гарнизона. Кто комендант у нас? На бегу вспомнил. Вдруг побледнел и даже остановился. Да ведь комендант-то Ковалев.

12

Никита Ковалев жил, как большинство командиров, на частной квартире. Он снимал комнату в доме армянина-садовода на Нагорной улице. Это было далеко от полка, и это устраивало Никиту.

Дом, в котором он снимал квартиру, был сложен из серого камня, взятого тут же в горах, но, в отличие от соседних домов, поверх камней облеплен глиной и для шику наскоро побелен. Ребра камней выпирали в щели

там, где растрескался мел, дом стал пятнистым. Он был полутораэтажным. В нижнем этаже (он уходил глубоко в землю, составляя часть фундамента) зимовал скот, длинный под дощатой крышей деревянный коридор-веранда опоясывал весь дом, по принятому здесь архитектурному обычаю. Когда-то коридор выкрасили багряной охрой, краска облупилась, строганное, почерневшее дерево выглядывало тут и там. На веранде всегда сушилась скошенная трава, пахло свежим сеном.

К дому примыкал фруктовый сад, и Ковалев в окно сквозь узоры на стекле видел яблони, согнувшиеся под хлопьями снега. Это напоминало ему отцовы хутора и есаульскую усадьбу в станице.

Комната помощника начальника штаба была просторная и пустая. Он не любил таскать за собой вещей. «Я походный человек,— говорил он бывавшим у него гостям,— я человек бивуака». Когда у него спрашивали, почему ни одной фотографии нет на стене, ни на столе, он отвечал кратко: «У меня никого нет». Товарищи не верили.

— А семья?

— У меня нет семьи.

— Невеста? Жена? Любимая?

— Я никого не любил.

От него смущенно отступались. И сам он тоже не любил фотографироваться. Избегал фотолюбителей (в полку их развелось, что грибов после дождя), когда на него напирали, он насмешливо цитировал Эдгара По: «Фотографироваться любят люди, которые боятся смерти. А я смерти не боюсь». В полку о нем ходила слава как о суровом, аскетическом, суховатом и неподкупном командире. Только командир полка, многосемейный и добрейший Петр Филиппович Бывалов, которого в полку за глаза иначе как «отцом-командиром» и не звали, говаривал, качая головой:

— Ох, боюсь я одиноких людей. Одинокий человек — опасный. У каждого человека должна быть семья, друзья, товарищи.

Ни одной лишней вещи не было в пустой комнате Ковалева. Кровать, коврик, стол, стулья, платяной шкаф, часы-ходики, лампа под зеленым абажуром, умывальник — все хозяйское, своего ничего не было.

Окна были закованы в толстые железные решетки — память об армяно-тюркской резне... Этот дом, в котором жил помначштаба, видал виды, иногда в сумерках Ковалеву мерещилась застывшая кровь на полу, но то были пламень и отсветы печки. И сам хозяин дома уже позабыл о тех страшных временах, когда с гор кровавым потоком падали на съежившийся в испуге город тюрки и убивали, резали, громили, жгли... «Чудесные времена были,— насмешливо думал Ковалев.— Что до меня, я постарался бы тогда стать тюрком».

Хозяин предложил как-то сломать решетки.

— Не надо,— отмахнулся Ковалев.— Пусть будут.

Он жил двойной жизнью: одной в полку на людях — строгий, корректный, подтянутый командир, другой — здесь, в темной клетке комнаты, окованной железными решетками. Этой второй жизни в полку никто не знал.

Никто не знал, как метался он по комнате. Он готов был рычать от нетерпения, злобы, страха. Когда же, когда?

Валился на диван. Вкрадчиво шелестела бумага. Что это? А, газеты! Он вытаскивал их и злобно швырял на пол. Ничего утешительного. От бодряцкого треска газет звенело в ушах. Что они медлят,— они там, за границей? Слепые, разве не видят они, как ощетинивается страна?

Он чувствовал свое бессилие и только кусал кулаки. Что он мог сделать? Он избрал военную карьеру не только потому, что это соответствовало его духу и давним стремлениям, а и потому, что хотел быть ближе к «заварушке», когда она грянет. Во взрыв внутри он не верил. Мужичья власть не падает под мужичьим топором. Топор должен прийти извне. В своих мечтах он видел: начинается «заварушка», и он, на белом коне, во главе преданных ему эскадронов с развернутыми знаменами, переходит к своим. Его встречают, как рыцаря, победителя и допускают к дележке. Измена родине? Но где его родина? Она кочует по бульварам европейских столиц.

Горькой любовью обманутого сына любит он и ненавидит ее. И ненавидя — любит. У него с нею свои счеты. С отцом, бросившим сына на произвол судьбы и убежав-

шим, спасая свою шкуру. С генералами, которые пропили, прозевали, прошляпили Россию, с эмигрантской накипью, которая болтает и проституирует в то время, как он здесь каждую минуту рискует головой.

Но это семейные счеты. «Сочтемся после!» — думает он. С родиной же, которая сейчас окружает его, у него кровавый счет, и счесть можно только кровью. Резать, жечь, убивать. Камня на камне! Он захлебнется в крови, в горячей, остро пахнущей человечине. Жечь их дворцы и музеи! Ломать их памятники и клубы. Насиловать их девушек, которыми они так гордятся. Убивать! Убивать! Убивать! О, он расквитается за все — за унижения, за двойную жизнь, за страхи, которые предательски одолевают его по ночам. За ненависть невысказанную, которая жжет его.

Его начальники — те, настоящие — должны были бы дать выход его ненависти. Но они давали ему мелкие поручения, от которых претило. Тихое вредительство, иголки в потниках, гнилое обмундирование; посылал сведения, мобилизационные планы, карты, фотографии,— он выполнял все это добросовестно и аккуратно с щепетильностью штабного. Он был служащим двух штабов, и в этом тоже была его двойная жизнь: штаба полка и штаба далекого, смутно известного ему, которому он, однако, подчинялся беспрекословно и старательно. Его непосредственным начальником в этом старом штабе был матерый волк, бывший крупный интендант царской армии, человек с багровыми щеками, напухшими веками и лицом, на котором чувствовались сбритые усы с подусниками. Его подпольная кличка была — Генерал. От него получал Ковалев директивы, иногда поощрения, часто выговоры, аккуратно деньги — все как на службе.

В письмах, которые писал ему Ковалев, он жаловался на то, что служит в захолустном гарнизоне, на мирной бесполезной границе и просил передвинуть его на более видное место. Он хотел сделать карьеру вредительством, как знакомые ему командиры из офицерских детей делали (предатели) карьеру честной службой. Генерал отвечал ему хладнокровно:

— Предоставьте мне решать, где вы полезнее.

Он подчинялся.

— Укрепляйте кадры в полку,— приказывал Генерал.

Он усмехался. Откуда взять их, эти кадры? Из командиров, окружавших его,— эти краснощекие здоровяки, от которых пахло землей и потом? Красноармейцы,— чужой, незнакомый серый мир. Штабные писаря? Но и писаря стали не те. Он искал классического писаря, заклейменного литературой — щеголя, фата, и не находил. Слишком много комсомольцев было среди писарей! Ненавистное племя. Гайдаши. Попав в армию, Никита Ковалев стал сомневаться, пойдут ли за ним эскадроны с развернутыми знаменами на ту сторону?

Он был одинок. Он не рисовался, говоря, что у него в целом свете никого нет. Чьи портреты повесил бы он на стену? В полку он носил маску корректного, суховатого штабиста. Он не умел быть гибким, пружиниться, хлопотать. Маска, раз навсегда принятая им, вполне соответствовала тому, что он может. Много раз подчеркивал, что он только строевик, армия для него — устав и арифметика; политика — чуждое ему дело, достаточно, что он честно служит, речи держать не его специальность. Таким принимали его в полку, начальник штаба — старый служака — ценил и продвигал его, командиры поддерживали с ним вежливую дружбу (молодые не скрывали, что не любят его). С комиссаром полка соприкасался мало (всегда старался избегать встреч), и только командира полка побаивался Ковалев: в нем чувствовал он силу, которая может сломить его. Часто ловил он на себе подозрительные, внимательные взгляды Петра Филиппыча и тогда весь день был не в себе. Но крепился, сохранял наружное спокойствие. Это было трудно. Он уставал. Казалось, даже кожа на лице ныла от застывшей улыбки. Он был напряжен весь. Каждое слово, каждое движение нужно было обдумать. Поворот головы. Взгляд. Шаги. Все находилось на глазах.

Дома, наедине, он распускался. Вместе с портупеей сбрасывал с себя маску. Как лошадь, которую освободили от сбруи, облегченно раздувал живот. Опускались плечи, расслабленные повисали руки. В туфлях на босу ногу бродил по комнате. Курил. Швырял на пол окурки. Топтал их. Сквозь решетчатые окна в комнату струились сумерки. Ползли по полу. Шарили в углах. Их се-

рые руки ощупывали его. Он чувствовал сырые объятья, поеживался. Но лампы не зажигал. Зачем? Лежал на диване. Ворочался. Хорошо, если удавалось уснуть. Как убить этот томительно-длинный вечер? Пойти в гости? К кому? Его встретят сухо и неохотно. Стихнет дружеский смех, все будут ежиться. А плевать. Что ему за дело до того, как чувствуют себя они? Но и ему с ними трудно. Чужие. О чем говорить? Снова напяливать маску? Он устал от этого.

Полюбить он не мог. И... боялся. Он встретил здесь, в гарнизоне, Шушанику. «Осторожнее, осторожнее»,— успокаивал он себя.

Когда он догадался, что Гайдаш влюблен в нее,— он задумался. Гайдаша ненавидел горячее других. В скуластом лице красноармейца он видел поколение, с которым не раз уже сходился врукопашную и сойдется для последней схватки.

«А-а! — злобно думал он.— Ты хочешь Шушанику? Ты ее получишь... после меня».

Отбросив осторожность и страх, он начал волочиться за девушкой. Он избрал верную, по его мнению, тактику,— не говорить ей о любви, а незаметно подчинять своей воле, власти.

Его окружали счастливые люди. Он слышал их смех. Их поцелуи. Их радостные голоса.

Он ненавидел и завидовал им. Их голоса преследовали его и здесь, на диване. Они доносились с улицы порывами морозного ветра. Один. Как сукин сын, один.

— Мне бы следовало завести собаку, что ли...

Он задыхается. По комнате бродят тени, пахнет гарью, кровью, пожарами, мелькают какие-то образы, бесплотные, но реальные до галлюцинации... Начинается знакомое, страшное...

— Лекарства! — хрипло кричит Ковалев и вскакивает. Дрожащими руками находит лампу, зажигает. Тени прячутся по углам. Из шкафчика он вытаскивает бутылку коньяка, печенье, сыр. Ставит на стол. Прибавляет огня. Зажигает еще лампу. Хлопочет. Подмигивает в окно. Запирает дверь. Потирая руки, идет к столу. Наливает бережно, до верха рюмку. Чокается с бутылкой.

— Ну, здравствуйте! — и кланяется звездочкам на этикетке.

— Здравия желаем, господин Ковалев,— отвечает он за них.

Опрокидывает рюмку, облизывает губы. Дышит на бутылку, нетерпеливыми пальцами ломает печенье. Хруст...

Смешные страхи улетучиваются. Чудесное лекарство, слава придумавшему его. Наливает вторую рюмку. Подмигивает звездочкам.

— Живете?

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, будем живы!

Никто ни разу в жизни не звал его вашим благородием. Разве только в детстве мужики. Как дорого дал бы он, только услышать это почтительное «ваше благородие»! Благородие! Сын отцов, известных России... («Чем известных?» — спрашивает он себя. «Известной подлостью прославленных отцов»,— путая, декламирует он Лермонтова.)

— За матушку Россию! — торжественно подымает он третью рюмку.— За Россию, черт ее подери.

— За какую Россию? — ехидно спрашивают звездочки.

— За ту, которую я ношу в своем сердце,— ударяет он в грудь.— В истерзанном сердце сына...

Жадно пьет. Глотает рюмку за рюмкой. Обжигается. Морщится. Но пьет. Коньяк — офицерский напиток.

— Ваше благородие, господин поручик,— обращается он к бутылке.— За наше будущее!

Пьянея, он мрачнеет. Становится бледным и злым лицо. Краснеют глаза. Опухают веки.

— За молодость, которая уходит псу под хвост!

Он опускает голову на стол и плачет.

Плачет долго пьяными слезами. Беззвучно, почти молча. За дверью смеется девушка, хозяйская дочь. Бренчит гитара. Там гости. Никто не догадывается, что здесь гадкими, бессильными слезами плачет человек, которому не дают убивать и резать.

Потом он встает, шатаясь подходит к стене, где висит снаряжение, вытаскивает из кобуры наган, долго смотрит на него, улыбаясь и щелкая языком. Потом

осторожно выщелкивает патроны из барабана на стол и закладывает в одно отверстие бумажку, на которой карандашом пишет «смерть».

Размахивая наганом, садится, кладет наган на колени, быстро вертит ладонью барабан и, не глядя, прикладывает к виску. Сухой щелк. Рассматривает барабан. Белая бумажка далеко. Он довольно смеется: «Я буду еще жить и жить!» Когда бумажка оказывается в отверстии против виска, он бледнеет. Но потом снова хохочет. Он перехитрил смерть. Что, если бы в барабане был патрон? Голова разлетелась бы вдребезги. Бросает бумажку в печь. Глядит, как лижет ее огонь.

Несколько дней назад Ковалев получил письмо от Генерала: Ковалева извещали, что к нему приедет доверенный человек с поручением. Он встрепенулся, ожил. Давно хотелось дела, настоящего дела. Кроме того, приятно было пожать руку своему человеку, поговорить с ним, как хочется, как думается, без маски, без оглядки. Нетерпеливо ждал.

Все же, когда раздался, наконец, стук в дверь и Ковалев каким-то непонятным образом почувствовал, что это он,— вздрогнул.

— Войдите!

В дверь ввалилась фигура в телячьей куртке. Ковалев радостно бросился навстречу и остановился.

— Бакинский? — изумленно пробормотал он.

— Вы не ждали меня, не правда ли? А я был рад, что могу взять на себя поручение к старому школьному товарищу. Здравствуй, Никита, здравствуй.

— Поручение?

— Да. Я от Генерала,— шепотом.

— Простите... Такая неожиданность...

— Вас не извещали разве?

— Но мне не сказали, что это вы.

Бакинский отряхнул снег с ботинок и прошел в комнату.

— Ты бы мог мне предложить раздеться, Никита. Я промерз. Чертовски холодно на вашем юге. Я бродил целый день по городу. Было бы слишком рискованно явиться к тебе днем.

— Не менее рискованно и бродить по городу,— возразил Никита.— Новый человек в таком курятнике...

— Вы трусите?

— Я? — Ковалев презрительно передернул плечами.— Вы всегда нелогичны, Бакинский.

— Все-таки я разденусь и проберусь к печке.

— Хотите коньячку?

— Не откажусь. Вы становитесь, наконец, гостеприимным, Никита. Я рад это отметить.

— Я просто растерялся немного. Неожиданная встреча...— он усмехнулся.— Вот никогда бы не подумал.

Но он был зол и расстроен. Как все это нелепо, однако! Эта балаболка Бакинский тоже в игре. Впрочем, может быть, он переменился. Люди меняются. Но плохое тесто всегда киснет. Клетчатые бриджи, зеленый шарф, краги — нелепый наряд. «Конспираторы! За версту такого учуют».

Коньяк успокоил его. Сел рядом с Бакинским.

— Рассказывай. Но прежде о себе. Кто ты теперь?

— Платформа?

— О твоей платформе догадываюсь. Что ты делаешь?

— Я? Ответить трудно. Был в Харькове. Пришлось бежать. Драпать, как у вас говорили. Угрожал арест. Я спасся на юг. Осенний перелет птиц,— ищешь, где теплее.

— И?

— Я нашел теплое местечко в Тифлисе. Везде встретишь своих. Живу.

— Легален?

Бакинский засмеялся.

— Почти.

— Так.— Встал, прошелся по комнате, взглянул на решетки. Сел.— Итак, я слушаю.

— Твое здоровье! — чокнулись. Затем Бакинский вдруг начал раздеваться. Снял гетры, ботинки. (Ковалев следил за ним внимательно и молча. Из-под стельки вытащил письмо.)

— Вам,— протянул Ковалеву и начал греть голые тощие ноги у огня. Никита бросил брезгливый взгляд на скрюченные пальцы и стал читать. Тихо потрескивали дрова в печи. Кровавые пятна света застывали на холодном полу.

— Здесь пишут, что вам можно доверять,— произнес, наконец, Ковалев.

— Надеюсь,— беззаботно отозвался Бакинский.

— Как же это произошло?

— Что именно?

— Что мы очутились с тобой вместе, в одной организации?

— Блоке, хотите вы сказать? Против общего врага объединяются все силы.

— И этот враг?

Оба молча посмотрели в окно. Бакинский кивнул головой.

— Ты пришел в блок со стороны троцкистов? — спросил Ковалев.

— Да. Впрочем, я в то же время был близок и к другим боевым силам. Я был — между.

«Это похоже на него»,— подумал Ковалев. Инстинктивно он не доверял ему.

— Я не представляю себе,— произнес он,— на какой основе мы можем сговориться. Даже вот я и ты, только двое, но что общего у нас?

— Ненависть.

— Это много и мало. А дальше?

— Что дальше?

— Дальше, когда мы победим?

Бакинский беззаботно пожал плечами.

— Ну да,— продолжал Ковалев.— Когда мы победим, что дальше? Я мыслю себе Россию, как я привык понимать ее, а вы?

— Сговоримся.

— Мы не можем сговориться,— горячо воскликнул Ковалев.

— Напрасно думаешь. Кое в чем уже сговорились. Не мы. Мы с тобой рядовые солдаты. Но наши генералы уже сговорились.

— На чем же?

— Прежде всего на том, чтобы свергнуть ненавистный строй.

— Весь строй, весь уклад, все?

— Все,— коротко ответил Бакинский.

Они стояли лицом к лицу. Бакинский не вздрогнул.

— О! — прошептал Ковалев.— На этом можно договориться. А силы? Какие силы стоят за вами?

— Все недовольные.

— Но кто, кто конкретно?

— Недовольные политикой Сталина, недовольные коллективизацией, недовольные ликвидацией кулачества.

— Значит, и кулаки? Вы не боитесь этого слова?

— Мы не боимся никаких слов.

Ковалев бросил быстрый взгляд на него. О! Напрасно он боялся. Социализмом тут, слава богу, и не пахнет. Быстро же выветрился в нем этот душок.

— Ну, хорошо,— сказал он.— А методы?

Бакинский опустился на стул и протянул ноги к огню.

— Вот об этом я и приехал потолковать, Никита. Генерал недоволен вами.

— Мной?

— Тобою. Очень недоволен. Генерал рвет и мечет.

— Не чую за собой вины.

— Генерал говорит: «Не слышу Никиты Ковалева, не вижу Никиты Ковалева». Его слова. Передаю стенографически.

— А что я могу делать здесь, в этой дыре?

— То, что и все мы делаем. Растить кадры. На кого можно опереться у вас в полку?

— Я один.

— Маловато.

— Не так уж мало,— гордо возразил Ковалев.— Остальные народ неподходящий.

— Не верю. Найдите щели. Разговаривайте с людьми. Всегда найдутся недовольные. Есть, очевидно, люди, чьи семьи раскулачены, и несправедливо. Ищите. Беседуйте.

— Я не пропагандист. Я — строевик.

Бакинский засмеялся.

— Скоро найдется дело и строевикам. Генерал большие надежды возлагает на тебя в этом отношении. Я завидую.

— Ожидается война? — встрепенулся Никита.— Неужели? Господи! Война? Скажи — война. Я отстал здесь, в этой дыре. Неужто война.

— Война уже началась, Никита,— покачал головой Бакинский.— Боюсь, еще не та, которой ждешь ты, которой ждем все мы. Но война началась. Партизанская. Глухая. Из-за угла. Она только разгорается. Тебе найдется дело в ней. Я говорил Генералу о тебе. У тебя прекрасные задатки...

— Для кого? — глухо спросил Никита.

— Для террориста,— спокойно ответил Бакинский. Я,— он зябко повел плечами,— не могу похвастаться этими качествами.

Ковалев крупными шагами прошелся по комнате и подошел к Бакинскому.

— Что же. Я готов...

Увлеченные разговором, они не слышали робкого стука в дверь. Только когда она, распахнувшись, скрипнула, они испуганно обернулись.

В дверях стоял Алексей Гайдаш в полной караульной форме, с подсумком на поясе и с винтовкой.

Ковалев вздрогнул: уж не арест ли?

— Что такое? — спросил он нетерпеливо. Бакинский сжался у печи.

— Това...— Гайдаш не мог заставить себя произнести «товарищ» в обращении к Ковалеву. Он проглотил это слово и закончил: —...помощник начальника штаба, разрешите доложить. Вас немедленно требуют в штаб полка.

— Кто требует?

— Командир полка.

Вдруг Ковалев посмотрел на него: ведь это Гайдаш. Почему Гайдаш? Все казалось ему подозрительным и нелепым.

— Но почему тебя послали? — пробурчал он.

— Я в гарнизонном наряде,— ответил Гайдаш.— Посыльный при штабе полка.

Весь он был облеплен снегом. Нерешительно отряхивался. С шинели и шлема на пол падали хлопья снега.

— Метель на дворе, что ли? — спросил, одеваясь, Ковалев.

— Так точно. Пуржит.

— Холодно?

— Сыро.

Бакинский испуганно следил за двумя военными, которых он знал когда-то ребятами, с которыми дружил там, далеко, в маленьком городке среди степи. Все казалось ему сейчас дикой фантасмагорией — эта встреча, глухие разговоры, метель за решетчатым окном...

13

Шли молча в темноте. Ковалев впереди, Гайдаш почтительно сзади. Метель кружила по городу.

Ковалев поднял воротник шинели,— снег посыпался за шею. Досадливо поежился.

Сзади, приглушенные сугробами, шумели шаги Гайдаша. Ковалев все время слышал их за спиною, мягкие, глухие, настойчивые. Нельзя было избавиться от них. Они настигали, они становились его бредом. Навязчивые, глухие шаги... Тяжелое дыхание... Звяканье патронов в подсумке...

В лицо ударило снежным залпом. Оба ослепли. Ковалев выругался: «Почему я должен идти в ночь, в метель? Собачья жизнь!» Мохнатые сады метались в испуге. С гор срывались табуны снега и с шумом опрокидывались на съежившиеся дома. Город наклонило набок, опрокинуло в сугробы, метель секла его продольным огнем, все было раскосо, черт знает как...

Ковалев спотыкался. Дикая ночь! «Почему я должен идти? Почему Гайдаш? Я не пойду». Он упирался — и все же шел. Какая сила тащила его через сугробы? Неужели страх? Он злился на себя. Испугался? Ага! Гайдаша испугался? Неужто в самом деле испугался Гайдаша? Зачем меня зовет ночью командир полка? Открылось? Может быть, это арест? Я не пойду!» И все же он шел. Его тряс озноб. Снег падал за шею. Эти шаги сзади... Бред. Какой-то белесый, мутный бред... Все летит раскосо, черт знает как...

Вдруг где-то хлопнул выстрел. Ковалев прислушался. Что это? Он томительно ждал. Он хотел еще и еще выстрелов, урагана, огня, паники, шума, людей, тревоги... Расстрелять эту проклятую ночь, сжечь пулеметными вспышками,— он нашел бы покой в тревоге, охватившей полк, о нем забыли бы.

Но выстрелов не было. Снова тишина, свист метели, шаги сзади. Очевидно, часовому померещился враг в тумане. «Проклятая ночь! Надо думать о чем-либо постороннем, иначе сойдешь с ума». Этот выстрел... Убийство? Самоубийство? Короткий расчет с жизнью, один патрон в барабане, нажим указательным пальцем правой руки. «Курок надо спускать плавно. В такую ночь хорошо стреляться. В такую ночь либо стреляются, либо убивают. Когда-нибудь такой же ночью меня выведут в поле и шлепнут под плач пурги. Короткий залп, вскрик, труп. Может быть, даже сегодня ночью. Может быть, даже сейчас». Ему стало страшно. Проклятая кровь трусливых отцов! «Сифилитики, неврастеники, сибариты, пьяницы — они отравили нас. Они были храбры только на парадах да перед кучкой беззащитных забастовщиков. Как они драпали! — Он смахнул снег с ресниц.— Я выдавлю из себя их проклятую кровь. Выдавлю».— «А может быть, ее из тебя просто выпустят, как из зарезанного кочета?» — ехидно спросил он себя.— «Глупости! Не дамся! Ну? Не дамся. Не пойду. Ни за что не пойду!»

«Спокойнее, спокойнее!» — утешал он себя через минуту и стал, как обычно это делал, чтобы успокоиться, похлопывать ладонью по левой стороне груди. «Спокойнее. Разберемся. Ну? Чего ты испугался, дурачок? Гляди. Ничего нет». Такими же словами он обычно успокаивал пугливого жеребца. И так же похлопывал ладонью,— он заметил это и расхохотался. «Ничего нет. Дым. Темь. Нервы. Мне следовало бы быть крепче. Крепче. Крепче,— он повторил это слово, гипнотизируя себя.— Какую школу жизни я прошел? Какую школу? — он начинал хвастаться. Это тоже всегда успокаивало.— Она стоит десятка кадетских корпусов. Японская разведка — ничто, детский сад, ясли в сравнении со школой, которую я прошел.

Но эта ночь и шаги сзади... Еще раньше, чем он свершит то, к чему предназначила его судьба, он сопьется или сойдет с ума от этой бредовой двойной жизни. Бред, липкий, мокрый бред... Эти навязчивые шаги сзади... Всю жизнь — шаги сзади... Подозрительные взгляды сбоку, искоса. Осторожно щупающие, холодные пальцы... Иногда он их видит, чувствует — чаще только

кажется. Нервы? Барышня! Но эти шаги сзади... И лязганье винтовки... «Гайдаш, почему Гайдаш? Почему обязательно Гайдаш? Всюду Гайдаш, Гайдаши... скулы...»

Он остановился, завязнув в сугробе. Волны снега бились вокруг. Ему пришло в голову, что если остаться так стоять и не двигаться — занесет снегом. Сначала засыпет сапоги («отличные, кавказские мягкие сапоги!» — он пожалел их), потом ноги, потом туловище, наконец, все до шишака шлема. Все, чем был Никита Ковалев, превратится в бесформенный снежный холм. Заметет снегом город... Весь, с макушками минаретов, с крышами и трубами, все исчезнет, провалится, погрузится в мягкий пушистый снег — и уснет. Сон кладбища, покой. Хорошо-о-о!

«А я? А мои мечты? А игра, которую я затеял и которая приведет меня к власти и славе? Власть! Сладостное слово. Власть! Власть!» — Он часто на все лады повторял это свистящее слово, и оно обнадеживало, успокаивало, двигало. Гнулся в послушном молчании перед полковыми чинами, а про себя беззвучно шептал: «Власть!» Задыхался в пешем строю на горном марше и шептал: «Власть!» Изнывал в захолустном гарнизоне, но мечтал: «Власть! Власть! Власть!» Это слово стало паролем, девизом, знаменем.

Он торопливо выбрался из сугроба и прижался к стене дома. Что я хотел сделать? Сейчас? Немедленно? Да закурить. Это очень умно. Закурить. Вот. Он вытащил из кармана массивный серебряный портсигар (отцово наследство) и закурил.

Шаги сзади стихли. Проклятые шаги. Наконец-то они стихли.

«Я бы мог убить его сейчас,— подумал он,— ночь, метель, глушь. Никто бы и не увидел». Он зажмурил глаза и увидел все так, словно *это* уже произошло: короткий, глухой удар, пальцы на горле, синий труп,— не надо оружия, ни в каком случае не применять оружия, это выдаст убийцу. Удар — и пальцы. Убийца — ночь. Мертвые не просыпаются. Труп заметет снегом. Упал, замерз. Я не видел Гайдаша. Он не приходил ко мне.

«Мне приходится придумывать алиби,— брезгливо подумал он.— Вот что значит не иметь власти».

— Зачем вы остановились? — хрипло крикнул он Гайдашу.— Идите, я догоню вас.

Гайдаш медленно подходил к нему... Никита ждал его, судорожно сжав в руке портсигар. Он еще сам не верил, что *это* произойдет сейчас, здесь. Но *это* должно произойти. Надо перешагнуть через его труп.

— Нас ждут в штабе,— пробурчал Гайдаш. Он озяб. Постукивал сапогами.

Его фигура казалась Ковалеву мутной, расплывчатой, хотя и стояла рядом, исполосованная и заштрихованная косыми линиями метели. Просто белесая тень в ночи. Ее можно, как дым, развеять нетерпеливым движением руки. Он машет рукой перед собой. Но тень не пропадает. Все такая же съежившаяся, в нахохленном воротнике, иссеченная метелью, она присутствует здесь, дышит, постукивает сапогами, позвякивает винтовкой. О чем думает эта тень,— а она думает, мрачно насупившись. Что она знает, о чем догадывается, чем грозит, что будет делать? Это надо узнать, выпытать, вырвать сейчас, немедленно — через двадцать минут будет поздно. Непроницаемое лицо красноармейца злило его, он чувствовал, что уже не в силах сдерживаться.

И Гайдаш тоже искоса поглядывал на Ковалева, стараясь делать это так, чтобы тот не замечал его настороженных глаз и не приписал это трусости и страху смерти. Оба молчали, готовые к бою, к схватке — оба молчали и ждали, сами не зная чего.

Алексей не сомневался, когда шел с приказом командира полка на Нагорную улицу, что застанет там обоих: и Ковалева и Бакинского. Он усмехался, предчувствуя эту встречу. Он свалится к ним как снег на голову. Что они сделают? Испугаются ли? О, конечно, сдрейфят. Любопытно увидеть, каков Ковалев в испуге. Это презрительное хищное лицо вдруг станет жалким и дряблым.

Именно в эту минуту он вдруг вспомнил Семчика, но не таким, каким видел его в последний раз, а каким представлял себе, когда мчался на выручку: лежащим в багровой от крови пыли с судорожно скрюченными пальцами. Почему он вспомнил Семчика, когда уже ду-

мал о другом: о себе. Никогда раньше не думал он так много о себе, как в последнее время. Раньше он просто жил,— теперь жил, думал и осмысливал прожитое. «Это признак зрелости?» — спросил он себя. Но даже сама эта мысль показалась ему мальчишеской. Он вздохнул.

В эти дни не раз и не два разглядывал он, задумавшись, свою короткую жизнь. Но только сейчас, когда шел в берлогу Ковалева по завьюженной улице, прожитое представилось ему необычайно ярко и с неожиданной стороны, странно переплетенное с жизнью и смертью Семчика. Он даже удивился, почему раньше никогда не думал так.

Когда и как впервые узнал он горючее слово «враг»? Когда впервые почуял в себе биение благородного чувства ненависти? Иногда ему казалось, что это родилось вместе с ним под заплатанной толевой крышей маленького домика на Заводской. Вероятно, это и было так: воздух, которым он дышал, был опален ненавистью и любовью. Никогда не были так остры человеческие чувства, как в эти дни решительных схваток. Класс на класс! Алеша не был нейтральным.

Это он в девятнадцатом году крикнул босоногим ребятишкам, сбежавшимся на поросший ржавым бурьяном пустырь: «Пролетарские дети всех стран, соединяйтесь!» Это он, мальчик, стоял, сжав кулаки, перед окном белогвардейского Освага и плакал от бессильной злобы.

Он бил скаутов потому, что был мал, чтобы бить белогвардейцев. Он пошел в школу учиться, но там оказался Никита Ковалев — враг и сын врага, и Алексей полез с ним в драку. Он пошел потом в комсомол, но там оказался Глеб Кружан — и Алексей снова полез в драку и вышел из нее победителем. Он кожей ощущал врага,— какой же замечательный боец должен был получиться из него!

«И не получился? — спросил он себя.— Да, пока не получился!» — признался он, поеживаясь от холода.

Как потерял он эти необходимые качества? Откуда пришло к нему успокоение и благодушие, этакая умиротворенность и сытость, ожирение мозгов и малокровие чувств? Отчего?

Считал ли он когда-нибудь, что борьба кончилась? Нет, он просто забыл о ней, перестал думать об этом. А говорил ли? О, говорил и часто. «Мы окружены,— говорил он,— врагами. Мы должны,— говорил он (и морщился, сейчас вспоминая это),— держать порох сухим». Он горячо говорил обычно. Его считали отличным оратором, «с огоньком». Но это был сельтерский энтузиазм: в нем было много газа, но взорвать им ничего нельзя.

Кем же он стал в эти последние годы? Где-то на линии огня гремели выстрелы, закипали новые схватки. Партия, комсомол, рабочий класс переходили в наступление. А он?

«Политическим интендантом стал. Плохим к тому же, бездарным»,— он искал слова ядовитей, сильней. Издеваясь, он припоминал свои «мероприятия», конференцию невест, дискуссии. «Нужно ли комсомолке приданое?». «Можно ли употреблять пудру?» На линии огня уже падали первые герои — там пал Семчик, а он перестал дышать воздухом борьбы. Он отвык от порохового дыма. Он разучился ненавидеть и не научился любить.

Все это, неосознанное и бесформенное, бродило в нем и раньше, впервые родившись у постели умирающего Семчика. Но он быстро заглушал эти мысли. Потом возникла обида и закрыла все собою,— и свет солнца и дым битв.

Он вспоминал теперь, приближаясь к берлоге Ковалева, что всегда смутно чувствовал какую-то вину перед Семчиком. Он говорил себе, что нет этой вины. «Разве я убил его? Разве я виноват в том, что случилось?»

Но в чем-то была его вина, от сознания ее он никогда не мог отделаться. Может быть, в том, что послал Семчика в деревню? Нет. Это правильно. Но, может быть, в том, что поздно прискакал на выручку? Нет, он гнал коня, что было мочи. В чем же тогда его вина? Может быть, нужно было внимательнее следить за делами Звановки? Во всяком случае, не следовало смеяться над Семчиком, хваставшим, что кулаки его ненавидят и хотят убить. Как мог он проявить такое холодное равнодушие к товарищу? Но все же не только в этом была его вина. Может быть, в том, что он сам

не сумел жить, как Семчик? Эта мысль всегда мучила его, он гнал ее — непрошенная, она являлась снова и снова. Он часто спрашивал себя: «Я не умел жить, как Семчик. Но сумел бы я умереть, как он?» Он говорил: «Сумел бы».

И сейчас снова сказал себе даже увереннее, чем всегда: «Сумел бы!» И когда совсем уже подошел к дому Ковалева, нарочно, с показной беспечностью закинул винтовку за плечи и протянул руки. «С голыми руками иду. Ну?» Теперь он снова, после позорных лет, выходил на линию огня.

Но тут его поразила новая мысль: «Полно, Гайдаш, так ли это? Верно, что ты уже стал бойцом? А нет ли в этом ошибочки? Ты ведь идешь на Никиту Ковалева — на личного врага. Это случайность, что он одновременно и твой классовый враг, враг известный. Не велика мудрость разоблачить и уничтожить такого врага. Нет, нет,— говорил он себе тотчас же.— Это не случайность, что Ковалев — мой враг. Он личный враг мне только потому, что классовый он враг».— «Но ведь минут пять назад ты мечтал о том, как ты, именно ты, будешь торжествовать над ним!» — «Мне стыдно за эти мальчишеские мысли. Ну? Теперь доволен? Я иду на врага. Его зовут Ковалев. Тем лучше. Но там и Бакинский. Еще лучше. Я выхожу на линию огня».

Он чувствовал возбуждение, нетерпение. Он снова дышал воздухом борьбы. Снова запахло порохом. Надолго ли сохранит он в себе это благородное ощущение боя? Навсегда. Он хотел верить в это.

Так вошел он в логово к врагам. Он увидел: они испугались. Нет, он не ошибся. Бакинский пугливо прижался к печке. Ковалев вздрогнул; оба растерянно глядели на него, уличные воришки, пойманные за руки. Это была минута торжества Алексея Гайдаша. Но главное торжество было в том, что он и вида не показал, что торжествует, не улыбнулся, стоял сухой и колючий, осторожно стряхивал снег с шинели, односложно отвечал на вопросы командира.

Бредя сквозь метель за Ковалевым, он все время лихорадочно обдумывал, что делать дальше. Было ясно: борьба только начинается. «Нелегкая борьба,— признавался он себе.— Они отопрутся. Ковалев повернет дело

так, что я свожу с ним личные счеты. Все равно: отступать не буду». Настороженно следил он за всеми движениями врага. Бросал исподлобья осторожные взгляды. Молчал, готовый к схватке.

— Любопытная, знаешь ли, штука жизнь! — вдруг неожиданно засмеялся Ковалев. Алексей вздрогнул: какую штуку придумал противник? А Ковалев смеялся. Это было худшее, что он мог придумать, если хотел усыпить, успокоить или задобрить человека. Он не умел смеяться. Его смех был отрывист и зловещ. Ему больше шло, когда он чуть презрительно улыбался уголками властного рта. Все же он смеялся, как умел, и Гайдаш настороженно и нетерпеливо ждал, когда он кончит.

— Кто бы подумал!—восклицал, смеясь, Ковалев.— Где-то у черта на куличках, в городе, который и не сочинишь и который уж, конечно, никогда и не снился вам, вдруг встречаются три друга. Три старых школьных товарища. Фантастика! Что сводит их вместе? Ничего. Случай. Раньше сказали бы: рок, судьба. Но я не верю в провидение. А ты веришь, Гайдаш? — он бросил быстрый взгляд на красноармейца.

— Я верю в почту, телеграф и железную дорогу,— усмехнулся Алеша. Ковалев яростно взглянул на него: «Что он знает?» Ему мучительно захотелось узнать, что думает сейчас этот скуластый парень, хотя бы для этого пришлось взломать черепную коробку. Но он сдержался и даже неуверенно засмеялся вновь.

— Почта, телеграф, железные дороги! Люди придумали эти хитрости, чтобы уничтожить случай, свести все к закономерности, к математическому расчету. Ненавижу математику! Вот торжествует случай, ни я, ни Бакинский не списывались, он даже не знал, что я служу здесь, он свалился на меня, как метель на голову, нежданно-негаданно. И я, знаешь, я даже обрадовался, хотя...

— Я думаю! — воскликнул Гайдаш. Теперь он тоже подошел к крыльцу. Здесь было тише. Метель плясала по улице, задевая их косыми брызгами снега.

— Хотя,— словно не расслышав, продолжал Ковалев,— хотя я никогда не любил Бакинского. Это ты с ним водился, дружил.

— Я и с тобой чуть было не дружил. В ошибках я всегда охотно признаюсь.

— И напрасно эта дружба расстроилась. Она пригодилась бы тебе сейчас.

— Мне?

— Ну, не мне же, разумеется, тебе. Ты видел во мне врага. В мальчишеском фанатизме ты полагал, что раз я сын офицера, значит — враг. Но эпоха, брат Гайдаш, умнее тебя. Что же! Я стал твоим командиром и,— к черту ложную скромность! — более ценным для родины человеком, чем ты.

«Эти слова убили бы меня две недели назад. Теперь... теперь это только смешно,— радостно подумал Алеша. Теперь он был спокоен. Он разгадал игру Ковалева. Не выйдет, напрасно стараешься. Его забавляли эти признания в метель. Действительно, и в книге не придумаешь!

— Мы могли бы дружить с тобой, Алеша.— Против воли в голосе Ковалева прозвучало волнение. Черт побери, он был так одинок среди враждебных людей. В самом деле: он нуждался в друге. Пусть даже Гайдаш... Если его обработать...— Да, мы могли бы дружить, несмотря ни на что. Мы парни одного теста, из одной крутой кадки. Вот Бакинский — это кислятина. Встретил меня случайно на улице, полез целоваться. Мокрые губы... Брр... Противно... Путешествует, ищет экзотики... Стишки, вероятно, пишет... Стишки! — Ковалев фыркнул, подождал ответа. Гайдаш молчал. Ковалев снова закурил. Чиркая спичкой, осторожно взглянул в лицо Алексея. Оно показалось ему нахмуренным и желтым. Бросил спичку в снег. «Сукин сын»,— неожиданно подумал он.

«А может быть, и в самом деле случайная встреча? — заколебался Алеша.— Ведь встретил же я Вальку на улице, мог встретить и Ковалев.— «Но Бакинский искал Нагорную улицу, значит, знал, что там живет Никита. А как докажешь? Где факты?» — «Мог просто узнать адрес».— «Нет, нет,— кричало все в нем.— Враги не сходятся случайно. А как докажешь?» — «Я докажу!»

— Все-таки мы могли бы дружить,— нетерпеливо топнул ногой Никита.

— Никогда! — крикнул Гайдаш.— Никогда! — повторил он с силой.— Пошли! Нас ждут в штабе.

Ковалев вздрогнул. «Нас ждут в штабе... Да, да... Я знаю... Надо обдумать... Нас ждут в штабе. В такую ночь либо расстреливают, либо... либо убивают...»

«Смерть! Только смерть!» — подумал он, опять нервно чиркая спичкой и закуривая. И, странное дело, подумав о смерти, сразу стал спокоен. Все стало ясно и просто: один должен умереть. Он не хотел умирать. Зачем? Почему? Потому что на его блистательном пути возникло препятствие, камень на дороге. Но камень убирают. Это препятствие тоже можно убрать. Правда, это препятствие о двух ногах, о голове, с сердцем, нервами, чувствами, мыслями, мечтами, может быть, даже с творческими замыслами. Но это детали. Они не интересуют его. Он рассматривает Гайдаша только как препятствие... Человек — нет, препятствие. Камень на дороге. Камень можно убрать. *Это* препятствие тоже можно убрать. Значит — убить. Он не боялся слов. Даже в эту минуту, когда созрела в нем окончательно и осязаемо мысль об убийстве, он не стал искать оправдания.

Теперь он спокойно стал рассматривать убийство как очередную тактическую задачу, которую надо решить и решить быстро. Гайдаш нетерпеливо постукивал сапогами, его еще сдерживает дисциплина. Но это прорвется, он уйдет — и тогда будет поздно.

Никита вдруг подумал, что окурки и обгорелые спички, которые так щедро и нервно разбросал он здесь, могут служить уликой против него. Он ясно представил себе следователя с лупой: «Здесь стояли, курили. Марка папирос — «Рица». Кто курит «Рицу»? Он стал сапогом нагребать снег, потом усмехнулся: «О чем я хлопочу? Метель все занесет! — Он разозлился на себя: — О пустяках думаю, а главное — неясно. Главное: как технически (именно технически, он только так теперь на это смотрел), как технически выполнить убийство». В его голове уже созревал план, звено к звену ковалась цепь. Молча тронулся он вперед и опять услышал за собой тяжелые шаги Гайдаша.

Снова заплясала вокруг них метель. Ветры сшибались на перекрестках и все кружились по пустынным улицам, волоча за собой рваные хвосты. Противники,

спотыкаясь, брели по сугробам, прикрывая лица воротниками холодных и мокрых шинелей, вытянув вперед руки, словно нащупывая дорогу в белесой мгле. Иногда они сталкивались, чужие, ненавидящие друг друга люди,— метель прижимала их одного к другому, а потом разводила вновь и кружила в ночной снежной кутерьме. Они глухо перекликались сиплыми, простуженными голосами, они боялись потерять друг друга, а готовы были друг друга убить. Метель сшибала их вместе и вела, крутя и петляя, по улицам.

На плечах, воротнике, шлеме Гайдаша лежали горы снега. Он нес их на себе, как полную выкладку. Черт знает что! Дикая ночь, дурацкие разговоры. Скорей бы все это кончилось. «Это кончится, это скоро кончится. Теплая караулка... Ребята... Свои...»

Вдруг он услышал слабый стон впереди.

— Гайдаш! Помоги!

Он бросился на голос. Ковалев лежал в сугробе, лицом в снег.

— Я, кажется, вывихнул ногу, падая,— сказал он, приподнимаясь. Алексей помог ему, ругаясь и проклиная ночь, погоду, Ковалева.

— Спасибо! — сказал Ковалев.— Нет, ничего. Нога действует. Кури! — протянул он Гайдашу массивный портсигар.

— Не буду,— хрипло отказался Алеша.— Пошли.

— Трубку мира? Ну? — и вдруг, размахнувшись со всей силы, ударил красноармейца тяжелым портсигаром в висок.

Ковалев увидел, как, зашатавшись, рухнул на снег Алексей Гайдаш, жалобно звякнула винтовка, ударившись обо что-то. Он прислушался: ни стона, ни крика. «Теперь пальцы,— подумал он.— Он, может быть, только потерял сознание».—Он содрал перчатку с правой руки, но рука сразу озябла, и он снова надел перчатку, упал на колени возле Гайдаша и потянулся к горлу. Крючок воротника шинели оцарапал его пальцы сквозь перчатку. Он рванул со злостью воротник, но затем крючок гимнастерки снова оцарапал его. Его пальцы пробирались к горлу поверженного врага сквозь десятки препятствий. Он нетерпеливо преодолевал их, торопясь и начиная дрожать от страха. Вот, наконец, прикусив

губу, он надавил озябшими пальцами на глотку. Беспорядочные мысли путались. «Я не умею! Я не умею! — чуть не закричал он.— Здесь должна быть где-то сонная артерия. Достаточно нажать... Но я не знаю... Не умею... меня должны были научить этому».

Его бил озноб. «Это с непривычки,— утешал он себя. — Убийство, как и всякое ремесло на свете, требует навыка и практики». Потом мелькнуло: «Черная работа! Потом другие будут делать ее за меня». Он услышал, наконец, хрипение. Обрадованно захрипел сам: «А-а! Сдыхаешь!»

Вдруг его испугало что-то, какая-то тень, даже тень тени, нечто, не имеющее ни формы, ни цвета, ни запаха. Может быть, этого и не было в реальном мире. Но он испугался и вскочил на ноги. Никого и ничего вокруг. Он убеждал себя: «Ничего нет! Это только страх. Ты привыкнешь!» Но он уже не мог заставить себя наклониться к трупу. Он не мог заставить себя остаться на месте. Хотелось скорей убежать отсюда. Прочь. Скорей! «Трус! Проклятый трус! А что, если он еще жив?» Он прислушался — Гайдаш уже не хрипел. И тогда никакая воля не могла задержать Ковалева на месте. Он бросился бежать, и ему казалось, что за ним мчатся люди, весь полк гонится за ним,— и слышал он уж и цокот погони, и вой собак, и крики: «Ату его, ату!» Потрясенный, ворвался он домой, с шумом захлопнул за собой дверь и, обессиленный, повис на ней. Так ждал он, тяжело дыша, несколько минут. Ему казалось, что сейчас раздастся требовательный стук в дверь и лязганье оружия. Но все было тихо за дверью — только пурга бесновалась.

Медленно выпрямился он. Перестали колотиться в испуге зубы. Успокоились руки, утихли колени. Только тогда он вошел, наконец, спокойный и прямой, в комнату, где ждал его Бакинский.

14

Бакинский нетерпеливо бросился к нему навстречу.

— Зачем вызывали? — он осекся, встретив странный, пустой взгляд Никиты.

— Меня не вы-зы-ва-ли,— произнес Никита.

Медленно стаскивал он перчатки с рук. Вдруг он заметил бурые пятна на них. «Что это? Кровь?» — Он опять почувствовал, что зубы начинают дрожать. «Чья это кровь?» — Он посмотрел на свои пальцы. На них крови не было, только мелкие царапины от крючков. Он бросился тогда к печке и швырнул перчатки в огонь. Они зашипели и вспыхнули ярким пламенем. Теперь на полу появились яркие пятна.

«А портсигар?» — догадался Никита. Он вытащил портсигар из кармана. И на нем были бурые, засохшие пятна. Кровь, всюду кровь. Проклятая кровь убитого. Он стал тщательно вытирать ее платком. Он бросил платок в огонь. Потом вспомнил о кармане, в котором лежал портсигар, выдрал карман — бурые пятна крови были и здесь — и тоже бросил в огонь. Он готов был и сам броситься вслед за вещами в огонь, чтобы очиститься,— ему казалось, пятна крови горят у него на щеках, на руках, на лбу.

Бакинский следил за ним испуганным взглядом.

— Ты убил его? — наконец прошептал он. Никита нетерпеливо пожал плечами.

— Что же делать? Что же делать? — испуганно заметался по комнате Бакинский.— Сейчас все обнаружится... надо спасаться... Надо бежать...— Он метался по комнате, опрокидывая вещи, спотыкаясь, хватаясь то за пальто, то за чемодан.— Что делать? — стонал он и плакал.— Что ты наделал?

— Сядь,— брезгливо скомандовал ему Ковалев.— Сядь и молчи.— Медленно стащил он с себя шинель, повесил на крюк на стене. Снова подошел к печке. Тряпки догорали. Он засмеялся сухим, колючим смехом.

— Ну вот, теперь все в порядке.

С удивлением рассматривал он свои пальцы. Его поразило, что они остались такими же, как были. Белые холеные пальцы с розоватыми острыми ногтями. А ведь он душил ими человека. Человека — творца природы. Он захохотал. Его смех успокоил Бакинского.

— Никто не видел? А, понимаю. Да, он не приходил сюда. Хозяева ничего не знают. Да, да, понимаю. Восхищаюсь. Но как, как это произошло? — шептал он.— Ты застрелил его? Это неосторожно.— Он поморщился.— Нужно было душить,— он пошевелил своими

бледными скрюченными пальцами.— А, ты так и сделал? Хорошо! А он? Он хрипел? Барахтался?

Почувствовав себя в безопасности, Бакинский говорил и говорил об убийстве. Он хотел подробностей. Он выспрашивал со жгучим и болезненным любопытством о всех деталях, и даже Ковалеву показался отвратительным этот сладострастный шепот сообщника. Но он не мог побороть искушения и стал хвастаться. Теперь, когда весь ужас остался позади, ему казалось, что держал он себя во время этой сложной и трудной операции молодецки. Все его действия были исполнены смысла и осторожности. Как спокойно и ловко провел он всю партию до конца. Это была симфония, разыгранная опытным дирижером. Он хотел, чтоб об этом стало известно Генералу. Теперь Генерал может убедиться в том, что Ковалев достоин больших дел и серьезных поручений. Искоса он следил за приятелем. Тот сидел, зажав по своей привычке руки между коленями и сгорбившись.

— Я завидую тебе, Никита! — вздохнул Бакинский.— Вот ты убил человека. Этими пальцами... Я бы не смог... Тем более Гайдаша. Бедный Алеша! А ведь я любил его. Мы были, как это пишется в «Золотой библиотеке», друзьями детства. У него были красивые ясные глаза, немного азиатские, но умные и смелые. Странно говорить об Алексее «он был». Всего три часа тому назад он стоял здесь у порога,— он вздрогнул и боязливо посмотрел на дверь.— Как странно! Он жил, рос, мечтал. Но вот пришли мы — и нет его. А я любил. Искренне любил и верил в него. Несмотря ни на что... Знаешь, детство... Романтика юной дружбы. Я всегда был сентиментален. Видишь, плачу? — Он встал и высморкался.— Так его нет уж больше в живых? Как странно! Но мы все умрем. Жизнь — это...

Его болтовня становилась невыносимой. Она вызывала в памяти Никиты образ человека, которого он хотел бы скорее забыть. Резко оборвал он Бакинского и снова стал говорить о себе, о своих планах, о том, что ему нужно вырваться, наконец, из этого захолустного гарнизона. Он не мог себе отказать в удовольствии уколоть сообщника:

— Я устранил Гайдаша только потому, что знал: ты сдрейфишь на первом же допросе и выдашь всех.

Бакинский сделал протестующее движение. Но Ковалев только презрительно и брезгливо улыбнулся — уголками рта.

15

...Он помнил только, что когда через долгие часы пришел в себя, то очень обрадовался тому, что жив. Жив! жив! Он трогал рукой снег и чувствовал его холод. Он поднял руку, подышал на нее — и почувствовал тепло. Он дышал и видел, как клубится пар — это его дыхание, это — жизнь! Он увидел, как подымается в горах бледный рассвет, как стихает метель, он услышал свист ветра и скрип деревьев. Он был жив, мокрые хлопья снега таяли на его лице.

— Жив! — он закричал это. Крик вырвался из его груди как стон, как радостный вопль. Никогда не думал он, что так хорошо чувствовать себя живым! А-а! Он будет жить! Мять траву... Целовать Шушанику... Он увидит весну, лето и осень... Он вернется в Донбасс... Мать... Товарищи... Он будет бродить... плыть... летать... бегать... Степь в цвету... Дальняя дорога...

Но голова, бедная голова, как все туманно в ней! Нестерпимая боль в затылке... Кузницы в висках... Кто-то бьет, бьет молотками... Остановитесь! Я так еще слаб!..— Как в бреду вспоминал он то, что случилось с ним. Он шел, нет, наклонялся... Потом удар... Вдруг отчетливо представилось лицо Ковалева в тот момент, когда наносил он свой удар. Перекошенное злобой лицо, закушенные губы... Алексей закрыл глаза — но снова видел это лицо мертвенно-синее и закушенные со злостью губы.

— Ну, бей, бей! — прошептал он тихо.— Бей. Что же? Боишься?

— Боишься? Боишься? — шипел он.— Меня боишься? Полуживого? Что ты кричишь? Я не слышу.

— Врешь! — закричал он хрипло.— Врешь, меня нельзя убить, врешь!

Он бормотал еще много раз:

— Врешь, врешь, врешь...

Потом сказал:

— Уйди! Я один пойду. Мне надо идти.

Он открыл глаза. По-прежнему лежал он в сугробе. Робкие тени рассвета... «Что же я лежу? Мне надо идти... Меня ждут... Надо идти... Надо сказать... Враги в городе... Враги... Враги...» Он попытался встать, но с ужасом понял, что тело не повинуется ему. Со злостью рванулся вперед и, застонав от боли, упал.

Странную слабость чувствовал он во всем теле. Словно все было переломано, перебито и сам он — мешок костей, выброшенный на свалку.

«Значит, я все-таки умру»,— испуганно подумал он и опустил голову. Она мягко стукнулась затылком о снег.

Долго лежал он так, глядя в небо чуть приоткрытыми, опухшими глазами.

«Это я в последний раз вижу небо... Надо запомнить... Серое... Чудесное...»

— Но я не могу, не должен умереть! — застонал он, споря с кем-то.— Я ничего не сделал, не видел... Я хочу многое еще сделать... Я хочу жить! Ну-у!

С криком выбросил он вперед непокорные руки и, обессиленный, тяжело дыша, опрокинулся назад.

— Кончено...

Он лежал на спине и тихо стонал.

— Вот умираю... Кончено... Хорошо, пусть... Как Семчик... Тяжело дышать... Больно мне... Больно... Тяжелая какая голова... Хорошо. Пусть. Пусть... Ох! Пить! Сухо...

«А они? — вдруг мелькнула мысль.— А они? Ковалев и Бакинский? Они будут жить? Они будут бродить по земле? Их дыхание... гнусное... нашим воздухом... когда для меня воздуха нет... О!»

Он стиснул зубы и, плача от боли, стал переворачиваться со спины на живот.

— Врешь! — хрипел он.— Врешь!

Теперь все свои силы и волю призвал он на помощь. Перевернуться! Он старался не стонать и не плакать. Медленно и осторожно, экономя остатки сил, подымал он левую руку и туловище. Локтем правой руки уперся

в снег. На ноги он не надеялся, они были не его, чужие, налитые чудовищной тяжестью. Он передохнул, стараясь сохранить все завоеванные позиции. Локоть дрожал. «Ничего, ничего, сейчас... Еще немного... Ну!» — и, собрав остатки сил, разом перевернулся на живот.

Измученный, он припал горячим лицом к снегу и стал лизать его, фыркая и задыхаясь. Потом впился губами в мягкую холодную кашицу. Стал глотать... Все обожгло внутри... Приятная судорога... Стало легче... Хорошо.

Медленно пополз он вперед, упираясь локтями, в которые верил все больше и больше, и волоча тяжелые, не свои ноги. «Врешь! Доползу! Надо! Врешь! Доползу!» В его сознании, то угасающем, то необыкновенно остром, теперь жила только одна эта мысль: «Доползти». Он стискивал зубы и упрямо шептал: «Доползу!» Каждое движение вызывало в нем боль, каждый сантиметр дороги он оплачивал нестерпимой мукой. Он старался сначала не стонать и не жаловаться, но заметил, что если стонать — боль переносится легче. Он стал тогда стонать чаще. Никто не слышал его, он мог стонать и плакать, но думал он упрямо одно: «Доползу!»

Но что-то он забыл сделать, и это мучило его. Ему все казалось, что он что-то забыл, но не мог вспомнить что. Ему казалось, что если бы он вспомнил — стало бы легче. Но вспомнить не мог. И это мешало ползти. Это мучило. И тут нельзя было помочь стоном. Он все оглядывался назад и все не мог вспомнить.

И вдруг вспомнил: с ним нет винтовки. Он испугался и, кажется, даже заплакал. «Как же я явлюсь без винтовки?» Он лежал потрясенный и сразу ослабевший и царапал ногтями снег. «47382» — зачем-то вспомнил он номер своей винтовки и снова заплакал детскими горькими слезами.

Потом он медленно пополз назад. Он тащился теперь по своему старому следу. Он узнавал его — длинная волнистая полоса, его телом, как плугом, пропаханная.

Он долго искал винтовку, вероятно, ее занесло снегом. Но место, где упал, он нашел сразу. Тут броси-

лись в глаза черные пятна на снегу, которых не видел раньше. Ему показалось, что это кровь. «Чья же это кровь?» — подумал он испуганно и невольно провел рукой по виску. Вскрикнул от боли.

— Ты попомнишь эту кровь, Никита,— пробормотал он.— Попомнишь!

Осторожно стал он ползать и шарить рукою по снегу. Его рука, казалось, уже не чувствовала холода, она словно одеревенела. Он рылся в снегу, как крот, забыв о боли, и только дышал трудно и прерывисто. «47382... Мне давал ее командир роты... Я клялся... 47382... Каштановая... Шу...» Вдруг что-то обожгло его руку. Он догадался и обрадовался: это железо. Он разгреб снег и вытащил винтовку. Ласково смахнул с нее рукавом снег. С нею почувствовал он себя сильнее.

Снова пополз он, упираясь локтем и винтовкой, по старому следу. Только теперь он увидел, что по снегу, вдоль всего следа, с левой стороны, все время попадаются багрово-черные, похожие на ягоды мерзлые шарики. Теперь он знал, что это за ягоды: это его кровь. Капли его крови. Кровавым следом полз он на дрожащих локтях и упрямо шептал: «Доползу! Попомнишь, Никита!»

Все еще пустынной была улица, хоть серые тени рассвета уже дрожали на ней. Метель улеглась. Тихо было в этот ранний час в сонном городе, засыпанном снегом. Только он один волочил свое измученное тело по сугробам, но и он начинал чувствовать, что больше не в силах ползти.

«Еще, еще немного,— уговаривал он себя. Не себя даже, а свои локти, ноги, тело. Он умолял их: — Ну, еще, еще немного. Вы отдохнете, милые мои руки, бедные ноги». Он узнавал улицы, по которым полз, и дома, и общественные здания. Странно отчетливо работала его голова, в то время как тело отказывалось работать. Теперь он двигался вперед одними нервами. Одной волей. Мыслью: «Надо. Надо доползти».

Но он не мог ползти больше. Он готов был расплакаться, как ребенок, признавая это. Он уткнулся лицом в снег и тихо стонал от боли и стыда. Он был беспомощен и жалок. Он должен был умереть.

На его шею и голову, с которой скатился шлем, медленно падал снежок. Странное спокойствие охватило его. Уснуть. Умереть — все равно. Сладко отдыхало измученное тело. Захотелось уснуть. Он закрыл глаза, и родные степи поплыли перед ним. Нестерпимо цвели они, как никогда не цвели в жизни. Он узнавал мохнатые подорожники, и седой ковыль, и скромные васильки,— но многих цветов и трав, самых ярких и красивых, не знал вовсе. Они цвели, раскрывались, покачивались перед ним, но — странно — совсем не имели запаха и были холодны и влажны на ощупь. Он полз среди трав, ласкаясь об их шелковистые ткани, трогая их руками, языком, кожей щек. Странно, что они были такими холодными. Он хотел зарыться в траве и лежать покойно и тихо, но трава скользила и влекла его, и вот он полз, полз по мокрой и скользкой дорожке сквозь длинную, влажную степь, и не было конца дорожке...

— Мне не надо... Мне никуда не надо... Мне ничего не надо... Покой...— бормотал он и снова скользил и скользил, плыл по зеленой траве, как по реке.

Так он лежал долго, но сколько — не знал сам. Ему казалось, что целую вечность. Чудесные картины, одна фантастичнее другой, проплывали перед ним — теплое синее море, незнакомые страны, странные деревья, с которых как плоды свисали голубые льдинки, ягоды, похожие на капли замерзшей крови...

Когда он очнулся, на улице все так же было тихо и пустынно. Сколько прошло — минута, час, год? Он не в силах был больше двигаться. Он чувствовал себя сейчас хорошо и покойно. Бездумно лежал он на снегу, смежив усталые веки. Он слышал тихий звон в ушах, тонкий звон, как пение комара.

«Меня похоронят с музыкой,— внезапно подумал он.— Старик капельмейстер... усатый... А впереди него мальчишки... Товарищи скажут: «Он был не плохой парень, но умер зря». И никто не узнает, как Алексей Гайдаш замерз в метель. А они? Убийцы? Они пойдут за гробом. И будут смеяться в душе и корчить печальные лица. Проклятые.

Он должен ползти. Но локти, но ноги... Через час проснется улица,— меня подберут. А что, если за этот

час я умру? Я не знаю... сколько мне отпущено жить... Никто не узнает, что в городе враги... Они будут смеяться... над моим гробом... Они будут...»

Он снова полз. Терял сознание. Стонал. Всхлипывал. Задыхался. И опять полз в полубреду, крепко охватив оцепеневшими пальцами винтовку и прижав ее к себе.

...И когда он увидел, наконец, мутное здание штаба и призрачную, раздвоенную фигуру часового в тулупе и услышал откуда-то издалека глухое и невнятное: «Кто идет?» — откуда взялись в нем силы, чтобы встать, наконец, на ноги и, шатаясь, но не падая, пойти на часового?! Окровавленный, весь в снегу, он шел, волоча за собой винтовку, вскинуть которую на плечо уже не хватило силы.

— Это я, я, Гайдаш! — закричал он удивленному часовому и рухнул наземь.

Когда он очнулся, он лежал уже в постели, в лазарете. Над ним наклонялась Шу. Странное дело: она была в фантастическом наряде. Он понимающе улыбнулся. Это было только радостное продолжение фантастических и бесформенных видений, которые не покидали его.

— Снится,— сказал он себе.

— Нет,— ответила Шу.— Это я, Шушаник. Я переменю лед.

— Лед! Это хорошо: лед, снег... Я не знал, что кровь замерзает ягодами...— Он увидел ее испуганный взгляд.— Почему ты боишься меня, Шу,— я буду жить...

— Будешь, будешь...

— И плясать... с тобой... в клубе... Я хотел... сегодня... Но я забыл тебе сказать, Шу, милая... Я ведь не умею... да, не умею танцевать...

— Ты научишься...

— Выучусь... Да... Я выучусь... Хорошо... Мне хорошо... Иду по траве... скользкая...

Вдруг он испуганно поднял голову:

— Почему же не идет командир полка? Мне нужно говорить с командиром полка.

— Он придет. Ты успокойся. Вот поправишься, он придет.

— Да нет... Он нужен сейчас... Я ведь все время умоляю вас... позовите командира полка...

— Ты бредишь, милый, успокойся...

— Нет... Зачем вы меня мучаете? — Он нетерпеливо заметался в постели.— Скорей... Скорей командира... Будет поздно... Не мучьте меня... скорей командира.

Около его постели засуетились врачи.

— Лед на голову,— услышал он чей-то торопливый шепот.— Бредит.

— К черту! — закричал он, с неожиданной силой сбрасывая одеяло.— К черту лед! Пустите. Я пойду. Я должен идти. Зачем вы схватили меня? Пустите!..— закричал он в исступлении и вскочил с кровати. Он был страшен — худой и бледный, в длинной больничной рубахе, с головой, перевязанной бинтами. Они отпрянули от него, но потом снова бросились, пытаясь успокоить и уложить в кровать. Он рвался из рук, кричал и плакал.

Но в это время вошел командир полка. Увидев его, Алексей сразу успокоился и даже улыбнулся. Потом опомнился и стал приподниматься на кровати, но закачался и упал. Когда он открыл глаза, вздохнув от боли, они были одни — он и командир полка. Петр Филиппович наклонился над ним, его лицо было испуганно и озабоченно.

— Ничего, ничего,— прошептал Алексей,— мне лучше.

Кого-то напоминало Алеше худощавое с глубокими резкими морщинами лицо командира полка, его рыжие усы, седоватые на концах, запрятанная в них добрая и печальная улыбка — все было знакомо давно, с детства.

И Алеша вдруг почувствовал себя маленьким босоногим мальчиком, ему захотелось заплакать и пожаловаться, как в детстве: «Больно, дядя... очень больно мне... Тут»,— показал он на голову.

Он услышал как сквозь сон:

— Ну, товарищ Гайдаш, что же произошло с вами ночью, когда я послал вас к помощнику начальника штаба?

На прощанье командир полка сказал ему:

— Поправляйтесь, Гайдаш. Скорее поправляйтесь. Хочу увидеть вас молодцом в строю.— Он ласково похлопал ладонью по одеялу и встал.

В дверях он обернулся и прибавил:

— Я там Прасковье Максимовне сказал. Она тебе пришлет печеного-вареного.

Алеша слыхал про Прасковью Максимовну — жену командира полка, полковницу, как ее все звали. Командиры любили бывать у Петра Филипповича в гостях. Полковница, засучив рукава, знатно стряпала сибирские пельмени. «Это хорошо,— подумал Алеша.— Сибирские пельмени на южной границе».

Но он почувствовал себя таким расслабленным и обессиленным, что даже улыбнуться не мог. Словно вся его воля, нервы, чувства, напружиненные только для этой беседы, теперь распустились. Он мог болеть, умирать или выздоравливать — все равно. Он мог плакать, стонать, ныть, бредить — все равно. В своем теле он ощущал странную слабость и легкость. «Это и есть смерть?» — равнодушно подумал он.

Иногда ему казалось, что он уже умер. Он видел себя в гробу. Слышал даже плач над собой. Видел печальные лица товарищей. Они несли его на плечах. Он покачивался... Траурно рыдал оркестр... «Я умер,— думал он.— Хорошо. Покой. Я умер».

Часто он чувствовал на своем лбу чью-то мягкую, ласковую руку. Не открывая глаз, он знал, что это Шу. Он видел ее часто то в белом больничном халате, то в черкеске, такой, какая была на ней в то утро. «Шу»,— беззвучно шептал он. Однажды он услышал, кто-то сказал: «Надеюсь на его железный организм». Кто-то входил, спрашивал, уходил осторожно, на цыпочках, лязгая железками армейских сапог. Но видел Алексей только ее одну — Шушанику. Она была все время с ним — в бреду или наяву, он не знал...

16

Когда он вышел, наконец, из госпиталя, мир показался ему необычайно новым и юным. Словно только что родившиеся блестели на солнце горы. Снег был чист,— вероятно, только что выпал. На всем лежала как бы ребяческая улыбка, улыбка младенца на припухлых, радостно открытых устах.

Показались Алеше новыми и необычными и кирпичные стены казарм. Это по ним, оказывается, тосковал он, нетерпеливо метался на больничной кровати. Сейчас он войдет в этот пропахший теплом и людьми дом, увидит свою койку с несмятым одеялом — у него нет другой койки и другого дома; встретит радостные, веселые лица товарищей — у него нет других товарищей, услышит бой хриплых часов над столиком дневального.

Смущенно и взволнованно переживал он свое возвращение в жизнь. Осторожно, неуверенно ступая по дорожкам, слышал, как хрустит под ногами морозный снег. Снова таяли на теплом лице снежинки — он был жив и будет жить долго и хорошо.

У дверей казармы его встретил Конопатин. Они сердечно обнялись.

— Заходи, заходи! — весело, но осторожно, как больного, похлопывал его Конопатин по плечу.— Входи, старушка казарма рада тебе, хоть ты теперь и не наш.

— Не ваш? — пробормотал Алеша, неуверенно входя в знакомые сени. Он направился к своей койке, но удивленно заметил чужой сундук под нею, чужое имя на табличке над койкой.

— Считали, что умру? — глухо сказал он.

— Что ты, что ты, чудак! — растерялся политрук.— Разве ты не знаешь? Не помнишь? Ты ведь теперь в полковой школе. Первая ступень кончилась... Научили мы тебя, чему могли... И — большому кораблю большое и плавание... Плыви в командиры, Алексей Гайдаш! — Он говорил все это смущенно, вглядываясь в лицо Алеши. Он не знал, как надо говорить с больным. Он растерялся.

— Да... правда ведь...— виновато улыбнулся Алеша, и его лицо обмякло, глаза радостно заблестели.— А я уж подумал было...

— И не думай. Глупо. Весь полк, брат, над твоим здоровьем дышал. Хоть бюллетени печатай! Состояние здоровья курсанта Гайдаша...

— Да, теперь ведь курсант. Дышал, говоришь?

— Толпы стояли у лазарета... Врачей на части рвали...— Конопатин, увлекаясь, вдохновенно врал. Но он видел, что это приятно Алеше. И, извиняя себя, думал: «А разве вру? Ведь точно. Все над ним дрожали. Свой ведь человек».

— Доставил я вам хлопот...— смутился Алеша, но ему было несказанно приятно, что полк заботился о нем.

— Тобой и жили! Да что там! Придешь в школу, сам увидишь. Дай-ка я тебя проведу туда. Сдам с рук на руки новому начальству. «Вот мы, похвастаюсь, какого вам курсанта подготовили». Пошли, что ли? — Он говорил уже на ходу, успокоенный и обрадованный тем, что Алеша здоров, «в ясном сознании и отличном настроении».— Приказывать тебе теперь не смею, больше я тебе не командир, но друг — всегда.

— Я знаю,— прошептал Алеша.— Ты...— Он хотел что-то еще сказать, но махнул рукой. Конопатин смутился. И в неловком, но трогательном молчании зашагали по дороге вниз, к школе.

Только на плацу, у самой школы, Алексей спросил, наконец, о том, о чем давно хотел спросить и в лазарете, да некогда было.

— Ковалева где судить будут?

— Ковалева? — растерялся опять политрук.— Ты разве не знаешь?

— Что?

— Он бежал ведь... в ту же ночь...

— Бежал! — закричал Алексей и остановился, схватив за рукав Конопатина.— Бежал?!

— Да. Такое дело,— развел руками Конопатин, словно он был виноват в том, что Ковалев бежал.— Понимаешь, когда ты добрался до штаба и упал без сознания, дежурный писарь растерялся. Никого из командиров в штабе не было. Ночное дело.

— А командир полка? Он ведь ждал Ковалева. Я за Ковалевым по его приказу ходил.

— В том-то и дело, что не стал дожидаться, ушел. Оставил Ковалеву записку. Там какие-то бумаги округ требовал.

— Ну?

— Ну, дежурный писарь и послал вестовых. Одного к командиру полка. Другого — к коменданту гарнизона. Сообщить о происшествии. Ну, а комендант-то Ковалев...

— Убежал...— прошептал Алеша. Ему показалось, что тень надвинулась на горы. Все потемнело. Он зашатался и чуть не упал. Конопатин испуганно поддержал его.

— Рано ты из госпиталя вышел,— пробурчал он.

— Рано? Нет. Поздно. Поздно. Убежал!

— Поймают.

— И Бакинский убежал... Оба... Бродят сейчас... по нашей стране... Воздухом нашим дышат...— Конопатин растерянно слушал его.— Встретиться бы мне с ними сейчас! Эх, встретиться бы!..— Его глаза лихорадочно блестели. Он выпустил руку Конопатина из своих рук и померкнувшим взглядом обвел горы. Но их безмятежная краса не успокоила его как всегда, а наполнила новым и непонятным еще беспокойством.

— Сколько их... Ковалевых, Бакинских,— произнес он тихо, не обращаясь ни к Конопатину, ни к себе.— Сколько их... бродит по нашей стране... между нами... рядом тут...

И еще одна горькая мысль отравила ему радостное возвращение в жизнь: Шу не пришла, не встретила. Он ждал ее все утро в лазарете, он хотел поблагодарить ее, сказать: «Ты выходила меня. Спасибо. Как мне благодарить тебя? Я готов умереть за тебя». Он знал, она рассмеется, скажет: «Глупый кацо, неблагодарный кацо. Тебя вырвали из лап смерти, и вот ты хочешь умереть». Но она не пришла, просто не пришла. Напрасно поглядывал он то на дверь, то в окно, напрасно оттягивал церемонию выписки из лазарета, напрасно сидел на крылечке — ее не было. Он сказал себе: «Просчитаю

до тысячи и, если ее не будет, уйду». Он насчитал много тысяч, сбился со счета и все не уходил. Уже несколько дней не была Шу у его койки. Она вовсе перестала ходить в госпиталь. И он знал, с каких пор — с того дня, как ему стало лучше. «Ну вот, генацвале,— сказала она торжествующе,— ты поправляешься, молодец!» И больше не приходила. «Значит, я беспокоил ее только как больной?» Он вспоминал из рассказов Шу, что ей часто приходилось дежурить у постели тяжело раненных или больных пограничников. Она несла свою вахту терпеливо и мужественно, маленькая, тоненькая сестра милосердия; ребята и звали ее «сестрицей», раненые командиры — «дочкой», а он, безмозглый, осмелился думать о ней как о возлюбленной. Тогда поребячески захотелось ему снова заболеть тяжело, безнадежно. «Вот тогда узнаешь,— думал он о Шу,— тогда пожалеешь!» Но жизнь бурно возвращалась в его исхудалое тело. С ужасом чуял он в себе волчий аппетит. Его зубы крепко рвали пищу. Его щеки снова запылали румянцем. Не хватало еще, чтобы он потолстел в лазарете!

«Но она придет в день выхода из лазарета»,— надеялся он. Она не пришла.

Ребята встретили его тепло и сердечно. Они проводили его до койки. Тут стоял уже и его чемодан, лежали вещи. Они показали ему винтовку в пирамиде. Он озабоченно взял ее. «47382» — прочел он. Он вскинул ее и заглянул в канал ствола. Канал серебрился, в нем играло солнце, маленькое солнце, солнце его винтовки, тонкие струйки его блестели и переливались на смазке.

— Кто? — спросил он взволнованно, готовый расплакаться от благодарности и счастья.

— Все,— ответил смущенно Рунич.— Все чистили по очереди. Такое дело, брат! — Он развел руками.

Алеша крепко схватил его руку и пожал ее. Он молча жал руки всем до одного. Мужчины. Они стыдились своих чувств. Не много слов было сказано между ними. Даже Рунич не мог пошутить. Все испытывали трогательное волнение, они казались себе сейчас до непростительности хорошими парнями. И Алеша был неправдоподобно хорош, они не знали, что говорить и что де-

лать. И только Ляшенко, спокойный, как всегда, подошел к Алеше и протянул ему кисет.

— Угощайся, друг. Отличный табачок — сухумский...

«А она не пришла»,— думал, укладываясь спать, потрясенный встречей в школе Алеша. «Она не пришла». Это уже не могло затмить радостного сияния дня, но подернуло его легкой, неуловимой, печальной тенью. И с еще большей благодарностью подумал, засыпая, Алеша о товарищах. Они храпели рядом.

Утром его разбудило оглушительное «подымайсь!», от которого он успел отвыкнуть в околодке. Праздник кончился — начинались будни. Он заторопился. Неловко было показать себя больным и слабым. На перекличке он стоял рядом с Руничем, Сташевским, Ляшенко. Он снова был с ними в одном отделении; теперь они назывались курсантами.

— Гайдаш! — воскликнул дежурный.

— Я!

Он был в строю. Взглянув направо, он видел грудь четвертого человека. Кто-то равнялся по его груди. Все вместе они составляли шеренгу, роту, полк.

И забота, охватившая сегодня весь полк, стала и его личной заботой: в полк приехал командующий округом.

Как всегда, он нагрянул нежданно-негаданно. Вызвал к себе ночью командира полка и заявил, что будет проверять стрелковую подготовку и — больше ничего.

Командир полка вышел от него и, задумчиво почесывая щеку, посмотрел на небо, понюхал ветер: ветер был сильный, порывистый, со снегом. Командир полка нахмурился.

Утром Вовка, сынишка командира полка, сказал ему:

— Папка, я вчера получил «хор» по математике.

— Ох, а я не знаю, сынок. Постараюсь на «уд».

Беспокойство командира полка разделялось всеми ротами. Еще не известно было, кого прикажет вывести на линию огня командующий, но в полковой школе знали: нам-то обязательно придется стрелять.

Мимо Алеши все утро проносились озабоченные стрелки, командиры отделения с мишенями на плече. Пробежал политрук школы, даже писаря охвачены общим волнением. Но Алеше сказали, что он не будет стрелять сегодня. Он не спросил почему, понял: его считают больным еще. Но, подумав немного, он угадал другую причину: болезнь только предлог. За ним в школу приплелась из роты дурная слава плохого стрелка. Начальник школы рад предлогу избавиться от плохого стрелка на инспекторской стрельбе. Он почувствовал себя обиженным, но никому не сказал ни слова. Молча смотрел, как суетятся курсанты.

— Возьми мою винтовку,— сказал он, наконец, не выдержав, Руничу.— Отлично бьет.

— Нет, спасибо,— улыбнулся Рунич.— Неужто моя Верка и сегодня окажется дрянью?

Все уже знали, что утро началось тяжело для полка. Командующий приказал собрать к нему командный состав полка. Все явились подтянутые, выбритые, взволнованные. Шептались между собой: «Зачем вызвали? Может быть, по поводу Ковалева?»

Командующий вышел, поздоровался, потом приказал:

— Товарищи командиры, оружие на стол.

Все недоумевая вытащили наганы и положили на стол перед собой.

— Соберите оружие,— приказал командующий сидевшему около него начальнику школы Молодых,— и принесите мне.

Куча вороненых игрушек выросла перед ним на столе. Он стал методически и молча разглядывать наган за наганом. Поморщившись, отложил несколько штук в сторону.

— Выясните, товарищ командир полка, чья это... бакалея...— брезгливо сказал он.— Оружием не могу назвать.

Выяснилось — наганы принадлежали врачам, командиру 4-й роты, командиру хозроты, нескольким командирам взводов и секретарю партийного бюро.

— Вы живете на границе,— сказал командующий, оттопыривая сердито нижнюю губу.— У вас враг в штабе сидел... Враги, может быть, тут между нами бродят...

А оружие, личное оружие командира, похоже на заржавелый кухонный нож. Противно смотреть! Так что, что врач? — закричал он неожиданно на смущенно-взъерошенного полкового врача.— Вы в армии служите, а не в аптеке. Пулеметом Тарновского защищать свой полк будете? Клизмой?

Никто не засмеялся.

— А строевому командиру — просто позор. Вывести сегодня всю его роту на стрельбище. Не верю, что может хорошо стрелять рота, у которой командир не умеет беречь свое личное оружие.

Он тяжело выдохнул воздух и помолчал. Щеки его были багровы.

— Кто отсекр полка? — спросил он неожиданно. Отсекр робко выступил вперед.

— Ваше оружие? — протянул он наган.

— Мое, товарищ командующий.

— Вы давно в партии?

— Десять лет.

— На фронте были?

— Был.

— Наган имели?

— Никак нет. Был красноармейцем.

— Ах, вот оно что,— голос командующего вдруг стал язвительно вежливым и снисходительным.— Так вы так и скажите: просто, мол, не умею чистить револьвер. Никто не показал. Ну, смотрите. Наган разбирается так.— Он начал быстро и ловко разбирать револьвер. Его движения были четки и исполнены артистического изящества.

«Неужели он не забыл, как чистят оружие, сидя в штабе? — удивлялся Конопатин. Он теперь только увидел, что и полнота командующего была только кажущейся, и походка легкой, он вспомнил, как сидел командующий в седле, и позавидовал ему: — В его годы мне бы таким быть. Большевик!»

Смущенный отсекр, как виноватый школьник, глядел, как чистил его оружие командующий.

— Понятно? — спрашивал тот то и дело и бросал косые взгляды на комиссара полка. Брови комиссара вздрагивали.

— Понятно, понятно,— шептал отсекр.

— Вот вам ваше оружие,— наконец, подал ему командующий наган и вытер руки о тряпку.— Это вы приглашали Ковалева в партию? Говорят, даже уговаривали?

— Так точно, я...— растерялся отсекр.

— В партию? — вдруг закричал командующий, и всем стало страшно от этого крика.— В партию? Да ты знаешь ли, куда тащил врага?

— Я думал... строевой... командир... исправный...

— Исправный. Не спорю. Исправней тебя. У него взять наган — блестит, как стеклышко. Не сомневаюсь. Не то, что твой. Заржавело ваше оружие, товарищ отсекр. И идейное и личное. Идите.

Отсекр машинально козырнул и как потерянный поплелся на место.

— На стрельбище! — коротко скомандовал комвойск.

На стрельбище он словно повеселел. Ласково улыбался красноармейцам. Весело здоровался с подходившими частями. Всех подбадривал.

— Ничего. Ничего... Денек-то какой!

— Ветер, товарищ командующий,— вставлял командир полка.

— Прикажите ветру стихнуть, товарищ командир полка.

— Не подчинен мне ветер. Он рангом выше меня.

— И мне не подчинен. А вдруг, Петр Филиппыч, он задует и на фронте? Будем стрелять?

— Как не стрелять!

— Так командуйте же трубить огонь. Мы — на фронте.

Но его шутки не успокаивали командиров. Все знали, что это только уставная вежливость командующего. На линии огня нельзя ругать стреляющих, нельзя нервировать командиров, но с каждой сменой, уходившей, отстрелявшись, с линии огня, в душе командующего должен был накапливаться гнев. Там гремела буря, но ее раскатов не слышно было на линии огня. Командующий улыбался. Полк продолжал стрелять скверно.

«Ах, лучше бы ты меня матом крыл, чем так вот улыбаться,— думал Бывалов. Он давно, с фронта, знал командующего, и любил, и знал, что тот его любит. Командиру полка было стыдно за свой полк, обычно лучший в армии.— Ветер? Да нет, не ветер. Стар я стал, что ли? Али успокоился на лаврах? Лучший, лучший. Вот тебе и лучший!..»

Стреляла полковая школа — надежда полка. Но и та стреляла плохо. Командующий сам отмечал в списке курсантов, который держал перед собой, итоги стрельбы.

Сзади вполголоса, но напрягая шепот до предела, телефонисты вызывали блиндажи по полевому телефону.

— Триста? Триста? Как круглая мишень? Поражена... Нет?

— Шестьсот? Шестьсот? Как перебежчик? Ноль. Бежит, значит, сукин сын. Кланяется стрелку. Спасибо, еще поживу.

Командующему докладывали то и дело:

— Курсант Рунич — удовлетворительно.

— Удовлетворительно! — морщился и отмечал в списке.— Что же, в руку его задел или в шею? Врага надо сражать с выстрела. Только отличный результат с минимальным количеством патронов следовало бы записывать. Все, что ли, отстрелялись?

Он прошелся карандашом по списку и заметил фамилию Гайдаша.

— А этот почему не стрелял?

— Только что из лазарета вышел,— доложил командир полка.

— Гайдаш. Ах, это тот Гайдаш, который с Ковалевым,— вспомнил командующий, и Бывалов подивился его памяти.— Позвать его ко мне.

Алексей удивился и смутился, узнав, что командующий требует его к себе. Стараясь быть спокойным, он пошел к командному пункту, туда, где рослая и широкоплечая фигура командующего господствовала над окружавшими его военными.

— Как ваше здоровье, товарищ Гайдаш? — спросил, поздоровавшись с ним, командующий.

— Я здоров, товарищ командующий.

— Рад это слышать. Вы хорошо держали себя в этой истории. Член партии?

— Так точно. Коммунист.

Собственный голос показался Алеше незнакомым. С чего это он так оробел? «Я ведь не из робких был»,— бегло подумал он. Он прибавил, тряхнув головой:

— Член партии.

— Не трудно ли вам в армии? — вдруг спросил командующий, и этот простой вопрос снова смутил Гайдаша. Почему он спрашивает об этом? Что он знает о нем? Алексею показалось сейчас, что командующий знает даже то, в чем сам себе не признавался Гайдаш.

— Было трудно,— честно ответил он.— Теперь... теперь привык. Теперь я дома.

Командующий весело усмехнулся и даже, как показалось Алеше, понимающе подмигнул ему.

— Я привык,— подтвердил Алексей упрямо.

— Верю. Но нелегко быть коммунистом, нелегко быть коммунистом и в армии. Если бы я вот сейчас будучи коммунистом, плохо стрелял, как стреляют там,— он показал на красный флажок,— я бы от позора на край света сбежал. Коммунист, не умеющий стрелять, немыслим. Передовиком коммунист должен быть. Всюду. Везде. Всегда.

Обращался ли он с этими словами и к Алеше? Он говорил теперь всем. Алеша был только поводом, но это, как упрек, относилось и к нему. Знал ли об этом командующий? Неожиданно для самого себя Алексей сказал, волнуясь:

— Разрешите обратиться с просьбой, товарищ командующий?

— Пожалуйста.

Алеше показалось, что он насторожился. Верно ли, что он поморщился даже. Почему?

— Меня отставили от стрельбы... Но я здоров... Я прошу разрешить мне стрелять... за мой взвод.

— Стрелять? Да вы больны еще...

— Я очень прошу,— по-детски пролепетал Алеша.

Командующий пристально посмотрел на него, улыбнулся крайшком губ, потом резко повернулся к начальнику школы.

— Дайте пять патронов. О результатах доложить мне. Зачесть в итог взвода.

— Ну? — снова обратился он к Алексею.— А коли выйдет плохо? Понизите процент родного взвода. А процент-то у него, ой-ой, и без того бедный.

— Я не подведу,— пробормотал Алеша. Зачем он поддался порыву? Он клял теперь себя.

— А как думаете выполнить стрельбу?

— Думаю (да что там, теперь поздно отступать),— он вскинул глаза и сказал упрямо,— дам отлично, товарищ командующий.

И вот он лежал на линии огня.

— По-па-ди! По-па-ди! — пел сигналист. Так хочется попасть! Так нужно попасть! Он собрал все силы, но знал, что злости сейчас не нужно. Нужно спокойствие. Он снова проверил все: изготовку, ремень, дыхание.

— По-па-ди! По-па-ди! — потребовала труба. Теперь это относилось уже к нему. Он впился глазами в мишень. Снова протянулась незримая линия между ним и мишенью. Снова исчезло все в мире, кроме этой единственной цели, которую нужно сразить. Но необычайное спокойствие разлилось по ладно устроившемуся телу Алеши. «Не дергать!» — подумал он в последний раз и открыл огонь. Ему показалось, что он слишком быстро стреляет. Но удержаться уже не мог.

Его позвали к командующему. Бледный и сразу ослабевший, он побрел на командный пункт. Результатов еще не было. Телефонист отчаянным шепотом вызывал:

— Шестьсот? Шестьсот?

— Ну, как оцениваете свои результаты? — спросил снова командующий.

Хотелось честно сказать: «Не знаю». Но ответил упрямо:

— Уверен, что отлично.

Командующий с интересом глядел на него. Кругом толпились командиры. Алексей заметил Конопатина

и украдкой улыбнулся ему. Но нервная дрожь слегка била его. «Почему телефонист медлит? Что, если не отлично, а только хорошо? Что, если вовсе плохо?» «Бежать на край земли,— вспомнил он слова командующего.— Куда убежишь? Нет, я стрелял отлично. Слишком быстро только».

— Шестьсот, третья мишень — отлично,— доложил вдруг, подходя, начальник школы.

Командующий ничего не сказал. Он стоял, расставив ноги, и смотрел в землю. Все молчали. Алексей почувствовал, что сейчас упадет.

— Как стрелял товарищ Гайдаш раньше? — спросил командующий.

— Неуверенно,— ответил командир полка.— Больше плохо, чем хорошо.

— Почему сейчас стреляли отлично, знаете? — спросил командующий Алешу.

— Нельзя... коммунисту... плохо стрелять... Вы сказали,— ответил Гайдаш.

— Товарищ командир полка! — позвал командующий.

— Здесь!

— Приказываю доносить мне рапортом после каждой зачетной стрельбы, как стрелял коммунист Гайдаш.

— Приказано доносить мне рапортом после каждой зачетной стрельбы, как стрелял коммунист Гайдаш. Есть.

— Товарищ комиссар полка!

— Здесь!

— Передайте мою просьбу коммунистам полка: стрелять всегда так, как стрелял сегодня коммунист Гайдаш.

— Есть.

— В прорыве ваш полк, товарищи командиры,— сказал командующий.— В жестоком прорыве. Не умеет полк стрелять. А люди хорошие у вас,— он показал на Алешу.— Золотые люди. Большевики. Надо вытягивать из прорыва полк.

Командиры смущенно молчали. Командующий подошел к Алеше. Обнял его и поцеловал. Потом вскочил на коня и уехал.

За ним поскакали командиры. Алеша, растерявшийся, все еще стоял на командном пункте.

«Значит, могу, могу!» — думал он. И не похвала командующего, не сегодняшний нечаянный триумф на стрельбище, а именно эта мысль сделала его счастливым.

— Значит, я могу, я могу!.. Значит... буду!

И это было ответом на проклятое «смогу ли?», которое он задал себе после лыжного позора полтора месяца назад.

«Значит, смогу!» — говорил он теперь, гордо идя со стрельбища. Теперь предстояло упрямой борьбой, муками, напряжением всех сил и воли доказать всем и прежде всего самому себе, что он действительно «может», что, стало быть, он большевик. Он шел со стрельбы и думал:

«Теперь стисну зубы и возьмусь. Я упрямый. Я добьюсь». Он видел впереди долгие дни борьбы, крутую лестницу удачи, медленное карабканье вверх, незаметные для других победы, тягостные отступления, заминка и снова упрямое движение вверх, на ободранных в кровь пальцах. Его захватила, увлекла мучительная дальность пути. «Так будет крепче. Так и растут люди. Ничего!»

— Ничего-о,— подбадривал он себя.

Когда доберется он до верха лестницы, станет лучшим бойцом школы, вот тогда можно будет сказать всем и прежде всего самому себе: «Вот какой я парень. Сознайтесь, вы не ждали этого? Но я-то ждал. Как мучительно долго ждал я, как боролся!» Вот тогда можно будет и хвастнуть. Послать письмишко ребятам в Донбасс. Вырезку из газеты. Написать: «Вот. Комсомол потребовал от меня, чтобы я стал отличным бойцом — вот я стал им».

17

Так стал Алексей Гайдаш нежданно-негаданно героем полка. Командующий отметил его в приказе. Командир полка, удрученный провалом, с чувством пожал ему руку. В армейской газете написали: «Весь полк должен

стрелять, как коммунист Гайдаш». На полковом партийном собрании его избрали членом нового партийного бюро. (Старое распустили.) Школа гордилась им, лучшим курсантом. Стрепетов сложил песню «Коммунист Гайдаш». С нею шли теперь бойцы на стрельбище.

И Конопатин, избранный отсекром полка, снова начал тревожиться за приятеля.

«Теперь кончено. Теперь зазнается. Погибнет»,— озабоченно думал он.

Он решил вызвать Гайдаша к себе домой и за чайком потолковать с ним по душам, по-политруковски.

«Но что сказать ему, предупредить: не зазнавайся, мол. Обидится. Натура тонкая, горячая, закусит удила, понесет. Я его знаю! — не без самодовольства думал он.— От него всего можно ждать, и подвига и падения. Как отковать это хорошее, горячее литье, как придать ему форму?»

С беспокойством ждал он Алексея. Придумывал дипломатические подходы. Зачем-то вытащил томик Пушкина. Вел мысленно беседы с Гайдашем. Потом поставил на стол чайник, конфеты, чашки с розовыми лепестками. «Словно невесту жду,— усмехнулся он.— Эх, парень, парень. Знаешь ли ты, как мне дорог?»

Но Гайдаш не пришел. Напрасно поглядывал политрук на часы. Напрасно включал и выключал электрический чайник. Наконец, рассердившись, он решил сам пойти за Гайдашем.

«Герой! — злился он, топая по снегу через полковой плац. Зазнался. Уж и в гости ходить не хочет».

Он уже знал, что застанет Гайдаша в ленинском уголке, окруженным восхищенной толпой курсантов. Герой будет в сотый раз рассказывать о своей встрече с командующим, как командующий его обнял, как поцеловал, и курсанты будут ахать и завидовать.

Но ни в ленинском уголке, ни в казарме Гайдаша не оказалось. Политрук нашел его там, где меньше всего ждал встретить: в спортивном зале. И то, что он увидел, поразило его. В пустом сумеречном зале Гайдаш молча и сосредоточенно забавлялся с винтовкой, то вскидывал вверх и вниз, то выбрасывал в сторону. Он был без рубахи, и его одинокая фигура казалась маленькой

и странной здесь в большом, холодном, пустынном зале.

Конопатин тихо окликнул его, Алексей обернулся, но винтовку не оставил и продолжал методически, упрямо вскидывать ее на вытянутых и напряженных руках вверх — вниз — в стороны, вверх — вниз — в стороны... Его лицо было сурово, оно удивило и испугало Конопатина. Всего ожидал мудрый политрук, только не этого. Он готов был увидеть сияющее довольством и бравой удалью лихое лицо героя, Козьмы Крючкова, Тартарена, а увидел стиснутые зубы, ввалившиеся щеки, лихорадочный, голодный взгляд. И механические, напряженные усилия — три, четыре...— словно разжималась и сжималась пружина в механизме, работающем на тугом ходу.

— Ты что это делаешь? — некстати спросил Конопатин.

— Видишь ведь... Три, четыре...

— А зачем?

— Три, четыре...

Как он похудел! Конопатин даже испугался. Он видел ребра, кости, скулы. Гайдаш весь казался теперь колючим, острым, угловатым. Конопатин осторожно обошел его, молча отобрал винтовку, поставил в угол, сел. Он был мрачен.

— Зазнавайся, черт! — закричал он злобно.— Хвастайся, ну! Хвастайся!

— Хвастаться нечем.

— Врешь. Врешь, черт упрямый. Что ты меня с толку сбиваешь? Хвастайся, говорю, герой! Гоголем ходи.

Он сердился. Это было смешно. Он сам сознавал это. Отчего он сердился? Чем теперь мог он быть недоволен?

— Все у тебя не так, как у людей,— пробормотал он и засмеялся.

Алексей невозмутимо взял винтовку и снова начал вскидывать ее с точностью заведенной пружины.

— Три, четыре...— шептал он.

Его лицо снова стало напряженным, бледным; движением бровей он стряхивал капельки пота.

— Три, четыре...

Владеть винтовкой, как рукой! Чувствовать ее мускулы, как свои, ее кожу — как свою, ее нервы — как свои, ее душу — как свою! Три, четыре...

Конопатин молча следил за ним. Потом неожиданно спросил:

— Сегодня тренировочную стреляли?

Алексей опустил винтовку.

— Стреляли.

— И ты стрелял?

— Конечно.

— И стрелял... плохо?

Гайдаш молча вскинул винтовку и со злостью продолжал гимнастику.

— А завтра зачетная стрельба? — неумолимо продолжал политрук.— И о стрельбе рапорт командующему? Продолжайте, товарищ Гайдаш, я вас понял. Три, четыре...

И он, смеясь, обнял Алешу за плечи.

— Ах ты чудо-юдо-ры-ба-кит. Значит, и тебя задело? Задело ведь, сознавайся. Я так и знал. Я знал это. Такое время, брат. Нельзя в сторонке. Я знал, что это будет. Ну давай, брат, давай потолкуем, садись. Ты свой стрелковый недостаток знаешь?

Знает ли он! Алексей грустно усмехнулся. Он тащил свой стрелковый недостаток за собой как проказу. Он был дергун. Нетерпеливо и зло рвал он спусковой крючок. Ему не хватало выдержки, спокойствия, уверенности. Все было у него — отличные глаза, крепкие руки, хорошее дыхание, упрямая башка на плечах. Не было только выдержки, дисциплины. И это решало все. О, он знал свой стрелковый недостаток и боролся с ним как с чертой характера.

«Дергун я, дергун, во всем дергун»,— со злостью признавался он себе.

Он любил скоростную стрельбу, стрельбу с ограниченным временем. Он не был создан для тира. Обстановка воображаемого боя, созданная на стрельбище ребятами из саперного взвода, возбуждала его. Он верил в то, что лежит в окопе, что на него наступает противник; он слышал его пулеметы. Он видел, как, окутанные снегом, пригнувшись, бегут на него вражьи солдаты в касках. Вот их хриплое «ура», вот штык у горла...

Хотелось вскочить, палить без разбора, без правил, без наставлений. Огонь, огонь!

— Не дергай, не дергай...— шептал он себе тогда и, затаив дыхание, медленно спускал крючок.

— Отличное средство для лечения больных нервов,— бледно улыбался он и отирал пот и снег со лба.

Теперь он знал, не подходя к мишени, результат своей стрельбы. Вслед выпущенной пуле он говорил с досадой: «Не так! не так надо было!» — и давал себе слово, что в следующий раз будет стрелять лучше.

Его зачетные стрельбы, те, о которых рапортовали командующему, были отличны. Ребята с удивлением и дружеской завистью смотрели на него. Курсант татарин Миндбаев спросил Алексея таинственно:

— Секрет знаешь, да? Скажи секрет.

Секрет? Да, он знал для себя секрет — быть хозяином своих чувств на линии огня. Наконец-то он стал их хозяином!

Но на тренировочных стрельбах он распускался. Он стрелял хуже других. Самое скверное, что он знал, почему плохо стреляет: это была будничная стрельба, а он привык к фейерверкам. Часто ловил он себя на этом. Он лежал в снегу, прицеливался, щелкал вхолостую затвором,— и чувствовал, что делает это без души, механически, все вокруг делают, надо и ему. «Не любишь? Не любишь? Скучно стало? — язвил он.— А мазать на стрельбе любишь?»

Вокруг него лежали на снегу бойцы. Вместо утренней зарядки — теперь была стрелковая зарядка, ружейная гимнастика, наводка со станка, прицеливание, заряжание, спуск. Повсюду трещали сухие щелчки затвора. На малом стрельбище занимались командиры. Словно курсанты, лежали они в снегу, обучались подгонке ремня, прицеливанию, спуску. И командир полка лежал с ними. Он распластался на заботливо брошенной кем-то рогожке и озабоченно целился в сосну, на которой была пришпилена мишенька. Это и был прорыв. Жестокое это слово повисло над полком. Хмурые ходили командиры. Командир полка сердито покусывал усы. Даже на кухне царило уныние. Дежурный по полку придирался к повару. Повар злился, борщ выходил пересо-

ленный. «Такие стрелки и этого борща не заработали»,— огрызался кок.

Теперь, читая в газете о прорыве в Донбассе, Алексей ясно представлял себе это. Смешно было представлять шахтеров, лежащих с винтовками перед мишенями. Он знал: у них были другие мишени. Но стиснутые зубы, чувство обиды за шахту, за полк, общая тревога, аврал, набухшие в усилиях мускулы были общими и здесь и там. И как там на Павлика, Рябинина, на «знатных людей» Донбасса (это слово только входило в словарь, но им уже были отмечены многие ребята Алешиного поколения) с надеждой смотрели глаза страны, так (и это чувствовал Алеша) на него смотрел полк, по нем равнялись курсанты. Можно было, конечно, успокоиться, даже радоваться: вот у вас дело не выходит, а у меня отлично идет стрельба. Но такие мысли даже в голову не приходили и не могли прийти Алеше. Все реже радовали его личные успехи, все больше печалили личные неудачи, неудачи отделения, взвода, школы, полка. Он не умел успокаиваться. Останавливаться тоже было некогда, его обгоняли другие. Теперь и он с досадой поглядывал на слабых стрелков своего отделения. Хотелось, чтоб отделение было лучшим во взводе, а взвод лучшим в школе, а школа... Стыдно было называться курсантом, когда школа стреляла хуже второй роты, которой командовал насмешливый и франтоватый Агеенко.

Алексей понимал: прорыв нельзя взять штурмом, броском, криком. Кричали много, и командиры, и Алеша, и курсанты. Но все понимали — не криком одолеешь стрелковую немочь. По самому себе Алексей знал, в чем тут дело. Сегодня он почувствовал это больше, чем всегда. В технике? В выучке? В учебе? Но эти слова замаскированно означали ненавистную тренировку. «Ни за что!» — сказал он сначала, а кончил тем, что пришел в казарму и стал в пустом спортивном зале вскидывать винтовку, три, четыре... Завтра — зачетная стрельба, с этим нечего было шутить.

Все это увидел и понял Конопатин, прочел в Алешиных острых скулах, в голодных глазах, в ребрах, на которых было мало мяса. Что-то болезненно сжалось в Конопатине, он снова обнял Алешу и усадил его рядом с собой.

— У тебя вид нехороший, Алексей,— сказал он задушевно,— какой-то... ощеренный,— ему захотелось смягчить выражение, легче всего было замаскировать слово шуткой,— не воинский вид, товарищ. «Боец должен глядеть бодро и весело, мол, пуля — дура, штык — молодец»,— осторожно пошутил он, но Алеша не улыбнулся, слушал молча, наклонив голову.

— А я тебя не таким ожидал увидеть,— признался Конопатин.— Думал, зазнался уж. А что — я бы на твоем месте зазнался. В самом деле: отличные у тебя дела. Ведь правду будем говорить: тебя в полку давно уж как стрелка похоронили. По третьему разряду. И я грешен. Не ожидал от тебя такой прыти.

Алексей усмехнулся:

— Не ожидал? А теперь, признайся, руками разводишь и думаешь про себя: «Вот ведь какие бывают случайности!» И тоже ждешь, ждешь, как все, что завтра случай мне изменит и все как дым развеется. А я говорю,— он стукнул ладонью по кожаной кобыле,— а я говорю вам: не случайность. Слышите? Не случайность.

Конопатин пристально посмотрел на него и крякнул: «Ага!»

Ага! Вот оно что! Ну теперь он был спокоен.

— Могу я закурить здесь?

Наконец-то он чувствовал себя удовлетворенным, как доктор, который нашел верный диагноз.

Но он не стал прописывать лекарств, не стал читать прописей. «Рассосется,— беспечно подумал он и вздохнул облегченно.— От этого не умирают».

Он ни о чем не спрашивал. Он только внимательно глядел на приятеля, и Алексею казалось, что политрук уже все знает. Он рассердился даже: черт подери, откуда у этого рыжего парня такие глаза?

Ну, да. Покоя не было в его уязвленной душе. После утомительного дня он не знал покоя и вечером. «Что еще? Что ему теперь?» — озабоченно думал он все время. Ему казалось, что он что-то упустил, забыл, проморгал. Завтра это откроется — и весь полк будет смеяться над вчерашним героем.

Он снова и снова возился с винтовкой, просиживал вечера над книгами, перед сном тщательно перетряхи-

вал свое красноармейское хозяйство. Вытаскивал из чехла саперную лопатку. Железо жирно блестело маслом. Ручка казалась полированной. Но он снова и снова принимался чистить ее. «Еще скажут: у Гайдаша шанцевый инструмент не в порядке». Потом он замечал, что чехол грязный. Надо бы простирнуть его. Где? «Ну это в следующий раз,— решал он,— у всех грязные». Но мысль о грязном чехле не покидала его. «Завтра же постираю». Он брал противогаз. Начинал копаться в нем. Протирал очки. Вытирал насухо маску, смазывал маслом горло патрубка, наводил глянец на коробку. Все это и без того было чисто, блестело, играло под тусклым лучом лампы, а он все возился да возился.

«Что еще? Что еще теперь?» Он вдруг вспоминал об учебных патронах. Доставал подсумок. Патроны оказывались в полном комплекте. Но он снова рассматривал их один за другим. Один патрон оказывался грязным. «Ну вот, ну вот,— злобно ликовал он,— а завтра сказали бы: «У Гайдаша патроны в грязи». И он ожесточенно принимался чистить их.

Тут заставал его отбой! «Спать!» — озабоченно вздыхал он. Но прежде он надевал на ремень лопатку, подсумок, клал на табурет у кровати противогаз — на случай ночной тревоги.

Теперь все. Теперь спать. «А чехол-то грязный»,— вспоминал он.

«Спать! Спать!» Он ложился. Он чувствовал такую усталость, какой никогда не знал раньше. Но то было не только физическое утомление: слабость поработавших рук — это была усталость души, перегрев сердечного мотора. Когда он лежал в постели, его мускулы отдыхали, нервы же и мозг и тут не знали покоя. «Что я забыл сделать?» Он ворочался на койке. «А чехол грязный». Вдруг окажется у Гайдаша грязный чехол. Вчера на комсомольском собрании его мягко упрекнули в плохой заправке койки. «Из матраца солома торчит». Это было сказано мимоходом, и Стрепетов, влюбленный в Гайдаша, даже закричал возмущенно: «Это мелочи!» Но Алеша молча вышел, взял иглу и зашил матрац.

Что еще? Что еще теперь? Никогда не думал он, что могут им так полностью и безраздельно овладеть забо-

ты о ружейном ремне, об очередной стрельбе, о завтрашнем выходе в горы. Были ли когда-нибудь у него другие заботы? Иногда он бегло вспоминал шумные пленумы, комсомольские драки. Но об этом некогда было думать. «Мой пленум теперь на стрельбище. Моя генеральная линия — стать отличным красноармейцем-большевиком. Этого от меня сейчас требует партия». «Смогу ли я?» — «Смогу»,— отвечал он, стискивая зубы.

— Смогу! Это не случайность,— сказал он Конопатину, который сидел рядом с ним и задумчиво сосал папиросу. Но Конопатин ничего не ответил и только продолжал посасывать папироску и улыбаться. Алексею вдруг захотелось говорить и говорить о себе. Ему давно хотелось этого. Ему хотелось выложить свои мысли, думы, то, чем мучился все время. Проверить: правильный ли нашел он выход? И он, не заботясь о том, слушает ли его Конопатин или нет, стал рассказывать всю свою жизнь, короткую, такую прямолинейную вначале и такую путаную, сбивчивую в конце. Он рассказал о своем крушении, о том, как принял это, что передумал, что пережил.

— Тогда-то,— сказал он, задумчиво глядя, как тает синий дымок конопатинской папиросы,— тогда-то я и спросил себя: да большевик ли я? То была мучительная ночь. На разные лады задавал я себе этот вопрос. Видишь ли, я никогда не был беспартийным. Ребенком я пришел в детскую коммунистическую группу. Желторотым огольцом вступил в комсомол. Вихрастым пареньком передали меня в партию. И никогда, ни разу не спрашивал я себя: полно, да большевик ли я? А тут спросил. Сам спросил. И знаешь, не смог дать ответа. Ты понимаешь, политрук, не смог ответить. Это страшно, Ваня, когда на такой вопрос не можешь дать ответа.

— Еще страшней ответить себе нет, не большевик.

— А может быть, просто смелости не хватило так ответить? — прошептал Алеша.

Конопатин с любопытством посмотрел на него, увидел взволнованное лицо и смущенно улыбнулся.

— Может быть, просто смелости не хватило,— упрямо повторил Алеша.— Не хватило честности, мужества.

О, я часто потом думал об этом. Впервые в жизни думал я. Что, думал я, если просто смелости не хватило честно ответить? Ведь я как жил? Я жил до тех пор не думая, не рассуждая. Естественно было, что я, парень с Заводской улицы, сын рабочего, сам рабочий, постучался в двери комсомола, а потом перешел в партию. Куда же мне еще было стучаться? Парень я активный, горячий, общественный. Я, брат, создан для организации, для политической борьбы. Вот я пошел в ту организацию, которая мне ближе всего, родней, стал большевиком. Но стал ли я большевиком? Членом партии я стал, а большевиком? Глупо так делить вопрос, скажешь ты. Нет, не так уж глупо. Я это понял по себе. И тогда возник у меня другой вопрос, еще каверзнее, еще ядовитей. «Хорошо,— сказал я себе,— ты пошел в большевистскую партию, потому что весь ход революции привел тебя и все твое поколение к этой единственно честной партии. Ну, а до революции, когда все было не так отчетливо ясно, все было путанней, туманней, в какой бы тогда партии ты очутился, Алексей Гайдаш? Нет, нет, это не зряшный вопрос. Это не организационный вопрос. Это вопрос о мировоззрении, о характере человека, о его пути, его судьбе. Нельзя жить, я недавно только понял это, но понял крепко, нельзя жить без мировоззрения, хоть я и жил, считая себя марксистом, будучи только неучем. Кем же был бы я, в какой партии очутился бы до революции? У меня есть приятель Степан Рябинин. Про него я знаю. Он был бы и тогда большевиком. За многих ребят моего поколения я поручусь, за тебя, Ваня Конопатин, готов ручаться. Ну, а я? Я, Алексей Гайдаш, с моим характером? Меньшевиком? Нет, никогда. Это я точно знаю. Лягушатная эта партия, склизкая, липкая, партия фармацевтов и присяжных поверенных, наверняка не заманила бы меня, даже не пойми я ее предательской политики. Троцкистом? Ну эти еще подлей, с ними бы я не был. Иудушки. Эсером? Кулачье никогда не было мне родней. Хотя, знаешь ли, был в моей биографии факт, когда я чуть было не возмечтал стать торговцем. Ну, это глупости. Не стал и не мог стать. Нет, ни эсером, ни кадетом, ни черносотенцем я бы не стал. Но был бы я большевиком? Встреть я, конечно, большевиков на своем пути, может

быть, стал бы и большевиком. Но знаешь, если откровенно говорить, очень возможно, что стал бы я анархистом. И когда недавно подумал я об этом — я испугался. Неужели анархистом? И тогда возненавидел я свой характер, те черты его, которые привели бы меня к анархизму. Ты спросил у меня о стрелковом недостатке. Это мой и жизненный и политический недостаток. Я дергун. Парень без дисциплины, без выдержки, без знаний, без настоящего чувства коллективизма, хоть в коллективе я с детства.

— Ты погоди, погоди,— перебил его нахмуренный Конопатин.— Что за бичевание? Не на исповеди. Ты не наговаривай на себя. Продолжай.

— Нет, я правду говорю,— возразил Алеша.— Я пережил все это. Через многое переступил, потому и говорю так. Ты думаешь: откуда вдруг у рабочего парня такое интеллигентское самокопание? Нам ведь литераторы в сложных чувствах отказали. Он был шахтер, простой рабочий, с простыми чувствами, прочными и дешевыми, как его рубаха.

— Нет. Человеку свойственно анализировать свои мысли и поступки. Он этим и отличается от скотины. Я сказал только: знай меру, Алексей, эдак и до железных вериг договориться можно. Не монашествуй, не бей поклонов, не колотись лбом. Понимаешь ли,— Конопатин поморщился,— мне это неприятно и... ну и больно слышать от тебя, дура ты стоеросовая...

Алексей с удивлением взглянул на него и, поняв, смутился.

— Хорошо,— пробормотал он,— не буду. Мы ведь мужчины. Ну дальше что ж? Дальше — армия. Армия! Красная Армия! Знаешь, а я ведь об армии давно мечтал. Ты не поверишь...

— Отчего же?

— Ну сам знаешь,— опять смутился Алеша,— как я себя в армии показал. Вспомнить невесело. Но тому причины были. Ты знаешь их. Я о другом. Вот в книгах рисуют: армия — школа, ликбез. Приходит этакий серый крестьянский паренек, сено-солома, а тут его отшлифуют, наваксят, обнаждачат, и выходит он молодец-молодцом, грамотеем и переустроителем деревни. Все это есть. Все это верно, хоть и лубочно. В жизни лучше.

Но ведь я-то не в ликбез пришел — в армию. Меня грамоте учить не надо. Я грамотный. Даже одно время считал себя шибко грамотным, ты это помнишь. Что ж мне-то армия? Потерянные годы? В те томительные ночи, что думал я о себе как о большевике, была у меня только одна, разъединственная мысль-утешительница. «Ладно,— нашептывала она,— ты плохой большевик. Ты не умел ни жить, ни работать по-большевистски. Но зато сумеешь ли ты умереть, когда придется, за партию, за родину?» И я отвечал, не моргнув глазом: «Сумею». И я себе не врал. Ко мне там троцкисты подкатывались. Этот вот самый Бакинский. Тянули. На обиде моей — я ведь себя почитал обиженным — хотели сыграть. Я прогнал их прочь. К черту! Не по пути. Я знал, что знал: мне и жить и умирать большевиком-ленинцем. Умереть-то, по крайней мере в бою, я сумею стойко. Но вот в армии оказалось, что случись война, и я не смогу, понимаешь ты, не смогу даже умереть за родину с толком. То есть умереть-то, конечно, смогу, но так же может погибнуть и полевой суслик, раздавленный гусеницей тяжелого танка. Это было страшно, когда я понял это. Война... Партия скомандует: «Коммунисты, вперед!» А я ни стрелять, ни воевать, ни управлять машиной, ни командовать не умею... Путаться под ногами... Мешать... Брр... И тогда захотелось мне стать отличным бойцом. Что захотелось! Понадобилось. До зарезу.

— В обозе и то потребуются конюхи, знающие коня, механики, кузнецы, сапожники...

— Ну вот,— криво усмехнулся Алеша,— даже и в обозе для меня не найдется дела. Все это я, однако, понял и почувствовал. Потом этот маленький, беспартийный мануфактурный приказчик Дымшиц показал мне пример. Не будь Дымшица, конечно, было бы что-либо другое. Но Дымшиц, это было чересчур.

— Это чванство?

— Как хочешь называй. Но для меня порция была великоватой. Однако проглотил. Ничего. Лошадиная доза лекарства, конечно, но подействовало. И не в Дымшице дело. Дело в армии, которая и Дымшица ведь сделала другим, хоть и ему не надо ликбеза. Армия тоже явилась для меня школой,— я в приготовительном клас-

се пока,— но школой иной, чем рисуют в книжках. Это, ты знаешь лучше меня, школа большевистской дисциплины, большевистской выдержки, и большевистского мужества, и большевистской ненависти. Здесь встретил я Ковалева,— его лицо стало злым, острым,— он хотел меня купить, улестить, испугать. Идиот! Командующий спросил меня: «Не трудно ли вам в армии?» Откуда он знал, а, Конопатин? «Нет, нетрудно»,— ответил я. И я, Ваня, сказал правду. Теперь нетрудно. Физических трудностей я не боялся никогда. Мне Стрепетов, когда мы сюда ехали, сказал, что единственно, чего он боится,— это армейской каши.

— Каши?

— Ну да. Парень к изнеженному столу привык, а я, брат, бывали дни, и каше был рад. Нет, кашей меня не испугаешь. Да и Стрепетов сейчас кашу вовсю рубает, добавки требует. Нет, не физических трудностей боялся я. Я парень здоровый. А дисциплина... я ответил тебе уже: я возненавидел анархизм и индивидуализм в себе и вытравлю, выдавлю их из себя по капле.

Он замолчал. Его лицо было бледно и зубы стиснуты. Конопатин молча продолжал курить. Окурки, аккуратно сложенные кучкой на рыжей кожаной кобыле, уже погасли.

— Ну вот,— выдохнул Алеша.— Вот и все. Нежданно-негаданно стал я, как ты выражаешься, героем. Я знаю, вы считаете это простой случайностью. Так думаю и я... в душе... Стрельба при командующем была случайной, ну... вдохновенной, что ли... как импровизация на скрипке. Знаю: как и всякую импровизацию ее трудно повторить. А я повторю! — закричал он.— Я всегда буду так стрелять. Не случайность, говорю я вам. Вы можете мне верить или не верить, но назад теперь меня не повернуть.

Он остановился, зло поблескивая глазами, готовый к спору, к драке, к борьбе.

Но Конопатин молчал и попыхивал папиросой. Потом неожиданно спросил:

— А ты думаешь, что если стал отличным стрелком, если у тебя саперная лопатка блестит, так ты уж и великолепный большевик. Так, что ли?

Алеша растерялся.

— Нет, разумеется...

— Я рад этому разговору,— сказал Конопатин и встал, стряхивая пепел с себя. Потом, улыбаясь, посмотрел на Алешу и положил ему руки на плечи,— честное слово, я рад. Нам стоило поговорить с тобой, Алеша. Мы мужчины, ты сам сказал так. Поэтому, если мои слова будут жестковаты,— ты не взыщи. Ладно? Ну вот.

Он подошел к окну и посмотрел на улицу: плац, облитый лунным светом, поблескивал синими искрами. Алеша тоже подошел к окну.

— Мы выходим на большую дорогу, друг Алеша,— задумчиво сказал политрук,— мальчики вчера, воробьи на баррикадах, подносчики патронов — мы сегодня выходим на широкую дорогу жизни. Мы находим свою дорогу не ощупью, как все и всегда. Нам легче, дороги распахнуты перед нами, но и трудней. Кому много дано, с того много и спросится. С нас много спросится, Алеша. В счастливое время мы с тобой живем, товарищ, потомки будут завидовать нам. Вот мы стоим с тобой и толкуем. Не новая тема. Сотни лет молодые люди, наши с тобой ровесники, стояли вот так же, обнявшись, у окна. Смотрели, как играет снег синими искрами, и говорили о том же. О мировоззрении, о взгляде на мир, об идеологии — называй это как хочешь, сущность одна: перед молодыми людьми лежала дорога, и они думали о том, как по ней пройти. Все они искали путеводной звезды, ждали попутного ветра. Молодые люди всегда искали. Ошибались, надеялись, разочаровывались и снова искали. Одни искали бога, другие бросались в туманные дали немецкой философии, третьи бродили без догмата, неприкаянные и лишние на земле, четвертые находили идеал в отцовском лабазе и сами становились лавочниками, свалив на пыльный чердак юношеские грезы и чаяния. Нам с тобой, Алеша, не надо искать и бродить в тумане. Мы нашли. Нашли в борьбе, в боях. Ты скажешь: это наши отцы нашли, а не мы. Нет, и мы. То, что завоевали в Октябре отцы, досталось нам не только по наследству. Мы боевой практикой осваивали и получали это драгоценное наследство. Мы нашли самую верную философию, самую чистую веру, самую бескорыст-

ную любовь и самую священную ненависть. Молодые люди всегда искали идеалов, образов, учителей. Нам с тобой, молодым людям тридцатых годов двадцатого века, ясен идеал: вот он,— он указал на портрет, прищурившийся со стены,— это идеал большевика, идеал человека. Для нас с тобой вопрос в том, как приблизиться к этому идеалу.

Он замолчал и долго смотрел в окно.

— Как? Как стать человеком что надо! — наконец, снова заговорил он.— Как прожить свою жизнь с толком, оставив след на земле? Не раз и не два задумывался я над этим, как задумывались, вероятно, и другие мои сверстники. Самовоспитание? Самосовершенствование? Гимнастика ума, воли, чувств? Аскетизм? Составить для себя правила поведения и строго следовать им? Я читал где-то, что многие великие люди поступали так. Франклин, Толстой, например. Франклин-юноша ставил себе отметки за поведение. «Бережливость — двойка». Значит, потратился на леденцы. Что ж, и нам с тобой завести такие отметки? Составить катехизис добрых правил и каждый день заглядывать в него?

Алексей засмеялся.

— Да, нам это смешно. А им, что ж, им, вероятно, помогало,— продолжал Конопатин,— что ж нам? У Смайльса, кажется, есть книжонки, посвященные воспитанию человеческого характера. Он рекомендует упражнения, уроки, дает наставления. Подойдет ли это? Заняться самосовершенствованием? Избегать общества дурных товарищей, окружить себя умными книгами, стать книжными червями? Глядеть на жизнь только через книгу? В великолепном одиночестве ощущать себя центром мира, драгоценным сосудом знаний, без надежд применить эти знания к жизни? Видел я этаких начетчиков и в комитетах и в штабах, беспомощны они, как слепые котята. Веревкус, граблиус, книжные формулы. Нет, и это не подойдет. Характер,— мы знаем это с тобой,— формируется в борьбе и в труде. Помнишь Энгельса: «Труд создал самого человека». Рука не только орган труда, она также и его продукт. Язык возник из процессов труда. Труд, борьба, коллектив — вот где и чем формируется настоящий человек. У нас в ходу выражение «работа над собой». Мы произносим это и ча-

сто не понимаем всей мудрости этой фразы. Работа над собой! Работа, заметь. И трудная работа, скажу по чести. Вспомнилось мне сейчас,— усмехнулся он,— как один благородный римлянин у Анатоля Франса мечтал о том времени, когда люди перестанут побеждать друг друга и примутся побеждать самих себя. Далеко до того времени, когда кончатся войны. Мы знаем это с тобой, Алеша, но мы хотим победить и победим в войне. А для этого надо уметь побеждать в себе гнилое, переделывать самих себя. Работать над собой,— сказали бы мы по-нашему. Я спросил тебя,— продолжал он, видя, что Алеша внимательно и молча слушает,— достаточно ли быть отличным стрелком, чтобы считать себя уже отличным коммунистом? Слов нет, коммунист должен владеть техникой. Сегодня партия поставила тебя под ружье, ты обязан отлично владеть ружьем,— он улыбнулся, вспомнив Алешину ружейную гимнастику,— завтра партия поставит тебя рядом с Дымшицем к прилавку, и, будь добр, поучись у Дымшица отличать шелк от маркизета. Но делает ли одно отличное владение техникой человека большевиком? Нет. Сам знаешь, этого мало. Что же нужно? Есть в тебе это? Большевика отличает прежде всего высокая идейность. Есть она в тебе? Идейность немыслима без широких и глубоких знаний. Есть они у тебя? Идейность предполагает в большевике принципиальность, непримиримость, ясное знание цели, умение стремиться к достижению ее. Есть ли в тебе все это? У большевика выше всего и чище всего его партийность, преданность партии и делу освобождения человечества. Без берегов эта преданность, самая великая жертва во имя ее,— легка и осуществима. Если во имя торжества одной человеческой мысли люди шли на костер,— то во имя освобождения человечества на какие жертвы ты не поскупишься? В тебе эта преданность есть, я это знаю, товарищ. Но есть ли в тебе, Алексей, умение проявить эту преданность революции с наибольшей пользой? Не просто это, найти для себя дело, где ты сможешь с наибольшей пользой, отдавая все, что имеешь, служить революции. Большевик должен, далее, быть вожаком масс. Без этого какой же он большевик? Что из того, что ты грамотнее, идейнее, убежденнее Миндбаева, если ты Миндбаева не тянешь за собой? Что из того, что ты

отлично стреляешь, если Миндбаев из твоего взвода стреляет плохо? А ведешь ли ты за собой Миндбаевых, Алексей Гайдаш? Или все то же самоусовершенствование, знания в копилочку для себя, грамоты за личные успехи на стенку в рамочку?

— Это не по адресу,— пробормотал смущенный Алеша.— Все равно продолжай.

— Не по адресу? — пожал плечами политрук.— Что ж, принимаю обратно за ненахождением адресата. Авось найдется.

— Еще неделю назад,— тихо сказал Алеша,— я применил бы это к себе. Впрочем, принимаю и сейчас. Пригодится.

— Я наблюдал за тобой, Алеша, часто и много еще в роте. Я давно этого разговора хотел. Но больно ты грозовый, Алеша. От тебя струится электричество. Страшно стоять рядом. Искры...— он засмеялся.— Иногда я думаю: откуда в тебе столько злости? Если ею гаубицу зарядить да выстрелить — проблема межпланетных путешествий будет решена. Били тебя в детстве много, что ли?

Алексей промолчал.

— Ну, значит, мало били,— рассудил политрук,— это тоже плохо.

— Ну, бей, бей,— наклонил голову Алеша,— бей, Ваня, я сдюжаю.

— Зачем ты зубы стиснул? Зачем эта ощеренность? Я вошел, увидел тебя, испугался. Зачем этот надрыв? Кому и, главное, что доказать хочешь? Ведь ты все время доказываешь что-то. Ты не просто валишься в окоп и стреляешь. А кому-то доказываешь: вот, мол, Алексей Гайдаш, которого вы по третьему разряду похоронили, стал отличным стрелком. Ты не просто бежишь выполнять приказание отделенного командира, а демонстрируешь: вот, мол, Алексей Гайдаш, покорненький и смирненький, идет выполнять беспрекословно приказание. Похоже ли это на большевистскую дисциплину? Дурак, да ведь те, кому ты доказать что-то хочешь, первые радоваться твоим успехам будут: ай да Алеша, ай да наш парень. И ребята твои в Цекамоле, те, которые тебя «с поста» снимали, первые же и обрадуются. Наш, скажут, парень, наш комсомолец. Армия ему на пользу по-

шла, и сам он стал армии полезен. Неправду разве я говорю, что ли?

— Ах, Иван! — воскликнул смущенно Алеша,— прекрасной ты души парень. Веришь ли ты, что могу я стать таким парнем?

Когда много лет спустя Алеша рассказал мне об этой сцене в пустом гимнастическом зале и его голос, как и тогда, взволнованно дрожал, мне почему-то вспомнилась сцена из Джека Лондона: два первобытных детеныша, на заре человечества, и один из них, поборов свой страх, отказался бежать, чтобы остаться и заботливо вытащить из раны другого стрелу, орудие страшное и не понятное обоим. «Чувство дружбы помогло человеку стать сильнейшим из зверей!» — восклицал Джек Лондон, рассказывая эту сцену. И мне ясно представился полутемный гимнастический зал, два молодых человека у синего окна, два товарища, и один из них бережно и осторожно вытаскивает занозу из уязвленной души другого.

— То, что говорю я тебе,— сказал растерявшийся от Алешиного восклицания политрук,— я говорю и себе каждый день. Какой я учитель тебе! Я говорю только то, что сам чувствую. Не молитва это: «Боженька, помоги мне быть хорошим!», не заклинания. Хочется просто осмыслить, как живешь, зачем, для чего. Понимаешь, когда видишь вокруг, как замечательно растут люди, какие чудесные они делают дела, хочется и самому быть не хуже. Эх, браток! В какое чудесное время выпала нам с тобой удача жить.

В дверях кто-то вежливо закашлял. Оба оглянулись. Дневальный со штыком у пояса продолжал покашливать.

— Ах да, ведь давно отбой,— спохватился Конопатин.— А мы тут с тобой о дисциплине толкуем, да дисциплину же и нарушаем. Спать, товарищ курсант, спать.

— Я провожу тебя немного,— сказал Алеша.

Он накинул шинель на плечи и вышел вместе с политруком. Молча прошли они через синий плац. Ночь выдалась лунная и тихая. Облитые ее мирным сиянием, спали черные здания полкового городка. В конюшне сонно заржал жеребец. В полковой кухне мигнул и погас

огонек. У ворот, прислонившись к будке, восхищенно глядел в лунное небо дневальный.

— Послушай, Иван,— сказал, прощаясь, Алеша,— отчего мне так в друзьях везет? — Он крепко стиснул руку растерявшегося политрука и быстро зашагал в казарму. Конопатин взволнованно поглядел ему вслед. «Постой, постой,— хотел закричать он,— постой, чудак! Чудо-юдо-ры-ба-кит...»

Но только стоял и смотрел растерянно на дорогу, по которой удалялся широкоплечий, крылатый от наброшенной шинели силуэт товарища.

Обыкновенная Арктика

БОЛЬШАЯ ВОДА

В полярном году есть один в буквальном смысле слова непутевый месяц.

Это какой бы вы думали? Это... июль. Точнее: с 20 июня по 20 июля. Именно в эту пору Диксон становится островом.

Пароходы еще не ходят, самолеты уже не летают, собаки не бегают. Словом, в июле люди сидят по домам и ждут. Июль — месяц полного бездорожья, но зато и предчувствия больших дорог.

Удивляться не следует: в полярном календаре все наоборот. Здесь самый солнечный месяц апрель, а самый ненастный — август; здесь в октябре уже зима, а весна, робкая и измученная дальней дорогой, добредает сюда лишь в конце июня. И июль здесь — перевальный месяц, гребень года, месяц больших ожиданий и неясных тревог.

Именно в эту пору дядя Терень с Восточного берега надевает высокие белые сапоги из белужьей кожи, жирно мажет их ворванью, берет ружье, палку и табак, вскидывает на спину походный мешок и трогается в путь-дорогу.

— Куда ты собрался, дядя Терень? — удивленно встречает его сосед по промыслу, молодой парень, зимующий по первому году.— Да кто же в такую погоду ходит?

— Я хожу,— просто отвечает дядя Терень,— тринадцатый год хожу.

— Куда же ты идешь, дядя Терень?

— А на Диксон.

— С ума ты сошел, старик! Полтораста километров! Оставайся дома. Скоро пароходы пойдут.

— Мил человек,— удивляется дядя Терень,— как же мне не идти? Я не пойду, кто же пойдет тогда?

— Да идти-то зачем?

— Идти надо, чудак человек! Я, брат, всю жизнь хожу. И в деревне бывало ходил. Кто же другой пойдет? — бормочет он, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Ему скучно все это объяснять.— Почты не будет ли какой до Диксона? — спрашивает он, оживляясь.— Так я возьму, да и пойду, пожалуй.

— Почты? — конфузится сосед.— Нет, что уж... Ну, да коли все равно идешь, захвати падырку [1]. Тисни там...— и шепотом прибавляет: — Нехай приезжает Настя-то...

Дядя Терень усмехается, забирает радиограмму и трогается в путь.

Он идет и бормочет в усы песню, которую сам придумал:

Долог путь до моря сизого... Эх!
Тяжек путь до острова скалистого... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная!
Э-эх!

В тундре — весна. Звенят большие и малые ручьи. Со стоном взламываются речушки в горах. Дрожат покрытые тонкой пленкой заморозков рябоватые озерца, лужи, купели стоячей, остро пахнущей мхом и землей талой воды.

Вода всюду. Ступишь ногой в мох — и мох сочится. Тронешь мшистую кочку — и кочка сочится. Станешь робко ногой на ледок — и из-под ледка брызнет вода, звонкая, весенняя. Вся тундра сейчас — сплошное болото. Оно оживленно всхлипывает под сапогами, мягкое, податливое, покрытое желтой прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похожим на цыплячий пух.

Весна входит в тундру робко и неуверенно. Останавливается. Оглядывается. Испуганно замирает под нежданным нордом, ежится под метельным остом и все-таки идет, идет... Уже сполз в лощины снег, но еще не стаял. Уже открылись забереги, но лед еще прочен. Уже появился гусь, но еще нет комара.

---

[1] Падырка — письмецо (*ненецк.*).

Подо льдом на реке свершается невидимое глазу великое движение. Гидрологи отмечают повышение температуры и падение солености воды в заливе — верные приметы надвигающейся весны.

Но на промыслах и зимовьях Восточного берега, где гидрологов нет, самая верная примета — дядя Терень.

— Скоро быть большой воде,— радостно говорят в избах.— Уже дядя Терень пошел.

Третьего дня его видели в бухте Белужьей, вчера его песню слышали на Сопочной Карге. Он идет на двадцать дней впереди большой воды. У него свои расчеты. Ни разу еще не было, чтоб они не оправдались. Делайте заметки в календаре, высекайте топором зарубки на палке — через двадцать дней в том месте, где прошел дядя Терень, быть большой воде.

Он идет по вязкому берегу и поет:

Гой ты, тундра пробужденная... Эх!
Ты, дорожка бездорожная... Эх!
Мои ноженьки промокшие...
Э-эх!

Кричит гусь в небе. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно вопят чайки-мартышки. Полярные совы, важно раскинув свои великолепные весенние наряды, носятся над рекой, садятся на черные с прозеленью скалы. Шустрые лемминги со злобным писком шныряют под ногами. Выпорхнула из-под кочки жирная белая куропатка, побежала по снегу, переваливаясь с боку на бок, как купчиха.

— Эй, барыня, погоди! — крикнул ей вслед дядя Терень, не успевший скинуть с плеча централку.

Куда там! Испуганно закосолапила, взлетела — и нет ее!

А под ногами уже возятся проворные кулики — остроносые сплетники, попискивает куцехвостая пеструшка-салопница в рыжей шубейке, пробежал песец, драный, облезший... И все это — живущее и оживающее — суетится, хлопочет, кричит, звенит, поет, радуется весне. Даже лед на реке ломается с радостным звоном.

Все правильно, сроки сбываются. Дядя Терень довольно улыбается в усы.

Он подходит к бревенчатому домику под медно-красной скалой.

— Эй! — стучит он в дверь палкой.— Есть хозяин дому сему?

И ждет ответа. В избе тихо. Из трубы струится легкий унылый дымок. Сугробы подле избы начали уже таять, из них выглянули на свет ржавые консервные банки. Они, как и подснежники, появляются только весной.

— Есть живая душа в доме? Отзовись! — снова кричит старик, нетерпеливо постукивая палкой.

Дверь распахивается, и на пороге появляется унылый лохматый парень.

— Ну, здравствуй, Арсений!

— Здравствуй! — нехотя отвечает парень, пропуская вперед гостя.

— Не ладно гостя привечаешь,— укоризненно говорит дядя Терень и сбрасывает с плеч ружье и походный мешок.— Почто скучный?

Он окидывает и избу и парня внимательным, но насмешливым взглядом. На столе — ворох писем, телеграмм, фотографий: курносая бабенка, кудряшки из-под берета; вот она же в шубке, она же в сарафане, голое плечо блестит. Вот опять она же на стене. Улыбается жеманно и застенчиво.

— Угу! — произносит дядя Терень и садится на полешко у печи.

Однако он ни о чем не спрашивает. Он все уже знает, все понял. Знает и какое поручение даст ему Арсений. Стаскивает сапоги, ставит их к печи и молчит. Ждет, глядит, как бегут по стеклу мутные ручьи. Слушает, как звенит капель с крыши.

Арсений молча бродит по избе, ставит чайник на огонь, чашки, хлеб, мясо — на стол, потом тяжело опускается на табурет.

«Ну, как нынче промысел?» — надо бы спросить дядю Тереня по обычаю, но он не спрашивает. Арсений молчит, молчит и он.

— Разлюбила,— шепчет Арсений.— Ты не говори, дядя Терень, не спорь, пожалуйста...

— Я и не спорю.

— А я тебе говорю: сука она. Вот кто!

— Ты и прошлый год так говорил. Одначе ошибся.

— А теперь уж не ошибусь, нет. Две недели в этом

деле разбираюсь. Все письма подобрал... Одно к одному,— бормочет Арсений.— Не ем, не пью, из избы не выхожу... все читаю... Все читаю...

— Разобрался? — насмешливо спрашивает дядя Терень.

Но Арсений не слышит насмешки.

— Вот,— говорит он,— вот. Сам гляди, старик.

Он раскладывает на столе письма. Так следователь раскладывает вещественные доказательства.

— Вот,— суетится он,— от двадцатого ноября письмо. Первое нонче. Видишь в конце: «горячо-горячо целую?» Заметил? Горячо-горячо... А вот — девятнадцатое декабря. Вот — «крепко целую»... Не горячо, старик, а только крепко... Заметил?

— Это что ж, хуже?

— А вот последняя радиограмма, майская. Читай: «целую». Просто — целую. Без никаких. А время приметил? Мая третьего. Майское дело... Закрутилась, хахаля нашла. Ясно? — торжествующе спрашивает он. Горькое это торжество! — Нет, ты сам посмотри, сам...— и он тычет дяде Тереню письма.

Дядя Терень неторопливо достает из-за пазухи очки, напяливает их на нос. Глядит в письма. Действительно: от двадцатого ноября — «горячо-горячо целую», от девятнадцатого декабря — «крепко целую», а от третьего мая — «целую» просто, без никаких.

— Ну? — тревожно спрашивает Арсений.

Какого ответа он ждет? Утешения или подтверждения злой догадки? Дядя Терень необычайно серьезно вертит в руке письма и молчит.

— Ну? — снова спрашивает Арсений.

— Это весна...— наконец произносит старик,— весна в тебе бушует, парень.

— Весна? — растерянно переспрашивает Арсений.— При чем тут весна?

На печи запел чайник. Дядя Терень ставит его на стол и принимается за еду. Арсений ничего не ест, вертит в руках письма.

— Ты не спорь, не спорь...— бормочет он,— я эти письма до дыр перечел. Я каждое слово в них перетряхнул, взвесил. Не зря ведь слово сказано. Каждое слово свой смысл имеет.

— Это у тебя оно нонче смысл имеет, а бабенка твоя их зря ставит. Какое в голову придет.

— Не бывает так, старик, не бывает. Слово от души пишется. Вот от двадцатого ноября письмо... Я его наизусть помню. С тяжелой душой письмо писано. Скучала по мне, видно, мучилась...— Его лицо становится добрым, нежным, серые глаза голубыми.

— Мучилась? Ну вот...— поддакивает дядя Терень и смеется.

— Потом пошли письма смущенные... будто виноватые. В чем-то был ее передо мною грех. Был. А последнее письмо — вовсе легкое. Так, без души пущенное. Пишет: в кино была.

— А что же, ей и в кино не ходить?

— Да писать-то мне об этом зачем? Я ведь в кино не хожу. Ну, ходи, ходи в кино,— кричит он вдруг в дверь, словно продолжая свой давний спор с женою.— Да пишешь-то мне об этом зачем? Сладко ль мне такое читать?

— Кровь в тебе бушует, парень,— качает головой дядя Терень.— Это от одинокой жизни. Бывает...

В печи потрескивает плавник, обуглившиеся головешки рассыпаются, в последний раз вспыхивают ярким светом и гаснут.

— На Диксон идешь, дядя Терень? — тихо спрашивает Арсений.

— На Диксон.

Оба молчат.

— Почту возьмешь?

— Возьму.

И опять долго молчат.

— И ответа дождешься?

— Дождусь.

Дядя Терень встает и идет к койке. Расстилает тулуп, готовит постель.

— Так я напишу... дядя Терень,— нерешительно и словно виновато говорит Арсений.

— А напиши, напиши...

И пока дядя Терень спит, Арсений сочиняет радиограмму. Он рвет листок за листком, грызет ручку, снова пишет. Его лицо попеременно отражает все человеческие

чувства: от нежной любви до яростной злобы, от дикого отчаяния до тихой надежды.

Через четыре часа старик уже на ногах. Время дорого, а путь далек. Арсений провожает. Идут молча. На берегу прощаются. Арсений крепко жмет руку дяди Тереня и, заглядывая в глаза, спрашивает:

— Так ждать?

— Жди, парень, жди...

Теперь путь дяди Тереня лежит напрямик, через бухту.

Арсений долго еще стоит на высоком берегу и глядит, как бредет по льду старик, перепрыгивает через трещины, обходит забереги, проваливается в бродный мокрый снег, падает, подымается и снова идет. Мешок подпрыгивает на его спине. В мешке телеграмма.

II

Наконец проклятая бухта позади. Дядя Терень выбирается на берег. Отряхивает снег со штанов, с сапог, садится на кочку посуше и переводит дыхание.

Вёсны ли стали хуже, или годы уже не те, только все трудней и трудней становится старику дорога.

«Еще год-два похожу, а там и на покой!» — думает он, вытирая пот со лба и с шеи.

Небо над тундрой голубое, высокое, чуть-чуть влажное — такое, как дома в апреле. Так же пахнет земля, сырая, развороченная. Так же звенит вода. Так же кричит гусь на озере. Только жаворонка нет.

Дядя Терень, кряхтя, подымается на ноги и идет. Вот уж снова слышится песня:

Гой ты, тундра молчаливая... Эх!
Край далекий, позаброшенный... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная?
Э-эх!

Он идет, выбирая места посуше. Хорошо идти галькой, хуже — вязкой, жирной глиной, совсем плохо — лощинами: под тонкой, обманчивой коркой снега — студеная вода.

И когда дядя Терень идет лощиной, он уж не смотрит в небо. Небо — высоко. Вода — близко. Он идет

осторожно, щупает снег палкой, трубка гаснет, песня смолкает. Тут, если провалишься, не выберешься,— снег рассыпчатый, ухватиться не за что.

Так идет он через лощины, подымается на холмы, бредет тундрой и выходит на узкую тропинку, протоптанную зверем. В рыжей глине — отпечатки копыт. След свежий. Он ведет на север, дяде Тереню по пути.

Старик идет по следу и думает:

«Что оленя на север гонит? Овод! А осенью с севера на юг? Голод. А что же человека сюда гонит? Ох, беспокойное творение человек!»

Оленья тропинка круто сворачивает вправо. Дяде Тереню надо бы прямо — и ближе, и суше,— а он все идет по следу. Какой овод гонит его?

На холме он останавливается, поднимает голову и, совсем как старый, седой олень, нюхает воздух.

Пахнет влажной, сырой землей, болотом, стоячей водой, травой, перепревшей под снегом,— терпкие, ржавые запахи тундры. Ветер несет их на дядю Тереня. Только запахов зверя не слышно. Плохи у человека ноздри, зато глаза хороши.

И в лощинке, меж двух бугров, дядя Терень замечает оленя.

Олень тощий, весенний, беспокойный. Он испуганно водит головой, видно, тоже принюхивается. Что-то тревожит его. Но слабые глаза у оленя — он не видит, как подбирается к нему человек с винтовкой,— зато ноздри хороши. Олень пугливо нюхает воздух. Запахи тревожные, зловещие: пахнет человеком. Олень делает испуганный скачок в сторону. Но дядя Терень уж вскинул ружье. Ветвистая голова аккуратно помещается на мушке.

Два выстрела раздаются одновременно. Олень, жалобно застонав, валится на снег, тело его судорожно дергается и затихает.

Дядя Терень не спеша идет к добыче.

Но его упреждает звонкий ребячий голос:

— Это мой олень!

Из-за скалы выбегает паренек лет тринадцати, в огромной беличьей шапке и с ружьем.

— Это мой олень! — предостерегающе кричит он и бросается к туше.

У трупа поверженного животного он останавливается и, крепко сжав руками ружье, ждет нежданного конкурента. Он весь ощетинился. Даже мех на его беличьей шапке стал дыбом.

Дядя Терень подходит ближе. Мальчик взволнованно ждет его, но, разглядев, опускает голову.

— Ваш олень, дядя Терентий! — грустно говорит он и отворачивается, чтобы скрыть недостойные охотника влажные глаза.

— А вот мы сейчас разберемся, Митяй, чей олень,— отвечает старик и наклоняется над тушей.

Он сразу находит дырочку во лбу меж рогов. Дырочка круглая, аккуратная, и дядя Терень невольно любуется метким выстрелом.

Однако надо найти вторую дырочку, чтобы никому обиды не было. Дядя Терень старательно исследует тушу, но второй дырочки нет. Митяй взволнованно следит за ним, сердце его колотится.

— Твоя пуля,— говорит дядя Терень.

— Моя? — недоверчиво переспрашивает Митяй.

— Твоя. В твою сторону олень глядел, твоя и пуля.

— Моя? — восторженно шепчет Митяй и вдруг кричит на всю тундру: — Моя!

— Ну, с первым зверем тебя, Митяй! — восторженно поздравляет старик.— Первый ведь?

— Первый!

— Великим охотником будешь, Митяй.

Митяй не знает, куда деваться от счастья. Ему хочется быть солидным и степенным: «Ну, убил оленя, что же тут такого?» Но чистосердечная ребячья радость так и брызжет из его глаз. Веснушки на носу сияют, как звезды.

Дядя Терень свежует оленя. Его руки в крови. Кровь теплая.

— Пей! — говорит он молодому охотнику.— Цинжать никогда не будешь.

Митяй наклоняется к надрезу на горле оленя и пьет теплую кровь. Чтоб никогда не цинжать, чтоб быть сильным, смелым, ловким охотником.

Освежевав и спрятав оленя, оба — старый и малый — идут к избе и ведут степенную беседу, как два старых охотника.

— Как нынче промысел, Митяй? — спрашивает дядя Терень.

— Надо бы лучше,— отвечает мальчик: не пристало охотнику хвалиться, а хаять промысел не за что.— Песец нонче не тот пошел...— объясняет он важно.

— Не тот?

— Песец нонче хитрый пошел. На накроху он уже не идет. Не то что раньше.

— А ты помнишь, какой раньше песец был?

Митяй смущается. Отцова шапка совсем налезла на нос.

— Люди сказывали...— бормочет он.

— А может, и не врали люди! — добродушно соглашается дядя Терень.— Человек умнеет, отчего и зверю не поумнеть. Ну, а план твой как?

— Я план, дядя Терень, весь выполнил.

— За это ты, выходит, молодец и ударник. А велик план-то?

Дядя Терень это из приличия спрашивает. Как и все люди в тундре, он слыхал о промысловом договоре Митяя. Его сочинил веселый инструктор, объезжавший промыслы. Митяю дали ружье, лодку, участок и план: пять песцов. Стал Митяй заправским промышленником. И даже не столь ружьем он гордился, сколь планом.

— План — пять песцов, дядя Терень! Да я еще ушкана убил. Да пятерых куропаток. И олень вот. Теперь думаю на гуся идти.

— Великий у тебя оборот, промышленник! Богач ты теперь! Куда доходы девать будешь?

— Я все тятьке,— смущается Митяй.— Мне ничего не надо.

— А у тятьки как с планом?

— У тятьки-то? У него плохо...

Старик усмехается. Но как ни в чем не бывало продолжает беседу.

— А там, помнится, в плане у тебя еще пунктик был. А? Сполняешь?

— Сполняю, дядя Терень,— неуверенно отвечает мальчик.— До дробей уж дошел.

— А не врешь?

Митяй даже обижается.

— Пес врет, а я — человек. Хоть экзамен мне сделайте.

Тут уже черед дяде Тереню смущаться. Он чешет затылок и говорит:

— Плохого ты, брат, себе профессора для экзаменов нашел. Профессор-от сам на пальцах считает. Но ты не горюй, Митяй. Однако ты свое дело знай: учись. Ученым станешь. На магистраль поедешь. Глядишь, и в профессора выйдешь.

— Нет, я лучше тут останусь, дядя Терень,— говорит мальчик и поднимает глаза на старика.— Хорошо тут!

— Хорошо?

Они вышли уже к избе. Она внизу, на берегу маленькой тихой бухточки. Далеко в залив вдается массивный горбатый мыс Ефремов Камень. Нынче он особенный. Не угрюмый, как осенью, не черный с проседью, словно кавказское серебро с чернью, как зимой, а дымчатый, даже чуть-чуть синий и легкий-легкий, почти бесплотный. Вокруг него — голубой прибой льдов, а дальше — неоглядная мирная снежная равнина. Снег серебряный, он тронут весной, в нем есть уже тусклость металла. В заливе тихо. Солнце спокойно играет в торосах. Дремлет тундра. Легкий дымок над избой, да стук топора. Видно, Трофимов хозяйничает. И вокруг лежит тундра, мать сыра земля. Да уж, сыра! Сырее и не бывает.

— Хорошо-о! — соглашается дядя Терень.

Они спускаются к избе. Трофимов зовет ее усадьбой.

Пожалуй, это единственное на всем Восточном берегу жилье, обнесенное частоколом. К чему тут частокол, Трофимов и сам не знает. Воров не водится, бродяги перевелись, волки не забегают. Да и на землю трофимовскую никто не посягает. На десяток километров окрест он один — хозяин тундры, ее единственный обитатель и добытчик.

Но он именно этот участок у бухточки огородил, обособил. Он словно оборонился от тундры: вот здесь мое, жилое, трофимовское, а там за частоколом — уж чужое, дикий край, глухое место. И изба у него, не в пример

другим, аккуратная, теплая, ладная. Он пристроил к ней завалинку, баньку вывел в стороне. Плавник напилил аккуратными брусками и сложил в штабеля. Двор изрыл канавками, чтоб весенняя вода быстрей стекала. А по двору пустил гулять гусей,— еще в прошлом году он словил двух линялых и приручил их. Они бродят по двору, словно на птичнике, и уныло гогочут. Собаки к ним уже привыкли.

— Хозяйственный мужик у тебя отец-то! — говорит дядя Терень, вдыхая сладкий дым жилья, и в его голосе слышится не только одобрение, но и снисходительность, совсем такая же, как у Митяя, когда он говорит об отце.

Они застают Трофимова во дворе. Он возится с топором подле нарты. Над быстро высыхающей землей двора поднимается теплый весенний пар. И кажется, что Трофимов не нарту чинит, а борону ладит к весне.

— А я оленя убил,— кричит Митяй.— Сам убил. Дядя Терень видел.

— Ишь ты! — удивляется отец и, здороваясь с дядей Терентием, говорит, указывая на сына, словно извиняясь: — Охотник растет. Дикой.

Он ведет дядю Терентия показать прибыль в доме: дочку.

Дочке — три месяца. Она спит в люльке, подвешенной к матице [1], и во сне сладко причмокивает губами. Люльку Трофимов смастерил сам.

Пока трофимовская хозяйка возится у печки, мужчины курят и беседуют. Разговор — хозяйственный, заводит его Трофимов. Он душевно рад, что случился собеседник, есть пред кем похвалиться планами. Планы большие: затеяно избу перестроить, баню расширить, катух для собак сделать новый...

— Да тебе бы города строить, Трофимов! — смеясь, перебивает дядя Терень.— Какой ты охотник? Ты — человек-строитель.

— Вот и строю,— гордо улыбается Трофимов.

Хозяйка ставит на стол еду. Мужчины прячут трубки за голенища и берут ложки.

---

[1] Матица — центральная балка избы.

— В газетах пишут,— говорит меж борщом и жареной олениной дядя Терень,— а мне люди пересказывали, будто ученые такое удобрение придумали, что можно и в тундре хлеб сеять.

— Оно хорошо-о! — оживляется Трофимов.— Земли-то тут — боже ты мой! Если ее поднять, да вспахать, да засеять...— Он даже замирает в восторге, но потом, махнув ложкой, заканчивает: — Только, полагаю, врут люди. Земля насквозь мерзлая, ее удобрением не возьмешь.— И прибавляет, вздохнув: — А земли много!

После сытной еды разговор стихает. Хозяйка нянчится с дочкой, Митяй, видно, вспомнив приписочку к договору, сел за книгу. Подпер кулаками щеку, читает, шевеля губами. Да нет-нет и бросит взгляд в окно — взгляд птицы в клетке. Трофимов вышел на минутку по хозяйству, со двора доносится стук его топора.

А дядя Терень сидит у огня и задумчиво курит. В усадьбе Трофимова тепло и домовито. Пахнет щами, мокрыми пеленками и овчиной,— запахи деревенские, беспокойные. И дядя Терень думает о том, что скучно бобылю жить на свете.

«Хорошо бы, вернувшись к большой воде домой, застать в своей избе... ну — дочку, что ли... аль сына... внуков... А то вернешься домой, а изба-то и не топлена».

Такие мысли всегда приходят ему в голову, когда он гостит у Трофимова.

Ночью дядя Терень уходит дальше. По ночам идти легче — подмерзает. Трофимов вручает ему телеграмму и просит лично проследить, чтоб передали всю. В телеграмме обстоятельно изложено, что́ из припасов надо завезти Трофимову на новую зиму. Список длинный.

Хозяйка набивает торбу дяди Тереня едой и просит добыть на Диксоне сгущенного молока.

Митяй идет провожать старика.

— А тебе, Митяй, чего принести? — ласково спрашивает дядя Терень.

— Книжек мне. Я свои все выучил.

— А еще что?

— А еще...— глаза Митяя загораются,— а еще нож, дядя Терень. Такой, как у вас, чтобы зверя разделывать.— И, озабоченно наморщив лоб, прибавляет: — Совсем без ножа плохо, не обойдусь.

К утру дядя Терень уже далеко за Ефремовым Камнем.

Камень пришлось переваливать поверху. Сунулся было старик в залив, да там у берегов такая весенняя кутерьма, что и не пройдешь. Дядя Терень даже испугался: не ошибся ли в сроках? Весна, выходит, ранняя.

«У нас дома уже, небось, давно и отпахались и отсеялись! — умильно думает дядя Терень.— Озимь уж, поди, в трубку пошла. Какая-то весна была дома? Хорошо бы дружная!»

И он вспоминает родную сторонку. По привычке, он все еще говорит: у нас дома, в деревне. А в деревне, поди, никто уж и не помнит его. Кто помнил, забыл, а кто не знал, тому и вовсе дела нет до того, есть на свете дядя Терень или нет его.

Только дядя Терень все помнит, что губернии он Пермской, уезда Шадринского, а здесь он человек пришлый, временный, хоть и живет тринадцать лет.

Охотничьи дела и крестьянские заботы — все смешалось в дяде Терене, он и сам не знает, какие ему ближе. А тут еще с бабенкой Арсения хлопоты. И Трофимовой — молоко, и Митяю — нож. Вот Митяй — уж тот свою линию знает. Он не шадринский, нет.

Так размышляя, идет дядя Терень по тундре, и каждый камень ему тут знаком, каждая дверь открыта, каждое сердце распахивается перед ним радушно и доверчиво. Он входит в чужие избы, и сразу же чужая жизнь, чужие дела и заботы становятся его делами и его заботами.

«А Митяю — нож,— думает старик, подходя к избе Жданова.— Я уж знаю, какой ему надо! Ножны из моржовой кости, а черенок черный витой».

Жданова в избе нет. В дверь воткнут охотничий нож, на ноже записка: «Дядя Терень! Олень на печи, табак на столе, чарка — сам знаешь где. Скоро приду. Жданов».

Дядя Терень не огорчается. Он и не ждал, что в погожий солнечный день застанет Жданова дома. Как Трофимов всегда на своей заимке, так Жданов всегда на промысле. Дядя Терень уж привык хозяйничать в избе Жданова без хозяйки.

Жилье Жданова — убогое, холостяцкое. Только оружия много. Оно и на стенах, и на матице, и в углах.

В холодных сенях висят песцы. Дядя Терень треплет рукой пушистые хвосты, белые с искрой, и улыбается. Теперь хоть и не приходи Жданов,— дядя Терень знает, какую радиограмму надо давать.

Так уж повелось с давних пор: входя в сени Жданова, первый взгляд дядя Терень всегда бросал в «закрома» — каков урожай пушнины? Если урожай хорош, Жданов еще на зиму останется на промысле, если же год был плохой, непромысловый и Жданову нечем покрыть взятый аванс,— он вернется на магистраль. В должниках Жданов ходить не любит. Первоклассный механик, он уходит тогда на завод и целый год отрабатывает свой долг. В это время он ни с кем не говорит о промысле, о тундре,— он только механик первой статьи, профессор своего дела. Но год прошел, долг покрыт, и Жданов, аккуратно завернув инструмент в тряпку, берет на заводе расчет и снова идет на промысел. Потому что не механика, а охота — профессия его души.

Вот отчего дядя Терень, заглянув в «закрома», безошибочно мог сказать: нынче Жданов на промысле останется.

Кроме песцов да оружия, в жилье Жданова смотреть нечего, и дядя Терень, найдя на печи оленину, в заветном месте — спиртишко и на столе — табак в кисете, заправляется и ложится спать. Спит крепко, без снов.

К вечеру с промысла возвращается Жданов. Согнувшись, входит в избу, ставит в угол ружье, отстегивает и бросает на пол пояс, на поясе добыча — гуси.

— Пришел, добытчик! — весело встречает его дядя Терень.— Еще не всю дичь в тундре истребил?

— Не всю, — усмехается Жданов. Улыбка у него неумелая: глаза больше смеются, чем губы.

— А то, говорят,— продолжает дядя Терень,— зверье на тебя жалобу писать собирается. Нет, говорят, жизни от Жданова.

Жданов раздевается, моется и садится за стол. Присаживается и дядя Терень, предвкушающий беседу. Потому что всякий полярник скажет: хороша чарка с мо-

розу, баня — с дороги, но слаще всего беседа с умным человеком, за трубкой.

И старик неторопливо начинает беседу о промысле. С каждым человеком надо о главном говорить: с Трофимовым — о хозяйстве, с Арсением — о женщине, со Ждановым — об охоте, других разговоров с ним начинать не стоит — отмолчится.

— Вот уж и гусь пошел,— говорит дядя Терень, заглядывая в серые глаза Жданова. (Это — приглашение к разговору.)

— Какой это гусь? — усмехается Жданов.— Это гусь несамостоятельный. Настоящего гуся еще нет.

— Пойдет скоро. В Широкой уж лед взломало...

— Да-а? — неохотно переспрашивает Жданов, и беседа угасает, так и не разгоревшись, словно костер из сырых сучьев.

Ну что ж, с умным человеком и помолчать приятно. Оба попыхивают трубками и смотрят в огонь.

Но вот Жданов что-то бормочет себе в усы.

— Ась? — переспрашивает старик.

— Я говорю,— бурчит Жданов, не подымая головы и глядя в пол,— ты не знаешь ли, какие цветы есть на земле?

— Цветы?

— Цветы.

— Это к чему же цветы? — недоумевает дядя Терень.

— Так. Любопытствую.

— Цветы! — усмехается дядя Терень.— Ишь ты, цветы... Мил человек, да я ведь тринадцать лет ни единого цвета не видел.

— Вот и я — хоть и видел, а ни к чему было, и я не упомнил.

— Цветы,— крутит головой дядя Терень, а сам спешно соображает: «Зачем это Жданову понадобились цветы? Не зря спрошено, не таков человек».

— Цветы,— говорит он меж тем,— цветы всякие есть. Вот есть цветок роза. Так и звание у нее — королева цветов. Еще фиалка, иван-да-марья тоже есть. Это наш цветок, деревенский.

— А еще?

— Еще? Что ж еще? Петунья цветок бывает. Опять же ландыш. Бывало, пойдешь в лес, а уж он, мил друг, колокольчик-то из-под елки и кажет и кажет. Словно звенит.

— Нет, это не то...

— Не то? Ну, тогда василек, он на венки девкам идет. Ромашка. Потом роза...

— Розу ты уж говорил.

— Говорил? Ишь ты! Ну, левкой, резеда, тюльпан. Важный цвет — тюльпан. Он на грядке, точно исправник, надутый, спесивый.

— Пион еще,— говорит Жданов.— Помню, цветок был такой — пион. Алый. Георгин еще есть, астры, розы.

— Розу я говорил...

— А, да. Хорош цветок роза?

— Хорош. Да к чему тебе-то?

— Нет, это я так.

Он умолкает. Теперь уж молчит прочно.

Дядя Терень собирается в дорогу. Жданов пишет телеграмму.

— Хороши песцы у тебя нонче, Жданов,— говорит дядя Терень таким тоном, как говорят: «Хороши огурцы у тебя нонче, Жданов».— Полагаю так, что первого сорта не меньше половины, а?

Но Жданов молчит и пишет.

— Хорош был год,— продолжает дядя Терень, переобуваясь.— Каков-то будущий год? Год на год не приходится. У тебя как капканы, ничего? Ремонту не требуется?

Жданов поднимает голову и говорит, не глядя на дядю Тереня:

— Уезжаю я...

— Что?

Дядя Терень опускает сапог.

— Как? — переспрашивает он почему-то шепотом.

Жданов протягивает ему телеграммы.

Их три: две в контору, в них сообщается о желании Жданова уехать с промысла, третья — в Москву.

«Тресту зеленого строительства,— читает заголовок дядя Терень.— Прошу пятого июля послать корзину роз стоимостью сто рублей адресу Арбат 32 квартира 8

Татьяне Логиновой Деньги вам переведены конторой Таймыр-треста. Охотник Жданов».

Дядя Терень долго смотрит в телеграмму. Жданов стоит подле него. Оба молчат: Жданов — смущенно, дядя Терень — укоризненно.

— Что ж, ответа ждать? — наконец спрашивает дядя Терень.

— Нет,— тихо отвечает Жданов.

Потом, качая головой, прибавляет еще тише:

— Ответа не будет.

«Что ж это делается, люди добрые? — растерянно думает дядя Терень, бредя по тундре.— Что ж это делается на земле? Жданов бабе цветы шлет!»

Совсем сбитый с толку, он идет вдоль русла реки и размышляет:

«Кто эта Логинова? Жена Жданову или знакомая? Отчего же ответа не ждать? Отчего ответа не будет?»

«Вот и Жданов... того...— огорченно думает дядя Терень,— закружил человек. А какой охотник был! Какой мужик был! Что ж это за сила такая — женщина?!»

Он поднимает глаза на реку, словно ждет от нее ответа.

Но река знай звенит свое. Над ней носятся бесноватые птичьи стаи. Ликующий весенний гомон стоит в воздухе. С каждого камня несется птичий крик. Словно камни поют.

За мысом дядя Терень догоняет белушатников. Их человек сто, они идут скорым маршем по льду, торопятся на зверобойку, на зимовья не заходят, греются и едят у костров на берегу. До Широкой они доплыли по Енисею за ледоходом, дальше лед не пустил, идут пешком.

Дядю Тереня они встречают радостно: многие знают старика. Они окружают его шумной толпою, со всех сторон тянутся руки и кисеты.

— Чтой-то вас много нынче,— смеется дядя Терень, окидывая взглядом пеструю толпу зверобоев. Он замечает в ней много незнакомых молодых лиц.— Колхозники? Ну, а как до́ма-то? Отпахались?

По случаю встречи объявляется привал прямо на льду. Люди располагаются у большого костра и наперебой расспрашивают дядю Тереня:

— Ну, как нонче — белухи много будет?

Дядя Терень сердито огрызается:

— Колдун я? Откуль мне знать?

— Колдун, колдун...— смеются зверобои,— ты приметы знаешь.

— Приметы! — сердится старик.— Если голова на плечах есть — «примета»: человек умный. Ничего вам не скажу, скажу одно: сайки нонче много.

— Это к чему же... сайка? — робко спрашивает молодой парень с пухлыми губами. Он, видно, и впрямь считает дядю Тереня колдуном.

— Непонятно тебе, сосунок? — хмурит старик косматые брови (глаза смеются).— Задача! Сайка — рыбешка маленькая, с палец; белуха — зверь большой, с корову. Вот и пойми, что от чего зависимость имеет.— Он с удовольствием замечает, что парень-сосунок даже рот в изумлении открыл, и с торжеством заканчивает:— А вот и отгадка. Что зверь, что рыба, что человек — всяк за пищей ходит. Белуха — за сайкой, песец — за пеструшкой, человек — за зверем. Так-то, сосунок.

Зверобои зовут дядю Тереня идти дальше с ними.

— Вместях веселей! — говорят они, не желая расставаться с веселым стариком.

Но он только качает головой в ответ.

— На том спасибо! Однако мне в сторону свернуть надо. К хозяину тундры на поклон пойду.

— К деду Курашу? — удивляется начальник партии.— Жив еще старик?

— Всех переживет! У стариков кость крепкая.

Он говорит это с гордостью. Подымается на ноги, берет палку и глядит, прикрыв глаза ладонью, на восток, туда, где синеют горы.

— Пойду! — говорит он просто и, не попрощавшись, взмахнув палкой, уходит.

Зверобои долго смотрят ему вслед.

А он идет, высокий, прямой, тощий, и нет износу ни ему, ни его сапогам из белой кожи.

Он не поет сейчас, не смеется в усы, не наклоняется над травинкой и камнем. Он идет на поклон к хозяину тундры, робкий, почтительный, такой, как и тринадцать лет назад, когда впервые шел к деду просить совета, покровительства и благословения. Вот и речушка, кото-

рую даже на картах называют речкой деда Кураша, вот и жилье.

Дядя Терень тщательно обивает у порога снег с сапог и входит.

Дед Кураш лежит на кровати в чистой белой рубахе, торжественный и светлый. Эта торжественность пугает дядю Тереня, он поспешно снимает шапку, торопливо кланяется.

— А-а! — приветствует его дед Кураш.— Лешак-шалопут пришел! Все ходишь, молодой человек?

— Хожу, Егор Кузьмич.

— А я, брат, лежу.

Бабка Дарья с грохотом ставит горшок в печь.

— Ты не плачь,— сердито кричит ей дед,— не плачь, слышь? Не люблю.

Но бабка и не плачет (она плакать не умеет).

— Каменная,— ворчит дед,— хоть слезу б уронила. Муж ведь помирает. Не кто-нибудь.

— Я-те помру, я-те помру, черт! — кричит вдруг бабка.— Ишь, время нашел!

— Не я, мать, время нашел,— укоризненно, но мягко выговаривает ей дед Кураш.— Это, мать, меня время нашло. Уж в какую глушь я от него спрятался, а вот нашло-таки...

Дядя Терень осторожно подходит к постели и присаживается на табурет. Он хочет закурить трубку, но не решается. Надо бы что-нибудь сказать, да слов нет. Он вдруг чувствует, что точно: тринадцать лет пролетело, как одна минута... Неужто помрет дед Кураш?

— Да, пожито,— говорит дед Кураш.

Ему хочется поговорить перед смертью, наговориться досыта, надо много сказать: много прожито, много думано было (в тундре думается хорошо), много вызнано,— все надо рассказать, все. И дед Кураш сердечно рад, что пришел к нему человек, пришел послушать старика,— вот и умирать легче.

— Да, пожито...— говорит он, вздыхая.— Пора и того... на тот свет аргишить [1].

---

[1] Аргишить — кочевать.

— Рановато бы еще...— робко вставляет дядя Терень.

— Не рано, молодой человек, чего уж! А прямо скажу: не хочется. Ведь кто помирает, а? Дед Кураш помирает. Здешних мест владетель. А? Так я говорю?

— Так, так...

— То-то! Пришел я сюда, здесь следа человечьего не было. Было это... Эй, Дарья, в котором мы году пришли?

— В девятьсот втором, старик.

— Вишь. Тридцать лет и три года. Пришли мы сюда с бабой да с дитем. Огляделись. Медвежий край. Баба плачет.

— Врешь, не плакала я.

— Плакала. Ты, черт, слезливая. Плакала, тебе говорю. А я на нее — цыц! Нишкни! Не плакать, дура, надо — петь надо. Ты кто на деревне была? Ты раба была. Всем раба. Помещику — раба. Уряднику — раба. Старосте — раба. Мужу — раба. А здесь? Мы, говорю, с тобой, Дарьюшка, здесь сами помещики, сами цари. Ишь простор какой! От станка к станку сотни верст. А что зверя! Что птицы! И воля! Хошь пей, хошь бей, хошь слезы лей,— все на своей воле.

Он задумчиво опускает голову на грудь и долго молчит. Дядя Терень боится нарушить его думы и молчит тоже. Бабка Дарья, нахмурившись, стоит у постели и, подперев кулаком подбородок, смотрит на мужа. Ее лицо точно из камня, и глаза сухие, но у губ сложились две морщинки, и в них все: и великая нежность, и великое горе.

— Ты слушай, слушай меня, молодой человек,— вдруг сердито кричит дед Кураш,— ты не перебивай...— Он поводит злыми глазами. Ему кажется, что он все время говорил, а не думал про себя, а его не слушают, перебивают.

— Я и то... молчу...— испуганно оправдывается дядя Терень.

— Не перебивай! Я худому не научу. Не ты один приходил ко мне уму-разуму поучиться. Ты слушай.

И он начинает долгий рассказ о том, как полюбились ему это глухое место, эта речушка и камни на ней, как поставил он избу, а подле избы — капканы, как стал

он постигать премудрость тундры и других учить промыслу, как стали к нему люди за советом ходить, а сам он — ездить за умом к ненцам («потому врут, что они — дикий народ, они — самые мудрые люди на земле»), и теперь он может многому научить людей («случись ученый тут, большущие книги мог бы он с моих слов написать»),— да вот умирает, и промысел передать некому. Народила Дарья ватагу ребят, а где дети?

— Где у нас Сережка, Дарья?

— Сереженька на зверобойке, дед.

— А Петрушка где?

— Петрушка на Мурмане летает.

— А Васек?

— Васек на Челюскинском мысу.

— Шалопуты! — ругается дед.— Шатаются по белу свету, а отец помирает один.

— А ты подожди помирать-то, дед,— вкрадчиво говорит дядя Терень.— Сынов дождись. Я их тебе всех соберу.

— Подождать! Это, брат, молодой человек, не от меня зависит. Это как еще смерть резолюцию положит. Однако сынов дождусь,— говорит он вдруг и решительно обводит всех сердитым взглядом.— Опять плачешь, Дарья? Что ты меня раньше время хоронишь? А ты чего, черт, лешак, приуныл? Разве так деда Кураша привечают? Играй песню, песельник. Ну!

Бабка Дарья в возмущении даже руками всплескивает.

— Ты чего выдумал? — кричит она.— Чего выдумал?

— Играй песню, Терень! — властно приказывает дед; и дядя Терень, как и тринадцать лет назад, откашлявшись, запевает песню:

Гой ты, тундра бесконечная... Эх!
Нам родная мать — не мачеха... Эх!
Наша волюшка — привольная...
Э-эх!

Дед Кураш слушает его, качает в такт бородой, но голова его все ниже и ниже клонится к подушке. Он закрывает глаза и тяжело дышит.

Дядя Терень испуганно обрывает песню и бросается к старику. Дед что-то шепчет, дядя Терень с трудом разбирает слова:

— Сынам напиши... пусть поторопятся... Не смогу я их долго ждать...

С тяжелым сердцем уходит дядя Терень из избы Егора Курашева. И кажется ему, что и дорога стала труднее и ноги слабее.

«Тоже ведь смерть не за горами. Все мы подле ее капканов ходим, и неведомо, когда тебя ее давка придавит».

А тундра звенит и поет. Вот и хозяин умирает, а ей дела нет. Все идет своим чередом: вскрываются реки, тает снег, бегут в залив ручьи, нерпа просасывает во льду лунки, все идет своим порядком. Трофимов о новой бане хлопочет, Митяй — об охотничьем ноже, Арсений мучится ревностью, а Жданов — любовью, сосед Настю ждет, чайка кричит, песец бежит, нерпа на солнце греется. И если дядя Терень помрет, все будет ждать свою Настю сосед и обрадуется ей, когда она приедет.

Наконец вдали засинел мыс Лемберова. Здесь последнее зимовье на пути к Диксону.

Так и на карте показано: мыс Степана Лемберова. А ведь Лемберова дядя Терень лично знал, не раз с ним подле спиртишка грелся. Был Степан Лемберов простой человек, тобольский плотник и объездчик собак, прожил долгую бродячую жизнь на севере, участвовал в первой экспедиции Циглера на Землю Франца Иосифа, а потом в экспедиции на «Герте», разыскивавшей Седова, жил на Диксоне, построил баню, а в 1920 году умер. На его могиле и сейчас стоит крест из серого плавника, а на карте напечатано его имя.

И деда Кураша имя есть на карте. Может, и бухточку, где живет дядя Терень, когда-нибудь назовут его именем? Все-таки без следа не исчезнет с земли человек, не растает, как снег весною.

Так, размышляя о жизни и смерти, подходит дядя Терень к избе Повойниковых.

Согнувшись, входит в низенькие сени, распахивает дверь, из-за которой доносятся крики и плач, и попадает в драку.

Не отскочи он в сторону, быть бы старику покойником: мимо него со свистом проносится табуретка, шлепается о двери и разлетается щепками.

Дерутся братья Повойниковы: у младшего лицо исцарапано в кровь, у старшего по губе течет алая струйка и глаз припух. Бабы визжат и тоже лезут в драку. Баба старшего, худая, злющая, растопырив пальцы, наскакивает на противницу, ее когти страшны; баба младшего, пухленькая, маленькая, в растерзанной кофточке, обороняется чем может, но больше слезами.

— Мир дому сему! — хмуро произносит дядя Терень и сбрасывает мешок с плеч.

Повойниковы сразу стихают. Бабы поспешно застегивают кофточки, младшая прячется за занавеску. Братья вытирают кровь с лица и смущенно отворачиваются. А он молча проходит к столу, медленно опускается на табурет и кладет на стол руки.

— Весна нонче ранняя...— говорит он, словно ничего не видел.— В Широкой лед взломало третьего дня. Белушатники говорят: нынче у Горла лед.— Он обводит избу равнодушным взглядом: поломанные табуретки, поваленные лавки, люльку, в которой младенец плачет, и тем же тоном спрашивает: — Ну? Чего не поделили?

Старший Повойников — огромный, нечесаный, ленивый мужик страшной, тупой силы; младший — проныра и жулик. Вероятно, задирает младший. Он же и бывает битым. Жена старшего — баба-ведьма, жена младшего — овца и дура. Вероятно, заводит старшая, она и подзуживает мужа. Все это дядя Терень знает и спрашивает без надежды помирить братьев и их жен.

Младший Повойников первый начинает выкладывать свои обиды. Говорит он визгливым, бабьим голосом, бросая злые взгляды на брата и на его жену. Старший смущенно молчит, за него говорит его жена. Она всех перекрикивает и сыплет на дядю Тереня ворох сплетен, обид,— все это житейские мелочи, все от шершавости быта. Изба — тесная, а люди — колючие, словно ежи в норе.

В таком деле судьей быть трудно. Но дядя Терень честно пытается разобраться во всем.

— Стойте, граждане,— строго говорит он, надев очки.— Давайте по порядку. Так что ты говоришь, Семен, о капканах?

Но его перекрикивают голоса спорщиков, и он, безнадежно махнув рукой, умолкает и снимает очки.

Спор разгорается с новой силой. Визгливо кричит Повойников-младший, размахивает руками и все время обращается к дяде Тереню, бросая косые взгляды на жену брата. Хрипло ругается жена старшего, шипит из-за занавески жена младшего. Наконец и старший Повойников, все время молчавший, не стерпев, бьет кулаком по столу и орет неведомо что, всех перекрывая своей могучей глоткой. Теперь уж быть драке.

Но дядя Терень, про которого в шуме совсем забыли, слышит плач в углу, встает, подходит к люльке, наклоняется к младенцу и говорит сердито:

— Эх, люди, люди! Дите разбудили... Родители!

Оттого ли, что сказал он это с сердцем, оттого ли, что ссора вдруг выдохлась, но Повойниковы сразу стихли.

И во внезапно наступившей тишине слышно, как плачет ребенок. Он плачет настойчиво и обиженно.

У Повойниковых дядя Терень не задерживается. Некогда, да и не хочется.

В сенях младший брат торопливо сует старику записку.

— Пошли телеграмму,— возбужденно шепчет он,— нехай разведут нас с братом. Убьет он меня.

Старший догоняет дядю Тереня уже за мысом. Он снимает шапку и протягивает старику бумагу. Дядя Терень, не читая, кладет телеграмму в мешок.

— Эх, люди, люди! — качает он головой.— Звери в берлоге.

Повойников смущенно опускает лохматую голову.

— Не осуди! — хрипло просит он и разводит руками.

Долог путь до моря сизого... Эх!
Тяжек путь до острова скалистого... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная?
Э-эх!

Вот и заветная мачта выглянула из тумана. Вот и черные скалы. А за скалами уж и море сизое. Путь окончен.

Дядя Терень входит в бухту Диксона. Снег со льда сошел, и бухта — как двор хорошего хозяина,— чистая, точно метлой выметенная. Только в ямках во льду чернеет мусор, но и он сверху покрыт тонкой, прозрачной ледяной коркой... Похоже на стеклянные шары, украшение комодов.

Первым делом дядя Терень отправляется на радиостанцию. Здесь вытряхивает он свой мешок и наблюдает, как несутся в эфир и заботы Трофимова, и ревность Арсения, и любовь Жданова. Вот последняя радиограмма отстукана. Теперь дело дяди Тереня — ждать. И слушать.

Он сидит в кают-компании, окруженный полярниками, прихлебывает кофеек из большой кружки, лакомится засахаренным лимоном и слушает. Слушает он жадно, все нужно знать ему: и что на свете делается, и какие караваны идут, и где нынче лед. По целым часам сидит он подле репродуктора, окутанный облаками табачного дыма, подолгу простаивает у карты, на которой флажками расцвечены пути кораблей. Расспрашивает синоптиков, радистов, моряков с зимующего лихтера. С ним люди разговаривают охотно, он умеет и спросить, и послушать, и свое слово вставить. Он ничего не записывает,— такой моды у него нет, он и не знает, что можно новости записывать, но что он услышал и понял, то запомнил прочно. Кок говорит, что дядя Терень совсем «нафарширован новостями»,— а старику все кажется, что узнал он мало.

Однако засиживаться на Диксоне нельзя. Весна торопит: ныне она ранняя. Она уже во всей красе: дожди и туманы. Это и есть полярная весна. Дядя Терень озабоченно прикидывает в уме сроки: обратный путь будет во много раз труднее.

— Летуй с нами, дядя Терень,— предлагают радисты.

— Мне, мил человек, летовать здесь никак нельзя,— отвечает он.— Меня люди ждут.

Однако и уходить никак невозможно. Вот уж со всех концов получены ответы на телеграммы, только от бабенки Арсения все нет и нет.

— Экая бабенка, какая непутевая,— злится дядя Терень, но не уходит с острова, ждет: как без радиограммы к Арсению явишься?

Тоскливо глядит он, как тает под дождем лед на бухте,— он весь уж в дырочках, точно сыр. Почернел и съежился снег на северных скатах гор. А ответа от бабенки все нет. Пролетел над островом первый косяк гусей, это уж гусь самостоятельный,— а ответа нет. Все сроки вышли, нет и нет ответа. Радисты решили подсобить дяде Тереню в беде.

— Мы ее к телефону вызовем. Врет, явится.

И точно — на другой день дядю Тереня вызвали на рацию.

Он очутился перед микрофоном и услышал женский голос:

— Алло! Я слушаю...

Старик даже растерялся. Ведь это что, ведь это из Москвы голос... Ведь это он сейчас скажет, а в Москве услышат. Тут зряшное слово сказать нельзя, тут весь мир тебя слышит.

— Алло! — нетерпеливо зазвенел в ухе женский голос.— Ну, что же вы не отвечаете?

«Капризная дамочка»,— подумал дядя Терень и вдруг рассердился: экая баба! Еще кричит. Лед вот-вот тронется, а тут все сиди, ее листика дожидайся.

— Я мужу вашему сосед...— сказал он в микрофон, не уверенный, что слова его услышат.

— Ах, сосед! Очень, очень рада. Ну, что он, как бедненький мой? Ах, знаете...

— А то, что нехорошо вы делаете, милая дамочка. Нехорошо,— сказал дядя Терень в микрофон и даже головой покачал.— Я тебе это по-стариковски скажу, попросту. Кабы ты дочка моя была али сноха, я б...— и тут диктор дернул его за рукав и он остановился.— Ну, то-то,— проворчал он.

— Я не понимаю,— сконфузилась бабенка.— Что это вы говорите?

— А то говорю,— сердито закричал в микрофон дядя Терень,— что нельзя так. Муж тебе, баба, не игрушка, вертеть им тоже нечего. Радиограмму получила, сказывай?

— Получила...

— А ответ что же? Я, бабонька, тут прохлаждаться не могу. Да и муж ждет. Муж он тебе аль кто?

— Ну, муж...

— А коли муж, уважение к нему иметь надо. Хоть и муж, а все человек он. Тоже сердце имеет. Не пар. Тебе хаханьки, а он не ест, не пьет... сна решился.

— Я напишу, напишу...— заторопилась женщина,— я сегодня же... Ах он глупый!

— Чего напишу? — закричал дядя Терень.— Нет у меня больше сроку ждать. Ты это понять можешь: скоро лед пойдет. Лед. А...— махнул он рукой.— Что ей про лед толковать-то...

Радисты, корчившиеся от смеха во время этого разговора, и тут решили подсобить дяде Тереню.

— Гражданка,— сказал в микрофон диктор,— вы продиктуйте радиограмму, а мы ее передадим с соседом.

— Только чтоб хорошую телеграмму,— проворчал дядя Терень.— Плохую не понесу.

Радист стал записывать: «Я жива, здорова, по тебе очень скучаю...»

— Скучаешь, как же,— буркнул старик,— ты еще про кино напиши.

«...очень скучаю... жду тебя не дождусь. Деньги получила, но все уже вышли. Но это ничего, хотя трудно мне. А затем оставайся здоров, себя береги. Целую. Твоя Фрося».

— Нет, нет! — закричал дядя Терень что было силы.— Не беру такую телеграмму. Не беру.

— Что ты, дед? — удивились радисты.

— «Просто целую» не беру. Пущай крепко-крепко, горячо целую, тогда понесу. Шалишь!

— Ну, крепко... крепко... горячо,— пролепетала Фрося в эфир.— Какие вы странные!

Радисты вписали: «крепко-крепко, горячо», и довольный дядя Терень через час шагал со своим мешком за плечами по бухте, трогал лед палкой и пел.

Теперь только бы поспеть домой к большой воде! Дядя Терень идет скорым маршем, где можно — напрямик через тундру, где нельзя — напрямик через залив. Он торопится. Надо успеть опять на все зимовья зайти, всем письма раздать и выложить то, что всего важнее,— новости. Капсе, как говорят якуты; пынель, как говорят чукчи.

Великое дело — новость! Человек, принесший новость,— нужный, желанный человек в тундре. Ему — красный угол в избе, ему почетное место у котка.

Но дядя Терень не чванится новостями, он ими не торгует. Он щедро раздает их встречному-поперечному, и они, сразу став крылатыми, летят по тундре. Новости важные, нужные: о том, где лед идет нынче, и когда каравана ждать, и чем баржи гружены, и какие люди едут, и какие цены на зверя везут, и какие порядки ожидаются. Все дядя Терень узнал; все, что узнал, роздал.

В избе Повойниковых дядя Терень нежданно-негаданно застал мир. Он глазам не верит: за столом дружно сидит вся семья, лица у всех праздничные, светлые, бабы в розовых кофтах, старший Повойников причесан, у младшего на лице умиление, царапины позажили.

— Мир дому сему! — бормочет дядя Терень и уж раздумывает, отдавать или нет радиограммы из конторы.

— Дядя Терень пришел! — радостно визжат обе бабы и тащат старика к столу.

Ничего не понимая, он садится, обводит всех глазами: мир, мир написан на всех лицах,— и, обрадовавшись, поднимает чарку:

— Ну,— говорит он,— чтоб и нам, и вам, и всем добрым людям! — и пьет.

Обед проходит шумно и дружно. Но после обеда младший отзывает старика в сторону и спрашивает:

— Ну, как?

— Принес вам развод,— нерешительно говорит старик.— Аль невпопад?

Младший задумывается. Потом говорит:

— Однако давай.

Старик отдает радиограмму из конторы: младшему оставаться на мысе Лемберова, старшему переселяться на зимовье Жданова.

— Это как же? — вдруг громко произносит младший.— Отчего же Ивану ехать? Это и я очень просто могу поехать.

Все в избе настороженно затихают.

— Ишь ты! — криво усмехается младший.— Ивану лафа какая. Промысел Жданова известный, с нашим не сравнить.

Швыряет телеграмму в лицо старшему и шипит:

— Вперед забежал? Ловкой!

Старший Повойников еще и разобраться ни в чем не успел, а жена его уж вцепилась в Семена, а Семенова баба — в него. Драка вспыхивает сразу, трещат бабьи кофты, летят табуреты...

— Стойте! Стойте! — надрывается дядя Терень.— Люди вы аль не люди? — Он кое-как выбирается из драки, хватает мешок и ружье.— Тьфу! — плюет на пол и скорее вон.

«Что за люди! — недоумевает он, оставшись один.— Тундра широкая, а им тесно...

Однако некогда размышлять о Повойниковых. Некогда думать. Теперь только смотри да смотри. Лед тончает, забереги стали огромными, что полыньи, тундра топкая, вязкая, под каждым камнем — лужа, реки вскрылись, разлились, трудная дорога, мокрая.

А времени мало!

«Застану ли еще деда Кураша в живых?» — озабоченно думает дядя Терень.

Деда Кураша он застает подле избы. Старик лежит на лавке, греется на солнышке.

— А-а! — встречает он дядю Тереня.— Долго ходишь, молодой человек! Бывало, раньше шибче ходил.

— Оно раньше ноги ходчее были,— шутит дядя Терень,— теперь самоходы мои выходились. Надо себе автомобиль заводить.

— Заведи, заведи. Ну, как сходил? Счастливо?

— Ничего. Приедут к тебе, Егор Кузьмич, сыновья. Ты дождись!

— А-а! — усмехается дед в бороду и не может улыбки скрыть.— Приедут-таки, шалопуты. Испужались. А вот возьму да, не дождавшись, помру. А? — И он смеется своей угрозе.

Дядя Терень начинает выкладывать новости. Сперва государственные, политические.

— Вот в Москве под землей дорогу выстроили,— сообщает он,— называется метро.

Но деда Кураша новости московские не интересуют. Раз и навсегда он ограничил свои интересы делами Арктики. Здесь его изба, его промысел, его дети.

— Ну, как там... какие полеты будут? — спрашивает он.

«Это про Петрушу вопрос»,— отмечает про себя дядя Терень и рассказывает о полетах.

— А что про зверя слыхать? Как нонче белуха идет, как нерпа, как морж?

«А это про Серегу»,— догадывается дядя Терень и рассказывает о зверобойке.

— Так, так,— одобрительно кивает головой дед.— И о полярных станциях слыхал? Как нынче на Диксоне? Али, например, на Челюскином мысу?

«А это уж про Ваську»,— улыбается дядя Терень и рассказывает про Ваську, то бишь — про станцию на Челюскином мысу.

Вот и все новости выложены. Можно и в путь. Дед не сердится, что гость уходит так скоро, он понимает — засиживаться ему нельзя.

— Оставил бы я тебя еще на день,— говорит на расставание старик,— да ноги нонче у тебя не те. Торопись. К большой воде не поспеешь.

Целый день сеется дождь, мелкий, настырный, и когда дядя Терень добирается до избы Жданова, на нем сухой нитки нет.

Жданов встречает его, как всегда, молча, ни о чем не спрашивает, ведет в избу и, пока дядя Терень сбрасывает с себя мокрую одежду, достает из сундука свою и дает старику.

Потом оба садятся к огню и закуривают.

— Я послал,— кратко сообщает дядя Терень: с Ждановым научишься краткости.

— А-а! — равнодушно отзывается Жданов.

— Ответа наказывал не ждать?

— Ну?

— Я и не ждал,— заканчивает дядя Терень и протягивает к огню ноги в шерстяных ждановских чулках.

Оба молчат и курят.

Слышно, как стучит дождь в окно.

— Однако,— вдруг говорит дядя Терень, зевая,— однако писулька тебе какая-то пришла...

Лицо Жданова начинает медленно краснеть. Но он ничего не говорит, не торопит дядю Тереня, только трубкой пыхтит,— трубка, как назло, погасла.

Дядя Терень достает из мешка радиограмму и сует Жданову.

«Я получила ваши розы, дорогой друг. Спасибо от всей души. Часто и тепло вспоминаю нашу встречу в тундре, и еще раз вам, как тогда, скажу: хороший вы, правильный человек. Буду рада вас увидеть в Москве, если случится вам быть там. Сердечный привет. Татьяна Логинова».

Жданов долго, очень долго читает радиограмму и вдруг сам начинает рассказывать о Татьяне Логиновой, о том, как встретил ее в прошлом году, пятого июля, в тундре (она геолог), как посчастливилось ему оказать ей услугу, пустяшную, а вот помнит, и как думал о ней с тех пор, всю зиму думал, думает и сейчас...

— В Москву поеду. Погляжу на нее. Только погляжу. И обратно сюда!

— Один вернешься? — будто невзначай спрашивает дядя Терень.

Жданов бросает на него свирепый взгляд и рычит:

— Один! А ты что думал? Один, черт тебя подери!

В избе Трофимова дядя Терень мешок кладет прямо на стол, вся семья собирается вокруг, и старик торжественно раздает подарки: Митяю — книги, хозяйке — сгущенное молоко в банках и скляночки с лекарствами и присыпками из больницы, Трофимову — хозяйственные мелочи.

Митяй вертит в руке книги и смотрит на дядю Тереня исподлобья.

— Ты чего? — спрашивает отец.

— Ничего,— надув губы, ворчит Митяй,— надул...

— Ах, да! — говорит дядя Терень, хлопая себя рукой по лбу.— Я и забыл!

И, лукаво улыбаясь, вытаскивает из кармана нож и отдает Митяю.

Подарки розданы, теперь — новости. Трофимову нужно рассказывать обстоятельно. Это не Жданов, не

дед Кураш. С Трофимовым можно долго и смачно говорить о политике. Гадать, будет ли нынче война или нет, и какого урожая ждать в колхозах, и каких цен на зверя.

Как всегда, дяде Тереню не хочется уходить из теплой, домовитой избы Трофимова. Хорошо бы остаться и сидеть вот так у огня, курить, беседовать, слушать, как стучит дождь в окно, как возится девочка в люльке, как повизгивают в сенях собаки. И то сказать, довольно уж он походил на своем веку. Место старика у печки.

Но, рассказав все новости, он встает, выколачивает трубку о каблук, надевает мешок на плечи, прощается и выходит.

Всю дорогу от избы Трофимова до жилья Арсения дядя Терень последними словами ругает Арсеньеву бабенку. Это из-за нее потерял он на Диксоне три дня. Три дня, шутка ли сказать. Три дня, когда тут каждый час дорог. Час весну делает.

— Вот чертова баба! — ругается старик, перепрыгивая через трещины и проваливаясь по грудь в ледяную воду.— Ох, баба анафемская! Да коли бы ты дочкой моей была б аль снохой — я б...

К жилью Арсения он добирается из последних сил. Все мокро на нем. Он дрожит и от холода и от усталости, проклинает дорогу, бабу и себя за то, что связался с этими делами.

«Ишь, какие дела завелись в тундре: любовь, ревность. Сроду не было. И люди стали беспокойнее, и вёсны хуже, и вода холодней — до костей пронизывает, да и кости не те (главное — кости не те), что прежде. Все тело ноет. Совсем застудил ты себя, старик. Ах, дела!»

Но когда Арсений, исхудавший, обросший бородою, страшный, нетерпеливо бросается к нему навстречу и кричит: «Ну? Ну? Ну?», старик, стуча зубами от холода, первым делом отвечает ему:

— Принес, принес. Крепко целует. Дай отогреюсь, погоди, отойду...

Но прежде всего он отдает Арсению радиограмму, потому что душа у человека болит всегда сильнее, чем кости.

Арсений вырывает радиограмму из окоченевших рук старика и жадно читает.

— Ишь! Ишь ты! — бормочет он, весь расплываясь в улыбке.— Ишь! — сконфуженно хмыкает он.

Вот уж душа и вылечена. А кости — что кости? Кости стариковские, привычные,— отошли и они. Снова можно в дорогу.

— Ты не уходи! Не уходи! — просит Арсений.

Нельзя человеку оставаться одному наедине с горем, но еще труднее — с долгожданной радостью. Теперь только бы говорить, говорить, рассказывать о жене, о том, как она любит его и он ее и как они чудесно жить будут...

— Ты не уходи, дядя Терень, золотой ты человек! — просит Арсений.— Теперь как раз нам выпить следует!

Но старик помнит о соседе, который тоже ждет. Тоже, поди, душой изболелся.

Надо идти. Надо идти.

Сосед стоит на высоком берегу и смотрит в залив. Над Енисеем — рев. С треском взламывается лед, льдины сталкиваются, со скрежетом переворачиваются, бьются; снежная пыль столбом стоит в воздухе.

«Теперь дядя Терень заливом не пойдет! — грустно думает сосед.— Теперь пойдет берегом, в обход. И ждать сегодня нечего».

В последний раз бросает он взгляд на ледоход и вдруг далеко-далеко в заливе замечает одинокую черную фигуру: она мечется среди льдин, прыгает. Сосед всматривается и с ужасом узнает дядю Тереня.

— Дядя Тере-ень! — кричит он испуганно.— Что это ты?

Но старик не слышит. Кругом грохот, рев, треск. Лед ползет из-под ног, прочные ледяные поля вдруг раскалываются в самом надежном месте и заливаются водой. Большая вода идет, большая сила идет, как с ней старику сладить?

— Вот проклятая баба! — ругается он, вспомнив жену Арсения, и мечется по льдине.

До берега еще далеко. А на берегу мечется сосед, невольно повторяет движения старика на льдине, всплескивает руками:

«Ах, беда какая! Что же теперь, а? Пропал старик!»

Вдруг он решается, бежит к лодке, сталкивает в воду, прыгает в нее и, отталкиваясь шестом от льдин, торопится на выручку. Лодка скользит среди ледохода, обломки льдин летят в нее со всех сторон.

— Э-эй! — кричит сосед.— Дядя Tepe-ень!.. Подержи-ись!.. Держи-и-ись!..

Старик замечает лодку.

— Ты заче-ем? Заче-ем? — кричит он сердито.— Тебя раздавит, че-ерт!

— Ты держи-и-ись! — доносится до него.

И старик, ожесточенно сплюнув, прыгает на соседнюю льдину, а с нее на следующую, и еще на следующую, навстречу лодке.

Через полчаса оба шабра[1] на берегу. Оба мокры с головы до ног, оба измучены.

— Приедет Настя...— говорит старик,— вот вода пройдет, она и приедет.— И отдает радиограмму.

Сосед, сконфузившись, читает. Дядя Терень глядит, как проносятся мимо льдины с отпечатками его шагов. Они несутся в море.

— Это хорошо, что Настя приедет. А? Как думаешь? — конфузясь, спрашивает сосед.— Человеку без бабы никак невозможно жить.

— Это верно,— соглашается старик.— Такое уж дело,— и смотрит на ледоход.

Соседу вдруг становится стыдно за свою радость.

«Что ж это я,— все о себе да о Насте! Надо и старика спросить».

— Ну, а ты, дядя Терень, что из дому получил? Хорошие вести?

— Из дому? — смеется старик.— А у меня, мил друг, никакого дома нет.

— А родня?

---

[1] Шабер — сосед.

— И родни нет. Бобыль. Как подорожник у межи, один... так-то!

— А кому же ты радиограмму посылал?

— Я? Никому.

— Так ходил ты зачем? — удивленно спрашивает сосед.

Но старик не отвечает.

Идет большая вода — это всего интереснее.

«Значит, поспел-таки!» — думает старик и снимает шапку, словно приветствует большую воду.

1939

РОДЫ НА ОГУРЕЧНОЙ ЗЕМЛЕ

На Огуречной Земле случилось несчастье. Огуречная Земля — далекий, уединенный островок в Полярном море,— напрасно вы будете искать его на карте под таким названием. На карте у этой крошечной точки есть свое, вполне благозвучное и даже поэтическое имя. Но полярные радисты упрямо зовут ее Огуречной Землей, и попробуйте-ка разубедить их! Это такой народ, радисты! Пересмешники. Скучно им в своих рубках, что ли?

Впрочем, странное это название имеет свою историю. Островок открыли недавно, совсем недавно, и начальник партии, лихо и наспех произведя съемку вновь открытой земли (его торопили льды, убедительно смыкавшиеся вокруг ледокола), тут же составил донесение, в котором писал: «Вновь открытый остров имеет форму огурца». И радисты,— а через их руки неминуемо проходит все,— окрестили нового гражданина семьи полярных островов Огуречной Землей.

Островок вскоре приобрел немалое значение,— он был так далек! Исследователи потирали руки: теперь-то мы доберемся до многих тайн Ледовитого моря. Синоптики облегченно вздохнули: еще одна печь появилась на кухне погоды. Молодые полярники мечтали об Огуречной Земле, как о невесте. Им грезились несказанные ее прелести, и не было таких подвигов, на которые не пошли бы они, только бы ее завоевать. Они снисходительно говорили: «Что Диксон, Тикси, Челюскин? Это уж освоено. Это все равно что дома. А там...» И волнующим шепотом прибавляли: «Шутка ли! Семьдесят восьмой градус...»

Итак, земля, имеющая форму огурца, стала обитаемой. На нетронутом снегу, рядом с большими, круглыми, как чаша, следами медведя появились острые, напористые человеческие следы. Возникли здания. В торосах родилась жизнь. И были уже у людей свои будни, и кипел кофе в медном начищенном кофейнике, и свои радости, и вечерние часы за шахматной доской, и свои заботы, волнения... И вот было уже и свое несчастье. Или скорее — счастье. Ну да, счастье!.. Впрочем, ничего еще не было известно,— как обернется. Дело в том, что женщина кричала страшным, нечеловеческим криком, а бледный толстый мужчина стоял над ней, и его руки беспомощно тряслись, а по лбу катились тяжелые круглые капли пота.

Тот очень ошибается, кто думает, что в Советской Арктике на далеких островах люди живут уединенно, ничего не зная о своем ближайшем соседе. Правда, от соседа к соседу, от острова до острова, подчас тысячи километров — и каких километров! Но радисты! И благодаря им вся Арктика знала, что на далекой Огуречной Земле женщина в муках рожает нового гражданина. И вся Арктика, затаив дыхание, следила за исходом этих родов, словно все они, эти хмурые, мужественные люди, горняки Нордвика, ученые Челюскина, радисты Диксона, строители порта Тикси, зимовщики Белого, стояли, стараясь не кашлянуть, не шелохнуться, у кровати роженицы и ждали появления на свет ребенка, чтобы услышать его первый требовательный крик и ласково, отечески ему улыбнуться.

— Ну, как? Ну, как? — спрашивали и утром, и в полдень, и вечером со всех зимовок.

Но женщина кричала, и казалось, ее стоны слышны во всей Арктике, муж ее, беспомощный, как и все мужчины в таких случаях, только плакал над нею, а доктор ничего не мог сделать, суетился и нервничал. Бедняга, он не был акушером, а случай выдался исключительный — поперечное положение плода.

С Огуречной Земли в этот день на радиоузел приняли отчаянную радиограмму.

«Спасите! Спасите! — радировал муж роженицы.— Сделайте, что можно тчк. Спасите мать зпт ребенка».

Что можно было сделать? Радист, принявший радиограмму, страдальчески сморщился, снял наушники и пошел к начальнику. Что можно сделать? Ведь женщина... Ведь ребенок...

Начальник и парторг задумались. Как помочь роженице? Лететь туда не на чем. На зимовке — ни одного самолета. Зима. Полярная ночь. Разве долетишь? Парторг хмурился и пошел в больницу к доктору.

Доктора звали Сергеем Матвеичем. Что сказать о нем? То был обыкновенный врач, из тех, которых ничем уже не удивишь, не расстроишь и не испугаешь. И внешность у Сергея Матвеича была обыкновеннейшая: брюшко в меру, руки красные, большие, настоящие руки резника-хирурга; голос жирный, благодушный; лысинка благообразная, покрытая реденькой прядью; очки роговые черные; одежда, руки — все пахнет карболкой, лекарствами, больницей,— одним словом, партикулярная внешность врача. Так что, когда встретишь Сергея Матвеича в кают-компании в форменной тужурке с якорями, невольно подумаешь: «Отчего он не в халате?»

Одно было необыкновенно в докторе: уж очень он был... обыкновенен для арктического врача. Все-таки арктический врач — это, как хотите, фигура романтическая. Взгляните на карту. Среди имен полярных исследователей, память о которых нам хранит красноречивая карта, найдете вы имена врачей: остров доктора Старокадомского, мыс доктора Исаченко. На Диксоне вам покажут могилу фельдшера Владимирова, скромного северного героя, и вы с почтением поклонитесь знаку на могиле из серого плавника. На острове Врангеля вы уже сами первым делом станете искать могилу доктора Вульфсона, героя, самоотверженно погибшего в борьбе с врагом народа, проникшим в Арктику.

Но в Сергее Матвеиче до обиды не было ничего романтического. Обыкновенный прозаический врач. Не был он похож и на бравых корабельных врачей, привыкших ко льдам, штормам, качающейся палубе, консервному пайку и к запаху океанской соли. Но, может быть, он был врач-исследователь, врач-ученый?

В последнее время в Арктику охотно едут ученые-медики. Они и биологи, и зоологи немного, и ботаники.

Одни собирают рачков, любопытных земноводных, ящериц и увозят эти трофеи в спирту на материк; другие распластывают на листе гербария карликовую иву, которая вся — с корнями и «кроной» — умещается на ладони; третьи изучают заболевания в условиях Арктики, поведение людей, психику, возможности инфекции, влияние полярной ночи и полярного дня на человека...

Но Сергей Матвеич не заспиртовывал рачков, не засушивал лишайников и, кажется, даже не записывал в дневник «любопытные фактики из врачебной практики». Он, впрочем, кое-что попробовал было сделать, да времени... времени не было. Больные. Заботы. Больница. По всему было видно, что его зимовка не обогатит науку новыми открытиями.

Еще на корабле молодой магнитолог Модоров, один из тех бескорыстных энтузиастов науки, которые особенно ярко раскрываются именно на зимовках, подошел к врачу и, весело улыбаясь, сказал ему:

— А я понимаю вас. И ваш взгляд на всех нас, зимовщиков, понимаю. Вы ведь на нас смотрите, как на кроликов. Будете изучать нас, так ведь? Щупать пульс до и после аврала, слушать сердце во время полярной ночи и после нее. И потом напишете, конечно, научную работу? Так? Ну, так, что ли? Я рад, доктор, служить вам кроликом.

Сергей Матвеич испуганно посмотрел на него, смутился и ответил, что да, конечно, он кое-что, батенька, этакое затеял, но при этом он так неопределенно щелкнул пальцами, что и Модоров и все остальные «кролики» больше не спрашивали Сергея Матвеича о научной работе. Было похоже на то, что он приехал сюда с единственной целью: лечить людей, буде они заболеют, принимать у рожениц ребят, рвать зубы и вырезать аппендициты.

Для всего этого ему нужна была больница, ибо врач без больницы — «это, батенька, Колумб без корабля». И больница ему была нужна не какая-нибудь, а вполне благоустроенная, потому что Арктика там или не Арктика, а если человек заболеет, то надо, чтобы лечили его по-настоящему. Поэтому он сам при разгрузке баржи таскал на своей спине ящики с оборудованием и, если ему помогали, сердито кричал:

— Осторожно, осторожнее! Не разбейте!

Он сам и строгал и пилил, мастерил какие-то палочки, суетился около плотников, сам выкрасил белой масляной краской стены, покрыл линолеумом пол. Людей было мало, а дел у всех много. Строился радиоцентр, гремели взрывы в порту: строилась угольная база. То был тысяча девятьсот тридцать четвертый год — исторический для Арктики, когда, словно по волшебству, возникали на пустынных берегах Ледовитого океана среди диабазовых скал здания, порты, мастерские, шахты.

Возникла и больница. Она была маленькая, на пять коек, но этого было вполне достаточно. И все в ней было, как в настоящих больницах, в которых поседел, полысел и пропитался запахом йода и карболки Сергей Матвеич. Так же поблескивали маслом белые стены, так же играло солнце на никеле инструментария, на склянках с этикетками в стеклянном шкафу. И чистота. И тишина. И запах карболки. Появились и больные. Все больше женщины. Из отдаленных промысловых избушек, за сотни километров, на собаках приезжали они сюда загодя, за месяц, за два до «срока», и жили на зимовке. Приезжали и мужчины — с грыжей, с аппендицитом, с отмороженными пальцами, с увечьями, с больными зубами. Он лечил и зубы и даже пломбировал их; и многие, не успевшие на материке починить свои зубы, сделали это у Сергея Матвеича. Но чаще всего он говорил:

— Эх, батенька. Ну к чему вам этот дрянной зуб? Давайте-ка мы его... того...

А перед тем как выдернуть зуб, он выдавал больному для храбрости тридцать граммов спирта. Это было традицией. Но потом Сергей Матвеич заметил, что его стали обманывать. Спирт выпьют, а зуб рвать не дают. «Знаете, говорят, доктор, а зубу-то легче стало. Давайте-ка в следующий раз». С тех пор он стал выдавать спирт только после операции.

Как хирург по профессии и по складу души, он всегда предпочитал хирургические меры и даже, как смеялись на зимовке, оживлялся, если предстояло кого-нибудь «порезать».

— Мы, батенька, вас сейчас почикаем немного, и легче вам будет. Ну вот! Вот и отчикали. Вот ваша болячка.

К внутренним же болезням он относился подозрительно.

— Это там всякая терапия, панська хвороба. К чему вам этим болеть, батенька? Этакая дрянь! — И утешал: — Предоставьте это природе... Природа — она мудрее. Все рассосется... Климат здесь чудесный... Здоровый климат-с!

И было уж так заведено, что каждый день во время обеда кто-нибудь громко через стол говорил:

— Доктор, у меня что-то голова сегодня болит. Рассосется?

— Рассосется, батенька, рассосется,— убежденно отвечал он.

Таков был Сергей Матвеич, наш обыкновеннейший доктор. И если было в нем что-либо непонятное, то только — зачем он поехал в Арктику?

Собственно Арктики он так и не видел. Больница, кают-компания, квартиры зимовщиков, больница... Собирался было на охоту сходить, да не собрался. Думал было промысловые избушки объехать, да не на кого было больницу оставить — все роды (удивительно много стали рожать в Арктике), и по промыслам поехал фельдшер. Один раз только, осенью, во время хода белухи, увязался доктор с молодежью на промысел, но только мешал всем, промок, чуть было сеть не упустил и, мокрый, но очень довольный, вылез на берег. Зато когда белухи были уже на берегу, он, окруженный чуть ли не всем населением зимовки, стал ножом разделывать морского зверя. («Смотреть, нет ли у белухи аппендицита»,— смеялась молодежь.) Опытной рукой он вскрывал внутренности и показывал собравшимся легкие зверя, желудок: «Все, знаете, батенька, довольно похоже на человеческие органы».

Однажды, после вечернего кофе, когда в кают-компании было как-то по-особенному тепло и уютно, магнитолог Модоров подсел к доктору:

— Вы не обидитесь, Сергей Матвеич? Скажите: зачем вы поехали в Арктику?

Сергей Матвеич смутился и развел руками.

— Как вам сказать, батенька,— пробормотал он.— Кругом говорят: Арктика, Арктика... Думаю: дай-ка и я. Ведь не стар. Как находите: ведь не стар еще? — Он молодцевато покрутил усы.— Потом в больнице у нас, знаете, врач появился. Только что с Севера. Восторженный этакий. Большое поле, говорит. Интересные случаи... Отчего же не послужить? Я и на фронте был... Всяко бывало... И потом...— Он поднял на собеседника свои честные голубоватые глаза и прибавил просто: — И потом — материальные условия очень хороши. Два года прозимую — ведь это, батенька, капитал. Домик мыслю себе купить под Москвой. Знаете, этак садик... гамачок... клумбы... Обожаю настурции. И еще — ночную фиалку под окном.

После этой беседы доктор показался всем еще более скучным и прозаичным.

Но какой бы он ни был будничный и прозаичный, вот такой, каков он есть,— с большими красными руками, с брюшком под халатом, с запахом карболки и йода,— он был все-таки единственным человеком на зимовке, который мог бы помочь женщине, рожавшей на Огуречной Земле, хоть и не было ясно, как он сможет это сделать.

Парторг зимовки, дядя Вася, пришел к доктору в больницу и уединился с ним в кабинете.

— Надо помочь,— сказал он, поднимая на доктора усталые глаза.

— Позвольте, позвольте, батенька! — удивился Сергей Матвеич.— Вы говорите, помочь. Давайте-ка сюда вашу больную. Пожалуйста. Но ведь не могу же я принимать роды, которые, извините... находятся... э-э-э... где-то в пространстве.

— Но надо помочь, доктор,— настойчиво повторил парторг.

— Нет. Это чудесно, право! — рассмеялся доктор и даже всплеснул руками.— Дайте мне руки длиною в тысячу километров, чтоб я мог протянуть их... э... к ложу больной. Дайте мне, батенька, глаза-телескопы... э... э... чтоб увидеть за тысячи километров, и я готов-с, готов.

— Мы вам дадим такие руки и такие глаза, доктор,— сказал парторг.— И тогда...

— Я вас не понимаю, батенька... Какие руки? Какие глаза?

— Радио. Вам будут говорить о состоянии больной и, как это, о положении плода, а вы будете руководить.

Опешивший Сергей Матвеич долго и молча смотрел на парторга.

— Вы как это... серьезно?! — наконец осведомился он шепотом.

— Вполне. Иного выхода нет.

Сергей Матвеич встал, надел халат и решительно направился к двери.

— Идемте к больной,— сказал он. Потом остановился.— Впрочем, зачем же халат? Ну, все равно. Экие странные вещи на свете. Первый случай в моей практике... э... заочные роды. Роды по радио. Представляю, как удивятся мои коллеги... Ну, все равно. Идемте.

Огуречная Земля была вызвана к аппарату. Диспетчер объявил всем полярным станциям: «Ввиду того, что радиоузел будет все время работать с Огуречной Землей, связь с остальными станциями временно прекращается до... до исхода родов».

Все замерли. Тихо стало в эфире. Затаив дыхание, следила Арктика за родами на далекой Огуречной Земле. Сергей Матвеич подошел к аппарату.

— Ну-с,— произнес он, заложив руки за пояс халата, и растерялся.

Он чуть было не спросил по привычке: «Ну-с, как вы себя чувствуете, больная?» — но вспомнил, что собственно никакой больной перед ним нет. Пустота. Эфир. Некоторым образом... э... пространство.

Он был явно не в своей тарелке. Не было привычной рабочей обстановки, той, которая давала ему необходимое спокойствие. Он должен был видеть роженицу, слышать ее стоны, мольбы, привычно сочувствовать ее мукам, видеть кровь в тазу, ощупывать своими руками плод — это маленькое, скользкое, беспомощное тельце.

Ничего этого не было сейчас. И он чувствовал себя, как старый солдат, который спокоен под пулями, но пугается зловещей, недоброй тишины засады; как мельник, который может мирно дремать под шум жерновов и просыпается от тишины.

Здесь, на радиостанции, он был как белуха на берегу. Ровным светом горели лампы. Потрескивало что-то в репродукторе. И тишина. И ни больной, ни стонов, ни мук.

Ни мук? Но она мучится там... в пространстве. Очень мучится... и ждет помощи. И все вокруг ждут. Что же, доктор, Сергей Матвеич, ну-ка?

Он наклонился к радисту и сказал:

— Э... батенька... спросите доктора: а в каком положении сейчас плод?

И с любопытством посмотрел, как его слова, словно горох, рассыпались точками и тире и понеслись в эфир. Через несколько минут был уже и ответ.

Сергей Матвеич прочел его и сморщил лоб. Так началась эта необыкновенная «заочная консультация».

— Плод в поперечном положении,— размышлял вслух доктор.— Да-да... Случай! Спросите-ка у моего коллеги,— обратился он к радисту,— знает ли он, хоть понаслышке, поворот плода по методу Бракстон-Хигстона.

«Э, да откуда ему знать? Молодой человек. И терапевт к тому же»,— размышлял он сам с собой.

Терапевт! Как все хирурги, он относился к ним с легким недоверием.

Ответ пришел, какого и ждал Сергей Матвеич: «Понаслышке знаю, но прошу во всем, без стеснения, руководить мной».

— Вымойте руки спиртом и йодом. Все пальцы смажьте йодом. Минут десять мойте, батенька,— продиктовал доктор, и радист, послушно и словно священнодействуя, передал все, и «батеньку» в том числе. Кто его знает, может быть, и в этом «батеньке» есть свой медицинский смысл?

Доктор Огуречной Земли почтительно сообщил, что руки вымыты.

— Так! — удовлетворенно кивнул головой доктор.— Теперь асептика женщины.— Он подробно написал на бумажке инструкцию и передал радисту. И снова, любопытствуя и удивляясь, смотрел, как его слова, мысли, те, что еще минуту назад находились в одном его мозгу, сейчас чудодейственной силой переносятся за тысячу

километров. И он впервые с уважением посмотрел на радиста.

Радист, ощущая важность момента, даже напружинился весь и покраснел от натуги. Он отчетливо выстукивал каждую букву, боясь ошибиться. Принимая отчет с Огуречной Земли, он записывал медленно, без той лихости телеграфиста, какой хвастался всегда. Он просил:

— Давай медленнее. Ведь тут букву изменишь, а ребенку и роженице повредишь.

— Ну-с,— сказал доктор,— теперь сделайте внутреннее исследование. Введите левую руку...

Вот он надвигается, решающий момент.

«Что, если шейка матки недостаточно открыта? — озабоченно думал доктор.— Ах, отчего я не там?! Ведь это что ж... Ведь не могу же я отвечать, батенька, за то, чего не вижу даже».

Ожидая ответа и непривычно волнуясь, он, чтобы успокоиться, отошел к окну и стал глядеть на улицу. На улицу? Была ли здесь улица? Сугроб снега под окном. Дальше амбар, бухта, а еще дальше — снег, снег, только снег. На крышах складов снег, на бухте снег, в тундре снег. Зеленоватый. Луна.

«Ах, и далеконько же ты забрался, Сергей Матвеич!» — вдруг подумал он и удивился даже, что так далеко забрался, словно эта мысль впервые пришла к нему, словно он не второй год зимует, а только первый день.

— Сергей Матвеич! — позвал его кто-то шепотом.

Он оглянулся. Перед ним стояли две женщины: жена радиста и жена геофизика.

— Голубчик, Сергей Матвеич, ну как? — волнуясь, спросила более смелая — жена радиста.

— Что — как? — рассердился доктор.— Вы у мужа спросите, Марья Ильинишна. Он у радио колдует. Он лучше меня знает. А я не вижу... ничего не вижу... Снег-с.

— Мы хотели только...— смутилась жена геофизика.— Ви-дите, у меня подруга была. Так, знаете, она рожала и такой же случай. Я все подробности знаю... может быть, вам пригодится? Я расскажу.

— Ох, голубушка! — поморщился доктор.— Вам-то что? Не подруга же ваша рожает. Вы-то чего?

— Как — чего? — удивилась женщина.— Это даже обидно, Сергей Матвеич.

Но радист в это время подал ответ с Огуречной Земли. Хороший это ответ или плохой, он не знал. Он ничего не понимал в медицинских терминах, но уже заранее волновался, как будто знал, что ответ плохой.

— Ага! — прочел доктор и улыбнулся.— Открытие два с половиной пальца. Ну что ж, голубушка? Будем делать поворот по методу Бракстон-Хигстона.

Он подошел к аппарату. Ему торопливо подвинули стул. Все как-то сразу поняли, что наступил, наконец, решительный момент. Радист побледнел. Парторг прохрипел: «Тише», хотя и без того тихо, удивительно тихо было в комнате, где столпилось столько людей. Все замерли. Все с надеждой, с тревогой, с беспокойством глядели на доктора.

У него мелькнула мысль: «Откуда у меня такая смелость? И такая власть. Вот я сейчас скажу, и он там все сделает... И, может быть, все будет благополучно. И это я... я...»

Он произнес:

— Введите два пальца правой руки и старайтесь поймать ножку ребенка.

Застучал ключ, рассыпались в эфире точки, тире, и больше уже не было у доктора посторонних мыслей. Он видел перед собой роженицу. Это он вводил два пальца. И слышал стоны. И почувствовав мякоть детской ножки, такой беспомощной, такой...

— Да не ошибитесь! — закричал он (радист послушно постукивал).— Не спутайте ножку с ручкой. Найдите пятку. Пяточку, батенька. И зафиксируйте. А то еще за руку потянете... Это бывает.

На Огуречной Земле возле радиста так же сгрудились в тревоге люди. Муж роженицы, потный, всклокоченный, бегал от аппарата к постели больной и обратно. Он передавал доктору радиограмму, выслушав ответ, бежал обратно к аппарату, шепча про себя слова доктора, боясь забыть их и перепутать.

Доктор был взволнован, но поддержка Сергея Матвеича его ободряла. Он видел устремленные на него налитые слезами и страданием глаза роженицы.

— Ничего, ничего,— бормотал он.— Мы с Сергеем Матвеичем поможем вам... Ничего... Вот и пятка... Какая нежная...

«Захватил ножку»,— пришла радиограмма Сергею Матвеичу.

— Ага,— произнес он.— Захватил ножку. Молодец.

И по комнате прошелестело приглушенное радостное: «Захватил ножку. Захватил ножку». Все задвигались, заулыбались, готовы были поздравлять друг друга. Но лицо Сергея Матвеича уже снова было хмурым, и все стихли.

— Так,— произнес он.— Теперь поворачивайте за ножку, а наружной рукой...

Он забыл уже о пространстве. Он словно стоял у постели роженицы и отрывисто бросал указания ассистенту. «А он молодец, молодец! — думал он при этом об ассистенте.— Хоть и терапевт, а прямо хоть куда. Молодец». И в нем уже росла уверенность, что все будет благополучно. И ему уже казалось, что он и раньше был уверен в полном успехе. Это пришло наконец рабочее спокойствие. Он снова был в привычной обстановке.

Проходили минуты, казавшиеся всем вечностью. Уже час сидел Сергей Матвеич у аппарата.

«Все ли я предусмотрел? Каких ждать сюрпризов? Справится ли терапевт? Ах, отчего я не там! Все ли я спросил?»

Он устремил взгляд на репродуктор, словно от него мог услышать ответ. И услышал: точки, тире, точки, тире... китайская грамота. Он заглянул через плечо радиста на бланк.

— По-во-рот,— читал он, следя за каракулями,— про-из-веден бла-го-по-по...

— Благополучно! — закричал, не выдержав, радист.

— Благополучно, благополучно,— всполошились все в комнате.— Доктор! Сергей Матвеич! Голубчик!

— Следите за сердцебиением ребенка! — закричал доктор сердито.

Это он на себя рассердился за то, что сам обрадовался радиограмме, как студент-первокурсник, как куратор на первой операции.

«Стыдно! Стыдно-с, врач! Срам-с!»

— Следите за сердцебиением ребенка! — крикнул он опять радисту, и тот, спохватившись, начал послушно выстукивать.

— Еще не родила. Да-с. Рано, батенька, рано,— произнес Сергей Матвеич укоризненно, обращаясь ко всем. И снова в комнате воцарилась тишина.— Рано,— пробормотал он уже тише и уставился в репродуктор.

И вдруг он почувствовал, что страстно, до боли, до неистовства, желает, чтоб ребенок родился живым. Живым, живым — и мальчиком! Кудрявым этаким... Он мечтал о нем, как будто был его отцом... Женщина спасена, но ребенок, ребенок...

— Следите за сердцебиением. Внимательно следите за сердцебиением!

— Сердцебиение отчетливое, ясное,— услышал он слова радиста.

Нет, нет, не слова радиста. Это он услышал биение сердца ребенка, еще находившегося в утробе матери. Это билось сердце человека, еще не появившегося на свет. Но человек сейчас появится и ликующе закричит, утверждая свои права. Какое у него будет сердце! Сердце человека, самою жизнью своей обязанного родине,— вот этим радистам, этому парторгу с трубкой, этому доктору-терапевту (а он молодец, молодец!) и... и... да и ему, Сергею Матвеичу. И он засмеялся, засмеялся так, как никогда еще не смеялся. И не торжество, не гордость, не удовлетворение были в его смехе. Было что-то такое, чего он и сам еще не понимал.

Начались схватки. С Огуречной Земли теперь летели радиограмма за радиограммой. Доктор кратко сообщал о состоянии роженицы, о том, как проходят схватки, а муж роженицы от себя прибавлял: «Ужасно мучится... ох, как это ужасно! Кричит криком... нечеловечески... Что делать? Что делать, доктор? Как она мучится, бедная! Сделайте что-нибудь. Я не вынесу этих криков!»

И казалось: и здесь, у репродуктора, слышны были нечеловеческие стоны рожавшей женщины. Сергей Мат-

веич оглянулся и увидел бледное лицо парторга, стиснувшего зубами свою трубку.

— Ну, а вы что? Вы что, батенька? Что с вами? Ведь не ваша же жена рожает.

— Это верно,— слабо улыбнулся парторг,— не моя. Но ведь и женщина и ребенок, как бы вам сказать... наши.

Сергей Матвеич смутился и рассердился на себя за свой дурацкий вопрос, за то, что не понял чувств парторга и, может быть, обидел его. Но некогда, некогда было думать об этом.

— Следите за сердцебиением ребенка!

...Уже три часа прошло. Три часа назад он сел к аппарату и сейчас чувствовал себя необычайно уставшим, измученным, словно вымолоченным. Скоро ли, скоро ли это все кончится, эти необыкновенные роды по радио?

И вдруг он услышал, как радист вскрикнул, радостно, ликуя:

— Сын! Сын! Вот! Сын! — Он протянул Сергею Матвеичу радиограмму, и тот прочел:

«Доктор, товарищи, родные! У меня родился сын, сын, мальчик. Спасибо, спасибо вам всем за все! Сергей Матвеич! Спасибо, спасибо вам, родной вы человек. Спасибо!»

Со всех сторон тянулись к Сергею Матвеичу руки. Горячие, дружеские, взволнованные. Его поздравляли, им восхищались, его благодарили. Парторг долго тряс ему руку и улыбался, приговаривая:

— Ах, Сергей Матвеич!.. Ну и человечище вы! Ну и чудесно!.. И поздравляю... Вы действительно, как... как... как большевик, Сергей Матвеич!

А он сидел, растерявшийся и сразу обмякший, смотрел, ничего не понимая; читал радиограмму и не понимал ее; слушал поздравления и не понимал их. Он растерялся. Хирург, он потерял спокойствие.

Вдруг представилась ему в новом, неожиданном свете вся его жизнь, и сам он, и его профессия, и студенческие мечты, и все, что он делал, делает и может сделать.

Неужто это он вчера мечтал о спокойной старости, о домике — как, бишь, батенька: с настурциями и ночной фиалкой под окном?

1937

ДРУЖБА

Когда все корабли отплыли, все самолеты улетели, а на бухту, скованную льдом, пал первый зимний пушистый снег, в арктическом эфире наступили тишина и порядок, радисты облегченно вздохнули, а Степан Тимофеич, впервые за три месяца, взглянул в зеркало. И обомлел.

— Рыжая...— изумленно пробормотал он и придвинул зеркальце к самому носу.

Сомнений не было: борода была рыжей.

В горячие дни арктической навигации Степану Тимофеичу некогда было ни бриться, ни смотреться в зеркало. Как и все радисты узла, он дневал и ночевал на радиостанции, а между вахтами спал в аккумуляторной, скорчившись на узкой скамейке, подложив форменную тужурку под голову. Через несколько часов его уже будили; он окунал голову в пожарную бочку со студеной тундровой водой, фыркал, как морж, обтирал усы и заступал на вахту.

У него был «тяжелый» стол, стол № 3 — связь с судами.

По Северному морскому пути в это лето сновало великое множество судов: ледоколы, пароходы, теплоходы, лесовозы, гидрографические скорлупки, буксиры с караванами баржей и лихтеров, зверобойные боты, шхуны, экспедиционные суда.

У всех у них были радиостанции, у всех скопилась корреспонденция, деловая и частная, всем нужны были метеосводки, прогнозы погоды, всем немедленно требовалась связь с материком, все нервничали, торопились,

злились и злость свою обрушивали на Степана Тимофеича — единственное ухо, которое их слушало.

Им были отведены короткие сроки, недостаточные, по мнению судовых радистов, скучающих в своих рубках, и они контрабандой пытались всучить Степану Тимофеичу все.

«Маруся, Маруся! — настойчиво выстукивал радист с гидрографического бота пылкую телеграмму второго помощника.— Шлю арктический привет и горячий поцелуй, которого не охладят льды, окружившие...»

— Да пойди ты к черту со своей Марусей! — взрывался Степан Тимофеич.— Деловые есть? Нету? Тогда куырыкс [1].

Но судовые радисты не унимались. То был народ характерный, своенравный, и Степану Тимофеичу с ними было много беды. Особенно бесновались радисты иностранных лесовозов. Пустячная льдинка, забелевшая где-нибудь далеко на горизонте, приводила их капитанов в неописуемую панику: они требовали немедленной, срочной, экстренной присылки ледокола и отправляли радиограмму за радиограммой.

С иностранцами надо было быть сугубо вежливыми — дипломатия, честь рации, и Степан Тимофеич, стиснув зубы, покорно принимал панические радиограммы и только плечами пожимал в ярости.

— Ничего не поделаешь! Не русский народ, не рисковый, ко льдам непривычный.

А тут опять из эфира лезло в уши... точка, тире, точка, тире... «Маруся, помню, люблю тебя на семидесятом градусе северной широты».

Но совсем особый, ни с чем не сравнимый гвалт поднимали суда, столпившиеся поблизости на рейде. Их «пикалки» были оглушительны, суда перебивали друг друга, все звали Степана Тимофеича, все что-то выстукивали ему, и вся эта какофония звуков, визг, писк, свист, дикая кутерьма, в которой не было ни смысла, ни лада, врывались в бедное ухо Тимофеича.

Он в ярости бросал наушники на стол и кричал диспетчеру:

---

[1] Куырыкс (код) — кончаю работу.

— Не могу я, Емельяныч! Как хотите... форменный аврал! Сбесились, что ли? Дай им милиционера.

Невозмутимый Емельяныч включал «радиомилиционера». Тот немедленно, но вежливо заглушал своими мощными звуками все рации и произносил насмешливым голосом диспетчера:

— Алло! Соблюдайте в эфире правила уличного движения. Не все сразу. Ледокол «Садко», вы имеете слово. Вас слушаем на волне... Кончили? Слово имеет «Хронометр». Волна...

Но теперь все это кончилось: все корабли отплыли, все самолеты улетели! И Степан Тимофеич смотрел в зеркало на свою неожиданно рыжую бороду.

«Ну разбойник! Ну чистый бандит! Главное дело: рыжая. Почему рыжая? Где в этом сообразность? Вот тебе и зепете!»

Он долго оглаживал, охорашивал нежданное украшение своего лица и в конце концов пришел к выводу, что совсем у него не разбойничий вид, а даже, напротив, этакий героический. Морской волк. Старый полярник.

Успокоившись, он подбрил щеки, расчесал бороду, подкрутил усы, подмигнул себе в зеркале и направился в кают-компанию.

На следующий день он был уже на новой вахте. Его определили на старую рацию — на «курорт», как пошутил диспетчер.

Старуха рация, древняя, заслуженная, одна из самых старых в Арктике, доживала свои последние дни. В ней давно уже сменили всю аппаратуру; ничего собственно старого, кроме почерневшего здания да стен, пропахших чесноком и бензином, тут не осталось.

А старушка рация все еще скрипит, бодро шлет в эфир свои позывные, обслуживает целый район — маленькие близкие зимовки, расположенные в стороне от широкой морской дороги. Она — словно нянька на старости лет ходит за маленькими ребятами.

Степан Тимофеич уселся на стол, вытащил трубку, раскурил ее. Он был один теперь в старом пустынном здании. Здесь было тихо, немного грустно и непривычно одиноко после новой рации. Там все время толпились

люди, за столами, под зелеными абажурами, склонялись над бумагой товарищи, стучали ключи, стучал пуншир, стучала пишущая машинка, кричал в микрофон диктор и то и дело звенел телефон.

Здесь же, в старом здании, царила нерушимая тишина, такая, вероятно, как и десять лет назад. И Тимофеич невольно подумал, что если выглянуть в окно, пожалуй, увидишь еще медведя, бесстрашно приковылявшего на запах одинокого жилья.

Тимофеич даже невольно бросил взгляд в окно, но сквозь легкие морозные узоры увидел только ажурные мачты радиостанции да неясные очертания домов. Он рассмеялся, отложил трубку, взглянул на расписание, потом — озабоченно — на часы и взялся за ключ.

И сразу же исчезли тишина и одиночество. Мир ожил. Заговорил. Зашумел в наушниках. Точки, тире торопливо стали складываться в буквы, буквы строились в слова. Это происходило само собой, без всяких усилий Степана Тимофеича. Он слышал не точки и не тире, а готовые слова, угадывал окончания длинных, предчувствовал следующие, словно слышал голос и интонации человека.

Эфир был населен дружескими, знакомыми голосами; Тимофеич узнавал приятелей-радистов по стуку ключа, как узнают человека по почерку, художника — по кисти, мастера — по работе. Ему не нужно было спрашивать, кто у ключа. Он сразу называл радиста по имени,— это были давние знакомцы. Иных он знал лично по совместным зимовкам или выпивкам на берегу, других — только по ключу, по старым встречам в эфире.

Теперь он снова здоровался с ними, перекликался, дружески перебранивался. Он вел с ними шумные разговоры, принимал метеосводки, корреспонденцию, а в комнате по-прежнему было тихо, только слышалось робкое чириканье ключа да скрип карандаша по бумаге.

Но то, что нельзя было услышать и понять в загадочном чириканье, можно было прочесть на лице Тимофеича. Оно менялось все время: озабоченность, смех, сочувствие, лукавое ожидание, тревога — все отражалось попеременно на его подвижном добром лице. Радость, труд, успехи зимовки, любовь, болезнь, смерть, выздоровление, известия об удачной охоте, о родившемся сы-

не,— мир жил в его наушниках. Мир любил, страдал, болел, рожал детей, строил станции, боролся, побеждал и во все эти тайны посвящал Степана Тимофеича, приобщая его к своим радостям и печалям.

«Маруся, Маруся, как сын? Как здоровье?» — принимал он радиограмму и ласково улыбался. «Метеоролог станции заболел, срочно помощь»,— и он озабоченно хмурился. «Сообщите способы консервации мяса белого медведя»,— и он беззвучно хохотал, размахивая дымящейся трубкой.

В этот день все станции явились по расписанию, со всеми он обменялся корреспонденцией, со всеми управился и поспел, кроме одной.

Не явилась станция бухты Надежда. Это была новая и незначительная станция. Ее построили, чтобы заткнуть какую-то дыру в метеосети. Где-то между двумя важными пунктами оставалось белое пятно, которое приводило в отчаяние синоптиков. Они утверждали, что именно здесь, в бухте Надежда, ломаются циклоны, решается погода. Впрочем, они имели обыкновение говорить так о каждом пункте, где не было метеостанции. Станцию поставили. И вот она не явилась в назначенный срок в эфир.

Тимофеич долго и тщетно звал ее «УКЛ! УКЛ!» — стучал он с досадой, но УКЛ молчал. Тимофеич рассердился и записал в журнал: «УКЛ не явился».

Вечером он доложил диспетчеру:

— УКЛ не было сегодня. Там, видать, радист — сапог.

Диспетчер подхватил:

— Вот, вот! Посылают «сапогов» в Арктику. Разве место им здесь? Давно я говорил...— То был любимый конек диспетчера, и он мог долго на эту тему распространяться.

Не явился УКЛ и на другой день и еще в три следующих дня. Тимофеич бушевал, злился и размахивал трубкой. На пятый день УКЛ «вылез» в эфир и сам позвал узел. Тимофеич ответил бурей ругательств.

«Ты что же пропадал пять дней? Где метео? Такой-сякой!» — вот что должно было означать в переводе с телеграфного то, что выпалил Тимофеич радисту бухты Надежда.

Тот робко оправдывался:

— Один... один я... неполадки. Сам чинил. Извините, товарищ.

Он говорил вежливо, как и подобало радисту незначительной станции при обращении к радисту всесильного радиоузла. Кротость провинившегося умаслила Тимофеича.

Он постучал:

— Га! (давай!) — и усмехнулся при мысли, которая вдруг пришла ему в голову: «А ну-ка, запарю я его в наказание!»

— Га, быстрей! Еще быстрей! Что как дохлый даешь? — простучал он и расхохотался.— Ну-ка, ну-ка, дружок!

И вдруг он услышал отчетливую, быструю, самую быструю дробь.

— Ого! — побледнел он.— Знаков на полтораста гонит,— и торопливо стал записывать, боясь, что отстанет.

В полсрока были переданы все метеосводки, скопившиеся за пять дней. «А он молодец!» — невольно подумал Тимофеич, впрочем, больше довольный собой, что успел все записать.

У него ничего не было для бухты Надежда. Он решил израсходовать оставшийся срок для знакомства с радистом.

— Новый? — спросил он.— Что-то не знаю твоего ключа.

— Да. Зимую по первому году.

— Как звать?

— Колыванов.

— А меня Тимофеичем все зовут.

— Очень рад... Тимофеич!

— Боюсь, теперь Степкой Разиным будут звать... Борода, понимаешь, отросла. Рыжая.

— У Разина черная.

— А у меня рыжая.

— Ты покрась!

— И то.

Очень довольный новым знакомством, Тимофеич решил, что приличие требует, а время позволяет, чтобы он угостил нового друга музыкой, показав ему свое искус-

ство, как было принято между радистами Арктики. Тимофеич выстукал на ключе «Тореадор» — свой обычный номер, своеобразный пароль, герб радиста, его опознавательные знаки. Окончив, он подождал немного — сумеет ли радист Надежды ответить тем же? Не всякий умеет музицировать на ключе. Но вот он услышал мелодию, отстукиваемую с бухты Надежда. То был «Турецкий марш» Моцарта. У радиста был хороший вкус. И хорошая рука. Тимофеичу показалось, что он когда-то слышал эту руку.

«Колыванов? Нет, не знаю такого»,— покачал он головой, подумав.

Так началась эта дружба. УКЛ теперь являлся точно в сроки, и радисты сердечно приветствовали друг друга и между делом перебрасывались дружескими фразами. Эти ставшие теперь ежедневными приятельские разговоры, конечно, не были похожи на те, что ведут друзья вечером в кафе за кружкой пива или где-нибудь дома, раскуривая трубки и вытянув ноги под столом. Их разделяло пятьсот километров. Расписание строго ограничивало время для их бесед. У них были то одна, то целых три минуты, но и это не мало для радистов, умеющих простучать полтораста знаков в минуту. Иногда разговор их обрывался на полуслове, истекал срок (а дело прежде всего), и Тимофеич не успевал ответить на шутку товарища. Он ходил потом целый вечер и улыбался. Он обдумывал свою завтрашнюю шутку, оттачивал ее, ибо дружба мужчин не нуждается в телячьих нежностях и сентиментальных признаниях. Крепкая, ядреная шутка верней и теплей. И она действительно согревала их сердца.

Каждый день радист Надежды спрашивал:

— Как борода?

И Тимофеич неизменно отвечал:

— Ничего. Вашими молитвами. Растет. Чернеет.

— Ваксой пробовал?

Корреспонденции для бухты Надежда всегда было мало. Тимофеич знал уже, что зимуют там только двое: его приятель, радист Колыванов, и метеоролог Савинцев. Савинцеву частенько случались радиограммы — то от матери, то от Лиды, в которой Тимофеич угадывал

невесту, то от приятелей. Радиограммы были бодрые, шутливые. И Савинцев аккуратно отвечал на них, всегда повышенно бодро, немного напыщенно. И так как вся эта переписка шла через Тимофеича, он смело мог представить себе внешний облик Савинцева, товарища Колыванова по зимовке. Ему казалось, что он видит его перед собой: этакий молодой, очень молодой паренек, хороший, здоровый, с девичьим чистым лицом, немного увлекающийся, порывистый, обожающий свою морскую форму и галуны на рукаве, один из тех чудесных комсомольцев-романтиков, которые жадно рвутся сейчас в Арктику, за каждым торосом видят медведя, мечтают о приключениях и подвигах и досадуют, что приключений нет. Все это вычитал мудрый, бывалый Тимофеич между строк радиограмм Савинцева и Савинцеву и не сомневался в точности портрета.

Но ни разу не было в ящике под рубрикой УКЛ радиограмм Колыванову, и ни разу Колыванов не посылал радиограмм. Это удивило и обеспокоило Тимофеича. Он по себе знал, как важно, как необходимо, получить здесь вовремя весточку из дому.

Тимофеич был человек добрый и суетливый. Он сразу представил, как томится в безвестии его приятель, как ходит большими шагами по рубке, нетерпеливо поглядывает на часы, ждет срока и, разочарованный, обманывается в своих ожиданиях, но из гордости молчит и не спрашивает.

Одну бы радиограмму ему! Куцую хотя бы. Вот бы чудесно! Можно было бы предварительно позлить его, побесить, поманежить. Танцевать его, конечно, не заставишь, как заставляют плясать в кают-компании счастливых получателей радиограмм. Но «Турецкий марш» пусть обязательно выстучит. Как выкуп. А потом уж и радиограмму ему сунуть, что-нибудь вроде: «Вася, милый, люблю».

Но радиограммы Колыванову не было. Напрасно Тимофеич сам ходил на новую рацию, рылся в журнале, перебрасывал пачку радиограмм на столе: не затеряна ли? Ничего не было. И Тимофеич, обеспокоенный этим, в тот же день вместо приветствия Колыванову простучал:

— Тебе нет ничего сегодня, дружище. Но уж завтра...

— А я и не жду,— ответил радист Надежды.

— Что так?

— Не от кого.

— А мать?

— Умерла.

— А жена?

Тимофеич долго ждал ответа, но срок кончился, и он, послав в эфир «куырыкс до завтра», стал вызывать другую рацию.

Во всяком случае, он понял, что не к чему было спрашивать Колыванова о жене и доме. И ему стало жаль приятеля, лица которого он не видел ни разу, но которое теперь представлял себе почему-то бледным, нахмуренным, страдальческим.

Из разговора по радио Тимофеич знал, что Колыванов часто остается один, совсем один на зимовке. Савинцев уезжает на охоту, рыщет по району, ищет подвигов, приключений, мечтает открыть новую бухту или хоть какой-нибудь неизвестный, захудалый мысок. Колыванов остается один в бревенчатом домике. Несет и радио- и метеовахту, готовит еду, кормит собак. И все-таки времени остается много, девать некуда.

И Тимофеич представлял себе, как тоскует в одиночестве радист, как глядит в окно, полузаваленное снегом, зевает, пьет чай, вскипяченный им тут же на примусе, и задумчиво посасывает засахаренный противоцинготный лимон. А собака трется о его колени, лижет ему руки... «Да есть ли у него и собака-то? Не упряжечная, а своя, комнатная, что ли... друг?» Эта мысль не давала Тимофеичу покоя, и он, дождавшись срока, тотчас спросил:

— У тебя хоть собака есть?

Колыванов не понял:

— БК. Повтори. Не понял,— простучал он, и Тимофеич смутился, догадавшись, наконец, о неловкости своего вопроса.

— Ничего. Давай сводку. Я просто так, лично интересуюсь, есть ли у тебя на зимовке собака.

— Как же! Есть «Дружок». Ласковый пес. Приятель мой.

И Тимофеич вдруг несказанно обрадовался этому. Обычная шутливость вернулась к нему. Он даже передал радиограмму Дружку, справляясь о его здоровье.

И с тех пор он часто спрашивал о собаке, передавал ей поклоны — все в те же две-три минуты, которыми они располагали между делом для дружеских слов, не регистрируемых вахтжурналом.

Иногда Колыванов спрашивал:

— Как у вас погода?

— Пурга, кажется,— отвечал Тимофеич, невольно взглянув в окно: по совести сказать, ему некогда было интересоваться погодой.

— И у нас пурга. Метет. Баллов восемь.

— Тоскуешь? — сочувственно спрашивал Тимофеич.

— Нет, ничего.

Но Тимофеич не верил. Пурга? Нехорошо, когда пурга. Он глядел в окно, прислушивался: ветер выл в проводах, бил о крышу, хлопал дверьми. Но Тимофеич пойдет после вахты в теплую кают-компанию, где электричество, люди, музыка, стук домино о стол, и толстый франтоватый повар в белом колпаке щегольским жестом подаст ему ужин да приправит еще кашу шуткой. А тот, в бухте Надежда, сидит один и слушает вой пурги и думает: рискнуть ли ему сходить за углем к амбару или лучше залезть с головой в спальный мешок да уснуть так. Тимофеич сам живал на таких зимовках,— он все это сам испытал. И еще крепче тянуло его к человеку из бухты Надежда, такому знакомому и незнакомому, такому одинокому на земле.

— Колыванов, Колыванов,— бормотал он.— А ведь я когда-то, пожалуй, и слышал это имя? — но где и когда, вспомнить не мог.

Наступило 7 ноября. Над Арктикой разразилась буря — буря приветственных радиограмм. Они сыпались на столы радистов в таком изобилии, словно вся страна в этот день только и думала что о полярниках.

Много приветствий получил и Тимофеич. И от семьи, и от родных, и от друзей. Одна радиограмма — совсем неожиданная — была из Сухуми, от старых товарищей, уже давно забытых Тимофеичем, но вот вспомнивших его: «Встретились на курорте вспомнили тебя старина

зпт нашу фронтовую молодость тчк Поздравляем праздником пьем твое здоровье».

Растроганный Тимофеич смущенно вертел в руке листок.

— Ишь ты! — бормотал он.— Из Сухуми. У них сейчас, может быть, магнолии цветут. Или там персики... А вот поди ж ты, вспомнили же!

Так, с радиограммой в руках, он и направился на вахту. Приближался срок УКЛ. Тимофеич полез в шкафчик и вытащил тоненькую пачечку радиограмм «Савинцев», «Бухта Надежда Савинцев». Еще Савинцеву. Савинцеву же.

— Постой! А Колыванову? Что ж Колыванову? — обеспокоился вдруг Тимофеич.— Колыванову ничего?

Он снова перелистал пачку. Нет, ничего.

— В такой день — ничего?! Ах ты, бедняга! Одинокий ты на земле человек.

И вдруг, охваченный внезапным порывом, он бросился к столу и одним духом сочинил радиограмму:

«Бухта Надежда. Радисту Колыванову. Дорогой товарищ, сердечно приветствуем тебя и поздравляем праздником днем Великой Октябрьской революции. Желаем бодрости, здоровья».

И подписал: «Радисты узла».

Потом подумал и прибавил: «88», что на языке радистов всего мира означает — «лучшие пожелания».

Волнуясь, он передал эту радиограмму Колыванову и тотчас же получил ответ:

«Спасибо дорогие товарищи тчк Ваши теплые слова поддержка окрыляют меня тчк Уверенно несу свою вахту и буду нести с честью. Радист Колыванов 88 всем».

В этот праздничный вечер Тимофеич был весел, как никогда. Он рассказал ребятам о Колыванове и о своей радиограмме ему. И все одобрили ее, и даже всегда невозмутимый диспетчер сказал, волнуясь:

— А ты это правильно сделал, Тимофеич. Подумать только: все через нас, радистов, идет, а много ль нам пишут?

Тимофеич весь вечер не расставался с радиограммами: с этой, из бухты Надежда, и с той, из Сухуми. И одна напоминала ему о сегодняшнем дне, о пурге за

окном, об одиноком радисте с далекой бухты, а другая... другая — о далеких днях... о фронтовой молодости... о тачанках... о походах...

«Карякин. Самойлов. Чубенко»,— читал он вновь и вновь подписи под радиограммой и шептал про себя:

— Карякин, Самойлов, Чубенко. Радисты Южного фронта... Ребята!.. Полевой штаб... И ночь...: И рожь кругом... Карякин... Самойлов... Чубенко... Колыванов...

И ему показалось вдруг, что он вспомнил, напал на след. Он сморщил лоб и стиснул виски пальцами.

— Карякин... Самойлов...

Сначала вспомнились ему почему-то запах вишни... вишни в цвету... И степь, и медовый запах трав... Ночь лунная... серебряная...И голубые хутора... И песни девчат на селе... И орудийные громы где-то... И вспомнился ему паренек в новенькой красноармейской форме, курносый, голубоглазый, молодой... Тогда не было еще у этого паренька рыжей бороды. И звали его не Степаном Тимофеичем, а Степой, просто Степой. Паренек только что кончил курсы и впервые встал на самостоятельную вахту... Робко надел наушники. Карякин... да, Карякин... подбадривал, помогал. Паренек Степа, подавив волнение, застыл с карандашом в руках над бланком. Вдруг услышал позывные. Звал Скадовск, штаб. Он трепетной рукой ответил. И вдруг посыпалась ему в ухо быстрая пулеметная дробь. На него обрушился целый каскад звуков, букв, слов. Он улавливал только одни обрывки, что-то вроде «пр», «кл», «бы». Ему хотелось закричать: «Погодите! Я не успеваю. Пожалейте! Я новенький». Карандаш суматошно прыгал по бумаге и фиксировал Степину беспомощность: «пр», «кл», «бы». Карякин... Да, Карякин... увидал это и сжалился.

— Погоди, я сам приму.

Опозоренный Степа не сошел, а сполз со своего места. Он чувствовал себя раздавленным. Сидел, уткнув голову в колени. И запах вишни—в окно, вишни в цвету.

— Это Колыванов,— сказал ему Карякин.— Колыванов у ключа. Это — черт. За ним угонишься разве? И мне тяжеловато. А ты ведь впервой.

С тех пор всякий раз Колыванов из Скадовска предварительно спрашивал перед приемом:

— Кто у ключа?

И Степа, узнав неумолимый ключ, покорно слезал со стула и уступал место Карякину или Чубенко. А сам садился к другому ключу. Разве может он принять Колыванова?

И вот тогда сокровенной, заветной, пламенной мечтой Степы стало: добиться такой работы на ключе, чтобы забить Колыванова. Да, забить. Не меньше.

Все свободное время тренировался он у ключа. 80, 90, 100, 120 знаков в минуту. Но это не удовлетворяло его: 130, 140, 150.

Наконец, однажды, когда Колыванов вызвал его, он не покинул, как всегда, своего места, а, покраснев от напряжения и стиснув зубы, стал принимать. Через несколько минут он расхрабрился и потребовал:

— Га, быстрей!

Через минуту еще:

— Га, быстрей!

Он слышал теперь сплошной пулеметный треск в ухе. Карандаш его не бегал, а летал по бумаге. А он все требовал: «Быстрей, быстрей!» Товарищи склонились над ним и молча следили за этим состязанием. А он ликовал. Наконец-то запарил он Колыванова! Да, Колыванов... Скадовск... Южный фронт... Ночи серебряные, лунные. И вишни в цвету.

Но тот ли это Колыванов? Как, каким чудом очутился он здесь? Именно он. Самого Колыванова Степан Тимофеич так и не видел ни разу. Колыванов скоро исчез из штабной рации. Больше с ним не пришлось встретиться ни на земле, ни в эфире.

«Что, если это он? Вот было бы любопытно!»

На следующий день, еле дождавшись срока, Тимофеич спросил радиста бухты Надежда:

— Ты в Скадовске служил?

— Да. А что? — ответил он.

— В каком году?

Оказалось, что это и есть тот самый Колыванов. Тимофеич несказанно обрадовался и разволновался.

— Нет, это чудесно, чудесно! — бормотал он, пыхтя трубкой.— Вот так встреча!

И в самом деле: чудесны эти арктические встречи. Чудесны встречи пилотов в воздухе, чудесен обычай приветствовать друг друга помахиванием крыльев, чудесны нечаянные свидания друзей на воздушных перекрестках, на маленьких неожиданных аэродромах за черным кофе в жестяных кружках, у раскаленной печки в сколоченном из досок скрипучем домике; чудесны знакомства путников у кочевых костров в тундре, когда рассказаны уже все новости, раскурены трубки, а беседа все тлеет и тлеет, как костер, теплая, задушевная, а над огнем шипит мясо, вокруг скрипит снег и собаки обнюхивают друг друга. Но всего чудеснее встречи радистов в эфире, когда, проталкиваясь сквозь хаос волн, сквозь свист и вой метели, находят друг друга голоса приятелей.

«Вот и встретились мы с тобой, Вася Колыванов! — думал, растроганно улыбаясь, Тимофеич.— Где встретились? В Арктике. В эфире. Юг — север. Ай, страна! Ай, люди! Куда забрались мы с тобой, Вася Колыванов! Где свиделись! А я даже не знаю, каков ты есть. Блондин, брюнет? Высок, мал? Каждый день беседую с тобой, и странно: я ведь и голоса твоего не знаю. Баритон, альт, бас? Вот встреть я тебя на улице, в трамвае — пройду мимо, не узнаю. А в эфире узнал. Ну, здравствуй, старик! Ну как? Ну как жизнь?»

Теперь главной темой их ежедневных бесед между делом стали фронтовые воспоминания. Им малы сделались сроки, отведенные расписанием, и они изощрялись в сокращениях, в условных знаках, нечаянно изобрели собственный сжатый код, только бы больше сказать друг другу. Они поведали один другому пути, по которым шли после армии. То были простые будничные пути, и, однако, они привели обоих в романтическую страну — Арктику, которая для Колыванова была новой, еще непонятной, а для Тимофеича давно стала будничной. После Скадовска Колыванов плавал на подводной лодке. Демобилизовался. Остался в торговом флоте. Заграничные плавания. Балтика. Белое море. Потом вдруг решил нынешней осенью пойти на полярную станцию.

Что влекло его? Он не говорил об этом. Тимофеич не спрашивал. Это «вдруг решил» и так сказало ему о многом, больше он не допытывался. Для себя же он связал это «вдруг решил» с полным отсутствием радиограмм Колыванову и скорее почувствовал, чем понял, драму в личной жизни радиста из бухты Надежда. Раз навсегда решив не касаться ее, он стал еще заботливее и нежней к своему одинокому далекому другу.

Они начинали свои беседы неизменным: «А помнишь?»

— А помнишь Барыбу, писаря? — напоминал один из них.

И оба хохотали у своих аппаратов, разделенные пятьюстами километрами. Они вспоминали белобрысого щеголя писаря и все анекдоты, связанные с ним. Они не передавали друг другу подробностей своих воспоминаний, давали только скелет; одной фразой они воскрешали забытое, а затем уже каждый наедине вспоминал все с этим связанное и смаковал и перебирал на все лады. Они вспоминали людей, известных им обоим по армии, эпизоды, которые могли быть понятны обоим, те, о которых много говорили в свое время в штабах, на радиостанциях, в комендантских командах. Иногда, впрочем, оказывалось, что это известно только одному из них,— ведь они в конце концов служили в разных местах и даже никогда не видели друг друга! Тогда другой с грустью стучал, что этого он не помнит, и день был потерян для них. Но общих знакомых у обоих было так много, что это случалось редко.

Они жили теперь в атмосфере, которую сами себе создали: среди знойных украинских степей, в серых брезентовых палатках; они лежали в пахучем клевере у полевых аппаратов; они бегали, звеня котелками, к походной кухне за порцией каши без масла, они сдабривали кашу смехом. Они смеялись и пели, как может смеяться и петь только беспечная молодость под аккомпанемент артиллерийской канонады. И тогда над льдами, над торосами Арктики, над белым безмолвием окоченевшей тундры шумели для них степные ветры, и фронтовая молодость, воскрешенная и преображенная, обжигала их своим горячим дыханием. Они нетерпеливо ждали ново-

го свидания в эфире, чтобы весело шепнуть один другому: «А помнишь?»

Если для Тимофеича, имевшего достаточно добрых друзей в эфире, жившего на шумной и дружной зимовке, среди веселых, говорливых товарищей, и регулярно получавшего вести из дому, эти беседы с Колывановым составляли большую радость, то для одинокого радиста бухты Надежда они были всем.

Тимофеич догадывался об этом. Тем ценнее для него была эта дружба. Он принадлежал к тем людям, которые в дружбе больше дают, чем берут, для которых в дружбе нет корысти, и когда они отдают товарищу последний табак из кисета, то не ждут в обмен последней рубахи товарища. Тем и дорога была Тимофеичу дружба с радистом бухты Надежда, что в ней он давал больше, чем брал. И когда ему удавалось напомнить приятелю несколько веселых скадовских анекдотов, то он и сам был весел и счастлив. Он словно видел улыбку, раздвигавшую губы товарища. Он словно слышал его радостный смех. Он знал, что теперь целый день Колыванов будет улыбаться, мрачные мысли покинут его и ночь, полярная ночь за окном, покажется ему светлей и приветливей.

Но вот между вахтами, беседами, шутками растаяла, наконец, долгая полярная ночь, и Колыванов первый сообщил Тимофеичу:

— Сегодня у нас показалось солнце. А у вас?

— Ждем его завтра,— ответил Тимофеич и весело поздравил товарища.

На следующий день Колыванов прежде всего осведомился, появилось ли у них солнце, словно он боялся, что солнце заленится или небесный механизм разладится и Тимофеич останется без солнца. Тимофеич, то ли по долгой полярной привычке к ночи, то ли потому, что жил среди товарищей, в освещенном яркими электрическими лампами доме, мало интересовался, появился ли сегодня узкий краешек солнца за холмами, или нет.

Он ответил, что солнце, кажется, появилось. Но по интонациям, которые он угадывал в вопросе Колыванова, даже не слыша его голоса, он догадывался, чем было солнце для радиста бухты Надежда. И снова поздравил его с солнцем.

Но однажды — это было в марте — Тимофеич пришел с вахты мрачный, расстроенный.

— УКЛ не явился,— сказал он в кают-компании.

— То есть как — не явился? — удивился диспетчер.

— Я его двадцать минут звал,— пожал плечами Тимофеич.— Звал и во второй срок, звал и в третий. И ничего, ничего не слышно. Могила.

— Но, может, просто непрохождение? — предположил кто-то.

— Нет. Все станции западного сектора явились. Отличная слышимость. Не пойму, не пойму — что с ним.

Весь вечер Тимофеич был расстроен, а когда и в ночной срок и в утренний УКЛ не ответил на позывные, он уже не сомневался, что с Колывановым стряслось несчастье. Но что? Что?

— Может быть, аккумуляторы сели,— успокаивали его товарищи.— Может, неполадки какие?

— Нет. Он сказал бы заранее. Третьего дня как раз на эту тему говорили. Недавно рации своей генеральный ремонт на ходу дал.

— Ну, тогда заболел, может быть? Какой-нибудь гриппок?

— И больной приполз бы к ключу,— отмахивался в отчаянии Тимофеич.— Радист он, до мозга костей радист. Приполз бы. А ты не приполз бы? А я? Нет, тут серьезным пахнет. Тут...— но он боялся самому себе сказать, что это катастрофа, и по-прежнему, и в сроки и вне сроков, звал УКЛ, и по-прежнему не получал ответа.

Ему показалось тогда, что он навек лишился друга, лучшего друга. А он даже не знал ни его лица, ни его голоса. Что он мог вспомнить о нем? Только точки, тире, которыми они обменивались. А какой он, Колыванов,— красивый, бритый, бородатый, какие у него глаза, как он смеется, курит, молчит — этого он не знал. Он не знал тех необходимых мелочей, которые сохраняют нам в памяти образ ушедшего друга, создают иллюзию, что он еще жив, здесь, рядом. Но Тимофеич и этой иллюзии был лишен. Точки, тире — вот все, что он мог вспомнить о товарище.

Грустно курил он свою трубку, нес вахту, работал, но думал о Колыванове. Когда подходил срок, в нем

пробуждалась надежда. Он вытаскивал радиограммы для бухты Надежда — их скопилась уже целая пачка — и начинал упорно звать УКЛ. Срок проходил — УКЛ не являлся. Грустно перебирал он пачечку радиограмм, прежде чем положить их обратно в ящик.

И вдруг он заметил среди радиограмм одну, которая ошеломила его. «Бухта Надежда Колыванову»,— прочел он. Не ошибся ли он? Нет, точно: Колыванову. Первая за все время. Он бросил быстрый взгляд на подпись. «Галя»,— прочел он.

— Галя! — произнес он громко.— Галя!

«Вася, прости. Была дурой. Вернись, без тебя жить не могу. Галя».

Он бросился к ключу. Он снова стал звать УКЛ.

— Вася, вернись! Вернись! Отзовись! Вася! — шептал он, отчаянно стуча ключом.— Тебе радиограмма. Галя любит тебя. Вернись! Вася! УКЛ! УКЛ! Вася!

Но бухта Надежда молчала. Он остановился, ждал ответа, снова звал. Он менял настройки. Он прижимал к ушам наушники, потом бросал их, прижимался к репродуктору, но слышал в ответ только свист в эфире. Он не отчаивался, не терял надежды, теснее приникал ухом к репродуктору, он хотел услышать пусть хоть слабые, непонятные, но утешительные точки, тире, но слышал только леденящий душу свист; порою ему в свисте слышались даже далекие приглушенные стоны, призывы: «На помощь! На помощь!» — и шепот: «Друг! Друг!» Он готов был поверить в то, что все это слышит, что слышит что угодно, но только не точки, тире. Нет, этого он не слышал. Тонкое ухо радиста не позволяло ему обманываться в этом.

Мрачный, измученный, возвращался он после вахты домой. Валился на койку. Молча курил. Табачный дым окутывал комнату. Синий дым...

Эта радиограмма... Она сделала бы Васю счастливым. Может быть, ее ждал он всю долгую полярную ночь. И вот она здесь, а Тимофеич не может передать ее Васе.

Заходили товарищи. Присаживались к койке.

— Ничего? — спрашивали они сочувственно.

Тимофеич яростно мотал головой.

— Отсутствие известий — лучшие известия, гово-

рят мудрые,— утешали товарищи.— Ведь не один же Колыванов на зимовке. Его товарищ давно бы уже сообщил.

— Как? Как сообщил бы? — взрывался Тимофеич.— Голубями? Святым духом? Ведь он не радист.

Так прошло еще пять томительных дней — всего семь с тех пор, как замолчал УКЛ. На зимовку прилетел самолет, первый весенний самолет-ласточка, предвещая далекую весну. Голубая птица пронеслась по льду бухты, подымая за собой снежный прах. Из пилотской кабины вылез толстый, неуклюжий, закутанный в меха человек. Он снял шерстяную маску, защищавшую лицо от мороза, и Тимофеич увидел, что пилот молод, красив, белокур. В комнате, отведенной для отдыха, пилот освободился от мехов, сбросил шарфы, опутывавшие его горло и крест-накрест завязанные за спиной, стащил обледеневшие оленьи бокари, мохнатые чулки из собачьего меха, комбинезон, шерстяную фуфайку, ватные штаны, и Тимофеич увидел, что пилот строен, худощав, молод. С надеждой глядел радист на этого энергичного парня с обветренным лицом, пропахшего морозом, бензином и пространством, настоящего линейного летчика, одного из тех лихих ребят, что летают в любую погоду на северных линиях, берутся доставить в любое место любой груз да еще шутят при этом: «А овес-то нынче почем?»

— Товарищ! — вкрадчиво сказал Тимофеич пилоту, завтракавшему в столовой, в то время как зимовщики уединились по комнатам, чтобы посмотреть привезенную им почту.— Вы как... очень промерзли?

— Нет, ничего...— улыбнулся пилот.— Хороший у вас кофе.

— Торопитесь вы? Нет?

— Как погода.

— А... могли бы вы, товарищ, спасти человека?

Пилот удивленно покосился на него, но ничего не ответил. Тогда Тимофеич рассказал ему все: об УКЛ, который не является в сроки, о Колыванове, одиноком радисте бухты Надежда, об их дружбе, о Гале, которая, наконец, прислала радиограмму, о...

— Но почему вы думаете,— сочувственно перебил пилот,— что с вашим приятелем случилась беда? Может быть, просто рация выбыла из строя?

Тимофеич печально покачал головой.

— Нет, беда! Знаю, что беда. Если бы ваш товарищ — пилот, настоящий пилот, вылетел бы, скажем, с Диксона на Дудинку и прошел бы день, два, три, а его все не было бы ни на Диксоне, ни на Дудинке, ни на станциях по пути, что сказали бы вы? Что пилот заболел? Вы знаете: в полете не болеют... Вы сказали бы: «Беда с моим товарищем». И полетели бы искать его. Так?

— Так, разумеется,— улыбнулся пилот.

— Так вот, я радист. Радист первого класса, позвольте вам сказать. И когда мой товарищ семь дней не является в срок, я говорю вам: с ним беда. Товарищ,— сказал он вдруг,— спасите моего друга!

Пилот встал и молча зашагал по комнате.

— Хорошо! — сказал он наконец, остановившись перед Тимофеичем.— Бухта Надежда? Напрямик через тундру два-три часа лету. Горючее возьмем здесь. Полные баки. С собой доктора. Найдем вашего товарища! Найдем! Но мне нужно разрешение Москвы.

— Москва разрешит! — закричал Тимофеич.— Москва не может не разрешить. Идет речь о человеке. Хотите, мы сейчас запросим Москву? — Он озабоченно взглянул на часы.— Через пятнадцать минут — прямой провод с Москвой, через час — радиотелефон с Москвой. Хотите, я сам составлю текст запроса? Мы напишем: «Человек в беде. Срочно нужна помощь».

Ночью же пришло разрешение Москвы (Тимофеич взволнованно ждал на рации, выкуривая трубку за трубкой, и, получив радиограмму, бросился, торжествующе размахивая ею, к пилоту), а на рассвете самолет с доктором на борту уже летел, взяв курс на запад, в бухту Надежда. В комбинезоне пилота лежала запечатанная в конверте радиограмма Гали.

— Это лекарство,— сказал Тимофеич, отдавая конверт пилоту.— Лучшее лекарство в мире.

Сам же Степан Тимофеич засел на рации, чтобы держать связь с самолетом. «Пролетели Каменную Губу,— лихорадочно записывал он в журнал.— Летим тундрой — снежные заносы, видимость плохая. Бредем в тумане».

«Вернутся,— в отчаянии подумал он.— Неужели повернут обратно?»

«...Пробиваемся сквозь туман».

«...Ничего не видно»,

«...4.40. Идем сквозь метель».

«...5.10. Пробились. Находимся над мысом Чертов Камень».

«Пробились! Пробились! — ликовал Тимофеич.— Ай, люди! Ай, ребята!»

Его мысли, чувства, надежды, страхи — все было сейчас там, на голубых ребристых крыльях самолета, с ребятами, закутанными в меха. Он пробивался вместе с ними сквозь снегопад, проваливался в туман, взлетал, снова падал, надеялся, отчаивался и все-таки продолжал пробираться вперед.

«Скорей, скорей! На выручку! Крепись, Вася! Мы летим. Мы уже над мысом Чертов Камень... 5.40... над заливом Креста... 6.10... над Тихой Губой... 6.40... Видим бухту Надежда... 6.45... Идем на посадку. Буду звать вас через УКЛ».

Идут на посадку. Связь обрывается. Проходят томительные десять минут. Сели? Нет? Все ли благополучно? Еще десять минут неизвестности. Что они делают сейчас? Вылезли из кабины. Идут по снегу к зимовке... Может быть, они сели в стороне... Еще десять минут, равных вечности. Что случилось? Почему молчат?

— УКЛ! УКЛ! — Еще десять минут.— УКЛ! УКЛ! Что случилось?

И вдруг точки, тире, отчетливые, звонкие:

— Я — УКЛ, я — УКЛ. Узел! Узел! Я — УКЛ! Слышите ли вы меня?

— Ок, ок. Слышу,— радостно отвечает Тимофеич. И ему кажется, что это, как и неделю назад, его вызывает Вася. Ничего не случилось, все померещилось... Но он вслушивается в стучание далекого ключа. Нет, это не Вася. Не его рука. Не его голос, не его почерк.

«Передайте немедленно погоду тчк Вылетаем обратно».

— А радист?! Радист Вася?! — задыхаясь, стучит Тимофеич.

— Очень худо. Берем с собой.

— Жив! Все-таки жив!

И вот самолет в воздухе. Теперь на нем Колыванов. Теперь они летят сюда.

— ...9.10... Выходим. Тихой Губе... 9.40. Прошли залив Креста.

— Что с Колывановым? — спрашивает Тимофеич.

— Худо... Был на охоте. Один... Пурга... Очевидно, заблудился... Гора... упал... головой о торосы... Сотрясение мозга... Ас (подожди) минуту... посмотрю, где мы... Слушаешь? Прошли Чертов Камень... Нашел его Савинцев... Молодчага парень... Не растерялся... Привез на зимовку... Смотался в соседнее стойбище... Послал оттуда ненца с запиской за доктором в бухту Белую... Но мы поспели раньше... Сейчас без сознания... Доктор говорит...

— Что? Что говорит доктор?

— Доктор говорит — худо, но есть надежда... Главное — все без сознания. Подходим к острову... Видим ваш костер. Идем на посадку. Связь прекращаю...

Тимофеич без шапки выбежал на крыльцо рации и увидел, как кружит над бухтой машина; ее крылья, освещенные солнцем, казалось, были из расплавленного металла, на них было больно смотреть.

Когда он, одевшись, прибежал к самолету, там уже толпились оживленные зимовщики, догорал костер, ребятишки растаскивали головешки. Тимофеич протолкался к машине и увидел, как из кабины осторожно выносили человека в мехах. Он бросился на помощь, ему уступили место, принадлежавшее ему по праву, и он вместе с двумя радистами бережно понес Колыванова в больницу.

Когда больного освободили от мехов, Тимофеич впервые увидел лицо своего старого приятеля.

— Вот ты какой... Вот ты какой...— прошептал он, всматриваясь в острые, словно высеченные черты бледного лица Колыванова.

Он увидел седину на висках, глубокие, сильные морщины на щеках, сжатые губы. Глаза были закрыты. Он хотел бы увидеть их, почему-то решил, что они голубые. Бороды и усов у Колыванова не было, но на щеках, на крутом подбородке синела щетина, выросшая за дни болезни. Он догадался о силе и воле этого человека, лежавшего без сознания перед ним. Он понял все.

Всё было здесь, в этих синих щеках. Он брился ежедневно, тщательно, упрямо, боясь опуститься, расклеиться, ослабнуть. Вероятно, он сам часто стирал свои сорочки, менял ежедневно воротнички к форменной тужурке, следил за пуговицами. Вероятно, установил он для себя железный регламент дня и строго следовал ему. Он боролся с собой, со своими мрачными мыслями, со своим одиночеством и выходил победителем из этой схватки.

— Вот ты какой... Вот какой...— шептал Тимофеич и почесывал бороду.

Он просидел в больнице весь день. Только изредка выходил на крыльцо выкурить трубку, вдохнуть морозный воздух. Потом торопливо возвращался. Сидел, нелепый и толстый, в белом больничном халате поверх ватной фуфайки, у постели больного, боясь пошевельнуться. Его мучили больничные запахи — карболки, хлороформа. Ему хотелось кашлять, чихать, но он сдерживался, боясь потревожить больного, нарушить таинственную и, вероятно, необходимую тишину больницы. Он сидел и испуганно озирался. Люди приходили и уходили, неслышно, как тени, а он все сидел, скорчившись на своем стуле, и глядел...

...Когда к Колыванову медленно, очень медленно вернулось сознание, он увидел, что лежит в незнакомой ему комнате, в которой он, наконец, признал больницу. Он не мог вспомнить, ни что с ним, ни как он очутился здесь.

Над ним склонялось какое-то незнакомое, но очень доброе лицо. Он увидел бороду. Рыжую бороду. Он вспомнил.

— Тимофеич! — прошептал он и улыбнулся.

1937

ТОРГОВЕЦ ЛОБАС

1

Вот рассказ о Косте Лобасе, о парне, который мечтал стать героем, а был приказчиком интегральной кооперации в Хатангской тундре. Он говорил о себе с горечью: «Кузнец ковал из меня клинок для войны, а жизнь сделала нож для открывания консервных банок».

Он попал в Арктику с отчаяния. Вся жизнь Кости Лобаса складывалась раскосо, черт знает как. Где-то рядом, совсем близко от него, свершались подвиги, но его товарищам доставалась слава, а ему — одни мытарства.

Даже когда, убежав из дому, стал он беспризорничать, якшаться с ворами, мечтать о лихой, знаменитой краже, чтоб весь блатной мир содрогнулся и ахнул: «Вот это да! Вот это мастер!» — даже тогда ничего не вышло. Противно вспомнить: мелкие «ширмы», форточная работа, обворованные старушки с трясущимися ридикюлями и неизменный привод в милицию, где вежливые милиционеры составляли очередной протокол.

Он подался тогда на восток — искать фарта и славы на золоте. Он побывал на Урале, на Лене и даже на никому не ведомом Аллах-юне. С разведческой партией бродил он по тощим речушкам Якутии, спал на земле, дрожал от холода в холщовых палатках, голодал, мерз... Если он все это вынес и не сдох, значит был-таки Костя Лобас парнем настоящих кровей. Отчего же тогда не было ему удачи?

Уж он ли не старался! Эту проклятую мерзлую землю он мог бы растопить жаром своих желаний. Он кайлил вечную мерзлоту до тех пор, пока кайло не стано-

вилось горячим, но землю нельзя было согреть. Он раздувал гигантские костры, устраивал «пожоги», багровые языки пламени лизали верхушки кедров, вокруг становилось жарко, как в чертовой печи, но он мог все леса сжечь, всю тайгу окрест подпалить, и все-таки ему не отогреть эту мерзлую, равнодушную землю.

Самый пламенный любовник отступился бы от такой ледяной красавицы. Но Костя упорствовал. Он был изворотлив и упрям, как черт. Он накаливал на кострах огромные камни и клал их на ночь в забой, чтобы порода оттаяла. Утром от земли шел пар; она потела, сочилась, становилась вязкой и податливой. Он обрушивался на нее — и встречал лед. Опять лед! Опять эти тонкие, но упрямые, колючие прожилки. похожие на веточки серебристого кварца. Кайло не могло их взять.

Да, то был дьявольский труд, а удачи не было.

Он мечтал: «Однажды, в грязи и глине, среди черных обманных кристаллов пирита, вдруг тускло блеснет самородок в два, в три, в пять, в десять фунтов». Чем дальше не было фарта, тем тяжелее становился самородок.

Он представлял себе слиток золота так отчетливо, словно уже держал его в горячих ладонях. Тяжелый грязный кусок, похожий и цветом и формой на палый осенний лист. Он даже видел черные прожилки на нем.

Что он сделает с самородком? И это уже было обдумано. Никто не угадает, что сделает Костя Лобас со своим счастьем. Он завернет его в тряпицу, в настоящую тряпку старателя-золотишника, рваную и измазанную глиной, и принесет в ячейку. И швырнет на стол. И этак великолепно скажет: «Жертвую на самолет». Чтоб назывался тот самолет «Мечтатель Лобас», чтоб имя Кости Лобаса гордо сияло в небе.

Мальчишеские мечты! На минуту становилось жалко богатства. Так-таки все и отдать? Он колебался, но недолго. Все, все отдать, чтоб ни пылинки к рукам не прилипло.

Вот какой это был парень, Костя Лобас! Иногда он даже сам себе нравился. А никто и не подозревал в нем большой души. Люди верят фартовым. В перочинном ножике не угадаешь кинжала.

Однажды эта жизнь осточертела Косте. Он бросил

кайло и ушел на Лену. На Лене люди по золоту ходят, на золоте спят, золотом избы кроют.

На Лене было золото, много золота. Его презрительно звали «золотишком». Отчего же оно не далось Косте в руки? Щадил ли он себя? Спросите об этом в Бодайбо, вам расскажут легенды о Косте Лобасе. Он проникал в такие страшные щели, что казались они готовой могилой. Говорят, кровля дрожала над его головой, когда он дышал.

Старики за пол-литра открывали ему места, где некогда были «золотые алтари» — отменно богатые забои.

— Только вход туда запечатан. Все завалило.

Но Костя упрямо встряхивал кудрями: распечатаю.

И распечатывал. В эти мрачные узкие норы он проникал ползком, на животе, по воде и грязи. Его тело билось об острые выступы, мокрые ноги ныли, а он полз. Полз, стиснув зубы, прижав к себе лопату и лоток, привязав на шею коробок со спичками, приладив на спину мешок с едой и свечами. А за ним, громыхая по камням, тащилась привязанная к ноге «баржа» — банка с водою.

В этой мокрой, вонючей яме Костя жил и работал по целым неделям, пока хватало свечей. Но, видно, зря жег свечи Костя Лобас, зря перетряхивал горы земли. Бог Удачи даже не взглянул на его свечи. Самородка не было.

А рядом, тут же на прииске, на галечном отвале, где роются по праздникам бабы и ребятишки, студент-горняк, приехавший на практику, балуючись нашел самородок в три кило весом.

Три кило! Этого не мог стерпеть Костя. Он бросил свою проклятую лопату, бросил лоток и «баржу» и ушел с приисков. Начиналась зима. Но и это не остановило Костю! К черту! Он ни дня не останется здесь, на этой слепой и обманчивой земле.

Он обернул ноги газетной бумагой, натолкал в сапоги сена и пошел пешком, сквозь тайгу, в Киренск. Он шел много дней, и другому человеку, не Косте, одного этого перехода через гольцы и тайгу достало бы на всю жизнь, чтоб считать себя по горло сытым приключениями.

А Костя ворчал:

— Невезучий я человек! Перочинный ножик.

Так добрался он до «жилухи»[1], до Иркутска, где пешком, где с обозом, где с ямщицкой гоньбой, а потом даже на самолете.

Но лучше бы ему и не лететь. Подошел к самолету этакой небрежно равнодушной походкой, похлопал варежкой по крылу: ничего машинка! Словно всю жизнь летал—заглянул в кабину, а там... трехлетняя девчурка в мохнатом капоре — пассажирка! Так и прошло Костино воздушное крещение в малогероической компании: девочка всю дорогу шалила, ее мама дремала. Костю мутило.

В Иркутске Костя долго слонялся без дела. В три недели прокутил он весь свой фарт, перебрался на окраину, обедал в харчевнях, ел жареного харьюза и седло дикой козы, а по вечерам гулял по набережной Ангары с девушками — якутками и бурятками из национальной школы. От безделья и скуки стал читать. На беду подвернулся «Мартин Иден».

Эту дьявольскую книгу Костя проглотил залпом, в одну ночь, а к утру решил, что и сам может написать такую же о себе.

Он искурил много трубок и исписал много бумаги. Каждый день он взвешивал написанное на руке: мало! Он знал теперь, что станет знаменитым писателем, но для этого следовало много написать.

Однажды он решил, что написал достаточно. Взял простыню, свалил в нее все написанное, завязал в узел и поволок в редакцию. Ему сказали: зайти через две недели. Он провел эти две недели спокойно, как человек, сделавший свое дело и ожидающий награды.

Через две недели он пришел в редакцию. Уверенно поднялся по лестнице. Молча выслушал все, что сказал ему вихрастый парень в очках. Потом вынул трубку изо рта и спросил:

— Где у вас печка?

После этого он долго стоял на улице. Мимо прошли знакомые девчата, окликнули его. Он не отозвался. Стоял молча, уставившись в тумбу. Весенний ветер трепал желтый обрывок газеты. Чье-то знакомое лицо глядело на Костю. Подошел ближе. Расправил газету. Так и есть, портрет Васьки Хана!

---

[1] Жилухой, жилым местом, на языке ленских старателей, называются поселения, расположенные уже на магистрали.

— Неужто стали печатать в газетах портреты знаменитых бандитов? — усмехнулся Костя.

Прочел надпись: «Василий Ханов — лучший горновой домны № 7».

Он не поверил. Васька Хан — знаменитый горновой! Тут что-то не так.

Для Кости Лобаса не было дальних концов. Огромная страна казалась ему не больше, чем клетчатый носовой платок старателя. Недолго думая, он сел в поезд и поехал искать домну № 7.

Он нашел ее и нашел Ваську Хана.

В кургузом пиджаке и клетчатой пижонской кепке стоял Костя у горна домны и глядел, как орудует ломом у летки Васька Хан, знаменитый горновой. Багровое пламя металось по лицу Васьки Хана, асбестовая шляпа дымилась, а лом в его руках блестел, как шпага рыцаря. И все было послушно Ваське Хану: и печь, и лом, и пушка Брозиуса, заряженная паром, и подручные, торопливо исполнявшие отрывистые Васькины команды. И даже бешено рванувшийся из печи поток сразу же покорился Ваське, послушно побежал по желобу. Словно и не чугун вовсе, а парное молочко.

А ведь и Костя Лобас мог бы стать знаменитым доменщиком, шахтером, кузнецом. Отчего же не стал? Но теперь было поздно, а Костя нетерпелив. Он даже не подошел к Ваське Хану, а потихоньку, воровски сбежал с домны, сел в поезд и уехал. Куда? Вот этого он и сам не знал. Куда глаза глядят. На край земли.

— Что вы умеете делать? — спросили у него в конторе, куда он пришел «наниматься в Арктику».

— Все! — гордо ответил Костя.

Но ему возразили, что «все — это значит ничего», и предложили ехать продавцом в тундру.

— Приказчиком? — Он горько усмехнулся.— Ну что ж! Все равно. Пусть приказчиком.

2

Странное оцепенение овладело им. Уж он больше ни о чем не мечтал, ни на что не надеялся.

«Все равно, все равно,— думал он, отправляясь в далекий путь,— только бы от людей подальше!»

Равнодушно глядел он, как разворачиваются перед ним синие берега Енисея. Вокруг ахали люди: «Ах, тайга! Ах, медвежья глушь!» Он презрительно улыбался: то ли он видел! Тайга кончилась, началась тундра. Опять ахали люди: «Ах, тундра! Ах, просторы!» Он зевал и отправлялся спать в твиндек.

Так доехал он до моря, но и море не удивило и не возбудило его. Безучастно глядел он, как плещется о борт холодная, сизая карская волна. Что ему в ней? Он не моряк, а приказчик.

Потом он плыл по глухой реке в глубь Таймыра. Плыл долго, пока на реке появилось «сало» и караван не заторопился обратно. Косте сказали, что дальше он может добраться на оленях.

— Все равно,— ответил он лениво.

Пристал к оленьему аргишу, побрел за ним.

— Все равно,— шептал он, укладываясь спать где придется.— Все равно,— говорил он утром, трогаясь в путь.

По первому снегу добрались до фактории. Костя ожидал увидеть большой поселок с магазином посреди площади, вроде сельского универмага, а увидел одинокий бревенчатый домик с бочками на крыше вместо труб.

«Ну что ж, тем лучше!» — подумал Костя и впервые за всю дорогу улыбнулся.

Его встретил заведующий факторией, юркий человечишко с клочковатой бородкой и бегающими глазами.

— Очень приятно. Оч-чень,— сказал он Косте, протягивая потную руку.

Они пошли по берегу, к дому. Там и сям валялись ящики, бочки, груды мешков. От мешков исходил запах прели.

— Гниет,— равнодушно заметил Костя, а заведующий бросил на него быстрый взгляд.

Запах прели недолго преследовал Костю — он сменился запахом псины. Пахло псиной в лавке, и на складе, и в избе. Даже юкола[1] на вешалах пахла не рыбой, а почему-то псиной.

---

[1] Юкола — сушеная рыба.

— Воняет,— сказал Костя, а заведующий захохотал.

В жаркой избе был уже накрыт стол. Суетилась жена заведующего, полная и рыхлая дама, Таисия Павловна. Пришел мрачный, молчаливый радист Игнатьич. Сел, положил локти на стол, уткнулся в тарелку.

— Пьете? — спросил заведующий у Кости и, не дожидаясь ответа, налил спирту в стакан. Стакан сразу заголубел.

— Олень — и тот пьет,— ответил за Костю радист, и все чокнулись. Косте показалось, что заведующий следит за тем, как он пьет; и когда он поставил пустой стакан на стол, заведующий одобрительно крякнул.

Закусывали омулем и пирогами с рыбой.

— За орденком приехали? — спросил Костю заведующий.

Костя не понял, заведующий захохотал:

— Ну-с, орденками тут и не пахнет. И не мечтайте! Комсомолец небось? Нет?

Косте показалось, что заведующий продолжает его ощупывать.

«Ну, да черт с ним! — подумал он, снова чокаясь.— Будет приставать, набью морду».

К вечеру они, впрочем, сдружились. Изрядно выпили. Заведующий Тихон Петрович (жена его звала Тишей) безостановочно болтал, Игнатьич усердно ел, Таисия Павловна кокетливо вздыхала: «Ах, разве здесь жизнь? Ни театра, ни модистки. Вот когда Тиша был председателем Советской власти в Тюмени...» — и жала под столом Костины коленки. Костя отодвигался.

Три дня продолжался пир по случаю приезда Кости, три дня бесновалась за окном пурга, а на четвертый день Костя, шатаясь, выполз на улицу и увидел, что мир изменился.

Все было бело вокруг. И лодка на берегу, и ящики, и мешки — все исчезло, все спряталось под снегом. Костя оглянулся назад, на домик, из которого он сейчас только вылез, но и домика не увидел. Наружу торчали только антенна, флажок на шесте да бочки, две дымовые и три вентиляционные. И Костя понял, что он навеки похоронен здесь под снегом. Стало ли ему страшно? Он и сам не знал. Поглядел-поглядел и проворчал:

— Э, все равно!

Он поселился в маленькой каморке подле склада. Чтоб не сдохнуть от безделья, затеял генеральный ремонт жилья. Вычистил каморку от грязи, соскреб плесень со стен, вымыл пол, но запаха псины истребить не мог (впрочем, он быстро привык к нему и уже не замечал). Потом сколотил себе стол, стулья, смастерил деревянный абажур для лампы. Подумал: «Что бы еще такое сделать?» Решил вдруг, что ему обязательно нужна качалка. Сделал качалку, старательно выточил ручки, обил их оленьим мехом. Качалка понравилась Таисии Павловне, и он, не задумываясь, подарил ей. Потому что в самом деле: на кой черт ему качалка? Потом он прибил вместо ковра на стену серое одеяло. На «ковер» повесил ружье, ножи. Что еще? Фотографии? Но фотографий не было у Кости, потому что не было у него ни родных, ни друзей, ни знакомых.

Он долго и старательно возился с жильем, но однажды его испугала мысль: «А зачем все это? Неужто ты здесь помирать собрался, Костя?» И он бросил на пол молоток, так и не прибив к стене затейливо сделанную полку.

Снова стало скучно. Снова не знал, что делать, куда девать себя. Вдруг придумал, что займется спортом. Из веревок стал плести гимнастические кольца. Плел долго и упорно, а когда сплел и ввинтил в потолок, они уж ему опротивели.

На полке в фактории случайно нашел фотоаппарат. Начал возиться с ним и возился долго; но когда научился владеть аппаратом, настала полярная ночь, а с ней и конец съемкам, а когда ночь кончилась, он уже забыл о своем увлечении, и аппарат мирно пылился в углу. И ружье пылилось на «ковре», так и не снятое ни разу, и лыжи покрывались изморозью в сенях, так и не тронутые, и книги валялись кучей в углу, так и не читанные Костей.

А независимо от его желаний и порывов жизнь на фактории уже сложилась и текла размеренно и рутинно. Ему оставалось только покорно пристать к ее течению и плыть без дум, без желаний... Он так и сделал. Днем — возня с ящиками на складе, вечером — преферанс и спирт.

И Костя знал уже, что Игнатьич будет пить молча и чем больше будет пить, тем будет мрачнее, пока не закричит: «Все вы сволочи! Все! Течека»,— что означает предел Игнатьича. А Тиша, напиваясь, будет все болтливее и болтливее и станет рассказывать, как был он председателем исполкома в Тюмени и все его уважали и боялись, а потом объявили «правым уклоном» и вышвырнули вон. «Как тряпку, да-с, как вонючую тряпку»,— и заплачет, и это будет предел Тиши. А Таисия Павловна, хмелея, начнет тискать Костины коленки и будет распухать, как опара, а потом, жарко дыша, полезет к Косте целоваться, и это уж будет ее предел, потому что очнется пьяный Тиша и полезет с Костей в драку, а Костя стукнет кулаком о стол и пошлет всех... и это уж будет предел Кости, после чего он очнется на койке у себя в каморке и будет плакать пьяными слезами, и ругать себя перочинным ножиком, и проклинать незадачливо, раскосо сложившуюся жизнь.

А на следующий день к вечеру все снова сойдутся за картами и снова станут пить, и снова пойдет все то же самое, мрачное, противное и неотвязное.

Иногда на факторию приезжали ненцы, привозили пушнину. Их олени табором располагались вокруг избы. Становилось шумно, оживленно. Костя с любопытством смотрел на косматых, нечесаных людей.

— Дикари! Самоеды! — презрительно кричал Тиша.— Ну, чего привезли?

Они кланялись и называли его «купес»,— он и в самом деле был похож на купца. Становился даже шире в плечах, величественнее. Брезгливо выхватывал песцовые шкурки из рук, встряхивал, глядел на свет, потом небрежно швырял на полку.

— Войва! — кричал он ненцу.— Войва ннохо... Плохой песец... Ну, чего тебе дать за него? Бери вот...— он совал в руки ненца мыло, розовые подтяжки — все, что попадало под руку. Ненец ворчал, не хотел брать ненужные ему вещи.

Тиша сердился:

— Бери, бери! Бери, что дают... А то вовсе ничего не дам.

И они брали. Брали, ворча, бросая гневные взгляды исподлобья, но это только потешало Тишу.

А если ворчание становилось угрожающим, Тиша подмигивал Косте, и тот приносил синюю бутыль. Тиша подносил ворчуну чарку огненной влаги, ненец проглатывал ее и моментально пьянел. И Костя смеялся, глядя, как косолапит пьяный и выкрикивает пьяные песни.

Иногда ненцы оставались гостить на два, на три дня. Таисия Павловна не пускала их в жилые комнаты, кричала, что они вшивые и вонючие, и гостей укладывали на ночь в грязном закутке подле собачьего катуха. Они спали там, дрожа от холода. «Что ж,— думал Костя,— это Арктика, проклятый край, медвежий угол. Какого черта забрался я сюда?»

Иногда Тиша уезжал на несколько дней в тундру «по торговым делам», и тогда ночью в дверь Костиной каморки раздавался осторожный стук, входила Таисия Павловна в одном капоте, кралась к Костиной кровати. Косте были противны и ее мокрые губы, и потная спина, и липкие, жадные руки. И всякий раз, провожая ее к двери, он говорил угрюмо:

— Ты больше не ходи.

Но она только хихикала в ответ и на следующую ночь являлась снова. И не было у Кости сил выгнать ее.

Однажды он не пустил к себе Таисию Павловну. Она долго стучалась, звала его и, наконец, ушла, расплакавшись. Он слушал ее всхлипывания, стиснув зубы. Потом ему стало жаль ее.

«Ну за что я ее обидел? — подумал он.— Старая баба, кто ее пожалеет? Последние свои ночки догуливает. Может быть, она и в самом деле любит меня?»

Ему стало нехорошо и тревожно, в ушах все время звенели обиженные всхлипывания женщины. Он встал и тихонько пошел в ее комнату. Там никого не было. Он испугался: уж не бросилась ли она от обиды в ночь, в тундру.

Он стоял взволнованный и прислушивался: жалобно скрипела крыша, ветер выл за окнами. Ему показалось вдруг, что он слышит смех. Смеялись в комнате Игнатьича. Он узнал сытое хихиканье Таисии, услышал возню... И тогда он вдруг расхохотался. Расхохотался зло и громко. Вышел на улицу, стоял без шапки под ветром и хохотал, упершись руками в бока...

3

Теперь он старался вовсе не выходить из своей комнаты. Лежал по целым дням на койке и глядел в потолок.

— Зачем ты живешь на земле, Костя? — спрашивал он себя громко, и скрипы в углу отвечали ему: «Зрря!»

«Зря?»

«Да, зря! Каждое существование имеет смысл. Эта койка существует для того, чтобы я спал на ней. Не ее вина, что спит на ней бездельник,— она служит честно. Собака — везет нарту, Игнатьич — три раза в день отшлепывает свои метеосводки. Таисия — и та знает свое призвание: печь пироги с рыбой. А ты, Костя? Что делаешь ты?»

«А ведь есть,— думал он, ворочаясь на койке,— есть и высокие предназначения в жизни. Не все же пироги да сводки. Есть вещи, за которые люди и на смерть, как на праздник, идут».

— И я пошел бы! — кричал он, вскакивая.— Ну? Укажите, пойду!

«Укажите? Ишь ты, какой ловкий! Сам найди!»

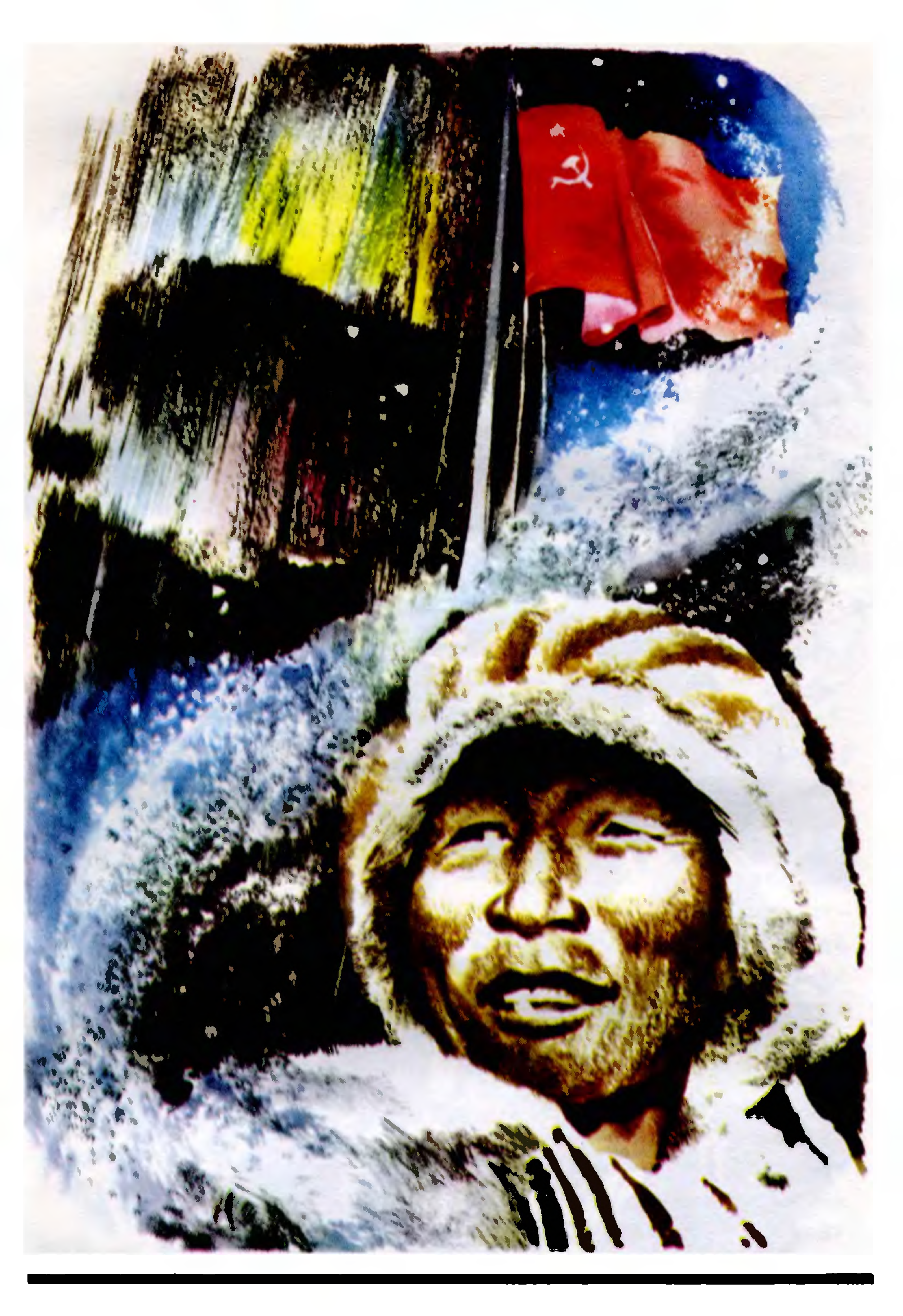
Так он ссорился сам с собою, пока, измученный, не засыпал. Но и сны были страшные, бредовые. Он просыпался в холодном поту и долго не мог сообразить, где он и что с ним.

Все чаще стали находить на него приступы страшной тоски. Ему казалось тогда, что облипает его со всех сторон липкая, тягучая тьма. Дрожащими руками зажигал он лампу, но тени не уходили из комнаты, а угрожающе сгущались в углах. И Косте казалось, что ночь никогда не кончится, никогда не блеснет здесь солнечный луч; снег, придавивший их избу, никогда не растает: навеки суждено Косте жить в полуночном мраке, погребенным под сугробами. И ему становилось страшно. Он понимал: это полярный психоз. Но он знал от него только одно лекарство: спирт.

И Костя стал каждый вечер напиваться. Но и пьяный, он не знал покоя. Он остро ненавидел себя и свое пьяное, беспомощное тело; хотелось вышвырнуть это тело на мороз, бросить эту темную голову в петлю, положить эту шею под нож.



«ВОЗВРАЩЕНИЕ САТАНАУ»



«ТАЯН-НАЧАЛЬНИК»

Все чаще стали являться мысли о самоубийстве.

«Лучше умереть, чем так жить,— думал он.— Зачем живешь?»

«А умрешь зачем?»

«Умирают не зачем... а... а просто умирают. Исчезают с земли, как снег весной».

«Врешь, Костя. И умирают «зачем». Какое оправдание твоей жизни? Одни люди оправдывают свою жизнь тем, что жили правильно, другие тем, что умерли правильно. А ты? Люди спросят: что сделал в жизни Костя Лобас? Хотел славы — не добыл, искал золота — не нашел. Играл в преферанс с сукиным сыном Тишей да пил спирт? И не будет оправдания твоей жизни».

«Значит, и выходит: надо мне умереть».

«А какое оправдание твоей смерти? Умер потому, что не умел жить? Ой, плохо о тебе вспомнят люди, Костя Лобас... Вспомнят? Да кто вспомнит-то? То-то и горько, что никто не вспомнит. Одинокий я человек на земле. Перочинный ножик».

И тогда ему становилось до боли жаль себя. Он жалел и свое тело и беспокойную голову и уж не думал бросать ее в петлю, хотя и не знал, куда же ее кинуть, где найти ей приют и покой.

Однажды он понял, что пропадет здесь: «Сопьюсь или сойду с ума». Ему стало страшно. Он заметался по комнате. «Бежать! Бежать! Бежать отсюда, от этого мрака, от этих людей, от всей этой проклятой, ненужной жизни...» Он бросился к календарю: «Сколько еще осталось?» Лихорадочно рвал листы. «Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — прочь, прочь, прочь... Сколько еще осталось? Какое сегодня число?» Он сбился со счета. «Проклятая, вечная ночь... Но скоро конец этому. Он уедет. Точка. Он уедет отсюда».

И тогда сразу, от одной мысли, что бред его скоро кончится, ему становилось легче. Он стал чаще ходить в тундру. Подолгу простаивал на холме, нетерпеливо всматриваясь в восточный край неба. Как ребенок, обрадовался он первому серому лучу солнца. «Не уходи!» — готов был закричать он, но солнце ушло, не побыв с ним и трех минут.

Ему хотелось поторопить весну. Он искал ее признаков во всем и всюду. С волнением отмечал каждую но-

вую трещину во льду на реке, радовался, замечая, как понемногу съеживается и чернеет снег, прогретый солнцем, как появляются на корке наста пупырышки. Первая оттепель чуть обнажила землю, и из-под снега на холмах выглянули черные прогалинки. Это был первый клочок земли, который он здесь видел за девять месяцев. Земля была покрыта бурым мхом, жалким, сморщившимся, но она показалась Косте прекраснее заволжских степей. И долго стоял он, склонившись над этим маленьким черным клочком, жадно вдыхая в себя запах земли, самый чудесный, самый волнующий запах в мире.

А потом наступило лето, пришел и ушел август. Настал сентябрь. По целым дням теперь простаивал Костя на высоком берегу реки, ожидая каравана. Каравана не было.

Тревожные вести приносил к столу Игнатьич.

— Не будет каравана,— твердил он.— Пролив Вилькицкого забит льдом. В Карском — лед. В устье Пясины караван еле прошел третьего дня. К нам не поспеет. Тяжелый год.— И, прихлебывая чаек из алюминиевой кружки, спокойно спрашивал Тишу: — Что будем делать, начальник?

— А смерть придет, помирать будем,— смеясь, отвечал тот.

И Костя в сердцах швырял о стол ложку и уходил на берег.

Наконец окончательно выяснилось: каравана не будет. Об этом ехидно сообщил Косте Тиша.

— Еще позимуете с нами, Константин Иваныч, уж не побрезгуйте,— хихикнул он.

— Уж позимую! — ответил сквозь зубы Костя. И вдруг представилась ему зима, и ночные кошмары, и скрипы в углу. Захотелось завыть, заскрипеть зубами, но он сдержался. Не распускаться же на радость Тише.

За столом в этот день царило тягостное молчание. Таисия Павловна сердито швыряла на стол тарелки. Игнатьич хмурился. Костя мрачно ковырял вилкой в тарелке. Один только Тиша чему-то улыбался.

— Вы чему радуетесь-то? — крикнул на него Костя.

— А что ж, плакать мне? Не баба. Не пижон. Умею глядеть в лицо трудностям.

— Радиограмму пошлем, а? — спросил Игнатьич.

— О чем это?

— Да вот... о бедственном положении. Сами знаете... Остались мы без подвоза.

— Нет, радиограмму я посылать не буду. Начальство не любит получать огорчительные радиограммы.

— А жевать чего будем? — крикнула Таисия.

— Жевать будем, котик, чего нам настряпаешь,— кротко ответил Тиша.— Еще хватит на нас с тобой на складе. Проживем.

— А тундра? — мрачно спросил Костя.

— Тундра голодает. Не скрою. Но в том, брат, не я причинен. Не я,— развел он руками.— Да вы о тундре, милый Костя, не беспокойтесь. Это ведь только по нынешнему времени им название ненцы, а допрежь звали их самоеды. Сами себя едят. Если с них ножом грязь да жир соскоблить, так и тем можно зиму питаться. Не пропадут! — и он захохотал, радуясь своей шутке.

И таким нестерпимо противным было в эту минуту его лоснящееся жиром лицо, что Костя не вытерпел и швырнул в него тарелку. Завязалась драка, завизжала Таисия, и только Игнатьич невозмутимо глядел, как катаются по полу мужчины, и сосал трубку.

А вечером снова все вместе пили, и Костя, напившись, бахвалился, что уйдет из этого проклятого места пешком через тундру, как раньше уходил с прииска через гольцы. Но не тот теперь был Костя, да и некуда ему было уходить. Охмелев, он начал сочинять стихи:

Скука, скука, скука...
Скоро и ночь придет, паршивая сука.

— Вы поэт! — кричала Таисия Павловна в восторге.— Клянусь жизнью, вы поэт, Костик!

Но успех Кости взбесил Тишу.

— Поэт! — заорал он.— Вот не давать ему завтра жратвы — и нет поэта. Это я, я один поэт. У меня склады. У меня мясо, сахар. У меня мука. Я! Я один! Один на всю тундру. Го! Ко мне все придут. Все поклонятся — спасай! Ха! Мехом кланяться будут, пушнинкой... Хо-хо! Горы мехов... Песцы, росомахи, горностаи, волки — га! Лисицы голубые, белые, серебристые... Все у моих ног. Несите! Несите! — замахал он руками, за-

хлебываясь.— Несите! У меня мясо и хлеб! Я дам, я добрый. Я сильный. Мой закон над тундрой. Я — хозяин. Го! Я — власть! Я — поэт! Когда я был председателем в Тюмени...

И снова потянулась прошлогодняя рутинная жизнь. Тиша оказался прав: «жевать было чего». По-прежнему подавались к столу жирные, масленые пироги и розовая строганина. Если и был в чем недостаток, так только в спирте. Его запасы таяли удивительно быстро, Тиша только плечами пожимал:

— Экую прорву выпили. Ну, люди. Орлы!

Стали пить денатурат, выпили весь одеколон и духи из лавки, пить стало нечего. Тогда Игнатьич научил Таисию варить бражку. Костя заикнулся было, что преступление в голодное время тратить зерно и сахар на брагу, но Тиша закричал:

— Пей, гуляй! Раз живем!

И Костя замолчал.

Подоспели именины Таисии. Тиша затеял пир на весь мир и назвал гостей.

«Что ж подарить имениннице? — думал Костя.— Цветы? — Он усмехнулся.— Духи?»

Он пошарил на полках в лавке — ничего не нашел, все выпили. Тогда он вспомнил, что в сенях стоит непочатая трехпудовая бочка варенья. Прикатил бочку в избу и торжественно преподнес имениннице.

Таисия Павловна была тронута подарком, а Тиша меланхолически отметил в гроссбухе: «Взято К. И. Лобасом из лавки: бочка варенья, 3 пуда».

Приехали гости: фельдшер с женой, промышленник с Восточного берега, охотовед из Белужьей с женой. Зашумел пир. Зазвенели бокалы. А Костя, в котором все время плясал чертик задора, нашел в груде пыльных книг томик Пушкина и объявил, что хочет декламировать.

— Просим, просим! — закричали гости.

Вызывающе блестя глазами, Костя стал читать «Пир во время чумы» и, читая, все время глядел на Тишу. Но никто не понял его демонстрации, все шумно зааплодировали, когда он кончил, фельдшерша взвизгнула: «Браво!», а Таисия наградила чтеца горячим взглядом. Он яростно швырнул Пушкина в угол и стал мрачно хлебать брагу.

«Сволочи! Все сволочи! — думал он.— И я сволочь. Перочинный ножик».

Шатаясь, встал он из-за стола, опрокинул чашку, что-то разбил, зацепил рукавом, кого-то толкнул и пошел, покачиваясь, к дверям. На воздух!

Стояла тихая, ясная, морозная ночь. На синем снегу мерцали лунные блики, и казалось, что это снег цветет, расцветает невиданными узорами заструг.

Костя взглянул на небо — там вокруг истинной луны встало семь ложных лун. Но Костя уже видывал это и не удивлялся. Он не был философом,— что думать ему о ложных лунах? Все лживо, вся жизнь Кости Лобаса сложилась лживо, раскосо, черт знает как. Хотел стать героем, стал сволочью...

Он прислонился к косяку двери и замер. Великая тишина стояла в мире,— такая тишина бывает только на Севере. Тишина тундры, закованной в снег. Тишина реки, скованной льдом. Тишина неба, скованного морозом. Тишина могилы. Синяя тень на всем...

Но один звук все же нарушал эту тишину. Костя прислушался: звуки повторялись механически мерно. То были звуки удара чем-то мягким о что-то мягкое. Он обернулся и увидел: у дорожной нарты, согнувшись и опустив руки, стоял высокий приезжий ненец, а вокруг него молча прыгал маленький, яростно оскалившийся Тиша и хлестал ненца по голове и щекам пушистым песцовым хвостом. Ненец стоял неподвижно, не уклоняясь от ударов, он только втянул голову в плечи, и Костя увидел, что эти плечи дрожат мелкой дрожью, а по щекам катятся грязные слезы и замерзают.

А вокруг людей, присев на задние лапы, сгрудились похожие на волков собаки. Они не лаяли, не шевелились, а только смотрели, как один человек бьет другого. И Косте показалось, что в их глазах прыгают огоньки. И все вокруг пахло псиной. Этот запах, к которому совсем уже было привык Костя, сейчас был невыносим. Невыносима была вся эта молчаливая сцена — и замерзающие слезы на щеках ненца, и вздувшиеся скулы Тишки, и блеск собачьих глаз, и запах псины, псины, псины... Костя оторвался от косяка и одним прыжком был подле Тишки.

— Брось! — закричал он, хватая его руку, и сам не

узнал своего голоса — таким он был тонким и натянутым, как струна.

— Прочь! — прохрипел Тиша и оттолкнул его.

И тогда Костя, не помня себя, вырвал из его рук песцовую шкурку и яростно начал хлестать начальника по голове, по плечам, по морде. Клочья рваного меха посыпались в стороны, Тиша завизжал, упал на снег, и тогда Костя стал топтать его сапогами... А вокруг них все теснее смыкалось кольцо похожих на волков собак, все нестерпимее становился удушливый, жаркий запах собачьего тела. И тогда очнулся Костя. Ему показалось, что от него самого, от его рук исходит терпкий запах псины. Брезгливо швырнул он песца на снег, небрежно ткнул сапогом вздрагивающее тело Тиши и ушел к себе. А за ним послушно побрел ненец, так и не сказавший еще ни слова. Они вошли в Костину каморку. Костя заложил дверь бревном и грузно опустился на кровать.

Ненец сел на корточках у порога и не отрываясь смотрел на Костю.

— Тебя как зовут? — хрипло спросил Костя, потому что надо было что-то сказать.

Ненец долго не отвечал, потом произнес тихо:

— Яптуне... Василий...

— Что ж ты молчал, Василий? — продолжал Костя.— Что ж ты ему сдачи не дал?

Ненец ничего не ответил.

— Ты ведь сильней его, Василий! Он маленький, дохлый. А ты вон ведь какой!

Ненец опять долго молчал, качал головой, потом сказал не улыбаясь:

— Однако он сильней.

— Он?

— Купес сильней Яптуне. У купса мясо, мука, каросин...

— Врешь!..— закричал Костя, вскакивая с постели.— Ты сильнее. Не его это мука. Твоя мука. Тебе ее государство прислало. А он, рыжий черт, из нее брагу варит. И пьет.— Он вдруг остановился, вспомнив, что полчаса назад он сам пил эту брагу. Ну что ж! Он прямо посмотрел в лицо ненцу и прокричал: — И я пью! И я сволочь. Ну?..

Но Яптуне не трогался с места. Он сидел у порога,

раскачиваясь всем телом, и курил. А потом начал говорить тихо, размеренно, словно песню или молитву:

— Плоха... Шибко плоха... Голудно... Очень шибко голудно тундре... Помираем, однако. Патронов нет — охоты нет. Охоты нет — мяса нет, табаку нет. Зверя нет — муки нет, чаю нет. Чаю нет, табаку нет — шибко скучно Яптуне. Помирает он. Голудно, очень голудно.

В его голосе не было ни жалобы, ни стона, только покорность судьбе, но было страшнее крика это равнодушие обреченного. И Костя заметался по комнате.

— Войва...— продолжал свою песню Яптуне.— Плохой купес Тиша. Недобрый. Что сделаешь? Взял Тиша у Яптуне песец, ничего не дал Яптуне. Ай, неправильно то! Шибко плохо. Раньше лучше начальник был. Добрый был, Лексей Иваныч звали. Больсевик, однако, был. Ничего... Правильно... Яптуне за руку брал, за песца деньги давал, за деньги — товар давал. Правильно... Ничего... Правильно...

— Какой Алексей Иванович?

— Начальник был... С нами жил... Караван пришел — уехал Лексей Иваныч. Ай, жалко Лексей Иваныч!.. Плачут люди в тундре... Тундра плачет... Ветер плачет... Вода о берег бьет, плачет... Нет Лексей Иваныча... Ой, худо нам! Шибко худо-о, однако.

Костя почувствовал вдруг острую зависть к неведомому Алексею Ивановичу. «Вот жил человек здесь же, может быть, на этой койке спал, в это окно глядел, а уехал — и сказывают о нем песни в тундре. А про меня скажут: жулик был, вместе с Тишей брагу хлебал. О!..» Он заскрипел зубами и еще яростней заметался по комнате.

В это время в дверь постучали. Изба наполнилась шумным пьяным гомоном, и медовый голос Таисии Павловны произнес:

— Что ж вы покинули нас, Константин Иванович? Ах, как невежливо!

Костя замер. Ничего не ответил. Прислушался. За дверью пошептались. Кто-то сказал: «Ну конечно же!» — а затем послышался веселый голос Тиши:

— Ну, брось дурака валять, Костя. Выходи. Побуянил спьяну и хватит. Я не сержусь.

И все весело закричали:

— Мир! Мир! Мир!

«Мир! — Костя криво усмехнулся, взглянув на съежившегося у порога ненца, потом на дверь.— Нет, братцы, не мир!» Он молча шагнул к постели, сорвал с «ковра» пылившееся две зимы ружье и подошел к двери.

— Если хоть одна собака,— спокойно произнес он в дверь,— посмеет перешагнуть мой порог, я уложу ее на месте. Амба!

И для убедительности щелкнул затвором.

Сразу стало тихо за дверью. Потом перепуганные голоса: «Он с ума сошел!» Смятенный топот ног. И снова тишина.

А Костя весело, от всего сердца, расхохотался. Он стоял с ружьем в руках у заложенной бревном двери и хохотал чисто, легко, радостно. Ну вот! Очень хорошо. Война.

4

Весь следующий день он сидел в своей каморке и писал. И пока писал, все звенела в ушах жалоба Яптуне: «Голудно тундре, шибко голудно». А когда кончил писать, собрал листки и пошел к Игнатьичу.

— Вот,— сказал он хмуро радисту.— Перестучи, пожалуйста.

Игнатьич молча подвинул листки к себе, прочел их — при этом на лице его ни одна жилка не дрогнула — и так же молча и невозмутимо отодвинул от себя.

— Что? — не понял Костя.

— Возьми.

— Как — возьми?

— Так. Нельзя. Точка.

— Да ты...— закричал Костя.— Да ты понимаешь, что говоришь, Игнатьич?

— Понимаю. Не маленький. Нельзя. Разрешение заведующего принеси...

— С каких это пор рация подчиняется заведующему факторией?

— Раз твоя радиограмма по делам фактории, без разрешения заведующего не могу. Точка. Уходи. Не мешай.

Ну что ж! Костя пришел к заведующему. Швырнул

листки на стол, молча стал ждать. Тиша засуетился, напялил на нос очки, повертел листки и побледнел. Заерзал на своем табурете.

— Ах, Костя!.. Ах, горячая голова! — забормотал он.— Ну зачем это? Ах, зачем?.. Ну что же ты написал? Где же правда тут? Ах, ах!.. Вот пишешь, что я темный, подозрительный человек. А я, брат, я за революцию кровь... Или вот: безденежная торговля, товарообман. Так ведь это я, чтоб ненцам же лучше... Ну ненец, ну дикий же человек, ну что он в дензнаках смыслит? Или вот... Ай-ай-ай! Стыдно тебе, Костя... Как к родному, к тебе я... И Таисия... А ты... Что же ты тут пишешь? Грабеж, насилия над населением, издевательства, антисоветская практика... Это я-то, я-то грабитель? Да я мухи... Ах, горячая голова...

Он прочитал до конца и беспокойно посмотрел на Костю, глаза его трусливо бегали.

— Пошутил, Костя? — попытался он улыбнуться.— Разыгрываешь? Хе-хе-хе-хе... Остроумно. Можно теперь и порвать? — прошептал он, искательно заглядывая в Костины глаза.

— Я те порву! — закричал Костя и выхватил листки из цепких лап Тиши.— Подписывай разрешение передать по радио.

— Что? — тихо произнес Тиша.— Что-о?

Он встал с места и, дрожа всем телом, шагнул к Косте.

— Что? — снова спросил он и вдруг в бешенстве затопал ногами.— Врешь! Врешь! Уничтожу! Сгною! Врешь!

Пена забилась на его губах, обрызгала усы и бородку, но он быстро вытер ее рукавом, овладел собой и даже засмеялся.

— Шутник... Шутник ты, Костя... Писатель...

— Подписывай разрешение,— пробурчал Костя.— Живо!

— Шутник!..— продолжал паясничать Тиша, и только глаза его, злые, колючие, не смеялись.— Ах, людям рассказать — обхохочутся. Тася, Тасенька,— позвал он.— Какую тут шутку Костик выкинул!

— Значит, не подпишешь? — закричал Костя нетерпеливо.

— Шутник... Ах, артист! Артист какой!

Костя сжал кулаки. Ну что ж, бить его?..

«А, бей, бей! — ухмылялось ласковое Тишино лицо.— Бей, пожалуйста, голубчик. Стерплю. И свидетеля позову. Игнатьича».

Костя яростно махнул рукой и выбежал. Что было делать теперь? Он снова бросился к Игнатьичу. Убеждал, просил, грозил, но радист только пыхтел трубкой и изредка ворчал:

— Уходи. Нельзя. Точка.

— Ссориться не хочешь? — наконец презрительно спросил Костя.— Боишься?

Игнатьич поднял на него глаза и ответил коротко:

— Боюсь.

И Костя подумал, что прав, пожалуй, Яптуне: «Купес сильнее — у него спирт».

Спирт! Только бы достать спирту. Игнатьич передаст радиограмму. Он побежал в лавку и начал шарить по полкам. В пыльном углу попался ему старый спиртовой компас. Он обрадовался находке так, как не радовался еще ничему в жизни. Вылил из компаса спирт и пошел к Игнатьичу. Теперь и он владел могучим оружием.

— Хочешь спирту, Игнатьич?

— Огонек? — недоверчиво поднял голову радист.

— Нет, чистый.

— Вре-ешь!

— Вот! — показал Костя голубую бутылочку.— Хочешь?

— Пирт тара,— по-ненецки ответил Игнатьич, и глаза его стали влажными.

Костя медленно поставил бутылочку на стол и посмотрел на Игнатьича.

— Понимаешь? — спросил он тихо.

Игнатьич взглянул на Костю, потом на бутылочку, потом опять на Костю, почесал щеку, облизнул сухим языком губы, сморщился.

— Понимаю.

— Ну?

— Хорошо.

— Когда?

— Ночной срок будет... Тогда и передам...

— Правда? — закричал Костя и от радости отдал радисту весь спирт.

Но когда пришел ночной срок, Игнатьич был уже пьян и не мог работать, а когда протрезвился, и слышать не хотел о Костиной радиограмме.

Что было делать Косте? Он вдруг горько почувствовал свое бессилие. Броситься в тундру, выть, кричать? Но никто даже не услышит его криков. Биться головой о стену, драться, ломать табуреты на Тишиной плешивой голове? А в ушах все звенело: «Голудно тундре, шибко голудно...»

Началась страшная жизнь, вся исполненная глухой, потаенной борьбы. Молча сходились за общим столом обитатели фактории. Ни на минуту теперь не расставался Костя с ножом. Потом ему подумалось, что Тиша может отравить его пищу, грозился же он: «Уничтожу, изведу». И Костя перестал выходить к столу, сам себе стряпал, на ночь закладывал дверь бревном, чутко спал. И не смерть была страшна Косте. Сколько раз за свою раскосую жизнь глядел он курносой в глаза! Страшна была мысль: «Пропаду, так ничего и не сделав. И никто не узнает, за что погиб Костя Лобас, путаный человек. И даже Яптуне Василий не узнает. Еще сукиным сыном обзовет».

Как жалел он теперь, что отпустил ненца, не всучив ему писульки. Она дошла бы «торбазной почтой» до центра и сделала бы свое дело. И тогда не обидно было бы погибнуть. Но ни разу не пришла Косте мысль бросить драку, помириться с Тишей, жить, как раньше жил. Нет, эта мысль ни разу, даже в самые горькие ночные минуты, не вползала в его крутолобую башку. Черт подери! Будь что будет, но война. Несмотря ни на что. Теперь он дышал полной грудью — первый раз в жизни он правильно жил.

Но проходило время, а все оставалось по-прежнему. Избу совсем засыпало снегом. Настала вечная ночь. Никто не приезжал на факторию. Похороненные под сугробами, ворочались в тесной избе люди, остро, смертельно ненавидевшие друг друга.

И тогда Костя решил бежать.

Бежать — вот единственное, что ему оставалось.

Уйти ночью, добраться до окружного центра, все рассказать.

Он стал лихорадочно готовиться к побегу. Собрал продовольствие, оружие, меховую одежду, нашел компас и однажды ночью, когда все спали, вынес все это из избы, сложил на нарту, взял девять лучших собак, обернулся в последний раз на проклятую избу, погрозил ей кулаком — и уехал.

Он помнил из рассказов ненцев, что до окружного центра надо долго ехать рекой, потом перевалить горы, выехать опять на реку, дойти до «перекрестка», где реки сливаются, и по новой реке уже легко добраться куда нужно.

Но когда Костя очутился один в полярной мгле, он скоро потерял и реку и горы. Белая пустыня расстилалась перед ним, однообразная и холмистая. Что это было? Торосы или холмы? Он ничего этого не знал. Он был как слепой щенок в этом полуночном мире.

Он бросался то в одну, то в другую сторону, долго блуждал и, наконец, окончательно запутался. Собаки уткнулись в сугроб и стали. Вожак озабоченно обернул морду к Косте.

«Ну? — говорил его взгляд.— Куда же?»

Но Костя и сам не знал куда. Только сейчас он понял, на какое дело решился. Беспомощно огляделся вокруг, но не увидел ничего утешительного. Все было мертво и тихо.

Однако сдаваться было рано. Он вспомнил, что у него есть компас. Компас, черт подери! Что же ему еще нужно?

И Костя побрел за собаками на запад. Перелезал через какие-то обледеневшие бугры, брел, спотыкаясь и увязая в снегу, по тундре — и вдруг очутился среди дикого хаоса торосов (и тогда догадался, что вышел на реку), но через торосы было трудно тащить нарту, и он выбрался на берег, брел берегом, пока не потерял и берега и торосы... Но это теперь не пугало его, потому что компас, за которым он все время следил воспаленными глазами, неуклонно показывал путь на запад.

Так прошло много дней. Странно, что до сих пор он не встретил ни жилья, ни кочевья. Он и не знал, что тундра так мертва. Но, может быть, он проходил сто-

роною, может быть, где-нибудь в пятистах метрах на юг или север были люди? Он ничего не знал, но цепко держался принятого направления: на запад!

Иногда ему удавалось найти плавник, и тогда у костра отогревались и он и его собаки. Костя натаивал в котелке снег, варил себе из консервов похлебку, а собакам бросал юколу. У костра было легче мечтать об удаче. У костра тундра казалась живой и понятной, дорога — легкой, цель — близкой.

Но он покидал костры для дороги и снова брел, замерзал и падал от усталости и голода, и снова подымался, и снова брел... Собаки обессилели, и он сам теперь впрягался вместе с ними в лямку и тянул. Он тянул честно, изо всех сил. Ему было жаль собак.

Когда Костю застигала пурга, он вырывал в снегу яму и прятался в ней вместе с собаками. Так было теплей и ему и им. И он спал, зарыв голову в их мохнатый мех. Теперь не раздражал его запах псины, а даже радовал: то был запах жизни, запах теплых, живых тел.

Но жизнь еле теплилась в Костином теле. Все труднее стало тянуть нарту. Он стискивал зубы и кричал на себя:

— Ну ты, кляча! Тащи! Еще! Еще немножко! — а потом, обессиленный, валился на снег: вокруг, дрожа от холода, сбивались измученные, голодные собаки и жалобно глядели на него. А он не знал, к кому эта жалость — к себе или к нему, к их хозяину и другу.

Он лежал на снегу, тяжело дышал и разговаривал с ними:

— Ну, ничего... Вот отдохнем немного... Потом в путь... Теперь скоро...

Ему казалось, что они понимают его, как он понимал их.

И, отлежавшись, Костя снова впрягался вместе с собаками в лямку и трогался в путь. Его щеки обморозились и болели. Ноги, ни разу не бывшие сухими, покрылись ранами, на них было мучительно ступать. Но он все еще не хотел сдаваться, и упрямо тащил нарту, и глядел то на стрелку компаса, то вперед на дорогу.

И теперь часто стали мерещиться ему города впереди. Он видел, как клубится дым над избами, слышал

людские голоса, собачий лай... Он напрягал последние силы, весело кричал:

— Эгей! Ну вот... Ну вот и добрались!

Но города исчезали так же быстро, как и появлялись, дома оказывались острыми торосами, а дым — снегом, сдуваемым со скал. После миража было еще труднее идти и надеяться, что придешь.

Он решил больше не верить обманчивым видениям. Так было легче, спокойнее. И когда однажды увидел на высоком берегу избушку, он и ей не поверил.

Но то было настоящее, реальное жилье. Он добрался до него, истратив последние силы, и упал на снег у самого порога.

То было брошенное на зиму рыбачье летовье, почти по крышу занесенное снегом. Хватит ли у него сил отрыть вход в избу? Есть ли в ней продовольствие, дрова, спички?

Он сказал себе:

— Костя Лобас, это твой последний шанс жить...— и с трудом поднялся на ноги.

Лопата... А ведь была у него лопата. Хорошая, железная. Он стал искать ее на нарте. Шарил коченеющими руками. Еще и еще раз перетряхнул вещи. И наконец понял: потерял.

Потерял... Он стоял, совсем подавленный этим новым несчастьем, и с тоской глядел на избушку. Ему вдруг представилось: в избе, на столе, лежат горы снеди. Караваи душистого хлеба. Башни консервных банок. Гирлянды колбас. Розовые круги сыра. И мясо, мясо, мясо, сочное, окровавленное, жирное... Он почувствовал, как запахи пищи раздирают его ноздри. И тогда, не помня себя, он бросился к избе и начал руками отбрасывать снег. Он погружал руки по локоть в сугробы, потом упал на колени и по-собачьи стал рыть снег, пробираясь ко входу. Вдруг его осенила мысль: собаки! Он бросился к упряжке, сорвал лямки и освободил собак.

— За мной! — прохрипел он им и вместе с собаками бросился к избе.

Теперь они работали рядом, он и собаки, тело к телу. Его руки окоченели, он бросил варежки и стал дуть на пальцы, но его дыхание было чуть теплым, оно не

могло согреть. Тогда он спрятал руки на груди, закашлялся и почувствовал, как холодеет тело и чуть теплеют руки. И снова стал рыть снег.

Он рыл долго, но все не уменьшались сугробы, все далек был вход в избу. А сил уже не было. В последний раз обвел Костя Лобас мутнеющим взглядом мир и увидел, как равнодушно дремлет полуночная тундра.

«Вот где нашел ты могилу, Костя!» — подумал он и обессиленно опустился на горы развороченного снега...

5

Он очнулся оттого, что стало жарко. Его нос щекотали запахи дыма и мяса. Он открыл глаза и увидел, что лежит на шкурах в чуме. Над ним склонились незнакомые косматые головы. Он понял, что жив и спасен. Он простонал:

— А собаки?

Ему сказали, что собаки целы. Он улыбнулся. Ему подвинули миску с мясом, он стал есть. Его челюсти отлично работали. Не такой это парень, Костя Лобас, чтоб умереть зря. Он еще повоюет.

И, поев, он сразу же сказал хозяину чума, что должен ехать.

А так как никто не спросил его, откуда, куда и зачем едет, он сказал сам.

От стойбища к стойбищу полетела весть о том, что едет в окружной центр Костя Лобас за продовольствием для тундры. «Оленье радио» опережало Костю, и всюду, куда б он ни приехал, его уже ждали: кипел жирный чай в ведрах, плавало мясо в котлах, лучшие шкуры готовы были стать его постелью.

Так он брел по большой дороге тундры, узнавал людей, и чем больше узнавал, тем больше любил, потому что все они были честные и простые люди. Он сидел у их костров и слушал их речи и жалобы, иногда — если то было по пути — брел за их стадами. Он ночевал в дымных чумах, в берестяных, обшитых шкурами тордоках, в походных балках. Ему особенно понравился балок, этот легкий домик на полозьях.

Он спросил:

— Отчего все живут в грязном чуме, когда можно жить в балке?

— Оттого, однако, купес,— ответили ему,— что балка взять негде.

И Костя подумал, что, будь он заведующим факторией, балки были бы у всех жителей тундры.

Расставаясь с хозяином ночлега, он спрашивал:

— Что привезти тебе, хозяин, из центра?

О! Что привезти? Охотник просил новое ружье, женщины — железный котелок для варки пищи, ребятишки — игрушек. Велики были нужды тундры, и, чтоб не забыть их, Костя стал все записывать. У него скоро получился длинный список. Тут было все: и брезент для чума, и подползки для нарт, и посуда, и стальные иглы, и сукно, и бусы, и чай, и табак, и музыкальный ящик охотнику Афанасию Хатангскому, и медный чайник Федору Яру... Хотел этого Костя иль нет, а он должен был все это привезти людям в тундру, чтоб оправдать их гостеприимство и надежды.

Наконец добрался он до окружного центра. Олени весело вбежали в большое село над сонной рекой, и ненец-проводник спросил Костю:

— Куда?

Костя подумал-подумал и махнул рукой:

— В НКВД.

Но в НКВД не оказалось начальника.

— Он уехал в тундру,— сказал дежурный.— Скоро вернется. Есть помощник.

— Ну что ж, давайте помощника! — закричал Костя, и его пропустили к помощнику.

Это оказался молодой паренек, весь в ремнях. Ремень для нагана, ремень для сумки, ремень поясной, и даже оленьи бокари были подвязаны к поясу ремнями. Все ремни были новенькие, желтые, все скрипели, когда помощник вертелся на стуле.

— Я Лобас из фактории Трех Крестов,— объявил Костя.

— А-а! — засмеялся помощник.— Тебя-то мне и надо.

— Ну, вот я и приехал! — обрадовался Костя.

Помощник еще раз внимательно посмотрел на него, вызвал дежурного и приказал арестовать Костю Лобаса.

— Как? — закричал Костя.— За что?

— А ты сам знаешь, за что! — крикнул ему вдогонку помощник, и Костя очутился за решеткой.

Странная судьба выпала Косте Лобасу: ему ничто не удавалось. Вот добрался он, наконец, до цели. И что же? Очутился в тюрьме. Он ни в чем не повинен, он выйдет, конечно, отсюда, все объяснится,— это, разумеется, Тишины шутки. Но поверят ли теперь в его рассказ? А если не поверят, какого же он черта умирал и не умер в дороге?

Через три дня его вызвали к начальнику, он уже приехал. Тут же в кабинете находился и помощник в скрипучих ремнях, только выглядел он очень смущенно. К своему удивлению, Костя заметил здесь и ненца-проводника: тот обрадованно закивал ему головой, и Костя в ответ приветливо улыбнулся.

Начальник поднялся навстречу Косте.

— Извините нас, товарищ Лобас! — сказал он, протягивая руку.— Тут опечатка вышла.— И он бросил взгляд на скрипучего помощника; тот покраснел.— Вот, прочитайте.

Костя взглянул на лист, протянутый ему начальником. То была радиограмма Тиши: «Сбежал, захватив кассу, продавец Лобас».

— Это вранье! — закричал Костя.

— Знаю,— ответил начальник и засмеялся.— Проводник у вас хороший. Где вы такого взяли? Три дня он тут бушевал: «Куда вы нашего купса дели?» А ко мне сегодня прямо на квартиру ввалился...

— Правда, правда,— закивал головой ненец.— Наш купес... Костя... Все одно брат мне... Товарыс... это правильно. Ничего...

— Ну, пошли! — сказал начальник и повел Костю и ненца по коридору в окружком.

Здесь в кабинете собралось много начальников. Костя никого из них не знал, но догадывался, что тут все окружные власти.

— Ну, рассказывайте, товарищ Лобас,— обратился к нему председательствующий на собрании.

Но в Косте еще не улеглась обида за арест, и он сердито пробурчал:

— Какая же вы власть на местах, если сами не знаете, что в тундре делается.

Многие — это заметил Костя — нахмурились, а один проворчал даже:

— Тундра большая... Ваш район далекий. Не везде так.

Но председательствующий перебил его:

— Значит, плохая мы власть на местах. Однако рассказывай.

И Костя начал рассказывать. Его выслушали, расспросили и, пообещав принять меры, отпустили.

Ну вот, теперь он свободен. Он сделал свое дело. Что ж дальше? Он вышел из окружкома на улицу и тихо побрел по ней. Что делать с собой дальше? Он больше никому не нужен.

Дождаться весны, пароходов и уплыть на Большую землю, о которой так исступленно мечтал в тесной каморке фактории? Можно даже не дожидаться весны, а сесть на линейный самолет и улететь.

Но он откладывал и откладывал свой отъезд. Что держало его здесь? Он и сам не знал этого. Он подумал, что, вероятно, задерживают обещания, которые дал он ненцам. Да, да. Вероятно, это.

Он вытащил из-за голенища «скорбный лист», как называл список нужд ненцев, и перечел его. На него пахнуло дымом костров, он обрадовался этому запаху и, растроганный, улыбнулся. Со «скорбным листом» направился он в контору Интегралсоюза, нашел начальника, передал ему список, долго растолковывал, что нужно тундре, получил обещание, что все будет послано, и все же не уходил.

— Значит, сделаете? — спрашивал он начальника. Опять уходил и опять возвращался: — Но вы поняли, что нужно? Если чай, то кирпичный, если сукно, то яркое, если ружья, то обязательно с патронами к ним...

Наконец он ушел. Ну, вот и это сделано. Что же теперь еще? Уезжать?

Но мысли его неизменно обращались в сторону тундры: от них нельзя было отвязаться.

«У Федора с Крестов сейчас последнюю муку доедают,— думал он, обедая.— У одноглазого Яптуне уже

кончился чай, он тогда еще говорил, что осталось на двадцать заварок».

Он знал запасы и нужды тундры, все, что варится там в котлах. Тогда он поспешно одевался и шел в окружком.

— Что же вы медлите? — кричал он секретарю.

В окружкоме уже знали Костю. Секретарь устало глядел на него и отвечал:

— Скоро, Костя. Теперь скоро. Подожди.

Ждать? Зачем было ждать Косте? Разве это его дело? Он был свободная птица. Он мог сесть в самолет и улететь на магистраль, чтобы снова броситься искать удачи и славы. Зачем же он оставался?

Он сказал себе: «В тот день, как уйдет караван с продовольствием в тундру, я уеду».

Однажды его спешно вызвали в окружком. Он не пошел, а побежал. Секретарь встретил его, сияя, и закричал:

— Ну, все в порядке, Костя! Есть директива центра.

— Ну?

— Нам разрешено взять пять тракторов со стройки... Разрешено мобилизовать оленей. Даны три самолета.

— Ну вот,— облегченно вздохнул Костя.

Теперь он может и уехать. Отчего же ему стало вдруг грустно?

— Садись, Костя. Что ж ты стоишь? У нас с тобой разговор долгий. Мы решили назначить тебя начальником транспорта, с тем чтобы, доставив грузы, ты принял дела на фактории и стал ею заправлять.

— Я? — испугался Костя.

Что испугало его? Нет, нет, только не транспорт, не дорога!

— Значит,— сказал он дрожащим голосом,— вы меня окончательно и бесповоротно записали в торговцы?

— А разве ты не хочешь этого? — удивился секретарь.

Хочет ли он? Черт его знает, он сам не знает, чего хочет! Он знает только, что не хочет уезжать отсюда, из этой тундры, от этих людей. Значит, прощай слава, мечты, надежды?..

Но ему некогда было думать об этом. Секретарь торопил его. Они погрузились в сметы, карты и расчеты. Через час он вышел отсюда начальником транспорта и заведующим факторией.

6

Транспорт тронулся в путь.

Впереди полетели самолеты и на головном — уполномоченный НКВД, имевший кое-какие дела на фактории,— Костя знал, какие. Затем тронулась в путь легкая оленья упряжка начальника, а за ней — длинный и шумный олений аргиш. И, наконец, с грохотом и визгом пошла тяжелая артиллерия — тракторы.

Все это — летающее, ползающее и бегающее — подчинялось Косте. Перед ним лежала большая дорога тундры, та дорога, по которой три месяца назад брел он, умирающий, на обессиленных собаках. Теперь он шел по ней как победитель; его сани были тяжелы от грузов; скрипел снег под железными гусеницами машин; хрипло кричали механики, погонщики оленей, и, как ни трудна была дорога, Косте она казалась легкой.

То был переход, о котором и сейчас еще говорят у костров в тундре.

Олени падали на льду. Тракторы проваливались в наледь или увязали в торосах. Стояли такие жестокие морозы, что стальные тросы лопались, словно фарфоровые. Механики ворчали: «Дьявольский переход!» Но Костя не знал устали.

Он первым бросался выручать оленей, первым подставлял плечо под тракторные сани, он вел транспорт сквозь пургу по проклятой дороге и не замечал ни пурги, ни морозов.

По всей колонне звенел его веселый голос:

— Вперед! Вперед, товарищи, вперед!

Кто не испытал того, что чувствовал сейчас Костя Лобас, тот, значит, никогда не был на гребне.

О, он был теперь на гребне, на самой высокой волне своей жизни! По всей тундре летела весть о веселом «купсе Косте»; целые стойбища выходили на его дорогу.

Он узнавал старых приятелей.

— Эгей, Яптуне Василий! — кричал он с нарты.— Ты просил новое ружье. Вот я привез ружье. Счастливой охоты, Яптуне Василий! Я жду тебя с добычей на фактории.

— О? Кто это там? Федор Яр? Ты просил медный чайник, Федор. Вот чайник! Пей чай на здоровье, Федор Яр!

Он становился коробейником, первым коробейником тундры. Он уже мечтал, как будет носиться зимой по тундре со своим кочевым магазином — балком, и в каждом чуме его будут принимать как желанного гостя. Он будет таким торговцем, какого еще не видали здесь! А слава? Что слава? Слава — дым. И он отмахивался от этих мыслей как от дыма.

Он и не знал, что в эти дни имя Кости Лобаса не сходило со страниц газет. Вся страна следила за движением его продовольственного транспорта, и когда на Волчьем перевале транспорт замело снегом, это знали все в стране.

...Он узнает о своей славе только через год, когда придут в тундру старые газеты.

1938

МЫ И РАДИСТ ВОВНИЧ

1

Если вы попадете когда-нибудь на Тихий мыс, спросите у начальника тетрадку в черном коленкоровом переплете — «летопись» зимовки. На первой странице вы найдете наши имена. Мы основали станцию на Тихом мысе, мы были первой сменой, зимовавшей там.

Справьтесь по тетрадке, нас было шестеро: Федор Черных — геофизик, начальник и парторг станции; Валерий Петровский — метеоролог; Абрам Исаич Старк — врач; Яков Ставраки — радист; Алексей Богучаров — механик и Капитон Павлович Макаров — кок. Скажу не хвастаясь, что на всем Северном морском пути, от Уэллена до Югорского шара, не было зимовки дружнее нашей. Нас называли «мужским монастырем на Тихом мысе», но то был единственный в мире монастырь без свар, зависти и грязи.

Как родилась наша дружба? Во всяком случае, не из сходства характеров, потому что не было на свете более несхожих меж собой людей, чем мы шестеро. Мы были людьми разных профессий, разных возрастов, разных биографий, разных вкусов и привычек. Но все мы не были полярными новичками. Мы знали закон зимовки: «Не страшны полярные метели, страшны полярные склоки». И мы решили: пусть будут метели и пусть не будет склок.

У меня сохранилась фотография (она в дорожном мешке, и я потом покажу вам): на фоне черного осеннего моря, по берегу, обнявшись, идут шестеро. В центре, возвышаясь над остальными, белокурый длиннору-

кий и узкоплечий человек в мохнатом свитере, без шапки, с русой курчавой бородкой и застенчивыми голубыми глазами — Федор Черных, наш парторг и начальник. Он обнял маленького человека, прижавшегося к нему,— то наш милейший и ученейший доктор Старк. Он в пальто, обязательном воротничке и галстуке с булавкой, изображающей змею. Рядом с корректнейшей фигурой доктора — мохнатая экзотическая личность с рыжими пушистыми бакенбардами, вся в пегих мехах, в меховых штанах, в меховой рубахе, отороченной у воротника белым пушистым зайцем, что придает ему вид маскарадного Пьеро. Это Валерий Петровский, зверобой и медвежатник. Ему жарко в мехах, но он презирает европейские пальто и тужурки. На поясе у него болтается охотничий нож с черенком из моржовой кости и костяной рожок для табака в медных колечках. Рядом с Черных, слева, радист Яшка Ставраки, прозванный на зимовках Яшкой Неунывако, на кораблях — Яшкой Стовраки. Говорят, что он родом грек, достоверно — что одессит. Форменная куртка небрежно висит у него на плече, левый глаз кому-то подмигивает. Он обхватил за толстую талию кока Капитона Павловича Макарова, которого все зовут Капитаном Павловичем или адмиралом Макаровым. «Адмирал от кулинарии»,— ему нравится эта кличка. Ну, а шестой? Шестым был я, Алексей Богучаров, механик, вот такой, каким вы меня видите.

Так мы шагали, обнявшись, по морскому берегу, словно кричали: «Шире дорогу! Зимовка Тихого мыса идет!» Так мы и жили, крепко обняв друг друга за плечи, одно хитро слаженное тело, имя которому — зимовка. Нашим сердцем был Федор Черных — и это, друзья, было честное, мужественное сердце; нашим мозгом — доктор Старк; глазами, жадными, охотничьими,— Валерий Петровский; Яшка — беспокойные уши; я — просто руки, а кок Капитан Павлович — язык. И надо отдать ему справедливость, язык этот был ловко подвешен.

Чудесно мы жили, друзья, на Тихом мысе. Мы отзимовали уже год, не сговариваясь, как будто это само собой разумелось, остались на второй и уже подумывали о третьем, когда девятнадцатого ноября произошло

событие, резко изменившее нашу жизнь, а может быть, и судьбу каждого из нас.

В этот день, в полдень, я зашел в радиорубку к Яшке Неунывако покурить и поболтать или, если хотите, даже помолчать на людях,— это все равно. Когда долго живешь на маленьких полярных станциях, научаешься разговаривать молча.

Одинокий человек — либо великий болтун, либо великий молчальник. Болтуну вовсе не нужен живой собеседник: вещи умеют прекрасно слушать. Наш кок, например, целый день беседует с кастрюлями. И то правда: никто не станет выслушивать вашу житейскую повесть терпеливее медного кофейника, из которого вы три раза в день пьете свой обязательный кофе.

Что касается меня, я люблю помолчать и послушать. Я люблю слушать человеческую речь, гудение ветра в проводах, поскрипывание снега, шум ломающегося льда. Вещи умеют прекрасно рассказывать, если вы любите слушать. Но они бывают и несносными болтунами. Вот старый движок в моей силовой,— он тараторит без умолку весь день. В его размеренной болтовне вы можете услышать все, что пожелаете. Он, словно подслушав, отвечает мыслям, только что родившимся у вас в мозгу.

В конце концов это становится нестерпимо скучным. Я давно слушаю его воркотню и знаю наперед, что он может сказать мне. «Че-пу-ха! Че-пу-ха! Че-пу-ха!» — пыхтит он. Тогда я встаю, вытираю паклей руки и иду к людям. Чаще всего в радиорубку.

Здесь за столом одиноко сутулится Яшка. Он оборачивается на стук двери. Я молча киваю ему головой. Он продолжает работать, я хожу большими шагами по комнате. Тикают часы.

Изредка радист разражается гневным восклицанием: «Черт подери!» Карандаш с треском ломается. Я останавливаюсь и вопросительно подымаю глаза. Но Яшка уже по-прежнему стучит ключом, как дятел клювом. Тогда я произношу: «Д-да» — и снова начинаю ходить по комнате. Так мы беседуем. Потом я подхожу к столу и, заглядывая через плечо радиста, читаю радиограммы, которые он принимает. Это очень забавно.

Слова проступают на бумаге, как детали переводных картинок. Иные не окончены, другие пропущены, но уже угадывается общая связь слов, как угадывается в переводных картинках птица по клюву, китаец с ведрами — по коромыслу и косе.

Редко, совсем редко, но случается, что радиограмма, подсмотренная мною через Яшкино плечо, имеет непосредственное отношение ко мне. Проступают слова: «Тихий мыс. Алексею Богучарову». Яшка ухмыляется, а я, волнуясь, гляжу на чудодейственный бланк. На нем томительно медленно появляются слова. Кажется, что кто-то очень издалека (очевидно, мать — больше мне никто не пишет), заикаясь, говорит их мне. Хочется поторопить ее. Ну, скорее, мать, что там в конце — «целую» или «лежу при смерти»?

Так и в тот памятный день девятнадцатого ноября заглядывал я через плечо радиста и читал жизнь, скупо рассказанную телеграфными знаками. Вдруг я увидел на чистом еще листе бумаги слово, заставившее меня вздрогнуть. Сразу стало жарко и тревожно в радиорубке. Яшка взъерошил волосы и припал к бумаге.

2

Испытали ли вы это необъяснимо тягостное чувство — чувство неизвестной беды? Оно возникает у вас, едва вы прочли в заголовке радиограммы зловещее слово «аварийная». Вам хочется сорваться с места, бежать, кричать, звать на помощь, бить в рельс. Вы еще ничего не знаете, но уже чувствуете на своих щеках горячее дыхание беды. Вы не знаете и людей, которых постигло несчастье, но они стали уже вам близкими и родными.

Я впился глазами в бланк радиограммы. Что случилось? Где? На бланке появилось еще раз: «аварийная», потом: «всем, всем, всем», потом опять: «аварийная», словно неизвестный радист заклинал всех, кто его слышал, отнестись со вниманием к его сообщению.

— Это в бухте Колючей,— прошептал Яшка.— Что у них там стряслось?

Наконец, на бланке стал появляться текст радиограммы: «Всем, всем, всем. Передать Москву Главсевморпуть тчк Невыясненным причинам зимовке бухты Колючей вспыхнул пожар тчк Горит жилой дом и примыкающие к нему склады тчк Сильный ветер препятствует тушению тчк Принимаем меры тчк Сейчас пламя подступает дверям рации зпт радиорубка дыму. Слышите ли меня тчк Передайте Москву зпт ждем указаний тчк Продержимся если надо без жилья тчк Все здоровы тчк Сейчас...»

Карандаш с треском сломался, Яшка схватил другой. Сейчас... Что происходит там сейчас?

Но больше ни звука не донеслось до нас из бухты Колючей. Напрасно звал ее Яшка — бухта молчала. Задохнулся ли радист в дыму, или, оставив аппарат, ринулся на помощь товарищам, или обрушились на рацию стропила пылающего дома и заставили замолчать,— ничего не было известно. Яшка в отчаянии бросил наушники на стол.

Я приложил ухо к репродуктору. Зачем — сам не знаю. Было тихо в эфире, тихо, как в гробу. Вот это и значит «станция выбыла из строя». Мы слышали ее агонию, ее предсмертный хрип. Это почти так же страшно, как смерть человека.

— Войнич... Вогнич... Вовнич...— бормотал Яшка.

— Что ты? — испугался я.

— Я хочу вспомнить, как звали радиста Колючей.

— Ты знал его?

Мы говорили шепотом, словно у постели больного.

— Нет. Новенький.

— Жив ли?

...В эту ночь в кают-компании на Тихом мысе было тревожно. Молча шагали мы по комнате, думали о товарищах из бухты Колючей. Что они делают сейчас? Одинокие, вероятно, бродят по пепелищу, греются у догорающих костров, вокруг того, что было раньше домом, складом, рацией и что сейчас — только дымящиеся головешки, собирают жалкие остатки продовольствия, подсчитывают драгоценные банки консервов?

Спасли ли они хоть палатки, спальные мешки? Как будут жить?

Аварийная телеграмма медленно поползла по длинной цепочке полярных станций в Москву. Вместе с ней брела и наша радиограмма. Мы писали, что коллектив Тихого мыса горит желанием помочь потерпевшему соседу,— бухта Колючая была от нас всего в двухстах километрах по побережью. Мы ждали ответа и приказаний. Яшка не покидал радиорубки. Кок отбирал ящики с продовольствием. Я на всякий случай готовил к походу трактор. Валерий Петровский — «комендант мыса» и брандмейстер нашей пожарной дружины (потому что каждый из нас был не только геофизик, механик, радист, а и топор, насос, багор, ведра) хмуро осматривал пожарный инвентарь и ворчал под нос что-то о нашей беспечности. Все нетерпеливо ждали сигнала Москвы. В такие минуты чувствуешь, что живешь в Арктике, на краю света.

Наконец, пришел приказ Москвы. Он несколько озадачил нас. Нам предлагалось помочь бухте Колючей продовольствием и вывезти радиста Вовнича к себе. Остальным погорельцам — перебраться на соседнюю факторию и там готовиться к весенним геологическим работам.

Телеграмма эта озадачила нас. Почему Вовнича? Почему именно Вовнича? Яшка Неунывако даже обиделся.

— Кажется, я и один неплохо работал,— сказал он, надувая губы.— Почему же именно радиста?

Но некогда было ни обижаться, ни гадать. Надо было немедленно собираться в дорогу.

Через три часа я уже был в пути.

3

Я не стану описывать вам путешествие до Колючей. К рассказу это отношения не имеет, а вам неинтересно. Скажу только как механик, что нет на земле машины честнее трактора «Сталинец». Что касается меня, то, когда я добрался до Колючей, у меня, как и у Пири,

когда он достиг полюса, было только одно желание — выспаться.

Но меня так горячо встретили погорельцы, что об усталости я и забыл.

Они устроились на пепелище всерьез и надолго. Из снежных кирпичей сложили себе «Тинь-тинь-ярангу» — ледяной дом, кухню и продсклад — целый снежный город. Выглядели они бодро. Всего их было семь человек, среди них я заметил одну женщину. В кухлянке[1] она казалась очень толстой и старой, но лицо было молодое и нос синий-синий от мороза. Помню, тогда же я невольно подумал, что, вероятно, из-за этой востроглазой девицы немало было хлопот на зимовке. Нет, нет, не поймите дурно, я вовсе не враг женщин. Знаю, что бывают женщины куда дельней и талантливей мужчин. Но, знаете, честное слово, на зимовке, особенно на маленькой, женщине, право, нечего делать. Не нужно их там. Сколько я этих историй слышал, пережил, знаю!

Когда первые восторги встречи прошли, начальник спросил, грустно заглядывая мне в глаза:

— Вывозить нас будешь, механик?

Я молча протянул ему радиограмму Москвы. Он окинул ее беглым взглядом и закричал:

— Ура! Товарищи! Нам разрешено продолжать работу.

Черти, они радовались тому, что их не вывозят.

Начальник стал читать радиограмму вслух в напряженной тишине, прерываемой лишь свистящими порывами ветра, а я окидывал взглядом столпившихся вокруг людей, пытаясь угадать: кто Вовнич? Мне понравилось смелое, открытое лицо одного молодого парня; несмотря на мороз, он был без кухлянки, в меховой рубахе и в очень кокетливой вязаной шапочке, какие носят лыжники в столице. Я решил, что это и есть Вовнич, и обрадовался. Славный будет у нас товарищ! Я весело подмигнул ему, он улыбнулся.

— Все,— сказал начальник, окончив чтение.— Ну, в дорогу, на новые фатеры!

---

[1] Кухлянка — верхняя меховая одежда.

— Я не поеду на Тихий мыс,— сказала толстая женщина в кухлянке.

Что? Я даже не понял сначала. Это Вовнич? Значит, в нашем мужском монастыре появится...

Ну что ж, я ничего не сказал вслух, друзья; я даже виду не подал. Но сердце мое тревожно сжалось. И до чего уютными и неповторимыми вдруг вспомнились мне тихие вечера у нас на зимовке, когда мы, бывало, шестеро мужиков, дымя трубками, сидим в теплой кают-компании у печки (а на дворе мороз, пурга, брр!) и чешем языки и хохочем. Или поем. Уральские песни, которым научил нас Черных, волжские — Валерия, блатные — Яшкины или старинные матросские,— их заводил жалобным, надтреснутым голосом наш старый капитан камбуза. Будем ли мы теперь петь, ребята? Будут ли они теперь, эти согласные, дружные вечера, после которых и зимовать легко и погибать не страшно? И недоброе предчувствие защемило душу. Но виду я не подал.

— Я не поеду на Тихий мыс,— повторила Вовнич.— Вместе работали, вместе горели, вместе и дальше жить будем.

Начальник грустно взглянул на нее.

— Ничего не поделаешь, Оксана,— сказал он и даже, как мне показалось, вздохнул.— Придется тебе ехать. У нас больше нет рации. Тебе нечего делать с нами... погорельцами.

Они долго еще спорили, да я уж не слушал. Во всяком случае, через неделю, когда я, закончив переброску погорельцев, стал собираться домой, Вовнич уже была готова к дороге.

— Садитесь,— пробурчал я, по совести сказать, не очень вежливо, и махнул рукой.

Подошел старик повар, поглядел на девушку, покачал головой и сказал мне:

— Эх, механик, увозишь ты от нас наше солнышко!

А я только покосился на это посиневшее от мороза «солнышко» и ничего не ответил.

4

Вот едет охотник тундрой,
Славный, сильный охотник.
Его олени быстры...

Не помню теперь, ненцы ли научили меня этой дорожной песне, или сам я ее придумал, но только всегда в пути я ее пою. Едешь тундрой, поешь бесконечную, как дорога, песню, дышишь ядреным морозным воздухом и чувствуешь себя молодым и сильным, хозяином всех дорог и путей, веришь, что все в твоей жизни сбудется. Мечтаешь.

Говорят, что перед величием природы человек чувствует себя маленьким и жалким, песчинкой в океане. Не знаю. Не испытывал. Когда скрипят на снегу мои сани, когда покорное эхо в горах повторяет песню моего мотора, когда за моей спиной остается длинный волнистый след моих шагов, я, Алексей Богучаров, вот такой, каким вы меня видите, понимаю себя хозяином мира и земли, и неба, и чувство гордости за то, что я человек и механик, наполняет мою душу до края... Хочется петь.

Надо, чтобы при этом была тишина, та торжественная и величавая тишина тундры, в которой столько затаенных шорохов. Все живущее спряталось и оцепенело — медведь в берлоге, мышь в норе, тюлень подо льдом, и только ты один, человек на своей машине, властно идешь по тундре, ломаешь снег и поешь:

Сильный, смелый охотник.
Его олени быстры...

По привычке я и тут запел свою песню. Да не пелось.

Рядом сидела девушка Вовнич, радист. Сокровище, которое я везу в наш монастырь на Тихом мысе.

Но не о ней я думал. О другой девушке думал я, о девушке, которую так никогда и не встретил на своем пути.

Знаете, в душе каждого мужчины, даже самого завзятого холостяка, живет своя девушка. Моя была очень простая, каких, вероятно, тысячи; странно, я так ее никогда и не встретил на своем пути. Я знал, ка-

кие у нее глаза — серые, которые для меня умеют быть синими; и какие у нее руки — сильные, загорелые, умеющие работать; и какой нос — курносый, смешной, ребячий; и румянец во всю щеку; и волосы светло-каштановые, остриженные по-мальчишески, и лоб крутой, высокий, и улыбка ясная, тихая... Я знал ее повадки, манеры, знал что она любит (вероятно, то же, что и я) и чего не любит. Я слышал даже запах ее кожи. Почему-то этот запах вызывал в моей памяти аромат украинской черешни в цвету. Ее наряд? Мне почему-то мерещились кожаные рукавицы, спецовка, китель с якорями, иногда короткая юбка и легкая шелковая кофточка или вышитая сорочка... Простите, я давно не был на Большой земле, не знаю, что нынче носят... Короче, я видел ее, мою девушку, по частям, но никогда ни разу из этих частей не складывался живой образ, потому что не было такой девушки на моем пути. И будет ли?

Вот о ней я и думал.

«Как славно,— думал я,— было бы вместе с ней брести вот так большой дорогой, тундрой, и не знать, придешь ли, нет ли, и верить, что придешь, и делить последний, покрытый изморозью мерзлый сухарь...»

Вдруг моего плеча коснулась рука Вовнич. Я очнулся.

— В чем дело?

Она молча протянула мне кусок хлеба с мясом. Я с удивлением взглянул на нее и машинально взял хлеб. Помню, мясо было мерзлое, снег скрипел на зубах, когда я ел.

Я проворчал:

— Спасибо,— и тотчас же догадался, что так не благодарят.— Большое спасибо! — прибавил я, стараясь придать мягкость своему простуженному голосу.

Но она равнодушно отвернулась от меня и закуталась в кухлянку.

«Однако,— подумал я,— надо что-то сказать ей, завязать разговор. Нельзя же, в самом деле, ехать молча. Еще обидится. Сказать ей о тундре... Вот небо...» — Но у меня вдруг не оказалось слов для этого. Черт подери, ни единого слова!

«Ну,— успокаивал я себя,— она сама начнет разговор. Они поболтать любят». Но девушка молчала попрежнему. Она молчала, даже когда моя машина («...Его олени быстры...») с разбегу влетала в торос или завязала в снегу. Вместе со мной, без слов, девчонка вылезала из машины и бралась за дело. И вот что я вам скажу: эта девочка умела держать лопату!

Отчего же меня это злило? Не знаю, смогу ли объяснить. Видите ли, когда я увидел ее без кухлянки и шапки, стройную, тонконогую, быструю... я не мог не заметить, что она очень похожа на мою девушку.

Но я вгляделся в нее и увидел, что это не та. Не та! Все врозь — мое, все вместе — чужое. Непохожее. Теперь понимаете? Чем больше «моих» черточек угадывал я в ней, тем больше злился. Потому что ведь это не она, ведь это обман, товарищи... Похожая конструкция, не больше... но без души, без души моей девушки.

Я знаю, что все это рассказал вам бестолково. Но, если вы когда-нибудь любили и мечтали, и сделали эту мечту самой дорогой для себя, и пронесли ее через всю жизнь, по всем вашим путям и тропам, и вдруг однажды встретили ее наяву и увидели с горечью, что это не та, что это чужая, что ни вам до нее, ни ей до вас дела нет...— словом, если вы любили и мечтали, вы поймете меня.

Я не заметил, как началась пурга. Задуло с запада, с гнилого угла. Мокрый снег повалил хлопьями, дорога заплясала передо мной. Я прибавил скорость, но все, что я мог выжать из «машинки» по этой дороге,— семь километров в час. А до избушки Павлова было добрых тридцать.

«Черт! — выругался я про себя.— Что я буду делать с девчонкой?»

— Когда в тундре пурга,— вдруг сказала Вовнич,— люди не ездят, а ждут...

Я сердито обернулся к ней:

— Вы всегда такая умная?

— Всегда,— ответила она, улыбаясь.— А вы?

Ее лицо чуть выглядывало из обледеневшего, по-



«ДАША»



«ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ ГОРОДА...»

крытого снегом капюшона кухлянки. Разрумянившееся, оно казалось окруженным ледяным сиянием. Но это еще больше разозлило меня. Я рванул вперед, раздался треск, машина вздрогнула и стала — мы врезались в торос.

— Нервы, механик? — немедленно раздался насмешливый голос Вовнич.

— Какого черта! — заорал я, но остановился. В конце концов я сам виноват, что как дурак беспокоюсь о ней больше, чем она сама о себе.— Извольте,— сказал я, стараясь быть спокойным,— в пургу люди не ездят, а ждут.

Она блеснула глазами и соскочила в снег. Я подошел к мотору. Минут через пять я обернулся, потому что услышал звон лопаты. Оксана Вовнич, сбросив кухлянку, рыла яму для ночлега. Она правильно выбрала место — за подветренным скатом. Она работала споро и умело, ни суеты, ни истерики не было в ее движениях. Пурга нещадно хлестала ее лицо, но она только снег с ресниц стряхивала. Знаете, это некрасиво, когда человек моргает, а у нее получалось мило. А я? Нет, ничего, товарищи, ничего,— молча взял лопату и стал с ней рядом.

Когда яма была готова и оборудована для ночлега, я пробурчал ей:

— Спокойной ночи. Я накрою вас кошмой.

— А вы?

— Я? Я буду спать в машине...

— Бросьте дурака валять, механик,— рассердилась она,— машина не защитит вас от снега Лезьте сюда. Яма просторная, поместимся.

...И вот мы лежим рядом в снежной яме, а над нами беснуется пурга. Девушка возится. Я лежу пластом, словно оледенелый. Ей неудобно, но я боюсь ей помочь. Глупеешь, знаете... Наконец она сама потянулась ко мне, положила голову на мое плечо, что-то проворчала и уснула.

И тогда в вое пурги я услышал ее тихое сонное дыхание. Она по-детски, совсем по-детски посапывала во сне, причмокивала губами и вздыхала. Что снилось ей? Далекая мама, и хутор с вишнями, и тихий вечер над рекой? Какая-то небывалая, отцовская, что ли, неж-

ность вспыхнула тогда во мне. Спи, девочка, спи! Пусть приснится тебе наша черешня в цвету, белая-белая, как снег... Спи...

Только я не могу уснуть. Мысли мои были путаные, горячие. Вспомнилась мне молодость, и дорога, и девушки, мимо которых я прошел, и девушки, которые прошли мимо меня, и снежный путь, и скрип полозьев, и дым костров... Все было в моей жизни, все. Только этого не было — девочки, доверчиво прикорнувшей на моем плече.

На мое лицо сыпался мокрый снег и полз по щекам, а я не вытирал его, чтоб не шевельнуться. Смятенный, сбитый с толку, растерявшийся, лежал я, боясь шелохнуться, и прислушивался к сладкому сонному дыханию девочки, шептал ей: «Спи, спи!..» — и боялся, чтоб она не проснулась. И сам себя не понимал я в эти минуты. То хотелось мне, чтоб поскорее кончилась пурга, а с нею и дорога, то чтобы не кончилась никогда, была бы вечно...

И только одно я знал твердо: никогда никому я не дам в обиду эту смешную девочку, сладко посапывающую на моем плече. А там — похожа она или не похожа, все равно!

5

Встречать нас высыпало все население Тихого мыса. Валерий пришел даже с флагом. Торжественно ввел я нового зимовщика в избу, она скинула кухлянку, ребята глянули на нее и вдруг... Вдруг все исчезли из кают-компании. Все до одного! Словно я привез не девушку, а чуму.

Мне стало неловко перед Вовнич за наших дикарей. Я прохрипел что-то вроде:

— Два года женщины не видели. Одичали...— и окончательно смутился.

А она? Она даже бровью не повела. Подошла к печке и стала сушить сапоги.

Наконец, дикари начали вылезать из своих берлог. Они не потеряли времени даром. Все успели поцарапать тупыми бритвами свои щеки, пришить чистые воротнички к кителям, доктор переменил галстук. Вале-

рий расчесал бакенбарды цвета древнего кофейника. Явился и повар. Он нес перед собой на вытянутых руках сияющий поднос, и я не знаю, что сияло ослепительней: поднос ли, колпак, или жирное выбритое лицо капитана кухни.

Один я стоял, как был — бородатый, грязный; на моей фуфайке чернели жирные пятна нефти, пахло от меня ворванью и мазутом и еще черт его знает чем... И в первый раз за полтора года ощутил я в сердце крепкую досаду на ребят.

Поздно вечером, когда наша гостья уже спала, мы собрались на кухне и закурили трубки.

— Д-да...— произнес доктор,— вот тебе и Вовнич! Что же нам теперь делать, друзья?

Черных пожал плечами, а кок сказал:

— Ну, братцы краснофлотцы, чуете, как под нами палуба заходила? Верьте мне, старому моряку: эта девушка — сигнал бедствия. SOS! Женщина на зимовке, что баба на корабле.

— Угу,— крякнул Яшка.— Пойдет теперь кавалерство, ухаживания, всякая галантерея... «Ах, нельзя! Ах, я не одета! Ах, подайте мне это... Ах, принесите мне то!»

Я вспомнил девушку с лопатой и засмеялся.

— Нет, этого не будет. Уверяю вас! — и рассказал им о дороге.

Меня выслушали внимательно, и я увидел, что у всех потеплели лица.

— Да,— сказал, вздохнув, Черных.— Славные бывают девушки на земле...

И тогда начался опаснейший разговор — самый опасный на зимовке: разговор о наших девушках. О девушках, которых мы любили, о девушках, которые любили нас.

В жизни каждого была такая девушка. Один встретил свою в лаборатории, другой — в радиорубке, третий — в геологической партии, четвертый — в море, пятый — в небе, на перекрестке воздушных дорог.

Мы говорили о них тепло и сдержанно, как и пристало мужчинам. Мы говорили о них с затаенной тоской и неизрасходованной нежностью, как могут говорить только зимовщики. И в синем дыме наших трубок

мерещилась каждому эта девушка, прекрасная и неповторимая, смелая и простая, с ясным, открытым лицом и теплыми, нежными губами... О Вовнич мы совсем забыли. Ни слова больше не было сказано о ней. Но отчего в рассказе каждого чудилась мне Оксана Вовнич? Не знаю...

И когда в разнеженном нашем разговоре наступала вдруг пауза, тихая, ломкая, как ледок весной, я все прислушивался: не донесется ли сюда детское сонное дыхание девушки? Не слышно было... Только ветер за окном да скрип флюгера...

6

Давайте закурим, ребята. Попробуйте-ка моего табаку, довольно уже я искурил вашего. Что, хорош табачок? О нем еще будет особая история. Вам слушать-то не надоело? Так вы скажите... Не часто разговариваю я. Вот молчу, молчу, хожу, прислушиваюсь, а как начну рассказывать, не могу остановиться.

Да... Вот ведь как...

Что было дальше? Вы, небось, уже сами придумали конец: все мы в девчонку влюбились, передрались, потом помирились и так далее!..

Так, да не так.

Нет, мы не влюбились в Оксану Вовнич. Мы сделали хуже. Мы сделали самое глупое из того, что могли сделать. Мы... окружили ее мягким, почтительным обожанием. Простую, хорошую советскую девушку мы вообразили королевой нашей зимовки, а себя — ее слугами и рыцарями.

Во всем виноват мой рассказ о дороге и тот памятный ночной разговор на камбузе у потухшей плиты. Именно тогда родился этот насквозь фальшивый, романтический образ неземной девушки.

Но лучше уж я все расскажу по порядку.

Мы отвели Оксане Вовнич лучшую комнату зимовки. Свободные от вахты люди вычистили, вымыли, выскребли комнату и торжественно ввели в нее гостью. Затем, поздравляя с новосельем, стали являться «визитеры». Кок принес ей торт, Черных — библиотечку, Валерий приволок оленью шкуру, мрачно швырнул на пол, пробурчал:

— Осенью убил. Одной пулей, в глаз,— и вышел, зацепившись о дверь своими костяными игрушками на поясе.

Доктор явился с чем-то завернутым в газету.

— Я хотел было, милая Оксана Нестеровна,— начал он, прижимая сверток к сердцу,— я хотел было преподнести вам цветы. Но такая досада: все цветочные магазины закрыты на переучет товаров. И поэтому вот...— и он развернул свой пакет.

Там был мох. Аккуратно срезанный квадратик с черными комочками земли на нем. В комнате сразу запахло весенней тундрой. Где он добыл мох? Какие же горы снега пришлось ему перевернуть, чтоб добраться до земли? Ну что ж, он вполне был награжден благодарной улыбкой нашей «королевы».

А я? Что мог подарить я? Я ведь был парень простой. И пока приходили гости с подарками, я учинил ремонт всей утвари, смастерил качалку, туалетный столик, полочку для книг, подаренных Федором, и ящичек для мха, подаренного доктором.

Один только Яшка Неунывако не принес никакого подарка. Он вошел, заложил руки в карманы, широко расставил ноги и небрежно спросил:

— Ну как, Оксанка, устроилась?

Он с первого же дня стал говорить ей «ты». Еще бы,— они ведь оба были радисты.

А мы ей всегда говорили «вы». Вот в чем дело.

Да, эта девушка перевернула нашу зимовку. Мы увидели вдруг, что в наших комнатах грязно и неуютно. Что мы несносно много курим. Редко бреемся. А лексикон, который у нас в ходу... Но не будем касаться нашего лексикона...

Странное дело: мы заметили все это сами. Оксана Вовнич ни разу ни поморщилась, не повела брезгливо носиком. Ей было абсолютно все равно, в какой избе и с какими соседями жить. Она скользила безучастным взглядом по нашим вытянутым лицам и только на одном лице останавливалась с почтением... и страхом. Этим лицом был Яшка Неунывако, ее начальник. Бедняжка, она боялась, что окажется плохим радистом. Это она-то, работавшая в объятой пламенем рубке.

Озабоченная предстоящим ей экзаменом у Яшки,

она, вероятно, и не замечала того, что творилось с нами. Не заметила ни выбритых щек доктора, ни сияющих кофейников повара, не догадалась о причинах приподнятого, праздничного настроения зимовки. А как было не заметить! Мы ходили именинниками.

Почтительное обожание «солнышка нашей зимовки» проявлялось у каждого из нас по-своему, а так как все мы были люди разные, то и по-разному.

Федор Черных проявлял свое чувство тем, что... никак не проявлял. Да, да... будь эта девушка для него безразлична, он и держался бы иначе, проще. А тут он весь был собран — «на взводе». Он боялся! Боялся выдать себя, боялся оскорбить ее взглядом, движением, словом — и оскорблял сухой официальностью, пугал напускной строгостью. А может быть, он сам себя боялся?

Зато Валерий Петровский проявлял свое обожание шумно и аффектированно. Он блистал перед Оксаной удалью и молодечеством. Он загонял собак, если рядом с ним на нартах сидела Оксана. На ее глазах он делал безумные прыжки с гор и ломал лыжи. Каждого убитого им зверя он непременно волочил в комнату к Оксане, к ее ногам (оставляя на полу кровавые следы, которые ей потом приходилось замывать). Он глядел на нее странными глазами и то и дело хватался за нож.

А доктор? Он «ухаживал» за Оксаной Нестеровной так и в такой манере, как ухаживал бы дома, на Большой земле. Вечерком он подсаживался к ней и, поминутно поправляя то пенсне, то галстук, начинал разговор о Москве, о театрах, о книгах, о медицине. Он был неизменно ровен с девушкой, вежлив, корректен; без запинки называл ее по имени-отчеству, а когда беседа кончалась, говорил, прощаясь: «Мы провели чудесный вечерок, не правда ли?» — после чего ему следовало бы раскланяться, прижав шляпу к груди, пообещать «названивать по телефону» и идти в ночь искать заблудившийся трамвай или такси. Но в наших условиях этот стиль, увы, жестоко нарушался, и доктор просто отправлялся спать в соседнюю комнату.

А кок? Бедный «адмирал»! Его времена прошли. Он говаривал мне как-то с грустью: «Печальная

мысль, браток, мучит мою старость. За всю мою долгую собачью жизнь ни разу ни одна женщина не поцеловала меня даром, бесплатно». Он привык покупать любовь за чулки и за шали. Теперь уж ему было не до любви. Он служил нашей королеве бескорыстно и преданно,— пожалуй, самый бескорыстный из всех нас. Улыбка «солнышка» была ему наградой.

Только Яшка выпадал из атмосферы всеобщего обожания, созданного нами вокруг гостьи: он говорил Оксане нарочитые грубости, подчеркивал свое абсолютное презрение к «бабам» вообще и к ней в частности, дразнил ее. Отчего же тогда любил он околачиваться подле нее в кают-компании?

Вот так-то все... Что? Вы хотите спросить: а шестой? Не забыл ли я шестого? Ну что ж, скажу и о шестом.

Я любил, когда она приходила в мою мастерскую, трогала инструмент, возилась подле двигателя: ей все нужно было знать. «Что это?» — спрашивала она, тыкая пальцем. Я отвечал. Если не спрашивала, молчал и молча любовался ею. Теперь я не находил, что она не похожа на ту девушку.

Зато мой старый болтун движок тараторил без умолку. Он трещал ей, что она чудесная, мужественная девушка, что у нее ясные, хорошие глаза, что ее нельзя не любить,— и не смел сказать ей. А когда она уходила, он набрасывался на меня.

«Тю-фяк! Пен-тюх! — сердито пыхтел он.— Ну что ж ты сидел, как бревно? Что ж ты ей не сказал?»

Он ругал меня долго, моими же словами. Потом ему становилось жаль меня, и он полупрезрительно, полусочувственно бурчал, утешая: «Ах, и одинокий же ты человек на земле, Алексей Богучаров. Ох, и одинокий...»

Он и сейчас — много с тех пор времени прошло — все меня и ругает... и утешает...

7

И вдруг мы обидели нашу девушку.

Статочное ли дело? И в мыслях не было... И все-таки мы ее обидели. Кровно. В самое сердце. И вот каким неожиданным образом.

С давних пор на Тихом мысе был установлен обычай: меню обеда заказывает каждый по очереди. Нас было шестеро, следовательно, каждый имел один день в шестидневку. В этот день он мог заказать свои любимые блюда. Он был хозяином пира, мы — его гостями. Он угощал нас, мы вежливо хвалили и благодарили. Шестой день — выходной — принадлежал повару. Уж тут он удивлял нас! Впрочем, мы давно разгадали секрет его изысканнейшей кухни: она отличалась от будничной лишь пышной вывеской. В конце концов все эти ризотто, марешали и соусы-пуле означали все те же консервы. Но мы делали вид, что не замечаем этого, ели и восторгались.

— Совсем как в «Метрополе»,— льстили мы коку, и он бывал растроган.

Когда на зимовке появилась Оксана Вовнич, все дни сбились в кучу, повар только и думал о ней. Потом мы обжились, разобрались в днях, и один день Лукулла предоставили ей по праву.

— Что же закажу я? — растерялась она, когда к ней за заказом торжественно явился кок.

— То, что вы любите.

— Ну хорошо. Тогда рассольник... Можно?

— Все можно! — гордо ответил кок.

— Потом язык.

— С зеленым горошком?

— Да... И... и мороженое. Можно?

Да, то был пир на весь мир! Мы восхищались выбором Оксаны. Мы до дна съели рассольник (из консервов), и язык (консервы), и зеленый горошек (консервы), а арктического мороженого (сгущенное молоко и снег) потребовали еще.

Следующий день был днем доктора. Все утро Старк шептался с коком на кухне. И мы получили на обед: рассольник, язык с зеленым горошком и мороженое.

— То, что вы любите,— приговаривал доктор, пододвигая блюда Оксане.

Валерий толкнул меня локтем в бок и завистливо прошептал:

— Доктор-то... ловок! Ну, ладно! Завтра мой день.

Надо ли вам говорить, что и назавтра мы ели рассольник, язык с зеленым горошком и мороженое.

И когда мне пришлось составлять меню, я долго думал, даже ночью... но, каюсь, придя утром на кухню, дал коку все тот же проклятый список: рассольник, язык, мороженое.

На наше счастье, подоспел выходной день — день повара, иначе не знаю, как долго мы состязались бы в изобретательности.

Повар вошел в кают-компанию с дымящейся кастрюлей в руках, и мы, как то было принято, встретили его аплодисментами. Он важно раскланялся.

— Ну-с! — закричал ему доктор.— Чем-то угостишь нас, адмирал Макаров?

Кок поставил кастрюлю на стол, налил в тарелку супу и торжественно-церемонно подал Оксане.

— Кушайте, барышня. Ваше любимое,— прошептал он, умиленно глядя на нее.

— Рассольник? — растерянно пробормотала она.

И мы, не выдержав, расхохотались.

Да, то был хохот — стекла зазвенели у нас в кают-компании.

— Рассольник! — орали мы.

— Язык!

— Зеленый горошек!

А она?

Ее лицо стало медленно покрываться красными пятнами. Глаза потемнели. Резким движением она отодвинула от себя тарелку и встала.

Мы притихли.

Она обвела нас пылающим взглядом, что-то хотела сказать, очевидно злое, оскорбительное, да не сказала. Гордо вскинула голову и ушла к себе.

А мы остались за столом, пристыженные и сконфуженные.

Ее не было в кают-компании весь день, и никто из нас не рискнул постучаться к ней.

Она вышла к вечернему чаю. Но за стол не села. Стояла у окна, бледная, взвинченная; ее переменчивые глаза на этот раз были цвета холодной стали — ни искр, ни молний.

— Начальник! — произнесла она напряженно звонким голосом.— Отчего меня до сих пор не поставили на хозяйственную вахту?

Этот неожиданный вопрос застал Федора врасплох. Он пробормотал что-то, да она его и не выслушала. Она все знала, все поняла.

— Врете! — крикнула она, и слезы зазвенели в ее голосе, то были слезы обиды.— Какое право вы имеете считать меня барышней, белоручкой? Я не первый день зимую. Я не барышня. Слышите вы? Я полы на зимовке мыла... я рубахи ребятам стирала... я на аврале не хуже других...

Она была великолепна в своем гневе, мы — жалки в своем «рыцарстве».

А тут еще вошел кок с кофейником. Не разобрав, в чем дело, опечаленный историей с обедом, он заискивающе обратился к ней:

— А вот кофеек приспел, барышня: кофейку что же?

— Не буду я пить ваш кофе! — крикнула она.— Я не привыкла жить чужим трудом. Вот завтра напилю снегу, привезу на кухню дров и тогда, пожалуйста, буду пить ваш кофе.

И, круто повернувшись, ушла к себе да еще дверью хлопнула.

Она не вышла к ужину.

Наутро, выполняя свою угрозу, она явилась к завтраку в брезентовой робе поверх шинели. Ни с кем не поздоровалась. Подошла ко мне.

— Ты свободен сейчас, Человек Плечо? (Она звала меня Человеком Плечо в память дороги.)

— Да,— торопливо ответил я.

— Тогда пойдем!

И мы пошли работать. Кололи дрова для кухни, таскали уголь, пилили снег.

— Пара гнедых! — смеялась Оксана, когда мы с нею, впрягшись в лямку, тащили из оврага тяжелую нарту со снегом.

А я глядел на ее пылающее от мороза лицо, на опушенный снегом завиток волос, выбившийся из-под шапки, и думал:

«Эх, вот так бы через всю жизнь, вместе, в одной лямке...»

Словно угадав мои мысли, Оксана вдруг остановилась и внимательно посмотрела на меня. Ее лицо нахмурилось и опечалилось, мое — поникло.

Так мы стояли у нарты и молчали, думая об одном, но по-разному.

Потом она тронула рукой мое плечо.

— Не надо. Милый, хороший,— прошептала она, готовая заплакать от отчаяния или из сочувствия к ненужной ей чужой любви,— не надо. Пожалуйста... не надо... Зачем? Ну зачем вы все... И вы?

И я пробормотал:

— Извините... Извините, пожалуйста...

Она быстро взглянула на меня и расхохоталась,— в самом деле, смешным было мое извинение. В чем извинялся? В том, что люблю ее?

Я даже не обиделся за то, что она засмеялась. Ведь я сам теперь знал: «Не надо!..» Да мало знать. Сердцу не прикажешь.

И вот мы снова потянули нарту на гору, и озверевший ветер бил нам в лицо колючим снегом, и ноги оступались и скользили по обледенелому скату, и нарта была тяжела, и лямка резала плечо; и знал я теперь, твердо знал, что мою нарту я буду тащить всегда один.

Перед обедом Оксана еще успела вымыть полы в кают-компании (я таскал воду) и затопить печи.

— А в следующий раз,— объявила она мне,— мы возьмемся и за комнаты. Грязно, грязно у вас. Ну, ничего. Я за вас возьмусь!

Теперь она гордо восседала за большим столом. Подле нее стояла кастрюля с супом. Она размахивала разливательной ложкой, как атаманскою булавой. Она перестала быть королевой, стала деятельной и приветливой хозяйкой. Ей это больше шло.

А мы сидели вокруг нее, как большая дружная и прожорливая семья, и протягивали пустые чашки.

Да, что там ни говорите, а такая девушка может стать «солнышком» зимовки. Как сейчас вижу: за окном течет долгая густая ночь, наш домик занесло снегом, в сенях повизгивают собаки, а в комнате, у печки, тепло и дремотно. Потрескивают дрова, от них струится сладкий запах и жар, похожий на колеблющееся стекло. Мы сидим у печки, курим, болтаем. Оксана шьет. Яшка возится у репродуктора, ловит Филиппинские острова — не ближе. Наконец кто-нибудь оттащит

его от репродуктора и включит Москву. Доктор вздохнет и скажет: «Москва... Да, Москва...» И начнет очередной рассказ. А мы будем курить и слушать. Или петь. И теперь есть в нашем мужском хоре голос, которого все время недоставало,— нежное женское сопрано.

Потом Оксана вскочит, отшвырнет шитье в сторону и закричит:

— Хватит! Кавалеры, приглашайте дам!

В таком случае место мое у патефона. И вот единственная наша дама по очереди пляшет со всеми.

С нею танцует доктор. На его лице застыла улыбка. Шаги неслышны, движения плавны и вкрадчивы. Окончив танец, он целует даме руку и ведет ее на место.

Федор танцует иначе. Он застенчиво приглашает Оксану, словно боится, что та ему вдруг откажет. Потом берет ее двумя пальцами за талию и ведет, боясь прикоснуться к ней.

Но лучше всех пляшет кок. Он пляшет с увлечением старика и мастерством матроса. Его глаза становятся блестящими и влажными; я помню, как однажды после танца он торопливо ушел на кухню и долго не показывался. Отшумела его молодость...

А Яшкина манера плясать мне не нравилась. Впрочем, это была даже не пляска, а маскарад. Яшка окутывал шею клетчатым шарфом, подымал воротник пиджачка, надевал кепку козырьком назад и изображал апаша. Чечеточка у него выходила неплохо.

А потом Оксана, вдруг поймав мой грустный взгляд из угла, где я вертел ручку шарманки, крикнет:

— К черту фокс! — и станет в позу, помахивая платочком: она знала, я фокс не танцую.

Тогда к разбитому пианино садится доктор, а я, смущаясь и отнекиваясь, выхожу на середину. И вот уж гремит наш гопак... И полярной ночи нет... и пурги нет... Шумит родной ветер в серебряных тополях... И дивчина... Дивчина в лентах и монистах плывет предо мною, и дразнит платочком, и манит, и зовет... Оксана!

Оксана — хорошее имя, не правда ли?

Иногда на лыжной вылазке или на охоте, потеряв ее в тумане, встану я, бывало, на скалу и кричу:

— Оксана-а-а!

И кажется тогда, что это не туман на мертвой бухте клубится, а колышется степь. Седой ковыль стелется. Мохнатый подорожник кивает белой казацкой шапкой. А по узенькой тропинке промеж золотого жита идет ко мне далекая и недоступная девушка в вышитой сорочке, и губы у нее как черешни, а косы золотые, перепутанные спелыми колосьями, и имя нежное — Оксана...

Честное слово, мы чудесно бы закончили нашу зимовку с радистом Вовнич, если бы не Яшка...

8

Да, Яшка Неунывако.

Что за человек был, этот Яшка? Пожалуй, теперь время сказать о нем.

Его любимой поговоркой было: «Э, плевать!»

Он проходил через жизнь, поплевывая да посвистывая, этот беспечный, беззаботный человек, равно способный и на подвиг и на подлость. Ко всему в жизни он относился насмешливо: к любви, к дружбе, к чести, к слову. Он знал, что его рассказам не верят, его обещаниям не дают цены и все-таки его любят, с ним охотно дружат, потому что и в дружбе, и в бражничанье, и в работе был он бескорыстен и по-детски беззаботен. С таким парнем весело на дружной зимовке. С таким плохо в серьезном деле.

Вот каков был Яшка Неунывако.

И вот этот Яшка вдруг изменился. Точнее, изменилось его отношение к Оксане. Изменилось внезапно, в один день, да так резко, что нельзя было не заметить. От былого пренебрежения не осталось и следа. Яшка стал почтительно нежен к девушке. Это Яшка-то!

Он ходил по кают-компании и мягко улыбался, как человек, узнавший что-то новое, осветившее его жизнь, и бросал на Оксану долгие теплые взгляды.

Что могло это означать, кроме... кроме одного: Яшка влюбился.

Не я один — все увидели перемену в Яшке. И тогда каждый невольно спросил себя: «А она?»

Да, как «она» относится к этому?

На зимовке, сами знаете, нет тайн. Мы заметили, что и она расцветает в присутствии Яшки. У них появились какие-то секреты. По вечерам они явно тяготились нашей шумной компанией. Стали подолгу задерживаться в радиорубке. Уединялись в комнате Оксаны, и оттуда доносился до нас такой счастливый, такой молодой, такой звонкий смех, что...

Ну, хорошо. Все это ни о чем еще не говорит. Они оба радисты, друзья и прочее. Но вот произошел эпизод, который рассеял последние сомнения...

То, что я расскажу сейчас, покажется вам мелочью. Вы, может быть, даже высмеете меня. Но на зимовке редко бывают большие события. Вернее, здесь все — событие: кок новое блюдо придумал — событие. И я вам вот что скажу, друзья: только тогда, когда к каждой новости и к каждому маленькому делу вы относитесь горячо, полнокровно, со всем пылом своих чувств, можно жить и не скучать на Севере.

Мы сделали событием, даже праздником... раздачу табачного пайка. Придумали церемониал. Патефон играл марш. Кок вносил ящик с табаком. Мы выстраивались и ждали появления Федора.

— Здорово, курильщики! — кричал он.

— Здрав желам, отец командир! — браво отвечали мы.

— Претензии есть?

— Курить охота.

— Ну что ж! Это дело перекурим как-нибудь,— отвечал начальник и приступал к раздаче пайка.

Когда Оксана стала равноправным членом нашей зимовки, табачный паек неукоснительно выдавался и ей. Но она не курила. Свое табачное богатство она делила на шесть равных кучек и отдавала нам.

Но оставалась одна пачка отличного капитанского трубочного табаку, которую нельзя же было разодрать

на шесть частей. И мы, затаив дыхание, ждали: кому-то отдаст ее Оксана?

В первый раз она отдала драгоценную пачку мне. Это никого не удивило: разве не я привез ее сюда с пепелища?

Но теперь, кому отдаст она теперь призовую пачку, а с ней и свое внимание? Это не шутя волновало многих.

Она могла, конечно, отдать приз коку. Пожалуй, это было бы умней всего. Мы даже были уверены, что так она и сделает, и уж готовились чествовать старика.

И вдруг... она отдала табак Яшке. Просто протянула ему пачку и сказала, улыбаясь:

— Яша, тебе...

А он расцвел и покраснел даже.

Вы скажете: мелочь, пустяк. Может быть, может быть... Но нам эта пачка капитанского табаку объяснила все.

Да и Яшка держался после этого как «официальный жених». То и дело слышалось: «моя Оксана», «мы с Оксаной». Он не покидал ее ни на минуту, точно оберегал от нас.

— Ну что ж! — сказал Федор Черных в нашем «клубе», на кухне.— Она может любить, кого хочет. Даже Яшку,— последние слова вырвались у него нечаянно, и, вероятно, он сам пожалел о них.

Да, она может любить, кого хочет. Даже Яшку. Что можно было возразить против этого? Только одно: «Почему не меня?»

Но это уж ее дело. И я, вспомнив дорогу, сказал себе тут же: «Ты никогда больше ни взглядом, ни словом не оскорбишь Оксану своей любовью».

И, взглянув на моих товарищей, я по их лицам понял, что и они думают так же.

9

Мы ждали нетерпеливо, но молча. Мы ничего не требовали, мы только ждали.

Мы не сговаривались, но думаю, что ждали одного: Оксана и Яшка сами скажут о своих отношениях. Как это произойдет, я не знал, но что произойдет, в этом был уверен. Вероятно, это случится за вечерним чаем. Они встанут из-за стола и скажут сияя: «Ребята, мы любим друг друга. Поздравьте нас!»

Зачем нам нужна была эта церемония, я не могу вам объяснить, хотя тогда был твердо убежден, что она необходима. Видите ли, любое человеческое общежитие, а зимовка тем более, требует отношений ясных и простых, не допускающих кривотолков. Ясные отношения — самые лучшие отношения между людьми.

Однако мы слишком долго ждали. Мы начали терять терпение. Отчего они молчали? Они будто прятали от нас свои отношения, словно было в них что-то нехорошее, нечистое. И тогда шевельнулись во мне недобрые мысли об Оксане.

Теперь мы расплачивались за образ выдуманной нами девушки. Наша девушка не стала бы трусливо играть в прятки. Наша девушка и любила и ненавидела с открытым лицом. У нее была гордая голова и смелые, честные глаза. Она никого и ничего не боялась. Ее нельзя было ни судить, ни жалеть, ни прощать.

Нет, Оксана не была этой девушкой, и Валерий первый сказал мне об этом. Он сидел у меня в комнате на пустой Яшкиной койке и прислушивался к голосам, доносившимся из комнаты Оксаны. Голоса были звонкие, счастливые, мы узнавали в них Оксану и Яшку; они вдруг затихали, и тогда невольно думалось, что там либо шепчутся, либо целуются.

Валерий вдруг расхохотался.

— А мы-то! Мы-то!.. Рыцари, идиоты!..

Так же внезапно оборвал он смех и шагнул ко мне. Его глаза блестели сухим лихорадочным блеском, и тогда я в первый раз подумал, что о состоянии Валерия надо сказать доктору.

— Я тебе никогда не прощу! — прохрипел он, схватив мою руку.— Это ты ее выдумал. А я поверил. Я мальчишка, я жизни не знаю. А ты знаешь. Зачем ты все это сделал?

Я пожал плечами. Что мог я ему ответить?

А он продолжал шептать, глядя мне в глаза и держа мою руку в своей, потной, горячей:

— Мы все поверили тебе. Все, кроме Яшки. Он один знал о ней правду. Он не корчил из себя рыцаря. Вспомни, как он хамил ей. Как они смеются сейчас над нами.

Из-за стены доносился до нас их счастливый смех.

Валерий стукнул кулаком в стену, там стихли, потом опять засмеялись.

— Они не имеют права смеяться над нами! — пробормотал Валерий.— Мы чище, лучше их, хотя и глупей. Отчего они прячутся? Отчего не говорят? Если у них честная, настоящая любовь, зачем они прячутся?

Вот мы сидим с вами сейчас, курим, я рассказываю, вы слушаете, и вам, вероятно, как и мне самому, кажется непонятным и даже диким, отчего нас мучило больше всего именно это молчание Оксаны. Ну, молчит. Ну, не хочет афишировать своих отношений с Яшей,— что тут возмутительного? А тогда это показалось нам всем, и мне в первую голову, настоящим преступлением.

Прозвенел гонг к вечернему кофе.

Валерий встал и сказал, упрямо мотнув кудлатой головой:

— Я сам ее спрошу.

Я не успел ни отговорить, ни удержать его. Он с шумом распахнул дверь и вошел в кают-компанию.

Все были в сборе. Оксана уже возилась подле кофейника. Был тот тихий вечерний час, который так любили мы раньше.

— Оксана! — закричал Валерий чуть не с порога, и его голос прозвенел, как туго натянутая струна.— Ты жена Яшки, Оксана?

Все вздрогнули и затихли. Оксана подняла голову. В ее глазах я увидел удивление. Только удивление — не больше. Это я отлично помню сейчас.

— Что же ты молчишь? — нетерпеливо закричал Валерий.

Она обвела нас всех долгим взглядом, всех до одного,— этого взгляда мне никогда не забыть! И под этим невыносимо презрительным и немного грустным, брезгливым взглядом мы один за другим опускали глаза. Только на Яшку она не взглянула. Круто повернулась и ушла к себе.

А мы остались у стола, пристыженные и побитые.

Странное дело! Яшка казался смущеннее всех. Я помню, что уже тогда это меня озадачило... Зная его характер, я был уверен, что он немедленно полезет в драку с Валерием. Но он только втянул голову в плечи и вышел. У него была виноватая спина,— я помню это потому, что невольно посмотрел ему вслед.

Мы остались одни. Валерий сидел на диване, охватив голову руками. Я стал у порога, остальные — у стола.

Молчание продолжалось долго, очень долго. Мне кажется, что все прислушивались к тому, что происходит сейчас в комнате Оксаны. Что она делает сейчас? Плачет? Но я не мог представить слез на ее щеках. Что же тогда делает она? Но ни единого звука не доносилось оттуда.

Наконец, Федор Черных нарушил непереносимое молчание.

— Я надеюсь,— сказал он тихо, ни на кого не глядя,— что эта история больше никогда не повторится и ничего подобного не будет...

Да, «это» больше не повторилось. Больше не было ни ссор, ни стычек, ни даже разговоров на запрещенную тему. Мы стали избегать Оксану. Сами собой кончились наши тихие вечера у печки, и танцы, и песни... Все разбрелись по своим углам. Мы словно боялись задеть и обидеть друг друга, и чем больше боялись — тем больше задевали. Зимовка притихла. Каждый уткнулся в свое дело. Никогда еще мы не работали так много и с таким злым азартом, как в эти дни...

10

И никогда еще не ждали с таким нетерпением прилета Туровского.

Туровского всегда ждут с нетерпением. Надо зимо-

вать в западном секторе Арктики, чтоб понимать, кем был для нас Туровский.

Он был для нас весной, потому что прилетал раньше самой первой пуночки. Он был для нас летом, потому что рулил в бухту раньше самой первой посудины. Он был для нас Большой землей, запах которой приносил с собой на крыльях, и семьей и домом,— с ним мы получали вести от них. Он прилетал к нам первым, а улетал последним, ломая молодой ледок на бухте, и увозил с собой наши письма, просьбы и надежды. Если на зимовке был тяжелобольной, то жил он надеждами на Туровского. Туровский прилетит и спасет: доставит врача или увезет в больницу. Если геологическая партия в тундре терпела бедствие, она знала: на выручку к ней пошлют Туровского.

Вот кем был для нас Вася Туровский, линейный летчик.

Но никогда еще не ждали мы Туровского с таким нетерпением, как сейчас. Видите ли, как-то само собой узналось, что он увезет от нас Оксану. То ли Черных шифровкой договорился с Москвой, то ли там сами решили, не знаю. Но то, что это было решено, знали все, хотя об этом и не говорили. Знала ли Оксана? Мне думается, и она знала.

Вот отчего мы ждали Туровского так нетерпеливо. Скорей бы, скорей бы уж он прилетел! И для нас и для Оксаны будет лучше, если мы скорее расстанемся.

Мы ждали его, как всегда, в марте, но в этом году он предпринял большой перелет и летел к нам по сложному маршруту, прокладывая новую трассу. Мы повесили в кают-компании большую карту и флажками отмечали кратчайший путь. Флажки все приближались к Тихому мысу. На зимовке стало веселей.

Вести о движении Туровского приносил дежурный радист: Яшка или Оксана. Они же передвигали флажки по маршруту. Оксана подолгу простаивала у карты. Видимо, и ей хотелось скорее расстаться с нами.

Мы ждали Туровского со дня на день.

И вот однажды, едва только мы сели за обеденный стол, в кают-компанию вбежал запыхавшийся и бледный Яшка с листком бумаги в руках.

— Туровский потерялся! — крикнул он и вдруг осекся: увидел Оксану.

Оксана вскрикнула и выронила разливательную ложку. Мы изумленно взглянули на нее,— на ней лица не было. Мы и не знали, что у нее такие нервы. Или уж очень хочется улететь?

— Ну да! — сердито закричала она.— Ну да! Туровский мой жених. Что ж тут такого?

Что?

С минуту длилось всеобщее обалдение, другого слова я не могу подобрать.

А затем мы все разом поднялись с мест и пошли на Яшку. Он все еще стоял с листком в руках. Заметив наше движение, он попятился. А мы шли на него молча, тяжело дыша. Я не знаю, какие лица были у нас в эту минуту, но лицо Яшки Неунывако выражало ужас.

Мы загнали его в кухню и окружили железным кольцом. Убежать он не мог.

С минуту длилось молчание. Потом Федор спросил:

— Ты знал?

Яшка заметался, пытаясь улизнуть.

— Знал? — закричали мы.

— Ну, знал, знал, конечно. Здесь узнал. Однажды в мою вахту пришла радиограмма Туровского Оксане. Я спросил ее, она сказала. А я, понимаешь, работал радистом у Туровского. Товарищи мы. Ну, и вот... Я хотел как лучше. Думал: долго ль нам обидеть девушку? Я ведь вас знаю. А если скажу, что она — моя, вы и отлипнете... Вот...

Мы выслушали это молча, не перебивая.

— Ты нас знаешь? — только спросил Федор и грустно покачал головой.

Но больше нам нечего было сказать.

Винить во всем Яшку? А мы? Разве мы лучше? Мы тоже думали, что «знаем». Мы думали о себе хуже, чем были на самом деле.

А девушка? Мы совсем забыли о ней. Мы оставили ее одну, потрясенную известием.

Со всех ног ринулись мы в кают-компанию. Оксаны там не было. Тогда кто-то догадался: она в радиорубке.

Ну, конечно. Где же ей быть в эту минуту! Она сидела у ключа и настойчиво звала самолет Туровского. Ее лицо было спокойное, но какое-то серое: острей выдавался подбородок, на переносице лежала морщинка. Я подумал, что такой, вероятно, она была и тогда, в объятой пламенем рубке.

Но что-то другое, новое, совсем незнакомое, было в ней сейчас. И я скорее догадался, чем понял, что это было. Девушки Оксаны не было больше. Перед нами сидела любящая и тоскующая женщина и звала своего друга, затерявшегося в пурге.

Через два дня Туровский прилетел и увез с собой Оксану. А в следующий свой прилет привез нам от нее письмо и подарок: шесть пачек капитанского табаку.

11

Вот и все.

Мы отзимовали еще год на Тихом мысе; зимовка была дружная, хорошая. Потом разбрелись. Яшка снова летает радистом у Туровского. Изменился ли он, не знаю. В полярной авиации его по-прежнему зовут Яшкой Неунывако. У Оксаны — ребенок, Туровский показывал мне карточку. Доктор уехал на Большую землю и женился. Недавно по радио я слышал о какой-то чудесной операции, которой он удивил научный мир. Женился и Валерий и тотчас же вместе с женой уехал зимовать на Чукотку. Где-то на Чукотке бродит и Федор Черных, начальник большой экспедиции. На Тихом мысе остался один я. Знаете, привыкаешь к месту. Я не женился. Жду. Дороги тундры широкие, большие,— может быть, я еще встречу свою девушку. Только теперь я уж не гадаю, какой она будет. Не угадаешь. Жизнь сложнее.

Ну, кончай курить, ребята,— и спать. Хорош табачок? Это тот самый. Я получаю его два раза в год с Туровским. А курю его... курю редко. Берегу. Вот

уж на донышке осталось. На три трубки хватит однако. Ну, да скоро весна. Авось Оксана и на этот раз не забудет.

А теперь спать, ребята. Скоро и пурге конец, завтра — в путь. Залезем в спальные мешки и выспимся. Пусть приснится каждому, что ему любо. А я уж знаю свой сон: ночь, дорога и девушка на моем плече.

1938

КАРПУХИН С ПОЛЫНЬИ

Мы склонились с начальником зимовки над картой, испещренной флажками, и гадали, что могло статься с самолетом «СССР Н-2», когда раздался осторожный стук в дверь, послышалось робкое покашливание и на пороге появился человек с тощей бороденкой.

Он, вероятно, только что приехал. Его лицо было красно, обветрено, на бокарях лежал снег, а на меховой куртке таяли льдинки,— куртка казалась стеклянной.

Это был человек с побережья. Достаточно было взглянуть на него, чтобы увидеть: этого человека кормило, одевало и согревало море. От него исходил тяжелый, приторный запах ворвани. В комнате сразу запахло морем, рыбой, тюленьим жиром, сырым мясом, кровью, мертвечиной — сложным поморским букетом, который так присущ береговому охотнику. Одет человек был в потертую, облезлую и побуревшую куртку из плохо выделанного меха нерпы, желтого с черными пятнами и сизыми плешинами, местами запачканного кровью. С нерпы же снял человек мех и на малахай, и на бокари, вообще весь он казался тюленем, только что выползшим из воды на берег и поводившим тощими усами.

Глаза у этого человека были круглые, навыкате, подернутые маслом; я знал эти глаза, бегающие по сторонам, оживленные, тоскующие, глаза алкоголика. Он снял малахай, обнаружил лысину, плохо прикрытую спутанными грязно-седыми волосами, и, деликатно кашляя в руку, мялся у порога. Охотничий нож с черенком из моржовой кости болтался у него на животе.

— Принимаете гостя, начальник? Нет? — осторож-

но спросил он, наклонив голову и бегая глазами по комнате. Начальника он угадал безошибочно, каким-то чутьем, хоть и не видел его ни разу.

— Гость на Севере — священная особа,— ответил начальник своей излюбленной фразой, но обычных сердечных нот я не услышал в его ответе. Видно, незнакомый человек сразу не понравился ему.

Человек шагнул от порога — с бокарей посыпались на пол звонкие капли — и торжественно пролаял:

— Удачи в охоте и счастливой зимовки! — Это была, видимо, тоже традиционная фраза.

От этого человека с побережья пахнуло на нас дремучей стариной, древним Севером, мрачным, необычным и уже непонятным. За всеми его словами угадывались какие-то неясные мне правила северного этикета, законы тундры, обычаи заполярного гостеприимства.

— Проходи, товарищ. Гостем будешь,— снова повторил начальник.

— На том благодарствуйте. И то, пройду.— Он сделал шаг вперед.— Собачошек-то я, начальник, к твоим определил. Собачник-от твой обещал ужо накормить их, собачошек-то... Измаялись собачошки... А ничего... Он покормит... собачошек-то... Им ничего... Ничего... хорошо им...

Теперь он мялся у стола, не решаясь сесть. Была ли то робость, отвычка от людей, или хитрость, непонятная мне, или все те же требования этикета, я еще не мог решить.

— Ну и мороз! — крикнул он, видя, что мы молча слушаем, и выжидающе посмотрел на начальника.

Я заметил, что он к одному ему обращался, на него одного смотрел, на меня же бросал косые, осторожные взгляды, словно спрашивал: «А этот кто тут будет?»

— Мороз... морозишко...— говорил он меж тем.— И то, триста верст... километров, по-теперешнему сказать. Пуржит, уф! Страсть!

Начальник улыбнулся и молча притянул к себе графин, стоявший на столе. То был обыкновенный пузатый сосуд, из тех, что ставят на трибуну докладчикам, но вся зимовка знала о существовании и назначении этой посудины, бытующей всегда здесь на столе. Непи-

саный закон гласил, что человек, промерзший в дороге, на гидрологической станции, на охоте или на аврале, мог прийти к начальнику, сказать: «Причитается, начальник!» — и получить стаканчик огненной влаги.

Причитался стакан и гостю с дороги. Человек с тощей бородкой торопливо взял стакан, и я увидел, как его руки, красные, волосатые, испещренные мелкими трещинами, нетерпеливо задрожали. Но, прежде чем выпить, он посмотрел стакан на свет, моргнул глазом, снова недоверчиво посмотрел — что-то удивляло его в цвете влаги,— потом, успокоившись, торжественно произнес:

— Карпухин я. С Полыньи. Будем здоровы! — Выпятил губы, опрокинул стакан, крякнул и вдруг сморщился. Удивленно облизал губы. Пожевал. И снова посмотрел на графин.— Али стар я стал, али спирт свою крепость потерял по нонешнему времени? А?

Мы засмеялись.

— Разведен? Неужто разведен? — укоризненно покачал он головой.— Ах, начальничек, начальничек! Пошто добро портишь?

Я с любопытством смотрел на него. А, так это и есть Карпухин с Полыньи? Я много про него слышал. Вот он какой!

Он сидел между тем, чуть съежившись, у стола и все озирался.

— Знатно живете! — сказал он наконец, все окинув своим бегающим, нечистым взглядом: и стены, выкрашенные масляной краской, и ковер на полу, и цветы на окне.— И что же, живут цветы, ничего? — полюбопытствовал он.

— Отчего же! Живут.

— Живут? Скажи на милость... А это что? Батюшки-светы!.. Птичка! Постой! Дай-ко поглядеть... Забыл, как и название ей. Кенарь, что ль?

— Да, канарейка.

— Сто лет не видал. Ишь ты, ка-на-рей-ка! — Он с видимым удовольствием произнес это слово.— И живет?

Начальник пожал плечами.

— Вот и я говорю: живет,— осклабился старик.— Птица, а тоже... приспособилась. Да петь-то уж не

поет. Не-ет! — и он злобно расхохотался.— Петь не поет!

— Нет, поет!

— Не поет! Не-е-ет! Петь не может. Разве тут (он показал в окно) запоешь?

Мы не стали с ним спорить. Он подошел к клетке и стал дразнить птицу длинным черным пальцем, на котором ноготь был сорван.

— Ну-ко... ты... птичка! А ну, спой-ка! А? Не хочется? Не хочется в неволе-то петь? Не сладко? То-то... А ты сдохнешь, птичка, сдохнешь...— ласково бормотал он.— Что? Врешь, сдохнешь. Не перезимуешь. Не-ет. Куда тебе! Ты, птичка, нежная, деликатная, южная. Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь.— Он искоса поглядывал на нас и все дразнил канарейку. Его длинный, тонкий, колючий палец пугал птицу, она металась в клетке, а он хихикал. Я поверил всему, что слышал о Карпухине.

Зачем он приехал? Он не говорил, мы не спрашивали. Неделикатно было бы спросить гостя, зачем он пожаловал. Я, правда, знал, что не редки на Севере и бесцельные, без нужды и повода, поездки «в гости» за десятки километров. Взгрустнется ли одинокому промышленнику в своем засыпанном снегом домике, или померещится ему, что болят у него зубы и нужно бы спросить врача, или просто захочется повидать людей, услышать новости, голоса, смех людской,— и вот он уж плетется на своих собачках по тундре, спит в снежных ямах, мерзнет, терпит голод и холод и подбадривает себя и собак: «Ничего, ничего! Приедем — отогреемся. На людях теплей».

Не знаю почему, но был я уверен, что не с этим приехал к нам с далекой Полыньи Карпухин. Была в его приезде какая-то скрытая цель, еще непонятная мне. И движения старика были неуверенны, и глаза трусливо бегали по сторонам, и палец дразнил птицу с непонятной злостью и ожесточением, и все мерещилось мне, что боится Карпухин кого-то и чего-то, хоть я и не знал чего. Я стал наблюдать за ним.

В его поведении причудливо смешивались и наглость и робость. Он то хвастался, то жаловался, то поучал нас, то прикидывался дурак дураком; обращал-

ся к одному лишь начальнику, клянчил, льстил, хихикал.

— Третий год никуда не выезжал,— бормотал он.— Не выезжал, да надумал: дай-ко съезжу. Собачошкам исть нечего. Нерпешки не стало. Совсем нет нерпешки, хоть что. Вот и надумал: не упромыслю ли у вас? У вас нерпешка-то непугана, нестреляна. Вам это ни к чему — забава. А старичку-то немного и надо. Ветчишку (лодку) дашь, начальник? А я и благодарен буду. Патронишков к ружьецу немного. Ась? Обстрелялся я. Совсем нечем стрелять стало.

Он все называл уменьшительными, пренебрежительными именами, и мне вспомнилось, что так вот и казаки, завоеватели Сибири, писали свои челобитные, называя себя «людишками» и «холопишками». Но то была форма, а у этого, у Карпухина, что? Подобострастие, привычка или презрение ко всему — и к себе, и к вещам, и к нам, людям в форменных тужурках с якорями?

— Ты один приехал? — спросил Карпухина начальник.

— А нет, с Семкой,— неохотно ответил Карпухин и вдруг испуганно взглянул на начальника.— А что?

Но тут дверь вдруг распахнулась, и в ней появился огромный рыжий детина. Это, вероятно, и был Семка, сожитель Карпухина на Полынье. В этом парне уже ничего не было от моря, кроме разве только приторно жирного запаха ворвани. Он был в зипуне, подпоясанном красным кушаком, в высоких сибирских катанках, в руке он держал мохнатую капелюху, а в сенях, вероятно, оставил теплую медвежью или волчью доху. Чего-то не хватало в его наряде, и я догадался: кнута. Тогда совсем был бы он похож на сибирского ямщика, из тех, что и сейчас еще держат ямщичью гоньбу по замерзшим Лене и Витиму. Так и казалось, что произнесет он сейчас низким, простуженным басом: «А что ж ехать? Лошади-то уже перестоялись, товарищи хорошие».

Но он решительно шагнул вперед и произнес неожиданно тонким, бабьим голосом:

— Начальник! — Он глядел в пространство между

начальником и мною, не зная, очевидно, кто тут начальник.— Начальник, сделай милость, разведи ты нас!

— Развести? — удивился начальник.— Это как развести?

— Разведи ты нас с ним,— упрямо повторил Семка, указывая капелюхой на Карпухина.— Сил моих нет.

— Я не загс,— засмеялся начальник,— а вы не муж с женой.

Карпухин подобострастно захихикал.

— Ох, и дурак же ты, Семка, как я на тебя погляжу! — ласково захихикал он.— Ишь, выдумал: разведи! Дура-ак!

— Разведи! — опять повторил Семка.— Сил моих нет!.. Не выдержу я! — всхлипнул он неожиданно и так тонко, словно ножом по стеклу.

— А что? — спросил я, невольно сочувствуя ему.— Обижает?

— Бьет,— плаксивым шепотом протянул парень и, закрыв лицо руками, отвернулся.

Тут мы, не выдержав, расхохотались. Хихикнул и Карпухин.

— Бьет? Тебя-то бьет? — закричал начальник.— Тебя-то? — И он окинул взглядом огромную фигуру Семки и щупленькую, квелую Карпухина.

— Бьет! Больно,— шепотом подтвердил парень.— Я спросить тебя хотел, начальник: имеет он полное право меня бить?

— Вот чудак! Никто такого права не имеет. Ты раньше-то колхозником был?

— Колхозником.

— Что ж, тебя в колхозе разве били?

— Так то колхоз,— вздохнул парень.— Там и правление и сельсовет. А ведь тут, на Севере-то, ведь ни-ко-го.

Он так тоскливо протянул это «ни-ко-го», что я вздрогнул. Страшным показался мне в эту минуту тихонький Карпухин. И с необыкновенной ясностью представилась мне эта Полынья, одинокая избушка, до окон заваленная снегом, и в избушке два человека, остро, по-звериному ненавидящие друг друга. Один — большой, сильный, не ведающий до поры до времени ни сил своих, ни прав, напуганный непонятной ему се-

верной природой, рассказами старика, одиночеством, тем, что вокруг «ни-ко-го» — ни сельсовета, ни правления, ни земляков-колхозников. И другой — старый, хилый, но знающий, приспособившийся к Северу и пугающий парня своим знанием, своим острым, колючим взглядом, самозваной властью и нещадно эксплуатирующий его испуг, его тупую, одинокую тоску, его дремлющие силы, мускулы, мышцы. Отчего же они приехали сюда вместе? Как пошел Карпухин на этот «развод»? Какая драма разыгралась перед отъездом? О чем говорили они во время долгой поездки? Как сумели они не убить друг друга, когда брели одни по безлюдной снежной пустыне, когда, спасаясь от пурги, лежали рядом, тело к телу, лицо к лицу, в снежной яме и их дыхание смешивалось?

И, как бы в ответ на мои мысли, заговорил Семка. Он осмелел. Он словно отогрелся в этой комнате, где цветы, канарейка, люди. Его лицо уже не выражало тупого испуга, в глазах проступила мысль, щеки дрогнули, морщины распустились, все лицо обмякло, подобрело, словно оттаяло, стало совсем молодым, приветливым, симпатичным. Теперь он уже не был похож ни на промышленника, ни на ямщика. Теперь он просто молодой колхозный парень на отхожем промысле.

Он удовлетворенно произнес:

— Значит, нет такого права, чтобы драться? Ага! И я это ему говорил. Говорил ведь? — Он повернулся к Карпухину с такой угрозой, что тот вздрогнул.— Я давно говорил: «Давай поедем. Давай людей спросим!»

— Не хотел? — улыбнулся я.

— Не хотел,— обрадованно засмеялся парень.— Тогда взял я собак и сказал: сам поеду. Он опять драться. Ну, тогда я...— Он вдруг остановился и, подняв свои пудовые кулаки, решительно шагнул вперед.— Товарищ начальник! Нет, ты разведи нас. Долго ль до греха? Ты разведи...

— Ишь ведь, дурак, дурак! — захихикал Карпухин, но, не услышав ответа, трусливо стих.— Я ведь его только так... поучить... Он ведь, сами видите, дурачок, форменный дурачок... Не в себе... малахольный-с!

— Ты — умный? — закричал Семка, но тотчас же опомнился, очевидно подумав, что неделикатно кричать в почтенной компании.— Это точно,— сказал он тихо.— Обещали они, Пантелей Иванович то есть, поучить меня промыслу. Я тут третьего года на рыбалке был от колхоза. Его и встретил. «Идем, говорит, зимовать. Я те научу. Золото загребать будешь. Эвон, говорит, зверья сколько. Песец. Знаешь, грит, почем песец? Сотня, а то и две чистых». Я не поверил, у людей спросил. Верно, говорят: две не две, а сотня верная. Сто рублев?! Эка, думаю, тут сотни рублев по земле бегают. Отчего же не остаться? Я завсегда. Я старательный. Я хоть что хошь. Верно ведь, Пантелей Иванович? Я ведь к вам с полным почтением? А вы драться...

— Дурачок, дурачок-с,— хихикнул Карпухин.

— Был дурачок, да теперь весь вышел,— угрожающе продолжал Семка.— Батрака себе нашел, как же! Ведь у нас как было, товарищ начальник? Он на печке, а я и по промыслу и с собаками. А промыслу никакого нет. Сам он ничего не умеет и мне ходу не дает. Учи-ил? Непутевому ты меня учил. «Разве ж, говорю, это велено — песцов стрихнином травить? Я дурак, а и то слыхал. Как бы, говорю, за это в ответе не быть». А он: «Ты, грит, дурак, Семка, пахарь ты. Тут-ко тебе не колхоз. Тут не посеял, а жни. Тут кто смел, тот два съел, а кто слаб, тот и раб. Медвежий край, по-медвежьи и жить». Вот чему вы меня учили, Пантелей Иванович.

— Это правда насчет стрихнина? — нахмурившись, спросил начальник.

— Врет! Врет-с! Ах, до чего ж нахально врет человек в злобе! Ах, ах! — заюлил Карпухин.

Но глаза его забегали виновато и трусливо, и я знал уже, что о стрихнине Семка говорит правду. Однако старичок-то вредный!

— Вру? — покраснел Семка и чуть не задохнулся, испугавшись, что мы сочтем его лжецом.— Я-то вру? Да едем же, товарищи начальники, в тундру. Я места знаю, где он стрихнин кидал. Сколько он песцов перевел, и сказать страшно! Пойдешь по промыслу, только и видишь: клочья, как пух, лежат, а песца уже зверье

съело... А что в клочьях? Какая корысть? Так, только песцам перевод. Много он песцов погубил, товарищи.

— Не стрихнин, не стрихнин вовсе! — закричал Карпухин, засуетившись вокруг нас.— А вот и не стрихнин! Тут старичок один был, изволите ли видеть. Из ссыльных. Так он — химик. И мне секретец сказал. А не стрихнин. Я по-научному, товарищ начальник... не извольте сомневаться... Я по-научному, как химик учил...

— Ну, вот что,— перебил его начальник, вставая: — Разберемся мы с вашим делом, рассудим. А вы пока отдохните с дороги. Устраивайтесь, а там разберем.

— Вот и чувствительно вам благодарны! — сладко улыбнулся Карпухин с Полыньи и прижал малахай к груди.— Рассудите, уж будьте столь любезны. Потому — он ведь чего не наговорит, дурачок... Сами видите, он и людей-то умных не видывал. И слова сказать путного не умеет.

— А только не вру я,— произнес твердо Семка и поднял на меня умоляющие глаза.

— Дурачок, дурачок-с! — захихикал Карпухин.— Идем уж, идем. Ах, горе ты мое, пень стоеросовый... Ну, ничего... Ничего... И все по-хорошему, мирком да ладком...

Но в дверях они столкнулись, и Карпухин, отскочив в сторону, трусливо уступил Семке дорогу.

— Дурачок-с,— донеслось до нас из-за двери.

— Видели? Хорошо? — произнес начальник, когда мы остались одни.

— Да-а!.. Николай Васильевич, вы что, знаете его?

— Нет. В первый раз вижу. Но слыхал, слыхал. Видите ли, мы тут, на Севере, всех знаем. Оленье радио. Торбасная почта. Новости пешком ходят, на оленях скачут. Чего не наслушаешься!

— Ну, что ж он за человек?

— Человек примечательный. И, знаете, экспонат. Я бы его в музее Арктики выставил. В назидание кое-кому,— он значительно поднял брови.

— Верно то, что о нем говорят?

— Видите ли, Сергей Николаевич, как вам сказать? На Севере не всегда различишь, где правда, где

легенда. Врут тут... Артистически врут и часто бесцельно. Пьют чай — и врут, курят табак — и врут. Поди-ка проверь! Он, Карпухин, видимо, в свое время наврал о себе вдосталь, да теперь и рад отбрехаться, ан поздно.

— Значит, правда то, что говорят, будто он у белых был?

— Опять говорю вам: не знаю. Но думаю, что был. Это ведь вы лучше моего знать должны, Сергей Николаевич. Ваш трест-то справки о нем наводил?

— Наводим. Ведь вы знаете, что раньше этим никто почти в Таймыртресте не занимался.

— То-то и оно, что никто. Оттого и бытует на Севере всякий народ. Вот хоть этот Карпухин. Проходимец ведь...

— Ну, а чукотская история? Вы слышали?

— Слышал, конечно. Я эту историю еще на Чукотке слышал. Опять не знаю, что в ней правда. Но он убежал оттуда. Это факт. И теперь ему нельзя туда и носа сунуть. Грязная история. Анадырские чукчи до сих пор грозятся с ним посчитаться.

— Ну, а жена его? Вот эта чукчанка... Верно, что он ее...

— В гроб вогнал? — начальник усмехнулся.— Знаете, сегодня, взглянув на него, я в это поверил.

— И я.

Мы помолчали.

— Сколько же еще всякой нечисти ютится на Севере! — вздохнул вдруг начальник.— Ведь вот Карпухин. Он даже не авантюрист. Он паразит — вот кто он. Были, знаете, авантюристы, ну, те, что кровью, грабежом, ужасом покоряли Север. Или еще вот золотоискатели, «копачи», которые делали налеты на прииски, вымывали богатое золото и волокли мешки с добычей через тайгу на салазках, чтобы пропить, промотать все в первом большом городе. Или авантюристы политические — те, которые затевали здесь, на окраинах, заговоры, терроризировали местный народ и кончали у стенки, как и следовало. Так вот, Карпухин даже не авантюрист. Но с авантюристами был, с ними якшался. Как паразит. Всюду, где авантюра, ищите — и найдете Карпухина. Он тут — тут пожива, тут кормят. Он ничего не умеет

и не хочет делать. Вот он приехал сейчас сюда ко мне. И ведь уверен, знает: я буду его кормить. Ничего не поделаешь: «Гость на Севере — священная особа». Но почему я должен кормить этого бездельника? Позвольте! А ведь буду. Потому что как же иначе? Денег у него нет, да я продавать обеды и не могу. Ох, давно, давно надо бы настоящее денежное хозяйство завести и у нас на Севере. Оттого-то и проходимцев и бездельников много. Так и бродят от зимовки к зимовке и кормятся. Да вы еще, трест, авансы щедрой рукой швыряете.

— Я уж думал об этом, Николай Васильевич. Я в тресте об этом хочу поговорить.

— Поговорите! Я уж не раз говорил. И о Карпухине говорил. Да зашикали на меня. Как же! Ведь,— он зло усмехнулся,— ведь этот Карпухин два года назад был знаменитой личностью здесь. Не поверите? Старый мудрый полярник. Достопримечательность! Какой-то заезжий журналист о нем рассказ тиснул со всеми онерами... Тут и легенды Дальнего Севера, и безмолвие тундры, и ужасы — колорит! Что из того, что Карпухин ни разу пушного плана не выполнил? Зато — колорит! Верно, он умеет поговорить. Это он теперь съежился немного. Чует новое, хоть и не знает всего.— Он помолчал и снова напустился на меня, словно я был виноват во всем.— А трест? Спецов моих посмотрите в тресте! Вот этот — «Железная нога», как его здесь все величают. А я уверен: он проходимец. И тоже с политической гнильцой. А ведь «авторитет». Ничему не учился, ничего толком не знает, в прошлом году всю пушнину сгноил в пути. Зато — колорит! «Железная нога»! В снежной яме ночевал! Сырое мясо ест! Эка мудрость.

Я засмеялся.

— Нет, нет, не смейтесь,— подхватил начальник.— У меня это наболевшее. Я ведь Арктику люблю. И не первый день тут. И думаю, что понимаю Арктику. Я — что? Я не «Железная нога», сырого мяса не ем и ежедневно бреюсь. И даже бритвы с собой привез. Мне сказала партия: строить порты в Арктике. Я строю. За планы отвечаю, за точность чертежей, за сроки, за каждую копейку. Нам колоритом заниматься некогда!

Я вышел на крыльцо покурить трубку. Пурги уже не

было. Она пронеслась над островом, нашумела, перекорежила снег в бухте и умчалась так же неожиданно, как и пришла. Повсюду остались ее следы: там сугробы намела, там выстрогала в снегу новые причудливые заструги, словно прошлась рубанком по снежному насту и, не доделав, бросила, умчалась; там провода порвала, истрепала флажок над рацией, повалила столбы. Я заметил метеоролога у своих будок,— он сметал с них снег.

Как всегда после бури, во всем сейчас было какое-то особенное умиротворение. Все казалось ясным, кротким, сияющим. Нестерпимо блестел снег, всеми кристаллами отражая солнце. Сиреневые и кремовые тени лежали на скалах, в выемках. Снег в бухте казался розовым. Стоял чудесный апрельский день — лучшее время в Арктике,— звонкий, ясный, морозный.

Возле катуха я заметил группу людей. Один из них азартно размахивал руками. Я узнал в нем Карпухина. Впрочем, я и ожидал увидеть здесь Карпухина: северного человека влечет к собакам так же, как крестьян к «худобе», как механика к гаражу. Я подошел.

Каюр, Дмитрий Павлович, молчаливый, работящий человек, возился над собачьими будками. Карпухин, видно, поучал его чему-то. Семка равнодушно стоял в стороне.

— Ты меня, брат, слушай! — кричал Карпухин.— Я, брат, все это насквозь... Я, брат, по этому делу профессор... Ветеринары у меня учились.— Он заметил мое появление и стал еще красноречивее.— Ты слушай меня! Слушай, паренек! — кричал он седому каюру и искоса поглядывал на меня.— Ведь вы тут толком ничего не знаете. Вас учить, учить надо! Северу не нюхали. А я, брат, собаку съел... Собака! Собаку понимать надо! Это тебе, паренек, не лошадь, не корова, не овца.

Но каюр продолжал молча и невозмутимо орудовать топором. Это молчание обижало Карпухина больше, чем если бы каюр спорил и ругался. Он и хотел, чтобы каюр спорил, возражал, а то что же: молчит и по-своему делает, словно не человек с ним толкует, а так — муха жужжит, комар. И не отмахнется даже.

— Вот! Видали его? — обиженно обратился ко мне Карпухин.— Я — что? Я и помолчать могу. Тоже язык

не казенный. Мне за это не платят. А я добра вам хочу! — воскликнул он с азартом.— Я доброму учу. Корма! Рази же ты понимаешь, беспонятный человек,— обратился он опять к каюру,— какие корма собаке нужны? Или опять же, изволите видеть, собачошкам дачки строит. Ведь это рассказать в тундре — людям насмех! Собачошкам дачки!

Я расхохотался. Действительно, каюр ладил к весне «дачи» собакам. Это были аккуратные, теплые и даже кокетливые одиночные конуры. Весною молодые собаки из катуха перебирались в «дачи». Пятьдесят новеньких будок образовывали две улицы. Настилался даже деревянный тротуар. Перед каждой будкой стояла миска с кормом. Получался веселый, оживленный собачий поселок как раз на крутом берегу над бухтой.

— Собачошкам — дачки? — возмущался Карпухин.— Разве собачошкам конура нужна? Ездовая собака должна на морозе спать. Злей будет. И то, разнежили своих собак-то. Да они — купчихи, а не собаки. Что собаке нужно? Кусок юколы да палка,— закричал он.— Бью своих собак, и жестоко бью, и в кровь их бью, так что на них глянуть страшно. Зато везут и взгляда моего боятся. Ездовая собака должна быть битой, тощей и злой, озлобленной и голодной, так чтоб зубами ляскала. Вот как!

— А человек? — спросил я.

— Что-с? — не понял он.

— А человек, спрашиваю,— северный человек, он что — тоже должен быть голодный, озлобленный и битый?

Он бросил на меня косой взгляд.

— Человек — другое дело,— уклончиво ответил он.— Человек — хозяин. Владыка. Царь природы. Однако и ему... не вредно быть битым.

— А вы — битый? — не удержался я.

Он ничего не ответил и, казалось, внимательно следил за работой каюра.

Я постоял немного и пошел обратно к дому. Карпухин скоро догнал меня.

— Хотел побеспокоить вас... Простите, величать не знаю как?

— Сергей Николаевич.

— Очень приятно! А что, осведомиться хочу, служите или так... Севером любопытны?

— Нет, служу. А что?

— Нет, ничего! Извиняйте. А то есть, которые Севером любопытствуют. И все ко мне: расскажи да расскажи, старичок. Конечно, отчего же не рассказать? Я рассказать охочий.— Он помолчал немного.— А позвольте, должность у вас какая?

Мы подошли к крыльцу и остановились.

— Инструктор Таймыртреста,— ответил я.

— Инструктор? — Он соображал что-то и, очевидно убедившись, что инструктор это хоть и не начальник, но все же «лицо», приятно улыбнулся мне.

— Значит, служите,— протянул он удовлетворенно.— Это ничего. Это что ж...— пробормотал он.— Служба — это ничего... А что, хотел я у вас спросить,— вдруг изменив тон, обратился он ко мне, и его глаза блеснули насмешливо и остро,— что, большое вам жалованье положено? Это я к тому спрашиваю, что ба-а-альшие деньги должны платить тем, кто на этакую жизнь идет.

— Отчего же? Жизнь подходящая.

— Это здесь-то? — засмеялся он недоверчиво, и я вспомнил, как бормотал он у клетки канарейки: «А ты сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь».

— Ведь вы живете,— усмехнулся я.— Отчего ж нам не жить?

— Я? Ишь ты! Я! Я — другое дело. Я и промороженный насквозь и проспиртованный. И битый я, и катаный, и черт меня не берет. Я и помирал, да не помер, и тонул, да не утонул, и зверь меня ел, да не доел, и пуля брала, да не взяла. Я — тертый.

Он поблескивал глазами алкоголика и тряс бородкой.

— Я? Я на Севере, товарищ мой дорогой,— продолжал он хвастаться,— сотни лет; я тут, как вот та скала, уж и лишаями покрылся. Я и на Ямале был, и на Таймыре, и к якутам хаживал, и с одулами рыбу ловил, и у долган в церкви молебствие слушал, и у чукчей за Анадырь-горой чай чаевничал. Я? Ишь ты! Я северный человек.

— Ну, и мы северными людьми станем,— засмеялся я.

— Вы? — насмешливо протянул он и покачал головой.— Вы? Ни в жизнь! Где уж вам-то! Цветочки это точно, это вы с собой сюда привезете. И канарейку. А канарейка сдохнет. Сдохнет! — закричал он.— И вы или сдохнете, или сбежите. Только думаю, скорей всего сбежите. И мудро сделаете!

Он посмотрел на меня темным, мутным взглядом и прошептал, придвинувшись:

— Бегите отсель, молодой человек, пока не поздно,— в его голосе звучала глухая угроза.— Это я вам говорю. Гиблое место здесь. Бегите! Спасайтесь!

Зачем он пугал меня? Какую цель преследовал? Неужто в самом деле надеялся, что испугаюсь я его карканья и брошу все и побегу стремглав обратно, на юг?

И тогда блеснула во мне озорная, насмешливая мысль: «Ага! Ты хочешь запугать меня? Ну, ну! А что, если я тебя, Карпухин, испугаю? А?»

Я усмехнулся и сказал:

— Пантелей Иваныч, до обеда еще далеко, времени много. Не хотите ли посмотреть, как тут на острове люди устроились?

Он недоверчиво посмотрел на меня, с минуту поколебался, но я был любезен и простодушен, и он согласился.

— Отчего ж! — снисходительно произнес он.— Покажите. Может, я вам чего и присоветую.

Любопытное это было путешествие, и я не пожалел, что затеял его. На моих глазах съежился человек, стал маленьким и жалким. Это было зрелище страшное и поучительное, но ни капли жалости не было во мне.

Он тронулся в путь очень самоуверенно. Что мог показать ему, старому тундровому волку, такой робкий новичок, «полярный суслик», как я? Чем удивишь его, когда он все тут наизусть знает и еще меня поучит! Он шел и кричал, что мы тут хозяйничать не умеем: и собачошек разнежим, и канарейка сдохнет, и все у нас одно баловство, курам на смех,— как вдруг навстречу нам с шумом и грохотом выехал тракторный обоз.

Могучий «Сталинец» надвигался, как танк, грубо ломал звонкие заструги, мял снег и отшвыривал комья в сторону. А за ним ползли два прицепа: первый — нагруженный круглым строительным лесом, второй — кислородными баллонами, похожими на артиллерийские снаряды. Нас обдало брызгами снега, запахом бензина, дымом. Обоз прополз мимо, оставив после себя смятую, исковерканную полосу снега. Он был уже далеко, а Карпухин все стоял и растерянно глядел вслед.

— Ничего собачошка? — засмеялся я.

— Ничего, ничего! — пробормотал он.

— Тянет? А?

Но он уже пришел в себя и сконфуженно улыбнулся.

— Это «трактор» называется? — спросил он.— Не видал я их еще. А что,— он насмешливо прищурился,— день работают, три стоят? Ась?

Ишь какой ядовитый старикашка!

— А это мы у механиков спросим,— ответил я, улыбаясь.— Вы им и растолкуйте, присоветуйте, как этих железных собачошек кормить.

— Нет, по этому делу я не спец. Только думаю: по тундре трактор не пройдет! А? Или, опять же, ежели торос.

— На пятьсот километров отсюда трактор этот ходил!

— Пятьсот?

— До Кузькина острова и обратно.

— И долго ль?

— Два дня туда, два обратно.

Он примолк.

Я жестоко прибавил:

— На Полынью к вам думаем трактор послать.

— На Полынью? — испугался он.— Это зачем же?

Я не ответил. Он семенил рядом и все хотел заглянуть мне в лицо. Я отворачивался, чтоб скрыть усмешку.

По дороге нам попался вездеход. Он шел в порт. Я попросил подвезти нас.

— Садитесь! — закричал веселый шофер Саша.— Карета подана.

Грузовик побежал по бухте.

— Д-да,— задумчиво произнес Карпухин.— Вот и автомобилишки по льду забегали. История!

В порту было шумно и людно. Гремело железо, пело дерево под пилой, с грохотом падал камень в майну, перфораторы со скрежетом вгрызались в диабаз, рушились скалы, звенели молотки в кузнице, стучал дизель в силовой, кричали откатчики, плотники, подрывники. На зимующих лихтерах суетилась команда, что-то чинила, строгала, малярила. Все работало вокруг, гремело, строило, копошилось.

С разбегу окунул я Карпухина с Полыньи в этот рабочий мир. Я потащил его за собой — и в кузницу, и в мастерские, и на лихтеры, и на стройку причалов. Я не давал ему опомниться, я не замечал его испуганной, жалкой улыбки и не слушал пыхтения. Я тащил его за собой и тыкал носом: гляди, чувствуй, вредный старикан!

— Берегись! — закричал нам человек со скалы и замахал алым флагом.

Я знал, что это значит, и быстро оттащил Карпухина к какому-то дощатому домику. Ничего не понимающий Карпухин послушно прижался к стене и только пугливо хлопал ресницами да тряс бороденкой. Вдруг громыхнуло в скале, еще, еще раз... домик задрожал. Тонко застонало стекло. Карпухин схватил меня дрожащей рукой.

— Что это?

— Остров взрывают! — крикнул я.

— Господи! Зачем же?

— Порт строят.

Но слова мои заглушил новый взрыв, совсем близкий. И было видно, как взлетели там вверх огромные глыбы камня, как закружился, словно смерч, снежный прах, смешанный с дымом.

Потом стало тихо. Я подождал немного: теперь можно идти.

Карпухин нерешительно двинулся за мной. Мы подошли к месту взрыва. Подорванные скалы представляли собой груду черных камней и льдин. Рабочие насыпали камень в вагонетки и по узкоколейке гнали к бухте.

— Господи, что делают! Что делают! — шептал Карпухин.

Я подвел его к майне. В эту вырубленную во льду широкую прорубь ссыпали камень. Майну то и дело заносило снегом, замораживало. Здесь круглосуточно кипела борьба людей с природой. Люди боролись со льдом, как со скалами,— аммоналом. Они отстаивали майну и свое право строить. Они побеждали море и заставляли его отступать, как прожекторами заставили отступить полярную ночь.

Карпухин долго смотрел, как падал в море камень. В майне плескалась морская вода, и цвет ее был обычный, знакомый, сизый, и лед на бухте лежал прочно, надежно, и кое-где острым взглядом заметил Карпухин даже лунки, прососанные нерпой. Это ободрило его. Он произнес:

— Это зачем же камень в море кидают?

Я объяснил. Он засмеялся.

— Ох, люди! Ах, и чудаки же люди! Хотят море камнем замостить. Хе-хе-хе-хе! А камень-то течением снесет, снесет, снесет.— Но смеялся он теперь неуверенно.

В это время из соседней майны вылез водолаз. Он бродил где-то там под водой и льдами и мог рассказать Карпухину, снесет ли камень течением или нет. Но водолаз промерз. Он сбросил пудовые башмаки и торопливо окунул ноги, обтянутые резиной, в ведро с кипятком. Я показал Карпухину:

— Вот вам водолаз все расскажет.

И вдруг заметил, что он с ужасом глядел на человека, вылезшего из воды. Да, это был ужас, ужас, я прочел его в воспаленных глазах старика.

— Вы что же,— удивился я,— никогда водолаза не видели?

— Да видел, видел,— пробормотал он нехотя.— Как не видеть!

И тогда вдруг показалось мне, что я понял его страхи. Мне довелось однажды наблюдать, как ненцы познакомились с водолазом. Они тоже испугались, увидев человека, вдруг вынырнувшего из воды, и бросились бежать. То был страх перед непонятным, а следовательно, и сверхъестественным. Но водолаз снял ска-

фандр и оказался простым человеком, веселым Васей Ферапонтовым. Ненцы вернулись и осторожно, издали стали глядеть на него. Потом подошли ближе. Потом пощупали Васю руками. А потом — потом обнимались с Васей, потчевали друг друга табаком и помогали водолазу напяливать скафандр. Ужаса не было. Сверхъестественное стало естественным, хотя и хитрым, мудрым.

Но Карпухин видывал и водолазов, слыхал и о тракторах, понимал, отчего и зачем взрывы. Не машины испугали его — его испугали люди. Вот пришли они, наконец, и на Север, эти люди с Большой земли, от которых убежал он. Пришли — и под лед полезли, и скалы взорвали, и камни заставили работать! Работать! Ах, слово-то какое, Карпухину ненавистное!

И, угадав это, я стал знакомить Карпухина уже не с машинами, а с людьми. Я представил его механикам в синих меховых комбинезонах с многочисленными карманами, из которых торчали гаечные ключи, водолазам в лягушечьего цвета резиновых костюмах, подрывникам, пропахшим дымом.

— Позвольте представить вам,— говорил я Карпухину убийственно вежливо,— инженера Николая Павловича, он тут все орудует.

— А это — партийный организатор порта, товарищ Ревин. Будьте знакомы.

— А вот — электрик...

Карпухин растерянно пожимал протянутые ему руки, бормоча:

— А, очень приятно! Очень приятно!

А я тащил его дальше и показывал ему все новых и новых людей, называл их профессии, неизвестные старой Арктике, привел его в чистенькую больницу, затем в блестящий кафелем зал силовой станции, потом на радиостанцию.

— Хотите, Пантелей Иваныч, мы вам сейчас телефонный разговор с Москвой устроим?

— Это зачем же мне? — испугался он.

— А поговорите, поговорите. А то, хотите, я скажу: кланяется, мол, всем старым знакомым Пантелей Иваныч Карпухин.

— Да нет, зачем же... Чего беспокоиться? И знакомых-то у меня никаких там нет.

— Аль нет?

— Нету, нету... нету...— заторопился он.— Истинный бог, нету... Один, как перст. Старичок-с. Не взыщите.

Куда мне его еще потащить? И вдруг я вспомнил про теплицы. Надо же ему показать, откуда здесь цветы.

Впрочем, это я больше для своего удовольствия зашел. Чудесно после мороза, отряхнувшись от снега, который сыплется вам за воротник, попасть вдруг в теплый зимний сад, где пахнет зеленью, цветами, землей, жирной, черной, свободной от снега землей, которую мы уже много месяцев не видели. И агроном (я немедленно представил его Карпухину) угостил нас тут же огурцами и помидорами. И огурцы пахли огурцами и помидоры — помидорами. Они были такие же сочные, вкусные, нежные, как и на Большой земле. И Карпухин ел их. Огурцы хрустели у него на зубах, а помидорный сок струился по бороде. Он бормотал:

— Очень приятно! Очень приятно! — но в глазах его был ужас.

А из теплицы было естественно перейти на скотный двор, словно то была не зимовка, а совхозная усадьба. И на скотном дворе на нас пахнуло теплом хлева, запахами сена и навоза. Лошадь задумчиво похрустывала сеном. На соломе лежали коровы. В свинарнике о доски чесались толстозадые свиньи. И я ожидал, что Карпухин скажет: «Коровешка? И ничего — живет? А молочишка-то не дает, не дает, не-е-т...» И тогда я тут же напоил бы его парным молоком.

Но он ничего не сказал. Да мне и надоело его водить, показывать. Стало скучно и нелюбопытно.

За обедом он сидел грустно, даже чарочка спирту, выданная гостям, не обрадовала его. Съежившийся, присмиревший, он уныло жевал и думал. И мне казалось, что я угадываю его мысли.

«Что ж это? Что ж это, господи! — вероятно, думал он.— Вот и сюда они пришли, на Север. Ишь, жуют, смеются. А завтра, гляди, и на Полынью придут. Взорвут скалы, нерпу распугают. А мне же куда? А мне

куда деваться, господи? Я ведь старичок. Больной старичок я. Тихонький. Ни я до вас, ни вы до меня... Но они и не спросят, больной, нет ли. А отложат струмент в сторону на минуту, да руки в свои спецовки засунут, да спросят вдруг: «А откуда ты, старичок, здесь явился? А что ты делал до семнадцатого года, а также после этого года? А как ты сюда попал? А какими здесь делами-делишками занимался? Где промышлял?» Никто-то и никогда про это не спрашивал, никому до старичка Карпухина и дела не было. А эти — глазастые, рукастые — спросят. Как пить дать, спросят! Да еще и проверят и справочки, справочки наведут. Куда ж денешься, господи, твоя воля?»

После обеда мы поехали на припай бить нерпу. На передней нарте ехали Дмитрий Павлович и Семка. Собаки были запряжены по-канадски, цугом. Они бежали весело и резво. Только хвосты мелькали, белые и пушистые, как снег.

Сзади потрухивали мы с Карпухиным. Его собаки шли в упряжке веером — то ли чтобы показать, каков оригинал их хозяин, то ли оттого, что собак было мало для цуга. Ну и собаки же были у Карпухина! Они являли собой вид идеальной карпухинской собаки: тощие, битые, злые, ощеренные! Уж бить-то их он не скупился, это было сразу видно: клочья потрепанной шерсти еле прикрывали многочисленные раны на их боках. Но бежали «собачошки» плохо. Мы скоро отстали от передней нарты. Я уж начал подумывать, не быстрее ли мне выйдет дошагать пешком.

Карпухин сидел понурившись. Удивительно жалкой была эта согбенная спина, покрытая падающим снегом. Старик молчал и даже на собак забыл покрикивать. Невеселую думу, видно, думал Карпухин с Полыньи. Вдруг я услышал всхлипывания. Удивленно прислушался. Нет сомнения, это Карпухин. Что это он?

— Что сделали! Что сделали! — прохрипел он.— Ай, что сделали с северной землей!

И он вдруг расплакался, громко, навзрыд. Это было отвратительно: эта жалкая вздрагивающая спина, с которой сыпался снег, эти грязные слезы мужчины, замерзающие на бороде и усах, эти колченогие, замордованные собаки... Ну, чего, чего он плакал, он, равнодушный

к чужим слезам? Мне вдруг вспомнился битый Семка, как он рукавом зипуна стирал слезы, и та чукчанка, и вот эти собаки, и канарейка, и все, что я слышал и знал о Карпухине с Полыньи. Во мне росло отвращение к этому грязному старику. Я встал и пошел рядом с собаками.

А он все всхлипывал, кашлял, сморкался.

— Уничтожили,— вдруг услышал я бормотание Карпухина. Потом кашель. Потом опять: — Уничтожили! Все уничтожили! Арктику уничтожили. Жизнь уничтожили. Господи, что сделали? Господи, твоя воля!

И тогда я вдруг расхохотался. Уничтожили? Да, уничтожили. Нет больше старой Арктики, страшной, цинготной, бредовой, с волчьими законами, драмами на зимовках, испуганными выстрелами, глухими убийствами в ночи, с безумием одиночества, с одинокой гибелью среди белого безмолвия пустыни, с мрачным произволом торговца, с пьяными оргиями на факториях, с издевательствами над беспомощными мирными чукчами, с грабежом, насилием, бездельем, одурением и отупением,— нет этой страшной, трижды проклятой старой Арктики! Нет ее — уничтожили! Очень хорошо! Отлично!

(Я брел теперь по колено в снегу, но не замечал этого.)

«Этот Карпухин с Полыньи,— размышлял я,— этот последний не выкуренный из норы хищник... Последний ли? Вот он сидит, сгорбившийся, жалкий. Потому что поймали,— съежился. А вчера? А Семка?»

Как он попал в Полынью, этот Карпухин? Его загнали сюда, как загоняют охотники волка. Он убегал, петляя и волоча подстреленную ногу. По этим путаным следам-стежкам можно прочитать его историю.

Кем он был раньше? Сельским мироедом, лавочником, урядником?

Под натиском Красной Армии он отступил с белыми сначала в Сибирь, потом на Дальний Восток. Здесь понюхал-понюхал, учуял, что пахнет жареным, бросил оружие, спрятался. Но большевики приходят и на Дальний Восток. Он снова отступает, бежит, ищет берлоги, где спрятаться. Теперь его путь лежит на север. На

Чукотке он обретает железную берлогу. Отлеживается. Зализывает раны. Паразитом вползает в чукотскую семью. Его принимают как работника, но он не любит и не умеет работать. На него опять работают другие. А он ест, жадно рвет зубами мясо. Мясо оттачивает зубы. Он оскаливается. Теперь он снова прежний Карпухин-волк, и добродушная семья чукчей почувствовала на своем теле его зубы.

Но революция настигает его и здесь. Она приносит с собой новые порядки, новые отношения между людьми. Он опять бежит. Дальше, дальше, петляя и путая следы свои. Он пробирается в самую глубь тундры. Кочует с чукчами. Рыбачит с одулами. Опасается якутов. Добирается до долган. Эти — православные. Он ходит с ними в церковь, где давно нет попа, но еще есть иконы. Он то тихий хорек, то волк, то шакал. Как шакал, пристает он к своре авантюристов. Бредет за ними, оказывая тайные услуги и подбирая небрежно брошенные ему куски. Но авантюристов ждет пуля, и он опять прячется. Опять бежит. И вот оказывается на Полынье, прижатый к самому морю. Дальше — некуда. Он прижат к краю земли.

Ему кажется, что вот он уж нашел себе берлогу. Добрые дяди из треста щедро снабдили его продовольствием, и даже сахарком и липкими, свалявшимися в тесто конфетами. Он отсиживается, отлеживается, сосет лапу. Пушной план не выполняется им, он не умеет и не хочет работать, но дяди из треста дают ему еще авансы. Мясо оттачивает зубы. Находится покорный Семка.

Теперь можно и вздохнуть, легко, всей грудью. Хорошая сторонка, медвежий край, глухомань, гостеприимные дяди в редких избушках на побережье. Всегда можно найти табак для трубки, ржаную муку для собак, избу для ночлега. Никто не спрашивает, кто он, откуда, что умеет делать. Он живет. Долгая ночь сменяется большим днем, медведь — оленем, песец — гусем; полярный год состоит из одних больших суток.

За годы странствований этот человек с редкой бородкой и глазами алкоголика научился ладить с суровой природой Севера. Он приспособился к ней, отказался от многих потребностей; он соглашался жить в грязной

землянке, занесенной снегом по крышу, он умел выждать пургу, вырыв в снегу яму для себя и собак, научился терпеливо делать пешие переходы, голодать, мерзнуть, болеть, жить в грязи и лишениях. Если это и была «романтика», то «романтика» отчаяния и приспособления. Если это и была жизнь, то жизнь хищника и бездельника. Впрочем, какая она ни была, она устраивала Карпухина, другой он не хотел. И на то были у него свои причины.

Но вот сегодня он увидел новых людей. Они пришли и на Север! То были люди Большой земли, от которых он бегал всю жизнь. И вот — не сумел убежать. Они пришли сюда всерьез и надолго, навсегда; ничего не выдавало в них новичков. Они приехали не старательствовать, не страдать, не подвижничать,— они приехали работать. Они приехали не только осваивать, но и обживать Арктику, как обживают вновь сколоченный просторный дом. И они не хотели терпеть в этом доме, даже в самом дальнем и темном углу его, бездельного старичка Карпухина. Господи, куда ему деваться?

Они приехали, эти люди, с семьями и детьми, с тракторами, коровами и музыкальными инструментами, с настольными лампами, патефонами и безопасными бритвами Мосштампа. Они ни с чем не хотели мириться; ни с природой, ни с лишениями; они затеяли победить их. Льды? Они расталкивали их ледоколами. Пурга? Они пробивали косые завесы снега самолетами. Одиночество? Они подняли в небо радиомачты. Лишения? Они построили просторные дома, теплицы, бани, больницы, хлева. Их романтика была романтикой сопротивления и победы. Их жизнь — жизнью творцов и строителей. В этой жизни Карпухину нечего было делать.

Мы выбрались уже на припай. Вдали зачернело море. Бушевавшие целую неделю порывистые северные ветры прибили к острову огромные ледяные поля и спаяли их со старым береговым припаем,— теперь припай раскинулся километра на два, на три. Острые зеленоватые торосы выпирали изо льда тут и там. Чем ближе к морю, тем фантастичнее и неожиданнее были их нагромождения.

Впереди, над кромкой припая, то и дело взлетали дымки выстрелов. Это Семка с Дмитрием Павловичем

уже начали промысел. Я скоро заметил их. Они лежали у самой воды, спрятавшись за торосы.

Лед, по которому брели наши собаки, тончал и тончал. Стали попадаться глубокие трещины, словно морщины на белом лице припая. По этим трещинам, как по ризке, проведенной алмазом на стекле, станут отрываться при перемене ветра льдины и уплывать обратно в море. Это ледяные поля... Они здесь, как на якоре в Тихой гавани. Еще неделю назад они вольно неслись по холодным волнам Карского моря. И, может быть, еще неделю назад по этой льдине бродил медведь, хозяин Ледяного моря,— сейчас мирно бредут собаки. Кто знает! Через неделю эти поля снова рванутся в свое беспокойное плавание и унесут на себе в море робкие наши следы, кружевной след лемминга, веточки собачьего шага и неширокую полосу, пропаханную в снегу нартами. И новый постоялец плавучей льдины — медведь — будет озабоченно обнюхивать эти неизвестно откуда взявшиеся следы человека, и охотничья дрожь охватит его так же, как охватывает нас сейчас.

Знакомый пейзаж Студеного моря (древние греки звали его «Свернувшимся морем») ободрил Карпухина. Он начал покрикивать на собак («Эх вы, кабыздохи, шалые-е!» — словно кучер на рысаков), а когда они шарахнулись в сторону, за леммингом, огрел их длинным хореем и обругал:

— У здешних учитесь? По здешним не равняйтесь. То купчихи, а не собаки!

Он становился все воинственнее — знакомые люди, море, запахи пороха, воды, морского зверя будоражили его. Он закричал Семке и Дмитрию Павловичу, что не так они промысел начали, не так залегли, не то делают.

— Ах, чудаки люди! Ну что же вы делаете? Не так! Не так, шалые!

Но его никто не слушал, и даже Семка только досадливо отмахнулся рукой. Да и сам Карпухин был уже не уверен в себе, хотя и форсил и храбрился.

Стрелял он плохо: то ли вообще не умел стрелять, то ли сегодня расстроился. Нерпы было много. Она плескалась в полынье, образованной плавучими льдами. То и дело из воды высовывалась грациозная, блестящая сизо-серебристая спина с черными пятнами.

Чтобы привлечь нерпу ближе к выстрелу, Семка тихонько посвистывал. Нерпа любопытна: свист, шорохи на берегу, стук палки о днище лодки — все привлекает ее. Она торопливо плывет на звук, доверчиво высовывает из воды морду. В голову ее и бьют. Уже качались на воде три-четыре тушки убитых нерп, вокруг них багровыми кругами расплывалась кровь. Жирные туши, как пробки, болтались на поверхности воды и не тонули.

Но Карпухину все не удавалось промыслить нерпу. Он злился. Тоже пробовал свистеть и тут же ворчал:

— Да, посвисти, посвисти! Удивишь ее, как же! Здешняя эта нерпа, ко всему привычная. Образованная. Интеллигентка! Она, поди, граммофон слышала и роялю. Пожалуй, и танцевать умеет, выучилась, на вас глядючи.— Он поворачивал ко мне голову и ехидно хихикал.— Поглядите: ишь, пляшет! Это как называется: фострот или вальц?

Когда спустили на воду ветку [1], чтобы подобрать тушки, он тоже ввязался в поездку, чуть не опрокинул лодку, все командовал:

— Левое весло пошло! Табань, черт, правым! Оба в ход! Ах, идиеты, идиеты, такого дела не умеют!

И я все боялся, что Семка огреет его веслом.

Хоть Карпухин ни одной нерпы так и не убил, но разделывать их бросился яростно. Вот это он умел делать, говорить нечего. Нож блистал в его умелой руке, как скальпель в руках хирурга. Прежде всего он отделил печенку и, с наслаждением чавкая, стал есть ее. Усы и борода его окровянились, капли крови замерзли на волосах. Он и мне предложил отведать печенки. Я отказался.

— Напрасно, напрасно! — пожурил он.— Кто сырое мясо ест, тому цинга неизвестна...

Вот сейчас, с окровавленным лицом и руками, жадно чавкающий, весь пропахщий жирным приторным запахом ворвани, он был самим собой.

Через несколько дней с Пясины пришел пушной обоз, которого я давно дожидался. Обоз расположился шум-

---

[1] Ветка — лодка.

ным табором вокруг главного здания зимовки. Собачьи своры рвались из упряжек, визжали, но железный остол, на полметра всаженный в снег, крепко держал их на месте, не то быть бы свалке. Со всего острова сбежались местные собаки, недружелюбно накинувшиеся на гостей. Каюры длинными хореями разгоняли их; побитые собаки, жалобно скуля, расползались по своим конурам.

В кают-компании было шумно и весело. Гости, от которых пахло морозом, дорогой, псиной, пушниной, толпились, ели, громко и все сразу разговаривали. Их окружили зимовщики. Тут же толкался Семка. Он повеселел, стал как-то и выше, и шире, и смелее. Парня нельзя было узнать. Карпухина нигде не было видно.

С этим обозом я должен был уходить на юг, в Дудинку. Посоветовавшись с начальником зимовки, я решил взять с собой Карпухина. Его нельзя было более оставлять на Севере, на Полынье. Было решено, что на промысел Семка вернется один. А с Карпухиным мы в Дудинке по душам потолкуем!

Я сообщил об этом решении Карпухину.

Ночью мы тронулись в путь. Иногда, оглядываясь назад, я видел нарту Карпухина. Он сидел сгорбившись. Его колченогие собаки понуро бежали по синей бухте.

1937

РАЗГОВОР

Хмурый огромный Котельников шагнул к микрофону. Диктор заботливо подал ему наушники. Плотник надел их и услышал свист эфира.

— Нюша! — позвал он негромко.— Анна Степановна!

Он подождал немного.

— Архангельск! Архангельск! — закричал рядом диктор.— Даю счет для настройки. Раз, два, три, четыре... Слышите ли нас? Продолжаем разговор зимовщиков с родными. У микрофона товарищ Котельников. Пригласите к аппарату жену товарища Котельникова, Анну Степановну.

— Это я, Анна Степановна,— раздался вдруг не то испуганный, не то удивленный женский голос.— Это ты, Петр Максимович?

— Я, Нюша,— сказал Котельников.— Ну, здравствуй, Нюша. Здоровье ваше как?

— Здоровье ничего.

— А как Зинка?

— Зинка — ничего. Она тут.

— Я здесь, папа,— прозвенел напряженный детский голосок.

— Здравствуй, Зинка! Ну, как живешь, ничего?

— Ничего, папа. Учусь. Три «хора», одно «отлично» и одно...— она запнулась и прошептала огорченно: — и одно «пос». А ты как?

— И я ничего. Ну, погоди, пусть мамка со мной еще поговорит. Нюша? Так.— Котельников помолчал немного, покусал усы, потом посмотрел в микрофон и сказал: — Значит... ничего живете?

— Живем ничего,— ответила жена.

Ее голос звучал неуверенно. Мне все казалось, что она испугалась, боится чего-то. Они повторяли: «Живем ничего, да, так-то»,— и вдруг оба замолчали.

Котельников шумно дышал (его дыхание, подхваченное и усиленное репродуктором, казалось хриплым, судорожным). Диктор удивленно взглянул на плотника и что-то прошептал ему. Котельников мотнул головой и произнес:

— А дрова привезли?

— Привезли, Петр Максимович,— обрадованно подхватила жена.— Ничего... Тепло теперь.— Она запнулась и растерянно прибавила: — У нас все по-прежнему, Петр Максимович. Вы не беспокойтесь.

— Ты смотри, Нюшка,— глухо сказал Котельников.— Смотри. Помни. Знаешь, о чем говорю?

— Знаю,— прошептал репродуктор.

— То-то, Нюша. Ты помни. Ты себя помни, Нюшенька,— он выговаривал слова медленно, раздельно.

— Что вы, Петр Максимович! — сконфуженно пробормотала жена.— Что ты, Петенька... Люди тут...

— Что ж люди? Дело такое. Ты вроде солдатки теперь. Долго ль? Так ты помни... что обещала... Приеду — спрошу.— Он помолчал немного, подождал, потом сказал, вздохнув: — Так ничего живете? Ну-ну. Теперь Зинку давай.

— Она тебе стишок выучила, скажет,— обрадованно затараторила жена.— Зина, Зинушка, ну, скажи папе стишок. Ну, что ты, дурочка?

Зинка откашлялась и звонко отбарабанила стишок. Мы заметили, что у Котельникова блеснули слезы на глазах.

— Так, молодец, доченька. Приеду, подарок привезу.

— Медвежонка? Живого?

— Живого, доченька. Вот... Медвежонка тебе... Так, так... Значит, учишься! Ничего? И здоровье ничего? Так, так...— Он помолчал и, придвинув локти ближе к микрофону, проговорил тихо: — Зинушка... А что... мамка тебя не обижает?

— Нет, нет! — весело закричала Зинка.

— А... а мама все дома с тобой? Иль куда ходит?

Репродуктор донес до нас торопливый шепот Нюши:

— Скажи: никуда, мол, не ходит.

— Никуда, мол, не ходит,— неуверенно повторила Зинка.

— Ну, а к маме кто... ходит? — прохрипел в микрофон Котельников.

Мы не выдержали и зашипели из всех углов:

— Что ты, Котельников! Ведь в эфир говоришь. Позоришь ты нас. Кого допытывать стал — ребенка! Стыд тебе, Петр!

Но он только отмахнулся от нас рукой. Его зубы были стиснуты, он весь подался вперед, к микрофону.

— Никто к мамке не ходит! — сердито крикнула Зинка и расплакалась.

Возмущенные, мы закричали на Котельникова. Он встал, швырнул наушники на стол и, ссутулившись, молча пошел к двери, хмурый, измученный.

1938

БОЦМАН С «ГРОМОБОЯ»

Немногие знали его настоящее имя. Все звали его просто боцманом. Когда-то он плавал на легендарном «Громобое», пережил Цусиму, служил и царю, и купцу, и ученому. Теперь он состарился, но от моря уйти не мог.

Я не знаю, как попал он сюда на зимовку, но смены менялись, начальники менялись, а он все оставался в домике на крутом берегу бухты,— старый моряк на мертвом якоре. И хоть море девять месяцев в году было сковано льдом, но старик уверял, что здесь и лед пахнет солью. Он величал себя «старой матросской шкурой, просоленной в семи морях и четырех океанах», и говорил, что этого «рассолу» ему хватит навек.

Он был в том возрасте, когда уже не стареют. Его черные глаза блестели удивительно молодо и насмешливо, седоватые боцманские усы были щегольски подстрижены, морская фуражка лихо сдвинута набекрень, а на волосатой груди и на руках красовались косые синие якоря.

Боцман был суетлив, подвижен, строен, как может быть подвижен и строен старик и моряк. Он вечно балагурил, подмигивал, рассказывал смешные истории, сыпал прибаутками — солью корабельного камбуза. Знать и впрямь был крепок «рассол», в котором жизнь вымочила этого человека, если сумел он и в пресной стариковской гавани сохранить свою бравую оснастку. Когда-то в Соликамске я видел старые строгановские варницы [1]. Деревянные срубы стояли извечно, не поддаваясь

---

[1] **Варница** — солеварня.

ни времени, ни тлению, ни распаду: они были пропитаны солью. Я вспомнил эти старые варницы, глядя на боцмана.

Зимой боцман работал в порту: насвистывая и разговаривая сам с собой, возился подле старых катеришек. Что-то чинил, красил, строгал. То были дрянные японские «кавасаки». Замечательное дерьмо, как высказывался о них боцман, и все дрянное и худое стал звать «кавасаки»: худые валенки — кавасаки, тупая пила — кавасаки, скверный борщ — кавасаки.

По вечерам в кают-компании вокруг боцмана собиралась портовая молодежь, и он потешал ее. Он врал, но складно; подмигивая левым глазом под седой косматой бровью, он отплывал в такие фантастические плавания, что даже бывалый полярный народ уши развешивал.

Ну что ж, если хотите — он корчил шута. И сам лучше всех знал это.

— Отчего я не помираю, братцы? — говорил он, подмигивая.— Да все вас жаль: скучно вам без меня зимовать будет.

Но летом, в горячие дни навигации, старик преображался. Шутовство слетало с него, словно смытое водой. Он становился строг и озабочен. Теперь было не до шуток: под ним качалась палуба. Правда, то был не линейный корабль и даже не «купец», а всего-навсего дрянной кавасаки. Но море остается морем, а к морю он относился с религиозным благоговением.

Целыми днями носился боцман на катере по бухте. Стоя твердыми ногами на обрызганном волнами носу, командовал:

— Льдина по правому борту! Полный назад! Полный вперед! — и, приставая на своей скорлупе к неуклюжим ледоколам, властно кричал хриплой, простуженной боцманской глоткой: — Э-эй, на «Сибирякове-е»! Э-эй, на «Ермаке-е»! Бери конец!

И так лихо, с таким мастерством и шиком бросал канат, что сразу узнавался старый боцман.

Его знали на всех ледоколах, лесовозах, теплоходах и лихтерах, плавающих в западных долготах Арктики. Он давно уже стал привычной принадлежностью диксоновского пейзажа, как деревянный маяк с керосиновой

лампой на берегу, как знак Вернса в проливе, как седые камни в бухте у Белушатника. Немыслимо было бросить якорь на рейде в проливе Вега, чтобы через полчаса не услышать хриплого знакомого: «Э-эй, на посуде-е!»

Моряк с «Хронометра», смеясь, говорил мне, что в тот день, когда не прогудит у борта клич боцмана, он выкинет сигнал бедствия, решив, что наступил конец света.

Вот каков был наш боцман с «Громобоя». Таким я застал его на зимовке, таким оставил, уезжая. Через год я встретил его там же, но уже в новой и необычайной роли.

Однажды весной в порту случилось несчастье: при взрыве скалой придавило старика подрывника, Тараса Андреича. Его вытащили из-под груды камней и, так как он не охал, не стонал и не жаловался, испугались было, что он умер. Но старик произнес:

— До больницы... доеду...

Сопровождать его в больницу вызвался боцман — старики были приятелями. Раненого уложили на нарту, боцман сел рядом, обнял приятеля за плечи и крикнул на собак:

— Усь, усь, тихий вперед! Старайтесь, собачки, вы теперь санитарный транспорт.

Он шутил, но на глазах у него блестели слезы. Раненый утешал его:

— Ничего, ничего, боцман. Не расстраивайся. У меня кость железная. Не так-то скоро ее сломишь.

— Ты потерпи, Андреич,— в свою очередь утешал раненого боцман.— Сам знаю, что такого красивого мужчину камнем не придавишь, не блоха — человек. Вот у нас на «Громобое» тоже случай был: кочегар по пьяной лавочке в топку залез...

— Не могло этого быть, боцман. Ох!

— Ну и не могло, что ж с того? А кочегар-то выжил. Здоровехонький из топки вылез... Так вот и ты. Не унывай.

Так, утешая друг друга, старики прибыли в больницу. «Санитарный транспорт», высунув розовые языки, стал лизать снег и рваться из упряжки, а боцман, подняв товарища на руки, как малое дитя, внес его в больницу.

В больнице острова в те поры остался один доктор: заболевшую медсестру самолетом отправили на Большую землю. Доктор и оперировал, и лечил, и ходил за больными, и таскал воду, и чуть ли не сам мыл полы. Он попросил боцмана помочь ему при перевязке. Боцман согласился. И хотя ему стало чуть нехорошо при виде крови и замутило от больничных запахов, он и виду не подал, что «слабит», и даже шутил:

— Ах, Тарас Андреич, посуда старая. Вот доктор тебе сейчас капитальный ремонт даст. Такой тебе парусок приладит — чайкой взовьешься. Ты потерпи.

И Тарас Андреич, стиснув зубы, молчал и терпел. И даже гордо улыбнулся, когда мучительная перевязка кончилась: вот, мол, и не пикнул.

Доктор попросил боцмана немного посидеть с больным. Боцман обрадовался: ему уходить не хотелось. Он просидел весь вечер, развеселился и развеселил все немногочисленное население больницы. В этот вечер он рассказывал о механическом человеке.

— Был у нас на «Громобое» механический человек, братцы,— повествовал он, подмигивая.— Свинчивался утром, на ночь развинчивался. Между прочим, мой земляк — калуцкий, и из одного уезда, из Масальского. Его, значит, били в жизни много: и урядник бил, и мастер учил, и боцман прикладывался, и старпом нет-нет да ручкой и охорошит, а ручка офицерская тяжелая,— совсем изломали парня. Ни ребер, ни рук, ни ног. И был у него дружок — тульский слесарь. И говорит туляк: «При такой твоей битой жизни, бедняга, тебе надо кости иметь не человеческие, а железные. Дай-ка я тебя изладю». И изладил ему туляк механические руки, ноги, ребра — все на винтах да на шурупах. Переломает ему, к примеру, старпом ребра, а он и глазом не моргнет — мигом в кузницу, сварят, склепают — и снова гож под линек. Так-то, Андреич! Вот попроси доктора, нехай тебе механические ребра выхлопочет.

Короче говоря, боцман скоро освоился с больницей, словно то и не больница вовсе, а знакомый, теплый, пропахший тютюном и потом полубак. Никогда еще не было у боцмана таких благодарных слушателей, как эти больные. Он чувствовал, что нужен им, может быть, даже не меньше, чем доктор. И даже возгордился немного.

— Ну-с, болящие? — спрашивал он утром, входя в палату.— Как вы тут без меня? Температурку мерили?

Незаметно для себя боцман так и остался в больнице. Тарас Андреич выписался, зато другие больные появились — на кого же их покинешь? Он ходил за ними, как за малыми ребятами, помогал доктору при перевязках и операциях, был даже один раз «ассистентом при родах» (как важно хвастался он на кухне),— словом, стал незаменимым человеком в больнице. Доктор у начальника оформил переход боцмана на время в больницу, и старик стал «медсестрой».

У него был уже свой халат (он называл его «медицинской робой»), он завел себе очки, как и доктор, но для смеха выбрал очки дымчатые (их носят полярники в белые солнечные дни). Когда приходили больные, он надевал очки на самый кончик своего синеватого крупного носа и строго спрашивал:

— Вы к доктору или ко мне?

— К тебе, боцман, к тебе,— охотно подхватывали шутку больные.— Подсоби, сделай милость. Неможется.

— Ага! Ну, расскажи, что ж у тебя болит? В области живота или в области кишок?

Больной рассказывал.

— А ну покажь язык,— требовал боцман.— Дрянной язык, болтаешь много. Ну, это мы с доктором тебе все исправим. Подвинтим, смажем, просмолим, законопатим.

Он вводил больного к доктору, сохраняя при этом все тот же невозмутимый «научный» (как выражался он) вид, только глаза его блестели насмешливо, как у факира-любителя, показывающего смешной фокус.

— Вот этот гражданин — больной, доктор,— представлял больного боцман.— Я уж его немножко освидетельствовал, между прочим. Но нужен консилиум. Вы как думаете, аппендикцит?

— А вы как полагаете, коллега? — не улыбаясь, отвечал доктор.

— Я полагаю, надо операцию сделать, доктор.

— Я с вами вполне согласен, уважаемый коллега. Только не операцию, а касторку.

— Вот и я это самое думал. Олеум рецини — сила медицины. Сколько ему касторки вкатить?

Ну что ж, если хотите, он и здесь корчил из себя шута, клоуна в «медицинской робе». И сам лучше всех знал, что это шутовство. Но, знаете, невеселая это вещь — болеть, тем более болеть на зимовке. И больные были несказанно благодарны веселому боцману за его лекарство, лучшее в мире,— за смех. Смех лечит. Доктор всерьез «прописывал боцмана» больным.

Странно, что, постоянно находясь в больнице, среди разговоров о болях и смерти, боцман сам оставался чужд стариковскому страху смерти. Считал ли он себя бессмертным? Ему уже за шестьдесят. Он прожил жизнь долгую и трудную. Пора бы и на покой, дозимовывать жизнь на Васильевском острове в Ленинграде. Но ему все было недосуг подумать о смерти и покое. Он доживал свои дни так же беззаботно, как жил,— со смехом и свистом.

Иногда он, впрочем, говорил:

— Когда почую я, братцы, что смерть от меня не дальше двух кабельтовых, отправлюсь я снова в море, в последнее плавание.

И тут же начинал развивать фантастический план, чертил длинным пальцем в воздухе маршрут плавания, обстоятельно объяснял, в какие гавани будет входить и что делать на берегу. («Всю жизнь мечтал живого попугая добыть. Вот тогда и добуду!») Слушатели поддакивали ему, но знали, что уже не плавать старому боцману по семи морям и четырем океанам. Да и сам он знал: не плавать. С морем кончено. Это он лучше всех знал. И это было его тайной печалью.

Ну что ж! Не плавать — так не плавать. Он был дядькой моряков, теперь стал их нянькой. Он сам набился в няни. Потому что тепло старику подле нуждающихся в нем людей. Потому что и людям тепло с ним.

Я застал боцмана в больнице. Он был в халате и морской фуражке. Увидев меня, он вытянулся во фронт и приложил правую руку к козырьку, в левой он держал клизму.

— Честь имею представиться! — гаркнул он.— Старший помощник главного доктора, боцман-акушерка.

И, весело подмигнув мне, расхохотался, замахал клизмой.

Где ты зимуешь, где плаваешь теперь, чудесный боцман? Ушел ли в заветный, предсмертный рейс или пустился в такое плавание, из которого уже не возвращаются на берег? Или удалился на покой, дозимовывать жизнь на Васильевском острове? Или все еще зимуешь в Арктике, носишься на дрянном кавасаки по бухте, хрипло кричишь: «Э-эй, на коробке-е!» — и лихо, в пику молодым матросам, бросаешь конец?

Но всякий, кто хоть день пролежал на больничной койке на Старом Диксоне, никогда не забудет тебя, старший помощник главного доктора, боцман-акушерка!

1938

ВОЗВРАЩЕНИЕ САТАНАУ

Историю возвращения Сатанау мне рассказал Ребровский, партийный работник Чукотки. Целый месяц мы прожили с ним в фактории Майна Пыльгина, на побережье Берингова моря. Мы ждали парохода, парохода не было.

Днем мы бродили по берегу, уныло глядели, как играют в море коричневые стада кашалотов (это было сначала забавно, потом стало скучным, потом нестерпимо надоело: никогда не видел животных глупее этих тупомордых мокрых чудовищ!), а по вечерам валялись на расстеленных по полу оленьих шкурах, курили, играли в кости, зевали.

Я знал уже и историю первой любви Ребровского, и то, как он женился, и какие он блюда любит. По-моему, мы тоже друг другу осточертели. В последние дни мы уже лежали молча, каждый в своем углу.

— Хотите,— неожиданно сказал он однажды вечером,— я расскажу вам историю Сатанау?

— Ладно, рассказывайте.

— Но прежде послушайте о Нам-Боке.

— А это что еще?

Он вытащил из-под подушки растрепанную и засаленную книгу и прочел мне рассказ Джека Лондона «Нам-Бок — лжец».

Вот история Нам-Бока.

После десятилетнего странствования по чужим морям он вернулся к родному очагу. Эскимосы встретили его пугливо: они были уверены, что он пришел из царства теней. Нам-Бок рассказал им о том, что видел в стране белых, о железном доме, который без весел

плывет по морю, о звере, которого кормят камнями и он за это возит людей по земле... О многих чудесах рассказал Нам-Бок. Но эскимосы высмеяли его и назвали лжецом: железо тонет в воде, зверя не кормят камнями. И они изгнали Нам-Бока с позором от родных очагов. Такова история Нам-Бока, рассказанная писателем Джеком Лондоном.

А вот история Сатанау, рассказанная мне Ребровским в фактории Майна Пыльгина, на побережье Берингова моря, в томительные дни нашей «вынужденной посадки».

Пароход пришел с востока. Он стал на рейде, за скалой, так как в бухте еще толпился лед: вчера был норд. Сегодня сильным вестом выносило лед из бухты, и капитан надеялся к вечеру пристать ближе и начать выгрузку. Он стоял на мостике, курил трубку и равнодушно глядел на давно знакомый берег.

С берега навстречу пароходу ринулись нетерпеливые катера. Искусно лавируя между зеленоватыми плавучими льдинами и голубыми знакомыми стамухами, они подошли к пароходу, люди вскарабкались по штормтрапу на борт, чтобы поскорее взять почту, газеты, услышать новости и — главное — поглядеть новых людей, поболтать с ними.

Это был первый пароход в нынешнюю навигацию, и встречать его на берег высыпало все население поселка: зимовщики полярной станции, береговые чукчи-зверобои, их жены, дети и собаки. Все это толпилось на берегу, шумело, суетилось, нервничало.

Наконец вернулся катер. Он уткнулся носом в мокрый песок, и на берег стали выпрыгивать люди — моряки, пассажиры, зимовщики.

Последним сошел человек в синем комбинезоне, с карманами, прошитыми в два ряда белыми нитками. Такие комбинезоны носят на Аляске, на японских рыбных промыслах, и у нас на Камчатке. За плечами у человека болтался мешок — весь его багаж. Ни на кого не глядя, ни с кем не заговаривая, уверенно, как человек, которому здесь места знакомы, он прошел вверх по берегу, выбрал камешек посуше, сел и озабоченно начал стаскивать сапоги. Затем достал из мешка ботинки, яркий, алый с синими горошинами, галстук, такой же

платок, бережно и любовно разложил все на камне, спрятал в мешок сапоги, ботинки обул, галстук повязал на шею, платок сунул в карман на груди и улыбнулся довольной улыбкой. Затем направился к людям на берегу.

Он подошел прямо к группе чукчей и остановился перед ними, картинно расставив ноги и улыбаясь.

— Вот я вернулся,— сказал он по-чукотски.— Вот, наконец, я приехал.

На него удивленно глядели десятки глаз. Он догадался, что его не узнали, и обрадовался этому. И опять засмеялся. Гордо выпятил грудь, вытащил платок и помахал им вокруг лица.

— Кто ты, человек, говорящий, как настоящие люди? — спросил дрожащим голосом старик в очках.

— А, это ты, Пеляугын? — засмеялся пришелец.— Кто тебе дал очки? А это... это... Тыгренкау? — продолжал он, вглядываясь в лица.— Это Укутагын? — Он переходил от одного к другому, а они следили за ним растерянными взглядами.— Это Ичель... Это Кау-Кау. Ты стала старой, Кау-Кау, как прокисший хлеб. Это твои дети?

Он узнавал только стариков. Молодые были незнакомы ему. Он покосился на двух молодых ребят в европейских пиджачках. На одном из них он с досадой увидел галстук. Но его галстук был ярче, красивее, и он успокоился. Он поискал глазами кого-то в толпе и не нашел. Его лицо омрачилось.

— Кто ты, кто ты, человек, знающий нас? — удивленно спросил Укутагын.

Пришелец громко захохотал.

Но Пеляугын, который был в очках, и потому видел лучше всех, вглядевшись в пришельца, нерешительно произнес:

— Э! Это ты, Сатанау! Ты вернулся?

— Да,— гордо ответил пришелец.— Я Сатанау. И я вернулся.

— О, Сатанау!

— Сатанау вернулся!

— Это ведь Сатанау! — раздались голоса, и все весело окружили парня в синем комбинезоне.

— Но где же ты был, однако, Сатанау? — спросил Пеляугын.

— Там. За морем,— показал Сатанау рукой.— Я был там, где никто из вас никогда не был. Потому что я великий человек.— И он ударил себя кулаком в гулкую грудь.

Они пошли за ним толпою в поселок и говорили выбегавшим навстречу женщинам — тем, которые не были на берегу:

— Это Сатанау. Он вернулся.

И женщины, дети, собаки — все приставали к шествию, возглавляемому парнем в синем комбинезоне, наконец вернувшемуся к своему очагу.

Сатанау усадили на почетное место у огня, и все население поселка расселось вокруг. От котлов исходил аппетитный запах мяса и жира, и Сатанау, не дожидаясь приглашений, запустил руку в котел, подцепил огромный кусок мяса и жадно стал есть. Все терпеливо ждали, потому что Сатанау делал правильно: человек не расскажет новостей, пока не насытится.

А он выхватывал из котлов самые жирные куски, ел, громко чавкая, и хвастливо кричал, опьяненный едой:

— Да, да! Давайте мне лучшие куски. Давайте воду. Табак давайте. Теперь я буду есть печенку тюленя. Где Умкугын, старый пес? Прогоните его, теперь я буду шаманом, я видел великое колдовство там за морем.

И все чукчи смеялись, как люди, умеющие ценить шутку.

Когда Сатанау наелся,— а ел он много и долго,— его попросили рассказать о том, где он был и что видел. Он закурил трубку и торжественно начал:

— Вы, сидящие у этого очага мои соседи! Ты, Пеляугын, ты, Тыгренкау, ты, Укутагын, и вы все! Слушайте Сатанау, он расскажет вам то, что вы никогда не услышите и не увидите.— Он хотел продолжать в том же торжественно-величавом тоне, к которому готовился десять лет, но сорвался и дальше уж говорил выкриками, хвастливыми и бессвязными.

— Э! Вы! Чукча Сатанау — великий человек, однако. Он был за морем. Хо! Он как ветер... С китобоями на Аляску, хо! Потом Америка... Фриско. Видел чудеса.— Он сделал большие глаза и сказал шепо-

том: — Я видел птицу, на которой летели люди, и птица была железная, вся железная, как вот этот котел.

— О-о! — удивленно протянул Тыгренкау.

— Это самолет, — тихо прошептал Пеляугын. — Мы тоже видели эту птицу. Мы думали, она родилась, как птица из гнезда, но нам сказали, что ее сделали люди.

Сатанау метнул на него яростный взгляд.

— О! — закричал он. — Где же ты видел эту птицу, старик с четырьмя глазами? Тебе снилась она?

— Здесь, — ответил Пеляугын и показал рукой на бухту. — Они часто сюда прилетают.

— Но вы не летали на ней! — рассердился Сатанау. — Ни один чукча не летал на ней! Я! Я! О, я! Я хотел лететь на ней. Я не боялся, но это стоит много денег, а зачем бросать деньги на воздух?

— Мы не летали, — сказал Укутагын, — но Тывлянто летал. Он говорит: хорошо. Он ничего не говорил о деньгах.

Добродушному Тыгренкау показалось, что невежливо так спорить с пришельцем. И он сказал примирительно:

— Пусть говорит Сатанау, не мешайте Сатанау говорить. Он видел больше нас, он десять лет бродил по земле, а мы сидели здесь, у моря.

— Да! — крикнул Сатанау. — Я бродил по земле десять лет. И я видел великое колдовство. Я вернулся, чтоб показать вам чудо. Прогоните Умкугына, я буду теперь сам шаманить.

Все снова засмеялись и ничего не сказали, и только неугомонный Пеляугын не стерпел и произнес:

— У нас нет шамана, однако.

— Тогда я буду шаманом. — Сатанау поднялся на ноги и обвел всех гордым взглядом. — Кто из вас был в стране за морем? Я! Хо! Вы увидели птицу, которая летает, и думаете, что все уже видели? Хо! Я видел более удивительное.

— Расскажи, однако, — попросил Тыгренкау, и все дружелюбно закивали головами.

— Э, э, расскажи...

— Я видел — сказал Сатанау, усаживаясь на свое место у очага, — железные нарты, которые тащил желез-

ный зверь, и на нартах этих ехало столько людей, сколько нет на всем побережье.

— О! — удивленно произнес Тыгренкау, но молодые чукчи пошептались и один из них застенчиво произнес:

— Это называется па-ра-воз...

— Да, да, мы видели это на картинке,— вспомнил Пеляугын.— Это самолет без крыльев. Это пароход, только ходит по земле, а не по воде. Мы это видели, Сатанау, на картинке. Значит, это правда? Иные не верили.

— Па-ра-воз,— снова ободрившись, произнесли молодые чукчи в европейских пиджачках.— Он идет паром. Там есть машина.

— Мальчишки должны молчать, когда говорят взрослые,— проворчал Сатанау.— Разве теперь у чукчей нет больше мудрых стариков, что начинают тявкать щенки?

— Рассказывай, Сатанау,— примиряюще произнес Тыгренкау,— мальчишки будут молчать.

— Я видел,— сказал Сатанау, бросая яростные взгляды вокруг,— то, чего никто не видел. Кто видел — умер, и кто увидит — умрет. Я! Я один жив. Я видел полотно, белое, как снег, и чистое, как снег. И великий шаман ударил в бубен, и на полотне появились тени. И все, кто был тут при этом, умерли от страха. Только Сатанау не умер. Он видел, как ходили по полотну тени, грозили людям ножами и шипели, как злые келе... О! То было страшно. Но я не умер.— И он обвел гордым взглядом всех присутствующих.

Молодые чукчи снова зашептались, но Укутагын, метнув на них сердитый взгляд, сам произнес:

— Мы тоже видели полотно и тени, Сатанау. Там,— он показал в сторону полярной станции,— в праздники нам показывали это чудо. И мы тоже боялись, что умрем, но...

— Я видел,— закричал, перебивая его, Сатанау,— как люди говорят друг с другом, и один в доме на берегу, а другой на пароходе в море. И они слышат голоса, и я сам говорил и слышал. Это чудо, мужчины, это я вам говорю.

Все засмеялись, но никто не решился перебить Сатанау. А он, боясь, что его перебьют, продолжал:

— Я видел лампу, которая горит без жира, и без керосина, и без дров. И я видел ящик, в котором запертые сидели и пели веселые келе... Это была красивая музыка, какой никто из вас никогда не слышал.

Но тут поднялся с места добродушный Тыгренкау и пошел к своей яранге. Люди проводили его удивленным взглядом, и даже Сатанау остановился и растерянно стал ждать, что будет. Тыгренкау скоро вернулся, в руках его был длинный ящичек. Он поставил его на землю у очага и сказал радушно:

— Тебе будет приятно, Сатанау, послушать музыку.— И он открыл патефон.— Я отдал за этот ящик два песца. А Укутагыну его дали даром,— прибавил он с сожалением.

— Мне дали за то, что я лучший охотник,— оправдываясь, объяснил Укутагын.

Он хотел еще что-то сказать, но в это время заиграл патефон. Нежные звуки танго полились над тундрой и поплыли над морем. Мужчины и женщины зачарованно слушали музыку, и кивали в такт головами, и раскачивались всем телом, и шептали:

— Э! Э! Правильно.

Тыгренкау гордо вертел ручку патефона. Сатанау понуро сидел у огня на своем почетном месте. Он опустил голову и смотрел в землю. Его глаза были тусклы, руки ослабли и опустились, вся его фигура выражала тоску и усталость. Стихла музыка, все снова повернулись к Сатанау, ожидая его рассказов, а он по-прежнему молча сидел и смотрел в землю. Отчего-то стало всем неловко и грустно; Укутагын яростно запустил костью в собак, возившихся у яранги. Тыгренкау растерянно вертел ручку патефона. Было тихо у очага, только бездельницы чайки, хохоча, носились над побережьем.

Тогда подошел ближе к огню ядовитый Пеляугын, снял очки, протер их, надел на самый кончик носа и сказал, обращаясь к Сатанау.

— Ты бродил десять лет по чужой земле, Сатанау, а мы сидели здесь, у моря, и били моржа, и били зверя. Ты стал человеком, зря ходящим по земле, а мы

остались, как были. Что же ты видел такого, чего бы не видели мы? Ты не умеешь жить[1], Сатанау, однако.

И Сатанау совсем согнулся от этого страшного ругательства, но ничего не ответил, а только еще глубже втянул голову в плечи.

Добродушному Тыгренкау стало жаль его. Он покачал головой и сказал Пеляугыну:

— Ты не должен его ругать, Пеляугын. Он гость у нашего очага.

И Укутагын тоже сказал:

— Не следует ругать Сатанау. Разве наши юноши не уходят странствовать на Большую землю, а потом разве они не возвращаются к своему стойбищу людьми большой мудрости?

— Но они учатся на Большой земле! — пронзительно закричал Пеляугын и забрызгал слюной.

— Может быть, и Сатанау чему-нибудь научился,— примиряюще сказал толстый Тыгренкау: все толстые люди любят мирную беседу.

— Чему же ты научился Сатанау, однако? — закричали все ободряюще.

Но Сатанау ничего не ответил.

— Может быть, ты научился лечить людей? — спросил Укутагын.— Сын Рыккона из Ванкарема вернулся с Большой земли и теперь лечит людей тундры. Может быть, ты тоже умеешь лечить?

— Нет,— тихо сказал Сатанау.

— Тогда ты, может быть, стал моряком, как Ранау? Он плавает по морю и знает машину, как мы знаем собаку.

— Нет,— грустно покачал головой Сатанау.

— Тыгренкау понял! — закричал вдруг Тыгренкау.— Он будет учить наших детей в красной яранге, как учит их учитель, что родом с Чауна.

— Это женское дело,— проворчал Укутагын,— а он мужчина.

— Нет, я не умею учить детей.

Чукчи неодобрительно зашептались между собой. Но Тыгренкау не потерял еще надежды защитить от обид гостя.

---

[1] Это одно из самых оскорбительных ругательств у чукчей.

— Вот Тывлянто! — закричал он.— Он не учит детей и не лечит мужчин в тундре. Но он большой человек на Чукотке, и он сидел в Большой яранге и толковал о чукотских делах. Может быть, ты стал большевиком, Сатанау?

— Нет,— покачал головой гость.

— Но ты умеешь резать по кости, как Вуквол? За это платят хорошие деньги. Может быть, ты умеешь водить машину? Еще бывают люди, умеющие говорить по воздуху. Анчено, сын Таюге, говорят, работает на станции.

— Нет, не умею,— прошептал Сатанау.

Тыгренкау смущенно развел руками и произнес:

— Ну что ж, ты будешь по-прежнему, как и мы, бить зверя в море. Но ты не великий человек, Сатанау. И ты не должен ничем гордиться перед нами.

— Я хотел быть у вас шаманом! — пробормотал Сатанау.— Я видел за морем много чудес...

Все зло засмеялись, а Тыгренкау даже громче всех: толстые люди любят смеяться.

И, смеясь, говорил ядовито Пеляугын:

— По какой ты земле бродил десять лет, Сатанау? Наши юноши тоже уходят бродить по свету. Они едут в большие селения и там учатся много, очень много лет. Потом они возвращаются к нам, и они знают много чудес, но никто из них не хочет быть шаманом. По какой ты земле бродил, Сатанау, что ничему не научился? Такой нет земли, однако.

И все закричали:

— Расскажи, Сатанау, про эту землю.

И он стал рассказывать про землю за морем. Он сказал, что был на рыбных промыслах, и рыбы, сказал он, там много, но Сатанау был вечно голоден.

— Отчего же ты голодал, Сатанау, раз там много рыбы?

— Там рыба чужая.

— Рыба того, кто ее ловит,— сказал молодой чукча в пиджачке и галстуке.— Кто убил моржа, тот его ест. Разве нет?

— Нет,— усмехнулся Сатанау.

Но молодые чукчи решили, что он лжет.

Он рассказывал о том, как бродил по стране и искал

и не мог найти работы. Он приходил на промыслы, на фермы, на заводы, показывал свои здоровые руки, но его гнали прочь и говорили: не надо.

— Ты был болен, Сатанау? — спросил Тыгренкау.

— Нет, я был здоров.

— Отчего же здоровому нет работы?

Он не знал, как объяснить, и замялся. И тогда уже все решили, что он лжет, и покраснели от стыда за него: мужчины не должны врать — это стыдно.

А он продолжал рассказывать про странную землю, по которой он бродил десять лет, в его голосе не было теперь ни нотки хвастливости, а только одна усталость и боль. Но рассказы его были непонятны людям у очага. Молодые чукчи решили, что он лжет про землю за морем, — такой страны нет; взрослые качали головами и говорили: «Да, это было, было когда-то... Но теперь этого нигде нет. Ты рассказываешь про то, что было. Отчего ты не хочешь рассказать про то, что есть?»

И все решили, что Сатанау лжец, и отвернулись от него. Женщины увели от очага детей, чтоб они не видели и не слышали, как лжет мужчина; мужчины понемногу разошлись. Сатанау остался один.

Когда утром люди проснулись, они стали искать Сатанау, чтоб опять накормить его, но Сатанау нигде не было. Он исчез.

И до сего дня никто не знает, куда исчез Сатанау.

1938

ТАЯН-НАЧАЛЬНИК

1

Таян умирал с голоду в бухте Провидения. Его отец, старый Кисимбо, уже умер. Он был хороший охотник и хороший моряк. Мистер Томсон, на шхуне которого плавал Кисимбо, досадливо пожал плечами. «Жаль,— сказал он,— но все люди смертны, а чукчи смертнее всех».

Таян похоронил отца на чукотском кладбище. Мать Таяна была эскимоской, и себя Таян считал эскимосом, но отец был чукча, и ему следовало лежать здесь. Таян положил труп на мерзлую землю и обложил со всех сторон камнями, как требовал обычай.

Не следовало человека зарывать в землю,— ему будет тесно и душно там. Какая под землей охота? А Кисимбо был охотник.

Таян хорошо положил отца: старик мог видеть небо, где жил великий Киянгак — бог мира, и море, где рыбой и зверем правил Мыхым-юга — бог моря. Боги видели: чукча Кисимбо умер плохой смертью, смертью голодного. Не так следовало бы умереть охотнику, у которого верное копье, меткий глаз и умелые руки. Но боги видели и молчали...

Через несколько дней песцы съели старого Кисимбо. Остался скелет; он лежал среди камней, пустые глазницы черепа смотрели в небо. Песцы были сыты. Люди умирали от голода.

Медленной смертью умирал Таян. Умирала мать его, старая Инкали. И сестры — Пувзяк и Коконга. И жена Таяна, Утыхтыкан; несмотря на свои семнадцать лет, Таян был уже два года женат.

Все эти женщины умирали на его глазах. Чем он мог помочь им? Он был еще мальчик, он не умел ладить капканов, у него было плохое, старое ружье. И хозяин вельбота смеялся над ним и не давал вперед мяса. Медное безбородое, в жирных морщинах, лицо хозяина тряслось от смеха.

— Нет,— говорил он сквозь смех.— Не дам.

Таян уходил в тундру, смотрел капканы — ничего не было в них. Еле волоча ноги, брел он по пустому побережью моря, по мокрой гальке, где среди камешков еще шипела пена прибоя, по скользкому мху. Искал зверя, птицу, рыбу, все, что можно есть. Он был бы рад и дохлой чайке, но дохлых не было, а живые кружились над ним, пронзительно крича и насмехаясь, и он не мог подстрелить их: не было дроби.

— О Мыхым-юга! — не раз жаловался Таян богу моря.— Почему ты даешь мне смерть, мне и моей старой матери, и маленьким сестрам, и жене? Почему песец обходит мои пасти? Почему нерпа не подплывает к моему ружью на выстрел, а дразнится в море? Нет, Мыхым-юга, нехорошо ты поступаешь с Таяном. Я молодой, поэтому ты обижаешь меня. Ты злой бог.

Но Мыхым-юга молчал в ответ. Что ж, он был прав. Разве Таян угостил его, как следует по обычаю? Мыхым-юга любит нежное черное мясо оленя. А где его взять Таяну? Он давно забыл вкус мяса. Его ямы пусты. Мыхым-юга любит табак. Надо бросить ему в море горсть табаку, и тогда будет зверь, много зверя, и будет удача. Но где Таяну взять табак?

Нет, он не мог обижаться на Мыхым-юга. Он не заключил сделки с богом, бог не надувал его. Он не мог ни ругать бога, ни плевать на него в море, как те эскимосы, которые задарили бога и были обмануты им. Таян мог только терпеть и умирать.

Печальный, он возвращался домой в ярангу. Женщины молча смотрели на него, он опускал голову. Вероятно, он в самом деле был плохим охотником, раз ничего не мог принести женщинам. Ему было стыдно. Он забивался в угол.

Старая Инкали и сестры собирали в тундре нунивок — желтую тощую траву, по вкусу похожую на щавель, и ели ее. Они ходили к морю и ждали, когда при-

боем выбросит на берег водоросли — морскую капусту. И ели их. И Таян ел. Он жевал, челюсти его работали, но он оставался голоден. Он был страшно голоден. Он был голоден каждый день, и каждое утро, и каждый вечер.

От отца осталась легкая байдарка из моржовой кожи, Кисимбо плавал на ней в море. Теперь она состарилась, стала дырявой, и Таян решил, что ее можно съесть. Он нарезал ремни из кожи, Инкали варила их, и все ели. Коконге было четыре года. До трех лет Инкали кормила ее грудью, но молоко высохло, и Коконга голодала со всеми.

И Таян увидел раз, как пронеслись мимо селения олени чукчей — кочующих чукчей — и на земле остался дымящийся помет. И Таян наклонился и стал есть теплый жирный навоз, потому что был голоден и не хотел умирать.

Когда последние силы Таяна иссякли, а брезент на яранге сгнил, Таян пошел к мужу Асенгу. Это было летом 1925 года. Асенгу, сестра Таяна, вышла замуж за русского. Его звали Павловым, он был большим начальником в селении — милиционером. Таян пришел к нему и сказал:

— Павлов, я умру, и Инкали умрет, и мы все умрем, если ты, Павлов, не поможешь нам. Больше нам никто не поможет.

Павлов обнял юношу за плечи.

— У тебя худая яранга, Таян, ты сдохнешь в ней. Живи в казенном доме. Большой большевик едет жить на остров в море. Ему нужны собаки. Я купил их для него. Ты будешь кормить их.

Таян стал кормить собак. Он ходил за ними, как за малыми детьми, как Инкали ходила за Коконгой. Он берег и любил их. Он радовался, глядя, как добреют их тела, острей становятся уши, мохнатей хвосты. Он разговаривал с ними, и ему казалось, что они понимают его. Черный лохматый Дед, вожак упряжки, кивал ему косматой головой и дружески лизал его руки. Они понимали друг друга: юноша и собака.

Но Таян не знал, на какую охоту едет большевик, и зачем ему столько собак, и где этот далекий остров в море. Да он и не думал об этом. Он никогда не думал

о том, что было там, за линией горизонта. Что будет с ним, когда большевик приедет и заберет собак? Но и об этом он старался не думать. Он не голодал сейчас, и это уже было хорошо.

Наконец большевик приехал. Его звали Ушаковым. Он был среднего роста и хорошо улыбался.

Таян испуганно поджидал его подле упряжки собак. Озабоченно оглядывал свору. Понравится ли она начальнику? Не станет ли он ругать и бить Таяна за то, что собаки плохи? Русские купцы всегда кричат и дерутся, и мистер Томсон бил Кисимбо трубкой по лицу, и хозяин вельбота кричал на Таяна. Вероятно, человек, у которого много мяса, имеет силу и право кричать на человека, у которого мяса вовсе нет. И Таян испуганно ждал русского начальника, а плечи его дрожали, потому что среди многих богов, которые управляли судьбой Таяна, самыми могущественными были голод и страх.

Но большевик не закричал на Таяна и не ударил его. Он тихо улыбнулся и ему и собакам, а Деда потрепал по мохнатой морде; вожак упряжки ласково заурчал в ответ и лизнул сапоги пришельца. У Ушакова была добрая и властная рука, вожак лизнул и руку.

Из яранги в ярангу стал ходить Ушаков. Эскимосы и чукчи недоверчиво слушали его рассказы о далеком острове.

— Вы умираете здесь от голода,— говорил он.— Здесь мало зверя, и морж редок, и нерпа пуглива, и песец хитер. Хотите ехать на остров, где зверь не пуган? Вы будете всегда сыты.

— Где этот остров, однако? — спросили осторожные эскимосы.

— Он в море, двести километров отсюда.

— Мы слышали об этом острове,— покачали головами эскимосы.— Там людей ждет смерть. Медведи бродят там, как здесь собаки.

— Вы будете бить медведей и есть их.

— Однако там медведь злой и не боится человека. Это — проклятое место. Разве нет? Почему же никто не жил там раньше? Мы слыхали о людях с Чауна и о людях с Камчатки, но о людях с этого острова не слышал никто.

— Там бывают люди из Америки,— пожал плечами Ушаков.— Но это наша земля, и мы хотим, чтоб там жили советские люди.

— Я плавал на американском китобое,— сказал Кивьян,— и я знаю про этот остров. Там могилы эскимосов. Там смерть.

— Как мы покинем земли, где могилы наших отцов? — возразили чукчи.

— Мы подумаем,— сказали осторожные эскимосы.

Но Таяну нечего было думать. Что оставлял он здесь, кроме могил? Он был молод и хотел жить.

Он пришел к Павлову и сказал:

— Ты едешь, Павлов? И я поеду, пожалуйста.

2

И вот исчезают в тумане родные берега бухты. Тонкая полоска земли тает — так тает льдинка в августе,— вот скоро и она пропадет совсем. Плачут женщины. Протягивают руки к уплывающей земле, словно хотят уцепиться за нее, задержаться. Завыли собаки, завыл и лохматый Дед — тонко, жалобно. Охотники опустили головы. Куда везет их большевик? Где этот остров? Что ждет их там?

Дед выл все жалобнее и жалобнее. И Таян ушел в трюм, забился в самый темный угол, чтоб никто не видел слез на глазах мужчины-охотника.

Пароход шел на север, расталкивая синие льды, и пена билась за его кормой, и льды смыкались сзади.

Начальник приказал открыть бочку с мясом и накормить людей. Таян забыл о своих страхах. Голод сильнее страха. В первый раз в своей жизни Таян поел вволю.

Он ел, жадно глотая куски, облизывая пальцы. Впервые ел он русский хлеб. О, русский хлеб! Это не хавустак — тощая лепешка на моржовом сале. От русского хлеба исходил такой аромат, что Таян даже удивился: как может так пахнуть хлеб?

Так он и не заметил, как началась качка. С шумом полетели на пол ящики, содрогнулись снасти, заскрипела обшивка. И льдины начали ожесточенно стучаться о железные ребра судна.

Кто-то сказал шепотом, что это Мыхым-юга гневается на эскимосов: зачем они покинули родину. Снова заплакали женщины, завыли собаки, а охотники смотрели за борт, в туманное море, и видели только льды и волны.

Туман облепил корабль со всех сторон, и с кормы уже скоро не стало видно носа. Казалось, что корабль плывет в пустоте, мокрой, липкой, колеблющейся.

И многие сказали тогда, что пришел последний час. Не найти в тумане острова, суждено блуждать и мучиться и умереть среди льдин и волн, вдали от могил предков. Но Таян стоял на борту и глядел в море с надеждой. Он знал: нельзя, немыслимо погибнуть сейчас, когда наконец-то началась сытая жизнь. Он верил: сейчас разорвется сырой, лохматый туман и откроются сияющие горы острова. И мирные стада зверей будут бродить по тундре, покорные охотнику. И рыба, и нерпа, и морж будут весело кувыркаться в бухте. И тундра будет лосниться, жирная, мягкая, добрая, как тело тюленя после купания.

И вдруг он увидел черные мокрые скалы.

— Земля! — закричал он и взволнованно начал бегать по палубе.— Земля! Земля! — кричал он радостно.

То был остров Геральда, так сказал капитан. А затем показались и скалы Врангеля. Они были черны и унылы. Клочья тумана висели на них, словно зацепившись за острые пики. Вокруг было пустынно. Падал дождь. Чернела вода в бухте. Все было не похоже на сияющую мечту об острове, какая сложилась у Таяна. Он огорченно вздохнул.

Охотники нерешительно сходили на берег. Женщины повалились наземь и уткнулись в мокрый песок и гальку. Они хотели задобрить землю, на которой суждено им жить, и они кланялись ей и заставляли детей кланяться. А Таян смотрел на черные скалы, на горы и ждал с испугом: сейчас из-за скалы высунется Нанек, медведь, хозяин острова, и зарычит на пришельцев.

Люди болтали: медведи здесь бродят стадами, как олени в тундре. Но Таян напрасно озирался: медведей не было. Он удивился и пожал плечами. Люди врали.

Когда выгрузку кончили, пароход ушел, прощально

ревя гудками. Снова заплакали женщины. Три раза гудел пароход, и три раза подымали рев женщины. Это был страшный, тоскливый рев.

И у Таяна подступили слезы к горлу, но рядом стоял охотник Паля, и они друг перед другом не хотели показывать слез. Они украдкой смотрели один на другого, и стискивали зубы, и морщили лбы, а кругом чернели скалы, и прибой с досадой грыз пустынный берег, и не было ни жилья, ни человека, ни зверя вокруг.

Шесть дней пришельцы работали. Разбирали грузы, строили склад, разбивали палатки. Седьмой день начальник объявил днем отдыха. Таян впервые тогда услышал музыку патефона,— она понравилась ему, но не удивила. Он готов был к чудесам.

Потом охотники решили испробовать свои силы в беге. Таян тоже стал рядом со взрослыми. Он был молод, ловок и строен. Он хотел победить. Пригнувшись, высунув кончик языка и прижав локти к телу, ждал он сигнала.

— Беги! — крикнул Ушаков, и Таяна подбросило с места.

И вот — ветер в лицо. Таян бежит впереди всех. Раньше всех прибежал Таян, и начальник поздравил его и дал приз: муки, чаю, сахару, папирос, спичек, новую рубаху и бусы. Таян тут же надел рубаху и закурил папиросу, муку и чай отдал матери, а бусы — жене. Он ходил среди пирующих, щеголяя своей рубахой, и угощал побежденных охотников папиросами.

Но потом была стрельба, и Таян стрелял плохо. Охотник Иноко взял приз. И это было правильно. Где и как мог научиться стрелять Таян? У него никогда не было хорошего ружья, и негде ему было научиться стрелять. И новая рубаха показалась ему плохой и темной.

Через несколько дней начальник сказал Таяну, что идет на северную сторону острова и берет с собой Таяна и еще нескольких охотников. Таян согласился.

Они шли три дня, на четвертый пришли на северный берег. Начальник сказал, что здесь будет хороший промысел зверя, и стал орудовать приборами, вычислять и записывать. Таян с почтением смотрел на него и удивлялся его учености. Северный берег понравился Таяну. Он решил про себя, что когда-нибудь станет жить

здесь, и сделается великим охотником, и будет бить зверя, и эскимосы будут славить его и петь о нем песни. Так мечтал молодой Таян. Но Етуи сказал ему шепотом, что здесь, на северном берегу, владения злого черта Тугнагака. Таян испуганно оглянулся.

На обратном пути охотников застиг туман. Они долго блуждали в нем и окончательно запутались. Они бросались то вправо, то влево, и всюду была незнакомая тундра, однообразная и не имеющая примет. Люди заскучали, сбились вокруг начальника и молча глядели на него, ожидая, что он скажет.

Он сказал:

— Надо идти вперед, искать дорогу. Не то умрем. Продукты наши кончились, и кончился керосин.

Но Таян был хитрый. Он слишком много голодал раньше. Поэтому, отправляясь в путь, он припрятал банку мясных консервов и восемь штук галет. Восемь штук — он не раз пересчитывал их. Он никому не говорил о своем запасе. Он хотел съесть его один, тайком.

Тогда Ушаков тоже вытащил припрятанные им консервы и раздал всем. Таян удивился: «Отчего начальник не съел их сам, один?..» Ему стало стыдно. Он подумал, подумал — и вдруг, неожиданно для самого себя, вытащил мясо и галеты и отдал их начальнику.

— На, умилек.

Ушаков внимательно посмотрел на него и сказал:

— Ты молодец, Таян!

И Таян был счастлив и горд и даже почувствовал себя немного сытым.

Начальник разделил мясо и галеты всем поровну, и люди снова начали искать дорогу в тумане, и тундра была кругом рыжая, рыжая.

Долго бродили люди по тундре, а все не слышно было моря. Наконец остановились. Голодные, усталые, они сгрудились все вместе. Никто не роптал, не жаловался. Все только молча смотрели на начальника и ждали, что он скажет: идти дальше — куда? — или лечь здесь на черные камни умирать. Они сумели бы умереть, как мужчины, без жалобы и стона, как умеют только эскимосы, чья главная добродетель — терпение, и главный порок — покорность судьбе.

Начальник медленно опустил руку в карман и вытряхнул оттуда на ладонь крошки шоколада. Эскимосы молча ждали. Он потряс крошки в руке. Это были жалкие маленькие крошки, они перекатывались по широкой ладони туда и сюда, а люди смотрели, как катятся крошки, и ждали, что будет дальше.

Ушаков подсчитал крошки и разложил их на четыре кучки, и это были равные кучки, одна, как другая.

— Ешьте! — сказал начальник и протянул ладонь.

Их было четверо: Ушаков, Таян, Етуи и огромный неуклюжий Кивьян, похожий на добродушного медведя. Каждый слизнул свою часть шоколада с ладони начальника, а Ушаков слизнул свою часть последним. И все четверо на всю жизнь запомнили это великое братство голода.

А потом вдруг услышали шум, веселый, гулкий ропот и поняли, что это море, что это жизнь, что это дом. И начали радостно кричать, и смеяться, и петь. И только тогда впервые улыбнулся молчаливый начальник и облегченно всей грудью вздохнул.

3

Теперь не голодал Таян. И старая Инкали не умирала с голоду. И Пувзяк, и Утыхтыкан, и Коконга ели каждый день. Нет, не обманул большевик — голода больше не было.

Но оставался страх.

Мир, в котором родился и вырос Таян, был узок и мрачен. Человеку в нем было мало места. Небо, вода, земля, тундра — все принадлежало духам. Духи были добрые и злые, но злых было больше. Добрые жили у очага в яранге; то были смирные, домашние и мало полезные боги. Злые были сильней. Они носились вокруг, подымали бурю на море, пугали зверя в тундре, посылали метели на землю, болезнь, и смерть, и голод на человека. Голод — самый страшный и беспощадный дух!

Люди жались у берега в своих дырявых ярангах. Они не жили, а приспосабливались к жизни, чтобы не умереть. Они были беспомощны перед лицом страшного, непонятного им мира. Они жались к морю, но боялись

его. В море была их пища, но страшно было море: льды, штормы, злые духи.

Все было страшно: и жизнь, и смерть, и злые духи, и купцы из-за моря. Старый Кисимбо о купцах говорил, как о злых духах, со страхом и почтением. Он боялся их, как боялся всего. Они давали ему, что хотели, и брали, что им нравилось. Все-таки они оставляли жизнь. Он был благодарен и за это и жил, голодая и дрожа от холода и страха, в своей яранге у моря, в бухте Провидения. Его провидением были боги моря, американские и русские купцы, голод и смерть.

В этом страшном мире Таян брел ощупью. Страхи, доставшиеся ему по наследству от предков, окружали его со всех сторон. Он боялся и того, что знал, и еще больше того, чего не знал. Да, это таинственное и неосязаемое, разлитое вокруг и неощутимое, было еще страшнее.

Эти страхи не покинули его и на острове. Он привез их сюда с собой. Эскимосы заселили остров не только своими семьями, но и своими духами; они притащили их, словно груз за спиной. Они отвели северный берег острова злому черту Тугнагаку. Они задабривали его табаком, чаем и сахаром и обещали ему не трогать его владений. Они боялись его и хотели жить с ним в добром соседстве: ему — северный берег, им — южный.

Но северный берег был богат зверем. Начальник упорно звал туда за собой эскимосов. Он соблазнял их охотничьей удачей. А они качали головами и отвечали:

— Нет удачи там, где Тугнагак.

И Таян, мечтавший стать великим охотником, тоже боялся Тугнагака. Он готов был пойти с начальником еще раз посмотреть северный берег, но жить там, охотиться — нет.

В это время умер старый Иерок. Его смерть напугала Таяна. Он увидел в ней злую руку Тугнагака. Он задрожал от страха и видел, как дрожат его товарищи.

— Ты один пойдешь? — спрашивали эскимосы покойника.— Ты никого не возьмешь с собой? После тебя никто не умрет?

Чтобы покойник мог отвечать, они подложили деревянный брусок под труп, и друзья покойного — Етуи и Кмо — подымали конец бруска. Если покойник хотел

сказать «да», его легко было приподнять, если «нет», труп становился таким тяжелым, что его никак нельзя было оторвать от земли. В это верили и Етуи и Кмо, подымавшие бревно, верил и Таян и все эскимосы.

Покойник давал успокоительные ответы: он никого не возьмет с собой, никто не умрет. Но осторожные эскимосы не верили. Они приняли свои меры. Они отрясли свою одежду над покойником, передав ему все свои болезни. Они изломали нарту, принадлежавшую покойному, разрезали ремни и лямки, разбили чашку, из которой он пил, продырявили чайник, сломали нож. Если Иерок захочет вернуться, он не доедет на поломанной нарте, он не починит нарты сломанным ножом.

Но и это не успокоило их. Они затем «закрыли дорогу» в поселок, чтоб Иерок не нашел ее. Они спутали, след, по которому везли похоронную нарту. Они петляли, возвращаясь домой, делали хитрые узлы, стежки, кружили по тундре. Вернувшись, они вытрясли свои одежды над кострами. Они сжигали недуги, прилипшие к их одежде от покойника. Наконец, все еще испуганные, они разошлись.

Долго еще боязливо озирался Таян, не идет ли за ним Иерок. Не смерть была страшна — страшно было то таинственное и непонятное, что скрывалось там, в стране северного сияния, в царстве теней, куда ушел Иерок и откуда он может вернуться, страшный, потусторонний, не похожий на простого и доброго Иерока, каким он был в жизни.

Этого боялся Таян. Он боялся выходить далеко за пределы поселка. Свои капканы он расставил невдалеке от жилья. Он мечтал стать великим охотником, но боязливо косился на север, в сторону владений Тугнагака.

Когда песец наконец попался в ловушку Таяна, молодой охотник, торжествуя, принес начальнику добычу.

— Я добыл! — кричал он, размахивая пушистым хвостом зверька.— Сам добыл!

Он ждал похвал, наград, одобрений, но Ушаков сказал ему:

— Что ж, хорошо, Таян. Но другие охотники добыли больше.

И Таян в сердцах бросил песца наземь и, опечаленный, злой, ушел.

Как добыть песцов, если капканы стояли чуть ли не у самого жилья? Песец хитер и не забегает сюда. А идти далеко в тундру Таян боялся: медведи бродят вокруг, злой Нанек сердит на людей, незванно явившихся на остров.

Однажды Таян вез продукты охотникам, отправившимся на север.

Он ехал, забыв свои страхи, и пел. Он пел: «Это едет Таян, молодой, сильный охотник. Он ест теперь много мяса и будет большим и ловким. Он убьет Нанека и съест его сердце».

Вдруг собаки завизжали, рванули нарту и понесли. Таян не понял даже, что случилось. Он опрокинулся навзничь на нарту, остол выпал из его рук и звякнул о крепкий снег.

Впереди, косолапо ковыляя, бежал медведь. Он удирал от собак, трусливо виляя задом. Собаки настигали его. Они несли Таяна прямо на медведя. Таян лежал в нарте и готовился к смерти.

Вдруг Нанек обернулся и зарычал. Он зарычал свирепо и предостерегающе. Собаки наскочили на него и вцепились в косматую шерсть. Медведь разозлился. Он поднял лапу, в лапе его была смерть. Таян закрыл лицо руками, скатился с нарты и упал в снег.

«Это — смерть. Это Иерок пришел за мной»,— подумал он и припал горячим лицом к снегу.

Он слышал, как визжали собаки. Ему стало жаль их и жаль себя.

«Больше мне не ездить на них, больше не охотиться, больше не есть мяса»,— подумал он и украдкой поднял голову.

Медведь хозяйничал в упряжке. Он схватил зубами одну из собак и рвал ее. Это была любимая собака Таяна. Охотник заскрипел зубами и вскинул винтовку. В ней был только один патрон. Таян прицелился, потом выстрелил и закрыл глаза.

Прошло несколько минут. Он еще жил. Он еще жил, лежал, дышал, думал! Тогда он осторожно приоткрыл глаза и увидел: медведь лежит на снегу, а подле него копошатся собаки. Робко, неуверенно пополз Таян к медведю.

«Неужели это я, я убил Нанека?»

Он смотрел на огромного, распростертого на снегу зверя и не верил. Не притворяется ли Нанек? Почтительно тронул зверя прикладом. Медведь повел ногой, Таян отскочил. Но медведь не подымался. Таян ждал, затаив дыхание. Потом увидел, как содрогнулось огромное тело зверя, вытянулось, замерло.

И тогда Таян захохотал. Его смех зазвенел в торосах, отозвался в море, во льдах берегового прибоя. О! Он великий охотник! Вот он убил медведя. Одним выстрелом убил. Прицелился — и убил. Захотел — и убил. Подумал — и убил. Никого не боясь — ни зверя, ни духа. Кто сильнее Таяна? Кто ловчее его?

Он вытащил из ножен охотничий нож и размахивал им. Он плясал вокруг поверженного зверя и высоко подымал винтовку над головой. Пусть приходят теперь медведи. Он не боится их. И он плясал, утаптывая вокруг снег.

Подбежали охотники, услышавшие выстрел.

— О, Таян! Ты убил медведя? — удивленно спросил Павлов.

— Да. Я убил. Я. Я один,— ответил Таян, но никому не сказал о том, как струсил, как упал с нарты. Он не врал: он просто забыл об этом.

Теперь он сам искал встреч с Нанеком. Но медведи не попадались, словно прослышали о смелости Таяна.

Однажды он стоял на берегу и глядел в море. Далеко на воде что-то чернело.

«Это чайка. Это глупая чайка»,— презрительно подумал Таян.

О, он был теперь великим охотником. Он во всем знал толк. Он мечтал: «Поедем в море, убьем много моржей, завалим ямы мясом, станем богатыми. Сделаю новую байдару. Жена сошьет...»

Вдруг он опять взглянул на воду. Чайка все барахталась в воде. Его поразило, что у чайки уши. Он всмотрелся: да, уши! Он никогда еще не видел чайки с ушами. Э, да это морда Нанека! Нанек плывет!

Таян растерялся. Он начал прыгать по берегу, не зная, что делать. Побежал в ярангу. Схватил винтовку. Стал искать патронташ, его не было.

В яранге все всполошились.

— Медведь! Медведь плывет! — все время кричал Таян.

Женщины спрятались в полог. Таян метался по жилью. Где патроны, дьявол, где патроны? Он взломал непочатый патронный ящик, захватил в горсть патроны и побежал к морю. Медведь был уже у берега. Таян разрядил в него всю обойму. Он стрелял беспорядочно и растерянно, не так, как следовало бы стрелять великому охотнику...

Все-таки он убил медведя и вытащил его на берег. Только тогда он увидел, что патронташ висит на поясе. Ему стало стыдно.

Больше он никогда не хвастался охотничьей удачей.

4

И тогда показалось Таяну, что все сбылось в его жизни. Вот он стал наконец охотником, как взрослые эскимосы. Он ходил с ними на байдарках в море бить моржа в погоду и в непогоду. Он ладил капканы и промышлял песца. Но больше всего он полюбил охоту на медведя.

Он уходил теперь один далеко в тундру. Винтовка болталась за плечом, нож и веревка — у пояса; копьем он пробовал дорогу. Он брел по снегу один в белой пустыне и, если ночь заставала его в пути, разбивал охотничью палатку и спал в ней. Залезая в кукуль, он брал с собой камень, нагретый у костра.

Он узнал теперь все медвежьи места на острове. Он угадывал берлогу по влажному и черному пятну на снегу: это дышал Нанек.

Таян кричал:

— Эй, Нанек, выходи! Я жду тебя. Ну ты, трусливая собака!

Но он знал, что Нанек не выйдет. Трусливая собака Нанек боялся Таяна. Тогда Таян втыкал копье в снег, делая большую дыру, и бросал в нее веревку. Веревка, как живая, извивалась в берлоге. Она дразнила Нанека. Она то юлила у его носа, то вдруг рвалась вверх. Разъяренный медведь бросался на нее, но она ускользала, виляла, дразнилась.

Таян ждал. Играл веревкой — и ждал. Улыбался — и ждал. Его нож и винтовка ждали медведя.

И когда появлялась злая, рассерженная, оскаленная морда Нанека, Таян встречал его лицом к лицу. И он всегда убивал зверя. Потому что он был человек, а человек всегда сильней и мудрей зверя.

Таян охотился теперь и на севере, во владениях страшного Тугнагака. Он ступил на север сначала робко, пугливой, осторожной ногой. Страх удерживал его — охотничья жажда толкала вперед. И она была сильнее страха. На севере было много зверя: у Таяна закипала кровь в жилах, его ноздри раздувались, как у охотничьей собаки. А Тугнагак? Но Тугнагак не тронул его! О! Таян бил зверя, принадлежащего Тугнагаку, и злой дух покорно сносил это.

Старики говорили, что это «до поры до времени». Но молодые эскимосы, усмехаясь, возражали, что слаб тот бог и тот человек, который откладывает кару на время. А начальник Ушаков говорил, что Тугнагака вообще нет, нет богов ни злых, ни добрых.

— Вот я бью зверя на севере, и Тугнагак не карает меня,— говорил он.

Но старики уклончиво отвечали:

— У русских свои боги, у эскимосов — свои. Что можно русскому, эскимосу нельзя.

— У меня нет богов,— смеясь, отвечал Ушаков.

— О! Ни одного бога?

— Ни одного.

И Таян размышлял, прислушиваясь к беседе: начальник все знает, все умеет. Он знает, и как ловчей зверя бить, и как собак водить в упряжке, и как ловить солнце в маленький черный ящик. Начальник все знает и никого не боится. Возможно, что и нет Тугнагака. Таян не знает. Он не видел Тугнагака. Его нельзя пощупать, нельзя понюхать. Может быть, есть, может быть, нет. Об этом лучше не думать. Вот Таян бьет медведей на севере, а Тугнагак не трогает его. Это хорошо. Это верно. Но лучше не думать об этом.

Мир, в котором жил теперь Таян, посветлел: в нем стало меньше страхов, больше радостей. Вот сидит Таян вечером у жировика и курит. Он курит, дым колеблется над ним... Старая Инкали сидит у очага, курит, шьет...

Жена заворачивает голого ребенка в мех... Это сын Таяна. Это хорошо. Сын будет, как и отец, охотником. Это правильно. Это так... Все сыты. От жировика струится тепло... Дремотно, спокойно... Пахнет дымом, моржовым жиром, табаком. Хорошо. Таян всем доволен. Он ничего не хочет больше. Ему хорошо и спокойно.

5

«Когда человек голоден, он думает о мясе. Когда человек сыт, его мысли широки и безбрежны. Он думает обо всем». И Таян стал теперь много думать. Он курил трубку и думал. Он смотрел на тундру и думал о тундре. Смотрел на море и думал о море.

Медленно, очень медленно раздвигался мир Таяна. Полог яранги, берег, покрытый галькой, кровь на камнях — там, где разделывали моржа, длинная песчаная кошка [1], а за ней морская волна, то синяя, то серая, то черная (лучше всего, когда она синяя; плохо, когда черная, с белой пеной на ней),— вот и весь мир Таяна. Но теперь мысль уносила его за море, за скалы острова. Где-то там, на зюйд-ост отсюда, стынет в тумане родная бухта, бухта Провидения. Скучал ли он о ней? Нет, просто думал. Вспоминал могилу Кисимбо, себя, каким был тогда, смотрел на зюйд-ост, в туманную даль... А еще дальше, за бухтой Провидения, за Анадырским хребтом, за горами и тундрой, лежит большая родина. Эту далекую родину звали Россия. Что знал он о ней? Только то, что оттуда пришел Ушаков. И для Таяна Россией был Ушаков, как раньше Россией были купцы, скупавшие охотничью добычу за бесценок. Большевик Ушаков не был похож на купцов, и, значит, Россия теперь была другая.

Ушаков часто рассказывал о ней, и Таян слушал, одобрительно кивая головой.

— Э! Э! Так! — говорил он задумчиво, а потом, сидя один на один с трубкой у порога яранги, думал об этой далекой родине, которая где-то там, за морем и горами.

Он рассуждал, покачиваясь в табачном дыму: что приходит сюда с Большой земли? Оттуда пришел Уша-

[1] Кошка — коса.

ков. Это хорошо? О, очень хорошо! Без Ушакова Таян умер бы в бухте Провидения. Оттуда пароходы — это тоже хорошо. Оттуда вещи, которые нужны Таяну,— вот это ружье, вот эта банка с керосином, вот эта сладкая музыка в коричневом ящичке, вот этот хлеб,— и это тоже хорошо. Очень хорошо, отлично. Ничего плохого не приходит оттуда. Это так. Таян знает это. Вот все, что он знает о большой родине, но он хочет узнать и узнает больше.

Еще в первые дни жизни на острове Ушаков собрал всех людей и сказал, что надо поставить большой шест. Шест поставили, а на самый верх шеста Ушаков поднял знамя, алое и горячее, как кровь. Оно затрепетало на ветру, как пламя родного костра, и молодой Таян узнал от охотников, что это знамя его родины. Он сорвал тогда с головы шапку и бросил ее вверх и поднял над головой винтовку, и все вокруг сделали то же и объявили остров своей землей и алый флаг — своим флагом и поклялись защищать остров и флаг больше жизни.

И вот однажды — это случилось через год после клятвы у флага — у берегов острова появилась чужая шхуна. Чужой флаг был на ней, чужие люди в бинокли смотрели на берег.

Тогда собрались на военный совет все мужчины острова. Они курили трубки и говорили по очереди. И каждый сказал: «Остров наш».

— Зачем беспокоят нас чужеземцы? — закричал маленький Паля, а Кивьян, подняв огромные волосатые руки, потряс ими.

— О! — закричал он.— О! Я жил на Аляске. Я знаю их. О!

Ушаков слушал и улыбался. Этот остров, пустынный, голый, которого они и не знают еще вовсе, на котором нет еще ни селений, ни могил,— как стал он им таким дорогим и родным, что хотят они защищать его ценою жизни? И он радостно улыбался, слушая, как шумят мужчины.

Потом он разбил всех на группы, назначил вахтенных, раздал оружие и патроны и приказал готовиться к обороне.

Таян ходил с ружьем по берегу и зорким охотничьим глазом следил за чужой шхуной. Сердце его ко-

лотилось быстро, и древний воинственный клич, забытый его покорными предками на мирном берегу, готов был сорваться с его пересохших губ.

Но шхуна, постояв на рейде, ушла восвояси, видно догадавшись, что остров прочно занят советскими людьми.

А затем вдруг прилетел самолет. Его моторы взревели над самым селением, и Таян упал на колени и, дрожа, прижался к земле: он никогда еще не видел летающей машины.

Все население острова испуганно притихло.

Встревоженный Ушаков с наганом в руке пошел к бухте Роджерса. Он озабоченно следил, как садится на воду гидроплан; никаких опознавательных знаков на нем не было.

Из машины на берег вышли двое: коренастый летчик и высокий худой механик, оба в комбинезонах. Ушаков хмуро смотрел на них, они — на него.

Так прошло несколько долгих, тревожных минут. Наконец высокий не выдержал.

— Ну, здравствуйте, товарищи, что ли! — сказал он на чистейшем русском языке.— Разве так встречают гостей?

— Русские!.. Русские!..— радостно пронеслось по острову, и все бросились из своих яранг навстречу дорогим гостям.

И быстрее всех бежал Таян, потому что он был моложе и ловчее других, потому что он хотел раньше всех увидеть летающих русских. И он уже без страха смотрел на качающуюся на волне летающую лодку. Нельзя бояться того, что знаешь и видишь, что можно пощупать руками.

Летчики пробыли недолго на острове. Они сказали, что их послали узнать, живы ли советские люди на острове, нет ли больных, нет ли нужды и голода. И, услышав про это, мудрый Кмо сказал эскимосам:

— Слушайте Кмо: он прошел большой путь по земле. И он видел много снов и много людей. И хороший был год, и плохой был год, и годы проходили один за другим, как ветер по морю. И если был хороший год и зверя много, и клыков много, и меха много, приходил к Кмо купец и говорил ласково, как мать. И заби-

рал у Кмо добычу и оставлял Кмо немного табаку, водки и чаю. Но если плохой был год и не было у Кмо зверя и не было меха, купец проходил мимо, и глаз его был недобрый, и Кмо умирал. Так я говорю, мужчины?

И все ответили:

— Так.

Кмо посмотрел на бухту, где качалась на волнах лодка, и продолжал:

— Зачем прилетели люди на железной птице? Они не спросили, есть ли мех у Кмо и есть ли у него добыча, и не взяли ее. Они спросили: жив ли Кмо, жив ли Етуи и жив ли Таян? Может быть, болен Кмо? Может быть, голод посетил его ярангу? «Мы накормим Кмо,— сказали они,— и мы утешим его в печали». Но Кмо,— он ударил себя кулаком в грудь,— сыт и здоров. Кмо бьет зверя и живет в теплой яранге. И люди на железной птице рады, что Кмо здоров. Так я говорю, мужчины?

И все ответили:

— Так.

В этот же день русские летчики улетели, но Таян запомнил их лица. И когда через много лет худой механик, которого звали Побежимов, снова прилетел на остров, Таян узнал его и горячо пожал ему руку. Механик был все такой же высокий и худой, только больше орденов стало на его груди, но Таян уже был другой.

6

Много чудес увидел Таян, живя на острове, и только одного он долго не мог понять: отчего, пожив на острове немного, русские уезжают обратно. Где еще на земле и на море есть такая охота? Где встретишь так много зверя? Где еще бывает так тепло в ярангах, так тихо и уютно у жировика?

И Таян заплакал, узнав, что навсегда уезжает от них Ушаков. Теперь он даже не скрывал своих слез; все мужчины плакали, провожая начальника.

Понятия «начальник» не было в языке эскимосов. Они звали Ушакова «умилек», что означает — кормчий байдары, вожак зверобойной артели, человек, который

сидит у руля. И это точно выражало их отношение к нему. Разве не он посадил их на железную байдару и повел за собой далеко в море? Разве не был он первым на промысле, первым на охоте, первым во всем?

С недоверием ждали эскимосы нового начальника на смену Ушакову. Что если снова появится купец? Что если Ушаков — лишь *счастливое исключение?*

Но приехал Минеев и оказался той же породы, что и Ушаков. Эскимосы тоже стали звать его умилеком. И он тоже был первым на промысле, и учил их бить и бить зверя, и тоже рассказывал о Большой земле. Он рассказывал им много и подробно, даже больше, чем Ушаков. Он говорил о том, чего и Ушаков не знал: что делается сейчас на Большой земле.

Он сказал однажды:

— Сегодня в Москве дождь.

Таян не поверил и сказал, качая головой:

— Как ты можешь знать, умилек, что делается там сейчас? Разве твои глаза видят через горы и твои уши слышат за тысячу верст?

И он отвернулся: ему стало стыдно за умилека, потому что самое некрасивое в жизни — видеть, как мужчина врет.

Но Минеев засмеялся и подвел Таяна к черному ящичку: такого не было у Ушакова.

— Вот мои уши! — сказал Минеев.

И Таян услышал далекий голос, и этот голос рассказывал о Большой земле.

Он и не знал тогда, что через несколько лет его жена, которую русские зовут Таней, и его сестра Коконга сами станут радистками и будут колдовать у черного ящика.

Минеев прожил на острове пять лет, и Таян уже стал думать, что этот-то русский останется здесь навсегда. Но однажды пришел пароход, привез нового начальника и увез старого. И хоть было жалко, очень жалко расставаться с добрым другом Минеевым (эскимосы звали его «наш ата» — наш отец), но на нового начальника Таян смотрел уж без страха.

Правда, он спросил у него с опаской:

— Ты большевик, однако?

— Большевик,— ответил тот, и Таян успокоился.

Но скоро пришлось убедиться Таяну, что новый начальник (его звали Семенчуком) обманул его: он не большевик. Большевики — а их-то Таян знал! — были не такие.

Прежде всего русские, которые были до Семенчука, отлично знали дело и умели жить. Когда выходили байдарки в море, даже в шторм, русские не суетились и не кричали без толку, а разумно отдавали команду, и Таян слушался их. Этот же, Семенчук, ничего не знал, ничего не умел, но вмешивался во все. Он был громко кричащий человек, а Таян не любил людей, которые сердито кричат и машут руками без толку. И по Ушакову и по Минееву Таян знал, что настоящий человек не станет зря кричать. Глупая чайка кричит на ветер. Глупый лемминг — полярная мышь — злобно шипит на сапог человека, нечаянно задевший его норку. Человек не чайка, не лемминг. Человек должен беречь слова.

Все русские были приветливы с эскимосами, и лица у них были веселые и улыбчатые. Этот же, Семенчук, сердит и темен лицом. «Вечно покрытый тучей» — так сказал о нем Таян. И все эскимосы горестно покачивали головами.

Семенчук приказал эскимосам бросить промысел и идти на разгрузку парохода.

— Однако время зверя бить,— возразили эскимосы.

— Будете зверя зимой бить.

«Зимой? У этого человека ума нет»,— решили в ужасе эскимосы, а Таян выругался самым крепким чукотским ругательством:

— Он не умеет жить!

Но он не только не умел жить, но не давал жить и другим.

Настали страшные дни для островитян. Люди и собаки остались без мяса. Голод, гость, давно не виданный на острове, забрел в яранги эскимосов и стал хозяйничать там. Начали болеть дети, отощали охотники, заплакали женщины. И хотя ломились от продовольствия склады зимовки, Семенчук не дал эскимосам ни муки, ни консервов, ни керосина. И люди молча приготовились к смерти. Умер охотник Тагью. Умер сын Таяна, которого русские звали Володькой и который

мог бы стать великим охотником, как отец, а может быть, даже начальником, как Минеев, или летчиком, как Побежимов. Он мог стать всем, кем захотел бы, теперь это уже знал Таян, но вот умер и стал ничем, прахом, тенью. И, склонившись над трупом сына, горько задумался Таян. Если б он сейчас верил в злых духов, он сказал бы, что Семенчук — злой дух, принявший образ умилека. Но Таян знал теперь, что нет духов, ни злых, ни добрых, и он понял, что Семенчук злой, неправильный человек, обманно называющий себя большевиком. И когда наконец на остров прилетел самолет, Таян написал (он знал теперь русскую грамоту) письмо Минееву и рассказал ему в письме обо всем: о горе эскимосов, о смерти Володьки, о злом начальнике Семенчуке.

«Приезжай, умилек,— просил Минеева Таян,— все эскимосы по тебе скучают. А если нет денег на дорогу, телеграфируй, мы пришлем».

Но не мог приехать Минеев. Приехал другой начальник, большевик. А Семенчука увезли в Москву и судили справедливым судом и расстреляли. И когда узнал об этом Таян, он сказал: это правильно, это по закону; он достоин смерти, потому что он не давал жить другим.

7

Шумит большой пир на острове Врангеля. Под тяжестью еды ломятся праздничные столы. Со всех сторон съезжаются на праздник гости. Байдарки и моторки пришвартовываются к берегу бухты Роджерса. Собачьи упряжки подкатывают к главному дому зимовки. Все население острова — от грудных детей до стариков — съехалось на полярную станцию праздновать десятилетие. Приехали гости с Большой земли, одни по воде — на ледоколе «Красин», другие по воздуху — на самолете Молокова.

За праздничным столом сидят эскимосы-охотники, зимовщики, моряки, летчики. На почетном месте сидят Молоков и Побежимов. Девять лет назад прилетел сюда в первый раз Побежимов. И тогда это был подвиг, за который летчиков наградили орденами Красного Знамени. А теперь по пути «завернули» летчики на остров

Врангеля, и это было обыкновенным делом, о котором никто и не говорит. И обыкновенным делом было то, что гремит на дворе духовой оркестр, а в кают-компании под джаз-банд моряков «Красина» пляшут фокстрот жена Таяна и моряк с ледокола, а на концерте выступает квартет Московской консерватории и поет приехавшая из Москвы певица... И совсем обыкновенное дело то, что жена Таяна — в шелковом хрустящем платье, в туфлях на высоких каблуках, и то, что сестра Таяна, которую русские зовут Тамарой, стала радисткой...

А Таян? Он ходит среди пирующих друзей, его желтые ботинки скрипят, его шелковый галстук раздувается. Таян чокается с гостями и обнимается со старыми приятелями и берет из рук повара в белоснежном колпаке большой праздничный пирог, похожий на башню, ставит на стол и говорит:

— Ешьте, друзья, досыта, подымайте свои кружки с вином выше. С праздником вас!

И он сам берет бокал, наполненный вином, и встает на видное место и просит тишины, потому что хочет сказать речь.

— Вы, сидящие за этим столом,— начинает он громко, чтобы все слышали,— мои друзья и соседи! И ты, Паля, и ты, Иноко, и ты, Кивьян. Слушайте, я хочу сказать вам несколько слов от сердца. И ты, моя мать, старая Инкали, белая, как крыло чайки, тоже слушай, что скажет твой сын.

И толстогубый Кивьян сказал:

— Говори, Таян, мы тебя слушаем.

И Инкали, склонив свою седую голову, сказала:

— Говори, сын мой. Я склонила свое ухо к твоим речам.

— Слушайте и вы,— продолжал Таян,— гости с Большой земли, прилетевшие к нам по воздуху, и вы, гости, приплывшие к нам по воде. Я расскажу вам про жизнь Таяна. А когда я скажу о Таяне, то это будет и о Пале, и об Иноко, и о Кивьяне. Так ли я говорю?

И мужчины ответили:

— Так.

— Был Таян мальчиком и умирал три раза в день от голода. И не было у Таяна байдарки, чтобы идти в море бить моржа, и не было ружья, чтоб бить зверя.

И был Таян темный и мрачный, как туча, и слепой, как новорожденный щенок. Но пришел десять лет назад к Таяну русский большевик и повел его за собой. О! Далеко поплыли мы с ним в море, и многие плакали, уезжая. Но прошло десять лет, и никто не плачет, а все смеются. И громче всех, радостней всех смеется Таян. Так ли я говорю?

Все весело закричали:

— Так, так, Таян!

— Весело стало жить Таяну. А когда я говорю «Таян», я говорю — и Паля, и Иноко, и Кивьян. Нет у наших очагов страшного гостя — голода. Весело трещит огонь, и вкусно пахнет мясо. И чтоб еще веселей было в яранге, Таян берет черный ящичек, который мы называем патефоном, и крутит музыку. И все поют и пляшут в яранге Таяна, всем весело. О! Веселитесь и вы, друзья мои, и вы, гости с Большой земли.

И все зазвенели кружками и стаканами и выпили, а Таян продолжал:

— Был темный Таян и всего боялся. Духов боялся, зверя боялся, человека боялся. Теперь никого не боится Таян. Я учился на аэролога и запускал шары в небо, и ни разу мой шар в небе не задел ни бога, ни черта. Что такое, друзья мои? Может быть, пусто в небе, может быть, там ничего нет?

И все засмеялись шутке Таяна.

— Я ходил на зверя с ножом и копьем и бил зверя. Может быть, труслив стал зверь? Нет, это Таян стал мудрым мудростью русских людей и храбрым храбростью человека и мужчины. И я узнал тогда, что такое мир и как живут в нем люди и звери. И я постиг мудрость машины, и хитрость грамоты, и арифметику и даже выучил дроби, а это не легкая штука. А сестра моя стала радисткой, и радисткой стала жена. И узнал тогда Таян правду жизни и сам стал большевиком. Сочувствующим в партию приняли меня, потому что я сочувствую большевистской правде,— она единственная правда на земле. Пусть кто-нибудь из вас скажет, что это не так.

— Так! — закричали эскимосы.— Это так, Таян!

— Это так! — с силой сказал Таян.— Это так. Мы

узнали эту правду здесь, на далеком острове в море, где зимою долгая ночь, а летом — долгий день. И мы будем жить и умирать за эту правду. Это так!

И все встали из-за стола и подняли кружки. Заиграли оркестры: духовой, симфонический, джаз. Охотники схватили ружья, вышли на берег и, повернувшись лицом к морю, салютовали дружными залпами далекой родине.

А когда праздник кончился и гости разъехались, Таян пошел по берегу. И была у него теперь новая походка, и глаз стал другим — хозяйским. Это шел по острову начальник фактории, заместитель начальника острова. Он увидел, что туша моржа плохо привязана к камню на берегу и ее может смыть волной. Он подумал, что время начинать осенний промысел и надо выходить в море. Он прикидывал в уме, что еще надо сделать: «Готовы ли моторки? Целы ли байдарки? Кого из охотников и куда поставить?» У него теперь было много забот. И главной из них была: сумеет ли он быть начальником над своими товарищами, будут ли они слушаться его.

Он увидел охотника и сказал ему, что моржа с берега надо убрать. Это впервые в жизни отдал он распоряжение. А через десять минут моржа уже убрали. А Таян все шел и шел по острову, на котором прожил десять лет, на котором нашел счастье и будущее. И походка у него была другая, и глаз другой. Это шел хозяин, начальник, умилек.

1938

ПОЕДИНОК

Ни на минуту нельзя было покинуть больного Таюге. У яранги кружил и завывал шаман. Таня слышала его глухие угрозы. Она знала: грозит ей. Но пока она здесь, он не войдет. Странное дело, он боялся ее. Она сама удивлялась этому, но вот факт: слабая, худенькая русская девушка охраняла ложе больного, а лохматый черный шаман кружил у входа, не смея войти. Это была победа. Но ни к чему было торжествовать ее. Почему не едет доктор? Она прислушалась.

Таюге жалобно и хрипло кричал, не умолкая ни на минуту. Стоны вырывались откуда-то из самой глубины его измученного болью тела, словно он кричал не горлом, а животом. Он верил, что криком можно прогнать болезнь.

Что, если он умрет до приезда доктора? Она прислушалась. Тишина звенела в ее ушах, когда Таюге переводил дыхание. Отчего не едет Сташевский? Еще вчера должен был встретить его Анчено. Он взял лучших оленей кочевья.

Двое суток не покидает она яранги Таюге. Когда комсомолец Анчено, сын Таюге, ночью прибежал к ней, трясясь всем телом, она поняла: случилась беда.

— Учителька! — прохрипел Анчено.— Отцу плохо, шибко плохо... Кричит... Хочет умереть... Просил меня быть помощником смерти. Но Анчено не будет душить отца, учителька!

Она слушала его бормотание, одеваясь. Она еще не верила, но знала, что надо торопиться. Добровольная смерть,— она читала об этом в книжках, слышала от стариков. «Веретгыргын» — так это называется? Она уже надела кухлянку, но запуталась головой в капюшо-

не. Ее руки дрожали, не попадали в рукава. «Веретгыргын» — может ли это быть? На нее пахнуло вдруг дремучей стариной. Ей стало страшно. Она почувствовала себя чужой здесь. Что знала она, девочка с Украины, об этой полуночной земле, об этих людях? Два года жила она среди них, учила их детей, бродила по снегу за их стадами, мерзла в дороге и отогревалась у жировиков, ела их пищу, говорила на их языке и, казалось, знала их самые сокровенные мысли. Но вот «веретгыргын» — и ее сразу отбросило в глубь веков, в тьму полуночной тундры, в темный и страшный мир, который испуганные люди населили злыми, враждебными келе, духами земли и воды, распростершими свои зловещие крылья над мирными очагами. Что может сделать она, маленькая, слабая девочка? Но надо бежать, торопиться. Не поздно ли уже? Там шаман.

Она уже бежала к яранге Таюге.

Шаман сверкнул на нее сердитым взглядом из-под косматых бровей.

— Неускет! — сказал он с невыразимым презрением.— Неускет. Женщина. Что делать женщине среди мужчин? Пусть женщина уйдет.

Но женщина не ушла.

— Что случилось? — спросила она по-чукотски и заставила себя улыбнуться.

— Больно... О, шибко больно...— простонал Таюге.— Учителька, больно мне. Я стал добычей смерти.

Ей стало невыразимо жаль его. Большой, добрый Таюге, он терпеливо обучал ее чукотскому языку и добродушно подсмеивался над ее произношением; он показал ей искусство управления упряжкой, и олени стали понимать ее и подчиняться; он приходил в школу и, затаив дыхание, слушал, как его дети читают по книжке, и удивлялся, и восторгался, и, качая лохматой головой, восклицал: «Э! Э! Хорошо! Хорошо, однако!»

И вот теперь он умирал, он хотел умереть, этот славный Таюге. Он стонал: «Больно мне, больно, учителька!» И она ничем не могла помочь ему.

— Таюге! — сказала она, и голос ее задрожал.— Пусть Анчено возьмет самых быстрых оленей и мчит навстречу доктору. Доктор уже близко. Он хотел быть здесь на этих днях. Он сейчас у людей Чауна.

— Я не могу терпеть,— простонал Таюге.

— Что может сделать доктор! — насмешливо произнес шаман.

— Пусть скачет Анчено за доктором,— нетерпеливо топнула ногой Таня.

— Пусть все свершится, как хочет Таюге,— торжественно провозгласил шаман,— он хозяин своей жизни и своей смерти. Пусть говорит Таюге.

— Нет, нет, Таюге! Не говори! Подожди! — торопливо закричала Таня.— Погоди! Выслушай.

Она знала из рассказов стариков, что воля, высказанная желающим умереть, священна,— нельзя спорить с ним. Она знала также, что желание смерти, высказанное вслух, нельзя взять обратно, чтобы не разгневать духов, уже облизывающихся в предвкушении жертвы. Все это рассказывали ей старики, и даже старики говорили об этом, как о далекой старине, чуть-чуть насмешливо. И она, слушая их, удивлялась.

Но вот перед ней лежит Таюге, и он хочет умереть, и шаман тут, зловещий, как ворон, и она — беспомощная маленькая девочка — должна спасти больного Таюге от смерти.

— Погоди, Таюге! — сказала она.— Ты хочешь умереть? Нет, нет, не говори. Ты хочешь умереть оттого, что тебе больно? Но приедет доктор, и тебе будет легко, хорошо, весело.

— Что может доктор! — усмехнулся шаман.

Таюге лежал и стонал. Шаман и девушка спорили над его телом. Надо было убедить Таюге, что жить лучше, чем умереть.

— Ты не хочешь больше видеть небо, тундру, родную ярангу? — звонко спросила Таня.

— Я хочу...

— Погоди, погоди, Таюге! Ты не пойдешь больше на большую охоту, не будешь бить зверя, не станешь гнать перед собой свое стадо, не будешь есть мяса?

— Он будет есть мясо там,— показал шаман в сторону севера.— Там, в стране северного сияния.

— Ты не хочешь жить, Таюге? — закричала она.— Ты не хочешь видеть, как станет твой маленький сын охотником, как убьет он первого зверя? Ты...

— О, учителька! Мне сейчас плохо, а там будет хорошо. Зачем ты не даешь мне умереть? — прохрипел Таюге.

— Ты делаешь ему зло, женщина! — сердито сказал шаман.

Они спорили над стонущим телом — девушка и шаман; и Таня нечаянно вспомнила, что слово «веретгыргын» означает также «поединок». Это и был поединок между жизнью и смертью, между светом и тьмой, между новым и старым, между девушкой и шаманом. И девушка должна победить, потому что она за жизнь. Она почувствовала в себе силы. О, жить! Жить прекрасно! Чудесен запах влажной травы в тундре, по которой ступаешь легкой ногой. Чудесна вода, которую находишь под камнем в тундре и пьешь, прильнув к ней губами, и видишь свое лицо, и чувствуешь, как дышит земля под твоим телом. Чудесно мясо, которое ешь, продымленное над костром. Чудесна дорога, по которой идешь к костру, к людям, к счастью. Чудесны люди, с которыми живешь, идешь рядом. Чудесно любить, работать, думать, петь, читать. Чудесно знать, что за Анадырским хребтом — на юг, на восток и на запад — лежит огромная родная страна и где-то там, в степях, у голубой реки, маленький городок, и мама и братья, и где-то у границы — брат-летчик, большерукий и длинношеий Антось.

Чудесно дышать полной грудью и знать, что живешь недаром, что после тебя останутся твои дела — все, что ты свершил на земле.

— Ты не хочешь жить, Таюге? — взволнованно воскликнула она.— Ты не хочешь видеть внуков? Вот Анчено скоро женится. Он даст тебе внуков, много внуков. Ты будешь нянчить и учить их жизни. Ты станешь отцом большой семьи, Таюге. Нет, нет, погоди! Ты не хочешь увидеть, как дочь твоя Раутукун станет врачом и будет лечить людей? Ты не хочешь увидеть, как твой сын Анчено поедет на оленях туда, за Анадырский хребет, туда, где Москва?

Нет, женщина не ушла,— ушел шаман. Он боялся ее. За нею стояла великая сила, он знал это,— и она знала. Съежившись, он уполз. Она осталась. Вокруг яранги молча стояли охотники.

Но почему не едет Сташевский? Не случилось ли с ним чего? Она не видела его уже полтора месяца. Здоров ли он? Она улыбнулась, вспомнив широкие плечи доктора.

«Волкодав, милый Волкодав...»

Что случилось с ним? Она была уверена: что-то случилось. Ее сердце разрывалось теперь между заботами о Таюге и о Сташевском. Оба они были дороги ей. Она забыла о шамане, который завывал за ярангой. Только бы Сташевский был жив, только бы успел приехать... Что если Таюге умрет раньше? Ей стало страшно.

Когда Волкодав, наконец, показался на пороге, она с криком бросилась к нему, прижалась головой к его груди и заплакала. Но ей не стыдно было слез, теперь она могла плакать. Волкодав жив, Таюге будет спасен. Она тихо и радостно плакала на широкой груди доктора. Теперь, когда мужчина здесь, она была только девочкой, маленькой девочкой из-под Черкасс.

Сташевский провел ласковой рукой по ее волосам.

— Не надо, девочка, не надо. Я здесь.

И она сразу успокоилась.

— Ну-с, где больной? — весело закричал доктор и повел носом.— Свету и воздуха! — скомандовал он.

И пока чукчи отдирали брезент и шкуры, он тихо сказал ей:

— Я привез тебе письмо и посылку.

— От мамы? — обрадовалась она.

Он кивнул головой.

— И... еще что? — потупившись, спросила она.— Есть пынель? — Они говорили на том смешанном русско-чукотском языке, на котором говорят многие русские на Чукотке.

Он пожал плечами. Пынель? Он привез плохие пынель — плохие новости. Но об этом потом. Он ничего не хотел говорить. Он отодвигал этот тяжелый разговор. Прежде — больной.

Да, прежде больной. Ей стало стыдно, что она забыла о нем. Она не стала читать письма, не тронула посылки. Главное — больной. Таюге кричал и испуганно поглядывал на доктора.

Сташевский весело и шумно командовал в яранге. Он всегда был шумен, а сегодня особенно. За этим

скрывалось смущение. Таня все угадала и больше не спрашивала. Молча возилась около больного.

— Нужна операция,— наконец сказал Сташевский.— Немедленно. До больницы не довезти. Острый аппендицит...

Посвистывая, он приступил к делу. Таня помогала ему — она ко всему привыкла в тундре.

Он стал серьезен. Отрывисто и даже, как ей казалось, зло бросал ей:

— Ваты! Так. Шприц! Так. Ножницы! Быстро! — словно она была только ассистентом, а не кудрявой Таней.

Только поздним вечером Таня смогла, наконец, прочесть письмо. Но прежде, по детской привычке, она вскрыла посылочку. Какими сюрпризами обрадовала ее мать?

Сташевский болтал не умолкая. Он чувствовал себя возбужденным после удачной операции.

— И в каких условиях! — восклицал он.

Таня ласково улыбалась ему.

«Какой он молодец!» — думала она любовно. Ей было радостно, что этот сильный, мужественный, умелый человек любит ее. Любит? Она прижала посылочку к себе. Милая мама!

Из посылочки она прежде всего вытащила коробку, перевязанную голубой ленточкой, и с любопытством, как в детстве, заглянула в нее. Тянучки! Милая мама, она знает свою лакомку дочку.

Потом появился на свет флакон духов, в яранге пахнуло нежным дыханием ландыша. Потом показалась тщательно упакованная пузатенькая баночка с вишневым вареньем. И банка эта (глиняный украинский глечик) и запах вишни — все вдруг напомнило Тане далекий домик в вишневых садах у Днепра, кругленькую маму с милыми морщинками у глаз и ямочками на щеках, тихий вечер под акациями, когда на столе сердится самовар, звенят чашки, а на реке протяжно кричат рыбаки...

— Чукчам нужен санаторий! — шумел Сташевский.— Что? — Он ждал возражений, как всегда готовый к бою.

Таня засмеялась. Он всегда такой, милый Волкодав.

Он наступал. Он готов был перевернуть всю тундру. Солярий он уже построил — солярий в краю полярной ночи! Пионерский лагерь на берегу Ледовитого океана уже существовал второй год. Этим летом Таня ездила туда со своими ребятами и там часто встречала Сташевского. Теперь он затевал санаторий для туберкулезных.

— Туберкулез — бич северных народов! — кричал он ей.— Тяжелое наследие колонизаторской политики царизма.

Чукчам нужен санаторий. Что? Он уже выбрал место.

— Чудесное место, Таня!

— Лес, роща, парк? — смеялась она.

Но он, не смущаясь, развивал свои планы. Это все очень нетрудно. Деньги? Их понадобится немного. Он уже прикинул на бумажке. Вот...

— Нет, ты послушай, что мне мама пишет,— перебила она,— вот: «Иногда, как вспомню я, доченька, что ты так далеко, на севере, и одна среди чужих людей, то и плакать мне хочется. Но мы, нынешние мамы, разучились плакать. Знаю я, доченька, что ты по-нужному живешь, по-правильному, и спокойна я за тебя. И соседи мне говорят: «Ваша дочка, Прасковья Максимовна, герой!» И Антосик мне пишет: «Завидую я нашей Татке, что она в Арктике». Он все мечтает к вам перелет сделать. Вот бы встретились вы там, а я уж тут за вас бы порадовалась».

— Хорошо, правда? — засмеялась Таня.— О, у меня мама чудная, молодая, хоть ей пятьдесят! Нет, ты послушай. Вот прелесть: «Я теперь, доченька, каждый день в газетке все про Чукотку ищу. Один раз и про тебя писали, так что́ было! Весь город ко мне в гости. Поздравляют. А я плачу, но это от радости, Таточка, ты не думай,— конечно, иной раз всплакнешь. Детей народила много, а где дети? Один Василек со мной. Он недавно карту мне показал. «Вот тут, говорит, Таня, вот Забайкалье — тут Антось; вот Ташкент — тут Галя с мужем...» И все-то, все, гляжу я, в разных концах света. А ты дальше всех. Я по карте своим сантиметром мерила. Ох, далеконько!»

— Все наши мамы таковы,— засмеялся Сташевский.— И моя тоже. Славная старушка! Я хотел бы,

чтобы ты познакомилась с ней.— Он вдруг смутился и, чтобы скрыть свое смущение, продолжал смеяться.— Наши матери... они, как курицы, которые высидели утят: утята пустились плавать, а наседки мечутся по берегу, квохчут и уверены, что дети утонут.

— О, наши мамы не боятся, что мы утонем! Они знают, что их детям судьба — плавать,— возразила Таня и углубилась в письмо.

Дальше шли семейные новости: «Дядю Якова избрали председателем колхоза, Лариосик поступил в машиностроительный, Маринкина дочка уже говорит «баба», «деда» и смешно агукает, хлеба́ нынче отличные, а сады стоят пышные, богатые...» Потом шли наставления: «Береги себя, дочка. Теплее кутайся. Носи теплое белье, которое при сем прилагается. Не забывай маму». И в конце: «Хотела бы увидеть тебя, да знаю, не приедешь. А у нас варенья какие! И Павлик о тебе нет-нет да справится. Он теперь лейтенант. Ты не узнаешь его. Их полк стоит в Энске, рядом. Часто бывает у нас. И все о тебе». Таня улыбнулась про себя: «Женишок! Ах, мама! Уж есть у меня. И чудесный какой!»

Отрываясь от письма, она искоса поглядывала на Сташевского. Почему он ничего не говорит о главном?

Он стал теперь рассказывать о новостях районного центра. Построена красная яранга.

— Это клуб, просто клуб! — восклицал он.

В школе полный ремонт. Сделали даже сцену.

Она задумчиво слушала.

Районный центр — десяток яранг — казался ей столицей.

Но зачем он рассказывает ей об этом? Это нетактично. Это имело бы смысл, если бы новости были хорошие, но он привез плохие новости и молчит о них.

Зачем он рассказывает ей о районной школе? Она вспомнила свою школу: узкий ящик из волнистого железа на полозьях. Школа кочевала вместе со всем стойбищем. На полу лежал толстый слой снега. Ученики сидели на корточках, в шапках, кухлянках, малицах. В классе пуржило. Она дула на озябшие пальцы и постукивала камузами.

Но в позапрошлом году было еще хуже. Домика на полозьях не было, занимались в яранге. Пахло ворванью

и дымом. Темно, тесно. Тут же и жила. Спала не раздеваясь, рядом с семьей Таюге. Носила ватные штаны и фуфайку. И мечтала о бане, о русской бане, с березовым веником, с горячим полком!

Иногда она гляделась в маленькое зеркальце, в него можно было увидеть только кусочек лица — обветренную щеку, посиневший курносый носик, блестящие глаза,— и смеялась: какая я красавица сейчас! Она представляла себя в ватных штанах и смеялась. Она проваливалась в снег, бредя за нартами, выкарабкивалась, ухватившись руками за острые торосы. Было не страшно, а только весело, смешно и любопытно. Она дышала полной грудью, жадно раскрыв рот, и морозный воздух был только полезен ей, ее щекам, ее глазам, радостно и возбужденно блестевшим.

Нет, недаром жила она в тундре, с этими славными, мужественными людьми. Уже умели бойко читать и писать чукотские ребятишки. Уже растаяло недоверие взрослых к школе. Уже любили учительницу женщины, и одобрительно слушали мужчины, и висли, уцепившись за кухлянку, обожавшие ее дети, и боялся и ненавидел шаман. Она учила детей и читала газеты взрослым. Ее слушали, качая одобрительно головами и выпивая ведра кирпичного чая. Она знала уже чукотский язык. Она хорошо, «по-нужному» жила, как писала мама.

Но Волкодав, Волкодав был не с нею. Он не мог быть всегда с нею. Его держали в районном центре дела, больница, солярий, планы. Изредка, во время своих поездок по тундре, он находил ее, и тогда она была счастлива.

Но он уезжал, а иногда (о, только ночью... когда всё спит, а ей не спится... и думы... и тревога за него... и молодая кровь стучит...) ей становилось немножечко, чуть-чуть... тоскливо.

Он сам предложил ей перевестись в районную школу.

Она нерешительно согласилась. Он уехал, обещая все устроить. Почему же он молчит?

Наконец, она спросила, глядя ему прямо в глаза:

— Ну, хорошо. А новости?

Он смотрел в пол.

— Тебе разрешили перевестись в район.

— Да? — радостно закричала она.

Но он казался смущенным. Почему?

Впрочем, она догадалась. Упавшим голосом она спросила все-таки:

— А... смена?

Он протянул ей радиограмму: «Ввиду тяжелого состояния льдов смену не могли забросить тчк Уговорите педагогов остаться еще год своих местах тчк».

— Хорошо,— прошептала она,— меня не надо уговаривать.

— Но в районной школе не хватает педагогов,— начал он с жаром отчаяния.— Тебе ведь разрешили... Понимаешь? О чем же толковать?

— А здесь?

Он смущенно пожал плечами.

— Я не поеду,— тихо сказала она и покачала головой.— Нет, я не поеду.

Он знал это. Он всю дорогу готовил убедительные, неопровержимые доводы. И знал, что они бесполезны. Она не поедет. Он сам поступил бы так же.

«Но я мужчина и врач,— убеждал он себя (и то и другое он ценил очень высоко),— а она слабая, маленькая девочка».

С жаром он начал уговаривать ее. Это не дезертирство. Это переброска. Простая переброска. Он сам не верил в то, что говорил. Она молча слушала и качала головой. Тогда смолк и он. Потом произнес, отвернувшись:

— А я уж квартирку для нас отремонтировал,— и печально свистнул.

Она вдруг ясно увидела эту чистенькую, уютную комнатку. Книги. Виолончель. Стеклянные банки с заспиртованными земноводными. Коврик у тахты. На стене оленья шкура, а на ней охотничьи ружья, ножи, кинжал в оправе из моржовой кости. Это была комнатка, о которой она часто мечтала, бредя за нартами по снегу. Она сама мысленно обставляла ее, передвигала вещи, раскладывала вышитые салфетки на тумбочке, на туалетном столике, на этажерке.

Потом она представила районную школу: теплые классы, парты (как давно не видела она, учительница, парт!), сцена, печь, задрапированная темным ситцем,

карта Африки на стене. Странно, Африка — и вдруг здесь, даже теплее стало.

«Уехать! — подумала она.— Уехать!» Ей стоило только сказать одно слово. Он ждал.

«А здесь? Как же здесь?» — испугалась она. Она вдруг вспомнила черноглазую Уакат, свою любимицу. Чудесная девочка, она хочет стать учительницей.

А Раутукун? Эта будет врачом, как Волкодав. В следующем году она пойдет работать медсестрой в больницу Сташевского. Что будет с ними, когда она уедет?

Потом она вспомнила вечера у кочевого костра. Кто станет читать чукчам газеты, рассказывать о Большой земле? Она вспомнила, как бережно сушила у костра промокшие, засыпанные снегом листы. Ей показалось, что в яранге запахло гарью, метелью, дорогой. Она улыбнулась. «Я стала кочевницей!»

Как бросишь их, этих людей: сумрачного сильного Теккая, веселого Анчено, ловкого Вуквола?.. Она вспомнила их всех, все кочевье. Смелые охотники, честные души. Она узнала и полюбила этот народ, искренний, правдивый, мужественный. Она не раз уже восхищалась их способностями, их удивительной памятью. О, это народ, у которого все впереди! Он смело перепрыгнул через многие промежуточные ступени культуры. Они уже привыкли к самолету, а еще не видели и не увидят телеги. Она объясняла им, что паровоз — это пароход на земле, а автомобиль — это самолет без крыльев. Они поняли. Они все понимали!

Уехать? Она спокойно уехала бы, если б могла их бережно сдать с рук на руки новой учительнице. «Детишки за год забудут многое из того, чему я их учила,— озабоченно думала она.— Новой учительнице придется начинать все сызнова. И моя работа, мои труды, эти кропотливые, робкие шаги — все пойдет прахом...»

У нее была мечта, мечта синеглазой советской девушки, не ставшей ни пилотом, ни парашютисткой. «Пройдут годы,— мечтала она,— Уакат станет учительницей, Раутукун — доктором... Появится здесь настоящая школа... Все будут грамотны, счастливы... И кто-нибудь спросит их: «Кто научил вас грамоте? Кто приоткрыл перед вами этот ослепительный мир?» Может быть, они

ответят: «Учителька Таня». И память о синеглазой Тане с Днепра будет жить здесь».

И она решила: «Нет, не уеду».

«Но Волкодав? И квартирка, и коврик у тахты, и вечерний чай вдвоем, и виолончель?» Она подняла глаза на Сташевского. Он ждал ответа, окончательного, последнего, смиренно опустил руки и сгорбился. Он уже ничего не доказывал, не убеждал. Он только ждал, и глаза его с надеждой и мольбой смотрели на нее.

Она чувствовала, что в ней еще нет ясности. Она не знала, «Веретгыргын,— усмехнулась она,— поединок». И ей вдруг вспомнился Таюге, как он лежал, и шаман над ним. Она только теперь поняла, что не религиозный бред, не страх келе, не надежда на загробную жизнь заставляли Таюге желать смерти. Его измучила боль, и он хотел уйти туда, где покой, где нет ничего — ни болезни, ни радостей. И это она, Таня, вытянула его обратно в жизнь, в борьбу, в мир радости и горя, потому что жить и бороться, любить и страдать, желать и достигать всегда лучше, чем ничего не желать, ничего не чувствовать, ни за что не бороться. А теперь она сама хотела уйти от этой жизни, от борьбы, хотела уйти только потому, что там, с Волкодавом, ее ждет покой, туфли, отороченные оленьим мехом, на коврике, а здесь даже бани нет... «Нет, нет, это не то. Я ведь и там буду работать. С теми же чукотскими ребятами». Она словно оправдывалась. В ее ушах звенели ее собственные давнишние слова, но теперь их произносил Таюге:

«Ты хочешь уехать, Таня? Ты не хочешь больше видеть наше небо, тундру, родную ярангу? Ты не пойдешь с нами на большую охоту, за нашими стадами? Ты не хочешь жить с нами? Ты не хочешь видеть, как станут людьми дети Таюге? Ты не хочешь проводить Анчено, когда он через Анадырский хребет поедет в Москву, и его спросят: «Кто научил тебя, Анчено, так говорить по-русски? Кто научил тебя грамоте? Кто открыл мир перед тобой?» Ты хочешь уехать, Таня?..»

«Нет, нет, я не уеду, Таюге».

Она обернулась к Сташевскому и положила ему руки на плечи. Он стоял все так же согнувшись, сумрачный и грустный Волкодав. Огромный, смешной ребенок!..

— Милый Волкодав! Знаешь что?

Он встрепенулся.

— Что? Что, Таня?

— Ты сделай вот что, Волкодав. Ты за зиму еще лучше отремонтируй нашу комнатку, а потом...— и она смущенно улыбнулась.

Он ответил ей грустной улыбкой.

— И тогда, через год,— продолжала она,— я перееду к тебе. Совсем. Навсегда.

— Маленькая хозяйка маленькой квартиры,— пошутил он.

— Зачем нам большая? Нам будет чудесно и в маленькой. Да?

— О да! С тобой везде мне будет чудесно.

— И потом мы поедем с тобой в отпуск, на Большую землю.

— Свадебное путешествие...

— Через море... Владивосток... в Москву.

— Да, в Москву...

— Мы увидим Москву, метро...

— И послушаем оперу...

— И побываем у твоей мамы...

— И у твоей...

— Мама угостит тебя вишневым вареньем и немного всплакнет над тобой, зятек.

Она знала, что еще один человек всплакнет... «Милый лейтенант Павлик,— подумала она,— вот ты растеряешься, когда я приеду с мужем».

Через несколько дней Таня простилась со Сташевским. Он уезжал на север, к морю; она со всем стойбищем откочевывала в глубь тундры.

— Я скоро приеду,— сказал Сташевский.— Я найду тебя в тундре, всюду, где бы ты ни была.

Он долго кричал ей вслед:

— Я найду тебя, Та-а-ня-я... Та-а-аня-я...

До нее доносилось: а-а-я-я...

Скрипели нарты. Изредка ревели олени. Визжали собаки. Падал снежок.

Таня шла, обнявшись со своими ученицами. Она улыбалась им. Знали ли, догадывались ли они, что чуть не лишились своей учительки? Она ничего не сказала

им. Зачем? Если бы она уехала, она никогда не была бы счастлива. А сейчас? Она вздохнула легко, всей грудью. До нее доносилось еще: «Та-аня-я...» Или это казалось ей? Он найдет ее, конечно же, найдет, милый Волкодав! А впереди уже клубилась бесконечная дорога.

Он найдет ее. Когда длинный обоз скрылся вдали, Сташевский вздохнул, уселся на нарты и крикнул на собак. Они рванулись с места и понесли его домой одного. Нельзя было поступить иначе. Он понимал ее и еще больше любил и уважал. Как-то бредет она сейчас, милая девочка? Через два месяца, объезжая тундру, он заедет к ней. Он найдет ее. По следам кочевых костров и стоянок, по языку тундры он найдет ее, как находил и в прошлом году. Они будут сидеть у огня и говорить о своей любви, большой, честной, хорошей, и будут счастливы...

1936

СУД НАД СТЕПАНОМ ГРОХОТОМ

Мы должны были судить нашего товарища Степана Грохота, десятника.

Накануне суда, вечером, он зашел ко мне.

— Ну? — сказал он, криво усмехаясь.— Ну, грозный судия? Отыскал статью, по какой судить меня будешь?

Мне не нравились эти шутки. Нет, к черту, мы нашутились вволю за эту проклятую зиму. Прав Степан или не прав, а мы должны с этим покончить.

Я сказал:

— Не я тебе судья, Степан. Мы тебе все судьи.

— Все? — закричал он.— И эта собака тоже?

Я знал, что так он говорит о начальнике. Я не мог одобрить этого. Я сказал:

— Иди спать, Степан. Мы поговорим об этом завтра.

Но он не хотел уходить. Он стоял в дверях, покачиваясь на кривых ногах, и кусал трубку.

Зачем он пришел? Он не должен был приходить ко мне сегодня. Но я не мог прогнать его с моего порога, Степана Грохота. Нет, я не мог.

— Помнишь Лена-Гольдфильдс-Лимитед, Федор? — вдруг произнес Грохот.

Я вздрогнул.

— Лена-Гольдфильдс помнишь?

Ну что ж! Я помнил Лена-Гольдфильдс-Лимитед. Проклятое время! Теперь-то я могу вспомнить о нем спокойно.

Ты хочешь поговорить о Лена-Гольдфильдс, Степан? Давай поговорим. За что нас тогда выгнали с приисков? Кажется, за драку. Ну да, ты избил смотрителя шахты. Мы остались зимой без работы и без крова. Что ж нам еще оставалось, как не идти в «копачи»? Лихие набеги свершали мы с тобой, Степан, на шахты концессионеров. Мы брали золото, где хотели. Но однажды какая-то собака выдала нас. Кто б это мог быть? Я до сих пор ломаю голову, Степан. И нас поймали, как крыс в золотом алтаре... О, смотритель знал, что с нами шутки плохи. Собака! Он угадывал, что у нас есть зубы. И он расправился с нами трусливо и подло, как... как хозяйчик. Он заложил выход из нашей норы, и мы очутились в мышеловке. Что ж, закон был на его стороне, а мы были вне закона. Сколько дней мы пробыли там, в этом капкане, без еды, без воздуха, без надежды? Да, пять дней, целых пять дней, пока ты, Степан, не нашел где-то в породе крошечной щели и не выволок меня, полумертвого, «на-гора́», к жизни.

— Ну да. Я помню Лена-Гольдфильдс-Лимитед. Еще бы мне не помнить! Но к чему это сейчас, Степан?

— Ни к чему...— отвечал он насмешливо, покачиваясь на своих кривых ногах.— Совершенно ни к чему...

Но я знал, к чему он вспомнил. И я сказал:

— Все равно мы будем тебя судить завтра.

— Ну, а Сасыл-сысы, Лисью Поляну, ты помнишь, Федор?

Да, я помню и Лисью Поляну. Не тебе бы напоминать мне, Степан! Я всегда тебе говорил, что ты плохо кончишь. Помнишь, ты вошел тогда в землянку и сказал: «Мы довольно ковыряли землю, Федор. Давай ковырять людей». Это было в Якутии, в 1921 году, на прииске, про который мы только двое знали. Обманным прозвали мы тот прииск, потому что он обманул нас. Тогда-то ты и сказал: «Довольно». Тебе захотелось броситься в другую игру. Ты сказал мне: «Тот дурак, кто сидит сейчас на земле и ждет от нее фарта. Беглые корнеты, пьяные есаулы, всякая шантрапа — и та мнит себя сейчас завоевателями. Наберем,— сказал мне ты,— шайку знакомых ребят в двадцать голов, захватим какой-нибудь поселок, провозгласим себя правителями

якутскими и выжмем золото и пушнинку из якутов». Так? Но я знал тебя. Ты хитрил со мной. Ты большую игру задумал. Говори: хотел продать наши руки Пепеляеву? А что тебе ответил я? Я сказал: «Мы дружили с тобой много лет, Степан. Но вот наша общая дорога кончилась. Я тоже уйду с прииска, но только в другую сторону. И ты знаешь куда». И еще я тебе сказал: «Выбирай теперь, Степан, дорогу. Или со мной — к красным, или без меня — к Пепеляеву-гаду». Ты тогда долго думал, Степан. Ты думал ночь и день. И ты пошел со мной. И эта дорога привела нас к Лисьей Поляне. Два месяца пепеляевцы осаждали нас, а мы держались. Наши товарищи падали мертвыми, а мы из их окоченевших трупов строили бойницы. Ты помнишь, я сказал тебе: «Если меня убьют, ты возьми мое тело для своего окопа. Пусть и мертвый я буду служить революции». У нас не было воды. Мы умирали от жажды. Мы выпили и вытоптали весь снег вокруг нашей осажденной избушки. А впереди лежало поле чистого снега, насквозь простреливаемое огнем. И мы по ночам ползли с тобой, Степан, за этим снегом, и пули посвистывали над нами. Да, мы видели с тобой смерть в те дни, Степан!

— Да, я помню Лисью Поляну. Что ж, тем более мы будем судить тебя завтра.

Он стоял молча в двери. Ему нечего было мне ответить. Он пробурчал:

— Если меня завтра осудят, я застрелю его, как собаку. А может, и себя потом. Так и знай!

Он сильно хлопнул дверью, так что дверь еще долго шаталась на ржавых петлях и скрипела. А из-за двери ко мне донеслось:

— Большой Невер помнишь, Федор? А японца помнишь?

В эту ночь я не мог уснуть. Я помнил все — и Большой Невер, и японца, и Оху на Сахалине, где мы строили со Степаном порт, и Чукотку, где мы искали золото.

Я не скажу худого про то время,— то была наша молодость. И Степан был мне тогда хорошим товарищем. Помню ли я Большой Невер? Отчего не спросил ты прямо: помнишь ли мое плечо, Федор? Да, я опирался на него три месяца, пока не пришли мы с Большого Не-

вера на магистраль, к своим. Ты не бросил меня, Степан, в тайге раненого, не бросил, и я знаю: не бросил бы и мертвого. Но я мог бы спросить тебя: а ты Чукотку помнишь? Потому что, когда на Чукотке у нас вышла с японцем драка из-за дележки золота,— ты помнишь? — он-таки прочно пришил тебя ножом, и я нес тебя на спине до реки, к людям, пока сам не свалился. Разве жалел я, что тащил на себе не золото, а тебя? Я золото бросил. Целый мешок золота,— мы копали его два года. Потому что товарищ... ты, Степан, мне был дороже золота. И ты сделал бы то же. Разве нет?

Но зачем вспоминать все это? Это ничего изменить не может. Мы уже старики с тобой, Степан, виски у нас — как кварц, серебрёные, и не моя вина, что здесь, у Ледовитого моря, наши дороги разошлись.

Но уснуть я не мог. В такую ночь не спится. Я встал и вышел в столовую. В кабинете начальника горел свет. Мне подумалось, что он, как и я, мучится завтрашним делом. Что, если зайти к нему, потолковать по душам хоть раз за всю эту проклятую зиму? Может быть, мы и разрубили бы этот дьявольский узел.

Я постучал и услышал резкое знакомое:

— Шагайте!

Я шагнул.

Начальник сидел, склонившись над чертежами. Он был в кителе, застегнутом на все пуговицы. Его бритое лицо выглядело измученным. Но только одну секунду. Заметив меня, он сразу же стал надменно-спокойным.

— Отчего вы не спите, товарищ Федор? — спросил он хрипло.

Я улыбнулся:

— Вот ведь и вы не спите, товарищ начальник... Не спится...

Он нахмурился.

— Надо спать, спать. Надо беречь силы. Завтра спуск ряжа. Спать! — приказал он и снова склонился над чертежами.

Эх, не умел этот человек улыбаться! В этом-то и было несчастье его, а пожалуй, и несчастье всей нашей зимовки.

Ну что ж! Мне оставалось только уйти.

Однако я не выполнил приказания начальника: в эту ночь я не спал.

Думал.

А ведь это, пожалуй, впервые за сорок семь лет задумался я всерьез над своей жизнью. Стыдно людям сказать, а надо: сорок семь лет жил на земле человек и ни разу по-хорошему не подумал, как живет, зачем живет, так ли...

В эту ночь перед судом Степана в первый раз взял я свою жизнь в ладонь и поглядел на нее. По чистой совести, по всей строгости судил я себя в эту ночь, чтобы завтра была во мне сила судить Степана.

Двадцать девять лет назад мы с тобой встретились, Степан, встретились и зашагали вместе.

Двадцать девять лет бродили мы с тобой по земле, Степан Грохот. Бывало, заживемся где-нибудь на прииске — ты уж места себе не находишь.

— Пожалуй, плохо нам тут живется, Федор-друг?

— Плохо! — немедленно отвечу я, хотя б и был всем доволен.

— Да... плохо... Скучно... А пошто ж мы живем тут? — удивишься ты.— Пошли, что ли?..

Пошли так пошли. Мешок за плечи — и айда.

Так исходили мы с тобой много троп. И всякие времена знавали. Помнишь, сдали мы как-то в Русско-Китайский банк восемь мешков золота, невешенного, неделенного. Весь Благовещенск был пьян на наши деньги. Офицеры козыряли нам на улице, как генералам. В портовых городах вышибалы двери перед нами распахивали, а девочки гостей бросали и бежали к нам. Мы за все платили золотом. А однажды проснулись нищими, опохмелились на последнее и пошли работать грузчиками в порт. Вот как мы жили с тобой, Степан. Сегодня — миллионеры, завтра — нищие, и всегда — бродяги.

Что гнало нас? Ну, раньше молодость гнала, дух бродяжий, любопытство. А теперь? И молодости уж нет, да и любопытствовать не с чего: все-то мы уже видели, все-то изведали. Равнодушными людьми брели мы с тобой, Степан, по этой земле, равнодушные и к тому, что делали, и к тому, что видели, да и к тому, что станет с нами.

«Пошли, что ли!» — только и слышалось над нами, как свист кнута.

Вот так гонит и метет по земле сухие осенние листья. Метет потому, что оторвались они от ветвей да на дорогу упали.

Не было у нас с тобой, Степан, ни ветвей родных, ни дома, ни крыши. О каждом человеке можно сказать, чей он, какого роду. Вот запальщик Коробов из моей бригады. О нем говорят с почтением: ленинградский, кадровый. Про Кузьму Буторова: мезенский плотник, мезенцы всем плотникам плотники. Про Архипку Колесо и то говорят люди: шенкурский — оттого и жаден, шенкурята все жадные.

А мы с тобой, Степан, какие? От каких ветвей?

Еще о людях говорят так: «Он с Магнитной стройки, каменщик», или: «Он Амуро-Байкальскую строил, ударник». Отчего про нас с тобой не говорят так? А ведь и мы на Амуро-Байкальской толкались, и на Сахалине околачивались, и по Якутии лазили... Везде мы с тобой побывали, Степан, да только нигде к ветвям не прилепились... Только и было: «Пошли, что ли!» — и уж снова шагаем мы с тобой по шпалам да по дорогам.

Теперь припоминаю я: давно уж меня это мучило. Тоску эту давно я почуял в себе, только назвать ее не мог, имени-отчества ее не знал. Теперь знаю: то, брат, тоска по дому.

И не то что хочу я свой домок обрести, семью там, детишек... Нет, куда уж мне, бродяге... Хочу я хоть про что-нибудь на свете сказать с полным моим правом (и чтоб люди не высмеяли): «Мой! Мой порт! Моя дорога!»

Вот теперь я знаю, чего хочу.

А ты? Ты, Степан, чего хочешь? Я буду судить тебя завтра, Степан, по чистой совести, по всей строгости, по закону зимовки.

В большом грехе обвиняешься ты, Степан. И вот я не сплю, ворочаюсь на узкой койке, ищу тебе оправдания.

Год назад это было? Да, ровно год. Мы сидели с тобой на бульваре в Москве, жевали воблу и читали газе-

ту. Какого черта попали мы в Москву? Твоя, Степан, фантазия.

Итак, мы сидели на бульваре, на дворе был март, в наших карманах свистел ветер. Помнишь погребок на Тверской? Я не скажу про него ничего худого, но там остались все наши деньги.

Вдруг ты сказал:

— Мы едем с тобой, Федор, строить Северный порт.

Северный порт? Откуда он взялся вдруг здесь, на бульваре? О нем и разговору не было. Но я не удивился. Старая лошадь в конце концов привыкает к свисту кнута.

Ты протянул мне газету, я прочел объявление, и мы пошли наниматься.

Одно ты умел делать в совершенстве, Степан: очаровывать людей. Великий актер пропал в тебе. До сих пор не могу без смеха вспомнить, как ты ломался в отделе кадров.

И мы вышли с тобой оттуда победителями: ты — старшим десятником, я — бригадиром.

Ты умел работать, когда хотел! Ничего не скажу: ты работал бешено. Еще бы,— ты оказался главным начальником. Настоящего начальника еще не назначили. Ты сам подбирал рабочих, добывал оборудование, хлопотал о пароходе, грузил, носил, командовал... И когда мы в июле под твоей командой поплыли морем на остров, где должен был строиться Северный порт, ты с шиком занял отдельную каюту на пароходе, и повар в мыле носился туда и сюда, не зная, чем угодить тебе.

Разнообразный народ собрался на пустынном берегу бухты, на стройке Северного порта.

Нас было семьдесят человек, и все разные люди. Тут были ребята и с севера и с юга, архангельские строители, мезенские плотники, шенкурские печники, бурильщики из Донбасса да водолазы из Питера. Тут были мастера скального, портового и свайного дела, люди механического, бурильного, плотницкого, горного и иного ремесла. Были люди вольные, были вербованные, были и раскулаченные, отбывшие свой срок и теперь зарабатывающие себе честным трудом право на советский паспорт. Среди них встречались и злопамятные люди, зата-

ившие в себе — до поры до времени — месть и злобу. И были благодарные власти люди, очистившиеся от своего прошлого и научившиеся честному ремеслу. Были люди, охочие до работы, нетерпеливые... Были тут жадные шенкурята, погнавшиеся за длинным рублем. Были люди любопытствующие — больше южане,— удивленно глядевшие: куда это их черт занес! И трусливые были люди, напуганные... Всякие люди были.

И только мы с тобой, Степан, двое, были равнодушные люди. Не было у нас ни любви, ни злости, ни алчности, ни любопытства. Правда, ты носился, опьяненный властью, но я-то знал: охота пройдет — и снова, как прежде, просвистит надо мной твое скучающее, ленивое, безысходное: «Пошли, что ли!» И мы пойдем куда глаза глядят.

Испуганно ждал я приезда настоящего начальника. Словно предчувствовал: здесь быть беде. И когда ты высоко заносился, Степан, я тебя, помнишь, одергивал. А ты хохотал.

— Завидуешь, черт! — кричал ты мне.— Завидуй!

И вот последним самолетом прилетел настоящий начальник.

Он сошел с самолета — высокий, худой военный, моряк с холодными глазами,— окинул взглядом нашу нестройную толпу, дернул головой и прошел к себе.

Ну что ж, Степан, давай поговорим о любви. Я и этого разговора не боюсь.

Это верно: тебя все любили. Тебя всегда любили ребята. И чем больше тебя любили, тем острей не любили начальника, и чем крепче не любили начальника, тем демонстративней любили тебя. Ты был рубаха-парень, язык-бритва, свой человек, наша кость. Ты и приказывал весело, и материл ласково, и помыкал нами шутя.

И ты не жалел спирта. Нет, спирта ты не жалел! Ты за все платил голубой влагой: за погрузку и за выгрузку, за мокрые камни берега, за ледяную воду, в которой мы работали по грудь, и за злость, с какой мы крушили диабаз — грунт двенадцатого класса. Мы говорили тебе: «Хозяин! Это будет стоить по пятьдесят граммов на нос». И ты лихо отвечал: «Вали в мою го-

лову. Ставлю». Другой цены человеческому труду и человеческим чувствам ты не знал. И мы не знали.

А начальник?

Первое, что он сделал, прибыв на остров,— отобрал у Степана спирт. Впрочем, это было правильно: владеть спиртом — право начальника. Но он не оставил спирт у себя. Он отдал его... доктору. Мы недоуменно притихли, узнав об этом. Мы ждали: что же теперь будет? Ничего не случилось. Спирт так и остался у доктора, теперь он служил медицинским целям.

И тогда мы догадались: наш начальник не знал Севера, он был «суслик», полярный новичок. Мы стали смеяться над ним. Смеялись злобно. Ты, Степан, громче всех.

Да, он не знал Севера, наш моряк. Он завел на острове корабельные порядки, назначал вахтенных, строго следил за регламентом дня, регулярно делал смотры личного состава и санитарные обходы бараков... Он думал зажать нас в щипцы железной дисциплины. Нас! Нет, он не знал Севера.

Однажды он потребовал, чтобы мы вышли работать в пургу. И то правда, пурга грозила стройке неисчислимыми бедами. Мы как раз заготовили горы камня для «постели» причала,— тут был труд трех горячих недель,— но теперь пурга занесет камень снегом; черт его знает, сколько придется ковыряться в сугробах. Мы подготовили и майну. Только наши руки да спины знают, каких трудов стоила нам эта четырехугольная прорубь во льду! Мы взрывали лед, как скалы, динамитом и аммоналом; но теперь пурга закроет майну, и труд наш пропал зря, ни за олений помет.

Все это мы знали не хуже начальника. И все-таки...

Ну да, мы не вышли на работу. Кто же работает в пургу? В пургу люди спят. Пурга — это выходной день на северной стройке.

Начальник вошел в бараки:

— Отчего вы не работаете, товарищи?

В ответ раздался только храп. Даже те, кто не спали, захрапели смачно, нарочито.

А я глядел на нашего начальника и с любопытством ждал, что он сделает.

«Ну, закричи, обругай!» — мечтал я. Эх, если б он крикнул! Мы не смолчали бы, отвели б душу, разругались бы с ним и... все-таки не пошли бы работать. Но он не закричал. Он никогда не кричал на нас.

Что же он сделает? Проскрипит: «Я приказываю!» — плевали мы на твои приказы, начальник! В пургу не работают. Станешь нас уговаривать, просить, пообещаешь спирта? Да ты ведь отдал свой спирт доктору, начальник. Станешь нас агитировать, митинговать? Да разве нас сагитируешь?

Очень мне было любопытно догадаться, что он сделает в эту проклятую минуту.

Да, вот что он сделал: взглянул на нас с невыразимым презрением, проскрипел: «Бабы!» — и, круто повернувшись на каблуках, вышел.

Он вышел, а мы молча и сконфуженно глядели ему вслед. Степан попробовал было пошутить, крикнул моряку вслед, что, мол, катись на легком катере. Но беспокойно вдруг стало у меня на душе. Тревожно. Стыдно.

Я не мог больше оставаться в бараке. Оделся. Пошел на площадку и увидел: над майной, с пешней в руках, исхлестанный и иссеченный метелью, молча трудился одинокий человек в черной шинели с якорями.

И тогда, не помня себя, побежал я обратно в барак, рванул дверь так, что она чуть не слетела с петель, и закричал что было во мне мочи:

— Сволочи! Сволочи мы! — и еще что-то, чего сейчас не вспомню.

Через десять минут мы стояли рядом с начальником и молча долбили пешнями молодой ледок, вылавливали ледяные глыбы сачками, молча очищали майну, молча набрасывали камень в вагонетки; молча сердито гнали вагончики по рельсам, со злостью опрокидывали в майну... И все это время никуда не уходил начальник. Работал, словно не замечая нас... Ни одного слова не было сказано промеж нами. Ни единого слова.

А я, старый дурак, признаюсь, ждал: не выдержит наш моряк, прорвется в нем человечье тепло, брызнет, согреет всех. Думал, улыбнется он этакой простой, человеческой улыбкой, холодные глаза, наконец загорятся,

и скажет нам: «Эх, ребята, ребята... Товарищи!» Только и слов. Больше не надо. И все пойдет у нас гладко, хорошо, весело.

Мне показалось даже, что и сам он хочет сказать эти слова, делает над собой усилие. «Ну же! Ну!» — хотелось поторопить его.

Да не сказались у него эти слова. Сами собой не сказались.

Много времени спустя,— а может быть, только сейчас, в эту минуту,— догадался я, что это не только от сухости его характера так получалось. А и от другого. В конце концов он действительно был в трудной переделке. Он попал на Север впервые. Попал на трудную стройку. Посоветоваться, спросить было не у кого. Он никого не знал из нас,— народ был весь подобран Степаном «по образу его и подобию».

Другой человек, попав в такой переплет, может быть, рассудил бы иначе. Может быть, стал бы набиваться к нам в дружбу, заискивающе глядел бы нам в глаза, панибратствовал, подкупал нас спиртишком. Любили бы мы такого начальника? Вероятно. Но уж не уважали бы наверняка.

Наш моряк не искал дружбы с нами,— в этом была его беда. Но он не показывал своей слабости. Он собрал себя всего в кулак, взвел, как пружину,— он весь и всегда был в напряжении. Какими муками, сомнениями, страхами терзался он, когда оставался один в своем логове? Что думал? Что переживал? Но никогда не подавал он виду, что ему трудно. Всегда он был в ледяной броне — ровный, спокойный.

Только один раз он раскричался на подчиненного, и этим подчиненным был кок, и случилось это тогда, когда щи были отменно негодные. Ну уж и задал ему баню начальник! С тех пор мы всегда ели отличную пищу. Начальник сам заглядывал в котлы. Он заботился о хлебе, который печет для нас пекарь, о бане, о матрацах, о жилье, о спецовке. Он был строгий, но справедливый человек. Этого-то и ты не будешь отрицать, Степан.

Да, он не знал Севера. Но что-то такое знал он, чего мы с тобой, Степан, за сорок семь лет жизни не узнали.

Иногда мне казалось, что и о порте, который мы строили, он знал что-то такое, чего не знали мы. Давай говорить прямо: что для нас с тобой, Степан, этот порт? Для тебя — очередная забава, для меня — просто заработок. Даром ведь нигде не кормят.

А для него? Что этот порт для него?

Как-то он пришел к нам на площадку, как раз в тот день, когда мы начали сколачивать ряжи. Ходил, трогал руками бревна, расспрашивал, а потом долго молча следил за работой плотников. И вдруг я увидел усмешку на его губах...

— Гостинец...— подмигнул он мне, поглаживая рукавицей бревно.

— Кому? — не понял я.

Он удивленно взглянул на меня, как на ребенка, и засмеялся:

— Неумному соседу...

Он имел в виду, что Великим Северным морским путем могут ходить не одни только торговые корабли.

Тогда стала понятней мне еще одна сторона характера нашего начальника. Да, Степан, в этом спокойном с виду человеке живет великое нетерпение. Ты приглядись к нему. Понаблюдай за ним на стройке. Как нетерпеливо следит он за ростом ряжа, за работой водолазов, за ходом стройки. Ему хочется поскорее увидеть, пощупать эти шестьдесят метров причала. Небось дома, в своей каморке, над чертежами, он мечтает о том дне, когда, шумя, подойдет к стенке первый корабль. Глазами, в которых, как в воде, отражается холодное сияние льдин, он глядит в окно и, вероятно, видит, как идут корабли, кильватерным строем, как шумя развеваются вымпела по ветру...

И когда я понял, почувствовал это...

Ну вот, Степан, мы теперь подошли к самому главному,— я знаю, что скоро, очень скоро, как только тронется лед в бухте, надо мной просвистит твое: «Пошли, что ли!» Так вот, я не пойду с тобой больше, Степан.

Я останусь здесь. Я тоже хочу увидеть, как подойдет первый пароход к моему причалу. Черт подери! Я вложил в него не только соль и пот моей проклятой судь-

бою старой шкуры,— я вложил в него душу, Степан! Я останусь здесь.

Я буду судить тебя завтра не за то, что ты поднял топор на начальника,— хотя это и большое преступление,— я буду судить тебя за двадцать метров моего причала, которые ты, один только ты, сорвал.

Проклятой была эта зима, и ты в ней один повинен. Мы все не любили начальника, ты же науськивал нас на него. Ты не мог простить ему того, что он начальник, и того, что он не пляшет под твою музыку. Ты высмеивал все его приказы; самые дельные из них ты просто не выполнял. Ну да, мы все были на твоей стороне, потому что ты был рубаха-парень. Мы с любопытством, как в цирке, следили за твоей войной с моряком; в ней было что-то веселое и жуткое, как во всех твоих забавах. Мы заплатили за эту забаву двадцатью метрами причала, и не один только я нахожу, что это дорогая цена. Спроси старика Коробова, спроси Кузьму Буторова, спроси Афанасия Сухорукого — тебя осуждают все.

На кого ты оперся, Степан? Эх, Степан, пусть нет во мне ни гордости, ни чести, но паразитом никогда я не был. Я, брат, трудящийся человек. Я сроду не ел чужого куска. Я тоже свою совесть имею. Ты на раскулаченных оперся, Степан. На кулачье, на захребетников. Эх, Степан!

Они орали:

— Не дадим нашего Степана в обиду!

Они, как на бегах, ставки ставили: снимет тебя с должности начальник или не снимет? Они по рукам били, полушубки закладывали: не снимет! Еще бы! Как начальнику обойтись без тебя, коли он Севера не знает? Кто найдет лес для ряжа, коли на острове леса нет? Кто, кроме тебя?

И вдруг, как гром среди ясного неба, появился в кают-компании приказ: «Старший десятник Грохот отстраняется от работы и переводится на площадку плотником».

Мы читали и перечитывали этот приказ — и не верили. Дружки твои притихли, а старик Коробов сказал:

— Слава богу! Теперь причал строить будем.

А ты?.. Ты сорвал приказ со стены, яростно растоптал его. Будто дело в бумажке. Эх, Степан!

Где ты напился в тот день? Помнишь ли, что произошло? Ты ввалился вечером пьяный в кают-компанию, на тебе была рабочая роба, на плече — плотничий топор. Ты закричал:

— Шире дорогу! Новый плотник идет!

Все посторонились, давая тебе дорогу, а начальник сказал:

— Идите спать, Грохот. Здесь не театр.

И тогда, с топором в руке, ты пошел на начальника. Мы не успели ни задержать, ни окрикнуть тебя. Мы замерли.

А ты, ты шел прямо на начальника, и топор блестел под огнем лампы, и кисло пахло овчиной, и было так тихо, что слышалось, как дрожит треснутое стекло в окне.

Начальник встретил тебя спокойным взглядом, ни одна жилка не дрогнула в нем. И ты не выдержал этого взгляда, Степан. Топор упал на пол, звякнул, и опять стало тихо. В этой тишине только один голос прозвучал — помнишь чей? Я помню. Мой голос.

Я сказал:

— Судить!

Твои дружки увели тебя. Ты шел пьяный, расслабленный, плакал, грозился, а мы стали выбирать судей. Я предложил старика Коробова, а начальник предложил меня.

Меня?

Я возразил, горько усмехнувшись:

— Меня нельзя, товарищ начальник. Мы друзья с Грохотом. Побратимы.

Начальник скользнул по мне беглым взглядом и опять повторил свое предложение. Меня выбрали.

Нет, я не хотел быть твоим судьей, Степан. Вот ворочаюсь на койке, мучаюсь, надеюсь на чудо, на то, что ты сам, как я, рассудишь свою жизнь и принесешь завтра на товарищеский суд свою повинную голову. Да нет, не бывать чуду! Я больше жду беды. Я знаю, не кончится завтрашний день миром, я видел сегодня твое лицо, Степан: в тебе все кипело. Что ты выкинешь завтра, сейчас, ночью? Я не удивился бы, услышав сейчас выстрелы, бой пожарного колокола или вой авральной сирены. Ты на все способен. Ты такой.

Но ночь прошла спокойно, только я не спал ни минуты, а утром я услышал в кают-компании смех Степана.

Он стоял и хохотал в кругу товарищей. Утро было ясное, солнечное, майское. На вымытых стенах прыгали косые зайчики; на большой балке висел плакат: «Первый ряж готов. Даешь к сроку второй!»

Степан крикнул мне, играя бровями:

— Я им про Марью Ивановну рассказываю, Федор. Помнишь Марью Ивановну?

Я улыбнулся. Ну, значит, в добром ты настроении, Степан, если вспоминаешь не Лена-Гольдфильдс-Лимитед, а Марью Ивановну. Может, и в самом деле свершилось чудо?

Еще бы мне не помнить Марью Ивановну! Сладкая, но бестолковая была бабенка. Где это было? На Колыме? Ну да, бабенку эту выслали сюда вместе с мужем, нэпманом. Она мужа бросила и решила самосильно разбогатеть. До нее много охотников было, но она отвечала всем: «Люблю за золото». Сколько мы с тобой золота перетаскали к ней, Степан! Не скажу худого — она честно отрабатывала золото. Честно. И сколько же она его набрала! Помнишь, хвасталась мешочком? Только боялась: узнают чекисты про золото и отберут. И правда: узнали. Взяли ее золото, поглядели... и... и отдали ей обратно. Мы с тобой потом старались не попадаться ей на глаза. Шутка ли! Цельный самовар счистили ей за любовь. Хороший был самовар, баташевский. Это хорошо, что ты вспомнил Марью Ивановну.

Смеясь, сели мы завтракать. Было легко у меня на душе в это утро. Мерещилось: все уладится, все обойдется.

Меж тем погода испортилась. Загудел метельный ост, на глазах переходивший в северные румбы. Повалил снег. В воздухе послышались шаги надвигающейся пурги.

Мы подошли к ряжу. Вот он, наш красавец. Деревянная махина... Двадцать метров длиною, десять — шириною, восемь — высотою. Сто восемьдесят тонн веса. Да, это цифры. А кто подсчитает, кто увидит капли нашего пота на этих шершавых бревнах? Кто сочтет

надежды наши, и муки, и усилия? Вот через час-два все это сооружение будет под водою, на дне бухты,— никто не увидит его. Подойдет пароход, забросит чалки на помост, еще выругает строителей... И все-таки славный ряж отгрохали мы! И в пургу мы его сколачивали, и в полярную ночь, и в холода...

Все стояли по местам; механик сел на трактор, мы с Коробовым стали к лебедкам. Среди плотников я заметил Степана. Услышал его громкий смех. Все ждали сигнала начальника.

Начальник обошел площадку, выбрался на вышку подле моей лебедки и махнул флажком:

— Давай!

Но плотники — им предстояло начать дело — не тронулись с места.

— Давай! — снова закричал начальник, и снова никто не двинулся.

Я услышал громкий смех Степана и похолодел. «Вот оно, начинается...»

По лицу начальника медленно пошли багровые пятна. Он сошел с выщки и пошел к плотникам.

Его ждали. Стояли молча. Кто-то закурил.

— В чем дело, товарищи? — отрывисто спросил начальник, остановившись перед плотниками.

Из толпы выступил Савоська Кругляк — рыжий черт — и сказал, хитро прищурившись:

— Причитается, товарищ начальник.

— Что причитается? — не понял моряк.

В толпе захохотали.

— Обыкновенное дело,— продолжал, щурясь, Кругляк.— Такой порядок... Причитается...

— Они спирту требуют! — закричал кто-то из нас.

Савоська умильно улыбнулся и подмигнул своим.

— Я не дам спирта,— медленно произнес начальник.

— А раз смазки нет — и ряж не пойдет,— пискнул Савоська и скрылся, юркнул в толпу.

Из задних рядов кто-то крикнул:

— И потом мы желаем, чтоб командовал спуском Степан. Как он строил, нехай и спущает...

Теперь все плотники загалдели:

— Желаем Степана!

— Нехай Степан!

Голоса Степана не было слышно. Голос начальника потонул в общем галдеже.

Я слушал этот галдеж, понимал, что это работа Степана, и не знал, что сделать, что предпринять. Скверно было у меня на душе. Эх, Степан! Метель усиливалась; теперь снег валил хлопьями; я чувствовал гору на своих плечах.

Вдруг я взглянул на майну. Она вся уже покрылась пленкой молодого льда. Лед рос на глазах, снег уже не таял на нем.

— Лед на майне! — испуганно закричал я и, схватив пешню, бросился к проруби.

И тогда все, кто был на площадке, бросились за мной к майне. Майна закрывалась льдом,— мы знали, что это значит! Начиналась пурга,— мы знали, что это значит. Это значит, что, если не спустим сейчас, сию минуту ряж на воду, нам снова и снова придется воевать со льдом, взрывать его, долбить, ломать, выбрасывать.

К черту плотников, Степана, начальника! Тут некогда было затевать споры. Все сразу же оказались на своих местах: свободные люди — бурильщики, водолазы, электрики, даже доктор — встали на место плотников. Но и плотники, перепуганные и сконфуженные, уже побросали наземь рукавицы и навалились на ряж. Был ли с ними Степан, не знаю. Мне было не до него. Я налег на ручку лебедки.

Только бы стронуть махину с места! Пойдет ли она? С тревогой глядел я на слеги. Выдержат ли эти деревянные рельсы движение махины? Пойдет ли она?

Люди всей артелью навалились на слеги, многие сели на них верхом, легли животами, чтоб придать ряжу наклонное положение, облегчить его движение вперед. Ручные лебедки — моя и коробовская,— как маленькие собачонки-шавки, вцепились стальными тросами в края ряжа, трактор взялся за середину. Все замерли. Вот она — решающая минута. Вот сейчас все решится.

Начальник стоял на торосах льда и озабоченно глядел на застывших людей. Пурга усиливалась.

Бурильщик Пантелей Клочков вдруг сорвался с места, полез на верхушку ряжа и прибил красный флаг.

Откуда он его сейчас достал — не знаю. Флаг рвануло порывистым остом.

— Давай! — закричал начальник, и мы навалились на лебедки, на бревна, на слеги.

Натянулись тросы. Трактор рванулся вперед... Что-то оборвалось с шумом и лязгом. Кто-то крикнул: «Берегись!» Ряж даже не шелохнулся. Это лопнул стальной трос.

Снова вцепились тросы в ряж. Они натянулись звонко, до предела, и я успел подумать, что так вот и нервы... как вдруг снова с лязгом упал разорвавшийся трос, бессильно захлопал по бревнам.

Ряж стоял нерушимо. Казалось, никакая человеческая сила не могла столкнуть его с места. Что могли сделать мы, кучка людей на пустынном острове, с нашей примитивной, домашней техникой?

Я опять взглянул на майну — там уже понавалило сугробов!

Да, никогда еще в жизни не испытывал я такого горького отчаяния. Казалось, то не тросы рвутся, то лопается моя мечта... Э, да что говорить! А на майне все наметало и наметало сугробы.

Кто-то предложил подпилить концы слег, так чтобы ряж прямо висел над майной. Механик сказал, что он попробует рвануть один угол ряжа. Начальник согласился. Плотники стали подпиливать слеги, трактор с шумом переехал на новую позицию. Он полз, яростно и смачно ломая снег, как тяжелое артиллерийское орудие.

Зацепил угол ряжа. Рванул.

Я уже не навалился, а просто лежал животом на рукоятке.

И вдруг ряж качнулся. Качнулся и, покоряясь нашей воле, пошел вперед, в воду. Еще, еще рывок,— передний край его коснулся майны. Теперь не отступать! Теперь тащить и тащить его в воду!

С грохотом, не выдержав напряжения, в куски разлетелась коробовская лебедка, полетели прочь переломанные слеги, и ряж, ломая в щепу подложенные под него бревна, медленно пошел в майну. Вот он уже на перегибе. Не опрокинется ли? Не лопнут ли клетки, не выдержав собственной тяжести? Но ряж сошел в воду,

как новый корабль. Вот он уже весь в воде. Погружается. Со звоном ломает молодой лед. Радостное «ура» вырывается из всех глоток. Пурга яростно рвет флаг на ряже, но теперь это не страшно.

Вечером мы судили Степана Грохота, бывшего старшего десятника, нашим общественным, товарищеским судом. На маленьком острове у нас не было ни милиции, ни суда, ни сельсовета. Единственной властью был начальник (за весь вечер он не проронил ни слова), судьями — весь коллектив зимовки. И строгие это были судьи.

Степан успел выпить и держался нагло. Попробовал шутить, да не вышли шутки. Нам было не до смеху.

Я сказал ему:

— Степан, тебе уж сорок семь лет. Хватит, отшутился. Возьми свою жизнь в руки, погляди, подумай... Я даю тебе последнее слово, Степан.

Он вздрогнул. Честное слово, я увидел, как вздрогнули его брови и побледнело лицо. Понял ли он наконец, что не шутки мы шутим, что о жизни, о судьбе его дело идет? Вот он сейчас задумается, опустит повинную голову, скажет...

Но он вдруг выпрямился, подбоченился, подкрутил усы — эх, актер, актер! — и произнес напыщенно:

— Мне нечего говорить, товарищи судьи. Не могу себя упрекнуть ни в чем. Решайте мою судьбу. Мне плевать! — И он действительно сплюнул.

Ну что ж! Мы совещались недолго: мы вынесли обвинительный приговор по всем пунктам. Меру взыскания должен был определить начальник.

После суда Степан подошел ко мне.

— Лягавишь, Федор? — спросил он, стоя предо мной и уперши руки в бока.

— Нет,— ответил я.— Судил по совести.

— А тебя кто судить будет, Федор? — крикнул он.

— А себя я сам рассудил.

— Значит, нет больше на земле дружбы? — закричал он.

— Дружба есть,— ответил я.— Дороги у нас с тобой общей нет. Вот ведь как.

Я и эту ночь не спал.

Не легко осудить товарища. Но я судил по совести. Есть ли на земле дружба? Эх, Степан! Ты и не подозреваешь, какие чувства есть у людей на земле. Мы с тобой их и не знали. Я знаю теперь.

Что же теперь будет со Степаном? Я догадывался о решении начальника. Я знал: он применит высшую меру своей власти! Что ж со Степаном будет? Но была во мне жалость или не была, а колебаться я не стал бы. Нет, не стал бы, хотя... хотя и не мог спокойно уснуть.

Часа в два ночи в дверь мою постучали. Я вскочил. Степан?

— Войди! — закричал я.

Вошел начальник.

У него было усталое, какое-то помятое лицо. Он сел на табурет у постели и раскурил трубку. Я молча ждал. Он поднял на меня глаза,— они были... талые. Поймете ли вы? Вот когда лед тает на море... такого цвета.

— А я и не ждал,— произнес он удивленно,— что вы вынесете обвинительный приговор.

В его голосе послышалась мне виноватость. Мне стало и легко и досадно.

— Эх, начальник! — сказал я, качая головой.— Ничего-то вы не знаете о нас. Не чертежи — люди.

Он долго сидел молча, опустив голову. Я заметил седину в его висках и светлую поляну на макушке.

Потом он спросил тихо:

— Какого решения ждете о Степане?

Я не ответил. Не мог я ответить так просто...

Он поднял голову, внимательно посмотрел на меня, улыбнулся уголком рта,— мучительная была улыбка, улыбка усталого, измученного человека,— и сказал:

— Хорошо. Я так и сделаю.

Потом подошел к окну и долго смотрел на бухту, в сторону причала. А я следил за ним и видел, как на глазах у меня оттаивает и теплеет человек, почувствовавший поддержку коллектива. И я знал теперь: все пойдет иначе у нас на острове. И облегченно вздохнул.

Утром был объявлен приговор начальника: Степан подвергался высшей мере наказания по закону зимовки — изгнанию с острова. Запряженная с утра собачья упряжка должна была увезти Степана за триста кило-

метров отсюда, в тундру, в первый населенный пункт. Там Степан будет жить до парохода. На нашем острове ему места нет.

Все строители порта собрались подле нарты отверженного, стояли молча. Ждали выхода Степана.

Ребята вынесли его вещи, продовольственные мешки, уложили на нарту. Собаки повизгивали. Каюр возился с лямками. День стоял морозный, солнечный.

Вышел Степан.

Он шел согнувшись, опустив голову, стараясь ни на кого не глядеть. Он был в дорожной кухлянке и пимах. Начальник щедро снабдил его на дорогу.

— Прощай, Степан! — произнес я негромко.

Он вздрогнул, но ничего не ответил. Обернулся лицом к бухте, к линии причалов, махнул рукой.

— Не поминайте лихом... ребята-а...— донеслось до нас.

Собаки сбежали с крутого берега и понеслись по бухте. На снегу оставались узенькие полоски полозьев да веточки собачьего шага...

В первый раз отправляешься ты в дорогу без меня, Степан!

Но не было жалости в моем сердце...

1937

ДАША

Даша родилась и выросла на постоялом дворе. Вот самое раннее воспоминание ее детства: дверь, сугроб снега и в нем бородатый мужчина с кнутом.

Если бы ее спросили, откуда берутся люди, она ответила бы: из снега. Все люди, которых она видела в детстве, возникали из снега и исчезали в снегу. Зачем они появлялись и куда исчезали, этого она не знала. Они проносились мимо, как видения. Ямщицкие тройки пропадали в метели, звон бубенцов затихал за косогором.

Все люди, которых Даша видела в своей жизни, были проезжие люди. Все ехали, плыли, шли. Вокруг Даши всегда была суета, хлопанье бичей, звон бубенцов или скрип уключин. Зимой по скрипучему льду Витима тянулись бесконечные, унылые обозы, проносилась ямщичья гоньба, запрягшись в саночки, тащились с приисков неудачники, шли тайгой и гольцами муж и жена в одной лямке, ребенок в ветхом тулупчике на саночках; летом по реке неслись лодки, паузки, карбаза, кунгасы, плоты, целые караваны барж.

Мимо Даши все время текли пестрые людские волны. Весенний ветер гнал волну вниз по реке, на прииски, осенний — вверх по реке, на магистраль. И как все волны в реке похожи одна на другую, хоть они и разные, так и все люди были для Даши однообразно пестрой, широкой, суетливой рекой; никого не упомнишь — все равные, все безликие.

Человечество в глазах Даши резко делилось на две половины. Первая — огромная — находилась в вечном движении: ехала, или плыла, или шла. У этих людей домов не было, их домом были кибитка, постоялый двор или палуба. Здесь они варили себе пищу, стирали и су-

шили свое белье, рожали, искали друг у друга вшей, пели и пили, ссорились и мирились, играли на баянах и плясали. Вторая — меньшая половина человечества, совсем маленькая и самая скучная,— сидела на месте за забором постоялого двора и раздувала проезжающим самовары.

К этой половине относились дед Архип, тетка Марья, мать и сама Даша. Никогда и никуда она не ездила, ничего не видела. Говорят, Витим впадает в Лену, но и этого она не видела и знала только по слухам да по книгам.

Так прошло ее детство, так протекала ее юность. Когда ей исполнилось двенадцать лет, умерла мать, а когда ей пошел восемнадцатый годок, нашелся отец.

Он возник внезапно, как и все проезжие люди: его принесло весенней волной, вниз по реке.

— Это твой отец,— сказала ей тетка Марья, у которой она жила.

Даша покраснела и смущенно стала разглядывать проезжего человека — отца.

Отец был невысокий и нестарый. Он был в кителе, таком, как у всех речников. Только вместо якорей на пуговицах — пропеллеры. Лицо отца было все в рубцах и шрамах.

— Это следы аварии, дочка,— важно сказал он, заметив, что она глядит на рубцы, и охотно стал рассказывать историю каждого шрама.

Рассказывая, он увлекся, стал размахивать руками и чертыхаться, принимать позы и подкручивать усы, словно перед ним была аудитория, а не две женщины — старуха и девочка.

А девушка слушала с восторгом рассказы незнакомого ей человека и думала: так это и есть, наконец, ее отец, которого так долго и мучительно, верно ждала мать и о котором упрямо говорила тетке, что он отлетается и вернется. Вот он и вернулся.

— А мама померла...— вдруг сказала она, невольно перебив отца.

Он запнулся и покраснел.

— Да, да,— пробурчал он,— я слышал... писали...

Даже он сообразил, что неловко было начать первый при встрече разговор с дочкой со своих историй.

Надо было и о покойнице спросить: хорошей, верной женой была.

Вдруг слеза блеснула в его глазах.

— А я вот отлетался, дочка,— сказал он, качая головой.

— Совсем отлетался? — в восторге спросила она.

— Совсем, совсем... Мотор с отработанными ресурсами. Точка.

— Что ж ты теперь делать будешь? — спросила тетка Марья.

— Вот дочку к себе возьму. Заживем вместе,— смеясь, сказал отец. У этого человека легки были переходы от грусти к смеху.— Ну, теперь мы заживем с тобой, дочка!

Даша обрадовалась. Ей сразу представилось, как она поплывет с отцом вниз по реке, все вниз и вниз до места, где впадает в Лену Витим, и дальше... Вот и она станет ездить, и для нее будут раздувать самовары.

Но оказалось, что ехать никуда не надо. Надо только перейти из одной избы в другую, из одного постоялого двора в другой. То, что новый постоялый двор важно назывался авиапортом и что начальником его был отец, нисколько не изменило Дашину жизнь. Раньше были ямщики; теперь — летчики. Ямщики были бородатые, летчики — бритые. От ямщиков пахло навозом и лошадиным пóтом, от летчиков — бензином. Но и те и другие, входя с мороза в избу, радостно крякали, тянулись к огню, жадно глотали горячий чай и требовали яичницы с салом. Даша стряпала.

Все осталось по-прежнему. По-прежнему жила Даша в избе на высоком берегу Витима, только прежняя изба была срублена «в угол», а эта — «в лапу»; запоры на старом дворе были ржавые, хриплые, на новом — певучие; над старой избой гордо высился резной конек, над новой — ветродуй, огромная полосатая колбаса, нафаршированная ветром; работник на старом дворе назывался конюхом, здесь — мотористом, вот и все перемены.

По-прежнему закон реки был законом Дашиной жизни: зимой самолеты садились на лед, летом на воду; в весеннюю распутицу и в осенний ледостав не летали; туман на реке означал нелетную погоду, и в авиапорту было пустынно, отец ходил сердитый и скучный, ему

нужны были люди, аудитория,— людей не было; но туман рассеивался, далекий синий мыс с тремя соснами на нем становился близким, отец начинал звонить на почту, суетиться, покрикивать на моториста; появлялись летчики, механики, фельдъегери, сопровождающие мешки с золотом, пассажиры. В избе становилось шумно, шипело на сковородках сало, летел пух от взбиваемых подушек, звенели чашки. Даша возилась у самовара.

А отец?

Отец уж подкручивал усы.

Он глядел на молодых пилотов со смятенным чувством: и восторг, и зависть, и грусть, и горечь, сознание своего превосходства и понимание, что превосходства больше нет (так выглядит старый, заслуженный мотор Сольмсона рядом с новехоньким, могучим «М-34»).

Еще хорошо, что его сделали начальником авиапорта, правда, маленького, захудалого, но все-таки авиапорта. Он, как старый пес, все равно никуда не ушел бы с аэродрома, остался бы мотористом, сторожем, буфетчиком, кем угодно,— только бы толкаться среди людей в шлемах с «консервами», только бы глядеть, как ввинчиваются в тугой воздух машины, только бы вдыхать запах аэродрома, чудесную смесь из горелой травы и отработанного бензина.

Вот и новое дело — авиация, а есть уже и в нем свои старики.

Старость пилота всегда преждевременна. Она наступает раньше, чем старость моряка, полярника, кузнеца или плотника. Человек еще в полном соку, а уж летать не может — «вылетался».

Единственное, что утешало Дашиного отца в его невеселой старости, были воспоминания. Никто в авиации не умел рассказывать такие чудесные истории, как Дашин отец, никого так жадно не слушали.

«Ого! —думал он, раздувая рыжие усы.— Мальчишки еще могут поучиться летному делу у старого аса».

Но «мальчишки» слушали его истории охотнее, чем его советы.

Он не замечал этого, зато замечала Даша. Она все замечала, эта тихая, молчаливая, угловатая девушка. Она видела, как насмешливо блестят глаза «мальчи-

шек», когда они слушают рассказы отца; сначала ей было больно, теперь — только стыдно.

Но отец и не врал. Просто все чужие истории стали его собственностью, во всех он был героем, он один,— это было его право, право рассказчика, он широко пользовался им. И искренне верил, что так оно и было.

Стоило назвать при нем имя знаменитого летчика, как он восклицал:

— А, Вася! Как же! Мой ученик!

Все знаменитые пилоты были его учениками (если они моложе его) или его приятели (если они в его возрасте).

При нем нельзя было ничего рассказывать. Он слушал чужие истории нетерпеливо, нервно,— то была ревность рассказчика.

— Это что! — перебивал он.— Вот со мной история была...

Однажды пилоты решили разыграть его. Один из них (молодой щеголеватый красавчик Леня) стал рассказывать историю «своей первой аварии». Объяснялся он всегда больше звуками, чем словами.

— Это было в Средней Азии,— начал Леня.— Лечу, в ус не дую. Вдруг слышу треск. Гляжу: крыло отвалилось. Однако лечу. Мотор... фрр... закашлял, задохся, смолк. Гроб. Однако лечу.

— Это что! — нетерпеливо перебил его Дашин отец.— Это обыкновенное дело! Вот со мной на фармашке почище было...— И вдруг осекся, сам сообразив, что хватил через край.

Пилоты захохотали.

Нельзя было не смеяться, даже Даша улыбнулась. Отец тоже попытался усмехнуться, но смех не удался, старик повернулся на каблуках и, сгорбившись, побрел к двери.

Он вышел на улицу и долго стоял, съежившись под падающим на голову снегом, и думал о том, что вот он стар и старость его невеселая, постыдная, что раньше, когда он летал на «Фармане» один на целую эскадрилью, над ним никто не смел смеяться... Вот на Западном фронте, в воздушном бою над Галицией, когда сам начальник бригады при всех назвал его «Черным принцем воздуха», а девушки звали «принц-счастливчик»,

а ребята — «рыжий дьявол»... И так далее, и так далее... Уже складывалась в уме новая история, уже верил он в то, что так оно было на самом деле над Галицией; он вытер с лица мокрые потоки и молодцевато пошел обратно в избу рассказывать новую историю.

Нет, с летчиками он умел ладить! Что там ни говори, а почти двадцать лет проболтался он в воздухе, во всяких переплетах бывал и всяких людей видел.

С дочкой было труднее. Когда изба была полна народу, он просто не замечал ее. Она тихо, бесшумно скользила по комнатам, делала свое дело и никому не мешала. Но когда в нелетную погоду отец и дочь оставались одни в избе и старику нужны были слушатели, он вспоминал о дочери.

Она слушала молча, не перебивая, часто закрыв глаза. Это обижало его. Отчего она не смотрит? Его самолюбие рассказчика было задето,— она не смеялась, не вскрикивала от ужаса, только слушала. Смеялась она вообще редко.

— Да засмейся ты, лесная душа! — сердито кричал на нее отец, а она поднимала на него глаза — большие, синие, и под их взглядом испуганно умолкал старик.

— Чисто мать,— бормотал он,— чисто мать-покойница...

Мать тоже была такая же большая, теплая и покорная, как Даша, такая же смиренная и молчаливая, но он-то знал, что за тихим мерцанием ее глаз скрывается пламя.

Даша была вся в мать,— это отец заметил верно,— но не было ли в ней и от отцовской беспокойной крови?

Она любила вечером бесшумно пробраться в накуренную досиня комнату для проезжающих и, прислонившись к косяку, слушать бесконечные рассказы летчиков о дальних странствиях, о большой жизни. Ей нужно было знать, как живут люди там, на магистрали, что делают,— не все же ведь летают и ездят.

Летчики уничтожили расстояние между Витимом и магистралью. Они завтракали на Витиме, обедали на Лене, а вечером шли с подругами в Иркутский театр. Даже для Даши Иркутск стал ближе. Он был рядом, вон там, за изгибом реки (где она никогда не была).

Она пыталась представить себе, как это бывает в театре, как выглядит Иркутск, но спрашивать стыдилась и не умела.

С летчиками она, однако, подружилась. Она знала их имена, привычки и вкусы, понимала их язык.

Веселые ребята летали на этой линии! Они называли себя «воздушными извозчиками», «ямщиками». Они говорили не «сесть», а «приземлиться»; не «есть», а «заправляться»; спирт они называли «горючим», коньяк — «сосначком» (читая по-русски иностранную этикетку). Они говорили не «разбил машину», а «приложил машину к земле»; отправляясь спать, заявляли: «иду в ночь». У них не было хорошей или дурной погоды, погода была либо «корявая», либо «летная»; корявая чаще. Этот пестрый язык, к которому Даша долго не могла привыкнуть, пилоты, пришедшие на линию из морской авиации, еще уснащали морскими словечками. Они щеголяли ими, как щеголяли своими комбинезонами, шлемами, пуговицами с пропеллером,— всем, что отличало их от бескрылых, земных людей. Они разговаривали шумно, весело и всегда насмешливо. Они обо всем говорили насмешливо и пренебрежительно: о погоде, о рейсе, о любви, о чувствах. Им казалось, что этот стиль больше всего подходит для их «рисковой» профессии. Даша заметила, что чем старше был пилот, тем меньше «летных» словечек было у него в разговоре.

А Даша не любила, когда надо всем смеются. Это правда, жизни она не знала, но казалось ей, что есть в жизни такое, над чем смеяться стыдно, над чем смеяться нельзя.

Среди пилотов были ребята, с которыми она подружилась. Странная это была дружба! Почти с каждым из них она начиналась со стычки. Здоровая, могучая девка умела постоять за себя! Баловства она не любила.

Ну что ж! Однажды красавчик Леня прилетел на Витим в галстучке. Пилот был необычайно серьезен и торжествен, даже побледнел от волнения, когда увидел Дашу. Он сказал ей, что хочет поговорить, и они ушли на реку, к пихте. Там, у пихты, Леня пробормотал, что если она хочет, он может навеки причалить к ней и стать на якорь. Потому что — как бы это сказать? — он любит ее, что ли, больше жизни любит. И он, окончатель-

но смутившись, умолк. Но она только головой покачала в ответ. Нет. Замуж за Леню она не пойдет. С ним не уедет.

Но, чтоб не обидеть парня, она тут же сказала:

— Галстук надел, а на плече дырка. Идем, я тебе зашью,— вот это она делала охотно.

Только один человек не обращал на Дашу никакого внимания, но он вообще ни на кого не глядел. Входя в избу, он смотрел под ноги, выходя на улицу, поднимал глаза вверх, в небо (какова облачность?).

За глаза его звали Уксусом Иванычем. Это был немолодой пилот, давно летающий на линии. Когда он входил, стихала самая шумная беседа, словно вместе с этим человеком в комнату врывался холод. Не мороз, а этакий осенний, до костей пронизывающий холодок. Все чувствовали себя в чем-то виноватыми: механикам начинало казаться, что баки не долиты, пилотам — что машины плохо зачалены, ветер сорвет их с якорей, что вообще случится беда, а они тут сидят, кофейничают.

Однако Уксус Иваныч ничего не говорил, никого не укорял, он просто не замечал людей, быстро проходил к столу, опускался на лавку (она скрипела под его грузным телом), клал локти на стол, подпирал кулаками подбородок и молча ждал, уставившись в тарелку.

Ел он молча и равнодушно.

— Вам не нравится? — робко спрашивала Даша.

— Все равно! — ворчал он.

Она спросила, какие блюда он любит,— она знала любимые блюда всех пилотов.

— Все равно! — отмахнулся он.

У него нет любимых блюд? Этого не бывает. Каждый человек одно блюдо любит, другое нет. Но она больше не решалась надоедать вопросами, старалась сама узнать, что он охотнее ест.

Пилоты его не любили, механики боялись. Он летал всегда один — оттого, как говорил он, что не может найти механика, которому мог бы спокойно доверить машину; оттого, как говорили ребята, что во всей авиации не найти механика, который по доброй воле стал бы летать с Уксусом Иванычем.

Однако один он успевал за навигацию налетать больше всех. Он летал и в погоду и в непогодь, и только темнота могла заставить его согласиться на ночевку.

Даша видела, что приходит он с аэродрома позже всех, долго возится у машины — сам и пилот, и штурман, и механик. Приходит продрогший, съежившийся, усталый, и в теплой избе-то ему не тепло, и с людьми невесело.

Была ли у него семья? Даша спросила как-то у ребят. Никто не знал. Никто не бывал в гостях у Уксуса Иваныча. Он ни у кого не бывал. Пожилой, угрюмый, одинокий человек, он вызывал в Даше странное чувство. Может быть, сочувствие? Может быть, жалость? Она не знала.

В первых числах апреля линия обычно закрывалась на полтора-два месяца: в Иркутске уже снега не было. Начинались тоскливые дни для Дашиного отца, вольготные для Даши. Обычно она нетерпеливо ждала их. Кончится сутолока, жизнь как в кипящем котле, можно будет и о себе подумать и об отце.

Отчего же теперь, когда пришли апрельские дни, ей стало грустно?

Летчики торжественно прощались с Дашей.

— Уж вы не скучайте, Дарья Кузьминишна. Нынче весна ранняя, в мае встретимся.

Последним улетал Уксус Иваныч. Даша вышла провожать его. Надела новую шубейку, беличью шапку. Стояла подле машины, покорная, тихая, украдкой глядела на пилота, ждала: вот улыбнется он ей на прощание, что-нибудь скажет.

А он даже не взглянул на нее. Крикнул мотористу: «Есть контакт!» — и улетел.

Она долго смотрела, как таяла в небе его голубая машина. Подумала: «Вот и все улетели. И он улетел. А я осталась. И не взглянул даже». И еще долго стояла на льду, у стартового флажка.

Но через три дня он вдруг снова прилетел на Витим, и вместе с ним гурьба веселых инженеров. Они замерзли и, увидев Дашу, сразу же закричали:

— Нам бы чайку, красавица!

Даша заметалась по избе. Щепки и угли падали из ее рук. Вот сейчас и он войдет, только с машиной упра-

вится. Замерз, небось, бедненький. Что же это он прилетел?

Самый молодой из инженеров, гордый своим первым рейсом, рассказывал отцу, который уж суетился подле новых людей:

— Понимаете положение? В Москве нас задержали, еле вырвались, приезжаем в Иркутск, везем с собой важные, народнохозяйственного значения чертежи, а нам говорят: линия закрыта и машин на север не будет. Хорошо еще Степан Ильич вызвался лететь. Знаете, рейс рискованный...

— Он к работе жадный...— неожиданно для самой себя сказала Даша из угла и смутилась.

Пилот поднялся, когда на дворе было еще темно, поспешно оделся, разбудил всех и ушел к машине. Через полчаса он уже был готов лететь. Его нетерпение было понятно: в Иркутске, на аэродроме, уже почти не было снега.

Через три часа он вернулся с приисков. Пассажиров с ним не было, он никого не взял с собой в этот последний рейс,— зато взял грузы и почту.

Прилетев на Витим, он немедленно потребовал сводку погоды. Дашин отец молча показал ему в окно — началась метель, косые полосы снега падали над замерзшей рекой.

— Я бы посоветовал не лететь,— сказал отец, качая головой.

— Я прошу у вас не совета, а сводку,— грубо отрезал Уксус Иваныч.

Отец обиделся и швырнул сводку на стол.

— Не весновать же мне здесь,— пробурчал пилот, читая сводку. Скомкал ее и сунул в карман.

«Оставайтесь!» — хотела крикнуть ему Даша, но не крикнула. Разве ей удержать этого человека!

Через десять минут он был в воздухе. С высокого крыльца Даша видела, как болтается в небе его голубая машина.

После этого два часа Даша не находила себе места. В эти два часа она пережила все, что составляет жизнь жены пилота: и беспокойство, и страх, и муки ожидания. А ведь он не был ей ни мужем, ни братом. Даже сей-

час, улетая в опасный рейс, он так и не взглянул на нее, не сказал: прощай, мол.

Через два часа она пришла к отцу и сказала, что надо запросить соседний авиапорт, прилетел ли Степан Ильич. Отец все еще дулся на пилота, но послушно пошел к телефону звонить на почту.

Потом вдруг спохватился: что за черт! Какого дьявола она лезет в это дело? Что он, сам своих обязанностей не знает! Но Даша глядела на него в упор, и глаза у нее были, как у покойной матери.

Оттуда ответили, что Степан Ильич не прилетал. Через час они уже сами спросили: не вернулся ли он обратно на Витим? Даше стало ясно — случилось несчастье.

— Может, пролетел над ними и не сел, а они в метель не увидели? — предположил отец.

— Запроси другие порты.

Она говорила так, словно имела право требовать. Теперь, когда несчастье случилось, она больше не металась по избе.

К утру выяснилось: летчика на линии нет.

— Надо искать,— сказала отцу Даша.

— Да, да, искать! — засуетился отец и бросился к телефону.

Даша молча глядела, как отец крутит ручку телефона, кричит: «Алло, алло!», потом бежит к окну. Она встала, взяла волчью доху, отцовское ружье и пошла на постоялый двор к деду Архипу. Дед Архип без слов дал ей лошадь. Она не сказала ему, куда и зачем едет, и направилась в тайгу.

Два дня кружила она по тайге, стараясь держаться ближе к Витиму. Она знала, что в метель летчик не станет уходить далеко от реки. Метель кончилась, в тайге было тихо, только снег хрустел под полозьями.

— Степан Ильич! — кричала Даша что было сил и долго ждала ответа.

Чтоб лучше слышать, она снимала шапку; снег падал на ее русые косы.

— Степан Ильич! — кричала она, встав на дровни. Эхо в гольцах пугливо повторяло: «Степ-ан... и... ич...», но ответа не было.

Она стреляла из ружья, выстрелы гулко отдавались в морозном небе. Белки прятались в мохнатых кедрах, лошадь испуганно прядала ушами; Даша ждала ответного выстрела или крика, но ответа не было. Когда эхо смолкало, в тайге становилось еще угрюмее и тише.

Ночью, когда искать было трудно, а брести с лошадью по узким таежным тропам опасно, она выбиралась на открытое место, поближе к реке, и зажигала костер. Языки пламени поднимались выше леса.

К рассвету огонь угасал, а с ним угасала и надежда. Но когда последние головешки потухали, а верхушки самых высоких кедров начинали золотиться, она снова упрямо трогалась в путь, понукала измученную лошадку, брела впереди нее, утаптывая снег, чтобы лошади было легче идти.

Инстинктивно Даша держалась Витима. Закон реки всегда был законом ее жизни. Здесь, на реке, впервые встретила она Степана Ильича; его машина опустилась на лед Витима, и с реки на берег шел он по узкой обледеневшей лесенке ей навстречу. Отсюда улетел он в последний рейс. Здесь, на реке, найдет она его живым или мертвым. «Живым» — говорила она, когда начинался день; «мертвым» — когда угасали последние головешки костра.

Она нашла его живым, нашла там, где ждала, у подножия гольца, на высоком берегу Витима.

— Степан Ильич! — закричала она и, спотыкаясь в снегу, побежала к нему.— Жив, жив! — И заплакала от радости, от счастья по-бабьи, в голос.

Он не отозвался. Он сидел, охватив голову руками, и безучастно смотрел на обломки того, что недавно было машиной.

— Жив, жив! — кричала она, подбегая к нему, смеясь и плача от счастья.

Он не шелохнулся, не оглянулся.

Он был подавлен несчастьем, своей первой аварией. Но Даша ничего не замечала. Она была рада тому, что он жив, жив. Что за дело ей до машины? Она прижалась к мокрому плечу пилота.

— Поедем,— прошептала она.— Уж скоро темно. Вставайте, Степан Ильич, поедем!

Но он и не пошевельнулся. Только сейчас Даша заметила, что с пилотом неладно.

— Степан Ильич! — испуганно вскрикнула она, но он не отозвался.

Она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом, потом взяла за плечи и повела к дровням.

Он не сопротивлялся. Ему было все равно — оставаться ли здесь или уехать. Охоты жить не было.

Он опустился на дровни. Даша заботливо укрыла его волчьей дохой. Потом пошла к машине. Она стояла среди обломков и думала: «Так вот что он любил больше жизни, вот из-за чего не глядел на меня!» Осторожно, словно то был труп, обходила она обломки, взяла почту, ценные грузы и снесла на дровни.

— Надя, Надя, что же ты! — вдруг донеслось из-под волчьей дохи.

Даша испуганно оглянулась, подбежала к дровням.

— Степан Ильич! — крикнула она.— Что вы? Кого зовете?

— Уйди! — прохрипел он.— Видишь, гора... Вмажу... Эх, Надя! Что же ты?.. Уходишь? Постой! А-а! Чертова дочь!..

У него начался бред. Он метался, рвал с себя доху.

— Душно, душно! — кричал он.— Что же ты душишь меня, Надька, черт?

Даша бросилась к лошади, поспешно запрягла ее в дровни и потащила вперед, на тропу. Скорей, скорей, только б довезти его живым!

Восемь дней пролежал Степан Ильич в постели, восемь ночей не отходила от него Даша. Потом он очнулся, открыл глаза, обвел взглядом комнату, увидел Дашу, но не удивился, ни о чем не спросил, только прошептал: «Пить!» Она обрадовалась, быстро подала пить. Он выпил, сказал: «Спасибо». Потом долго лежал, глядя в потолок.

На девятые сутки он вдруг сам встал с постели, она даже не пыталась удержать его, вытащил из кармана трубку, закурил. Потом долго стоял у окна, смотрел на реку. Она следила за ним испуганным взглядом: теперь, когда он был здоров, она снова боялась его, как боялись летчики и механики. Он отвернулся от окна, подошел к ней и пробурчал:

— Тебе — спасибо!

Она замерла, даже руки к груди приложила — так колотилось сердце. Он махнул трубкой.

— Только зря... зря это... зря...

Она не поняла: что зря? Потом догадалась.

У него не было ни охоты жить, ни охоты летать. Он бродил по избе, как труп непогребенный. Когда его звали есть, он ел, а не позови — он и есть не будет. Отец хотел было развлечь его воздушными историями, но на самом интересном месте, когда у слушателей волосы бы должны дыбом встать, Степан Ильич вдруг подымался и, не сказав ни слова, уходил, оставляя отца обиженным, а Дашу — испуганной.

Он выходил на крыльцо, глядел на реку, но взор его был потухший, равнодушный. Он не загорался, на что бы ни глядел — на трещины во льду, предвещающие весну, на бочки с горючим, на ветродуй, трепещущий под весенним ветром.

Дашин отец ворчал:

— Эка история! Сколько я машин на своем веку поломал, сколько аварий потерпел, а не психовал ни разу. А этот — первую сломал, и уж психоз.

Но Даша резко обрывала отца. За Степана Ильича она готова была лезть с любым в драку. Разве не она нашла его на Витиме? Он был ей дорог... Ну что же, теперь она не скрывала от себя, что любит. Но ему она никогда не сказала бы этого. Она старалась не надоедать ему, избегала с ним встреч, пряталась. А он не замечал этого, так же как не замечал и ее любви. Он ничего не замечал. Ему не хотелось ни жить, ни любить, ни даже летать.

Что могло спасти его? Даша врачом не была. Но она любила, и любовь делала ее мудрой и опытной. Только машина может спасти его, как только новый ребенок может заменить матери умершего. Но приемыш редко заменяет родного. Машина, которую дадут в Иркутске, останется навсегда чужой для него — он получит ее готовую, душу в нее не вложит.

И тогда она вспомнила о машине, которая гнила у них в сарае. Когда-то ее перегоняли на прииски для предполагавшегося там аэроклуба, в Витиме машина

поломалась, ее спрятали в сарай затем, чтоб потом сдать в ремонт, и забыли. Отец каждый год собирался напомнить Иркутску о машине, да так и не собрался.

Вечером с хитростью, которой никогда в ней не было раньше, Даша завела разговор с отцом.

— Это что за машина у нас в сарае? — спросила она за ужином будто невзначай.

— Которая? — переспросил отец, словно у него здесь был целый завод машин.

— А эта, маленькая, зеленоватая...

— Ах, эта! Амфибия...— и он начал подробно рассказывать историю машины.

Даша украдкой глядела на Степана Ильича; он даже головы не поднял, не слушал.

— А починить ее можно? — спросила Даша, не отчаиваясь.

— Починить? Я бы починил, когда б время было...— и отец очень пространно стал рассказывать, как следует машину чинить и чего не хватает.

Степан Ильич приподнял голову,— Даша заметила это.

— И летать на ней можно будет? — совсем невинно прошептала она.

— Небось сгнила вся,— буркнул вдруг Степан Ильич.

— У меня в порту машины не гниют! — обиделся отец.— Я сам ее починю, вот что. Завтра же и возьмусь. Ишь, сгнила!..

Утром состоялись смотрины. Даша была тут же и все не могла отделаться от мысли, что вот словно невесту для Степана Ильича смотрят. Теперь зароется он с головой в работу, повеселеет, совсем забудет Дашу, что ему Даша тогда? Но она ни разу не пожалела, что вспомнила о машине.

Степан Ильич внимательно осмотрел машину. Тяжело видеть самолет в таком беспомощном состоянии в сарае, среди бревен и досок, но эта беспомощность делала свое дело: Степан Ильич машину полюбил. Нет, он выходит ее, он вложит в нее все свое умение, всю свою любовь и нежность, он сам поведет ее в небо.

Потихоньку от Степана Ильича Даша вместе с мотористом съездила несколько раз к месту аварии и при-

везла все, что можно было взять из обломков старой машины. Так, старая машина входила в новую и делала ее еще родней.

Теперь Степан Ильич целые дни проводил в сарае. Сарай очистили и отеплили, превратили в мастерскую. Вместе с пилотом возился и Дашин отец. Пилот был по-прежнему молчалив, с мотористом и Дашей разговаривал только сердито, кричал на них. Но иногда Даше удавалось увидеть и улыбку на его губах,— когда работа спорилась, а один раз он даже стал насвистывать.

И Даша была счастлива. Она молча сидела рядом, угадывала его приказания, подавала инструмент, топила печь, грела воду, носила еду. Ей хорошо было сидеть подле него, когда он работает, и слушать, как поет дерево под рубанком, железо — под молотком, и видеть, как все больше и больше теплеют глаза Степана Ильича, когда он глядит на машину. Такими глазами на Дашу он никогда не глядел. Теперь ему и жить и летать хочется. Нетерпеливо работает он, торопится, то и дело глядит на реку. Ему хочется скорее улететь на новой машине. Ну что ж! Пусть летит. Все-таки это она нашла его в гольцах на Витиме. Она дала ему машину. И она сама помогала ему заканчивать работу, чтоб мог он скорее улететь отсюда.

На реке уж прошел лед, прилетели первые самолеты, пилоты звали Степана Ильича лететь на их машинах в Иркутск, но он только усмехался:

— Полечу на своей,— и больше не говорил ни слова.

Скоро он спустил машину на реку, стал пробовать ее на воде, потом в воздухе.

Даша запускала винт и кричала:

— Контакт!

— Есть контакт! — отвечал он, и мотор начинал стучать.

Ей нравилось это. Повернешь винт — и контакт есть. Какой винт надо повернуть в нем, в Степане Ильиче, чтоб вспыхнула искра, чтобы был контакт? Но она ничего не делала для этого. Как приговоренная, ждала она часа, когда он улетит. Навсегда улетит. А если вернется, так прежним Уксусом Иванычем...

— Завтра я полечу! — сказал он однажды Дашиному отцу.

И Даша, услышав это, похолодела. Теперь, когда пришел наконец час, которого она давно ждала, она растерялась. Что с нею станется, когда он улетит? Она старалась не думать об этом, да и думать было нечего. Будет жить, как жила,— что ж еще она может? Будет раздувать самовары, чинить ребятам куртки, будет ждать его прилета, если он останется на линии, вспоминать, если с линии уйдет. Она любила первый раз, но казалось ей, что это и последний.

Наконец, настало утро, солнечное, ясное. С зари уж был у машины Степан Ильич; Даша понесла ему туда кофе в термосе, но он только отмахнулся от нее. Что-то не ладилось у него. Он был злее черта.

«Может, и не улетит?» — подумала Даша, но даже не обрадовалась: улетит завтра.

Все же, когда настал последний момент и Степан Ильич, совсем готовый в полет, вдруг подошел к Даше поблагодарить за все и проститься, она пожалела, что он не останется хотя бы еще на день. Она глядела на него глазами, полными такой откровенной любви, что он даже смутился.

Никогда ни одна женщина, даже та, прежняя, не глядела на него так...

Он стоял подле девушки и не знал, что сказать.

— Вот улетаю,— сказал он.— Спасибо... за все...

— Счастливый путь! — тихо произнесла она.

Он отвернулся, поглядел на реку — там покачивалась на волне машина. Вот сядет он сейчас и улетит. Прилетит в Иркутск, вечером придет домой, в пустую, грязную холостяцкую квартиру. Включит электрический чайник, станет искать стакан, не слишком грязный и по возможности целый... Так и пойдет жизнь, как шла.

А девушка все стояла рядом. Она ничего не ждала, ничего не говорила...

— Прощайте! — сказал он и неуклюже, неумело протянул руку.

— Счастливый путь! Хорошей погоды! — снова прошептала она и подняла на него глаза.

От их взгляда пилоту стало вдруг тепло и весело. Он подумал, что если б в каждый рейс его провожала девушка таким взглядом, он летал бы так... как никог-

да не летал раньше. Какие чудеса в воздухе он совершал бы!

Надо было как-то сказать ей это, но он разучился говорить с девушками, а может быть, никогда и не умел. Он топтался на месте, хмурился, досадовал, что слов нет, а время уходит. Надо лететь, солнце уже высоко, о берег нетерпеливо бьет волна, качает машину, а он стоит и слов найти не может.

— Ну, что ж ты стоишь? — вдруг рассердившись, закричал он на Дашу, как кричал на механиков, на стартеров, на мотористов.— Долго я ждать буду? Где твои вещи? Давай живо! Лететь надо, пока погода...

Она растерянно взглянула на него, но он, не давая ей опомниться, закричал:

— Ну, скорей же!

— Сейчас,— растерянно прошептала она и побежала в дом.

А он стоял и смотрел ей вслед и радовался, что вот и поговорили, и все выяснилось, и не одинокий он теперь человек на земле.

Даша влетела в избу, схватила корзину, сунула в нее попавшиеся под руку платья, сорочки, фотографию матери, какую-то книжку и выскочила на крыльцо. На крыльце стоял отец.

— Прощай, отец,— торопливо обняла его Даша,— не ругай.

— Куда ты, угорелая! — ничего не понял отец.

— Улетаю! — крикнула она уже на берегу.— Улетаю, оте-ец!

Моторист закричал: «Контакт!», пилот ответил: «Есть контакт!», и Даша очутилась в воздухе над рекой.

Отец как был, так и застыл на крыльце. Только когда машина поднялась над рекой, он сообразил, что это ведь дочь, Даша, улетает, улетает навсегда с чужим человеком, который теперь для нее и родней и любимей отца.

«А я? А я? — чуть не закричал он.— Как же я? Я ведь стар, меня покоить некому...»

Машина взмыла уже над верхушками кедров и разворачивалась на курс. Старик невольно следил за нею,— он никогда не мог спокойно видеть машину

в воздухе, а ведь эту он сам, сам собирал из ничего.

— Ишь разворачивает как! — проворчал он и попытался найти недостаток в развороте.

Но не нашел. Все было чисто, правильно, все было, как сам он делал когда-то. И он восхищенно глядел, как поблескивают плоскости и хвостовое оперение на солнце, слушал, как ровно стучит мотор... Вот так и он когда-то, давным-давно, сделал смелый прыжок с земли в небо. Какой это был прыжок! Из тайги, из медвежьей глуши — в небо! А теперь Даша...

«А дочь-то... дочь...— удивленно подумал он.— Ишь ты... молодец!»

1939

РАССКАЗ О ДВУХ МУЖЧИНАХ

Материал для этого рассказа я нашел в «архиве» острова Диксон. Это несколько пожелтевших от времени, полуоборванных записок. Первая написана человеком, у которого, вероятно, обморожены руки: почерк корявый, буквы прыгают. Записка кратко излагает историю несчастья и взывает о помощи.

Вторая написана человеком, который гордится своим почерком: буквы высокие, круглые, аккуратные; прописные — с завитушками, почерк писаря или провинциального телеграфиста. (Купцы щедро давали на чай, если телеграмма приятная и написана красиво.) Записка эта была оставлена в Павловской избушке, где путники ночевали. С приказчичьей точностью излагается, что́ именно взято из продовольственных запасов избушки. Написано по правилам домашней орфографии 1920 года: твердых знаков уже нет, буква ять присутствует, но неуверенно. В слове «свечи» ее уже нет. Написана записка на листе, вырванном из суточного журнала плавания.

Вот и все.

Перелистывая эти стародавние и уже никому не нужные бумаги, я вдруг представил себе их авторов. Мне показалось даже, что я понял, что произошло между ними в дороге. Они оба виделись мне так отчетливо, словно сидели здесь, в кают-компании, пили горячий кофе с коньяком и рассказывали.

12 декабря 1920 года охотник-промышленник Федор Воронов на семи собаках отправился из станка Голь-

чиха, что в горле Енисейского залива, на Диксон, надеясь через диксоновскую радиостанцию узнать — живы ли его родные в Шенкурске и какая нынче власть на Большой земле: наша или белых. В Гольчихе ходили об этом разные слухи, в последние же месяцы слухов не было вообще.

Путь от Гольчихи до Диксона — дальний, триста километров, время — позднее: приближалась «темная пора». Воронов торопился. На станке Ошмарино, где Воронову пришлось заночевать, к нему подошел Василий Харченко, приказчик, и попросил взять его с собой.

Воронов недовольно поморщился, услышав просьбу, и исподлобья взглянул на Харченко.

Северяне говорят: в трех случаях жизни нужна особая осторожность — когда выбираешь мех на сапоги, собаку в голову упряжки и товарища в дорогу. Харченко не обещал быть хорошим товарищем.

Но Воронов, разумеется, не сказал Харченко, что видит в нем плохого попутчика, а только угрюмо проворчал, что собак у него мало, нарта тяжелая — двоим, пожалуй, не уехать.

— У меня есть одна собака,— просил Харченко,— а другую я выпрошу у соседа.

Но Воронов только головой качнул в ответ.

Тогда Харченко сказал:

— Что же мне делать? Мне обязательно надо на Диксон, к доктору. Зубы пропадают.

Что было возразить на это? Раз человеку надо к доктору, тут уж не будешь гадать, хороший он попутчик или плохой. Пришлось согласиться.

Наутро выехали. Дорога была скверная, вся в застругах. Ехать по застругам на санях — все равно что по куче острых камней. Собаки скоро искровянили лапы.

Только через три часа путники добрались до Сопочной Карги. Харченко заявил, что устал от тряски и хочет отдохнуть. Воронов посмотрел на него, потом на небо и ничего не сказал.

Заночевали в Сопочной. Ночью началась пурга. Она бушевала два дня. Два дня сидели путники в плену на Сопочной, съедали запасы. Харченко ворчал

и жаловался на судьбу, на погоду, на товарища. Воронов молчал.

18-го двинулись дальше, вдоль восточного берега Енисейского залива.

В те дни пустынным был восточный берег. Мертвые станки, брошенные избушки. Рыбацкие летовья без окон и дверей, по крышу занесенные снегом. Ни дыма, ни огонька, ни человека, ни собаки.

Люди ушли из этих мест на магистраль, где кипели бои гражданской. Люди уходили отсюда, не заколачивая ни окон, ни дверей, оставляя нетронутыми пасти и капканы. Где-то там, на магистрали, кипели жаркие бои,— здесь оставались трупы поселков, скелеты изб, ребра стропил, кости срубов.

Упряжка Воронова брела от одной мертвой избы до другой. Нечего было и думать о ночевке здесь. Чтобы попасть в избушку, нужно было четыре-пять часов отбрасывать снег от дверей и окон.

Когда пришла ночь, Воронов воткнул остол в снег, затормозил нарту, взял лопату и стал рыть яму под скалой.

— Что вы делаете? — спросил Харченко.

— Рою яму для ночлега.

— Яму? — ужаснулся Харченко.— Спать в снегу?

Воронов пожал плечами.

— Я не могу спать в снегу! — закричал Харченко.— Я хочу спать в избе. Вон — изба. Мы там будем ночевать.

Воронов молча продолжал рыть яму. Харченко подошел к нему, заглянул через плечо и прохрипел:

— Вы роете мне могилу? Да?

Его пальцы впивались в плечи Воронова. Тот сбросил их резким движением, молча взял лопату и направился к избушке. Харченко следил за ним испуганными глазами. Потом сам взял лопату и начал неумело помогать Воронову. Скоро он выдохся, опустился на снег и заохал. Воронов продолжал работать один.

Ночевали в избе, нетопленой и пустой. На полу лежал снег. Харченко бросал на товарища пугливые взгляды и все порывался что-то сказать: поблагодарить или выругать — неизвестно.

Воронов сидел, сгорбившись, уткнувшись взглядом

в пол, и думал о тяжелой ноше, доставшейся ему. Вслух он ничего не сказал однако.

Утром тронулись в путь. Два-три часа ехали от избушки к избушке, четыре часа откапывали вход в избу, шесть часов спали. Больше Воронов не предлагал Харченко ночевать в снегу.

Странное дело: он во всем подчинился своему спутнику. Он трогал в путь лишь тогда, когда Харченко говорил, что может ехать; он останавливался, когда Харченко объявлял, что он устал. Он молча выслушивал жалобы попутчика и его бесконечные рассказы и надоедливую ругань.

Теперь Харченко ругался часто, он во всем винил Воронова, во всех неудачах этой роковой поездки, и Воронов только ежился под градом ругательств и... молчал.

Настала темная пора, а путники еще не добрались даже до Варзугиной бухты. Ночью, когда Харченко спал, Воронов подсчитал запасы продовольствия. Даже при жестком рационе их не хватит до Диксона.

Утром он объявил об этом Харченко. Тот испугался и умоляющими глазами посмотрел на Воронова.

— Голубчик, голубчик...— забормотал он и вдруг чмокнул Воронова в плечо.

Что почудилось ему? Померещилось ли, что товарищ бросит его одного в этой жалкой, нетопленой избе и унесет с собой весь запас пищи? Или убьет? Что ему стоит убить слабого, больного, бедного Харченко?

— Голубчик, голубчик, миленький...— бормотал он, протягивая руки к Воронову, цепляясь за его малицу, за плечи.

Воронов не понял, что взволновало Харченко. Он подумал, что тот, увидев истинное положение вещей, проникся, наконец, жалостью и к товарищу, и к себе. В первый раз за всю дорогу Воронов неумело улыбнулся и похлопал попутчика по плечу.

— Ничего, товарищ. Будем экономить — дотянем...

Перешли на жесткий рацион. Тронулись снова в путь. Харченко успокоился, увидев, что его не бросают одного в тундре. Притихший, он сидел на нарте и молчал. Воронов бежал рядом, он теперь редко сидел на нарте: собаки ослабли и не могли тащить двоих.

Вечером, за ужином, Харченко заявил, что он «сдохнет» от такого рациона.

— Сдохну, сдохну, сдохну...— твердил он, украдкой поглядывая на паек товарища. И Воронов молча, не говоря ни слова, пододвинул ему половину своего пайка.

Теперь они делили паек так: две трети Харченко, одну треть Воронову. Но Харченко все твердил: «Сдохну, сдохну я...» — и Воронов с испугом поглядывал на него.

В самом деле, что, если он умрет? Эта мысль испугала Воронова. О собственной смерти он думал мало: «Ну, умру — и все тут!» Но Харченко... Незаметно для себя он сжился с мыслью, что отвечает за жизнь Харченко. «Только бы довезти его живым до Диксона! — думал он, с ненавистью глядя на своего спутника.— Только бы довезти живым!»

Тут не было речи ни о любви, ни даже о жалости. Ничего, кроме брезгливости, не вызывал в Воронове этот толстый, рыхлый, ни на что не годный товарищ.

«И все-таки,— думал Воронов,— лучше мне умереть, чем Харченко». Тут было чувство ответственности за жизнь попутчика, и это, пожалуй, было сильнее любви и жалости.

Харченко угадал это инстинктом труса. На все лады теперь повторял он, что «сдохнет, сдохнет, умрет», и обвинял в этом Воронова.

Он говорил о своей смерти так, словно это было бы катастрофой мира. Но страха не было в его голосе. Он не боялся умереть, он знал, что не умрет, пока с ним Воронов. Он пугал не себя, а Воронова. Он язвил его своей смертью. Он говорил о ней со злорадством, и Воронову слышалось в его словах: «Ты убийца! Ты здоровый, сильный, опытный, а я слабый, больной. Ты мог бы спасти меня, а ты убиваешь».

И Воронов, терроризированный страхом за жизнь Харченко, отдавал ему весь паек, а сам голодал, мерз, впрягался вместе с собаками в лямку и тащил Харченко, мечтая лишь об одном: «Скорее бы добраться до Диксона!»

Когда Харченко надоедало говорить о смерти, он начинал разговор о еде. Он развлекался теперь воспоминаниями о великолепных пирах, на которых пировал

некогда. О еде он мог говорить безостановочно, смачно причмокивая губами и прищелкивая языком. Он сочинял невообразимые блюда, подробно описывал гарниры и соусы, закуски и напитки. Он требовал, чтобы и Воронов участвовал в беседе, в этом пиршестве голодных фантазеров, но Воронов угрюмо молчал. Смотрел в пол, думал: «Найдется ли в Варзугиной бухте на зимующем корабле «Север» продовольствие для нас?»

Наконец, они добрались до Варзугиной. Из тумана выглянули оледенелые снасти корабля, они были похожи на гроты сталактитовой пещеры: длинные сосульки свисали с мерзлых труб и бортов.

Навстречу путникам выбежал человек. Он что-то радостно кричал, но в трех шагах от них вдруг остановился и разочарованно опустил руки.

— Здравствуйте,— сказал Воронов.

Человек с корабля угрюмо кивнул в ответ и тотчас же спросил:

— Вы человека в тундре не видели?

— Какого человека?

— Товарищ мой закружал. Захарченко. Матрос.

Они не видели человека в тундре.

Он ушел шесть недель назад в тундру, на охоту, рассказал им человек с «Севера» (его звали Петуховым), и пропал. Жалко и товарища, и винтовку, которую он унес с собой. Теперь на пароходе остался один Петухов, без оружия, а следовательно, и без мяса. Он питается только сахаром да тухлой рыбой. Сахаром он может поделиться.

Воронов решил поделиться с ним мясом. Мяса оставалось немного, но они идут к людям, а Петухов остается здесь один караулить пароход.

Когда Харченко увидел, что Воронов отдает половину оставшихся у него пайков, он завизжал, как исступленный. Он бросился на Воронова, вцепился в него руками и кричал, не останавливаясь:

— Не дам, не дам, не дам...

И тогда, в первый раз за всю дорогу, вспылил Воронов. Он грубо отшвырнул Харченко и закричал:

— Ну! Ты! Слышь!

И Харченко съежился под этим криком, как собака, заслышавшая свист кнута.

Он молчал всю ночь — путники провели ее на корабле — и все утро, пока не тронулись в путь. Но когда остался в тумане обледенелый, фантастический корпус корабля и снег запел под полозьями, он начал ругать Воронова. Он ругал его долго и с наслаждением за то, что тот отдал провиант Петухову и теперь он, Харченко, умрет.

— Ты отдал, сволочь,— кричал он, перекрикивая ветер,— ты отдал три пайка солонины. Я бы мог три дня питаться мясом. А ты отдал! Ты все наше мясо отдал. Сколько мяса!

Он начал преувеличивать запасы, отданные Петухову. В его воображении то были горы еды. Он говорил, что можно было устроить роскошный пир из продуктов, отданных Петухову.

Он опять начал изобретать яства и сочинять пиры, но теперь это были пиры из продуктов, оставленных Петухову. Воронов молчал. Чтобы утешить попутчика, Воронов сказал только, что в Павловской избушке есть провиант. Диксоновцы припасли его для путников тундры. И Харченко стал мечтать о Павловской избушке.

Он представлял ее дворцом. Он расписывал богатства, убранство ее, и горы еды на столах, и полные закрома, кладовые, подвалы... А Воронов слушал и молчал. Сам он не был уверен, что в избушке Павлова есть еда.

Они были в дороге уже семнадцать суток. Провизия кончилась. На мысе Бражникова даже избы не оказалось, пришлось ночевать в снегу. Харченко снова начал кричать о своей неминуемой смерти, но делать было нечего: залез в ямку и мгновенно уснул.

Но этот человек не умел спать в снегу. Как умудрился он обморозить ноги, Воронов понять не мог. Но ноги были подморожены, в этом Харченко сознался. Сознался с таким злорадством, что Воронов только голову втянул в плечи и ничего не сказал.

Но теперь была близка Павловская избушка, а за ней уже и Диксон. В избушке оказалось изобилие еды и топлива. Харченко затрясся, увидев все это. Жадными, трясущимися руками он начал хватать банки и свертки, набивать ими карманы, потом потащил к нарте, стал прятать там. Это было безумие голода.

Из его рук падали на пол банки с паштетом, коробки кофе, круги сыра... Он хотел все это подобрать и унести, но еще чаще ронял, возился на полу, чуть не плача от злости.

— Брось! — крикнул на него Воронов.— Брось все!

— Бросить? Бросить? — удивился Харченко и вдруг захохотал.— Нет, нет, не брошу. Все унесу.

— Брось! — приказал Воронов.— И после тебя здесь пройдут люди.

— После меня! — закричал Харченко, но осекся, вероятно, вспомнив историю с Петуховым. Видимо, были вопросы, в которых Воронов был неуступчив.

И тогда Харченко захотел показать, что и он понимает законы тундры. Вырвал лист из суточного журнала и написал, любуясь своим почерком:

«Василий Васильевич Харченко и Федор Воронов проездом из Гольчихи на Диксон на девяти собаках дневали и ночевали здесь». Дальше следовал перечень взятых припасов: дров на три топки, керосин для лампы, две свечи, сахара сто восемьдесят золотников, масла, паштета банку, мяса, сосисок, молока, кофе и т. д. Отмечалось также, что сломали нож при открывании консервов. Затем объявлялась благодарность оборудователям избушки. Харченко подписался первым. Это и была та записка, которую я нашел в архиве на Диксоне.

Теперь до острова оставалось всего двадцать пять километров. Харченко блаженно храпел, а Воронов сидел и занимался невеселой арифметикой: вот думал за десять дней обернуться, но уже восемнадцать дней прошло, а они еще не доехали. В пути были тридцать шесть часов, все остальное время ушло на откапывание избушек, на сон да на выжидание погоды. Он посмотрел на спящего спутника. Ну, теперь скоро конец. Он вспомнил, что нынче канун Нового года. «Хорошо, что встречаю его в тепле и в избе,— подумал он, как истый северянин.— Пусть весь год будет таким!»

— Через три часа будем на Диксоне,— весело сказал Воронов Харченко, когда тот проснулся.

— Господи, наконец-то! — воскликнул Харченко и вдруг хитро подмигнул глазом.— Что? Не удалось

меня замучить? Не удалось? Что? — И он начал весело хохотать и хлопать себя по ляжкам.

Воронов вышел из избы. Было темно в мире, и небо темное, беззвездное, и снег темный, мутный. Диксон близко. Если поехать напрямик через залив, через два часа можно быть там. Найдешь ли только островок во тьме среди груды других островков. Воронов подумал о Харченко и решил держаться Восточного берега. Дальше, но надежнее.

Тронулись в путь.

— У меня мерзнут ноги,— вдруг объявил Харченко.

Воронов посоветовал ему пробежаться немного.

— Я вам не собака бегать! — закричал Харченко.— Отчего вы едете берегом, а не напрямик?

Воронов объяснил, что он никогда не был на Диксоне и не берется найти остров в тумане.

— Я знаю, знаю Диксон! — завопил Харченко.— Я найду.

— Я не верю в ваше знание.

— Не верите? О! — Он даже задохнулся от ярости.— Сворачивай в залив, сволочь...

Воронов с размаху воткнул остол в снег. Нарта остановилась.

— Послушайте! — сдерживаясь, произнес Воронов.— Я не поеду через залив. Я не верю, что вы найдете Диксон. Вы ничего не умеете, даже спокойно сидеть на нарте не можете. Вы — презренный человек...

Но Харченко не дал ему говорить дальше. Он опять закричал о своей неминуемой гибели и осыпал Воронова градом ругательств и упреков.

— Хорошо! — сказал тогда Воронов и торжественно поднял руку.— Слушайте меня внимательно. Я против поездки через залив. Я не верю в ваше знание острова и в вашу память. Слышите вы?

— Слышу...

— Даете вы честное слово, что за последствия не будете винить меня?

— К чему эта церемония? — закричал Харченко.

Но Воронов сурово перебил его:

— Даете честное слово? — В его голосе слышалась торжественность. Он требовал клятвы здесь, под тем-

ным небом полуночной тундры, чтоб снять с себя ответственность за жизнь человека. О своей жизни он заботился мало.

— Даю, даю...— пробормотал Харченко, и Воронов свернул в залив.

Прошло два, и три, и четыре часа, а диксоновских изб не было. Путники находились теперь на льду среди груды унылых скал и островков. Стало ясно: они проехали Диксон, уехали в море.

— Ну? — спросил Воронов.

Но Харченко только заплакал в ярости. Он сидел на нарте и плакал. Слезы замерзали на его щеках. Воронов брезгливо отвернулся.

Начиналась пурга. Воронов бросился к нарте, на которой плакал Харченко, и поволок ее за гору. Затем выкопал яму в снегу, постлал кошму, уложил Харченко, укрыл его брезентом и попросил его не спать.

— Не спите, не спите, пожалуйста,— повторил он много раз.— Заснете — замерзнете.

Сам он не спал. Ходил вокруг, прыгал, чтобы согреться, и все глядел на восток, в ту сторону, где должен был быть Диксон. Но вокруг были однообразные черные островки и скалы... Так прошло три дня. Ни люди, ни собаки ничего не ели. Воронов ни разу не улегся в яму, он спал на ходу, он все время был в движении, он знал, что уснуть — означало умереть. А ему нельзя было умереть. Что же тогда будет с Харченко?

Харченко все время лежал в яме и либо спал, либо плакал. То и дело доносилось до Воронова из сугроба:

— Откройте, мне жарко.

Тогда Воронов открывал Харченко, но через полчаса:

— Мне холодно. Закройте меня.

И Воронов накрывал его брезентом, на который опять наметало сугроб снега.

— Не спите,— умолял спутника Воронов.— Пробегитесь, походите, зазябнете так.

— Я не глупее вас. Я сам знаю, что мне хорошо и что плохо.

Ему было хорошо сейчас — он лежал в яме, в тепле, и спал. Не надо ни двигаться, ни ходить, ни бегать.

Только спать, спать и ни о чем не думать! Когда думаешь — грустно и хочется плакать. Когда спишь — сыт и счастлив.

Но голод мучил его, как и Воронова, как и собак. Он не мог безропотно переносить голод. Проснувшись, он кричал:

— Дайте мне есть!

Он требовал еды настойчиво и сердито. Отчего ему не дают кушать? Он проснулся, он хочет есть.

Воронов напрасно стал бы объяснять ему, что пищи нет. Он сделал умнее: он отдал Харченко весь запас отрубей — двадцать фунтов,— единственное, что осталось у путников. Харченко стал жевать отруби. Все же это была еда. Его челюсти работали. Он поел и сказал, что — ничего, есть можно.

Так прошло еще два дня. Пурга неистовствовала. Напрасно взбирался Воронов на холмы и на скалы, надеясь в просветах пурги заметить огонь диксоновского маяка или мачту. Ничего не было видно. Белая дрожащая пелена. Страшный мутный морок. В вое пурги Воронову то и дело слышался плач Харченко.

Воронов ходил вокруг нарты и думал. Что было делать? Он был привязан к этой горушке, к этой нарте, к этой яме, где то плакал, то спал человек, который не умел даже бороться за свою жизнь. Воронову приходилось бороться за обоих. Он должен был спасти Харченко, который сам ничего не сделает для своего спасения. Но для этого нужно уйти, излазить все острова, все скалы, все бухты и заливы и найти обязательно либо Диксон, либо Павловскую избушку.

Он бы и ушел. Но Харченко... Он не способен брести по тундре, а собаки слишком слабы, чтобы тащить его. Что же делать? Что делать, черт подери!

Воронов ходил вокруг горы, постукивая ногою о ногу, и думал. Шестые сутки он уже ничего не ест и не спит. Еще два-три дня — и он свалится, как Харченко, и тогда уж никакой надежды на спасение. Тогда — конец. Сейчас, пока в нем есть еще силы, надо идти, идти, искать... А Харченко?

Ну что ж, пусть решит Харченко. Он — слабейший.

Растолкав Харченко, он объяснил ему положение вещей.

— Не уходите! — закричал Харченко и схватил товарища за ногу цепкими пальцами. Он держал его крепко, до боли впиваясь в тело, не желая отпускать, боясь остаться один в этой мертвой, чужой тундре, в вое пурги...

— Хорошо! — спокойно сказал Воронов.— Я не уйду. Погибнем вместе.

И тогда Харченко завыл. Не заплакал, не закричал, а завыл страшно, тоскливо, как воет волк.

Воронов сидел рядом и молчал. Он не утешал, не успокаивал Харченко. Он знал, что теперь — конец. Конец обоим. Но он не мог покинуть попутчика.

Когда Харченко затих, Воронов встал.

Харченко следил за ним испуганными глазами.

— Послушайте! — вдруг прошипел он.— Дайте мне ночь... одну ночь... подумать. Завтра я вам скажу...

— Хорошо! — согласился Воронов.

Харченко думал всю ночь. Теперь он уже не спал, не мог уснуть. До Воронова все время доносились всхлипывания, потом шепот, словно чтение молитвы, потом судорожный кашель и плач.

Утром Воронов отрыл Харченко и ужаснулся — лицо спутника было страшным: щеки обвисли, глаза вышли из орбит.

— Я думал,— тихо произнес Харченко.— Я всю ночь думал. Всю ночь. Я не могу идти с вами. Я... я даже сидеть теперь не могу. На мне все сгнило.

Воронов разрыл яму и увидел, что Харченко весь мокрый. На Воронова пахнуло острой вонью и прелью. Он стащил с Харченко полусгнившие бокари и дал ему свои запасные, сухие.

— Вы вернетесь за мной, да? — бормотал Харченко.— Миленький, дорогой... Я ругал вас всю дорогу... Я извиняюсь... Но вы вернетесь за мной, правда?

— Вернусь!

— Вы клянетесь? — крикнул Харченко.— Клянитесь, что вы не покинете меня, как собаку...— и он заплакал.

— Я вернусь! — просто ответил Воронов.

Через полчаса он ушел, предварительно заботливо укрыв Харченко и положив ему под брезент собаку и ведро отрубей.

Он пошел сначала на юг, потом на восток; собаки покорно побрели за ним. Ни разу он не обернулся на горушку, под которой лежал Харченко. Но в вое пурги ему слышалось: «Вы вернетесь, голубчик, вернетесь, да?»

Это был восьмой день голодовки. Он еле шел, еле тащил за собой нарту. Одна собака упала. Он наклонился к ней — мертва. Он топором разрубил ее на семь частей и бросил собакам. Шесть собак съели свою долю, седьмая не притронулась. Тогда ее долю взял Воронов.

Собаки уже не могли брести за ним, он уложил их на нарту и привязал веревками. Потом впрягся в нарту и поволок ее. Довольно уж собаки повозили человека, теперь он повезет их. Не бросит.

Он брел так еще день. Вокруг него все так же бесновалась пурга, осыпала его ворохами снега, а он все шел да шел, сам не зная куда, ничего не видя перед собой в этом белом мраке. Иногда возникали какие-то смутные очертания скал, потом они пропадали; он все шел, упрямо передвигал ноги, тащил нарту. Упал. Лежал ничком на снегу, думал — не встанет больше. Щека, которою он прижался к снегу, начала мерзнуть. «Отморожу ее, отморожу!» И он заставил себя встать и идти.

Так он брел еще пять часов и вдруг увидел дрова, сложенные в штабеля. Он обрадовался и чуть не закричал. Потом увидал мачты корабля. Не понял, откуда здесь корабль, но задумываться не стал. Люди, значит, здесь люди! Он побежал к ним, взбежал на шхуну, крикнул:

— Эй, люди! Товарищи!

Какие-то бородатые люди окружили его. Волнуясь, он начал рассказывать о Харченко. Звал их с собой, они не понимали его. Они не понимали по-русски. То была норвежская шхуна «Хеймен», искавшая людей экспедиции Амундсена и зазимовавшая у Диксона, в маленькой бухте, которая ныне называется бухтой Хеймен.

Воронов начал знаками объяснять им свое положение. Он кричал: «Товарищ, товарищ мой погибает!»

Поняли ли его норвежцы? Вероятно, поняли. Они спросили, чем могут помочь.

Он спросил: далеко ли до Диксона? «Диксон, Диксон, Диксон»,— много раз повторял он. Ему показали на ручных часах: два часа туда и обратно.

Тогда он попросил их немедленно снести записку на Диксон. Он тут же написал ее. Писал, дуя на пальцы, чтобы сделать их послушными. Это и была та записка, которую я тоже нашел в архиве Диксона. Она начиналась так: «Нас, то есть меня и Харченко, постигла судьба несчастья»,— потом следовало описание злоключений и просьба «возможно скорее приехать, дабы успеть спасти жизнь человека. Без меня вы Харченко не найдете, а я место найду сразу. Завтра я совершенно оправлюсь и вполне смогу следовать за вами. Но торопитесь, торопитесь, пожалуйста».

Норвежцы доставили записку на Диксон и привезли ответ: люди завтра будут. Воронова и его собак накормили — он лег спать. Но спалось ему плохо: все снился Харченко. Все слышался его плач.

Утром приехали фельдшер с Диксона и радист. Воронов успел к этому времени высушить и починить бокари и был готов в дорогу.

Он сразу же нашел горушку, где оставил Харченко.

— Харченко! — закричал он, спрыгнув с нарты.

Ему никто не ответил.

— Харченко! Харченко!— снова закричал Воронов и испугался: «Умер! Зачем, зачем же принял я все эти муки?..»

Он стал нетерпеливо разрывать яму и все кричал:

— Харченко! Харченко!

Наконец, отрыли Харченко. Он был жив. Он поглядел на Воронова и засмеялся:

— Вернулся, голубчик!

Через два часа Воронов и Харченко были уже на Диксоне. Харченко уложили в отдельную комнату. Его положение было скверным. Он все время бился в судорогах, казалось, что он неминуемо умрет.

Все эти дни Воронов ходил сумрачный. То и дело справлялся у фельдшера о здоровье Харченко. К Харченко он, однако, не зашел ни разу.

Наконец, фельдшер сказал, что Харченко стало лучше.

— Ага! — обрадовался Воронов, и его лицо просветлело.— Значит, он выздоровеет?

— Да. К тому идет дело.

— И жизнь его вне опасности?

— Вполне.

— Ага! Очень хорошо.— И Воронов весело заходил по комнате.

— Да вы можете сами поглядеть на него. Молодец молодцом! Зайдите! — сказал фельдшер.

— Я?

— Заходите.

— Нет-нет,— замахал руками Воронов.— Нет. Зачем же?

— Как зачем? — удивился фельдшер.

— Зачем, ведь вы говорите: он выздоравливает?

— Ну да! — смутился фельдшер.— Потому-то, думал я, вы и зайдете. Приятели ведь...

— Нет, нет! — закричал Воронов.— Я видеть его не могу. Противно. Что вы!

Воронов вдруг подошел к фельдшеру и сказал, глядя прямо в глаза:

— Вы видели когда-нибудь, чтобы мужчина плакал... на морозе. Понимаете, на морозе?.. Ну вот...

В тот же день Воронов, так и не повидав Харченко, уехал вместе с обозом диксоновцев, направлявшимся в Варзугину бухту, на помощь Петухову.

1938

ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ ГОРОДА...

Ветер — десять баллов. Шторм. Огромный человек стоит, широко расставив ноги. Его шатает, сшибает ветром, он упорствует.

О сапоги, о полы кухлянки яростно бьются волны снега; снежная пыль клокочет, как пена. Человек ссутулился и закрыл лицо обледеневшим шарфом.

Все бело, мутно, призрачно вокруг — ни ночь, ни день, ни земля, ни небо. Реального мира нет — все иссечено пургой, засыпано снегом. Ни линий, ни очертаний. Все взвихрено, вздыблено, подхвачено ветром и брошено в игру.

Один человек реален в своей синей кухлянке с капюшоном и в кожаных сапогах.

Он один стоит, вокруг все в движении. Мимо него с грохотом проносятся камни, обломки льдин, сугробы снега, кочки, покрытые жалким мхом. Осатанелый поземок рвет снежный покров тундры; миллионы снежных песчинок приходят в движение: оголяются горы, бугры, скалы; все срывается с места и мчится, повинуясь ветру. Весь мир — мутный, косматый, колючий — со свистом проносится мимо человека.

Уже трудно стоять на месте и сопротивляться движению. Надо прятаться, как спрятались птицы и звери, или идти. Но человеку в кухлянке некуда идти и негде спрятаться: его машина уткнулась мотором в снег и замерзла, дырявый брезент над кузовом почти не защищает от ветра. Вокруг ни жилья, ни костра, ни дыма.

Человек в кухлянке вытягивает шею, словно хочет что-то увидеть впереди. Огромная ноша сутулит его

спину. Это ветер. Ветер сидит на его плечах и злобно толкает вперед. Человек упорствует. Ветер крепок, но человек крепче.

Вокруг все охвачено стремительным, порывистым движением. Это не вихрь, не слепая пурга, не смерчи. Это — бег. Бег ураганной скорости. Непрерывный и целеустремленный бросок вперед.

В нем есть направление: на норд-вест, к морю. С гор срываются голые медно-зеленые камни и, грохоча, подпрыгивая, мчатся на норд-вест. В заливе с шумом валятся острые торосы, и обломки их, перекатываясь, ломаясь, крошась, несутся на норд-вест. Взлохмаченная ветром тундра дымится, по ней кочуют сугробы — на норд-вест, на норд-вест! Вздымая вороха снега, стремглав проносится поземок — на норд-вест, на норд-вест! И кажется, что вся тундра рванулась и понеслась, подгоняемая ветром, на норд-вест, к далекому морю.

Один только человек стоит на месте, лицом к северо-западу, и не делает вперед ни шагу. Шарф уже не защищает его лица, шарф сорвало ветром, он еще трепещется вокруг шеи, надувается и вдруг, развернувшись по ветру, бросается на норд-вест. Свистя и воя, проносится мимо косматый мир.

И тогда человек поворачивается против ветра. Он делает это медленно, очень медленно. Ему приходится преодолевать сопротивление страшной силы: плотную стену шторма. Он разворачивается по кругу, как самолет: сначала заносит правое плечо и вытягивает правую руку, потом делает полуоборот и принимает удар ветра в грудь, выдерживает его и остается на ногах, потом делает еще полуоборот и закрывает лицо руками.

Теперь он стоит против ветра. Яростный, колючий ливень хлещет ему в лицо, словно бьет тысячами хвойных веток. У человека выступают слезы на глазах, текут по щекам и замерзают. Лицо одеревенело, он не чувствует больше кожи. Судорожным усилием открывает он рот, чтоб вздохнуть, и пугается, что кожа на щеках лопнет, потрескается.

Слишком много ветра: человек задыхается, вот с шумом лопнут легкие.

И тогда он начинает кричать.

— Э-гей! Ты! Дурак! — Его голос тонет в вое пур-

ги, но он упрямо и зло кричит ветру: — Ты! Дурак! Ну? Иду. Слышь? Иду. Ну? Гей, ты!

Ему кажется, что, когда кричишь, легче идти. Он начинает даже петь — зло, остервенело. Но на песню не хватает дыхания. Можно только кричать, судорожно, отрывисто: «О-о! А-а! Ге-ей!» или выть, как воет волк.

Каждый шаг дается с бою. Было бы легче ползти, но человек упрямо держится на ногах, падает и подымается, Идет, разрывая руками плотную завесу ветра. Задыхается, сопит, сплевывает густую слизь, но идет.

И вот, наконец, из белесой мглы выступают мутные очертания чего-то темного и бесформенного. Наконец-то! Он торжествующе машет кулаком вьюге, приподымает брезент и влезает в машину. Он — «дома».

Он трет снегом замерзшие щеки.

— Игнат, ты? — слышит он голос товарища.

— Да, я.

— Ну?

— Что — ну?

— Разведал?

— Разведал.

— Ну? Тише стало? Скоро поедем?

Игнат угадывает в голосе товарища надежду, но отвечает безжалостно и насмешливо:

— Стихло, Костик, спи. Десять баллов.— И зло, невесело смеется.

...Проходит много часов, сколько — неизвестно: никто не смотрит на часы. Времени нет, есть ветер; и люди прислушиваются к ветру. Иногда им кажется, что шторм стихает. Они поднимают головы и чутко прислушиваются.

— Ты слышишь? — перекликаются они.— Слышишь?

Но новый порыв ветра задувает надежду, она гаснет, как искра в степи. Люди опять опрокидываются навзничь и затихают, съежившись в своих мешках. Игнат делает вид, что беспечно храпит. Костик вздыхает. В третьем мешке кто-то тихо стонет и кашляет. Откуда-то сверху беспрерывно сеется мелкий снег, падает на лицо и тает, но к этому уже привыкли.

— Это ветер...— бормочет Костик.— Он не кончится никогда. Он будет вечно. Что делать, что делать?

Он замолкает на минуту и снова бормочет, не обращаясь ни к кому:

— Что делать, что делать, черт подери!

— Ждать! — раздается резкий голос из третьего кукуля.

Костик вздрагивает и умолкает.

В тишине слышно, как стонут доски кузова. Игнат ползком подбирается к черному ящику у борта. Это маленький, простенький радиоприемник с репродуктором «Рекорд». Игнат надевает наушники, все подымают головы и жадно прислушиваются. Из трубы вырывается зловещий свист, словно радиостанции транслируют не музыку, а пургу.

— Москва,— вздыхает Костик.— Москва...

Свист репродуктора сливается с воем пурги. От этого кажется, что ветер стал еще злее, еще неистовей. Игнат сбрасывает наушники и молча залезает в кукуль.

— Ждать? — бормочет Костик.— До каких пор ждать, профессор? Пока наши скелеты занесет снегом? Когда едут на собаках, можно по крайней мере съесть собак, а мы...

— Ждать! — снова раздается голос профессора, и снова поспешно умолкает Костик.

Он долго ворочается в своей меховой клетке. Ему хочется говорить, слышать человеческие голоса. Он прислушивается к шумному дыханию товарища и произносит:

— В Москве я жил на Патриарших прудах... Вы знаете эти пруды? Белые зимой и зеленые летом. Отчего человеку не сидится на месте?

Он ждет. Никто не подхватывает беседы. С шумом хлопает надутый ветром брезент.

— Мальчиком я мечтал о парусах,— шепчет Костик.— Я хотел стать моряком, а стал геологом. Но никогда, даже в самых безумных мечтах, я не представлял себе, что буду, как крыса, подыхать в мешке, пропахшем псиной.— Он снова ждет и, не выдержав тишины, кричит: — Да скажите хоть слово, ну же!

Он с шумом переворачивается на левый бок и задевает ногой кучу минералов, сваленных у борта. Камни

с грохотом катятся по полу. Слышен звон разбитого стекла.

— Бутылочка? — испуганно вскрикивает профессор.— Вы разбили...

— Нет, нет...— торопливо отвечает Костик.— Это фонарь.

— А-а! — успокаивается профессор.— То-то!

— Я храню бутылочку при себе, профессор. Если б это был слиток золота, я б не мог его хранить бережнее.

— Это больше, чем золото, Костик. Это — нефть!

— Да, да... Нефть. Я знаю. Нефть — это жизнь. Если мы будем живы и, наконец, попадем в Москву — вы ведь верите в это, профессор, правда? — мы будем рассказывать, как нашли нефть на сопке. И эти капли... как они сочились по песчанику и дрожали в бутылке, куда мы собирали их. И пахло нефтью. Вкусный запах. О, если мы будем жить!..

— Костик! — с досадой перебивает его профессор.— Отучитесь, пожалуйста, разговаривать белыми стихами. Геологу это не к лицу.

— Слушаюсь, профессор,— обиженно шепчет Костик и умолкает.

В машине становится совсем тихо. Изредка только раздаются хрипы и кашель профессора, он хочет подавить их, но от этого кашляет еще сильнее.

... Проходит еще много долгих часов.

Шторм стихает. Его удары слабеют, в них нет уже прежней ярости. Рев переходит в ворчанье, в нем чуется сытость. Все ниже припадает к земле ветер. Обессилев, он уже не летит, а ползет. Мутная пелена, окутывавшая мир, рассеивается, все становится на свои места, мир снова реален. Белые горы. Белое небо. Белая тундра.

Среди этой безмолвной белой пустыни чернеет маленькая точка. Теперь видно: это грузовик-вездеход. Радиатор окутан ватным чехлом (на чехле снег), верх кузова затянут брезентом (на брезенте снег), резиновые гусеницы машины глубоко утонули в снегу. Вокруг — ни живой души, ни человеческого следа. Даже колею, пропаханную вездеходом, давно замело, и кажется, что вездеход ниоткуда не пришел и никуда не идет.

Но вот зашевелился брезент, посыпался снег, и из машины вылез человек в кухлянке. Он распрямляет плечи, потягивается — слышно, как хрустят его кости,— потом сбрасывает кухлянку. Теперь он в пыжиковой рубахе, в пыжиковых штанах мехом наружу, в капелюхе и огромных, по локоть, шоферских рукавицах. У него цыганское острое лицо, смуглое или не мытое, большой хищный рот, большие зубы.

Он долго стоит и насмешливо смотрит на горы, на тундру, на небо. «Ну,— словно хочет сказать он,— утихомирились?» По земле струится поземок, словно бегут серебряные ручьи; заструги похожи на каменистое речное дно.

— Веселый месяц май! — насмешливо произносит механик, сплевывает и лезет в кабину.

Скоро он снова появляется. Теперь в его руках лопата. Он вонзает ее в снег, а сам медленно идет вокруг машины, по-хозяйски оглядывает ее, остукивает, ощупывает, качает головой. Потом берет лопату и начинает отбрасывать снег. Снегу много, машина вся в сугробах.

Он работает споро, машисто, не разгибаясь. За его спиной вырастают горы мятого снега.

Он один в движении,— вокруг все оцепенело. Стынут горы, неподвижна безголосая тундра, в белом небе едва заметно перемещаются облака. Все угомонилось, замерло, уснуло. Во всем лад и покой — тот неправдоподобно кроткий покой, какой бывает только после шторма. Кажется, что сугробы, заструги, обломки скал, торосы — все, что примчал, разломал и взъерошил ветер — все это было здесь вечно, всегда все было так, как сейчас: сонно и неподвижно.

Один человек в движении. Его руки, плечи, спина — все в ходу. Рушатся под лопатой сугробы, снежная пыль клокочет, как пена.

Теперь верится, что вездеход пойдет. Ломая торосы, отшвыривая прочь твердые комья снега — пойдет, пойдет!

За спиной Игната раздается скрип шагов. Не оглядываясь, он знает: это Костик.

Костик идет, чуть пошатываясь. Это бледный, худощавый юноша, в дымчатых очках, с редкими русыми

волосами. Его лицо осунулось, щеки впали, вокруг рта две новые глубокие морщины.

Он идет медленно, как больной, тяжело опираясь на лопату. Наклоняется, берет в горсть снег, жадно ест его и кашляет. Он кашляет долго и мучительно, но, откашлявшись, снова ест снег. Потом подходит к Игнату и весело смотрит на него, щурясь от сияния снега.

— Значит, поедем, Игнат? А? Поедем?

— Что Старик? — глухо спрашивает Игнат.

Костик темнеет.

— Плохо,— тихо отвечает он. С минуту молчит, потом прибавляет, сморщившись: — Очень плохо.

— Что он говорит?

Костик пожимает плечами.

— Ты же знаешь Старика: он ничего не скажет.

Игнат слушает, нагнув голову. Снег вдруг начинает тускло поблескивать,— это солнце прорвалось сквозь строй облаков. Потом Игнат произносит:

— Он не скажет!

Оба долго молчат, смотрят в землю. Потом Костик вдруг яростно замахивается лопатой и начинает работать. Его движения нервны, порывисты, суетливы. Он тяжело дышит.

Игнат лезет в кузов и вытаскивает оттуда два больших бидона. Он несет их, бережно прижимая к груди.

Но прежде чем начать заливку, он подымает руку и долго шевелит пальцами; по пальцам струится обессиленный ветер. Игнат поворачивается спиной к ветру и начинает заправлять машину. Он льет бензин осторожно, бережно, боясь пролить хоть каплю,— так голодный режет хлеб на ладони, чтобы не уронить крошек.

Уже пуст бидон, но механик все трясет его над баком. Стекли последние капли. Бидон пуст, и тут уж ничего не поделаешь. Вздохнув, он берет другой.

С лопатой на плече подходит Костик. Он втыкает лопату в снег и глядит, как работает товарищ.

— Это... последний? — спрашивает он робко.

Игнат не отвечает. Слышно, как булькает бензин в баке.

— Я хотел сказать тебе, Игнат,— робко продолжает Костик.— Вот... Мы чертовски богаты. У нас есть еще банка сгущенного молока... Единственная...

— Старику,— отрывисто бросает механик.
— Полплитки шоколаду...
— Старику.
— И галет одна пачка. Все,— он разводит руками.— Больше ничего нет.
— Галеты — тебе.
— Я? —Игнат прислушивается к бульканью бензина в баке, и его лицо чуть-чуть светлеет.
— Старику очень плохо,— снова начинает Костик.— Очень. Очень,— он вкладывает в это слово все: му́ку свою, и отчаяние, и страх.
Игнат хмурится.
— Он не жалуется. Он говорит — ждать. И шутит даже, и даже смеется,— продолжает Костик,— но ведь я-то вижу. Как он стонет, когда думает, что мы спим!
Игнат подымает бидон, ставит его на капот и слушает хмурясь.
— Никогда он не был так плох,— шепчет Костик.— Я ведь его... я ведь его давно знаю. Я лекции его слушал... Я к нему зачеты сдавать бегал. У него больное сердце, но сейчас... эта дорога, пурга, голод...
— Мы скоро тронемся, Костик,— говорит Игнат.— По-моему, мы теперь верно едем...
— Видишь, Игнат,— Костик подходит ближе к механику и кладет руку на бидон.— Видишь ли, он очень слаб. Я боюсь: довезем ли? Сердце... это, это, брат... Вот ты не знаешь этого...
— Магнето...
— Да. Вот я не доктор, конечно, а кажется мне, что совсем ослаб Старик. Вот я еще держусь, я молодой. Ты? Ты — буйвол. А он... Ему бы, Игнат, горячего чего-нибудь. А? Горячего молока, например. Как ты думаешь? А?
Игнат темнеет и берет бидон.
— Вот именно, горячее молоко,— убежденно шепчет Костик.— Понимаешь? Это согрело б его. А? Мы довезли бы его тогда... живым до базы.— Он заглядывает в цыганское лицо товарища, часто моргая, ищет его взгляда, но встречает холодный свинцовый блеск глаз и опускает голову.
— Не дам,— произносит Игнат и отворачивается.
— Но ведь Старик, понимаешь, наш Старик уми-

рает! — кричит Костик, но, испуганно бросив взгляд на кузов, давится криком.

— Не дам.

Наступает долгое молчание. Игнат стоит, крепко стиснув зубы. Его лицо сейчас неприятно: остро выдается вперед тяжелая сильная челюсть, холодно блестят глаза. Костик тихо плачет.

Чуть вздрагивает челюсть Игната.

— Ты думаешь,— тихо произносит он,— ты думаешь, я люблю Старика меньше твоего?

Он смотрит на бидон, потом решительно хлопает по плечу Костика.

— Пойдем!

— Что? — вздрагивает тот.

— Пойдем к Старику. Пусть скажет. Я дам.

— Нет, нет,— пугается Костик.

Игнат пожимает плечами: «Как хочешь»,— долго молчит и, наконец, произносит:

— И даже если Старик сказал бы «дать», я бы не дал. Потому что...— он запинается и говорит, глядя себе под ноги: — потому что я не только люблю Старика. Я, брат, да моя машина за его спасение отвечаем.

— Но ведь пол-литра... Всего пол-литра проклятого бензина в примус и...

— Пол-литра — это полтора километра.

— И ты из-за полутора километров... отказываешь Старику? Игнат!

Игнат берет бидон и трясет его. Звонко булькает жидкость.

— Слышишь? — спрашивает он.— Тут все. Последние капли. Мне они крови моей дороже. Сказал бы ты: дай Старику своей крови стакан, литр, ведро. Я бы глазом не моргнул — дал бы. А бензину не дам. Не дам! Слышишь? — угрожающе кричит он, но, тотчас же опомнившись, ставит бидон на бак и другим уже тоном, шепотом говорит Костику: — Я считал и пересчитывал, Костик. Слышь: бензину до базы не хватит. Сколько не хватит? Не знаю. Знаю: сколько не хватит, столько нам идти пешком.

— Неужели так скверно? — бормочет Костик.

— Я экономил, как мог,— пожимает плечами Игнат.— Я дрожал над каждой каплей.

Он подходит к мотору, кладет руку на бидон и вопросительно смотрит на Костика.

— Ну? — глухо спрашивает он.

Костик безнадежно машет рукой.

Он слышит, как, звеня, падают в бак последние капли.

— А галеты я на три части разделю,— бормочет он.— Старику, мне и тебе.

— Друзья! Друзья! — вдруг раздается голос из машины.— Что же вы?

— Старик! — торопливо шепчет Костик, и оба бросаются на голос.

Старик стоит во весь рост в кузове и укоризненно смотрит на часы. Он высок и худ, но далеко не стар. Ему не более пятидесяти. У него ясные, детские глаза, но под ними тяжелые синие мешки. Его лицо покрыто давним загаром (обветренное лицо геолога), но сейчас оно опухло, покрылось отеками. Он болен и, вероятно, уже сам сознает это.

— Шестнадцать пятьдесят по местному — это двенадцать пятьдесят по-московски,— качает он головой.— Что же вы, товарищи хорошие? Ай-ай-ай! Вот не догляди я — и упустили бы...

Игнат поспешно ставит пустой бидон наземь и бросается к кузову. Сдирает брезент, откидывает борт. В кузове на полу там и сям брошены спальные мешки. В углу аккуратно сложены пустые бидоны, инструмент, палатки, ящики — все имущество партии. В мешках груда камней, очевидно образцы. В другом углу, ближе к стеклу кабины шофера, радиоприемник. К нему-то и бросается Игнат. Растягивается на полу, надевает наушники.

Костик подтягивает спальные мешки ближе к репродуктору. Все усаживаются. Старик поджимает под себя по-турецки ноги и нетерпеливо глядит в черную трубу. Она покрыта серебристой изморозью. Так тихо, что слышно, как тикают часы на руке Старика.

Люди молчат. Нестерпимая тишина царит в мире. Оцепенела тундра, и дальний крик полярной совы умолкает, не встретив отклика. Старик тоскливо смотрит на часы: 17.10. Он тихо вздыхает:

— Прозевали,— и смотрит на товарищей.

Вот они все здесь, на одиноком, затерянном в снегах вездеходе. Мир забыл их, молчит, и это страшнее, чем голод.

Игнат нетерпеливо возится у приемника. Меняет настройку. Он был бы рад сейчас любой станции, даже чужой. Вдруг из трубы вырывается веселый голос диктора. Все, замирая, прислушиваются.

— А теперь,— говорит труба,— послушайте пластинку «Под крышами Парижа»...

Вкрадчивые звуки вальса, как теплый дождь, падают над тундрой.

«Париж, о Париж!» — поет эхо в горах, и Игнат начинает присвистывать эху.

Костик сидит, закрыв лицо руками, съежившись. Его плечи мелко вздрагивают. Сначала кажется, что он просто раскачивается в такт вальсу... Париж, о Париж!.. Но вот уже не в такт трясутся его плечи, быстрее, быстрее, слышно, как сухо стучат зубы о зубы. Он стискивает руками голову и вдруг неестественно тонким, визгливым голосом кричит:

— Я не могу-у больше! — и опрокидывается навзничь. Его голова колотится о пол.

Старик бросается к нему.

— Костик! Что такое, милый вы мой? Да что с вами?

Крики Костика смешиваются со звуками вальса, эхо в горах покорно повторяет и то и другое.

Старик бережно приподнимает русую голову юноши, кладет ее к себе на колени и гладит теплой ладонью по волосам.

— Ну, не надо, не надо, Костик. Ох, как нехорошо!

— Я не могу... не могу... Эта музыка, когда мы погибаем... Эта музыка!

— Заткните же радио, Игнат! — кричит Старик.— К черту Париж!

Но Игнат не затыкает радио. Он круто шагает к Костику. На его лице застыла брезгливая гримаса, еще острее выдались вперед челюсти. Его кулаки сжаты, словно он собирается бить рыдающего юношу.

Он наклоняется над ним.

— Брось! — приказывает он. Его голос звучит глу-

хо.— Брось психовать. Ну? Слышишь? Брось! Не надо. Доедем. Я тебе говорю. Выберемся. Ну?

Костик испуганно стихает. Его рыданий уже не слышно, он давится ими, и только плечи трясутся, как в лихорадке.

— Подыми голову,— командует Игнат.— Стыдно? Ну?

— Очки,— робко шепчет Костик.— Я сейчас... только очки найду.— Всхлипывая, он ползет по полу и ищет очки. Ищет долго, нарочно долго. Потом подымает голову, но старается ни на кого не смотреть. Ежится, словно ему зябко.

Игнат отворачивается и смотрит вперед, на дорогу.

— Париж, о Париж! — подпевает он, но голос его звучит сердито.

Он стоит, широко расставив ноги и засунув руки в карманы. Впереди, насколько хватает глаз, волнистая рябь тундры,— это солнце делает тундру пестрой. Дороги нет, и не к чему ее выглядывать.

— Стыдно,— шепотом произносит Костик.— Простите, пожалуйста...

Старик обнимает его за плечи, и оба молча слушают музыку. Теперь репродуктор поет о знойной Аргентине. Игнат отбивает такт ногой.

Репродуктор умолкает. Тихо в машине. И теперь слышно, как звенит очнувшаяся тундра, поет зверем и птицей. Кажется даже, что снег, тронутый солнцем. поет. Старик стоит у репродуктора, ждет...

Низко-низко над машиной пролетает белый лунь в раннем весеннем наряде — карие глазки на белых крыльях — и пронзительно кричит.

Старик вдруг встряхивается.

— В путь, дети, в путь! — кричит он, бодро похлопывая рукавицами.— По коням!

Игнат бросается к мотору, достает из кабины противень, выливает на него отработанное масло, зажигает и идет разогревать мотор.

И вдруг начинает стучать мотор вездехода. Он стучит сначала тихо и неуверенно, вспышками, то глохнет, то вновь шумит, все сильнее и упрямее.

— Слышите? Слышите? — кричит Старик Костику, его глаза блестят.— Слышите?

Что слышит он? Мотор стучит тихо и одиноко, и только эхо в горах многократно повторяет и усиливает его рокот. Но, может быть, именно к эху и прислушивается Старик? И чудится ему, что уж шумят в сопках машины, буровые станки, двигатели? И нефть бьет фонтаном?

Костик тоже прислушивается к шуму мотора. Теперь мотор стучит ровно и мерно (его уверенный голос похож на голос Игната), и Костик успокаивается.

— Поедем! Теперь поедем! — шепчет он.— Домой. К товарищам. Сейчас поедем, Николай Кузьмич.

Вездеход медленно трогается в путь. Снег начинает петь под гусеницами; вместе с рокотом мотора это лучшая музыка дороги.

Огромное небо раскинулось над путниками. В этот ясный, солнечный день оно может служить и компасом и картой. Далеко на северо-запад оно темно-зеленое — там вода, море; на юг оно светло-коричневое — там земля, тундра; на ост оно голубоватое — там льды залива. Небо, словно зеркало, отражает землю. Костик смотрится в него, и ему кажется, что он видит в нем и дорогу. Она лежит на восток, уходит в голубоватую даль залива. Она прямая и чистая, обрызганная солнцем. Синие искры вспыхивают на ней.

Вдруг сильный толчок встряхивает машину. С лязгом лопается стальной трос. В кузове все валится на пол и носится от борта к борту. Из машины вылезают Старик и Костик.

— Что случилось? — испуганно кричит Костик.

Игнат молча рукавицей указывает вперед на дорогу. Впереди, насколько хватает глаз,— остро холмистая зеленоватая равнина. Это торосы, дикий хаос вздыбившихся льдин.

— Что будем делать? — растерянно спрашивает Костик и тоскливо смотрит вперед: там, за льдинами залива, где-то очень близко, недосягаемо близко — база.

Старик тоже смотрит вперед, на дорогу. Смотрит долго и, наконец, машет рукой Игнату.

— Вперед!

Игнат спокойно повторяет:

— Есть вперед!

Он вытаскивает лопату, отшвыривает снег, в котором завязла машина. Старик и Костик торопливо бросаются ему на помощь.

Теперь Старик и Костик идут рядом с машиной. Она то проваливается в мягкий, рассыпчатый снег, то, вдруг вздыбившись, как конь под уздой Игната, перелезает через торос. Она словно слита со своим хладнокровным всадником. И порой кажется, что это Игнат огромным напряжением своих мышц заставляет ее бросаться вперед, подымая ее на своих руках и неся через торосы. Но все чаще и чаще беспомощно утыкается в снег машина. Тщетно посылает ее вперед Игнат,— гусеницы увязли, машина не слушается.

Тогда с лопатами бросаются вперед Старик и Костик. Они валят торосы, отбрасывают снег, высвобождают гусеницы, чтоб через пять метров снова бросаться с лопатами на выручку. Машина медленно подвигается вперед, каждый шаг ее оплачивается нечеловеческими усилиями трех усталых, голодных людей.

...Так проходит день. Обессиленные, лежат у машины люди. Вездеход окончательно увяз среди торосов. Мотор выключен. Великая тишина стоит над тундрой.

Костик жадно лижет снег.

— Много мы прошли сегодня?

— Триста метров.

— Не много.

Молчание.

— Как далеко до базы?

Молчание.

— Далеко...

Старик вдруг поднимается на ноги и идет к машине. Он берет лопату и начинает яростно отшвыривать снег. Его пример подымает всех. Шатаясь, бредет к машине бледный Костик. Утомленный, с потухшими глазами, подымается Игнат.

Они работают молча, угрюмо, судорожно. У Костика из закушенной губы капает кровь. Он облизывает ее и продолжает работать. Никто не скажет, что Костик сдрейфил!

Иногда, разогнув на минуту спину, он с надеждой поглядывает вперед: может быть, удастся увидеть конец этой проклятой дороге? Но впереди по-прежнему гро-

моздятся льдины, им нет конца, словно весь мир вздыбился. После взгляда на эту безнадежную картину труднее согнуть спину и начать работать.

— Ничего! — произносит Старик, словно угадав мысли Костика.— Ничего, дети мои! Челюскину было хуже... Альбанову совсем было плохо... Ничего... Главные добродетели полярника — терпение и труд.

Он хочет что-то еще сказать, вероятно смешное и ободряющее (его глаза вспыхнули хитрым огоньком), но вдруг морщится и, охнув, тихо опускается на колени. Игнат и Костик испуганно бросаются к нему. На его лице застывает гримаса нестерпимой боли, он уже не в силах ее скрыть.

— Однако худо...— с трудом произносит он.— Рубаху...— он судорожно рвет воротник.— Давит!..

Игнат наклоняется над ним и ножом режет тесемки, узлы, застежки меховой рубахи.

— Ничего, ничего,— бормочет Старик.— Это и раньше бывало. Это пройдет. Теперь легче.

Костик и Игнат бережно относят его в сторону и кладут на спальный мешок. Игнат припадает к груди Старика и слушает сердце. Оно булькает. Булькает, как горючее в баке.

И тогда срывается с места Игнат.

Он бежит к машине, нетерпеливо роется в куче инструментов и, наконец, находит топор.

Он вытирает лезвие рукавом, долго на него смотрит и вдруг яростно начинает рубить деревянный борт кузова.

Стук топора гулко разносится по тундре.

— Что он делает? Что он делает? — удивленно вскрикивает Старик.— Он с ума сошел! Игнат!

Но Костик останавливает его.

— Ничего, ничего,— шепчет он.— Тише! Он знает, что делает.

Широко раскрыв глаза, он смотрит, как рубит механик кузов. В его ярости есть система: он рубит верхние доски и оставляет нижнюю. Он рубит торопливо, боясь остановиться, боясь пожалеть, что начал рубку. Костик следит за ним воспаленными глазами и думает, что никогда не забыть ему этой картины: как механик рубил машину.

Игнат приносит ворох щепок, бросает на снег, говорит Костику: «Жги!» — и отворачивается.

Скоро среди торосов дымит костер. В чайнике над огнем тает снег, в снежной пустыне становится уютнее.

У костра сидят трое.

— Где-нибудь в Сочи сейчас...— задумчиво говорит Костик,— цветут магнолии. В Москве — сирень... А у нас — снег...

— Миф! Легенда! — обрывает его Старик.— Где цветут магнолии? Игнат, можешь ты поверить, что где-нибудь сейчас цветут магнолии?

Игнат смеется.

— А ведь цветут...— улыбается Старик, смотрит на снег и качает головой.— Здесь ни-ког-да не будут цвести магнолии. И не надо, а? Зачем нам здесь магнолии, скажи на милость.

— Ни к чему,— смеется Игнат.— Вот если б табак здесь посадить, это да...

Он высыпает из кармана на ладонь мусор и говорит:

— Поделимся, профессор?

— Кури!

Игнат закуривает.

В наступившей тишине слышно, как булькает вскипающая вода.

— Магнолии? — фыркает профессор.— Некий ученый, Довнер-Запольский его имя, всего лет двадцать назад писал в одном почтенном журнале, что север России самой природой предназначен для полудикого зверолова и рыболова и цивилизованный человек здесь может жить лишь по нужде. А? Знаешь, что мы сделаем, Игнат? В наказание этому «ученому» мы высечем эти слова на мраморе наших городов, которые будут шуметь здесь, в тундре, у самого Ледовитого моря.

Профессор смотрит на безжизненную даль залива, на белые горы, на медно-красные скалы, с которых ветром сдуло снег...

— Гигантская плавильня,— говорит он задумчиво.— Миллионы лет свершался в недрах земли титанический труд. Мы найдем его следы. Мы нашли нефть, нашли мезозойские угли. Найдем и верхнепалеозойские, типа норильских. Это, друзья, настоящий, честный, высококалорийный уголь. Пароходы пойдут на нашем угле.

Камчатка получит дешевую соль, которую мы здесь добудем. Возникнут заводы, промысла, города, театры.

— Партии строителей придут вслед за нами,— подхватывает, увлекаясь, Костик.— Они придут на больших отличных машинах, которым не страшен будет ни десятибалльный шторм, ни ветер.

— Что ветер! — усмехается Игнат.— Да мы ветер заставим вертеть наши двигатели. Экая силища!

В кастрюле вскипает молоко. Игнат бережно выливает его в алюминиевую кружку и подносит профессору.

— А вы? — подозрительно спрашивает Старик.

— И мы.

Игнат берет две кружки и, повернувшись спиной к профессору, наливает в них кипяток из чайника и капли молока из кастрюли.

— Вот и мы,— говорит он, протягивая дымящуюся кружку Костику.

Старик греет руки об алюминиевую кружку, вдыхает в себя ласковый запах молока и произносит:

— Выпьем за жизнь, которая возникает здесь и для рождения которой мы... мы... ничего не жалели.

...Подле догорающего костра, спрятавшись в спальные мешки, спит партия. Костику снится, что он в Москве, на Патриарших прудах, угощает товарищей. Странно сервирован стол: острые сахарные головы, как торосы, молоко в бензиновом бидоне, консервные банки.

Только Игнат не спит. Осторожно выползает он из мешка, озирается, прислушивается к сонному дыханию Костика и храпам Старика — и уходит. Скоро его фигура скрывается в торосах.

На Патриарших прудах шумит пирушка. Товарищи окружают Костика, радостно трясут его руки, трясут...

Он просыпается. Над ним — Игнат.

— Пора! — говорит Игнат и идет будить профессора.

В небе по-прежнему висит большое солнце. Который час сейчас? Два часа дня или два часа ночи?

— Профессор! — докладывает Игнат.— Пора!

— Да, да,— встряхивается Старик.— Да, в путь!

— Разрешите доложить, профессор. Я сделал разведку пути. Впереди — сплошное поле торосов. Нам не пройти.

Старик хмуро слушает, вокруг рта его образуются жесткие складки.

— Ну? — произносит он.

— Докладываю также: горючее на исходе.

Старик спокойно идет к машине. Игнат и Костик — за ним.

— Я жду приказаний, профессор.

— Я ведь сказал: в путь!

...Снова скрип ломающихся льдин, скрежет торосов, хрип мотора, лязг лопат — музыка дороги.

— Сколько прошли? — шепчет к вечеру Костик.

— Пятьсот метров.

— Не много...

На привале он раздает последние галеты.

— Все,— говорит он.

— В путь! Нет продовольствия, на исходе горючее,— подводит итоги начальник.— Какое же может быть другое решение? В путь, дети мои, вперед!

Это «вперед!» профессора все время висит над Костиком. Он разгибает спину и слышит: «Вперед!», он бросается с лопатой к гусеницам и слышит: «Вперед!» И сам шепчет пересохшими губами:

— Вперед! Вперед!

Игнат слишком поздно догадался надеть желтые очки. Его глаза слепнут от дьявольского сияния снега. Он уже плохо видит дорогу, но упрямо бросает машину на торосы.

— Я, кажется, слепну, профессор,— бормочет он.

Вдруг машина разом останавливается. Толчок выбрасывает Костика из кузова. Он падает, подымается, привычно хватается за лопату.

— Опять торос?

Игнат сдирает с рук рукавицы, срывает очки,— он хочет быть спокойным, но движения его впервые за дорогу нервны,— и говорит:

— Товарищ начальник! Горючее кончилось.

Костик опускается на снег и испуганно смотрит на Игната.

Лицо Игната осунулось и постарело. Беспомощным взглядом окидывает он свою машину, словно уже прощается с ней. Старик смотрит вперед на дорогу, потом на горы и говорит, стараясь быть насмешливым:

— Здесь, в горах... мы открыли с тобой, Игнат, тысячи тонн нефти. А ты жалуешься, что у тебя горючего нет...

Теперь они похожи на людей, потерпевших кораблекрушение. Молча сидят у заглохшей машины. Костик все время протирает очки.

Наконец, Игнат нарушает молчание:

— Ждем приказаний, товарищ начальник.

— Да, да,— говорит Старик и бросает взгляд на Костика.

Костик ловит этот взгляд и краснеет.

— Ну, тогда в путь, дети,— говорит профессор.— Что же еще? В путь!

Он задумчиво смотрит на груды камней, сваленных в кузове,— плоды нечеловеческой работы в сопках.

— Прежде чем тронуться в путь,— говорит он спокойно,— надо оставить здесь записку о том, где мы нашли нефть. На всякий случай,— прибавляет он, бросив взгляд на Костика.

Он садится писать записку.

«Поисковая партия профессора Старова, отправившаяся в путь...— пишет Старик,— по маршруту... с заданием...»

Он пишет обстоятельно, сухо. «Мы сделали все, что могли,— заканчивает он записку.— От всей души желаем будущим партиям сделать больше». Закончив, он подписывает сам и дает подписать товарищам.

Потом он смотрит на часы.

— Двенадцать пятьдесят по-московски,— говорит он.— Десять минут на сборы.

Костик грустно усмехается: собирать нечего.

— В тринадцать часов,— тихо докладывает Игнат,— мы еще можем в последний раз послушать «Арктическую газету» по радио.

Да, радио! Последняя паутинка, связывающая их с далеким миром.

— Хорошо,— говорит профессор.— Мы еще послушаем радио.

Они усаживаются вокруг черной трубы и молча ждут. Игнат возится у приемника. Старик поглядывает на часы. Костик думает, что сейчас, вероятно, в послед-

ний раз доведется ему слушать чужой человеческий голос.

Из репродуктора вдруг вырывается могучий ливень звуков. Знакомая величавая мелодия растет, ширится, она уже гремит над безмолвной белой пустыней, и тогда, узнав ее, поспешно и молча подымаются со своих мест люди. Срываются шапки. Поворачиваются лицом на юго-запад. Теперь видно, что у Старика голова совсем белая.

Стихают последние аккорды, но люди еще долго стоят, обратив лица на юго-запад, к Москве.

Их пробуждает голос диктора:

— Внимание! Внимание! Говорит полярный радиоцентр на семьдесят втором градусе северной широты. Здравствуйте, товарищи полярники!

Мягкий голос диктора широко разносится окрест, и в машине сразу становится теплее и уютнее. Люди тянутся к репродуктору, как к костру, чтобы погреться, оттаять подле теплого человеческого голоса.

Они слушают новости далекого мира и удивляются им. Где-то заседают министры, соревнуются футболисты, торопятся на юг курортники... Мир живет, возится, поет и работает; и странно: заботы и радости этого далекого мира волнуют и радуют обреченных. Они жадно прислушиваются, они огорчаются и смеются, они вдыхают уже забытый аромат Большой земли... Эти люди не умеют умирать.

— Внимание! Внимание! — произносит репродуктор.— Вниманию геологоразведочной партии профессора Старова.

Они удивленно поднимают головы.

— Слышит ли нас партия профессора Старова? Слышит ли нас партия?

— Да, да, слышим! — удивленно отвечает Старик.

— Это нас зовут. Это нас! — кричит Костик. Он вскакивает с места, мечется, суетится, не знает, что ему делать, и, наконец, снова бросается к репродуктору, тормошит Игната: — Нас зовут. Слышишь, Игнат?

— Слышу. Не мешай,— шепчет тот и обнимает за плечи Костика.

Все замирают и, затаив дыхание, ждут.

— Товарищ Старов! В третий раз передаем вам, на

случай, если вы нас раньше не слышали, радиограмму для вас из базы экспедиции. Там обеспокоены вашим долгим отсутствием. Решили предпринять поиски. Отправлены три собачьи упряжки. Две в направлении: База — Сопка, по вашему маршруту, третья — на разведку в долину реки, на случай, если вы сбились с пути. Повторяю еще раз...

— Не туда! Не туда! — в отчаянии кричит в трубу Костик.— Нас надо искать в заливе Креста. Мы здесь, в заливе.

— Как жаль,— усмехается профессор,— что они нас не слышат, Костик.

— Ваша судьба, товарищи,— продолжает репродуктор,— беспокоит нас всех. Желаем вам бодрости и здоровья. Слышите ли нас? Все мы, зимовщики, желаем вам бодрости и здоровья...

Старик встает на ноги и долго смотрит на зюйд-вест. Там сгрудились медно-красные острые горы, они тянутся зубчатой грядой вдоль залива, камни блестят на солнце, как расплавленные.

— Они ищут нас там,— вытягивает Старик руку,— за этими горами... в долине.

Игнат подходит к нему. Щуря свои полуслепые глаза, смотрит на горы и тихо говорит:

— Мы перейдем эти горы. Так, профессор?

Старик порывисто оборачивается:

— Ты думаешь?

Костик прислушивается.

— Сядем,— говорит профессор и опускается на мешок, охватывает голову руками и молчит.

Костик и Игнат напряженно следят за ним.

— Видите,— говорит он наконец,— мы теперь чертовски богаты в выборе. Мы можем избрать любой способ спасения. Нас ищут и будут искать долго, пока не найдут нас или наши трупы. Я говорю так потому, что хочу, чтобы вы отдали себе полный отчет в обстановке. И сами приняли решение.

— Мы понимаем, профессор...— шепчут Игнат и Костик.

— Мы можем идти по старому маршруту, как решили полчаса назад. Дойдем? Может быть. Все-таки это шанс на жизнь. Подумайте. Мы можем остаться здесь

ждать, пока нас найдут. Дождемся ли? Может быть, это тоже шанс жить. Мы можем, наконец...

— Идти через горы навстречу поискам,— подсказывает Игнат.

— Да. Через горы. Рискуя, правда, не дойти, погибнуть от истощения и мороза. Но это тоже шанс на жизнь. Может быть, даже самый верный. Но самый рискованный. Решайте же.

— Идти через горы,— произносит Игнат.

— Через горы,— как эхо, повторяет Костик.

Старик еще раз бросает взгляд на горы, потом на Костика и встает.

— В путь! — жестко командует он и украдкой, чтобы никто не видел, хватается рукой за сердце.

Игнат уходит последним. Он долго еще оборачивается, прощается с машиной, потом отчаянно машет рукой и догоняет товарищей. Они бредут среди торосов, проваливаются в снег, выручают друг друга и снова бредут.

Вдруг Костик вскрикивает в ужасе:

— Профессор!.. Я забыл, забыл бутылочку...

— Как?

— Забыл! — растерянно шепчет Костик.

Он смотрит назад,— машина еще видна за торосами; какой мучительный путь до нее! — и вдруг, решившись, бросается в торосы.

— Не надо, Костик, не надо! — кричит ему вдогонку профессор.— Черт с ней! Вы не дойдете. Берегите силы.

Но Костик торопливо пробирается между торосами, перепрыгивает через трещины во льду, спотыкается, падает и поспешно подымается, словно боится, что его нагонят и вернут.

— Он выбьется из сил,— бормочет Игнат.— Дьявольская дорога. Позвольте, я пойду с ним. Вдвоем легче,— он делает движение, но профессор останавливает его.

— Не надо,— говорит он сурово.— Пусть Костик сам. Мальчик становится мужчиной.

...Через два часа возвращается Костик. Он измучен, но счастлив.

— Вот,— говорит он задыхаясь.— Вот...— и валится на снег.

Теперь бредут все трое. Они уже на подступах к горам. Видно: они упали. Лежат. Лежат долго. Потом начинают двигаться вперед. Теперь они не идут, а ползут, цепляются за острые выступы скал, позади остаются черные пятна. Они отчетливо видны на снегу. Одно пятно напоминает распростертого человека. Это кухлянка, брошенная кем-то из троих, дальше — еще кухлянка и потом еще одна. Словно три трупа на снегу. Потом брошенный шарф. Шапка. Рукавицы. Вехи на пути к перевалу.

Люди подымаются выше, выше. Вот они переваливают хребет... Теперь они на пути к спасению...

...Два часа ночи. На северо-востоке огромное медно-красное солнце. Чуть затемняя его, низко-низко проходят облака. Они идут быстрой, мятущейся грядой, багряные и косматые, как дымы. Как дымы над домнами ночью.

В заливе пустынно и тихо. У застывшей машины наметаются сугробы. Ветер шевелит их...

...Здесь будут шуметь города!

1938

Рассказы

ЗАБОЛЕЛА ПРАЧКА

Заболела прачка. Ее положили в больницу, и доктор объявил: нужна операция.

Через неделю радист Никодимыч первый пожаловался, что у него нет чистого носового платка. В доказательство он вытащил из кармана перепачканный табаком грязный платок и объявил: последний! Через две недели мужчины-холостяки заявили, что не смогут пойти в баню, так как у них нет чистой смены белья.

На зимовке возник страшный кризис. Мужчины собрались на совещание. Семейные попытались было улизнуть, но были доставлены под конвоем.

— Я так думаю,— сказал муж прачки, почему-то чувствовавший себя виноватым.— Я так думаю: тут стихийная бедствия. И каждый, я так думаю, очень свободно может сам себе бельишко постирать, раз уж такая беда с Марьей Алексеевной.

Метеоролог драматически закричал:

— Да! Я сам пойду стирать свои тряпки! Я буду стирать! Я отлично умею стирать. Я прачка с детства. Всю жизнь об этом мечтал. Но вместо сегодняшней погоды на острове я передам температуру бани, состояние воды в корыте и плотность тумана, поднимающегося от моего белья. Что же еще могу я наблюдать в бане?

— Какими мы стали барами, однако,— рискнул вставить замечание семейный радиотехник, много зимовавший на своем веку.— А как же мы на старых зимовках обходились не то что без прачки, а и без повара! И вахту несли и сроков не пропускали. Нет, разнежились полярники, разнежились...

Но ему закричали, что, конечно, ему легко философствовать, раз жена выстирает все белье.

— Ваши вахты! — сказал Никодимыч.— Три срока по десять минут в день — вот были ваши вахты на старой зимовке. Тут просто от скуки не то что прачкой, а модным портным сделаешься. А вот когда мы двенадцать часов на вахте...

— Ну, уж и двенадцать!

— Ну, восемь,— сбавил Никодимыч.— Мало?

Спор разгорелся бы еще ярче, если бы не вмешался мудрый аэролог, человек болезненно влюбленный в чистоту и поражающий всех своими ослепительными воротничками. Он сам их стирал.

Как человек опытный в прачечном деле, он занял позицию, исполненную практического смысла.

— Нас сорок человек мужчин,— сказал он.— Рассудите сами: если каждый начнет стирать белье в бане (а больше негде) — как мы разместимся там? Ну, можно стирать сразу четверым, пятерым от силы. Значит, надо восемь дней топить баню. Мыслимо ли? У нас столпится очередь. Мы сорвем всю работу.

— Но как же быть? — спросили его.

Этого он не знал. Свои воротнички он, впрочем, выстирает сам.

Как же быть? Этот «роковой вопрос» повис над зимовкой.

Молчавший все время парторг вынул трубку изо рта и произнес:

— Я полагаю, надо обратиться к сознательности наших женщин.

Все удивленно посмотрели на него, но ничего не возразили. Только Никодимыч с сомнением и иронией покачал головой.

Парторг собрал женщин. Они, предчувствуя тему разговора, молча расселись по углам. Беседа обещала быть грозовой.

— Товарищи женщины! — не смущаясь, начал парторг.— Заболела Марья Алексеевна,— он помолчал немного.— Такое дело... Ничего не поделаешь. И, между прочим, это поставило нас всех в трудное положение. Если каждый мужчина начнет самолично стирать белье, у нас будет не зимовка, а банно-прачечное заведение.

Надо, товарищи женщины, организовать коллективную стирку белья. Как вы думаете, а?

Что думали женщины, осталось неизвестным, так как ни одна из них не высказалась. Все ждали, сохраняя непроницаемый вид.

— Высказывайтесь, пожалуйста,— пригласил парторг.

Он уставился на жену радиотехника Марию Ильиничну, известную на зимовке общественницу, и та вынуждена была открыть прения.

— Что же,— сказала она.— Я постираю белье свое и своего мужа. Я думаю, все женщины могут это сделать.— И она обвела собрание гордым взглядом.

— Конечно, конечно,— радостно подхватили женщины, и только Агния Игнатьевна брюзгливо проворчала:

— Стоило ехать за мужем на полярный круг, чтоб снова стирать его исподники.

Парторг пожевал трубку зубами и дипломатически вкрадчивым голосом произнес:

— Можно только приветствовать почин Марии Ильиничны. Я, между нами говоря, даже пожалел, что не я ее муж. Отчего я не встретил вас десять лет назад, Марья Ильинична? — Он вытащил грязный платок и высморкался с треском.— Ну, а несчастным холостякам как же быть? — прибавил он.

— Позвольте! — взбеленилась Агния Игнатьевна.— Вы хотите заставить меня, ме-е-еня, стирать грязные платки посторонних холостых мужчин?

Поднялся общий шум. Женщины набросились на бедного парторга, и он, поняв, что ему не удастся произнести ни слова, терпеливо слушал.

— Мы не прачки! И не за этим ехали,— кричала Агния Игнатьевна.

— Мужчины могут и сами постирать!

— Мы не станем копаться в чужом белье!

— Этого еще недоставало!

И тогда раздался голос магнитолога Лиды, единственной незамужней женщины на зимовке.

— Мне вас стыдно слушать, женщины,— сказала она с невыразимым презрением.— Стыдно. Стыдно. Стыдно,— повторяла она, пока все испуганно затихали.— Наши мужчины строят самый северный в мире

радиоцентр. Они падают с ног от усталости. Они работают в пургу, в ночь, в непогодь. Слышали вы от них жалобы? Черт подери, отчего я родилась женщиной? А вы стыдитесь их грязных рабочих рубах и боитесь испортить руки стиркой. Парторг! — сказала она решительно.— Черт с ними! Не надо. Сережка будет нести за меня вахту, и я одна сама перестираю все белье.

— Почему же одна? — обиженно пробормотала Марья Ильинична.— Неужели у нас рук нет?

А Агния Игнатьевна со своей обычной агрессией уже накинулась на Лиду:

— Одна! Что ты сделаешь одна? Да еще умеешь ли ты стирать? Девчонка! А я на целую ораву стирала, не барыня, выстираю и на этих оболтусов, хоть не стоят они наших забот, право, не стоят.

Парторгу уже нечего было говорить. Предводительствуемые Агнией Игнатьевной, женщины ринулись в комнаты одиноких холостяков и начали собирать в узлы все белье, все, какое было. Мужчины конфузились, пробовали уговорить их:

— Да нет, это не надо. Вот платки да рубаху возьмите — этого достаточно. Обойдемся.

Но Агния Игнатьевна не терпела возражений.

— Давайте все, беспомощный человек. Мужчина! И за что только вас людьми называют? Женщина всегда мужскую работу сделает и еще лучше вас, представьте. А вы ни на что, ни на что не способны. Давайте уж!

И она сметала бельишко в узел, вскидывала узел на свою широкую, могучую спину и волочила в баню.

Они сумели превратить стирку в праздник, наши женщины. В бане весь день стояли смех и песня. Мужчины волочили в баню нарты, полные доверху кирпичами снега (воды не было на острове, мы таяли воду из снега), но женщины все твердили: мало воды, мало! И аэролог стал даже опасаться за свои воротнички: «Они застирают белье до дыр,— твердил он.— Эка взялись».

Я жалею, что рассказал вам эту неопрятную историю. Знаете, когда Агния Игнатьевна принесла мне

мои платки и рубахи и я увидел, что чулки заштопаны, на рубахах пришиты пуговицы, а платки даже надушены (это неоценимый подвиг великодушия зимовщицы — израсходовать драгоценные духи на чужие носовые платки), я почувствовал себя таким смущенным и растроганным, как если бы меня — большого, нескладного парня — при всем честном народе приласкала бы мать.

Вот и вся история о том, как у нас заболела прачка.

1940

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Пурга прибила нас к маленькой фактории у Шайтан-горы. Целую неделю мы сидели здесь и слушали, как сшибаются ветры за окном. Избушка трещала, скрипели доски. Казалось, налетит сейчас ветер, подхватит наш ветхий домик и понесет, швыряя об острые торосы, о сугробы снега, как мчит сейчас все: камни, обломки льдин, ворохи снега.

В последние дни мы почти не вылезали из спальных мешков. В избушке было холодно, топили мало — берегли дрова. За ночь на дощатом полу выступал тонкий, бледный слой снега, днем он таял. В спальные мешки влезали одетыми: в меховых штанах, в пимах, фуфайках. На головы нахлобучивали тяжелые мохнатые шапки.

Радист бренчал на балалайке, но пальцы зябли. Тогда он втянул балалайку в спальный мешок и продолжал играть. Из мешка глухо доносились звуки вальса. Словно чревовещание. Радист играл для себя, просто чтобы развлечься.

— А в Москве сейчас танцуют,— вздохнул он.— Снег... Автомобили... Прожектора... Музыка...— он начал напевать румбу.

Я прислушался: за окном в вое пурги почудились звуки оркестра. Я засмеялся.

Дверь распахнулась, в нее ворвался снежный вихрь, закружил по комнате. Вошел механик. Все глаза с на-

деждой устремились на него: не стихло ли? Он только молча махнул шапкой, с нее посыпалась серебряная пыль.

Руки механика были окровавлены. Он положил на стол две мерзлые палки, они глухо звякнули о дерево. Мы догадались — это колбаса. Потом он вытащил из кармана бутылки — это спирт. Механик ходил к самолету за продовольствием. Последние наши запасы.

— Еле отодрал,— сказал он.— Все замерзло. В моем чемодане замерз одеколон. Ну и мороз!

— Ну и одеколон! — весело отозвались в ответ.

Все засмеялись.

Скоро колбаса зашипела на сковороде.

Пришел ненец-охотник Яптуне Василий. Он уселся на корточках у порога и вытащил нямт — олений рог. Не спеша вытащил деревянную пробку, она повисла на железной цепочке, высыпал на ладонь табак из рога.

— Войва, войва,— сказал он, качая головой.— Шибко плохо... По всем четырем углам неба пурга висит.

Затем он протянул механику подарок — замороженную рыбу.

Наш механик любил рассуждать и умствовать. Прежде чем начать есть, он деликатно спрашивал:

— Как фамилия этой рыбы? А! Омуль. Очень приятно познакомиться.

Он взял рыбу и начал нарезать ее тонкими ломтиками.

— Строганина — роскошное блюдо. Едят в сыром виде. Непревзойденная закуска под девяносто шесть градусов,— объяснил он, работая ножом.

Среди книг на пыльной полочке я вдруг увидел старые, пожелтевшие листки картона.

— Флирт цветов! — удивленно воскликнул я.— Давайте флиртовать, товарищи.

Я роздал карты, но никто ничего не понял в них.

— С чем это кушают? — вежливо спросил механик.

С флиртом цветов он столкнулся впервые на маленькой фактории за Полярным кругом. Любопытно, как попали сюда эти засаленные карточки?

Я послал механику орхидею: «Орхидея. Вы — кокетка, вы играете моим сердцем».

Но флирт не имел успеха. Скоро все отбросили карты. Ни пылкие настурции, ни пламенные пионы не сумели согреть наши замерзшие сердца.

— Войва, войва,— качал головой ненец.— Шибко плохо... Люди попрятались... Звери попрятались... Песцы попрятались. Только один песец бродит, проклятый хромой Нохо, портит капканы, ворует приманку.

Он стал рассказывать об этом песце. Он хитрый, он большой, он сильный. Никому не удавалось еще поймать его. Однажды он все-таки неосторожно задел ногой капкан, и давка прижала его ногу. Он отгрыз ногу зубами и убежал, хромая. Его следы видят и сейчас в тундре.

— Это заколдованный песец,— добавил шепотом, округляя глаза, ненец.— Это черт.

Все засмеялись. Охотник обиделся.

— Ну, вот и до чертей договорились,— весело сказал механик.— Самое время.

— А вот мой приятель видел чертей,— усмехаясь, вмешался радист.— Мы зимовали с ним вдвоем в девятнадцатом году на маленькой полярной радиостанции. Колчак занял Сибирь, мы ни с кем не могли связаться по радио. Двое отрезанных от мира людей. До нас никому не было дела. Я все-таки продолжал слушать эфир. Иногда попадались свои, чаще — вражьи станции. Удавалось догадаться о положении на фронте. Панические телеграммы белого штаба, часто не зашифрованные, отрывистые сводки, частные депеши — все подтверждало: наши наступают. Мой приятель на станцию не ходил. Он лежал день-деньской на койке и пил мертвую. Чтоб не утруждать себя, он вкатил бочку спирта в избу, вставил резиновый шланг и лежа сосал горючее. Ночью ему казалось, что из бухты лезут черти. «Зеленые, мохнатые,— хрипел он,— душат, душат...»

— Ну и что ж, пропал парень? — спросил все время молчавший летчик.

— Нет. Очухался. Сейчас в Москве работает. Радистом. Водки видеть не может, черти вспоминаются.

Все засмеялись.

— Это что! — сказал механик.— Вот я вам расскажу историю.

И он рассказал нам о самолете, который без летчика кружил по аэродрому.

Дело было несколько лет назад. Молодой летчик — назовем его Ланиным — возвращался из линейного рейса на маленьком самолете Ш-2, который летчики ласково называют Шурочкой. Ланин летел один. Он промерз и устал и с радостным нетерпением ожидал, что вот сейчас покажется город, аэродром. Он отогреется, вымоется, сбросит комбинезон и пойдет в гости встречать Новый год. Там уж, вероятно, шум, дым, деятельная суета на кухне,— ему показалось, что в морозном воздухе запахло гусем и капустой.

«Хорошо! — зажмурился он.— Будет Наташа, теплая, милая девушка с ясными глазами. Он чокнется с ней, выпьет за счастливое будущее, за их будущее — его и Наташи».

Самолет качнуло. Ланин выругал себя и крепче сжал баранку. Руки в перчатках чуть озябли. Сквозь снежные заносы летчик видел внизу окраину города. Скоро аэродром.

— Экая дурацкая погода! — разозлился Ланин.— Метель, как нервная истерическая баба,— то разойдется, то отойдет.

Все же в просвете между снежными завесами он увидел аэродром. Пошел на посадку, но не рассчитал и промазал. Он понял это только, когда сел. Аэродром остался чуть в стороне, в километре всего. Ланин опять выругал погоду, себя, машину.

— Надо подруливать,— сказал он и прибавил газу, но машина не двинулась с места.— Что такое? — разозлился он. Безрезультатно помучившись минут пять, он, наконец, решил вылезти и посмотреть, не случилось ли чего с лыжами.

«Экий мороз!» — подумал он, вылезая. Похлопывая руками о бока, обошел самолет вокруг. Ну, конечно же, лыжи примерзли. Снег волнами перекатывался по полю. Вокруг лыж уже намело сугробы.

Ланин оглянулся, в поле не было ни души. Вдали мерцали ранние огни аэродрома. Ланин стал отбрасывать снег, лег на землю и почистил лыжи. Потом вернулся в кабину, прибавил газу. Машина не трогалась. Медленно вертелся винт.

«Если б кто-нибудь подтолкнул машину!» — подумал летчик, но вокруг никого не было. Тогда он снова вылез и начал толкать машину. Она не трогалась с места, только качалась из стороны в сторону. Впервые в жизни Ланин почувствовал себя таким слабым и тщедушным. Что делать? Он решил прибегнуть к помощи мотора.

«Поддам газу, а сам подтолкну машину». Он все это сделал, но машина не двинулась с места. Тогда он еще прибавил газу. Теперь винт начал мелькать быстрее. Ланин изо всей силы налег на кромку плоскости (капельки пота стали быстро замерзать на лбу), и... машина вдруг рванулась вперед. Она побежала, ковыляя по неровному полю, а опешивший Ланин, не сообразив, в чем дело, остался на месте.

Машина убегала от него.

— Стой! Стой! — закричал он ей, словно она могла услышать его и понять.— Стой!

Он пустился бежать за нею по полю, проваливаясь в снегу и чуть не плача от злости.

Машина неслась прямо на аэродром. Задыхающийся Ланин с ужасом увидел, что она несется прямо на каменное здание.

— Сто-ой! — закричал он в отчаянии и, напрягая последние силы, побежал быстрее.

На аэродроме с удивлением смотрели на безумную машину, которая лихо пронеслась мимо них.

— Что, Ланин — с ума сошел или пьян? Куда он рулит?

— Лихач!

Вдруг они увидели Ланина. Он бежал, спотыкаясь, падая и снова подымаясь. Шапку он потерял. Шарф болтался вокруг шеи, развеваясь на ветру, как флаг над аэропортом.

— Что случилось, Ланин?

— Машина убежала,— прохрипел он и удивился, услышав взрыв смеха в ответ. Самому ему было не до смеха.

— Держи! Лови! — отчаянно закричал он: машина была уже близко от здания. Ей наперерез бросились люди. Но вдруг на пути самолета попался невысокий

круглый сугроб снега. Лыжи скользнули, направление изменилось,— машина неслась теперь в сторону.

А за ней, роняя шапки, сбрасывая куртки, рукавицы, шарфы, бежали запыхавшиеся люди. Вот они настигают ее, вот обходят, бегут наперерез, сейчас вскочит Ланин в кабину, но неожиданное препятствие на пути меняет направление машины, и она уж несется куда-то в другую сторону.

Тут можно было поверить и в волшебство и в заколдованного песца. Проклятая машина, как живая, носилась по аэродрому. Она хитро ускользала от своих преследователей. Она, петляя, скакала по полю и оставляла за собою широкий волнистый след.

— Держи! Лови! — кричали измученные люди. На снегу чернели их куртки и шапки.

Наконец, машина влетела в большой мягкий сугроб и остановилась.

— И когда измученный Ланин — он мне сам рассказывал — подбежал к ней, он не стерпел и ахнул кулаком по мотору, словно по морде лошади. И ему стало легче,— закончил под дружный смех свой рассказ механик.

— А машина цела?

— Цела! Ланин на ней долго летать не хотел, все дулся на нее. Да ничего, летает...

Мы долго еще хохотали над злоключениями бедного Ланина. Но вдруг вернулся Яптуне Василий — он выходил на улицу — и сказал сияя:

— Ветер спать пошел. Завтра погода будет.

— Ну?! — закричали мы.

В самом деле ветер стих. Завтра мы будем в воздухе. Завтра мы полетим!

На столе уже дымилась чуть не обуглившаяся колбаса. Розоватые ломтики строганины были разложены на чистых листах бумаги. В стопках поблескивал голубоватый спирт.

Радист включил репродуктор, оттуда рванулась веселая буря оркестра. Москва? Хабаровск? Новосибирск? Все равно — родина.

Механик поднял стакан и произнес торжественно:

— Ну, с праздником, товарищи! С летной погодой!

1937

СЛУЧАЙ С СИНОПТИКОМ

Вот уж в кого свято мы верили, так это в нашего синоптика Витю Карцева. Ветры, циклоны, пурги, подвижки льдов — все было подвластно ему. На что уж летчики недоверчивый народ, скептики и пересмешники, а и те без прогноза Вити стартовать не рисковали. Ледовые капитаны, старые полярные волки, с почтительной снисходительностью прислушивались к советам румяного юноши-комсомольца, родившегося на свет тогда, когда они уже давно нахлебались морской соли.

Да что летчики, что капитаны! В Витю безоговорочно верили даже домашние хозяйки острова, а это не всякому синоптику дано!

— Витя! — звонили ему по телефону наши женщины.— Витенька, родной! Скажите, завтра можно будет сушить белье?

И Витя, привыкший к подобным вопросам, вежливо отвечал:

— Завтра, Марья Ивановна, жду норд-оста, баллов восемь-девять. Если развешивать белье, так только сегодня.

И Марья Ивановна торопливо заканчивала стирку, чтоб успеть сегодня же высушить белье.

Даже пекарь, запечный философ, прозванный на зимовке Серегой Ершом за непомерно большую голову, подходил за советом к Вите:

— Как виды на погоду, товарищ ветродуй?

И Витя изрекал:

— Запасайся углем, Серега Ерш. Завтра носу не высунешь.

И пекарь торопился запастись углем.

Вите верили свято, безоговорочно, и Витя никогда не подводил. Если прогноз оказывался чуточку неточным — ветер на один балл меньше, направление на какой-нибудь румб восточнее, облака на полсотни метров ниже,— Витя всерьез расстраивался, ходил скучный и недовольный собой. Он был синоптик до мозга костей, синоптик по страсти, по призванию, по душевному увлечению, как бывают летчики по призванию, художники по вдохновению, доменщики по рождению и крови.

Колдовать над картой, кропотливо прослеживать неслышные еще шаги наступающего циклона, мудрствовать над туманной цифирью метеосводок и находить в хаосе ветров, температур, давлений, изобар и изотерм железную логику природы было истинной профессией комсомольца Вити Карцева, профессией его души.

И надо же было, чтоб именно с ним случился казус, о котором и сейчас еще говорят зимовщики побережья, вспоминают летчики и о котором и мы хотим рассказать здесь в назидание потомству.

В те дни чудесная погода стояла на побережье. Такого солнечного и чистого июля не помнил даже боцман, а он появился здесь вместе с первым деревянным маяком и колоколом. Уже пятнадцатого июля ушел из бухты лед, а девятнадцатого на чистой голубой волне качался самолет Васи Сбоева. Ребята ходили в кителях нараспашку, женщины собирали букетики бледно-желтых маков и голубых незабудок, и кое-кто решил, что время подумать о чемоданах: погода шепчет — домой, домой.

Двадцатого июля Вася Сбоев решил лететь на первую ледовую разведку в море. Он пришел к Вите, в его комнату, всю увешанную картами и заставленную приборами, весело поздоровался и сказал:

— Ну, звездочет, благословляешь на вылет?

Витя небрежно взглянул на карту и ответил:

— Надо бы погодку лучше, да не придумаешь. Как по заказу: чисто, ясно, устойчиво.

Что сталось с Витей Карцевым? Избаловала ли его удача, возгордился ли он, или просто немного устал, развинтился, стал небрежничать, или появились у него иные заботы, отвлекающие от карты (замечено было, что нервно ждал он радиограмм из Иркутска, подписанных Марусей), но именно так и было, как мы здесь рассказываем: взглянул мельком на карту и сказал: лети!

В другое время, прежде чем дать пилоту ответ, он тридцать раз покрутил бы головой, взглянул бы на карту и так и эдак, затребовал бы новых сводок; подперев голову руками, посидел бы в раздумье над ними, а уж потом сказал бы: да или нет. Но видно, и в самом деле возгордился Витя Карцев.

Механиком у Сбоева летал Максимыч. То был большой философ. Он любил поумствовать над метеосводкой, любил рассуждать о циклонах и антициклонах, спорить с синоптиками, а больше всего любил, приложив руку козырьком ко лбу, глядеть в высокое небо, слушать ухом ветер и следить, как плывут облака за море. Чудесны облака в арктическом небе! Они чуть коричневые над тундрой, голубые над заливом, сизые над морем, они отражают землю и воду, и недаром говорят, что в Арктике небо — зеркало земли.

Максимыч покачал головой, услышав прогноз Вити. Он показал рукой на красный шар солнца и сказал:

— Красно солнце по утру, моряку не по нутру. Красно солнце с вечера, моряку бояться нечего.

Но когда на дворе отличная видимость, не думаешь о тумане: погода шепчет — лети, лети! Когда тихо плещется волна в бухте, не верится, что где-то впереди тебя ждут штормы. Так психология поправляет сводку. И редкий пилот откажется лететь, имея на старте хорошую погоду, какие бы штормы ни сулили синоптики впереди. Вася Сбоев был из этих редких пилотов. Но теперь в кармане у него был многообещающий прогноз Вити.

— Значит, можно лететь? — еще раз спросил он и, получив утвердительный ответ, сунул сводку в карман и вылетел.

Но, видно, не все было спокойно на душе Вити Карцева. И через несколько часов он снова взглянул на карту. Взглянул и — похолодел. Он начал всматриваться снова и снова в эти спокойные цифры, нанесенные там и сям тонким пером, черными и простыми чернилами, и почувствовал, как прошибает его пот. Неужто? Как же он не заметил? Правда, то были микроскопические изменения, легкое движение, но он должен, обязан был увидеть и это. Увидеть и предупредить.

Взволнованный, прибежал он на радиостанцию.

— Новые метео есть? — отрывисто спросил он. Ему протянули пачку радиограмм. Он жадно схватил их и побежал. Но на пороге остановился. Он долго колебался, прежде чем спросить. И, наконец, произнес, заранее боясь ответа:

— Что Сбоев?

— Летит,— беспечно ответил остряк-диспетчер.— Летит, ногу чешет...

Синоптик втянул голову в плечи и побрел к себе.

Он разложил перед собой метеосводки и стал составлять карту. Он работал лихорадочно, сам боясь результатов своей работы. И прежде чем взглянуть на то, что получилось, перевел дух и закрыл глаза. Потом открыл их и взглянул на карту. Он увидел, как по карте, шумя, прошел циклон. Он услышал свист ветра над ухом. Он почувствовал, как облипает его со всех сторон мокрый, сырой туман. Это было физическое ощущение,— синоптик чувствовал сырые капли на лбу.

Он взглянул в окно — и не увидел бухты. Что-то серое, мутное клубилось там. То скорым шагом шел по побережью циклон, циклон, которого он не угадал, не почуял.

Со всех ног бросился Карцев на рацию.

— Передайте,— закричал он хрипло прямо с порога,— передайте Сбоеву ухудшение погоды.

Диспетчер хладнокровно сказал радисту:

— Постучи ему, пусть вертается.

— Сбоев... Сбоев...— позвал радист и вдруг побледнел.— Не отвечает,— растерянно прошептал он.

— Что? — закричал диспетчер.

— Да вот... Скис...

— А ты зови, зови его! — умоляюще попросил синоптик.— Зови, пожалуйста.

Даже диспетчер потерял свою невозмутимость. Все вместе сгрудились они у аппарата и стали звать Сбоева. Но Сбоев молчал.

В эту ночь не спали на радиостанции. Тщетно звали Сбоева. Тщетно искали его сигналов в эфире. В эту ночь постарел Витя Карцев. Говорят, что первой своей морщинкой на переносице он обязан этой ночи.

На следующий день к вечеру в бухту вернулся Сбоев. Он подрулил к берегу, отдал якорь, вышел. Вид у него был сумрачный и усталый. За ним вышел весь экипаж лодки, лица у всех были серые, измученные.

Ни на кого не глядя, ни с кем не разговаривая, Сбоев пошел скорым шагом по острову, вошел в дом, в комнату Вити Карцева, молча положил перед ним на стол

злополучную сводку и, не сказав ни слова, вышел. Витя не посмел даже взглянуть ему вслед, сидел, опустив голову на карту.

Мы узнали потом, через несколько дней, о приключениях экипажа Васи Сбоева.

Они прожили страшную ночь.

Туман, появившийся нежданно-негаданно, вынудил их сесть в шхерах Минина, среди плавающих льдин. В этом ледяном хаосе Сбоев чудом отыскал маленький пятачок чистой воды («величиной с носовой платок, не больше»,— как рассказывал потом механик). Очутившись на воде, экипаж поторопился пристать к стамухе, забросить на лед якорь, чтоб не толкаться среди беспорядочно плавающих льдин.

Стамуха казалась надежной и уютной.

Сбоев выключил моторы и вылез на лед. Развели огонек, начали подумывать о горячем чае. «Чаек — это хорошо! — сказал механик.— Чаек — это...» — но он не докончил изречения.

— Льдина по правому борту! — взревел он что было мочи и бросился обратно на лодку. С правого борта на самолет надвигалась мрачная ледяная глыба. Мгновенно экипаж был на местах, забыв и об огоньке и о чае. Вот когда испытывалась материальная часть самолета, которой гордился механик! Моторы запустили в полторы секунды, и лодка отчалила от стамухи, а еще через секунду ледяная гора с грохотом ударилась о стамуху. В воду полетели обломки льдин, вода зашипела, запенилась, молодой радист Костя Токарев закрыл глаза и прошептал:

— Тут бы нам и могила!

Но уже кричал с носа механик:

— По левому борту льдина!

Снова зачалила лодка, выворачиваясь из беды, снова выскочила из ледяных объятий, причем Сбоев успел даже укоризненно сказать механику:

— Всем хороша машина-самолет, да беда — только заднего хода не имеет.

Короче сказать, всю ночь лавировал Сбоев среди плавающих льдин. Только к утру ему удалось причалить к маленькому островку и перевести дух. Целый день на

море стоял плотный туман и держал в плену Сбоева. Вечером удалось вырваться.

Вот и все, что узнали мы о ночи Сбоева. А сводка, злополучная сводка Вити Карцева, до сих пор висит в бюро погоды на нашем острове. Витя Карцев сам пришпилил ее к стене, прямо над столом. И синоптики, сменяясь, передают эту сводку друг другу. Она переходит, эта историческая сводка, из зимовки в зимовку, и каждый синоптик, прежде чем дать прогноз, обязательно взглянет на нее и подумает о людях, летающих, плавающих и путешествующих в необозримых просторах Советской Арктики.

1938

ПРИМЕЧАНИЯ

АЛЕКСЕЙ ГАЙДАШ

Роман впервые опубликован в журнале «Новый мир» за 1955 год, №№ 6, 7, 8.

Рукопись этого незавершенного романа, являющегося продолжением «Моего поколения», была обнаружена после смерти Б. Горбатова в личном архиве писателя. Начало работы над романом, по мнению исследователей, конец 1934 — начало 1935 года. К сожалению, Б. Горбатову удалось реализовать лишь часть широкого замысла о жизни и труде его современников.

ОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИКА

Книга рассказов «Обыкновенная Арктика» впервые вышла в издательстве «Советский писатель» в 1940 году. Она включала в себя 18 рассказов, написанных в 1936—1940 годах на основании впечатлений, полученных писателем (корреспондентом «Правды») во время зимовки на Диксоне в 1935 году и перелета по трассе Северного морского пути в 1936 году. В последующих изданиях три рассказа («Заболела прачка», «В зимнюю ночь» и «Случай с синоптиком») были автором из книги исключены.

Большая вода. Впервые — альманах «Год XXII», 1939, кн. 16.

Роды на Огуречной Земле. Впервые — журн. «Октябрь», 1937, № 12. В этом же номере были напечатаны рассказы «Дружба», «Веретгыргын» и «Карпухин с Полыньи». Подборка вышла под общим заголовком «Обыкновенная Арктика».

Дружба. Впервые — журн. «Октябрь», 1937, № 12.

Торговец Лобас. Впервые — журн. «Знамя», 1938, № 12, вместе с рассказом «Здесь будут шуметь города...», под общим заголовком «Обыкновенная Арктика».

Мы и радист Вовнич. Впервые — альманах «Год XXII», 1939, кн. 15, вместе с рассказами «Разговор» и «Суд над Степаном Грохотом».

Карпухин с Полыньи. Впервые — журн. «Октябрь», 1937, № 12.

Разговор. Впервые — альманах «Год XXII», 1939, кн. 15.

Боцман с «Громобоя». Впервые — журн. «Крокодил», 1938, № 11.

Возвращение Сатанау. Впервые — журн. «Смена», 1938, № 8.

Таян-начальник. Впервые — журн. «Советская Арктика», 1938, № 12.

Поединок. Впервые, под названием «Веретгыргын»,— журн. «Октябрь», 1937, № 12. В издании «Обыкновенная Арктика», М., «Советский писатель», 1952, название изменено. Чукотское слово «веретгыргын» имеет два значения: «добровольная смерть» и «поединок». Новое название подчеркивает победу героини рассказа в поединке не только с шаманом, но и с собственными человеческими слабостями.

Суд над Степаном Грохотом. Впервые — альманах «Год XXII», 1939, кн. 15.

Даша. Впервые — журн. «Тридцать дней», 1940, № 1.

Рассказ о двух мужчинах. Впервые — журн. «Огонек», 1939, № 8.

Здесь будут шуметь города... Впервые — журн. «Знамя», 1938, № 12.

РАССКАЗЫ

Заболела прачка. Впервые — журн. «Крокодил», 1938, № 10.

В зимнюю ночь. Впервые — газ. «Правда», 1937, № 1.

Случай с синоптиком. Впервые — журн. «Огонек», 1938, № 30.

Все три рассказа входили в первое издание книги «Обыкновенная Арктика» (1940). В дальнейшем они были из книги исключены.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Леонтьевич
ГОРБАТОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том II

Редактор тома
Н. А. Самохвалова

Оформление художника
Н. Н. Каминского

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1726

Сдано в набор 3.11.87.
Подписано к печати 17.02.88.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,50. Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 31,09.
Тираж 1 700 000 экз. (1-й завод: 1—200 000).
Заказ № 1876 Цена 2 р. 90 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства «Звезда». 614600, г. Пермь,
ГСП-131, ул. «Дружбы», 34.

Индекс 70658

2 р. 90 к.